

НИКОЛАЙ
ПОЛЕВОЙ
ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И
ПИСЬМА



Antonov

НИКОЛАЙ
ПОЛЕВОЙ

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И
ПИСЬМА



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
1986

ББК 84. Р 1
П 49

Составление, подготовка текста,
вступительная статья, примечания
А. КАРПОВА

Художник Э. НАСИБУЛИН

П $\frac{4702010100-075}{028(01)-86}$ КБ-26-26-86

© Состав, вступительная статья, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ И ЕГО ПОВЕСТИ

Журналист и историк, беллетрист и критик, издатель знаменитого журнала «Московский телеграф», Николай Алексеевич Полевой принадлежит к наиболее значительным деятелям русской литературно-общественной жизни двадцатых—тридцатых годов прошлого века. «Одним из предводителей в литературном и умственном движении» той эпохи назвал Полевого Н. Г. Чернышевский¹. Как о «замечательном человеке, оказавшем литературе и общественному образованию великие заслуги»², писал о Полевом В. Г. Белинский, рассматривая его в одном ряду с М. В. Ломоносовым и Н. М. Карамзиным. Вклад Полевого в отечественную культуру несомненен. И все же судьба творческого наследия писателя оказалась непростой. Его романы и повести, исторические труды и критические разборы, вызывавшие при своем появлении живой интерес и не раз переиздававшиеся на протяжении девятнадцатого века, в настоящее время почти неизвестны читателю. Само имя издателя «Московского телеграфа» сегодня, пожалуй, многое скажет лишь историкам журналистики. Безусловно, забвение, постигшее Полевого, незаслуженно. Видный представитель русского романтизма, чьи произведения своеобразно отразили проблемы того времени, человек драматической судьбы, в котором Белинский видел «одно из самых резких выражений» его эпохи³, Н. А. Полевой имеет несомненное право на внимание нашего современника.

Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы//Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т.— М., 1974.— Т. 3.— С. 23.

² Белинский В. Г. Николай Алексеевич Полевой//Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9-ти т.— М., 1982.— Т. 8.— С. 177.

³ Там же.— С. 180.

В середине 1830-х годов Николай Алексеевич Полевой выпустил в свет цикл своих повестей, дав ему название «Мечты и жизнь». Заглавие сборника было очень характерно. В нем оказалось зафиксировано коренное для романтического сознания противопоставление идеала и реальности, высоких устремлений человека и гнетущих жизненных обстоятельств. Тема столкновения мечты с «сущностью» — ведущая в литературе той поры. Однако для Полевого она имела и глубокий личный смысл. Разрыв между идеальными устремлениями личности и действительностью остро переживался писателем не только в качестве некоего всеобщего закона бытия, но и как конфликт, неизменно проявляющийся в его собственной судьбе. В самом деле, жизнь Полевого протекала в мучительных внутренних раздорах, в противоречиях между духовными порывами и практической необходимостью, в постоянной борьбе с враждебными литератору-разночинцу обстоятельствами.

Николай Алексеевич Полевой родился в Иркутске 22 июня 1796 года. Он происходил из старинного и некогда богатого рода курских купцов, К началу девятнадцатого века семья Полевых утратила значительную часть прежнего состояния, но была замечательна своими культурными интересами. По воспоминаниям современника, отец будущего писателя «занимался европейской политикой гораздо более, чем азиатскую свою торговлей. В нем была заметна склонность к тому, чему тогда не было еще имени и что ныне называют либерализм, и он выписывал все газеты, на русском языке тогда выходившие»¹ Страстной любительницей чтения была и мать Полевого. Не случайно поэтому, что, кроме Николая Алексеевича, литературе и журналистике посвятил свою жизнь его брат Ксенофонт. Писательницей стала впоследствии и их старшая сестра Екатерина Алексеевна (в замужестве Авдеева).

Однако, пробуждая в Полевом интерес к литературе, его отец хотел видеть в сыне трезвого предпринимателя. «Нельзя <...> ничего вообразить страннее понятий отца моего об образовании и, вследствие того, о методе воспитания, какое следовало дать детям,— вспоминал позднее Николай Алексеевич.— <...> Он чувствовал пользу учения и образования, желал их, но долго надобно бы говорить, объясняя, что значили в его понятиях слова: *деловой человек* и что такое называл он *вздором*. Писатель в глазах его был что-то странное <...>»² Неблагоприятными были и мате-

¹ Вигель Ф. Ф. Записки: В 7 ч.— М., 1892.— Ч. 2.— С. 187

² См.: [Полевой Н.]. Несколько слов от сочинителя//Полевой Н. Очерки русской литературы: В 2-х ч.— СПб., 1839.— Ч. 1.— С. XXIX—XXX.

риальные условия, в которых проходила юность будущего литератора. Показательно, что лейтмотивом написанной в конце тридцатых годов краткой автобиографии Полевого становится тема трудного движения к осуществлению своего призвания, в ней звучит гордость человека, благодаря собственному трудолюбию перешедшего «из купеческой конторы и водочного завода» «в кабинет литератора и ученые общества и Академии»¹

С детства «влюбленный в грамоту» и «брeдивший стихами»², юный Полевой много, хотя и беспорядочно, читает, пишет прозу, стихотворения, драмы, издает домашнюю газету и журнал, мечтает об исторических трудах. Занятия литературой сочетаются с участием в предприятиях отца, а затем, после переезда семьи в Курск, со службой в конторе богатого купца Баушева. Приобретая вскоре репутацию «делового человека», Полевой, однако же, не довольствуется своим положением. Он стремится к систематическому образованию, мечтает об ученой карьере. «Двадцати лет, — вспомнит он спустя полтора десятилетия в письме к А. А. Бестужеву (от 25. IX 1831 г.), — начал я учиться, сам, без руководства, в глуши (...) на книжонки, купленные из бедного остатка денег, которых у меня было тогда меньше, нежели ничего». Эти занятия — латинским, греческим, французским и немецким языками, русской грамматикой, историей — носили самый серьезный характер и заложили основу многосторонней, хотя и несколько поверхностной, образованности, которая отличала писателя позднее.

В 1817 году молодой литератор дебютирует в печати. В журнале С. Н. Глинки «Русский вестник» появляются его патриотические стихотворения «Воспоминания о трех достопамятных годах, по случаю торжества сего 1817 г. о взятии Парижа» и «Чувства курских жителей по случаю прибытия в Курск графа Баркляя де Толли». За ними следует статья «Отрывки из писем к другу из Курска», посвященная пребыванию в городе императора Александра. Несколько позднее Полевой выступает и в журнале М. Т. Каченовского «Вестник Европы». Но особенно активной становится его литературная деятельность после переезда в Москву в 1820 году. Начинающий писатель знакомится с ведущими московскими и петербургскими журналистами. Его сочинения печатаются на страницах «Отечественных записок» П. П. Свиньина и «Сына отечества» Н. И. Греча, «Северного архива» Ф. В. Булгарина и «Мнемозины» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского. В 1822 году Российская Академия отмечает большой серебряной медалью исследование Полевого о русских глаголах, в том же году он избирается членом-сотрудником Общества любителей российской словесности при Московском университете. Таким

¹ См.: [Полевой Н.]. Несколько слов от сочинителя//Полевой Н. Очерки русской литературы: В 2-х ч.—СПб., 1839.—Ч.1.—С. XXIII.

² Вигель Ф. Ф.—С. 165.

образом, когда в середине 1824 года «курский 2-й гильдии купец Николай, Алексеев сын, Полевой» направляет на имя министра народного просвещения А. С. Шишкова «Предположение об издании с будущего 1825 года нового повременного сочинения под названием „Московский телеграф“», имя его уже имеет в литературном и ученом мире достаточную известность.

С «Московским телеграфом» связаны лучшие годы жизни и деятельности Полевого. Как издатель этого журнала, оставившего глубокий след в русской литературно-общественной жизни последекабрьской эпохи, он главным образом и вошел в историю нашей культуры. Именно журнальная деятельность позволила раскрыться наиболее сильным сторонам личности Полевого — широте интересов, редкой восприимчивости ко всему новому, практицизму и сметливости делового человека, огромной работоспособности, пониманию потребностей своего времени. Одним из первых Полевой осознал роль журнала как средства просвещения, распространение которого он считал наиболее актуальной задачей для современной ему России. «Русь славна только политическим, внешним величием: она дитя умственным образованием», — констатировал писатель в начале 1830-х годов ¹ «⟨...⟩ идти вперед, к лучшему, возбуждать деятельность в умах и будить их от этой пошлой, растительной бездельственности ⟨...⟩ Вот условия, налагаемые современностию на русского журналиста!» ²

«Московский телеграф» был ориентирован на широкого читателя, учитывал самые разнообразные вкусы. Сравнивая «совершенный» журнал с «зеркалом, в котором отражается весь мир нравственный, политический и физический» ³, Полевой придает своему «Телеграфу» энциклопедический характер. На его страницах представлены политическая экономия и статистика, география и языкознание, история, библиография, новости зарубежной жизни, моды, очерки нравов и т. д. Согласно замыслам издателя, журнал начинает играть роль посредника в культурном обмене между Россией и Западом. В нем перепечатываются наиболее любопытные статьи из лучших европейских журналов, пропагандируется научный и технический опыт передовых стран. Видное место занимает в «Московском телеграфе» и художественная литература. В разные годы в нем публикуют свои сочинения Пушкин, Баратынский, Вя-

Полевой Н. Разговор между сочинителем «Русских былей и небылиц» и читателем // [Полевой Н. А.]. Клятва при гробе господнем: Русская быль XV-го века. — М., 1832. — Ч. 1. — С. XIX.

² [Полевой Н.]. Взгляд на некоторые журналы и газеты русские // Моск. телеграф. — 1831. — Ч. 37. — С. 82.

³ [Полевой Н. А.]. Письмо издателя к NN. // Моск. телеграф. — 1825. — Ч. 1. — С. 7

земский, Жуковский, Ф. Глинка, Кюхельбекер, Языков, Крылов, популярные в ту эпоху прозаики Лажечников, Даль, Бестужев-Марлинский, Вельтман и др. Сам издатель выступает в журнале как публицист и критик, беллетрист и историк, сатирик и поэт-пародист. Богато была представлена в «Телеграфе» и иностранная литература: Бальзак, Виньи, Гюго, Мериме, Сю, Ирвинг, Купер, В. Скотт, Гете, Шиллер, Тик, Гофман, братья Шлегели, Цшокке — вот далеко не полный перечень авторов, чьи произведения были помещены в журнале Полевого.

Многообразие содержания «Московского телеграфа» не означало идейной аморфности, беспринципности. Напротив, одной из наиболее сильных сторон издания было наличие программы, объединяющей разнородный материал, придающей «Телеграфу» внутреннее единство и цельность. С самого момента возникновения «Московский телеграф» становится выразителем определенных социально-политических и эстетических мнений. В первые годы существования «Телеграф» выступает как единый орган дворянской и примыкающей к ней разночинной оппозиции. В его редакционный кружок входят Е. А. Баратынский, В. Ф. Одоевский, С. А. Соболевский, близкий друг издателя журнала С. Д. Полторацкий, брат Полевого Ксенофонт Алексеевич. Ведущую роль играет в ту пору в «Московском телеграфе» П. А. Вяземский, привлечший в качестве сотрудников группу близких ему литераторов. Начиная с 1828 года программа журнала Полевого конкретизируется. Он становится выразителем интересов «средних классов» русского общества (прежде всего купечества и промышленников), борцом за буржуазно-демократический прогресс во всех областях жизни¹ «Московский телеграф» выступает против привилегий правящего Россией сословия, начинает широкую критику дворянской культуры, отстаивает идею внесословной ценности личности. В сатирических прибавлениях к журналу («Новый живописец общества и литературы», 1829—1831, и «Камер-обскура книг и людей», 1832) резким нападкам подвергаются чиновнические нравы, крепостное право, быт и мораль современного общества.

Программа Полевого никогда не носила крайнего характера. В качестве основополагающей писатель выдвигал идею союза сословий, сотрудничества самодержавия и русской промышленности. Однако для многих современников Полевого название его журнала и само имя издателя ассоциировались с представлением о революционности, распространении разрушительных начал. Дело здесь заключалось не только в том, что в тяжелую эпоху последекабрьской реакции резко звучал любой голос протеста, но и в самом духе критического отношения к жизни, жажде ее обновления, отличавших «Московский телеграф». «Известна главная

¹ Подробная характеристика общественно-политических взглядов Полевого дана в статье: Орлов В. Н. Николай Полевой и его «Московский телеграф» (Орлов В. Л. Пути и судьбы.— Л., 1971.— С. 326—341, 368—376).

тенденция этого весьма талантливого и во всяком случае замечательного русского писателя, — отмечал уже в середине XIX века бывший оппонент Полевого Н. И. Надеждин. — Он был в полном смысле разрушителем всего старого и в этом отношении действовал благотворно на просвещение, пробуждая застой, который более или менее обнаруживался всюду»¹ Полевой, подчеркивал А. И. Герцен, «был совершенно прав, думая, что всякое уничтожение авторитета есть революционный акт и что человек, сумевший освободиться от гнета великих имен и схоластических авторитетов, уже не может быть полностью ни рабом в религии, ни рабом в обществе»² В высшей степени отчетливо подобные тенденции Полевого сказались в его литературно-критических оценках.

Статьи литературно-критического характера занимали в «Московском телеграфе» видное место. «Никто не оспорит у меня чести, что я первый сделал из критики постоянную часть журнала русского, первый обратил критику на все важнейшие современные предметы», — писал в 1839 году Полевой в предисловии к своим «Очеркам русской литературы»³ Обращаясь в статьях и рецензиях к различным литературным явлениям, он пытался выработать принципы их объективного анализа. Присущее лучшим работам Полевого-критика стремление оценить творчество писателя с исторической точки зрения, учесть влияние на него внешних факторов делает издателя «Телеграфа» одним из ближайших предшественников В. Г. Белинского.

Современную ему эпоху Полевой рассматривает как «время перерождения всех понятий литературных»⁴ Существо же ее он видит в столкновении классицистического и романтического искусства. По своим эстетическим убеждениям Полевой всегда был воинствующим романтиком. Основной пафос его литературно-критических выступлений составляет отрицание классицизма с присущей ему жесткой нормативностью, ориентацией на признанные образцы и борьба за романтическое искусство, сочетающее в себе, по мысли Полевого, национальную самобытность и всемирность, характеризующееся «стремлением — проявить творящую самобытность души человеческой»⁵ Отличительной особенностью свойственной Полевому трактовки эстетических проблем является

Надеждин Н. И. Автобиография // Рус. вестн. — 1856. — Т. 2. — С. 57.

² Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. — М., 1956. — Т. 7. — С. 216.

³ Несколько слов от сочинителя. — С. XIV.

⁴ Полевой Н. Взгляд на некоторые журналы и газеты русские. — С. 79.

⁵ П(олевой) Н. О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах // Моск. телеграф. — 1832. — Ч. 43. — С. 371.

их социально-политическое наполнение. «В концепции Полевого романтизм выступал прежде всего как искусство нового социального качества» по сравнению с дворянским искусством классицизма¹. В этом отношении редактор «Телеграфа» особенно близок прогрессивным французским романтикам 1820—1830-х годов (В. Гюго, Ф. Гизо, В. Кузену и др.), произведения которых он активно пропагандировал в России. Эстетический романтизм сочетается в сознании Полевого с демократическими симпатиями, политическим либерализмом. Ему свойственно сочувствие к национально-освободительному движению в Латинской Америке, Июльской революции 1830 года во Франции, близкие отношения связывали писателя с деятелями польского освободительного движения — А. Мицкевичем, Ф. Малевским и др.

Романтические идеи пронизывают и научные труды Полевого. Преобразователь по самому складу характера, он ставит перед собой задачу реформы русской историографии. В соответствии с современными ему западноевропейскими теориями писатель выдвигает фундаментальное требование философского осмысления прошлого. Оно подразумевает изучение национальной истории как части единого всемирного процесса, поиски в ее событиях всеобщих закономерностей, выявление логики исторического движения. Попыткой реализации этих идей явилась работа Полевого над его «Историей русского народа», издание которой началось в 1829 году.

Появление первых томов «Истории» вызвало беспрецедентную по запальчивости дискуссию, подлинной причиной которой были не столько конкретные достоинства или недостатки труда Полевого (к последним относилось прежде всего некритическое применение к русскому материалу теоретических положений западноевропейской романтической историографии), сколько его полемический характер. «История русского народа» подчеркнута противопоставлялась ее автором знаменитой «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

В литературно-общественной жизни той эпохи недавно умерший Карамзин занимал совершенно особое место. Официальный историограф, монументальный труд которого был осенен покровительством высшей власти, Карамзин в то же время воспринимался как патриарх русской литературы, сохраняющий значение непререкаемого авторитета. С огромным уважением относились к нему писатели пушкинской группы, видевшие в Карамзине образец нравственно высокого, верного своему призванию литератора. В этой ситуации Полевой, начавший в 1829 году критику «Истории государства Российского» резкой статьей в «Московском телеграфе», заявил об устарелости главного труда Карамзина, обвинил его в декламативности, недостатке

Купреянова Е. Н. Н. А. и К. А. Полевые // История русской критики: В 2-х т. — М.; Л., 1958. — Т. 2. — С. 244.

научности, отсутствии объединяющей идеи. Публикация статьи, ясно обнаружившей завершение процесса идейного самоопределения Полевого, послужила началом его открытого наступления на дворянскую литературу. Особым его моментом стала полемика «Московского телеграфа» и «Литературной газеты» А. А. Дельвига и О. М. Сомова.

Если в середине 1820-х годов между Полевым и писателями «пушкинского круга» существуют дружелюбные отношения, то к концу десятилетия они сменяются открытой «литературной неприязнью». Причины ее носили глубоко идейный характер и коренились в том непростом процессе ломки традиционной культуры, который резко обострился в последующие десятилетия. Poleмика с так называемым литературным аристократизмом представлялась издателю «Телеграфа» необходимой частью предпринятого им дела демократизации русской культуры. Однако ее конкретный исторический смысл был далеко не однозначен. Прежде всего отчетливо неоднороден был самый состав «демократической» оппозиции. Заключенный с целью борьбы против «литературных аристократов» союз Полевого с беспринципными журналистами «торгового направления» Булгариным и Гречем, при всей своей недолговечности, лег темным пятном на репутацию писателя. С другой стороны, культура оппозиционной дворянской интеллигенции в начале 1830-х годов сохраняла свое передовое значение, что было явно недооценено издателем «Телеграфа». Poleмика с «литературной аристократией» показала и другую слабую сторону «эстетического радикализма» Полевого: его выступления против «авторитетов» подчас оборачивались культурным нигилизмом, которому пушкинская группа писателей противопоставляла уважение к традиции, служащей основанием подлинного просвещения.

Уязвимые стороны полемических выступлений Полевого, в какой-то мере являвшиеся оборотной стороной их достоинств, не могли перечеркнуть передового значения деятельности писателя эпохи «Телеграфа». «„Московский телеграф“ был решительно лучшим журналом в России, от начала журналистики», — отмечал В. Г. Белинский¹ По словам другого современника, Полевой «лучше всех умел понимать массу читающей публики, любил этот средний класс и был любим им, возвысил его европейскими статьями своего журнала и возвысился сам на степень оракула и протектора»². В 1832 году — спустя семь лет после основания «Москов-

¹ Белинский В. Г. Николай Алексеевич Полевой. — С. 178.

² Записки сенатора К. Н. Лебедева // Рус. архив. — 1910. — Кн. 3. — С. 186.

ского телеграфа» — его издатель мог с гордостью сказать: «Русь меня знает и любит»¹

Пользуясь невиданным успехом у читателей, «Телеграф» в то же время становится объектом резких нападков со стороны большинства современных журналистов. Их негодование вызывают смелость и подчеркнутая независимость критических выступлений Полевого, решительность его литературных приговоров. Стремясь дискредитировать беспоконного собрата, журнальные конкуренты издателя «Телеграфа» иронизируют по поводу его купеческого происхождения, скрупулезно выискивают ошибки в его суждениях, обвиняют в невежестве, меркантилизме, политической неблагонадежности.

Наряду с этим, «Московский телеграф» испытывает постоянное и все усиливающееся давление цензуры. В представлении правительства за его издателем закрепляется репутация критика и оппозиционера. Назначенный в 1833 году министром просвещения С. С. Уваров рассматривает Полевого как непримиримого врага создаваемой им в России охранительной системы и пытается положить конец его деятельности. В апреле 1834 года издание «Московского телеграфа» запрещается. Непосредственным поводом для этого послужил отрицательный отзыв Полевого о казенно-патриотической драме Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», постановка которой на сцене Александринского театра была с восторгом встречена официальным Петербургом и самим императором Николаем I. Однако доклад Уварова о необходимости закрытия журнала показывает, что подлинные причины этого шага были более глубоки и принципиальны. «Давно уже и постоянно, — говорилось в этом докладе, — «Московский телеграф» наполнялся возвещениями о необходимости преобразований и похвалою революциям. Весьма многое, что появляется в злонамеренных французских журналах, «Телеграф» старается передавать русским читателям с похвалою. Революционное направление мыслей, которое справедливо можно назвать нравственную заразою, очевидно обнаруживается в сем журнале, которого тысячи экземпляров расходятся по России, и по неслыханной дерзости, с какою пишутся статьи, в оном помещаемые, читаются с жадным любопытством. Время от времени встречаются в «Телеграфе» похвалы правительству, но тем гнуснее лицемерие: вредное направление мыслей в «Телеграфе», столь опасное для молодых умов, можно доказать множеством примеров»².

Закрытие «Московского телеграфа» явилось для Полевого ударом, от которого он уже не смог оправиться. На несколько лет запрещенным

¹ Разговор между сочинителем «Русских былей и небылиц» и читателем. — С. IX.

² Цит. по кн.: С у х о м л и н о в М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению: В 2-х т. — СПб., 1889. — Т. 2. — С. 412.

в печати становится само имя опального литератора. Семья писателя оказывается на грани материальной катастрофы. Пытаясь бороться с обстоятельствами, Полевой много работает. Он издает роман «Аббадонна» (1834), занимается книжной торговлей, в 1835 году становится инициатором первого у нас иллюстрированного периодического издания «Живописное обозрение», анонимно сотрудничает в «Библиотеке для чтения», трудится над переводом «Гамлета», ставшим важной вехой в освоении творчества Шекспира в России... Но внутренне Полевой уже сломлен. Если еще в начале 1834 года издатель «Московского телеграфа» производит впечатление человека, «одаренного сильным характером, который твердо держится в своих правилах, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильных»¹, то после закрытия журнала стойкость, оптимизм, вера в свои силы все более покидают его.

В октябре 1837 года, тяжелейшее материальное положение (долг Полевого к концу 30-х годов составлял более 80 000 руб. ассигнациями), сложности личной жизни, стремление вернуться к активной журнальной деятельности заставляют писателя переехать в Петербург. «Когда он (...) уезжал из Москвы,— передает И. И. Панаев рассказ Белинского, близко познакомившегося с Полевым в середине 30-х годов,— я проводил его до заставы. У заставы мы обнялись и простились... «Желаю вам успехов и счастья в Петербурге»,— сказал я. Он как-то уныло улыбнулся. „Благодарю вас,— отвечал он,— нет-с уж какие успехи! Но если я буду действовать не так, как следует (он употребил более ясное и резкое выражение), то не вините меня, а пожалейте-с... Я человек, обремененный семейством...“²». Печальным предчувствиям Полевого суждено было оправдаться.

«(...) Мое положение обозначилось и определилось,— писал Николай Алексеевич брату 20 ноября 1837 года вскоре после переезда в Петербург.—Я понял так, что мне надобно как можно не выказываться, не лезть в глаза, стараться, чтобы увидели и удостоверились в моей правоте, чистоте моих намерений». Стремление оправдаться в глазах правительства, доказать свою лояльность становится стержнем общественного поведения писателя в заключительное десятилетие его жизни. Одновременно происходит укрепление связей Полевого с официальными петербургскими литераторами, и в первую очередь с Булгариным и Гречем, в изданиях которых («Сын отечества», «Северная пчела») он вынужден сотрудничать. Все это не могло не отразиться на отношении к Полевому молодых литературных сил. «(...) новые поколения были предубеждены против недавнего любим-

Никитенко А. В. Дневник: В 3-х т.— [Л.], 1955.— Т. 1.— С. 137—138. (Запись от 25 февраля.)

² Панаев И. И. Литературные воспоминания.— [Л.], 1950.— С. 293.

ца русских читателей», — признавал в своих «Записках» К. А. Полевой¹

Между тем рассмотрение эволюции Полевого как намеренного ренегатства некогда вольнолюбивого журналиста было бы явно поверхностным. Несмотря на вынужденную компромиссность, новая позиция писателя оставалась по-своему искренней. Судьба издателя «Московского телеграфа», при всей своей исключительности, имела и типический характер. В той или иной мере ее разделили многие литераторы поколения 20-х годов, которые, перешагнув границы своего времени, сохранили в неизменности былые убеждения и тем самым оказались в конфликте с новой эпохой, ее идеями, настроениями, деятелями. Такое понимание пути Полевого было высказано Н. Г. Чернышевским, писавшим в «Очерках гоголевского периода русской литературы»: «Последние годы деятельности Н. А. Полевого нуждаются в оправдании. Ему не суждено было счастье сойти в могилу чистым от всякого упрека, от всяких подозрений, — но многим ли из людей, долго принимавших участие в умственных или других прениях, достается на долю это счастье? (...) очень естественно, что человек, сначала стоявший во главе движения, делается отсталым и начинает восставать против движения, когда оно неудержимо продолжается далее границ, которые он предвидел, далее цели, к которой он стремился». Полевой «никогда не мог выйти из круга понятий, (...) распространенных у нас его первым журналом, «Московским телеграфом», практически осуществившихся в его повестях и «Аббаддонне (...)»² Со старых романтических позиций он оценивает творчество зрелого Пушкина, осуждает «Героя нашего времени», спорит с Белинским и Гоголем. Неудивительно поэтому, что Полевой-критик уже в конце 30-х — начале 40-х годов теряет свое прежнее значение. Не имеет успеха и журнальная деятельность бывшего издателя «Телеграфа». Большой интерес представляют исторические сочинения Полевого последних лет («Русская история для первоначального чтения», «История Петра Великого» и др.) и его драматургия.

В период с 1838 по 1845 год Полевым было создано около сорока пьес различных жанров (драмы, комедии, водевили и т. д.). В их числе, рядом с романтическим «представлением» «Уголино» (1838) и социальной драмой «Смерть или честь» (1839), стоят произведения, заложившие основу официозного театрального репертуара — «Дедушка русского флота» (1838), «Иголкин, купец новгородский» (1838), «Параша Сибирячка» (1840). В этих сочинениях поэтизируются монархические чувства, предлагается верноподданническая концепция русского национального характера. Умелое владение драматургической техникой, а порой и художественные достоинства предопределили значительный сценический успех

Полевой К. А. Записки. — СПб., 1888. — С. 461.

² Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. — С. 23, 28.

пьес Полевого. Благонамеренная патриотическая тенденция обеспечивала им сочувствие властей. Однако счастливая судьба драматических сочинений Полевого не внесла изменений в тяжелое положение их автора.

Постоянно грозящая писателю материальная катастрофа (он не раз находился на пороге долговой тюрьмы) заставляет Полевого беспрепятственно работать, превращая его, по собственной оценке, в «литературного поденщика». Объем сделанного им в последние годы кажется неправдоподобным. Создавая драматические и беллетристические произведения, выступая как историк и журналист, занимаясь правкой чужих рукописей, переводами, составлением компилятивных сборников, Полевой в иные месяцы подготавливает к публикации до семидесяти пяти печатных листов. «(...) я какая-то самопишущая машина, которую как будто кто-нибудь заводит, а она пишет, что угодно: драму, повесть, историю, критику, — жалуется он в письме к брату от 12—20 ноября 1841 года. — Иногда, как одеревенелый, работаешь, чтобы ни о чем не думать, заглушить всякое человеческое ощущение»¹

В эти годы, вспоминал сын писателя, известный историк литературы П. Н. Полевой, «прежняя самоуверенность и упование в свои силы начинают покидать Николая Алексеевича», «он чаще прежнего переживает минуты слабости, впадает в отчаяние»². Некогда широкие горизонты его жизненных целей и планов сужаются до думы о «пропитании», «спасении с голоду». Размышления о трагическом несовпадении задуманного и осуществившегося становятся ведущими в размышлениях писателя о своей судьбе: «Увы! Чувствую, что *пятый* десяток подсекает крылушки, и притом, когда мечтаю поладить с существенностью? (...) А грустно иногда помыслить, что можно бы, может быть, создать что-нибудь попрочнее эфемера...»³.

22 февраля 1846 года Николай Алексеевич Полевой скончался. За два года до этого он написал слова, со всей ясностью обнаружившие горькое осознание им тщетности своего последнего сражения с жизнью: «Замолчать вовремя — дело великое. Мне надлежало замолчать в 1834 году. Вместо писанья для насущного хлеба и платежа долгов, лучше тогда заняться бы чем-нибудь, хоть торговать в мелочной лавочке. Но кто борец с своею судьбою похвалится, что не все выигранные им битвы были более подарки случая, а не расчета, а проигранные принадлежат ему лично?»⁴

¹ См.: Полевой К. А. Записки. — С. 540.

² Дневник Н. А. Полевого (1838—1845) // Ист. вестн. — 1888. — Апрель. — С. 164.

³ Письмо к А. В. Никитенко от 24 сентября 1838 г. — Рукописный отд. ИРЛИ АН СССР, ф. 18647, № 6, л. 9, об.

⁴ Письмо к К. А. Полевому от 14 февраля 1844 г. // Полевой К. А. Записки. — С. 571.

В обширном и разнообразном по составу наследии Полевого-литератора художественная проза занимает важное место. Причем наиболее значительными являются произведения, созданные в «телеграфский» период деятельности писателя. Именно они к середине 1830-х годов выдвигают Полевого на «одно из главнейших, из самых видных мест между нашими повествователями»¹

Вторая половина 20-х — начало 30-х годов XIX века — время быстрого подъема в русской литературе прозаических жанров и прежде всего — повести. Подобное явление в значительной мере было обусловлено самим развитием романтизма, достигшего в тот период зрелости и превратившегося в господствующее направление литературы. В истории русского романтизма это время озаменовано наиболее активной разработкой проблем историзма и народности. Ведущее значение сохраняет важнейшая для данного литературного направления проблема личности, изображенной в ее столкновении с окружающим миром, но разработка этого конфликта приобретает более конкретный характер по сравнению с предшествующей эпохой. Внутри романтической литературы ощущается усиление реалистических тенденций. В творчестве Полевого-прозаика отмеченные особенности развития романтической повести той поры, ее основные жанрово-тематические разновидности оказались представлены с большой полнотой.

Путь Полевого-беллетриста начинается историческими повестями «Святочные рассказы» (1826) и «Симеон Кирдяпа» (1828, впоследствии получила название «Повесть о Симеоне, Суздальском князе»). Жанр, в котором выступил писатель, начиная с середины 1820-х годов переживает период подъема, быстро становясь наиболее популярным в России. В его развитии Полевому принадлежит одна из ведущих ролей. Писатель и ученый, сочетающий создание художественных произведений о прошлом с самостоятельной научной разработкой проблем истории, Полевой представляет собой характерную для тех лет фигуру. Исторические повести, а позднее и романы издателя «Московского телеграфа» отличает научная основательность, продуманность эстетических установок, стремление к новому для отечественной литературы разрешению коренных внутрижанровых проблем (соотношение факта и вымысла, приемы создания исторического колорита и др.).

На своеобразную художественную природу исторических сочинений Полевого указывает принятое им жанровое обозначение — «быль». По мысли автора, оно подчеркивает достоверность его произведений, их близость исторической основе. «⟨...⟩ Верная нить истории и повествований старинных поведет меня,— поясняет Полевой особенности своей манеры

Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя//Белинский В. Г.— Т. 1.— С. 156.

в программном предисловии к роману «Клятва при гробе господнем» (1832), — только там, где нет изъяснений истории, позволю себе аналогическое прибавление к известному. Русь, как она *была*, точная, верная картина ее — вот моя цель»¹ Однако задача писателя не сводится при этом к простому пересказу исторических материалов. Он стремится вдохнуть жизнь в мертвые факты, воссоздать минувшее в его полноте и неповторимости, и здесь ведущее значение принадлежит художественной интуиции автора. «Воображаю себе, — продолжает он в цитированном предисловии, — что с 1433-го по 1441-й год (время действия романа. — А. К.) я живу на Руси, вижу главные лица, слышу их разговоры (...) записываю, схватываю черты быта, характеров, речи, слова и все излагаю в последовательном порядке (...) это история в лицах; романа нет; завязка и развязка не мои (...) Пусть все живет, действует и говорит, как оно жило, действовало и говорило»²

Сказанным определяется и художественное своеобразие «Повести о Симеоне, Суздальском князе». Для нее характерна документальность фабулы, резкое ослабление роли любовной темы, перемещение центра произведения с изображения отдельных лиц на изображение эпохи в целом. Принятая писателем роль незримого наблюдателя минувших событий, избранная им установка на живое воспроизведение, а не рассказ предопределили такую особенность произведения, как преобладание в нем диалога над авторским повествованием. Основная часть текста строится как последовательность драматизированных эпизодов, включающих в себя скупые авторские ремарки. Лишь с середины повести подобные сцены начинают перебиваться развернутыми отступлениями, в общении читателя с далекой эпохой возникает посредник, выступающий в нескольких ипостасях — бесстрастного исторического комментатора, взволнованного свидетеля событий, осмысливающего их итог философа...

Активизация в повести Полевого драматургического начала рождает чувство современности происходящего. В живой форме диалога впервые возникает в ней тема конфликта Москвы и Суздальско-Нижегородского княжества, как аргументы в споре упоминаются исторические происшествия, знакомство с которыми необходимо читателю для понимания и оценки последующих событий. Драматизированная форма обуславливает и тот факт, что ведущую роль при передаче специфики изображаемой эпохи играют в «Повести о Симеоне...» черты духовного склада героев, а не обычные для литературы той поры описания характерных примет ее материальной культуры. В суждениях персонажей обнаруживаются свойственные им фантастические исторические и географические представления, для оценки жизненных явлений они постоянно используют

Разговор между сочинителем «Русских былей и небылиц» и читателем. — С. XXXII—XXXIII.

² Там же. — С. LVII—LVIII.

готовые формулы фольклора и христианской мифологии и т. д. При этом, реконструируя «особенности древней народности нашей», Полевой так же стремится к полной достоверности, как и при воссоздании фактической стороны событий. Он активно опирается на памятники древнерусской книжности, многие реплики героев могут быть документированы указанием на их конкретный источник.

При всей важности задачи воссоздания минувшего, она не остается в «Повести о Симеоне, Суздальском князе» единственной. Постижение прошлого для Полевого-историка и художника — это прежде всего выявление «идей» исторических событий. Его повесть имеет отчетливо концептуальный характер. В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что три исторические произведения Полевого «телеграфского» десятилетия непосредственно связаны между собой хронологически и посвящены одному и тому же периоду борьбы московских великих князей XIV—XV вв. с удельной системой. В центре «Святочных рассказов» оказывается сопротивление «буйного» Новгорода воле Дмитрия Донского, в «Повести о Симеоне...» — столкновение Василия Дмитриевича Московского и суздальско-нижегородских князей, в «Клятве при гробе господнем» — борьба за великий стол между Василием Темным и его двоюродными братьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Ведущей «идеей» всей этой эпохи явилось, по мысли Полевого-историка, установление на Руси единой державы, ставшего первым шагом к грядущему величию страны¹. Изображение различных этапов объединения русских земель и составляет содержание исторической беллетристики Полевого 1820—1830-х годов, причем, вслед за Карамзиным — автором «Марфы-посадницы» — этот процесс рисуется писателем неоднозначно.

Несомненно, человеческие симпатии в «Повести о Симеоне...» вызывают именно защитники независимости Суздальско-Нижегородского княжества — Симеон, Замятня, боярин Дмитрий, с их смелостью, преданностью, благородством. Напротив, оружием сторонников Василия Дмитриевича оказываются интриги и лицемерие. И тем не менее историческая правда на стороне московского князя. Этическая оценка персонажей в повести Полевого отграничивается от их исторической и политической оценки. В соответствии с критериями последней и судит себя «укоренитель единовластия в Руси» Василий Дмитриевич, стремящийся «собрать во едино рассыпанное и совокупить разделенное».

Переломный характер изображаемой эпохи, ее особый драматизм наглядно представлены в «Повести о Симеоне, Суздальском князе». Еще кипят в ней характерные для удельного периода семейные усобицы (столкновение Симеона и его дяди Бориса Городецкого), но уже рушится сама породившая их система, уступающая место единовластию Москвы. На

¹ П (о л е в о й) Н. Обзорение хода и упадка удельной системы России//Вестн. Европы.— 1825.— № 12.— С. 255—273.

границ катастрофы стоит вершащая покуда судьбы русских княжеств Орда. Силой и хитростью пытается великий князь Василий Дмитриевич объединить разрозненные земли именно в тот момент, когда слабая Русь оказывается перед опасностью уничтожения воинством Тимура. В этих конфликтах по-разному предстают изображенные Полевым герои минувшей эпохи. Как защитник общенациональных интересов, выразитель исторической необходимости выступает московский князь Василий Дмитриевич. Носителем идеи своеобразного исторического фатализма показан подчиняющийся таинственной воле провидения Тимур. Полна трагизма судьба Симеона Суздальского, упорно сражающегося за исторически обреченное дело. Освещение, которое получают в повести Полевого образы основных героев, выводит ее содержание за пределы конкретных исторических проблем. Рядом с ними вырастают характерные для литературы той поры темы гибельности страстей, бессилия человека перед лицом времени и судьбы, придающие финалу повести элегический колорит.

Отчетливая постановка проблемы личности непосредственно сближает историческую беллетристику Полевого с произведениями других прозаических жанров его творчества. Пожалуй, наиболее полно эта центральная для Полевого тема оказалась развита в сборнике «Мечты и жизнь», объединившем ряд сочинений писателя 1829—1834 годов¹

Форма прозаического цикла, связанная с опытами разработки крупных повествовательных жанров, широко распространена в литературе той эпохи. К ней обращаются Пушкин и Гоголь, В. Одоевский, Бестужев-Марлинский, Погорельский, Загоскин, многие менее известные литераторы; на ее основе вырастает лермонтовский роман «Герой нашего времени». Принципы объединения составляющих цикл частей оказываются в этих произведениях различны: они скрепляются единством образа автора или героя, общностью темы или же национального материала. Стержневой для сборника Полевого становится основная проблема романтического искусства — проблема соотношения идеала и действительности.

Входящие в цикл повести несходны по своей конкретной тематике и стилистике. Каждая из них обладает несомненной смысловой автономностью, и потому в большинстве своем включенные в сборник произведения были прежде опубликованы автором как самостоятельные. Однако в результате объединения содержание каждой из составных частей цикла подвергается переосмыслению, происходит своего рода «укрупнение» их проблематики. Сопоставление выявляет единство наиболее глубокого смыслового уровня этих внешне несхожих произведений, единство прони-

¹ Мечты и жизнь, были и повести, сочиненные Николаем Полевым. — М., 1833—1834. — Ч. 1—4.

зывающего их мироощущения. Каждая из повестей цикла предстает как вариация одной и той же романтической темы взаимоотношений незаурядной личности и окружающей действительности, новое воплощение все того же всеобщего и вечного конфликта мечты и реальности. Система этих сочинений приобретает характер универсальной картины действительности, складывающейся из ряда фрагментов. Родается целостная, хотя и несколько схематичная, концепция жизни.

Сборник «Мечты и жизнь» открывается повестью «Блаженство безумия». Такое композиционное решение неслучайно. Выделяясь особой четкостью постановки и принципиальностью разработки проблемы соотношения идеала и действительности, «Блаженство безумия» ясно намечает ведущую тему всего цикла, предопределяет характер восприятия последующих текстов.

Если «Мечты и жизнь» в целом можно было бы охарактеризовать как своего рода хрестоматию типичных для романтизма тем, образов, сюжетных ситуаций, то внутри самого сборника наиболее насыщенным традиционно романтическими чертами произведением является, пожалуй, именно «Блаженство безумия». В нем остро ощущается интерес Полевого к исключительным персонажам и событиям, основой произведения является типичное для литературы той поры противопоставление избранной личности и среды. Реакцией центрального персонажа «Блаженства безумия» Антиоха на несправедливость и пошлость жизни становится вера в иную, трансцендентную, реальность, воплощающую в себе мечту о красоте и духовности. В мире, где торжествуют зависть и меркантилизм, где человек окован цепями «вещественных» отношений, отсутствие верного чувства реальности представляется писателям-романтикам не слабостью, а силой их безумных героев. «На земле,— писал Полевой,— только высочайший фанатизм и высокое сумасшествие могут выразить, и то одну темную сторону (...) идеала неземных чувств!»¹ Именно благодаря необузданности воображения Антиох постигает высокую душу Адельгейды, униженной своей ролью помощницы корыстолюбивого шарлатана Шреккенфельда. Ведущими в повести Полевого оказываются характерные для романтизма темы высокого безумия и идеальной любви, разрешающей для героя загадку бытия, восстанавливающей его цельность и полноту. Высокие чувства центральных персонажей «Блаженства безумия» несовместимы с самим существом окружающей их жизни. Сохраняя чистоту идеала, интенсивность переживаний, герои Полевого бескомпромиссно отрицают реальность и уходят из нее. Но своего рода максимализм проявляет и автор повести, раскрывающий трагизм судеб «не созданных для мира» избранных личностей и в то же время строящий произведение о них как романтическую апологию «жизни в мечте».

¹ П(олевой) Н. Баллады и повести В. А. Жуковского//Моск. телеграф.— 1832.— Ч. 47.— С. 373.

Более сложные очертания конфликт «земного» и «небесного» приобретает в другой повести цикла Полевого — «Живописец». Полнее и детальнее воссоздана здесь картина реальной жизни, с которой сталкивается герой писателя. Внутренне противоречивым рисуется его сознание. Общая для сборника проблема взаимоотношений незаурядной личности и повседневности конкретизируется в данном случае автором как конфликт художника и общества.

Тема искусства — одна из ведущих в литературе той поры. Ее особое положение подсказано романтическим пониманием искусства как высшей сферы духовной деятельности человека, формы проявления идеала в жизни и средства постижения его. Художник предстает гениальной натурой, причастной к идеалу, избранником небес, вдохновенно творящим по их воле. Однако не только сама природа эстетических явлений, но и вопрос о месте искусства в мире, положении художника в обществе занимает русских писателей 30-х годов. Эстетическая проблематика повестей В. Одоевского и Полевого, Пушкина и Гоголя оказывается переплетена с проблематикой социальной.

В творчестве Полевого «Живописцу» сопутствует ряд программных литературно-критических статей: «Сочинения Державина», «Баллады и повести В. А. Жуковского», «„Торквато Тассо“ Кукольника» и др. Их эстетическая концепция, содержащиеся в них конкретные суждения непосредственно касаются основной проблематики повести и служат важнейшим автокомментарием к ней. «Поэт родится: сделаться им, выучиться быть поэтом нельзя,— пишет Полевой в статье о Державине.— Отмеченный небесным знаменем поэзии, он является в мир с гармоническими звуками, с поэтическим взглядом, с особенным устройством души. <...> Среди людей он будет странное, уродливое создание, жертва страстей своих и чужих; жизнь его будет борьба между небом и землею <...> тревожный, беспокойный, снедаемый внутренним огнем, поэт никогда не уживется с людьми, не покорится условиям жизни их! Но если он покори́лся им, увлекся ими, тогда — Прометей, прикованный к скале Кавказа — зачем при рождении своем похищал он небесный огонь и оживлял им брненное свое существо!»¹ Полная драматизма история взаимоотношений художника и мира и составляет содержание повести Полевого. Основой ее концепции становится представление о несовершенстве современной жизни, разобщенности в ней духовного и вещественного начал. Их дисгармония проявляет себя в кризисе искусства, утратившего былую святость и высоту целей. Следствием этого оказывается одиночество истинного художника, не находящего себе места в обществе. Характерно, что романтический мотив противопоставления гения и толпы в «Живописце» социально заостряется. «Чем выше общество, тем более бывает разницы между ним и миром поэта»,— подчеркивает Полевой в статье

¹ П(о л е в о й) Н. Сочинения Державина//Моск. телеграф.— 1832.— Ч. 46.— С. 527—528.

о «драматической фантазии» Н. В. Кукольника «Торквато Тассо»¹ Делая своего Аркадия разночинцем по происхождению, рисуя противостояние героя и высшего света, писатель придает трактовке темы искусства в повести антидворянский оттенок. Он особенно отчетлив в эпизоде осмотра выставки картин Аркадия светскими ценителями живописи. Резко сатирический колорит этого фрагмента повести заставляет вспомнить близкие по характеру очерки и драматические сцены «Нового живописца общества и литературы».

Однако разобщенность духовного и «вещественного» начал выступает в «Живописце» не только как примета окружающего художника мира. Внутренне дисгармонична и сама природа его личности, в которой соседствуют «земное» и «небесное», обыкновенный человек и поэт. Диссонансом этих враждебных стихий определяется противоречивость устремлений героя, присущий ему внутренний разлад («благословенный мир никогда <...> не сходил на мою душу»), трагическая развязка его судьбы.

«От самого себя и от других он требует того, что невозможно»... Цитированные в эпиграфе к повести слова Гете выражают существо ведущей коллизии «Живописца» — столкновение присущего Аркадию стремления к «бесконечному» и ограниченности его собственной природы, характера окружающей его жизни. Отрицающий искусство-забаву, искусство-ремесло, герой Полевого наделен жадой совершенства. «<...> я поставил цель свою недостижимо высоко и стыдился всего, что было ниже моей цели», — признается он рассказчику повести. Однако «невыразимость» идеала (характернейший для романтической литературы мотив!) рождает у него сомнения в своем призвании.

Противоречиво и любовное чувство, испытываемое Аркадием. Оно предстает как уступка гения «земной» половине собственного существа, как обольщение особой поэзией тихого бытия, элементарного, но обаятельного в своей незатейливости, простодушии, покое, столь привлекательном для уставшего в борьбе с жизнью героя. И вместе с тем любовь Аркадия к Вериньке имеет и идеальное значение, выступая как попытка обрести гармонию, воплотить «бесконечность» идеала в «конечных» формах земного счастья.

Любовная трагедия героя в таком освещении приобретает глубокий смысл. Выражая жестокий социальный закон современного мира (отвернувшись от Аркадия, Веринька выбирает ничтожного, но богатого жениха), она выявляет и всеобъемлющий характер противоречий между художником и обществом. Враждебной ему оказывается не только чуждая социальная среда — высший свет, но и сословно близкий круг людей, сохраняющий для него свою привлекательность. В «положительной» жизни общества с ее практическими интересами «выходец из идеального

П < о л е в о й > Н. «Торквато Тассо» Кукольника // Моск. телеграф. — 1834. — Ч. 55. — С. 470.

мира» не находит себе места. Повесть завершается гибелью Аркадия, ценой страданий покупающего посмертное признание своего искусства. Контрастом к его судьбе становится безмятежное счастье героини, довольствующейся в жизни малым.

Незаурядность главного героя «Живописца» — гениального художника — выражена совершенно отчетливо. Однако, как выше отмечалось, подобная неординарность центрального персонажа — примета всего цикла «Мечты и жизнь». Свойственна она и входящей в сборник повести «Эмма».

Характеризуя это произведение в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», Белинский отмечал в «Эмме» теплоту чувства, истинность содержания и особенно выделял социально значимое противопоставление мещанки и аристократки. Действительно, взаимоотношения Эммы и княгини, матери ее возлюбленного, сопоставление мещанского мира родных героини и той частицы высшего света, с которой она сталкивается, составляют в этой повести важную тематическую линию. Тихую, но полную тепла жизнь простых людей автор противопоставляет холоду аристократического быта, уют — великолепию, искренность отношений — бездушному расчету, прикрытому лоском светскости. Такого рода контраст относится к наиболее устойчивым элементам различных произведений Полевого. Типологически близкие противопоставления содержатся в повестях «Живописец» и «Дурочка», романе «Аббадонна», драме «Смерть или честь». Именно с миром простых людей связаны в творчестве Полевого представления о традиционных человеческих добродетелях — честности, прочности семейных начал, доброте и простодушии. Ограниченный в своих интересах и устремлениях, этот мир все же рисуется как наиболее симпатичная область «существенности». Выходцами из него делает писатель своих любимых героев. При всем том границы этой жизненной сферы оказываются в сочинениях Полевого узкими для подобных персонажей.

Несходство главной героини и окружающих ее людей проявляется уже на первых страницах «Эммы». Свойственные юной мечтательнице порывы непонятны ее близким, ей же, в свою очередь, чужды их прозаические представления о счастье. Акцентированная с самого начала высокая духовность Эммы, ее отрешенность от быта выступают в повести как проявления «небесной» природы этого характера.

Как и другие произведения цикла «Мечты и жизнь», «Эмма» — повесть о любви. Здесь развивается уже знакомая нам концепция любви-озарения, любви, вдохновенно прозревающей прекрасную душу избранника сквозь кору «вещества». Своеобразно реализуется в повести романтический мотив всецелия любви, обычно имеющий сугубо метафорический характер: передавая безумному князю часть собственной жизни, половину своей души, Эмма творит чудо, возвращает ему разум. Исключительное по своей природе, силе, последствиям, чувство героини остается непонятым для окружающих. Дедушка Эммы видит в нем залог будуще-

го семейного счастья своей внучки, княгиня — угрозу сословным преимуществам, ее слуги — колдовство или хитрость. На разгадку этого феномена претендует и лечащий князя доктор-немец, который рассматривает происходящее как любопытное с точки зрения естествознания «психофизиологическое» явление. Между тем подобные объяснения оказываются столь же несостоятельны, как и все иные. Наряду с другими романтиками, Полевой считает сферу чувств, область духовной жизни человека принципиально не поддающейся рациональному объяснению. Чудесное возвращение безумцу сознания — именно чудо, творимое любовью, неосязаемой силой, невиданно высоко поднимающей личность героини. Однако всепоглощающий характер этого чувства имеет и обратную сторону. Отвергнутая любовь означает для Эммы катастрофу, утрату цели и смысла бытия. Обретая рассудок, молодой князь все больше удаляется от своей спасительницы. Верх в нем берут понятия, навыки, интересы его круга. Незлой, но безвольный и заурядный, он не способен понять Эмму, ценой жизни расплачивающуюся за свою любовь.

Одной из важнейших задач, стоявших перед русской прозой 1820—1830-х годов, была задача соединения глубокой содержательности, философской значимости литературного произведения и его жизненной достоверности. Она по-разному разрешается Полевым в повестях цикла «Мечты и жизнь». Если «Блаженству безумия», отличающемуся, по словам Белинского, «излишним владычеством мысли»¹, свойствен схематизм характеров и сюжетного построения, то герои «Эммы» и «Живописца», воплощающие романтические представления об идеале небесной любви, о непонятом художнике-гении, одновременно узнаваемы и как живые, реальные люди. В «Мешке с золотом» и «Рассказах русского солдата» традиционная для романтической литературы проблематика «просвечивает» сквозь плотную ткань бытописания. Опираясь в этих произведениях на собственный жизненный опыт, Полевой открывает мало известную образованному читателю сферу русской действительности. В его «народных» повестях даны очерки жизни и психологии различных социальных групп — ямщиков, купцов, бродячих торговцев-«суздалов», городских извозчиков, крестьян, солдат. Важной особенностью этих произведений становится переживание поэзии старого русского быта, прежних нравов. Однако бытовые зарисовки не остаются для писателя самоцелью. Сквозь эту своего рода социальную экзотику в «Мешке с золотом» и «Рассказах русского солдата» просматриваются конфликты, характеры, ситуации, имеющие общечеловеческий смысл. Перед нами «мир, полный страстей, горя и радостей, все человеческих же, но только выражающихся в других формах, по-своему»²

В основе «Мешка с золотом» лежит широко распространенный в литературе той эпохи мотив столкновения патриархальных сельских

¹ О русской повести и повестях г. Гоголя. — С. 157

² Там же.

нравов и порочной городской цивилизации. При этом Полевой показывает, что отличающий современность дух меркантилизма уже проникает и в крестьянскую среду, где бедняк унижен, где деньги становятся почти непреодолимым препятствием на пути любящих сердец к счастью. Более того, разрушительные начала затрагивают и внутренний мир добродетельного героя повести — Ванюши. Действительность пробуждает в нем темные страсти, однако народная мораль оказывается в состоянии преодолеть искушение несправедливого богатства. «Мешок с золотом» — единственная из повестей цикла Полевого — имеет счастливую, почти сказочную развязку, примиряющую все противоречия. Сохранив моральную чистоту, Ванюша, практически вопреки выявленной в повести логике жизни, обретает счастье.

Характеризуя «Мешок с золотом», необходимо отметить, что его конфликт, при всей своей серьезности, все же более локален, нежели в других повестях цикла. Препятствие, стоящее на пути героев (бедность Ванюши), значительно, но вполне конкретно, а потому в принципе устранимо. Напротив, другой крестьянский герой Полевого — Сидор из «Рассказов русского солдата» — испытывает неизменную враждебность судьбы, раз за разом отнимающей у него все дорогое. Обе части повести — своего рода одиссея героя из народа. В ее событиях раскрываются сила и глубина чувств русского крестьянина, его способность к духовному развитию. Пройдя через счастье и потери, совершив подвиги, испытав страдания, герой «Рассказов» возвращается в родные места, но не застает даже следов прежней жизни. «〈...〉 Мне казалось, — признается он, — что я пришел из могилы, с того света выходец, лет через сотню, не нахожу уж ни родных, ни привета». Перед нами словно русский вариант знаменитого героя американского писателя В. Ирвинга — Рип Ван Винкля, с его промелькнувшей кратким сном жизнью и одиночеством среди новых поколений. Характерные для романтизма темы недолговечности человеческого счастья, быстротечности жизни, всеразрушающей силы времени остаются в «Рассказах русского солдата» ведущими. И все же не только ими определяется своеобразие этого произведения. Тесно связанные с романтической традицией, «простонародные» повести Полевого — и прежде всего «Рассказы русского солдата» — заключали в себе и приметы нового, реалистического видения мира. В них отчетливо проявила себя важнейшая тенденция литературного развития 1830-х годов — тенденция к сближению искусства с действительностью. «Простонародные» повести выделяются обостренным интересом к живой реальности, стремлением раскрыть ее эстетически значимые стороны. Их отличают жизнеподobie, достоверность. Сохраняя незаурядность, центральные герои «Рассказов» и «Мешка с золотом» приобретают черты социальной, национальной, исторической типичности. Именно эти особенности повестей Полевого из народной жизни оказались наиболее перспективны с точки зрения последующего развития русской литературы.

Центральный для творчества Полевого конца 1820-х — начала 1830-х годов конфликт «мечты» и «жизни» остается ведущим и в поздней прозе писателя, однако в его интерпретации появляются новые оттенки. Свидетельством тому служит одно из лучших произведений писателя последних лет — высоко оцененная Белинским повесть «Дурочка» (1839). «„Дурочка“, — пишет критик, — (...) напомнила нам прежнего Полевого.... Это не художественное создание, но сколько в ней души, чувства, какая прекрасная мысль лежит в ее основании!»¹ Отмеченная здесь близость повести и ранних произведений Полевого не исчерпывается лишь высокими литературными достоинствами «Дурочки». С сочинениями цикла «Мечты и жизнь» ее роднят сходство сюжета, композиции, образов основных и некоторых второстепенных персонажей. Характерна для Полевого и избранная в данном случае сложная форма повествования, в котором сочетаются слово центрального героя, авторский рассказ, голоса других действующих лиц. Вместе с тем сопоставление выявляет в «Дурочке» не только устойчивые черты поэтики и проблематики прозаических произведений писателя, но и важные приметы совершающейся эволюции Полевого-беллетриста. Темой повести остается столкновение мечты и реальности, однако знакомая ситуация получает новое освещение и развитие. В отличие от раннего творчества Полевого, где между автором-повествователем и центральным персонажем устанавливалась особая психологическая близость, в «Дурочке» между ними возникает отчетливая дистанция. Писатель демонстрирует слабые стороны романтического субъективизма, гибельную слепоту прекрасногодушного героя. Обманутый другими, он обманывается и сам. Увлечшись рожденным в его воображении миражем, Антонин проходит мимо подлинного, хотя и лишеного эффектности, чувства, не узнает родной ему души. Сопереживая своему герою, автор «Дурочки» в то же время развенчивает его восторженность, а в финале высказывает сомнение и в долговечности наступившего разочарования. Подобное переосмысление Полевым образов и сюжетов, характерных для его раннего творчества, обнаруживает важные изменения в мировосприятии писателя, отразившие в себе и общие перемены в литературном сознании эпохи.

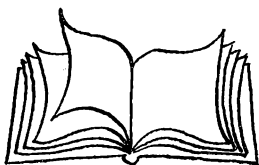
Отношению Полевого к собственному художественному творчеству всегда была свойственна сдержанность. Смотря на себя прежде всего как на писателя-труженика, он не был склонен преувеличивать значения

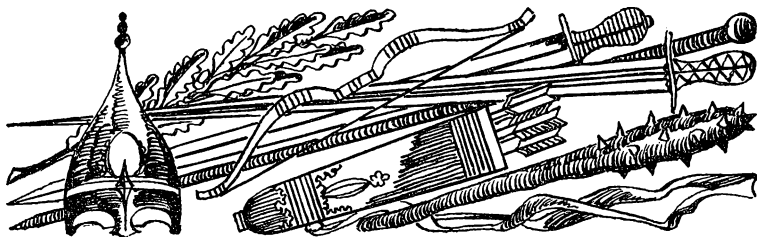
Белинский В. Г. Сто русских литераторов: Издание книгопродавца А. Смирдина. Том первый//Белинский В. Г.— Т. 2.— С. 401.

своих сочинений. «Нам, нынешним литераторам, не быть долговечными, — писал он в 1830 году А. А. Бестужеву (письмо от 20. XII). — Таково наше время. Счастлив, кто возьмет у будущего вексель хоть на одну строчку в истории». Время, вероятно, уже дало ответ на эти сомнения. В истории нашей культуры имя Николая Алексеевича Полевого заняло свое скромное, но достойное место. Произведения Полевого-писателя не просто сохранили исторический интерес как некогда значительные явления литературы — лучшие из них и сегодня не утратили своей способности к живому воздействию на читателя.

А. А. Карпов

ПОВЕСТИ





ПОВЕСТЬ О СИМЕОНЕ, СУЗДАЛЬСКОМ КНЯЗЕ

Благочестивые жители Нижнего Новгорода шли к вечерне в соборный Архангельский храм. Сквозь окна храма мелькали тусклые огни восковых свеч, зажженных перед образами. Церковь была полна народа; на крыльце и в ограде церкви толпился народ, но многие бежали еще опроретью ко храму, и все, казалось, чего-то ждали. Нетерпеливое внимание заметно было в толпе. Подле затворенных лавок на площади собрались нижегородские купцы. Сложив руки и устремив любопытные взоры на княжеский дворец, они говорили между собою. Вокруг дворца в тесноте негде было яблоку упасть. Богато украшенные кони под бархатными попонами, подведенные к крыльцу, видны были с площади сквозь тесовые растворенные ворота.

За толпою купцов у навеса лавок сидел на складном стуле седой старик, угрюмо опершись на палку. Руки его, сложенные на верхушке палки, обделанной в виде костыля, закрыты были длинною бородою его. Красный кушак по синему кафтану показывал достаток его. Он смотрел то на дворец, то на народ, покачивал головою, поднимал ее и опять опускал на руки. Другой старик, сухой и тщедушный, отличавшийся от всех одеждою, подошел к уединенному зрителю, низко поклонился ему и сказал громко:

— Бог на помощь!

— Будь здрав, гость московский! — отвечал нижегородец, — по добру ли по здорову?

— Слава те, господи! Вот получил из Москвы грамотки. Жена, дети здоровы, и товар доплелся до Москвы.

Слова «из Москвы», казалось, оживили старика. Подвинув свою шапку на затылок, он обратил любопытный взор на москвича и невольно повторил слова его:

— Из Москвы?

— Да; но вот, что ты будешь делать: невзгода Москве нашей, да и только — опять была немилость божья, пожарный случай.

— Что? Опять?

— Да, почитай весь посад выгорел, а пожар начался с дома окаянного Аврама Армянина.

— Хм! Часто горит у вас на Москве!

— Да Москва-то не сгорает! — отвечал москвич, коварно улыбаясь, — а вот у вас, в Нижнем, так раз выгорело, да зато ловко.

— Его воля! — вздыхая, отвечал старик и обратил взоры к небу. Заходящее солнце блеснуло ему в глаза, и он, зажмурясь, опустил голову к земле. — Да, попущением божьим о Петровках уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки басурманские, а следы все еще не заглажены. Нижегородцы прображничали тогда наш городок благословенный, и справедливо повелась в народе пословица: «За Пьяною люди пьяны»!

— Москва не вашему городу чета, да и тут после вражьего меча десятый год проходит, а трава растет там, где прежде высились терема и хоромы. Сколько одной божьей благодати сгорело и осталось в запустении!

— Друг ты мой! не говорит ли нам Святое Писание, как тяжек меч вражий? Когда царю Давиду предложили глад, смерть и нашествие неприятельское, он молил бога выбрать легчайшее, и бог не врага, а смерть послал на Израиля. Тяжка смерть, но тяжеле воин вражеский, гибель живая, — не уснет, аще зла на сотворит!

— Но ведь на нашу Москву и враг-то какой нападал! Долго стоять земле русской, а не видать такого злодея, каков Тохтамыш окаянный! Ни в устах милости, ни в сердце жалости. Огнем палит, чего не возьмет, и ни храма божия, ни княжеского чертога не остается за его следом — идет и метет!

— Все равно, что силен, что бессилен, только умел бы железную баню вытопить, да булатом выпарить, а уж татары, злой, ненавистный род, таковы, что, кажется, и во сне-то они мыслят о вреде христианам. Бывал ли ты сам в руках татарских и видал ли ты басурманскую, проклятую гадину в их житье-бытье?

— Оборони меня, господи! Нет! До сих пор господь миловал!

— Истома Захаров любит только издалека греть руки,

а нейдет сам в огонь,— сказал кто-то подле разговаривавших.

Старики оглянулись и увидели, что к ним подошел богатый купец нижегородский Замятня. Москвич переменялся в лице, а седой нижегородец обратился к Замятне.

— Держал бы ты язык свой на привязи,— сказал он.— Точно меч обоюдоострый слова твои: ни брата, ни друга не щадишь — рыкаешь, аки лев на краеградии!

— Да ведь господин Истома мне ни брат, ни друг,— отвечал Замятня, смеясь.— Кто с ним торгует, тот и помолчать может, а целому миру рта не завяжешь. Иной наживает там, где все проживают, и вольно ему было сказать тебе, что он не бывал у татар — люди другое поговаривают!

Истома покраснел и побледнел.

— Добрая слава под лавкой лежит, а худая слава всегда на почетном месте сидит,— пробормотал он.— Мало ли что говорят и о князьях, и о боярах!

— Так будто все и неправду говорят? Глас народа — глас божий! Будто князь да боярин уж всё и хорошо делают? Как ты думаешь, старинушка, господин Некомат? — сказал Замятня, обращаясь к старику в синем кафтане.

Некомат поднял голову.

— Слушай, Замятня,— сказал он, дрожа от досады,— язык твой не доведет тебя до добра! К чему ты приплетаешь речь о князьях и боярах? Нынче и стены слышат, а не только что площадь, где народу так же просторно, как немецкой рыбе аселедцам в бочонке.

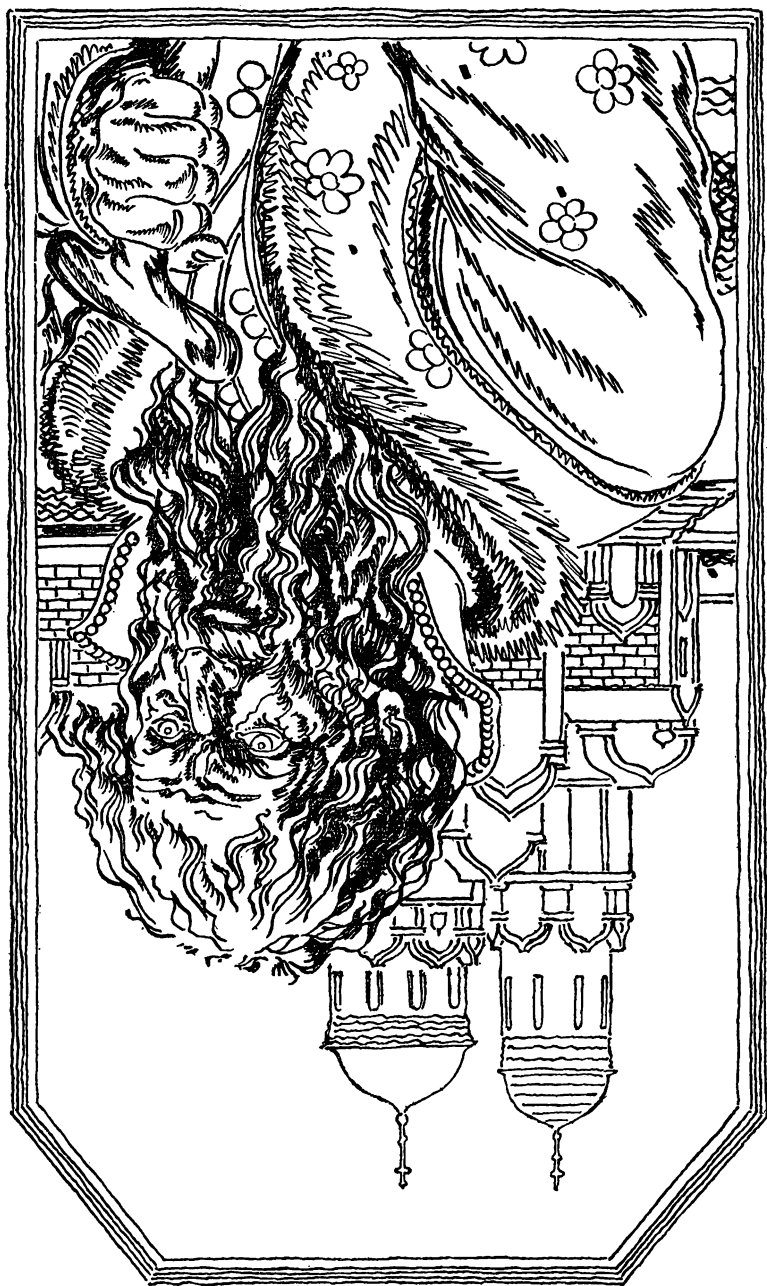
— Я ведь не порицаю никого, да что поговорю, так и только того! Вот иной и не говорит, да еще каждый раз приговаривает к имени своего князя: «Батюшка наш, милостивый князь», а как придет к разделке, так в милостивого князя первый камнем бросает. Бывалое ведь дело — рассказывают...

— Не всякому слуху верь.

— Вот и об Истоме мало ли что говорят! Сказывают, будто он и в люди пошел с тех пор, как погрелся у татарского огонька в Тохтамышево нашествие.

— Я был на Волоке Ламском, когда вражья сила находила на Москву, а потом скрывался в Троицком монастыре. Когда же грелся я у татарского огня?

— Ведь ты не на исповеди теперь,— сказал Замятня, смеясь,— и если и попадался в табор татарский, так уж, верно, неволею, а не волею. Что же делать с татарами!



Сабля вражья и прямую душу кривит. Народ поганый, народ окаянный, времена тяжелые — поневоле свихнешь либо направо, либо налево!

— Ох! тяжелые, тяжелые! — подхватил Некомат, как будто стараясь отдалить от себя неприятный разговор. — Пришествие языка чуждого от стран неведомых — явное знамение пришествия кончины мира!

— Почему же языка неведомого? Кто не знает по-татарски, тому он и неведом, а кто знает, так он и ведом ему.

— Нет, друг ты мой любезный, я говорю о происхождении сынов Агариных. Кто ведает, откуда окаянный рой басурманов налетает на православную Русь?

— Как откуда? Разве ты не слыхивал?

— Нет, слыхал и читал во «Временнике», — отвечал Некомат, — где именно написано, что пришествие их положено при кончине мира. Мефодий Патарский пишет, что Александр Македонский ходил из Индии богатой к лунощному лукоморью и встретил там народов поганых, не соблюдавших ни поста, ни молитвы. И он загнал их за синие горы, загородил горами, сотворил медные врата и запаял *сунклитом*, а его и меч не берет и огонь не жжет! Много лет прошло, они стали прорубаться сквозь гору и вышли.

— Ты забыл прибавить, что они никогда не прорубились бы, если бы мы сами не помогли им. Сперва прогрызли они оконце и начали подавать оттуда золото и самоцветные камни, а в замену просили железа. Что же? Христиане стали к ним железо возами привозить и подавать в оконце, так что лет через тысячу сквозь оконце прошли их тысячи и пришли отбирать свое золото тем железом, которое от христиан выменяли.

Некомат увидел, что его поймали на его исторических знаниях. Он замолчал, а Замятня продолжал говорить:

— То-то, дружище, если бы в христианском мире побольше правды было, так и дело шло бы иначе. Все мы хнычем да головой качаем, а что руки наши нечисты да сердца наши омрачены, о том не подумаем. Вот уж двести лет слишком, как мы кряхтим под татарскою плетью и ждем преставления света, а приготовились ли мы к тому? Грех сказать земле русской, что господь не дает ей владык добрых, да народ-то живет со грехом пополам, так добрые князья, что семя на камне, — процветет и погибнет!

— Правда твоя, — отвечал Истома, отдохнувши после слов Замятни. — Вот и нашу мать Москву выдают со всех

сторон — стоит она, как сиротина на могиле отца и матери, — нет ни помощи, ни пособия от других княжеств!

— Хороша ваша сиротина Москва! — сердито вскричал Замятня. — Придет беда, так она и поет: «помилюйте, православные», а отхлынуло, так того за ворот берет, кто ей помог! Ты, москвич, нашего брата-нижегородца не тронь! В наши сердца глядись, словно в матушку Оку, а в вашей Неглинной и ворон не видит, что он черен. Когда покойный князь Димитрий Иванович попросил стать за святую Русь — кто отказался? А там, как стал он гнуть других, так нечего жаловаться, что выдали его Тохтамышу!

— Не нуждается Москва в вашей помощи! Только зло-то вы не делали бы, да не рыли ямы, и за то бы спасибо! Когда Тохтамыш пришел к Москве и три дня стоял, сам не зная, что делать, когда была у нас потом потеха и на само-стрелах, и на мечях, и наш воевода князь Остей не сдавался ни на какое льстивое слово, кто уговорил его, кто правил тогда на святом евангелии, что татары не сделают зла Москве? Ваши княжичи — Василий да Симеон! На них пали кровь Москвы и пепел святых храмов ее!

— Кто тебе сказывал? Там их вовсе не было!

— Нет! были они, и Москву они погубили! Ты ведь знаешь все дела князя Симеона, злодея, изменщика веры, холопа поганого хана, Некомат? Скажи, правду ли я говорю, что он, злодей, всему виною?

— Почти что правду! — отвечал Некомат задумчиво, как будто нехотя, и наклонив голову. Он, казалось, читал дела прошедшего в темной думе своей.

— Старик, старик! — отвечал Замятня с выражением упрека, — ты в гроб глядишь, а не щадишь своей совести! Симеон изменил Руси? Симеон продал свою веру и разорил Москву? Не в оковах ли приведен он был туда? Не поклялся ли ему Тохтамыш своим проклятым Махметом, что он не тронет в Москве ни синя-пороха? И когда безбожный хан нарушал свою клятву, когда москвитяне безумно поверили басурману, — Симеона обвиняешь ты во всей беде, во всем невзгодье!

Некомат покачал головою, встал с своего стула и тихо начал говорить, поднявши глаза к небу:

— Сердца людские грудью закрыты, и кто же узнает тайные помышления их? Но последствия всегда оправдают праведного и накажут грешника. Если бы Симеон был муж праведен, то, по глаголу, должно бы ему быть счастливым и благоденственным, и роду его величиться. Писано бо

есть, что «память праведнаго с похвалами, и род его яко древо насажденно при исходящи вод». Где же Симеон? Погиб? Где род его? В тюрьме! Князь наш Борис Константинович княжит благоденственно над Нижним и смиряет злобу кротостью. Он праведен, а Симеон злый злое погиб!

— И отец его был такой же вероломный и пагубный! — прибавил Истома хриплым голосом.

— Пощадите хоть кости-то доброго князя вы, Некомат и Истома, вы, кому счастливый кажется праведником, а несчастливый грешником! Нет! Я ел хлеб князя Димитрия Константиновича и не поущу злomu слову пасть на память его! Вспомни ты, горделивый москвич, не он ли получил от хана Агиса грамоту на Московское княжество и отказался от Московского престола, довольный Суздальским уделом? Не он ли потерял любимого сына, когда козни Москвы навели на него злого Арапшу? Не его ли дочь, благочестивая Евдокия, была супругою вашего Димитрия и матерью юного князя Московского, которому ты восписываешь такие хвалы и похвалы? Не сам ли Димитрий возвел Симеона на престол Нижегородский? А теперь, — продолжал Замятня, понизив голос, — теперь, когда князь Борис выкланял себе Нижний, обнадеев хана большею податью, вы славите его величие, а Симеон у вас злодей и отступник.

— Да что судить нам о делах княжеских, — отвечал Некомат, — судит им бог! Мир явно клонится к гибели и злу — брат восстает на брата, отец на сына. Горе идущему, горе и ведущему! Немцы, которые селятся теперь в Москве и Нижнем, до добра не доведут. Слышал ли ты, что какой-то немец вывез в Москву бесову потеху — стрелять живым огнем!

— О, да какая ж была страсть божья! — подхватил Истома. — Как выстрелили в первый раз из той адовой потехи, так души у всех замерли — огонь и гром, дым и смрад пошли из ее жерела, словно свету преставленье! Ох! да что уж нынче — и мертвым костям покоя не стало! Затеял какой-то немец копать у нас на Москве ров кругом города — и гробы разметали, и косточки родительские повыкидали... Прости, господи, наше согрешенье!

Тут шум и крик народа прервали беседу. Все оборотились ко двору и увидели, что князь Борис выезжает из ворот дворцовых, окруженный своими сановниками и боярами. Золото блистало на сбруях коней и одежде князя

и свиты его. Некомат и Истома втеснились в толпу, спешившую навстречу князя.

— Вот заступники твои, князь Симеон,— проговорил тихо Замятня, смотря вслед за Некоматом,— вот люди, которых осыпал ты благодеяниями, которым благодетельствовал отец твой! Первый рубль подкупает их, и первая полтина перевешивает все добро.

— А Замятня забыл, что на площадях не говорят того, что думают,— сказал кто-то. Замятня оборотился и увидел человека с длинною бородою, в худом нищенском кафтане.

— Эх, товарищ! Плох стал народ! — отвечал Замятня вполголоса.

— Когда же он был лучше?

— Нет ни совести, ни правды!

— Правды искать у торгаша Истома! Кто ищет клада на кладбище, приятель?

— А Некомат, человек, которому благодетельствовал князь наш, послушал бы ты, что говорил он об нем и об роде его!

— Что говорить ему! Язык его, как добрый жернов, вертится, куда повернут его на вороту, а ворот его серебро да золото!

Они пошли к церкви и тихо разговаривали дорогою.

— Наболтали мне они и бог знает чего,— сказал Замятня,— а одно залегло у меня на сердце... Послушай: откроешь ли ты мне всю свою душу?

— Для тебя ничего нет скрытого — спрашивай!

— Правду ль говорил мне Истома, будто Симеон изменил вере отцов своих и отступился от христианского закона? Уверен в нем, но человек в невзгоде так хил, так плох... С чего бы взять ему, окаянному!

— Нет! Он клеветает — он лжет! Симеон не изменил ни слову своему, ни вере своей! Храбр, как меч, тверд, как адамант-камень.

— Но горяч, как раскаленное железо, а мир, с своей славой и почестями, так светится, как звезда полуночная,— стол княжеский так слепит глаза...

— Нет! говорю тебе! Горяч, но добро дороже ему золота и имя честное лучше стола княжеского — он не изменит кресту и вечному блаженству за временные блага!

— Слава богу! Ты успокоил меня. Царство темное! Ты не поработило донныне ни одной души княжеской!

— Но послушай, Замятня: ты сам не стоишь доброго слова. Дурак в тебе все высмотрит, как в стеклянной чарке,

и болтун собьет тебя с толку! Будь осторожнее, будь умнее! Эй! береги слова!

— Бог видит душу мою, как я стою за правое дело, да язык мой злодей мой... А уж Истоме окаянному напишу я на иссохшей его роже правду.

— Тише, тише... отойди от меня.

Князь Борис ехал мимо них. Все сняли шапки. Говор в народе уподоблялся жужжанью пчел. «Какой он дородный! — говорил народ, — то-то настоящий князь, то-то добрый князь Нижнего!»

— Помнишь ли ты, — шепнул опять нищий Замятне, — помнишь ли, когда Димитрий Иоаннович так же ехал здесь с князем Симеоном? Не тот ли самый народ смотрел на Димитрия как на орла быстропарного, а на Симеона как на сокола золотокрылого, и не мог нарадоваться красоте двух братьев? А теперь что Симеон!

— Что Симеон? Посмотри, как красуется князь Борис на своем вороном коне, а взглядишь-ка лучше, ведь коня-то этого подарил тогда князь Димитрий Симеону!

— А кожух на боярине Румянце подарен был ему за верную службу его Симеоном!

— Это что за толстяк едет подле князя? — спросил, смеясь, Замятня.

— Неужели не знаешь? Белевут, боярин московский. Он давно приехал сюда с уверением в дружбе от князя Московского. Вот и другой московский боярин, Александр Поле. Он живет здесь уже месяца три.

— А зачем?

— Как зачем? Уверяет в дружбе.

— Разве князь Борис сомневается?

— Бог весть! Видно, что у кого болит, тот о том и говорит. Да что там за толпа такая народа остановила коня княжеского? Смотри — падают на колени! Пойдем ближе.

Замятня и нищий протеснились сквозь народ и стали подле свиты князя. Князь Борис остановил коня. Первый боярин его, Румянец, подскакал к небольшой толпе народа, стоявшей на коленях, и поспешно спросил, что им надобно.

— Мы не к тебе, боярин Румянец, а к князю Борису Константиновичу, — отвечал седой старик.

— Все равно — говорите мне! — поспешно вскричал Румянец.

— Между князем и его народом, когда мы стоим пред лицом его, не надобно посредника, как между богом и человеком нет посредника в молитве!

Румянец покраснел от гнева и грозно закричал им:

— Прочь с дороги!

Князь Борис, безмолвно смотревший на действия Румянца, тихо промолвил ему:

— Что тут за люди, боярин?

— Князь великий! — отвечал Румянец, преклонив голову в знак покорности, — это бродяги вятчане. Они пришли сюда собирать милостыню и рассказывать сказки.

— Нет, князь Нижегородский, — отвечали несколько голосов, — мы не нищие и не милостыни просим, но княжеской милости!

— Помилуй, государь! — воскликнул старший из вятчан, — будь нашим спасителем — смилуйся над нами!

— Но зачем же вы здесь встречаете меня? Зачем не пришли в мой дворец?

— Высоко крыльцо твоего княжеского дворца, и бояре твои стоят на стороже. Боярин Румянец уже третий день гонит нас от твоего двора.

— Боярин! что такое они говорят? — небрежно спросил князь у Румянца.

— Все последние дни ты был занят важными делами, и то ли время — слушать их жалобы! Они то и дело *рагозятся!*

— Всегда время князю пособить своим подданным и везде место спасти! — сказал старший вятчанин. — Государь князь великий! помилуй!

— Ну, да теперь уж не время и здесь не место суда — после, — сказал князь и хотел ехать. — Допустите их ко мне, — примолвил князь, обращаясь к вельможам, за ним ехавшим.

— Нет, князь, мы не сойдем с места. Спаси и помилуй! Жены, дети наши гибнут — защити и спаси нас!

Князь помолчал с минуту. Глубокое молчание было вокруг него.

— Говорите: чего хотите вы от меня? — сказал он, нахмутив брови.

Все вятчане поднялись на ноги. Старший из них подступил ближе и начал говорить:

— Ведомо тебе, государь, что жили мы в Вятке нашей тихо и мирно. Но теперь прошло прежнее время. С тех пор как на Волге появились суда татарские, не стало нам покоя. Уже несколько раз приближались татары к пределам хлыновским. Мы откупались деньгами, отражали силою, а теперь нет нам спасения! Хан Тохтамыш грозит нам огнем и мечом. Его воинство уже давно собирается на Волге

и готовит суда. Мурза Беркут идет повоевать Вятку. Государь! спаси нас!

— Я не могу ни спасти, ни оборонять вас,— отвечал князь,— вы не мои!

— Мы люди и христиане! Мы отдадим тебе Вятку со всеми городами — пошли защитить нас!

— Не могу защитить вас и не стану ссориться с ханом, моим владыкою! Он решает судьбу вашу, и да будет вам, что он судил!

— Они сами разгневали великого хана,— закричал Румянец,— сами грабили его суда, убивали посланцев, крамольничали, ссорились, не платили дани!

— Платили, боярин, платили, но нет у нас более, чем платить. Князь и бояре! перемените гнев на милость! Куда нам деваться, если вы откажете? Кровь христианская не даст покоя вашей совести!

— Старик! не тебе учить меня — иди с богом! Я не могу пособить вам!

— Заклинаю тебя святым храмом Божиим, куда едешь ты, князь нижегородский! Нам остается броситься в воду, погубить души свои! Бог велит русским князьям защищать родные области и взыщет на тебе пощущение!

— Видишь ли, государь,— сказал Румянец,— буйство лапотников? Так-то они поговаривают всегда!

— Кровь наша говорит, боярин! Князь! если ты отринешь нас, тебя отринет бог от престола своего! Спаси христиан!

— Замолчи, старый буйн! — вскричал князь и повернул коня в сторону.

— Итак, нет нам надежды ни от Нижнего Новагорода, ни от Великого Новагорода — один отталкивает и другой не принимает! Князь! предшественники твои не оставляли нас. Князь Симеон и князь Василий ходили помогать нам — не заставь нас пожалеть, что венец Симеона возложен на твою голову!

— Выгоните их из Нижнего! — вскричал князь.— Они буйны, нахалы, крамольники — не повинуются власти хана! — И гневно он удалился.

Горестно заплакали вятчане, когда воины оттолкали их с дороги. Блестящий поезд князя с презрением проехал мимо, и народ хладнокровно смотрел на людей, отверженных князем.

Солнце закатилось. Алая заря горела еще на дальних облаках, и струи Волги тихо плескали в берег, когда нищий, говоривший с Замятнею, шел с площади, откуда в разные стороны расходился народ. День был воскресный. Подле ворот почти каждого дома сидели беседы женщин и девушек, пели песни и играли. Молодые мужчины, в праздничных кафтанах, ходили по улицам и кланялись красным девицам. Нищий шел тихо и медленно. Он поравнялся с забором одного дома и, не доходя до ворот его, остановился. На лавочке у ворот дома сидела молодая девушка, в богатой повязке, с которой множество алых лент падало на спину, и жемчужные подвески спускались почти на полвершка на лицо. Нищий задумчиво смотрел на нее. Тяжелый вздох вылетел из его груди. Он был неподвижен и не приметил, заглядевшись, когда подошел к нему Некомат.

— Куда бредешь ты, божий человек?— спросил Некомат ласково, остановясь подле нищего.

— Куда ноги несут,— отвечал нищий.

— Я выдаю тебя часто,— сказал Некомат,— и часто смотрю, как бродишь ты мимо дома. Для чего не зайти тебе ко мне и не попросить честной милостыни? Рука Некомата всегда отверзта на благостыню.

— Бедность робка, господин, и боится помешать тебе считать твое золото. Спасибо за приветное слово!

— От слов сыт не будешь — пойдем ко мне,— я велю накормить тебя и дам на дорогу хлебца и деньжонок.

— Доволен божьею милостию и не требую ее от людей.— Нищий побрел вперед. Некомат не отставал от него.

— Ты полоумный человек или юродивый, когда от милостыни отказываешься. Кажется, сегодня похорон богатых нигде не было и напиться было негде. Князь и бояре его не щедры.

— Щедра рука каждого дающего, а всякое даяние приемлю я во благо.— Некомат и нищий поравнялись с воротами дома, подле которых сидела девушка. Некомат остановился и сказал ласково: — Это ведь мой дом — зайди ко мне и отдохни!

— Я не знаю, гость Некомат, что ты так ласково говоришь со мною?

— Не знаю отчего, благообразное лицо твое мне нравится. Ты, я чай, не моложе меня. Молитва бедного лучше жемчуга перекаточного — зайди ко мне и помолись моим иконам.

— Поддай мне милостыню, гость Некомат, и все равно — я подарю тебя благословением и на улице!

— Не мечи бисера — размечешься, и не все говори на улице, что можешь сказать в светлице. Мне есть нужда поговорить с тобою.

— О чем же тебе говорить с нищим? Я ничего такого не знаю...

— А я кое-что знаю. *«Высоко сокол летает, себе цаплю выбирает».*

Невольно вздрогнул нищий.

— Пойдем, гость Некомат, если ты требуешь. От хлеба-соли не отказываются!

Они пошли в дом. Девушка, дочь Некомата, ушла в дом, увидя отца. В темноте взобрались Некомат и нищий на высокое крыльцо, в сени и в комнату. Лампадка теплилась пред иконами в углу. Хозяин и гость его помолились и перекланялись. Некомат повесил на крючок свою шапку. Между тем приказчик Некомата, высокий, худощавый мужчина, вошел со свечою, поклонился, поставил свечу на стол и удалился опять с поклоном. Нищий стоял у дверей. Прошло с минуту, пока Некомат молчал. Наконец он поднял руки над головою и громко сказал:

— Буди благословен тот день, когда я увидел опять сына души моей! Боярин Димитрий! — воскликнул он, — ты ли скрываешься от меня?

Нищий молчал и стоял неподвижно.

— Боярин Димитрий! — продолжал Некомат, — ты не хочешь сказать мне ни одного слова?

Тут нищий ступил вперед два шага, распрямился, переменял голос и мужественно и твердо отвечал Некомату:

— Если ты узнал меня, не буду скрываться, да и к чему скрываться мне? Если ты хочешь выдать меня князю Борису, выдавай, но прежде умру я, а не скажу ни тебе, ни ему ни одного слова!

Слезы потекли из глаз Некомата. Он закрыл глаза рукою и дрожащим голосом сказал Димитрию:

— Неужели я не доказал тебе прежде, боярин, как любил я тебя и доброго князя нашего Симеона? Не ты ли просил у меня благословения на брак с моею дочерью? Не я ли прежде обнимал тебя, как сына? Что ты не отстал от нашего князя, что прошло года два, как мы не видались с тобой, — так я и забуду тебя?

— Полно, Некомат, — отвечал Димитрий, — я не шутить пришел к тебе, и меня не обольстишь сказками. Ду-

ша твоя по золоту ходит: было счастье, и ты был друг мне; прошло оно — и ты друг Румянца и князя Бориса.

— Не думал я на старости лет услышать от тебя такое горькое слово! Где же и когда я сотворил зло тебе и твоему князю? Если я не говорю вслух, как Замятня вздорливый, что князь Борис несправедливо сел на столе нижегородском, если я не кричу, что он безбожно отнял Суздальское княжество у своих племянников,— боярин Димитрий! я отец: много гниет в тайниках молодцов за то, что громко поговаривали! подумай — я узнал тебя: не в моей ли было воле указать на тебя князю и сказать: «Вот любимый боярин Симеона — возьми его, князь!»

— Некомат! я не могу оскорбить тебя укорою за прежнюю жизнь. Ты всегда был сребролюбив, но никогда не слышал я, что злое дело легло на твою душу.

— И теперь чиста она, и теперь я вижу в тебе моего друга и сына! — Он обнял Димитрия и крепко прижал к груди своей. — Узнай меня лучше, взглядишь в меня пристальнее!

Димитрий молчал.

— Соглашаюсь, что ты помнишь еще благоденствия Симеона,— сказал он,— но чего же ты от меня хочешь?

— А! ты открыл наконец неприступную душу твою! Теперь узнаешь, чего хочу я,— теперь возвеселится душа моя! — Он потянул веревочку, привязанную к надворному колокольчику. Явился приказчик его.— Поди и позови гостей моих,— сказал ему Некомат,— а ты, Димитрий, пойдем со мною.

Не отвечая ни слова, Димитрий пошел за ним в сени и на лестницу. Некомат отворил дверь. Они вошли в девичий терем. Здесь сидела подле окна дочь Некомата с своею нянею. Она встала и почтительно поклонилась отцу и гостю.

— Няня! Поди и принеси нам хорошего меду! — сказал Некомат.— Хочу выпить с нищим братом моим из любимой золотой чары. Тебе не впервые угощать у меня нищую братию!

Няня вышла. Несколько минут все молчали. Некомат как будто ожидал, пока няня сойдет с терема.

— Дочь моя ненаглядная! — сказал тогда Некомат,— помнишь ли ты жениха своего?

Девушка вздохнула и не знала, что сказать.

— Ах! батюшка... — прошептала она, запинаясь.

— Жениха твоего, боярина Димитрия? Отвечай мне, Ксения!

Слезы навернулись на глазах Ксении и покатались по лицу ее. Кисейным рукавом своим отерла она их и промолвила:

— Батюшка! все забыто, кажется — все... и давно...

— Нет! Я не забыл...

— И где теперь мой жених! В какой стороне скитается он...

— Он здесь, Ксения! Посмотри — вот он, твой суженый!

— Ах! — вскричала Ксения, и ноги ее подломились — она как полотно побледнела.

— Боярин Димитрий! Разве ты не хочешь открыть ей своей тайны? Видишь ли теперь, что я не изменник, что я не зла желал тебе, что родное дитя мое я не отнимаю у тебя, не отнимаю того, что мне всего дороже...

— Некомат! — вскричал Димитрий, — вижу все и обвиняю тебя, как друга и отца! Ксения! Димитрий опять с тобою!

Ксения плакала навзрыд.

— Я не понимаю тебя, Некомат, — сказал печально Димитрий, — не понимаю, что ты делаешь со мною и чего ты хочешь, обновляя то, что я хотел, что я старался забыть!

Некомат улыбнулся:

— Поцелуй свою невесту, свою суженую, а потом я расскажу тебе все. Некомат, поверь, не дремал в то время, когда не спала злоба врагов Симеона.

Димитрий обнял трепещущую Ксению и напечатлел поцелуй на губах ее.

— Ты не узнала меня? — спрашивал он. Ты видела меня в наряде боярина, а теперь я нищий — поддельная борода и рубища мои представляют тебе старика дряхлого. Не кручинься, душа моя, — узнай меня опять!

— Сердце мое не забывало тебя! — шептала ему Ксения.

— Но вот идет няня! — сказал торопливо Некомат, — она не ведает нашей тайны. Пойдем, Димитрий, пойдем! — Он вырвал руку его из рук дочери и повлек его за собою.

Они опять сошли в Некоматову светлицу. Как изумился Димитрий, увидя накрытый стол, блиставший серебряною посудю, и, когда два человека, сидевшие на передней

лавке, встали, узнавши в них Александра Поле и Белевута, бояр московских.

Дружески подошли к нему бояре и приветствовали его ласково.

— Добро пожаловать, боярин Димитрий! — говорил Поле, обнимая Димитрия. — Юный годами, ты равен мне саном и подвигами! Мы не видались с тобою с самой Куликовской битвы. Тогда еще я заметил тебя в рядах воинов суздальских. Вот как теперь ты закутался, что тебя и не узнаешь! Да все равно: боярская кровь течет и под рубищем.

Димитрий не понимал, что значит все им виденное и слышанное. Он пробормотал несколько слов и остановился.

— Чара меду развяжет уста его, — сказал Некомат и налил четыре огромные стопы из оловянного жбана. — Да здравствует князь Василий Димитриевич Московский, племянник и друг князя Симеона! — воскликнул Некомат.

— Да здравствует! — повторили московские бояре. Димитрий взял стопу; все разом чокнулись, и разом все стопы были осушены.



«Куда он запропастился? Где девался? Вот уж загорается заря на востоке — не сделалось ли с ним беды какой? Избави нас, господи!» — так говорил сам с собою человек, бродивший по берегу Волги и беспокожно глядевший во все стороны.

Вдруг вдалеке показался другой человек и шел прямо к тому месту, где бродил нетерпеливо ожидавший. Тот остановился, огляделся пристально и, видя, что идут прямо на него, запел вполголоса: «Высоко сокол летает». Подходивший повторил также: «Себе цаплю выбирает».

— Ты ли, Димитрий? — спросил первый.

— Я, — отвечал подходивший. — Ты давно ждешь меня, Замятня?

— Давно! Хорош молодец! Спрашивает, как будто и не знает, что я с полуночи торчу здесь, словно грань поверстная, а теперь скоро светать начнет!

— Терпи, товарищ! — сказал Димитрий, крепко ударив его в руку, — терпи — скоро и на нашей улице праздник будет!

— Да ты и то как будто с праздника! Некстати, брат, затеял ты веселиться, куда некстати!

— Не ври, Замятня, пустая башка! У тебя сквозь голову слова летят, ума не спросившись.

— Димитрий! Что тебе вздумалось?

— Слушай, Замятня! Ты добрый человек, но точный колокол! Стоит раскачать язык твой, и ты зазвонишь на весь мир. Знаешь ли ты, до чего было доводил ты всех нас? До плахи, безумный болтун!

Замятня содрогнулся.

— Да, Некомат знал уже, что ты собираешь верных слуг Симеона, знал, где скрытно хранится у вас оружие и где вы собираетесь. Третий день как я в Нижнем, а вчера Некомат уже заметил меня — и все по твоей милости!

— Провались я сквозь землю, если сказал хоть слово...

— И полуслова довольно для такой хитрой головы, какова Некоматова. Ты кричал везде и всегда, пел даже песню нашу при Некомате, и он все разведаль, все узнал...

— Ах! сгинь он, окаянный! Да я ему сегодня же шею сверну — вот и концы в воду.

— Молчи и слушай. Ты знаешь, что Некомат был одним из любимых слуг князя Димитрия Константиновича — Симеон вырос при нем, и в былое время, когда глазки его Ксении зажгли мое ретивое, дело у нас было слажено. Но князь Борис завладел Нижним, Симеон бежал, и я следовал за князем. У Некомата сердце заперто в золотом сундуке его, но я прощаю ему, что он не расстался с Нижним и с сундуком своим. Он наш...

— О! если бы слова твои были правда!

— Слушай далее. Князь Московский послушался благого совета своей матери. Он теперь в Орде, и когда, поехавши туда, подле Симонова монастыря взглянул он в последний раз на Москву и на расставанье горько заплакал, княгиня Евдокия Дмитриевна молвила ему золотое слово: «Сын милый! не обижай дядьев, не тронь Нижнего! Москвы довольно тебе и детям твоим — так и отец твой думал!» Князь умилился и дал ей слово передать Нижний Симеону, Суздаль — Василью, а Бориса пересадить в Городец по-старому, когда бог принесет его подобру-поздорову из Орды. Тогда приехал в Нижний московский боярин Поле...

— Но ведь он приехал к Борису?

— Что станешь делать, когда в нынешнем свете и правду делать можно только через неправду — таков обычай повелся! Боярин Поле бражничал с Борисом и разведывал о доброхотах Симеона. наших товарищей никто не знал, но

Некомат перемолвился с Полем, догадался, а теперь они поладили, и за веселой беседой втроем мы все кончили!

— Кончили? Чем?

— Быть Симеону князем Нижегородским, под рукой племянника своего князя Московского, по благословению сестры его княгини Евдокии. Князю Василью отдать Суздаль, а князь Борис добро пожаловать по-старому в Городец! Завтра либо послезавтра явятся сюда послы татарские и московские. Христианской крови лить не будем. Придем к князю Борису и ласково скажем ему: «Не на своем столе сел, князь Городецкий...»

— И тогда-то запируем, товарищ! Вместе горе, вместе радость! Да здравствует Симеон!

— Тише, тише! Вон народ уж зашевелился. Ползут на белый свет суеты и заботы — пойдем скорее...

Они замолчали и спешили идти. Но, поравнявшись с домом Некомата, Димитрий остановился, посмотрел несколько мгновений на терема его и узорчатые кровли и невольно промолвил:

— Свет мой, невеста нареченная! почивай с богом, да просыпайся на радость! Взойдет и для нас красное солнышко!..

Когда от избытка радости говорил Димитрий, ворон сел на кровлю Некоматова дома. В тишине утра зловещий голос его раздался, как вестник горя и несчастья, и собака жалобно завывала на ближнем дворе. Димитрий содрогнулся — сердце у него замерло...



Солнце только что осветило Нижний Новгород и яркими лучами заиграло в струях Волги, как в ворота Некоматова дома застучали железным кольцом. Глухой стук в медную бляху раздался по улице, и через минуту полусонный дворник Некомата откликнулся, не отворяя ворот:

— Кто там?

— Добрые люди! — отвечал человек, стучавший в ворота и пожимавшийся от утреннего холода. — Отворяй!

— Да кого тебе надобно? — спросил опять дворник, унимая двух огромных собак, громко лаявших на дворе.

— Самого хозяина твоего, старый хрыч! Отвори скорее — разве ты меня не знаешь?

Ворча про себя, дворник отпер огромный висячий замок, отворил немного ворота, высунул голову и увидел человека в беличьей тулупе, огромного и толстого. Он хотел повторить свои вопросы, но, видно, гость не был

расположен отвечать ему. Он грубо оттолкнул старика и вошел во двор. Собаки бросились на него.

— Уйми их, старый! — вскричал незнакомец.

— Сам уйми, московский барин! — отвечал дворник сердито.

На лай и шум отдернулось волоковое окошко и показалась голова Некомата.

— Кто тут шумит? — вскричал Некомат, но, увидев незнакомца, он переменял голос и ласково прибавил: — А! добро пожаловать, ранний гостенек, добро пожаловать!

— Вели проводить меня, Некомат! Дворник твой с товарищами загрызли меня.

— Тотчас, тотчас! — Волоковое окошко задернулось, и через минуту Некомат, в засаленном полукафтаны и с огромною связкою ключей у пояса явился на крыльце. Гость вошел к нему. — Милости просим, боярин Белевут! — говорил ему Некомат, растворяя дверь светлицы.

— Крепко ты живешь, гость Некомат. Видно, что деньги бережешь.

— И, боярин! Какие у нашего брата, бедного торгаша, деньги! Уж так у нас заведено. Ведь мы не вам под стать и полоротыми ворот никогда не оставляем. Есть и недобрый народ — как не бояться...

— А особливо, когда вот этакое добро водится в доме! — сказал Белевут, усмехаясь и указывая на множество соборей и лисиц, раскладенных по лавкам, и на большую, окованную железом шкатулку, стоявшую на столе.

Некомат с трудом поднял шкатулку со стола и поставил под лавку:

— Извини, боярин, что прибраться не успел. Так, вздумалось было поразобрать товар — вчера купил. И кто ж думал, что так рано пожалует ко мне такой дорогой гость? Не знал я, что ты встаешь с петухами. Наши бояре долее залеживаются на своих пуховиках.

— Нет! этого я не скажу: у вашего князя уж давно хлопают бичами и трубят в рога на Соколином дворе. Он тоже, видно, следует Мономахову наставлению: вставать рано и день начинать с солнцем.

— Что и говорить, боярин! На охоту у нас рано встают, а дела так просыпают!

— Да и Нижний-то едва ли не проспали!

— Кажись, так, — отвечал Некомат, сомнительно взглянув на Белевута.

— Сказано — сделано, гость Некомат! Ведь мы обо всем переговорили, и я тебя еще вчера поздравил с дорогим

зятю. Боярин Димитрий молодец хоть куда, — прибавил он, перебирая рукою рыжую бороду свою и усмехаясь.

— Добрый молодец, боярин, — отвечал Некомат, в недоумении глядя на Белевута.

— Ну, и не бедный, прибавь к тому!

— Княжескою милостью, боярин, а с нею и богатство будет.

— Ведь он старого рода, так как не быть у него и старинке отцовской!

— Какая же старинка, боярин, когда ему теперь головы негде приклонить! Да и отец его был такая беспутница и бестолковица! Бывало, обеими руками сорит деньги, дает встречному и поперечному, а кроме того пиры да гульба, бражничанье да беседы! Дом у него был, как полная чаша, — и теперь еще есть остатки, правда, да не в руках. Но если по милости вас, бояр, и князя вашего Василия Димитриевича Симеон будет князем Нижегородским, так Димитрий с лихвой получит все, чем из добра его завладел Румянец с братией, и дочери моей, конечно, не придется самой варить щи.

— Но за такого честного боярина можно отдать дочку, когда и денег лишних у него не было бы...

— Оно так, да чем жить-то им будет, боярин? И курица пьет, а человек кровь и плоть — ест и пьет!

— Что тут говорить, Некомат! Честь чего-нибудь стоит!

— Честь не в честь, когда нечего есть, боярин. Правда, нашему брату посадскому с боярином породниться почесть немалая, но всё деньги притом не лишнее.

— Полно притворяться, гость Некомат. На твою долю станет и зятю дать еще останется. Будто в Нижнем и не знают, что у кого есть... Земля говорит!..

— Хоть и праведно нажитым, а хвалиться не буду, но господь помог мне скопить кое-что, чем под старость дней моих могу пропитаться.

— Видишь, в нынешнее время, Некомат, на том все вертится: и чин да почесть не столь надежны ныне, как ларец кованый, где боярство и княжество твои лежат спокойно и звенят, когда велишь им звенеть. Было бы на что купить, а то — что ныне не продается!

Некомат слушал в изумлении; губы его дрожали; слова замирали на его устах. Он хотел, казалось, угадать, что такое скрывал Белевут под своими обиняками, но толстое лицо Белевута было неподвижно. Играя концами своего узорочного кушака, он продолжал:

— Чего ты испугался, Некомат? Я займы у тебя

просить не стану. Мне хотелось только сказать тебе, что я смотрю на все не такими глазами, какими, кажется, ты смотришь. Вы все глядите на Нижний свой, а что бы вам не поглядеть через него далее — ну, хоть и в Москву...

— Как нам забывать Москву, боярин! От нее и смерть, и живот. От вашего князя ждем мы теперь милости.

— От вашего! Говори вернее — от *нашего*.

— Как, боярин?

— Так, гость Некомат. Ужли тебе такая мысль в голову не приходила? Когда рука Московского князя может посадить и ссадить князя Нижегородского, тут много ли думать надобно?

— Боярин! что ты хочешь сказать? Вчера ты говорил, что князь Московский готов помогать нашему, показывал грамоту его...

Белевут встал и начал ходить по светлице. Он, казалось, искал слов, не зная, как приступить к тому, что хотел сказать.

— Видишь что,— промолвил он наконец,— милости нашего князя неистошмы. Он щедр для тех, кто ему послушен, и грозен тем, кто его ослушается. В Москве и безопаснее, и привольнее житье. Кто поручится, что будет вперед... Ну, да я почитал тебя догадливей, гость Некомат! — вскричал сердито Белевут и взялся за свою богатую шапку.

— Боярин, господин честной и почтенный! — сказал Некомат, кланяясь,— не гневайся! Ведь и мы, посадские, смекнуть умеем. Ты загонул загадку, а отгадка-то, видно, после сказана будет?

— Умный и теперь ее угадает, гость Некомат,— отвечал Белевут, смеясь.— Не ручаюсь за вашего Симеона — ведь еще будет ли он послушен нашему князю, а не будет... так знаешь — старший брат волен меньшому и покрепче приказать — ну а нашему брату что мешаться в княжие дела? Было бы нам тепло, а у какой печки греешься,— тебе что до того? Да вот к воротам подвели моего коня. Князь Борис звал меня с собою. Некомат! понял ли ты меня! Верь дружбе Белевута и на старости не одурачь себя. И в Москве есть женихи для дочерей богатых гостей нижегородских!

Он вынул лист бумаги, на котором написано было множество имен.

— Видишь!— сказал он Некомату, указывая на имена Димитрия, Замятни и других, подле коих поставлены были

киноварью крестики.— А вот и Некоматово имя! — Он указал на замаранное черными чернилами имя его.

Некомат побледнел, когда Белевут спокойно прибавил:

— А, вот этого молодца-то я и забыл,— и ногтем провел черту подле имени брата Некоматова, Федора, горячего приверженца Симеонова.

«Господи, вразуми меня!» — шептал про себя Некомат. Тут Белевут обратился к нему, но лицо Некомата уже прояснело. Никакого недоумения не изъяслял он и ласково, почтительно пожимал толстую Белевутову руку, проводя гостя с крыльца. Белевут еще остановился на первой ступеньке, подумал, шагнул еще — и воротился.

— Некомат! — сказал он,— во всем власть божия да княжая; а дружба Белевута не изменит тебе и понадежнее дружды боярина без боярства!

Он сошел поспешно, сел на своего коня и поехал ко дворцу княжескому.

Скорыми шагами возвратился Некомат в светлицу, остановился, подумал, еще подумал и, как будто недоумевая, громко сказал сам себе: «Что же? Они думают погубить меня? Аль сберечь? Что говорил он вчера? А что теперь говорит? Боже, господи! Милостив буди мне, грешному!» Жадно озирался он кругом на груды соболей и чернобурых лисиц. «Вот,— вскричал он,— к чему и стяжание! Пособит ли оно тебе в час гнева божия? Ты смотришь на свое золото и серебро, а между тем боярин какой-нибудь ставит красный крестик подле твоего имени, и дни твои изочтены суть!..» В раздумье ходил он по светлице. «Однако ж,— вскричал он, остановясь,— не сули журавля в поле, а дай синицу, да в руки,— мне-то что же? Да! Безумный я был в то время, когда медом моим запивал посулы московские! Ждать бы мне, ждать, да и только — нелегкая меня дернула...» И поспешно стал Некомат складывать в сундук дорожные товары свои. Потом схватил он шкатулку и, нагибаясь под ее тяжестью, вышел в задние двери.

Между тем Белевут подъезжал ко дворцу княжескому, и из ворот дворцовых высыпало навстречу его множество сокольников и охотников, вельмож, бояр, а за всеми выехал сам князь Борис. Дорогой сокол сидел на руке его. Конь шел гордо и величаво.

— Здравия боярину московскому! — сказал Борис ве-

село.— Насилу приехал ты, старый сокол! Пора, пора! Видишь ли, какой у меня молодец?

Он щелкнул в нос своего сокола.

— Сокол хорош, и пора тебе пошевелиться с места, пора, князь Нижегородский! — отвечал Белевут. — Я ждал ответа боярина Румянца.

— Все готово, боярин, — сказал Румянец смеясь.

— Так поедem скорее. «Кто погуляет утром часа два, тот запасется здоровьем на два года», — говорил мне когда-то армянин-лекарь.

— Сам сухой, как спичка, так уж как не поверить ему! — подхватил Румянец. Все засмеялись, и поезд княжеский отправился. Дорогой Белевут приблизился к Румянцу.

— Что московский колдун? Сколдовал ли? — спросил его Румянец тихо.

— Высылай на Коломенскую дорогу. Они близко! — отвечал Белевут.

— Так пускай же князь тешится охотой, — шепнул Румянец, — а мы потешим его поладнее!

Он отстал от поезда княжеского в переулке, куда повернул Борис с своею свитою. Тихо простоял он там, пока все проехали, и поскакал назад. Ему попался боярин Поле.

— Что? — вскричал Поле. — Убаюкано ли твое дитя?

— Они распотешились охотою, — отвечал Румянец. — Далеко ли ваши?

— Не замешкают! Скачи во дворец и прибери все к рукам, да не положи оулы на руку!

— Вот еще о чем тревога!



Между тем князь Борис и свита его выехали из города. День был осенний, но прекрасный. Перед ними открылся вдаль густой лес, через который пробита была торная дорога к заповедным болотам княжеским. Сокольники поскакали вперед — и вот длинноногая цапля поднялась над лесом, вылетела на дорогу — и княжеский сокол спущен. Он взвился стрелою, прямо к цапле, но цапля уже стерегла его, быстро перевернулась через голову, сокол промахнул — крик, хохот и шум охотников раздался по лесу. Сокол опять взвился и камнем пустился вниз, стараясь перебить ветер у своей добычи. Увертливая цапля видела опасность, хотела спастись от своего страшно-

го преследователя и полетела в сторону. Все поскакали туда.

Вдруг вдалеке поднялась пыль. Казалось, что множество всадников скачут во весь опор. Князь и свита не могли понять: кто смел выехать на дорогу, где запрещено было ездить, когда князь охотится?

— Чего смотрят ваши сторожевые? — закричал гневно Борис. — Смотри, что за сволочь там шевелится? Схватить их, в город, в тюрьму!

— Князь! — отвечал один из бояр. — Сюда скачут какие-то всадники, и прямо на нас! Эй! сокольники, сюда, к князю!

В смятении столпилась вокруг князя Бориса свита его. Всадники приближались. Их было около десяти человек, с головы до ног вооруженных. Между ними отличался один одеждою и величественным ростом своим. Он скакал впереди всех.

— Господи помилуй! — вскричал князь Борис, перекрестившись. — Что такое? Ошибаюсь ли я? Симеон? Измена! Вы меня хотите ему выдать!

— Нет, князь! — вскричали несколько голосов. Мечи были обнажены и бердыши выправлены.

— Остановитесь, остановитесь! — издали кричал воин, ехавший впереди других. — Князь Борис! Тебе кланяется твой племянник: или ты не узнаешь меня? Я — Симеон!

— Как не узнать тебя, неожиданный гость! — вскричал Борис. — Откуда птица вылетела? Зачем залетела на святую Русь?

Симеон остановил всадников своих. Все они сделались неподвижны по слову Симеона. Он один приблизился к Борису и хотел говорить.

— Отойди прочь, изменник, отступник, — закричал гневно Борис. — Спрашиваю тебя еще раз: зачем явился ты сюда? Или, как второй Святополк, хочешь ты зарезать нового Бориса?

— Родимый дядя хорошо привечает племянника! — сказал Симеон, горестно улыбаясь. — Боже, творец небесный! Диво ли, что православная Русь погибает! Дядя крамольничает на племянника, племянник отнимает добро дядино — и вот как встречает родня родного через два года разлуки! Здравствуй, князь Борис Константинович! Хоть не бранись, пожалуй, когда я не начинаю брани. Прежде Симеон не дал бы тебе в том переду, но время переходчиво — что делать! Дай мне свою руку и помиримся...

— Мне с тобой мириться, выродок князей Суздальских! — Преклони колени и жди суда дяди твоего и князя! Возьми его, дружина!

Вдруг бросились несколько человек на Симеона. Он осадил коня своего и схватился за меч рукою.

— Прочь вы, сволочь наемная, цаплины дети! — вскричал он громовым голосом. — Со мной нет золота — и кто подступит ко мне, тот переведается с железом!

Дружина Симеонова прискакала к нему, видя его опасность. Еще раз остановил ее Симеон.

— Князь Борис! дай мне вымолвить слово. Разве я сумасшедший, что приду гнать тебя из Нижнего с десятью человеками или приду отдаться тебе руками? Удержи твою челядь и слушай!

— Отдай оружие! — вскричал князь Борис.

— На, возьми его! — отвечал Симеон и гневно кинул к ногам его свой меч и свое копье. — Безумный князь! гибель над твоей головой, а ты скачешь по болотам за цаплями! Симеон не ходил по-твоему челобитничать о чужом наследстве у хана, а отнимал у тебя честным боем свое наследие. Я пришел к тебе мириться — мириться в час общей гибели! Не требую твоего привета и ласки — не гордись и знай: ты и я — мы погибли оба!

— Что ты смеешь говорить мне, бродяга?

— Господи! Пошли мне духа кротости! — вскричал Симеон, сложа руки и обратив взоры к небу. — Князь Борис! хорошо — я отдаю тебе — вели удалиться твоей дружине, и я расскажу тебе все. Три дня без отдыха скакал я в Нижний, и уж сутки не было у меня во рту макова зерна. Не врагом пришел я к тебе и не ссориться с тобою. Ты знаешь Симеона и поверишь, что, если бы не последняя мера суда божия на обоих нас, — ты не увидел бы здесь меня безоружного!

— Вижу, что ты пришел с покорною головою, Симеон, — сказал Борис, успокоенный поступками Симеона. — Теперь здравствуй!

— Здравствуй, *раб князя Московского!* — отвечал Симеон, презрительно усмехаясь.

— Как? Ты смеешь мне сказать?

— Поезжай скорее в свой дворец и встречай послов московских. Они теперь уж, верно, в Нижнем и привезли тебе подарки от хана.

Борис побледнел и оглянулся на своих воинов.

— Где Румянец? — вскричал он. — Где Белевут? — и затрепетал, не видя их. Общее смущение видно было на

всех лицах.— Симеон! Ради бога скажи: что ты говорил мне? Какие послы? Какие подарки?

— Ох! князь Борис! И ты хочешь княжить в такое время? Он и не знает, что у него делается! Вот теперь-то спознаешь ты, кто тебе был враг настоящий и чего тебе беречься! Поедем скорее в Нижний — я все расскажу дорогою.

Он повернул коня. Безмолвно следовали за ним Борис и все охотники; с ними смешалась дружина Симеонова.

— Объясни мне, князь Симеон,— сказал наконец Борис,— что такое ты говоришь?

— Легко рассказать, да каково-то будет тебе слушать: ты уже не князь Нижнего Новагорода! Ты захватил мое наследие и не умел удержать его. Мне обещал отдать его хан Тохтамыш, отдал тебе, а теперь подарил князю Московскому.

— Князю Московскому!

— Подарил, и с придачею Мещеры, Торусы, Городца и Мурома. Хочешь ли ты ему отдать Нижний?

— Я? Нет! Никогда!

— Давай же руку, князь Борис,— я с тобой! Подкрепи бог твою храбрость, а не то дай мне управиться и с Москвою и с ханом!

Борис молча подал руку. Забытое воспоминание родства как будто растрогало его сердце. Он пожал руку Симеона.

— Жива ли княгиня моя? — спросил Симеон изменившимся голосом.

— Жива и здорова.

— А дети мои?

— Здоровы.

— А брат Василий?

— Также.

— Где же они? В тюрьме? — спросил дрожащим голосом Симеон.

— Нет! — отвечал Борис, скрывая свое смущение.— Княгиня твоя и дети живут сохранно в Георгиевском тереме, а князь Василий в Городец... под стражею...

— Бог с тобой, дядя! Сколько зла сделал ты нам твоею окаянною жадностью! — Симеон утер слезу.— Но что было, то было, и кончено! — примолвил он задумчиво.

— Князь Симеон! Я отдам тебе Городец и Суздаль.

— Спасибо! Щедро даешь, да еще дадут ли тебе самому хоть посмотреть на твой Городец!

— Вместе души, вместе руки, и — бог станет за правых!

— Правых, князь Борис? Ты сам себя осуждаешь! Но слышишь ли ты — что там такое делается?

— Кажется, бьют в набат на Спасской колокольне! О господи! Защити нас!

Быстрее прежнего поскакали они в город.

— Не думал я, что так скоро отзовется здесь голос хана! — сказал Симеон. — Видно, и москвичи медлили не долее моего. Поспешим!

Они въехали на пригорок, с которого открылся им весь Нижний Новгород. По всему заметно было, что в городе большое смятение. Уныло отдавался набат, хотя нигде не видно было пожара. Народ бегал по улицам. Воины, полуодетые, бежали из домов своих. Борис и Симеон въехали в город и смешались с толпами народа. Напрасно спрашивали они, что такое сделалось, — никто не знал. Все были испуганы набатом и спешили на площадь.

Там толпы народа уже сбежались со всех сторон. Воины нижегородские стояли рядами. Перед ними на коне был Румянец и что-то горячо говорил им. Увидя Бориса, он остановился в смятении...

Ни один человек в Нижнем Новгороде не оставался спокоен. Народ любит бежать на всякий шум, а теперь еще более все взволновались, видя, что в городе сделалось что-то необыкновенное. Набат, воины, собранные рядами у дворца, — все было непонятно нижегородцам. Говорили, что татары подступают к городу; что Симеон пришел к Нижнему с войском — кричали, спрашивали, отвечали и не знали, что такое говорят. Жены, дети стояли подле ворот домов своих и нетерпеливо преследовали встречного и поперечного вопросами:

— Что там такое, родимый, сделалось?

У Некоматова дома была толпа его челядинцев, стариков, старух, детей. Разинув рты, смотрели они на волнение, когда подскочил к ним воин на борзом коне и в светлом шеломе.

— Дома ли гость Некомат? — вскричал он.

Изумленные зрители не знали, что сказать ему.

— Верно дома! — сказал воин, спрыгнул с коня своего и побежал в светлицу.

— Ведь это боярин Димитрий? — говорили между

собою свидетели неожиданного явления.— Откуда он взялся? Зачем он здесь?

Димитрий толкнул в двери светлицы; они были заперты. С лестницы терема тащила старая няня Ксении.

— Где гость Некомат, старушка? — спросил Димитрий.

— В саду, батюшка,— отвечала няня,— прикажешь позвать его?

Но Димитрий не дослушал слов старухи и бросился в сад. Там, в углу между деревьями, увидел он старика. На коленях, нагнувшись к земле, закрывал Некомат пожелтевшими листьями дерев место, где заметно взрыта была недавно земля. Голос Димитрия заставил его содрогнуться. Он оборотился, испуганный, и не знал, что сказать ему.

— Готов ли ты на дело, гость Некомат? — вскричал Димитрий.

— Готово сердце мое, готово! — отвечал Некомат, отталкивая ногою заступ, брошенный на землю.

— Что значит твое смущение, твой встревоженный вид! Зачем ты здесь — в саду?

— Я... я хотел бы знать, боярин, что за нужда тебе спрашивать? Куда ты спешишь? Зачем я тебе надобен?

— Колокол говорит тебе, Некомат, что мы начали свое дело. Вижу, что ты делал здесь: золото твое не давало тебе покоя, пока ты не схоронил его!

— Дивлюсь, бояре, что вам все чудится у меня золото, и вы только и доспрашиваетесь его у меня!

— Некомат! Не схоронил ли ты с золотом твоим усердия к правому делу? Готов ли ты?

— Куда же, боярин? На что мне быть готовым? Бога ты не боишься — среди бела дня приезжаешь ко мне... Ну, если увидят...

— Что с тобой сделалось, Некомат? Чего ты боишься? Не кончено ли все было вчера? Теперь скрываться нечего — власть князя Бориса скоро разлетится, как дым! Все готово... Поспешим на Спасскую площадь! Мои молодцы все в сборе!

— Боярин! Зачем же я-то туда пойду? Человек я старый, не ратник, не воин... Дело, может, дойдет до мечей... Боярин Димитрий! И ты себя побереги — ради меня — ради моей Ксении — твоей Ксении...

Димитрий в изумлении смотрел на Некомата, бледного и трепещущего. Жалкая трусость видна была во всех движениях старика. Резкий звук трубы раздался вдалеке — другой звук отвечал ему с другой стороны.

— Слышишь ли, Некомат? Вот съехались и удальцы мои! Они подают вестовой голос. Идешь ли ты с нами?

— Ради Христа, боярин Димитрий! Голова моя кружится... Позволь мне молитвою участвовать в вашем деле... Благословляю тебя отцовским благословением... Береги себя, сын мой!

— Если мне судил бог положить душу за моего князя,— умру радостно... Но я точно ошибся, Некомат: ты не годишься на наше дело... Я полагал в тебе более смелости. Жди же меня, или мертвого, или... Прощай!

Громкие клики раздались перед садом. Блестящие оружия показались вдали.

— О! ради бога! Пойдем к ним! — вскричал Некомат.— Пойдем к ним! Тебя ищут — не приводи их сюда!

Он поспешно пошел из сада, оглядываясь во все стороны с ужасом и трепетом. На дворе Некоматовом было множество всадников. Ворота были настежь растворены, и перед ними еще более видно было пеших и конных воинов и народа с дрекольем. Только что показался Димитрий с Некоматом, как брат Некомата Федор со смехом закричал им навстречу:

— Вот они оба! Поздравляю тебя, боярин: ты умел вытащить и моего тяжелого братища! Что, Некомат, не отсиделся?

— Федор! Я всегда был душою за Симеона!

— Кто ж узнает вас, хитрецов! Боярин! Пора, пора — мои все здесь! Только Замятня бог весть где девался!

— Что вам до него — он свое дело знает!

— Коли так, то мешкать нечего — с богом! Белевут только что проехал здесь. Он звал нас к Спасу и сам велел бить набат. Московские воины и послы уже в городе и едут прямо туда. С ними и ханский посол.

— С богом! — Димитрий вскочил на коня.— Прощай, Некомат,— молись за нас усерднее!

— Как: молись? Разве он не с нами!

— У него голова болит и кружится. Оставьте его.

— Нет, нет! — вскричали множество голосов,— он хитрит! Не пускать его!

Только тогда заметил Димитрий, что многие из воинов и народа были пьяны. Он хотел защитить Некомата. Толпа зашумела — начался спор. Смело растолкал Димитрий толпу, но послушание было потеряно. Тут прискакал еще воин.

— Ребята! Товарищи! — вскричал он,— мы ошиблись: Борис не дремлет! Его дружина собралась подле княже-

ских теремов. Приверженцы Бориса поднялись! К делу скорее — там наших бьют!

Смятенный крик раздался в толпе:

— За Симеона! За Симеона!

Все бросились в беспорядке на улицу, но Некомата не оставили. Его ухватили за ворот.

— Спасите меня! — кричал он дрожащим голосом.

Димитрий был уже далеко и скакал по улице в тесноте народа.

— Кричи с нами! Иди с нами! — шумели вокруг Некомата.

— Дайте мне хоть шапку взять!

— Уйдет — не пускать! На мою! — вскричал один из толпы и надвинул на него свою шапку. В отчаянии закричал Некомат громко:

— Да здравствует Симеон! — и его увлекли в толпе и смятении.

Тихо и спокойно светило солнце на суеты земные. Ни одного облачка не было на небе. Ветерок веял освежительным холодом. Неизменяема была природа — волновались только люди. Все страсти разыгрались на просторе буйного своеволия.

По условию с Белевумом, Димитрий собрал к Некоматову дому всех своих сообщников. К ним пристало множество недовольных князем Борисом и его боярами. Воины Симеона, жившие скрытно в Нижнем, все явились в условленное время. Безумцы! Они не знали, что коварство готовило только сети для их погубления!

Разнообразное скопище, предводимое Димитрием, шумно бежало к Спасской церкви, где глухим воем отзывался набат.

Димитрий был впереди всех. Но только что хотел он повернуть на площадь, как навстречу ему прибежал воин:

— Боярин! будь осторожен: дело наше худо! — вскричал он.

— Что ты говоришь?

— Послы московские уже там. С ними посол хана, но знаешь ли, кто посол ханский? Царевич Улан!

— Избави бог! Зачем послал Тохтамыш его, а не иного? — И Димитрий бросился опрометью — за ним последовали другие. Толпа, где находился Некомат, отстала от них. Вот с боковой улицы бежит другая толпа и кричит громко:

— За Бориса! За князя Бориса!

— За князя Симеона! — отвечали яростно приверженцы Димитрия.

— Прочь Симеона!

— Прочь Бориса!

Тут в бешенстве бросились обе толпы друг на друга. Но приверженцы Бориса были сильнее. В несколько минут рассеялись заступники Симеона. Молодой боярин Бориса ринулся в самую середину их скопища с мечом в руках. Некомат успел вырваться и броситься к нему.

— Ты зачем здесь, гость Некомат? — вскричал боярин.

— Я за Бориса, кормилец, я за Бориса! — едва мог проговорить Некомат, задыхаясь.

— Добрый человек, но как же попался ты к ним?

— Неволею, боярин! Меня прибили, уволокли!

— Я твой защитник — пойдем с нами!

И Некомат, махая чужою шапкою, пошел с боярином и его дружиной при громких кликах: «За Бориса! За Бориса!»

Так стремились со всех сторон буйные толпы народа. В смятении почти никто не знал, что делает и куда бежит. Это предвидели, этого ждали Белевут и сообщники Москвы.

Близ церкви Спаса, в тесноте народной, видны были блестящие ряды многочисленной Московской дружины. Юный князь Димитрий Александрович Всеволож предводил ими. Несколько татарских воинов и посол ханский, царевич Улан, на вороном арабском коне горделиво стояли там, опершись на копыя. Рядом с царевичем был другой знаменитый татарин, мрачный, угрюмый и седой как лунь.

Задыхаясь от жара и усталости, подъехал к ним Белевут, слез с коня, низко преклонился пред посланцем хана и дружески обратился к князю Димитрию.

— Насилу дождались мы вас, князь Димитрий! — сказал он. — Мы работали здесь обеими руками, и работы было нам довольно!

— Все ли ты сладил, боярин?

— Все, все. Вам остается только взять Нижний. Дураки думали, что и в самом деле мы хотим помогать их бродяге Симеону — они взворошились, а мы в мутной воде рыбы наловили.

— Мастер своего дела! Князь скажет тебе спасибо. Кроме Белевута, не всякий бы захотел здесь быть рыбаком.

— Ты еще молод, князь Димитрий, и не знаешь, что

с твоей храбростью ничего не сделал бы ты против ретивых нижегородцев. Ловко умел я облелеять князя Бориса, нашел друзей, но этого еще было недовольно. Нижний начинен приверженцами Симеона. Бешеная храбрость его кружит головы всем, и удаль нижегородская рада была вступить за него. Да что? Были такие молодцы, что тайно скрывались здесь и крамольничали. Все высмотрено мною — замечены все их удалые головушки! Довольно было попить с ними десятка два раз и уверить их, что князь Московский идет защитить Симеона, так они и выложили сердца на ладони. От крепкого меду их еще болит у меня голова — легко ли: недели три изо дня в день я принужден был бражничать с ними, да ведь иной раз, что называется, до положенья риз! Зато они вереничкой придут сюда, и мы возьмем их руками.

— Что же делать с ними?

— А что бог даст! В Волгу — так в Волгу, а нет — так в Москву их или передать татарам, а лишнее у них обобрать!

Князь Димитрий с презрением отвернулся от него. Белевут горделиво взглянул на Димитрия и проворчал сквозь зубы:

— Молодой зверок, а как нос задирает, да мы с тобой переведаемся в Москве!

Тут приблизился к ним толмач и объявил, что царевич Улан требует к себе бояр московских. Они окружили Улана, сняли шапки и слушали, что он начал говорить им. Улан требовал налицо князя Бориса:

— Вы привели меня на площадь, но я не торговать приехал к вам, а объявить, чтобы князь Нижегородский передал Московскому свое княжество. Приведите его ко мне!

— Мы ждем его сюда, знаменитый царевич! — отвечал князь Димитрий.

— Да я не хочу ждать! Подите и скажите ему, что непослушание его будет наказано. Посол могущего хана, повелителя Русской земли, не повторяет своего приказа.

Он поправил шапку и гордо подперся рукой. Седой товарищ его хранил угрюмое молчание. «Проклятые гордецы! — проворчал князь Димитрий, крепко сжимая рукоять сабли своей и отвращая гневный взор свой от ненавистных татар, — когда-то рассчитаемся мы с вами!»

Сюда, в сети врагов спешили безрассудные приверженцы Симеона. Хитрая уловка московских бояр одним ударом подсекла все опоры Нижнего Новгорода. Измена Румянца и бояр Борисовых отдавала в их руки беспечного князя Бориса без боя, без сопротивления. Он не знал даже о приближении послов ханских и московской дружины, быстро мчавшихся из Коломны, где остановился на время князь Московский Василий Димитриевич, возвращаясь из Орды.

Там, встреченный приветствиями вельмож своих и кликами народа, пришедшего навстречу ему из Москвы и окрестных городов, он обнял радостное семейство свое и известил боярскую думу о решении хана. Изумлялись успеху предприятия, почти неожиданного. Сильное Суздальское княжество подпадало власти Москвы, с областями, даже и не принадлежавшими к Суздалю и Нижнему Новгороду. Думали, однако ж, что Нижний не поддастся Москве без сопротивления. Многие полагали даже поход на Нижний делом необходимым. Между тем и другие известия, привезенные князем из Орды, тревожили бояр. Князь расстался с Тохтамышем на берегах Волги, где Тохтамыш ждал противника страшного и могущего. Тимур, гроза азийских царей, победитель Персии, властитель Вавилона, Бухарии и Грузии, приближался с бесчисленным войском. На Волге должна была решиться вражда, горевшая между двумя страшилищами народов. Опасение Тохтамыша за успех видели из его ласкового приема князю Московскому, из решения, коим он отдавал Москве обширную область своего союзного князя, только что за год перед тем получившего ее в обладание от самого Тохтамыша.

Кто мог узнать, чем кончится битва Тохтамыша с Тимуром? И если богу угодно было решить участь борьбы в пользу Тимура, Русской земле, может быть, грозило нашествие страшнее Батыева. Москва могла пожалеть тогда даже о падении цепей, наложенных на нее Тохтамышем. Тимур тяготел над Русью, как тяготеет тяжелая неизвестность будущего над головою человека, испытанного прежним бедствием и окруженного угрожающими предвестиями, как гроза, чернеющая вдали на краю небосклона, страшит земледельца, у которого молния недавно попала в поле и сожгла хижину.

В таких обстоятельствах нельзя было отвести от Москвы войск, собиравшихся отсюда. Надобно было встретить общую опасность, соединявшую всех под знаменами Москвы. Опытные бояре, окружавшие юного князя.

Московского, не хотели соблазнять Руси междоусобицей, в то время, когда и небесные знамения предвещали ужасы и бедствия. Каждый вечер, каждое утро кровавая заря загоралась на небесах. Не хотели упускать случая присоединить к Москве области богатые, многолюдные, сильные, но не могли решиться на рать с Нижним Новгородом. Всего более страшил Москву Симеон, смелый, отважный сын бывшего князя Нижегородского.

Бояре помнили дела Симеона. Наследство княжества Суздальского было давним предметом споров между Дмитрием Константиновичем и братом его Борисом. Дмитрий, добрый, но слабый, еще при жизни своей вверил правление сыновьям. Он был в милости у хана Агиса. Когда Андрей, князь Нижегородский, скончался, Дмитрий, княживший в Суздале, объявил права свои на Нижний, но Борис, брат его, князь Городецкий, захватил престол Нижегородский. Дмитрий прибегнул к помощи Москвы. Увидели зрелище невиданное: из Москвы не воинство явилось, не рать сильная пришла — явился смиренный пустынножитель Сергей, муж святой еще при жизни. Он судил двух братьев и осудил Бориса. Неповиновение осужденного страшно наказано было святым человеком: Сергей затворил храмы божии в Нижнем Новгороде и грозил проклятием. Нижегородцы со слезами молили его простить их. Борис затрепетал, уступил, и благословение пустынножителя возвело Дмитрия на престол. Смерть Дмитрия чрез несколько лет возродила новые распри. Симеон от смертного одра отцовского послан был в Орду требовать Нижнего как своего наследия. Туда явился и Борис. Золото покорило ему сердца вельмож ханских, но Симеон не смирился, бежал из Орды в Москву, и Дмитрий Иоаннович, тогда еще княживший, подвигся на защиту племянника. Борис укрылся в Городце, наследном княжестве своем, уступил Нижний Симеону, но снова явился в Орде, полгода кланялся хану, обещал дань и покорность — и выкланял Нижний. Напрасно Симеон спешил в Орду из Москвы, где посещал вдову, сестру свою княгиню Евдокию, оплакивавшую преждевременную смерть героя Донского, — его ожидали цепи. Борис тверже прежнего сел на престол Нижегородский. Но непродолжительно было торжество вероломного хищника. Двор ханов ордынских представлял тогда позорище смятений и неурядиц. Все покупалось золотом. Веры и верности не знали. По призыву хана юный князь Московский, сын и преемник Дмитрия Донского, явился в Орде. Тохтамыш,

беспокоймый слухом о Тимуре, хотел уладить мир с Москвою, уже сильною среди других русских княжеств. Бояре юного князя Московского, несмотря на бедственные предвестия новых ужасов отчизны, не хотели оставить без пользы милостивого приема ханского: они просили Нижнего и Суздаля. Тохтамыш разодрал грамоту Борисову и отдал Нижний Москве. В число статей договора включен был вечный плен Симеона в Орде. Но у Симеона были друзья, и он сгиб и пропал из Орды. Мы видели, где очутился он.

Если бы московские бояре не были дальновидны и не отправили заранее в Нижний Белевута, боярина московского, хитрого и опытного в делах, покорение Нижнего было бы невозможно. Мы видели, как успел Белевут усыпить князя Бориса, умел найти изменников в окружавших его вельможах и между тем узнал тайных сообщников Симеона. Сношения Белевута с Москвою были беспрерывны. И когда московские бояре думали и не знали, на что решиться, известия от Белевута показали им, что хитрость уже успела сделать, чего недоумевала их мудрость. Белевут просил только поспешнее присылать дружину и послов ханских, уверяя, что Нижний покорится. Дружина и послы отправились. Он уговорил между тем сообщников Симеона возмутиться в самый день приезда их. В смятении легко можно было управиться со всеми.

И тогда, если бы князь Борис был деятельнее, если бы Симеон успел приехать в Нижний днем ранее, — ничто не помогло бы Белевуту. Один день... Но теперь все было потеряно. Князь Борис, встревоженный волнением сообщников Симеона, не слушал никаких убеждений его. Разгневанный смятением, он укорял его в измене и велел наложить на него цепи, а Румянцу с дружиною разогнать сообщников Симеона, пока сам отправлялся принимать ханских послов на площади у Спасской церкви.

Несчастный князь! Едва явился он туда, посол ханский объявил его княжество областью Москвы и бросил перед ним грамоты Тохтамыша, коими Борис возведен был на княжество. Подле той темницы, куда, по его велению, повержен был Симеон, посадили и его, обремененного оковами. Бояр его развезли по разным областям Московским. Буйные сообщники Симеона встречены были пышальным огнем московской дружины. Невиданное дотоле действие губительного оружия ужаснуло их — все разбежались, и на другой день в Нижнем Новгороде все было тихо и спокойно. Три дня угощал Белевут царевича Улана

и татар в княжеском дворце. Пируя, они забыли даже закон Мугаммеда, пили вино из золотых кубков княжеских и прятали их к себе за пазуху, на память угощения, как всегда велось у татарских послов. Белевут проводил их за город, низко поклонился им и поехал в Москву поздравить своего юного князя *князем Нижегородским и Суздальским*. С ним поехали избранные люди Нижегородские.

Кто были сии избранные? Где были тогда Димитрий, пламенный юноша, всем жертвовавший своему князю, и Замятня, неосторожный, но верный дружбе и усердию? Где был Некомат, сребролюбивый, бездушный скряга? Что ожидало Белевута при дворе князя Московского?

Там, где вьется струистая Сетунь и где воды Раменки пробираются по каменистому дну в Москву-реку, рос в старое время густой лес. Простираясь на Воробьевы горы, в другую сторону он выходил далеко на Дорогомиловскую дорогу. По Сетуни и около нее в лесу рассеяны были хижины села Голенищева, принадлежавшего Московскому митрополиту. Среди них белелась церковь Трех Святителей. Подле нее был дом митрополита. Старец Киприан, испытанный скорбями и опытом жизни, часто удалялся сюда, в место «безмятежно, безмолвно и спокойно от всякого смущения». Здесь иногда долго вечером светилась лампадка в его келии, и он, умерший настоящему, жил в прошедшем. Окруженный *ветшаными* книгами, он вникал в сокровенный смысл писаний святых отец, разбирал премудрость эллинов и по следам «вещателей веков прошедших» описывал деяния князей русских, жития святых и добропобедных мучеников или прелагал эллинские книги на язык русский, который сделался ему родным в продолжение долговременного пастырства его в Москве и Киеве.

Еще не подавали огня, и вечерняя заря тускло светила в окна митрополитской келии. Киприан сидел за большим столом. Вокруг него лежало множество пергаментных списков и бумажных свертков. Против него сидел благообразный инок. Они только что кончили чтение рукописи. Жар, оживлявший инока, еще горел в очах его, устремленных на святителя,— подобно яркой лампадке, теплящейся над гробом, сияли взоры его, хотя бледное лицо показывало отречение и умертвие его всему земному. Долго и безмолвно внимал ему Киприан и потом сказал тихо:

— Благ подвиг твой, инок Димитрий, и усладительна беседа твоя! Изучая премудрость премудрых, ты не скрываешь светильника под спудом, ставишь его на свещнице, да светит всем, сущим в храмине! Ты передаешь нам вещания велемудрого Георгия Писидийского и, напутствуя души христиан к созерцанию дел божиих, будешь благословен благодарностию соотчицей, услажденных трудом твоим!

— Владыко! — смиренно отвечал инок, — если труд мой будет награжден хвалою мира, я отнесу хвалу сию на алтарь смирения моего пред волею божиею, внушившею мне мысль передать на родном языке книги премудрого Георгия. Рано отрекся я от мира и ничего не требую от сильных земли. Созерцая с святым Георгием творение бога, хваля его устами смиренными, я награжден с избытком и за бдения мои, и за труд малый, но усердный!

— Так, ты прав! Мир не для того, кто вкусил сладость беседы мудрых мужей, умерших плотию, но живых духом в творениях бессмертных — не для того он, кто познал суету и тщету мира и во прахе земли витает мыслью на небесах! Тяжка земная жизнь человеку праведному, тяжок мир человеку, бегущему суеты! Димитрий, ты блажен, что мир не преследует тебя в тихой келии твоей, и суеты его не врываются к тебе сквозь монастырские затворы! Сколько раз воспоминал я о келии Хиландартской, где протекла моя юность, где молитва и труд готовили жертву богу, еще не оскверненную суетами, и где в тишине дух мой возносился к Вездесущему, или беседовал с мудрыми и святыми мужами!

— Но, владыко, судьба вела тебя с берегов моря Эгейского быть пастырем стада великого!

— Не ропщу на волю его и благословляю перст божий, указавший мне путь к полунощи! Но сколько страданий претерпел я среди трудов о пастве, скольких бедствий был свидетелем, сколько раз падал я, искушаемый наваждением сует! И ныне, верь мне, только здесь нахожу я покой, только, сюда удаленный, внемлю я гласу души моей, как елень на источники водные, стремящейся в небесную отчину свою! Там, в Москве, суета поедает дни мои — время бытия моего гибнет в смущении и вечность задвигается миром малым и суетным! Блеск и почести — я бегу от них, они гонятся за мной и влекут меня с собою! Вчера, возвращаясь сюда, в уединение мое, после беседы князей и бояр, где уныние и грусть о судьбе Руси терзали нас скорбью, послушай, что написал я...

Киприан выдвинул лист бумаги из других, лежавших на столе, и прочитал: «Все человеческое множество, общее естество человека оплачем, злосчастно богатеющее. Земля — смешение наше, земля покрывает нас, и земля — восстание наше. О дивство! Все шествуем мы от тмы во свет, от света во тму, от чрева матери с плачем в мир, и от мира сего с плачем в гроб: начало и конец жизни — плач. Сон, тень, мечтание — красота житейская! Многоплетенное житие как цвет увядает, как тень проходит».

Когда Киприан кончил чтение и безмолвно преклонил голову в смутной думе, кто-то постучался в дверь келии и проговорил тихо:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

— Аминь,— отвечал Киприан.

Дверь отворилась. Князь Василий Дмитриевич вошел первый, подошел к благословению митрополита и приветствовал его. Инок Дмитрий робко встал, видя своего государя и повелителя. Василий, едва вступивший в юношеский возраст, был не величественного, но важного и сурового вида. Морщины уже видны были на челе его и показывали в нем ум твердый, нрав неуступчивый. Богатый бархатный *терлик* и шитый шелками *охобень* были на него надеты, и сабля его блистала дорогими камнями. За ним шел старец, высокого роста, седой, но еще не согбенный летами; то был князь Владимир Андреевич *Храбрый*. Бояре следовали за ним. Между ними был и толстый Белевут. Инок Дмитрий низко преклонился перед всеми и вышел.

Задумчиво остановился он в ближней комнате, где келейник митрополита в бездействии дремал, сидя на лавке и сложа руки. Потом вышел в обширные сени, где широкие стеклянные оконницы были растворены и крашенные скамейки показывали, что митрополит здесь сидит иногда, наслаждаясь прохладой вечера. Долго смотрел Дмитрий в растворенное окно, как тени вечера ложились на окрестные леса и горы, как обширная Москва вдалеке засвечивалась огнями и как Москва-река извивалась вблизи полукружием около Воробьевых гор. Перебирая четки, повторял он: «Дивны дела твоя, господи, яко вся премудростию сотворил еси!» Вдруг вошел келейник митрополита и сказал, что митрополит требует его к себе.

Не понимая, зачем могли призывать его в совет князей и бояр, иннок шел робко. Подходя к келии митрополита, он услышал многие голоса — заметно было, что говорят с жаром. Дмитрий вошел в келию. На столе горели две свечи.

Князь Василий и князь Владимир сидели подле Киприана. Бояре стояли в отдалении. Разговор прекратился.

— Князь! — сказал Киприан, — инок сей мудр и благочестен. Ты можешь верить ему все тайны. Он знает греческий язык и прочитает нам послание.

Князь молча вручил Димитрию свиток.

То было письмо грека, издавна жившего при дворе Ордынских ханов. Он был некогда послан из Греции еще к хану Муруту, и звание лекаря доставило ему милость и любовь всех после Мурута ханов Золотой Орды. Димитрий просмотрел письмо, и руки его задрожали. Нетерпеливое ожидание видно было во взорах князей и бояр. Трепещущим голосом начал он читать и переводить:

«Как единовверного государя и благодетеля моего, спешу уведомить тебя, благоверный князь, что судьба Золотой Орды решена. Тимур-хан победил. Тохтамыш разбит, бежал и скитается в твоих, государь, или князя Витовта областях. Но горе нам, горе твоей Руси, горе благоверной Византии! Огонь и меч Тимура сравняли ханские терема с землею — уже нет ханского Сарая; погребло великое, погребло и малое: и мое убогое стяжание расхищено. Не забудь, государь, меня, твоего доброхота и радушника! Пишу к тебе, государю, среди развалин, потоков крови и груд смердящих трупов. Тмы тем татар Тимурхановых, как саранча, хлынули на берега Волги, и ни возраст, ни пол, ни род, ни сан — ничто не избегло гибели, посрамления и неволи! Железа недостает на цепи, и мечи воинов проржавели от запекающейся на них крови. Уведомляю тебя, государь, что Тимур-хан есть один из бичей, посылаемых на человека гневом Божиим, пред коими исчезают и глад и хлад, равняются горы и высыхают реки, отверзая им пути. Страна есть некая, между царством Попа Ивана и Скифиею Великою, именуемая Арарь, и в ней родился, не от царя и не от старейшины, Тимур, свирепый, лютый, кровожадный. Говорят, что три звезды упали на небе, когда он родился, и гром трижды загредел зимою. Он был разбойник. Сперва грабил стада, но, пойманный пастырями, был ими зельно бит. Они изломали ему ногу. Он же перековал ногу железом, и от того наречен *Темир Аксак*, иначе же *Тамерлан*, иже преводится *Темир-хромец*. И завоевав всю Арарь с немногими разбойниками, потек он на другие страны, и от Синия Орды исшел в Шамахию и Персиду, где преклонились пред ним цари и князи и военачальники, богу гордым и злобным на время попускающу. Тимур хочет перейти пучины Окияна и победить весь свет,

и взять Индию и Амазоны и Макарийские блаженные острова; и уже приял он Ассирию и Вавилонское царство, и Севастию, и Армению и все тамошние орды попленил, и се имена их: Хорусани, Голустане, Ширазы, Испаган, Орнач, Гинян, Сиз, Шибрен, Саваз, Арзанум, Тефлис, Бактаты, и ныне Сарай Великий и Чегдай, и Тавризы и Горсустани, Обезы и Гурзи. Был он и в Охтее, и приял Шамахию, и Китай, и Крым. Шел он на Орду безвестными степями, шесть месяцев не видал ничего, кроме неба над головою и песка под ногами; за полгода вперед сеяли просо для прокормления его войск. И сам Тимур яростен, злобен, пьет кровь и питается — страшно изречь — человеческою плотью! И слыша все сии вести, грозные и страшные, по вся дни обносящиеся, ужасом все исполнились и все страхом велиим и печалию одержимы пребывают. Грозится Тимур достигнуть и второго Рима, велелепные Византии, и обтечь всю землю. И слышу, что царь наш Мануил Великий, не забывший и прежние богопопустные скорби, печалуется единому богу и на него единого возлагает упование...»

Здесь слезы заструились из глаз Димитрия, и бумага выпала из рук его. Все безмолвствовали.

— Владыко! что нам предпрять? — спросил Василий, не изменяя своего угрюмого вида. — Мы ждали битвы Тохтамыша — она решила гибель его... Теперь настала чреда Руси. Темир Аксак идет на нас.

— Князь! На бога возложи печаль твою и молись! Тот, кто источил воду из камня жезлом Моисея, кто рукою отрока Иессеева поразил Голиафа, не попустит тебе и православию погибнуть!

— Но должен ли я безмолвный ожидать грядущего бедствия? Хочу стать с оружием против врагов церкви и отчизны моей, хочу поставить щит свой против злого хищника!

— Послушай совета моего, юный князь, меня, младшего по чину, но старейшего летами, — сказал князь Владимир. — Так некогда мы думали с отцом твоим и шли бороться против безбожного Мамаю. Какая великая година чести была Русской земле, когда мы в полях Куликовских пели победную песнь на костях врагов! Богу угодно было моей руке предоставить удар, от коего пал Мамай и рассыпалась гордыня его. Но едва прошло два года, и Тохтамыш испепелил Москву. Суетны надежды человеческие! Нейди сам на беду и жди, пока не придет она!

— Должно ли мне сказать дружинам, отвсюду ко мне

идушим: идите вспять — я не смею вести вас на битву? Должно ли самим себя оковать, прийти к Темир Аксаку и раболепно преклонить пред ним колени?

— Нет! Будь на коне, но не ратуй. Стереги Москву и молись о спасении. Тщетно оружие там, где гнев божий ведет грозу и гибель!

— Так, князь, таково и мое мнение,— сказал Киприан.— Бог, без чьей власти не погибнет и влас с главы твоей,— защита вернее воинства.

— Владыко! Ты не слышишь здесь воплей народа, не видишь горестных жен, бродящих с безутешными детьми, старцев, отчаянных на краю гроба! — Нет! Я пойду отсюда, пока плач жен и вопли детей не погубили моей силы душевной! Прошу тебя, князь Владимир, быть в Москве и защищать ее, и, если мы падем в неравной битве,— твои лета и твое мужество порукой за храбрость малой силы, какую оставляю тебе.

— Князь! — отвечал Владимир,— очисти же себя от греха, прекрати усобицу, губящую Русскую землю,— умири совесть твою и не отринь совета старца — отдай Нижний Симеону!

— Нет — тому не бывать! Вспомни, князь Владимир, что я запретил даже и говорить мне о Симеоне!

— Князь! Вспомни о бедствии, грозящем России, вспомни, что в день суда божия горе будет человеку, алчущему корысти! Коварство и измена предали в руки твои деда твоего и дядей твоих, но горе зиждущему дом свой неправдою! Отдай Симеону его наследие!

— Не говорите мне ни ты, владыко, ни ты, князь Владимир,— я не отдам Нижнего!

— Страхись и блюдись, да не постигнет тебя бедствие, которое ты готовишь другим!

— Нет! Не на того падет гнев божий, кто хочет собрать воедино рассыпанное и совокупить разделенное! Не ты ли первый, князь Владимир, уступил мне право первородства? Благо тебе, но Симеон и Борис противятся мне — они противники власти, данной мне от бога, а не законные наследники, и меч правосудия тяготеет над главами их! Так я думаю, так должны все думать.

— Молод, а умен,— сказал Белевут, входя в светлицу своего боярского дома и сбрасывая свой боярский фезезь,— молод, а умен князь наш! Никто не уговорит его

выпустить из рук, что однажды ему попалось. Поздравляй меня, Некомат, наместником Владимира и Суздаля! — прибавил он, обращаясь к Некомату, который дожидался его возвращения и низко кланялся ему, стоя подле дверей.

— Садись, — сказал Белевут, отодвигая дубовый стол от лавки, — садись и поговорим о деле. — Некомат сел и придвинулся к боярину.

— Слушай: князь наш одобрил все, что я сделал. Завтра объявят торжественно о присоединении Нижнего к Москве, и тебя и Замятню допустят к князю как избранных посланников нижегородских. Что за шубы подарят вам — загляденье!

— Печорских аль сибирских соболей, боярин? — спросил Некомат усмехаясь. Белевут захохотал.

— Признайся, гость Некомат, что Белевут помнит дружбу. Как было оплошал ты, вступившись за Симеона! Теперь все у тебя цело, все сохранно...

— Слепота, батюшка боярин, слепота окаянная пришла на меня! Тут недобро было — демонское наваждение влекло меня, прости господи! — Некомат плюнул на обе стороны и перекрестился.

— То-то слепота, старая ты голова! Надобно слушать добрых людей, кто тебе впрямь добра желает! Теперь отпустят тебя и Замятню с честью и почестью.

— И Замятню, боярин?

— Да, ты знаешь, какую услугу оказал он нам в тогдашнем переполохе: он указал место, где лежало оружие, серебро и золото сообщников Симеона, выдал нам все, и сам не только не явился на площадь, да и других отводил...

— Боюсь что-то я за его верность, боярин! Если уж он передался вам без кривды, то сам бог предает в руки князю Василию Димитриевичу сердца врагов его.

— А я так очень хорошо понимаю Замятню, и знаешь ли, что вот этакой-то душе всего скорее вверяйся — глуп или, что называется, добр! Ты да я, мы летим туда, куда нам хочется, а его просто ветер уносит, куда дует, а к тому же Замятня богат, как Ард!

— Ну, бог знает, боярин, — животы смерть окажет! — сказал Некомат с усмешкою.

— Полно, Некомат! Он и не заикнулся, когда я попросил у него... на княжеские расходы... чистым золотцем отсчитал, а теперь гуляет себе по Москве, да и только! Видно, что за душой у него ничего не таится. Нет! Я верю Замятне. Да это дело сторона, а поговорим о нашем другом.

деле. Я тебе сказывал, что у тебя есть товар, а у меня есть купец, которому он приглянулся. Согласен ты что ль?

— Боярин! хоть сейчас по рукам. Сын твой куда молодчик, а моя Ксения — девка на возрасте.

— Отлагаю все до приезда князя Василия Дмитриевича в Нижний. Видишь: завтра вас примут и дадут вам облобызать княжескую ручку, а там поезжайте и готовьте ему прием поласковее. Князь хочет испить вашей волжской водицы и полюбоваться на Нижний. Я приеду вперед. Такая ведь у нас теперь завороха, что и господи упаси — тут Витовт, там Тверской князь, а тут еще черный ворон налетает на Русь, и бог весть откуда! Татары дрались, дрались между собой, а теперь вон, слышишь, идут сюда... Бабы да старики воют, еще ничего не видя!

— А что же, боярин, ты думаешь?

— Что думать! Живи не как хочется, а как бог велит! Разумеется, у кого есть запас, тому и с татарами хорошо. Наш боярин Кошка, смотри, как ладит с ними! И то правду сказать, — голова умная!

Так беседовали между собой Некомат и Белевут в московском тереме боярина.

Жребий Нижнего Новгорода был решен. Ни упреки матери, ни слова князя Владимира, ни советы митрополита Киприана — ничто не могло склонить князя Василия Дмитриевича на милость к Симеону и роду его. Участь князей Нижегородских оставалась еще неизвестною. Князь Борис томился в темницах суздальских. Симеон и семейство его были заключены в темницах нижегородских. Бояре нижегородские иные предались князю Московскому, другие, непокорные, разосланы были в дальние города. О многих — ничего не было слышно...

Зима прошла в совершенной тишине. Войска русские собрались около Коломны, отаборились там и не двигались с места. Князь Василий Дмитриевич был в Москве, кипевшей воинскою деятельностью. Спешили оканчивать вооружение войск, собирали деньги, ожидали вестей. Слухи из Орды замолкли, но то была зловещая тишина, подобная той, какую чувствует страдалец, удрученный недугом, перед последним страданием смерти — она не покоит его; холодный пот, костенеющие руки и ноги, темнеющий взор говорят об его разрушении — он жив, но на него уже веет могилую — он предчувствует то близкое мгновение, которого содрогается все живущее!

Тимур остановился на Ахтубе. Полчища его не двигались на Россию. Но так и за полтора столетия, когда при Калке погибла надежда на спасение России, несколько лет прошло, пока Батый ринулся в пределы русские и потек огненной рекою. Церкви московские были наполнены народом. День и ночь слышались молитвы и воздыхания молящихся.

А страсти не умолкали и на краю бездны! Сердце человека! Содрогнется тот дерзкий, кто осмелится заглянуть в тебя — содрогнется и побежит от самых обольстительных надежд и мечтаний своих, как бежит, содрогаясь, суеверный юноша при взгляде на гроб своей подруги, на ее лицо, обезображенное смертью и тлением!

Летом Белевут приехал в Нижний Новгород. С ним была многочисленная свита. Князь Димитрий Александрович Всеволож с дружиною московскою выступил навстречу Московского князя. В Нижнем готовились встретить его торжественно. Жители были в больших хлопотах: вынимали и готовили праздничные платья, чистили улицы, даже мыли дома снаружи. Белевут беспрестанно окружен был воеводами, просителями, искателями милостей, приезжими из нижегородских городов. Бояре, гости, почетные люди нижегородские толпились у него в светлице. Обеды превращались в пиры, и часто старики забывали идти к заутрени после бессонной до белого света ночи, проведенной в гульбе у Белевута или какого-нибудь богатого гостя. Но никто не отличался таким разгульным весельем, как Замятня. Золото и серебро блистали на столах его. Две бочки малвазии выписал он нарочно из Москвы и часто, среди гульбы и песен, горстями кидал за окошко серебряные деньги и хохотал, смотря, как дрались за них мальчишки и нищие. Добрые люди говорили, что у Замятни пируют на поминках Суздальского княжества, да кто стал бы их слушать, каких-то добрых людей, которые всегда ворчат и на которых угодить трудно!

В веселом разгулье прошло две, три недели. Однажды Замятня зазвал к себе на обед всех бояр и всех богатых и почетных людей. Никогда не бывало у него так весело. Столы трещали под кушаньями. Мед, пиво, вино лились реками. Многие из гостей со скамеек очутились уже под скамейками. В ином углу пели псалмы, в другом заливались в гулевых песнях. Настал вечер. Дом Замятни, ярко освещенный, казался светлым фонарем, когда туманная,

темная ночь облегла город и окрестности и в домах погасли последние огоньки, все улеглось и уснуло, кроме любопытных, которыми наполнен был дом и двор Замятни. Одни из них пили, что подносили им, потому что велено было всех угощать, иные громоздились к окошкам и, держась за ставни и колоды, смотрели, как пируют гости и бояра, пока другие зрители, подмостившись, сталкивали первых, а третьи любовались конями бояр и гостей, богато убранными и привязанными рядом у забора к железным кольцам.

И теперь еще найдете в собраниях старинных чарок русских *чарки-свистуны*. У них не было поддона, так что нельзя было поставить такую чарку, а надобно было опрокинуть ее или положить боком, и потому такими чарками подносили гостям, когда хотели *положить* своих гостей — верх славы и гостеприимства хозяина! Вместо поддона на конце чарки приделывали свисток: гость обязан был сперва выпить, а потом свистнуть. Старики наши бывали замысловатее нас на угощение.

Такого-то *свистуна* огромной величины поднес Замятня Белевуту. Говорили, что Белевута нельзя было спить, но и у него бывало, однако ж, сердце на языке, когда успевали заставить его просвистать раза три-четыре и когда уже петухи возвещали час полуночи.

— Чокнемся, боярин! — вскричал Замятня, протягивая другого свистуна, — чокнемся и обнимемся еще раз!

— Будет, гость Замятня! У меня и так скоро станет двоиться в глазах, — отвечал Белевут, смеясь и протягивая руку к свече, чтобы увериться: не исполняются ли уже слова его и не по десяти ли пальцев у него на каждой руке?

— Э! была не была! Что за счет между русскими! Слушай: здоровье того, кто пьет да не оглядывается! Разом!

— Давай! Если за нами череда, чего мешкать!

Они разом выпили, свистнули и бросили чары на серебряный поднос, который держал перед ними один из кравчих.

— Подавай кругом! — вскричал Замятня.

Кравчий повиновался.

— Эх! ты, боярин! Вот уж люблю тебя за то, что молодец — и дело делать, и с другом выпить! Так по-нашему! Все кричат, что Замятня — гуляка, пустая башка! Врут, дураки: я в тебя, боярин, — вот что ни смотрю, точно братья родные...

— Ты диво-малый! — вскричал Белевут, обнимая Замятню, — точный москвич, а не нижегородец!

— Что тебе попритчилось, что ты сначала-то меня невзлюбил? Ведь я был все тот же?

— Нет, не тот же, а теперь чудо — не человек... Прежде ты глядел не так — немножко кривил голову... Ха, ха, ха!

— А ты ее повернул мне куда следует?

— Сама повернулась!

— То-то же, *сама*. Видишь, не туда ветер дул! Что ты льнешь к таким, что исподлобья-то смотрят? Верь тому, кто прямо в глаза глядит. Вот, посмотри-ка: здесь кого то недостает...

— Кого? — сказал Белевут, смеясь. — Ведь не тринадцать их осталось — чего бояться, если кто и уплелся!

— Надо знать *кто*! Вот, примером сказать: Некомат где? Вот там сидел он и морщился!

— Так не лежит ли он где-нибудь...

— Нет! Думаю, он бодро ходит на ногах: не тот он человек, чтобы свалился. О, не люблю я этаких народов...

— Знаешь ли, Замятня, что и мне он не больно любится что-то? Я спас его от гибели: он не то что ты; у него все проказы Симеоновы были скрыты. Он и на Спасскую площадь шел с симеоновцами, а я все-таки умел его выгородить!

— А он спустил тебя на посулах?

— Не то, не такого олуха царя небесного нашел он, да что-то не ладится у меня с ним никак — словно козы рога, в мех не идет.

— Скоро ли у вас свадьба?

— Скоро ли свадьба? Приехавши сюда, я и сына привез. В Москве Некомат подтакивал, а здесь отнекивается. Видишь, говорит, дочка не хочет, дочка плачет, а просто жаль с сундуками расстаться — ведь богат, как немногие бояре московские...

— Полно, оттого ли, боярин? Богат-то он богат, но, право, я что-то куда сомневаюсь... Вот я — был грех... стоял за Симеона, — тихонько прибавил Замятня, — а как пошло не туда, так я уж напрямик твой! Тогда кричал я, за кого стою, и теперь кричу: мне что за дело! Думай обо мне кому что угодно! А этот Кашей все молчит, и кто его знает, что у него на уме!

— Я знаю, — сказал Белевут, коварно улыбаясь.

— Ой ли? Хочешь о большом медведе моем, моей любимой стопе, что вон там стоит на полке?

— Полно шутить, Замятня, — теперь уж все старое кончено...

— Как не так! Ты думаешь, траву скосил, так и не вырастет — а коренья-то выкопал ли? Чего тут далеко ходить... Что ты думаешь: все уж молодцы у вас в руках?

— Все. Хочешь покажу тебе роспись, кто и где теперь?

— Убирайся с росписью! Я всех их прежде тебя знал, да что ни лучшего-то, того-то у вас и нет... Где боярин Симеонов Димитрий?

— Где? У беса в когтях! Только его одного и недостает.

— Этак он ошутил: *только его!* Да знаешь ли, что этот один стоит сотни?

— Ну, где ж его взять! Пропал, как в камский мох провалился!

— Его нигде не сыскали?

— Уж все мышьи норки перерыли!

— А Некомат тянет ваше сватовство?

— Ну, что же?

Князь Роман жену терял,
Жену терял, в куски рубил,
В куски рубил, в реку бросал,
Во ту ли реку, во Смородину...—

так запел Замятня. Хор гостей подтянул ему с криком и смехом.

— Что ж ты хотел сказать? — спросил нетерпеливо Белевут.

— Постой, боярин! Пусть они распоятся погромче — я нарочно затынул, чтобы нас не слышали. Слышал ли ты, что у Некомата в бане появился домовый, стучит, воеет, кричит в полночь?

— Бабы сказки!

— Мужские сплетни, скажи лучше. Я... хм! — я видел домового!..

— Ты?

— Да, я. Ну, как ты думаешь: каков собой этот домовый дедушка? Кто он? Черт, что ли? — Замятня плюнул.

— Говори, говори! — вскричал Белевут. Глаза его засверкали.

— Постой — дай одуматься — все порядком будет! Однажды ночью вздумалось мне подсмотреть: что там за чудеса такие творятся и правда ли это — и вот и пошел я подкараулить; вот и идет Некомат, идет дочь его — и домовый идет... Месяц светил ярко... Провались я на месте, если это был не боярин Димитрий, переодетый бесом! А ведь отсюда недалеко и Егорьевский терем, где княгиня Симеонова, и тюрьма, где... Симеон!

— Если ты лжешь, Замятня... — вскричал Белевут и взялся за саблю.

— Вот: *лжешь!* Послушай: теперь полночь... Ну, хочешь ли пойдём потихоньку — нас не заметят! Авось мы встретим домового!

Недоверчивость, суеверный страх, досада, смех сменялись на лице Белевута.

— У тебя сабля, а я с голыми руками! — сказал Замятня. — На домового крест, а ведь ты не веришь, что Некомат думает что-нибудь худое!

— Нет, не верю... не верю... Пойдем!

Голова Белевута была разгорячена. Тихо вывел его Замятня в заднюю дверь, засветил фонарь и повел в сад свой, говоря, что огородами пройти ближе. Ночь была темная. Осенняя мгла наполняла воздух. Все вокруг было тихо. Лишь из дома Замятни слышны были клики и песни. Белевут шел за Замятнею. Они перешли через заднюю улицу, в переулочек, и ни одна душа человеческая не встретила их. Только собаки лаяли сквозь подворотни. Скоро пришли они к замам Некоматова двора. Маленькая калитка была отворена. Они входят в обширный сад Некомата, идут тихо, осторожно. Ночной сторож крепко спит на скамейке. Вот вдалеке блеснул огонь. Они не ошибаются — идет человек с фонарем. Замятня задувает свой фонарь. Он и Белевут прячутся за деревья — человек с фонарем подходит — это Некомат.

Он идет озираясь, оглядываясь, видит спящего сторожа, дрожит, поднимает палку и останавливается. «Господи! помилуй! Не узнали ль? Если кто-нибудь подметил... Он, верно, в заговоре, проклятый пьяница... Если узнали! Горе мне, горе!» Некомат ворчал еще что-то про себя, пошел по дорожке к калитке и пропал вдали.

— Что, боярин?

— Ничего, — отвечал Белевут, улыбаясь принужденно. — Ведь это не домовый, и что ж тут за беда, если Некомат бродит ночью?

— Пойдем далее, а позволь, однако ж, тебя спросить: куда и зачем бы этак, например, Некомату бродить, с твоего позволения?

Белевут молчал. Опять прошли они мимо сторожа и пустились в самую отдаленную сторону сада, где построенная была у Некомата черная баня в чаще вишневых деревьев.

Низкое строение стояло уединенно и было покрыто

дерном. Одно только окошечко было в нем ровень с землею. Огонек светил из окошечка.

— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — заговорил Белевут, крестясь.

— Вот и струсил, боярин! Что, веришь ли мне? Пойдем ближе!

Едва подвигался Белевут. Страх отнимал у него силы. Они подходят к окошечку — ложатся на землю. Внутри горит свечка. При мерцании ее видно, что на лавке сидит Ксения, дочь Некомата. Она плачет. Подле нее человек в каком-то странном наряде — свет падает ему на лицо — Замятня не ошибся: он, Димитрий, боярин Симеона!

Как бешеный, вскочил Белевут. Замятня удерживает его — напрасно! Белевут вырывается, бежит к дверям бани, спотыкается, падает, хочет встать, чувствует, что его держат крепко, и с изумлением видит, что его обхватил Замятня. Он борется с Белевутом и кричит неизвестные слова. Огонь в бане погас. Дверь растворяется. Димитрий поспешно выходит и несет на руках Ксению, бесчувственную...

Она умерла! Она умерла! Господи боже мой! — говорит он отчаянным голосом.

— Сюда, помоги! — кричал Замятня, зажимая рот Белевуту и опутывая его своим кушаком. Димитрий оставляет Ксению на земле. Они с Замятнею вяжут Белевута, тащат его в баню, бросают туда, запирают двери и заставляют их запором.

— Пусть кричит себе там, сколько хочет! — сказал Замятня, оправляя платье.— Димитрий! Брат! Друг!

Они крепко обнялись.

— Доволен лы ты мною? — спросил Замятня.

— Скорее усомнился бы я в царстве небесном, а не в тебе...

— Что: дурак я, аль нет? Не обманул я самых хитрых, самых сильных людей, Москву и Нижний, татар и русских? Жизни моей неостанет отмолить все лжи, все обманы, какие принял я в это время на свою душу — и как легко плутовать, только захоти! Гораздо легче, нежели сделать что-нибудь доброе, а еще хвастают, дураки!

— Замятня, друг и брат! Мир не знает души твоей, да он и не стоит того... Награда твоя не здесь!

— Да и чем наградили бы меня здесь за все, что я сделал для правого дела? Деньгами? Я бросал их горстями за окошко! Почестями? Какие почести тому, кто о жизни своей думает столько же, сколько об изношенной

шапке! Димитрий! Дай бог тебе час добрый! Ступай прямо к Симеону — там все уже готово, а я побегу к гостям моим — у меня все собраны, и я никого не выпущу до света...

— Замятня! Увидимся ли мы еще в здешнем свете?

— Бог знает, друг Димитрий... Ну! Все равно — прощай!

— Прощай!..

Еще раз крепко обнялись они, и Димитрий чувствовал, как горячие слезы Замятни измочили ему лицо. Димитрий был точно как окаменелый. Он отшатнулся от Замятни и как будто тогда только вспомнил о Ксении, без чувств лежавшей на земле. Он наклонился к ней; взял ее холодную руку.

— Умерла? — сказал он. — Прости! И я ведь не жилец на земле! Тебе не радостна была жизнь — я погубил тебя, а мне разве лучше твоего было? Но, нет, нет! Она жива!.. Замятня, друг мой! Ксения жива! Ради бога, пособи мне...

— Чем же, брат? — отвечал Замятня, сложа руки и горестно смотря на несчастную Ксению и Димитрия, который, стоя на коленях, сжимал в руках своих ее руки. — Если бог даст Симеону возвратиться с честью и на счастье, будете еще жить и довольны, и веселы...

— Димитрий, супруг мой, милый друг! — вскричала Ксения, тихо поднявшись с земли и обхватив Димитрия обеими руками. — Ты идешь? Надолго? Когда возвратишься ты? Скоро ли?

— Скоро, милый друг мой, скоро и навсегда! Иди домой — успокойся...

— Домой! И мне должно скрываться, таиться перед отцом моим, глотать слезы мои и не видеть тебя.

— Димитрий! Время дорого! — сказал Замятня.

— Иду! Еще на часок...

— Вспомни, что от тебя зависит участь Симеона...

— Да, да... Мог ли я забыть, — и он исчез. Тут крик Белевута глухо отдался в бане. Ксения опомнилась, закричала пронзительно и быстро побежала в свой терем. Замятня остановился на минуту и слушал. Все умолкло. Холодный ветер шевелил листья деревьев. Невольный какой-то трепет объял его, и он спешил идти.

Быстро пробежал Димитрий по саду, захлопнул за собою калитку и опять хотел отворить — ему хотелось еще раз взглянуть на дом Некомата, на сад, где с Ксенией провел он столько счастливых часов в несчастное время своей жизни! Тайный брак соединил их во время поездки Некомата в Москву. Золото обольстило няню Ксении.

В зимнюю ночь, когда все спали в доме, Димитрий увез Ксению. Они были обвенчаны в отдаленной церкви. Счастье не было их уделом. Только Замятня, сторож сада и няня знали тайну свиданий их.

Темница, где заключен был Симеон, стояла подле Кремля. То был старый, огромный, опустевший дом. Высокий забор окружал тюрьму. Стража стояла подле ворот и вокруг дома. Двое московских бояр жили в самом доме. Рядом с сим домом был сад Некомата и небольшой старый домик его. Димитрий быстро прибежал к воротам темничного двора. Несколько человек показались из-за углов: то были его сообщники. У ворот не было ни души — стукнули в ворота; изнутри отодвинули засовы. Все вошли в маленькую калитку. Димитрий трепетал даже голоса товарищей. Три ратника, стоявшие у дверей дома, подошли к Димитрию и сказали, что сторожевые бояре еще не возвращались, а темничный пристав, не участвовавший в заговоре, спит в своей каморке. Прежде всего задвинули двери и ставень окна его каморки. Вот на другой стороне забора раздался громкий оклик часового. Один из ратников откликнулся; раздалось еще несколько окликов, и все умолкло. Не теряя времени, стали ломать замки на дверях. Они уступили усилиям. Дверные запоры упали. Двери растворились. Вдруг померещилось Димитрию, что по улице вдоль забора от ворот кто-то крадется... Холодный пот выступил на лице его... Боясь испугать других, он не сказал ни слова, велел идти всем далее и ломать другую внутреннюю дверь. Он один — весь обращен в слух — тихо — опять шорох... Так! Кто-то крадется к тому месту, где стоит Димитрий... Всемогущий! Если их открыли! Изнутри дома слышно было, как скрипит замок от напряжения лома... Димитрий прячется — таит дыхание. Кто-то подходит ближе — вынимает из-под полы маленький фонарь — светит. Мерцающий свет отражается на лице незнакомца — Димитрий узнает Некомата...

«Недаром чуяло у меня сердце! — шепчет старик, — здесь не добро! Мое все цело, а здесь... Посмотрим.. калитка отворена — сторожей нет... Как? И дверь разломана!.. И здесь нет стражи! Измена! Ударим в набат!» Он спешит идти. Свет из фонаря его мелькает ярче... О ужас! Димитрий не заметил сначала новой предосторожности, взятой тюремщиком: в трех шагах от дверей его каморки протянута веревочка, проведенная на набатную Кремлев-

скую башню. Уже Некомат подле нее — одно движение рукой — и вся кремлевская стража пробудится...

Дыхание сперлось в груди Димитрия. В глазах у него потемнело. Кровь его застыла и опять, как огонь, полилась по жилам. Он не помнит себя, бросается, сбивает с ног Некомата — фонарь тухнет... началась борьба отчаяния...

Старик был довольно силен. Он выбивается и бросается снова к веревке. Димитрий опять нападает на него. Рука Некомата ловит — почти хватает веревку — все заключено в одном взмахе руки — старик хочет кричать — нож выпадает у него из-за пазухи, и, как безумный, он ищет его в темноте, схватывает его и поражает Димитрия. Димитрий чувствует, что теплая кровь течет по руке его — он не помнит о себе, борется, зажимает рот Некомату — крик — новое усилие — еще удушаемый крик, еще усилие — последнее, отчаянное — и за ним послышалось хрипение умирающего...

— Убийца! — вскричал Димитрий. Голос его глухо раздался во мраке: — Я убил его!

И ему чудится, что кто-то страшно захохотал вдали. Но вот идут из тюрьмы — слышны голоса. В забытьи оттаскивает Димитрий в сторону труп Некомата, бросается к выходящим — Симеон!..

«О! стонать тебе, Русская земля, помянувши прежнюю годину и прежних князей: Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Мстислава Храброго! Ныне усобица князей на поганые погибла. Рекли князья: «то мое и то мое же», и сами на себя стали крамолу ковать, а поганые со всех сторон с победою приходят на землю Русскую. Тоска разлилась по земле Русской, и печаль тучная бродит по всям и градам. О! стонать тебе, Русская земля, помянувши первую годину и первых князей!» Так пел ты, певец плена Игорева, и два века протекли, но вещие слова твои роковым пророчеством носят по земле Русской!

Что там расстилается, как туман на синем море? То стелется дым от огня, пополающего жилища православных! Что там белеет, как снега во чистом поле? То белеют шатры бесчисленной рати Тимуровой! Сбылись страшные знамения, сбылись предчувствия, ужасавшие Русь: Тимур перешел Волгу и двинулся на полночь по берегу Дона. Пустынями шло его воинство, не встречая ни града, ни веси, ни села. Если и были там древле грады красны и нарочиты видением, места их единые только оставались, пусто

же все и ненаселенно, нигде не видно человека, только дебри велия и зверей множество. При впадении Сосны в Дон раскинут был наконец привальный табор Тимуров.

Зачем между ордами татар явилась русская дружина? Зачем она не в цепях, не в плену? Кто сей русский князь, которого руку дружески жмет старый татарин? Он, седой вождь татарский, был в Нижнем Новгороде и безмолвно смотрел, как сорвали венец княжеский с главы князя Бориса и как бросили в темницу Симеона.

— Наконец и ты здесь, русский князь. Поедем же в ставку великого Тимура! — говорил татарин.

— Поедем! — отвечал князь русский.

— Дружина твоя останется у моих шатров.

— Пусть останется.

— Ты должен оставить здесь все свое оружие.

Русский князь безмолвно снял саблю, отстегнул кинжал, положил копье. Подводят коней. Они едут.

Место, где расположен был стан Тимура, тянулось на несколько верст по берегу Сосны и Дона и неправильно простиралось в лес. Передовые отряды Тимуровы были за пепелищем Ельца. Ясное летнее солнце сияло на небе. Въехав на пригорок, откуда видны были и берега Дона, и быстрые воды Сосны, и меловые горы, при впадении сей реки в Дон, русский князь невольно остановился и тяжкая печаль изобразилась на лице его.

Перед глазами князя раскрылся стан Тимура — ни в которую сторону не видно было конца бесчисленному множеству шалашей, палаток, шатров, землянок. Лес на несколько верст был вырублен. Вдали дым поднимался клубами от догоравшего Ельца. Стада коней, волов, верблюдов, овец, орудия, каких до того времени не видано в России, воины, разнообразно одетые, богатые бухарцы, покрытые овчинами курды, закованные в железо персияне, черные эфиопы, наездники горские, воины европейские, женщины и дети пленные, телеги, нагруженные снарядами и добычами, оружие, наваленное кучами и расставленное рядами, огни, вокруг которых сидели воины, балаганы, где раскладены были богатства и товары из всех стран света и где шла деятельная торговля, как будто на каком торжище, рев животных, звук бубнов и труб, клики, песни, плач, игры, уныние отчаяния и неистовство счастья, бешеная радость и вопль ярости — все раскрывалось в зрелище невиданном и неслыханном.

На самом высоком месте, среди табора, стоял шатер Тимура. На нем блистала, как звезда, золотая, осыпанная

алмазами маковица. Полы шатра, из драгоценных индийских тканей, были опущены. Вокруг шатра постлан был бархат, вышитый золотом и жемчугом. На полверсты к нему трудно было пробраться сквозь толпу вождей, воинов, князей, купцов, духовных людей и странников. Тройная цепь стражей, скрестивши копья, опрашивала всех подходящих. При ярлыке, который показал татарин, пропустили его и русского князя. Тут протянуты были серебряные цепи, и тянулись в обе стороны богатые шатры жен и вельмож Тимуровых. *Бессмертная дружина* Тимура окружала его ставку. Совершенное безмолвие было в рядах сих воинов, прошедших от песков татарских до Китая и от Персии до берегов Дона. Облитые золотом, опершись на булатные секиры, они были неподвижны. Как будто не видали они, что татарин и спутник его подняли полу шатра и вошли в первое его отделение. Здесь разостланы были парчи, и на бархатных подушках сидели писцы и муллы; одни писали на шелковых тканях, другие погружены были в чтение свитков. В стороне сидел какой-то человек с свертком в руке, молча, но выпучив глаза, шевелил губами и размахивал руками. Другой человек, с черною длинною бородою, не сводя глаз с книги, перед ним лежавшей, протянул руку к татарину, взял его за руку, посмотрел ему на ладонь, потом взглянул в книгу, взглянул на какой-то странного вида математический инструмент и дал знак, что они могут идти далее. Тихо подняли татарин и русский князь балдакиновую завесу, преклонили головы, вступили внутрь и стали на колени. Глубокое молчание. Украдкой поднявши глаза, князь русский ослеплен был блеском драгоценных камней, из коих узорами сделаны были украшения стен шатра. Вокруг набросаны были дорогие ткани, стояли деревянные кадки и горшки с жемчугом, золотом, серебром, в груди лежало множество золотых чаш, в стороне брошен был овчинный тулуп, шерстяной войлок лежал на куче бесценных соболей. Вокруг стен положены были подушки, бархатные и парчовые, и подле каждой из них, на коленях, обратясь лицами к Тимуру, стояли люди, преклонив головы. Только один старик, державший в руках развернутый свиток и читавший его вслух, и другой, державший атласный сверток и трость писальную, сидели несколько ниже хана. Посреди шатра стоял большой кувшин, глиняный, на огромном золотом подносе, и подле него лежали два черные невольника. Сам Тимур сидел, поджав ноги, на подушке из драгоценного балдакина, потупив глаза, окруженный оружием, с чашею в руках.

Он прихлебывал что-то из чаши и слушал чтение свитка — то было утреннее чтение алкорана.

«Он дал свет солнцу и блеск звездам. Он уставил изменения месяца, да послужат человеку делить время и считать лета. Воистину он создал всю вселенную. Он повсюду явил очам мудрых знамения своего могущества. Последование ночи и дня, согласие всех творений на земле и на небе суть блистательные свидетельства боящимся господа. Не ожидающий будущей жизни, обольщенный прелестями земного бытия, уснет на них ненадежно, а презирающий мои вещания за деяния свои получит возмездием огонь адский!»

Здесь Тимур махнул рукой. Чтение прекратилось. Все поднялись и сели на подушках около стен шатра. Русский князь с невольным трепетом устремил взоры на страшилище, ужаснувшее собою полсвета. Он увидел человека, которому, по-видимому, было не более 50 лет — таким железным здоровьем одарен был Тимур. Смуглое, загоревшее лицо, черная с проседью борода, простая зеленая чалма, пестрый шелковый халат и кинжал за поясом — ничто не показывало ничего необыкновенного при первом взгляде. Но другой взгляд едва ли осмелился бы кто-нибудь возвести на Тимура. Глаза его сверкали, как глаза тигра. Лицо его не выражало ни одной страсти, но оно было смешением всех страстей. Ничего не высказывало отдельно лицо Тимура, но каждое движение резких черт его обнажало пучину страстей, подобную той пучине море-океана, где, как говорят, неугасающая смола горит, и кипит, и застывает — плавит камни и леденит воду в одно время.

— Вот истинная премудрость, Джеладдин-Абу Гиафар! — сказал Тимур, указав на алкоран жилистою рукою, показывавшею его необыкновенную силу, — вот где язык человека должен замкнуться в храмину безмолвия! Нам ли, праху земному, мудрствовать и стучаться в двери небесной мудрости? Что мы? Муравьи, тлен! Век наш — тень былия на горе Ливана!

Писец, сидевший по одну сторону Тимура, принялся писать. Тимур обратился к нему.

— Разве я сказал что-нибудь достопамятное? — промолвил он. — Правду, простую правду сказал я!

— Правду небесную! — отвечал писец.

— Начто же записывать ее? Она в сердце твоём и моём, и всех людей. Люди все одинаковы.

— Нет! — откликнулся кто-то у входа шатра. Это был

тот человек, которого видел русский князь в преддверии и почел сумасшедшим за его кривлянья.

— Тебе могу поверить,— сказал тихо Тимур.— Бог рек: «Мы даровали премудрость Локману и вещали ему: даждь славу богу!» Ты поэт, вдохновенный небом,— говори!

И поэт проговорил быстро:

— Если все деревья земные обратятся в писальные трости, если все семь океанов потекут чернилами, и тогда мы не испишем всех чудес бога, создавшего Тимура, *саиб керема* вселенной. В едином человеке воссоздал бог все человечество. Он изрек: «*кун*» (да будет!) — и явился человек. Он изрек «*желаледдин*» (восстань!) — и восстал Тимур! Цари — рабы его, веяние крыл ангела смерти — гнев его, от взоров его колеблются столпы Византии и трепещут опоры Индии! Пилою могущества перепилил он землю: на одной половине престол его, на другой океан бедствий, где реют в волнах слез и разбиваются о скалы ужаса враги его! Дерево блаженства смертных выросло в груди его и распростерло сени святых законов от полудня до полуночи! Как из растворенных врат рая веет радостью на смертных, так из уст Тимура веет премудрость, и, обтекающая пучину времен, она прейдет века и воссияет над гробницу последнего смертного!

— Благословен алла, создавший Тимура! — воскликнули присутствовавшие.

— Абу-Халеп! Возьми себе вот этот горшок,— сказал Тимур, указывая на огромный кувшин, насыпанный вровень с краями золотом,— и помни, что Тимур прервал сон наслаждений небесными розами поэзии, видя бедного пришельца у прага шатра своего. Говори мне, Эйтяк,— сказал он, обращаясь к татарину, пришедшему с русским князем,— говори: тот ли это человек, который просит помощи? Что ему надобно? Не отняли ль у него земли, по которой идем мы, с благословением пророка, восставить повсюду закон и правду?

— Нет, великий сагеб керем! Он князь в полунощной части земли Русь.

— В сколько седмиц пройти можно землю его? Простирается ли она хоть на месяц пути?

— Нет! Он владел немногими городами, далеко отсюда, на берегу большой реки, и у него отняли его землю.

— Так угодно было судьбам вышнего! Зачем же противится он воле бога! Зачем не отдаст он венца за мирную

соху, при которой счастлив бывает человек? Что ему хочется менять блаженство тишины на заботы царей?

— Землица была его наследие. Он почитает обязанностью хранить ее, ибо в ней схоронен прах его предков.

— Не Москва ли было наследие его? Я слышал о каком-то городе Москве?

— Нет! Москва отняла у него наследие.

— Итак, даже Москва могла обидеть его, Москва, которая сама преклонялась у подножия седалища людей, ничтожных пред избранными пророком,— преклонялась пред ордою Тохтамыша!

Он умолк и потом обратился к одному из присутствовавших.

— Где посол Баязета? — спросил он.

— С восхождения солнца вчерашнего ждет он ответа, не двигаясь с места, не совершая молитв и омовения и не вкушая трапезы, близ своего шатра.

— Кто он?

— Он царь Эрзерума, взятый в плен Баязетом, и ныне раб его.

— Напиши, Шефереддин, ясно напиши на бумаге Баязету, что Тимур предвидит гибель его на скале гордости и что корабль его плывет через пучины безумия. Напиши, что воины мои покрывают полмира и что скоро приду я в Анатолийские леса, и там богу правосудия предам мою обиду! Напиши и пошли проводить посла его столько человек, чтобы глаз не видел конца рядов их. А ты, князь Руси, если Москва обидела тебя,— поди с моим именем, поди один и пешком, в Москву — поди и скажи князю Московскому, что я отдал тебе Москву, и — возьми ее себе.

— Он не посмеет взять не своего,— отвечал угрюмо Эйтяк.

— Эта Русь мне нравится,— сказал Тимур, улыбаясь.— Здесь, мне кажется, были когда-нибудь царства сильные. Ты знаешь леса Индии и Персии? Здесь совсем другие леса — они гробницы жизни. Вчера я много думал, смотря на следы города, которые открылись в дикой, вырубленной моими воинами дебри. Тут был лес — он был уже некогда вырублен — жили люди и их нет — и на городах их выросли вновь леса. Люди здесь, на Руси, сжались в маленьких городках — и так же называются ханами и отнимают друг у друга то городок, то землицу! Для чего желаешь ты, князь русский, владеть своею землею? Земли всего надобно тебе вот столько! (Тимур показал меру

могилы.) Сегодня ты гордишься, а завтра никто и не вспомнит тебя! Стоит ли труда земля твоя и век твой? Я был на том месте, где стоял Вавилон Великий, и никто не мог мне сказать имен ханов, которых могилы являлись пред мною длинным рядом обломков. А знаешь ли, что один из сих ханов построил стены города, которых в семь дней нельзя было объехать? Что ты скажешь об этом, Мостассем-Гассан, мудрец Багдада?

— Раб твой,— отвечал один из присутствовавших,— осмеливается думать, что воля провидения неисповедима: оно создало кедр Ливанона, розу Йемена и траву, растущую на могиле монгола, умершего в сибирской степи, где никто не ведает не только его самого, но и народа его, погребенного в ветре пустынном. Я видел водопады великого Нила: там волны реки падают с того самого часа, как бог изрек миру: «*будь!*», и он был. Волна сменяет волну, и все льется в море, где и глаз и ум человека теряются в необозримой пучине.

Глаза Тимура блеснули как молния.

— Взгляни на звезды небесные,— сказал он,— и знай, что есть и в мире такие звезды! Пыль подымается ветром и падает опять на землю, а *глаза Алиевы* вечны, и бог избирает здесь на земле человека тленного и дает ему *нетленные глаза!* Собирается воинство и идет на край света. Для чего движутся сонмы их, для чего клики их будят духа безмолвных пустынь? Не для стяжания, не для корысти! Они ищут перлов славы, нетленных очей памяти. Полхлеба, купленного за одну копейку, насытит человека. И что я? Бедный грешник, старый и хромой,— но мне суждено было покорить Иран, Кипчак, Туран и предать *губительному ветру истребления* силы великие и царства многие! Дух божий ведет меня — и будто я знаю, куда он ведет меня? Он теперь отвращает меня от пути на полночь — он велит мне идти туда, в страны, орошаемые Гангесом, Нилом и Евфратом. Мы пройдем Эфиопию и перейдем чрез те горы, где сказал какой-то бессильный богатырь: «*не далее!*» Придем сюда еще раз, но уже с запада, и через Железные Врата Каспия пронесем завет пророка в Самарканду! А, Мустафа! Исполнил ли ты повеленное тебе?

— Голова Корийчака и головы его советников складены столпом подле шатра твоего.

— Поди же и объяви Темир-Кутлую, что Тимур избирает его владыкой Кипчака, вод Яика и вод Дона, до самого Крыма.

Один из присутствовавших повергся ниц на землю.

— Ты здесь, Темир-Кутлуй? Я и не заметил тебя! Воздай хвалу не мне, а богу. Будь милосерд, правосуден и — царствуй многие дни!

— Восемь верблюдов, навьюченных золотом, и восемь невольников повергает раб твой к стопам твоим! — отвечал Кутлуй.

— Восемь? — спросил, изумясь, Тимур. — Девять дверей рая, девять молитв пророка, и число девять благословляет человека на земле!

— Девятый раб твой — сам я, освещенный взором твоим, и девятый верблюд — царство мое! Пророк не отринул нескольких капель воды, принесенных ему усердием...

— *«Восток и Запад — область божия! Куда ни обрати взоры, везде узришь образ бога! Он наполнил вселенную своею бесконечностию».* Не так ли рек пророк его?

— Но мы не видим его, и только дух премудрости его явлен человеку в образах видимых, и где более явлен он, если не в том, кто переживет тысячелетия и будет на земле *нетленными очами* человечества!

— Поди же, Темир-Кутлуй, — я даю тебе средство начать добром — отдай этому князю русскому то, что у него отняли Тохтамыш и враги его! А ты, князь русский, помяни в молитве твоей меня, бедного хромца, и воздай за добро благоденствием твоих подвластных!

По данному знаку Темир-Кутлуй, Эйтяк и русский князь преклонились и вышли из шатра. Все остальные зрители оставались неподвижны и сидевшие в преддверии шатра были, как прежде, на своих местах. Все как будто оставалось недвижимо, но первый предмет, поразивший князя русского, когда он вышел из шатра Тимурова, была пирамида из окровавленных человеческих голов, которую склали в краткое время бытности его в шатре Тимура. На вершине пирамиды лежала голова Корийчака, избранного за несколько дней прежде в ханы Золотой Орды. Кровь из нее капала и падала на песок по обезображенным головам друзей Корийчаковых.

Прошли годы, прошли века. Память о нашествии Тимура осталась только в молве народной. Летописи русские повествуют, как благодать божия спасла Москву от гибели, как чудотворный образ богоматери принесен был из Владимира в Москву, как зверовидный Тимур устрашен

был чудным видением — в трепете, ночью, вскочил с одра своего, завопил страшным голосом, обратил вспять от берегов Сосны полки свои и бежал «*никем же гоним!*»!

Когда вы вступите в древний московский храм Успения богоматери, ваши взоры благоговейно встретят на левой стороне от царских врат унизанный жемчугом и драгоценными камнями образ, пред коим денно и ночью горит елей, приносимый православными. Сей святой образ перенесен был из Владимира, когда Тимур грозою двигался по берегам Дона к Москве. Пред ним молились предки наши, пред ним падали тогда во прах князи и бояре, пред ним лились горячие слезы русских, когда князь Василий Дмитриевич и воинство его обрекали себя верной гибели на берегах Оки и хотели лечь костью за Москву и православную Русь.

Красным летом, когда зацветают окрестности московские и толпы пешеходов идут поклониться мощам св. Сергия, благоговейно останавливаются сии странники у древнего Сретенского монастыря, совершают три земные поклона, и в душе их пробуждается память о том времени, когда на сем самом месте сердца предков их усладила *первая надежда спасения*, когда сонмы народа преклонились пред чудотворным образом богоматери — и Тимура поразили страх и трепет.

Поколения прешли по лицу земли. Пыль гробов отяготела на них веками. Если вы будете в Нижнем Новгороде, войдите в древний Преображенский собор, взгляните на ветхие гробы князей Нижегородских, разберите старинные письма на их гробницах: вы найдете там гробницу Симеона, подле него гробница князя Бориса. Гроб примирил их.

Вы хотите знать судьбу Симеона, после того когда вы видели его в шатре Тимура и слышали, как могущим словом Тимур отдавал ему Москву, не только наследие его. Разогните древние летописи и читайте:

«Лета 1402-го, князь великий Василий Дмитриевич посылал воевод своих, Ивана Андреевича Уду да Федора Глебовича, а с ними рать свою искать князя Семена Дмитриевича Суздальского, и самого его обрести или княгиню его, или дети его, или бояр, кряяшесь бо в татарских местех. И идоша на Мордву, и наехаша князя Семена княгиню Александру в Мордовской земле, на месте, нарицаемом Цыбирца, у святого у Николы, идеже поставил церковь бесерменин Хази-баба. И изымаша тамо княгиню

Семенову Александру, и ограбиша ее, и приведоша в Москву, и с детьми юными, и затвориша их на дворе Белевута. Слышав же князь Семен, что княгиня его и с малыми детьми изымана, и посла к великому князю с челобитьем, милости моля, и вниде в покорение, и во многое умиление и смирение, прося *опаса*. Был же тогда князь Семен в Ордынских местех, бегаша от великого князя, от Василия Дмитриевича. Князь же великий Василий Дмитриевич даде ему *опас*. Он же прииде из Орды на Москву и взяша мир с великим князем, и иде с Москвы на Вятку, с княгинею и с детьми, болен бо бяше уже, и пребысть на Вятке пять месяцев, и в больший недуг впаде, и преставися, месяца декемврия в 21 день. И сей князь Семен Димитриевич Суздальский в веке своем многи напасти подъят, и многи истомы претерпе, во Орде и на Руси, тружався, добываясь своей отчины, и восемь лет сряду не почивая, по ряду в Орде служаху четыремя царям: первому Тохтамышу, и второму Темир-Аксаку, и третьему Темир-Кутлюю, и четвертому Шадибегу, а все поднимая рать на великого князя, на Василия Дмитриевича, как бы ему найти свою отчину, княжество Новагорода Нижняго, и Суздаль и Городец. И того ради мног труд подъя, и много напастей и бед потерпе, пристанища не имея, и не обретая покоя ногама своима, и не успе ничтоже, но яко всеу труждаясь. Суетно есть человеческое спасение и упование, понеже от бога вся суть возможна, а от человек ничтоже...»

Такова была судьба князя Симеона Суздальского. Но его боярин Димитрий, но Ксения, но Замятня?..

Если что успеем найти, перескажем когда-нибудь о Димитрии, Ксении и Замятне. Теперь простите, православные, и благодать божия да будет с вами. Повесть о Симеоне кончена. Чему научила она нас? Повторим слова современника: «Суетно есть человеческое спасение и упование!» — Истина не новая, да помним ли мы ее?



БЛАЖЕНСТВО БЕЗУМИЯ

On dit, que la folie est un mal;
on a tort — c'est un bien...

Говорят, что безумие есть
зло,— ошибаются: оно благо!

Мы читали Гофманову повесть «Meister Floh»¹ Различные впечатления быстро изменялись в каждом из нас, по мере того как Гофман, это дикое дитя фантазии, этот поэт-безумец, сам боявшийся привидений, им изобретенных, водил нас из страны чудесного в самый обыкновенный мир, из мира волшебства в немецкий погребок, шутил, смеялся над нашими ожиданиями, обманывал нас беспрерывно и наконец — скрылся, как мечта, изглаженная крепким утренним сном! Чтение было кончено. Начались разговоры и суждения. Иногда это последствие чтения бывает любопытнее того, что прочитано. В дружеской беседе нашей всякий изъяснял свое мнение свободно; противоречия были самые странные, и всего страннее показалось мне, что женщины хвалили прозаические места более, а мужчины были в восторге от самых фантастических сцен. Места поэтические пролетели мимо тех и других, большею частью не замеченные ими.

Один из наших собеседников молчал.

— Вы еще ничего не сказали, Леонид? — спросила его молодая девушка, которая не могла налюбоваться дочерью переплетчика, изображенною Гофманом.

— Что же прикажете мне говорить?

— Как что? Скажите, понравилась ли вам повесть Гофмана?

¹ «Повелитель блох» (нем.).

— Я не понимаю слова «понравиться»,— отвечал Леонид,— и глаза его обратились к другой собеседнице нашей,— не понимаю, когда говорят это слово о Гофмане или о девушке...

Та, на которую обратился взор Леонида, потупила глаза, и щеки ее покраснели.

— Чего же вы тут не понимаете?

— Того,— отвечал Леонид,— что ни Гофман, ни та, которую сердце отличает от других, нравиться не могут.

— Как? Гофман и девушка, которую вы любите, вам не могут нравиться?

— Жалею, что не успел хорошо высказать моей мысли. Дело в том, что слово «нравиться» я позволил бы себе употребить, говоря только о щегольской шляпке, о собачке, модном фраке и тому подобном.

— Прекрасно! Так лучше желать быть собачкою, нежели тою девушкою, которую вам вздумается любить?..

— Не беспокойтесь. Но Гофман вовсе мне не нравится, как не нравится мне буря с перекатным громом и ослепительною молниєю: я изумлен, поражен; безмолвие души выражает все мое существование в самую минуту грозы, а после я сам себе не могу дать отчета: я не существовал в это время для мира! И как же вы хотите, чтобы холодным языком ума и слова пересказал я вам свои чувства? Зажгите слова мои огнем, и тогда я выжгу в душе другого чувства мои такими буквами, что он поймет их...

— Не пишет ли он стихов? — сказала девушка, которая спрашивала, молчаливой своей подруге.— Верно, это какое-нибудь поэтическое сравнение или выражение, и я ничего в нем не понимаю...

— Ах! как я его понимаю! — промолвила другая тихонько, сложив руки и поднимая к небу голубые глаза свои.

Я стоял за ее стулом и слышал этот голос сердца, невольно вылетевший. Боясь, чтобы она не заметила моего нечаянного дозора, я поспешил начать разговор с Леонидом.

— Прекрасно,— сказал я,— прекрасно, любезный Леонид! Только, в самом деле, непонятно.

— Как же вы говорите «прекрасно», если вы не понимаете?

Этот вопрос смешал меня. Я не знал, что отвечать на возражение Леонидово.

— То есть, я говорю,— сказал я ему наконец,— что

трудно было бы изъяснить положительно, если бы мы захотели отдать полный отчет в ваших словах.

— Бедные люди! Им и чувствовать не позволяют того, чего изъяснить они не могут! — Леонид вздохнул.

— Но как же иначе? — сказал я. — Безотчетное чувство есть низшее чувство, и ум требует отчета верного, положительного...

— Мне всегда забавно слышать подобные слова: сколько в них шуму, грому, и между тем, как мало отчетливости во всех ваших отчетах! Скажите, пожалуйста: во многом ли до сих пор успели вы достигнуть вашей отчетливой положительности? Не вправе ли мы и теперь еще, после всех ваших философских теорий и систем, повторить:

Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось вашим мудрецам!

Что такое успели мы разгадать нашим умом и выразить нашим языком? Величайшая горесть, величайшая радость — обе безмолвны; любовь также молчит — не смеет, не должна говорить (он взглянул украдкой на молчаливую нашу собеседницу). Вот три высокие состояния души человеческой, и при всех трех уму и языку дается полная отставка! Все это человек может еще, однако ж, понимать; но что, если мы осмелимся коснуться тех скрытых тайн души человеческой, которые только ощущаем, о существовании которых только догадываемся?..

Леонид засмеялся и вдруг обратился к веселой нашей собеседнице.

— Вам скучно слушать мои странные объяснения. Извините: вы сами начали.

— Я искренно признаюсь вам, что не понимаю, о чем вы говорите. Мне просто хотелось узнать ваше мнение о гофмановской сказке...

— Сказка эта похожа на быль, — отвечал Леонид.

— Помилуйте? Как это можно?

— Говорю не шутя. Сначала мне показалось даже, будто я слышу рассказ о том, что случилось с одним из моих лучших друзей.

— Возможно ли?

— Окончание у Гофмана, однако ж, совсем не то. Бедный друг мой не улетел в волшебное царство духов: он остался на земле и дорого заплатил за мгновенные прихоти своего бешеного воображения...

— Расскажите нам!

— Это возбудит горестные воспоминания моей жизни;

притом же я боюсь: я такой плохой рассказчик... Сверх того, в приключениях друга моего я ничего не могу изъяснить положительно!..— Леонид засмеялся и пожал мне руку.

— Злой насмешник! — сказал я.

— Вы, однако ж, расскажете нам? — повторила веселая наша собеседница.

— Если вам угодно...

Взор Леонида выразил, однако ж, что совсем не в ее угоду хотел он рассказывать.

— Ах! как весело! — сказала вполголоса молчаливая ее подруга, так что Леонид мог слышать, — он станет рассказывать!

— Ты любишь слушать рассказы Леонида? — лукаво спросила ее подруга.

— Да... потому, что они всегда такие странные... — Она смешалась и опять замолчала.

Несколько молодых людей придвинули к нам свои кресла. Мы составили отдельный кружок. Другие из гостей были уже заняты в это время картами и разговорами о погоде и еще о чем-то весьма важном, кажется, об осаде Антверпена.

Леонид начал.

— Вы позволите мне скрыть имена и предварительно объявить, что я ни слова не прибавлю и не убавлю к истине.

— В Петербурге, несколько лет тому, когда я служил по министерству... знал я одного молодого чиновника. Он был товарищ мне по департаменту и старше меня летами. Назовем его Антиохом. В начале нашего знакомства показался он мне угрюм, холоден и молчалив. В веселых беседах наших он обыкновенно говаривал мало. Сказывали также, что он большой скупец. В самом деле, всем известно было, что у него огромное состояние, но он жил весьма тихо и скромно, никого не приглашал к себе, редко участвовал в забавах своих приятелей и только раз в год сзывал к себе товарищей и знакомых, в день именин своих. Тогда угощение являлось богатое. В другое же время редко можно было застать его дома. Говорили, что он нарочно не сказывается, хотя кроме должности почти никуда не ходит и сидит запершись в своем кабинете. Должность была у него легкая, за бумагами сидеть ему было не надобно, и никто не знал, каким образом Антиох проводит время. Впрочем, он был чрезвычайно вежлив



и ласков, охотно ссужал деньгами и был принят в лучших обществах. Прибавлю, что он был собою довольно хорош, только не всякому мог понравиться. Лицо его, благородное и выразительное, совсем не было красиво; большие голубые глаза его не были оживлены никаким чувством. Стройный и высокий, он вовсе не заботился о приятности движений. Часто, сложив руки, опустив глаза в землю, сидел он и не отвечал на вопросы самых милых девушек и улыбался притом так странно, что можно было почесть эту улыбку за насмешку. Бог знает с чего, Антиоха называли ученым — название, не придающее любезности в глазах женщин: говорю, что слышал, и готов допустить исключения из этого правила. Такое название придали Антиоху, может быть, потому, что он хорошо знал латинский язык и был постоянным посетителем лекций Велланского. Впрочем, Антиох показывал во всем отличное, хотя и странное, образование. Он превосходно знал французский, итальянский и особенно немецкий язык; изрядно танцевал, но не любил танцевать; страстно любил музыку, но не играл, не пел и всему предпочитал Бетховена. Иногда начинал он говорить, говорил с жаром, увлекательно, но вдруг прерывал речь и упорно молчал целый вечер. Знали, что он много путешествовал, но никогда не говорил он о своих путешествиях...

Извините, что я изображаю вам моего героя. Этот старинный манер романов необходим, и вы поймете после сего, почему называли Антиоха странным человеком. Вообще Антиоха все уважали, но любили его немногие. Долго старались разгадать странности Антиоховы. Одни сказывали, будто он был когда-то влюблен, и влюблен несчастно. Это могло сделать его интересным для женщин, но холодность Антиоха отталкивала всякого, кто хотел с ним сблизиться. Другим казалось непросительным, что при большом богатстве своем он, совершенно независимый и свободный, не живет открыто и не находится в блестящем обществе, не ищет ни чинов, ни связей, сидит дома, ходит на ученые лекции. «Он слишком умничает — он странный человек — он чужак — впрочем, он деловой человек — он скуп, а это отвратительно!»

Так судили об Антиохе. Странность труднее извинять, нежели шалость. Другим прощали бесцветность, ничтожность характера, мелкость души, отсутствие сердца: Антиоху не прощали того, что он отличался от других резкими чертами характера.

Признаюсь, я не мог не уважать Антиоха за то, что он

не походил на других наших товарищей. Кто знает молодых петербургских служивых людей, тот согласится с моим замечанием. Мало удавалось мне слышать оживленный разговор Антиоха; но что слышал я, то изумляло меня чем-то необыкновенным — какою-то странною оригинальностью. Вскоре мы познакомились с ним короче.

Это было летним вечером. Помню этот вечер — один из прекраснейших вечеров в моей жизни! Я вырвался тогда из душного Петербурга, уехал в Ораниенбаум, дал себе свободу бродить без плана, без цели. Солнце катилось к западу, когда я очутился на даче Чичагова. Местоположение прелестное, дикое, уединенное, солнце, утопающее в волнах Финского залива, море, зажженное его лучами, небо ясное, безоблачное — все это расположило меня к какому-то забвению самого себя. Я был весь мечта, весь дума — как говорят наши поэты, и не заметил, как приблизился ко мне Антиох.

«Леонид! — сказал он мне, — дай руку! Отныне ты видишь во мне доброго своего друга!»

Я невольно содрогнулся от яркого взора, какой Антиох устремил на меня, и от нечаянного появления этого странного человека. В замешательстве, молча, пожал я ему руку.

Никогда не видывал я Антиоха в таком, как теперь, состоянии. Если бы надобно было изобразить мне состояние его одним словом, то я сказал бы, что Антиох казался мне вдохновенным. Я видел не прежнего холодного Антиоха, с насмешливою улыбкою, с каким-то презрением смотревшего на всех, запеленанного в формы и приличия. В глазах его горел огонь, румянец оживлял его всегда бледные щеки.

«Леонид, — сказал он мне, — ради бога, прочь все формы! Будь при мне тем, чем видел я тебя за несколько минут, или я уйду и оставлю тебя!»

«Вы меня удивляете, Антиох!»

«Несносные люди! Их никогда не застанешь врасплох; они тотчас спешат надеть фрак свой и подать вам визитную карточку... Извините, что я перервал вашу уединенную прогулку», — сказал Антиох с досадою и хотел идти прочь. Я остановил его. Голос Антиоха дошел до моего сердца.

«Антиох! Я тебя не понимаю».

«А мне казалось, что за несколько минут я понимал тебя, понимал юное сердце человека, который убежал из толпы людей отдохнуть здесь, один на просторе, побеседовать с матерью-природою; понимал взор твой, устремлен-

ный на этот символ души человеческой — море бесконечное, бездонное, с бурями и пропастями...»

«Леонид!» — «Антиох!» — воскликнули мы и крепко обняли друг друга. Взявшись рука в руку, до глубокой ночи бродили мы вместе.

Не могу пересказать вам всего, что было переговорено нами в это время.

Антиох раскрыл мне свою душу — я высказал ему мою. Но что мог я тогда высказать ему? — продолжал Леонид с жаром, потупив глаза. — Несколько бледных воспоминаний детства, несколько неопределенных чувств при взгляде на природу, несколько затверженных мною идей, несколько мечтаний о будущем, может быть... Но я не о себе, а об Антиохе хочу говорить вам.

Антиох открыл мне новый мир, фантастический, прекрасный, великолепный — мир, в котором душа моя тонула, наслаждаясь забвением, похожим на то неизъяснимо-сладостное чувство, которое ощущаем мы, купаясь в море или смотря с высокой, заоблачной горы на низменное пространство, развивающееся под ногами нашими. Душа Антиоха была для меня этим новым, волшебным миром: она населила для меня всю природу чудными созданиями мечты; от ее прикосновения, казалось мне, и моя душа засверкала электрическими искрами. Как легко понял я тогда и насмешливую улыбку Антиоха при взгляде на известные обоим нам светские общества, и презрение, какое невольно изъяснял он при взгляде на наших товарищей!

Только равная Антиоху душа могла понять его или сердце младенческое, чистое, беспечно отдавшееся ему. Так прекрасную душу женщины понимает только пламенная душа любящего ее человека или дитя, которое безотчетно улыбается на ее материнскую слезу и питается жизнью из ее груди!

«Леонид! — говорил мне Антиох, — человек есть отпавший ангел божий. Он носит семена рая в душе своей и может рассадить их на тучной почве земной природы и на лучших созданиях бога — сердце женщины и уме мужчины! Мир прекрасен, прекрасен и Человек, этот след дыхания божьего. Бури низких страстей портят, бури высоких страстей очищают душную его атмосферу и сметают пыль ничтожных сует. Любовь и дружба — вот солнце и луна душевного нашего мира! К несчастью, глаза людей заволочает темная вода: они не видят их величественного восхождения, прячутся в тени от жаркого полдня любви

и пугаются привидений священной полуночи дружбы или больными, слабыми глазами не смеют глядеть на солнце и спят при серебристом свете месяца. Тяжело тому, кто бродит один бодрствующий и слышит только храпенье сонных. Пустыня жизни ужасна — страшнее пустынь земли! Как грустно смотреть, если видишь и понимаешь, чем могли б быть люди и что они теперь!»

С жаром детских надежд опровергал я слова Антиоха, указывая ему на светлую будущность нашей жизни.

«Утешайся этими мечтами, храни их, Леонид! — ласково, но задумчиво говорил Антиох. — Эта мелкая монета всего лучше в торговле жизнью, и — горе тому, кто принесет на рынок людской жизни горсть драгоценных алмазов: если бы люди и могли оценить их, им не на что будет их купить; никто тебе не разменяет их, никто не продаст тебе на них ничего, и ты, обладатель алмазов, умрешь с голоду! Открой мне поприще, достойное высоких порывов души, поставь мне метою лавровый или дубовый венок, не оскверненный мелкими отношениями. А! самая смерть в достижении к этому венку будет сладостною целью жизни! Но покупное, но ничтожное — за ними ли пойду я! Так на торжественном пире народном ставят золоторогих быков, и безумная чернь дерется за куски их мяса, лезет на шест, стараясь достать позолоченный крендель, положенный на его вершине...

Леонид! ты еще не испытал терзательных бичей жизни. Ты еще не ставил на карту мечтаний всего своего счастья. Ты не знаешь еще муки неудовлетворенных стремлений души в любви, дружбе и славе! Горестный опыт научил меня многому, что тебе неизвестно».

Антиох рассказал мне главные подробности своей жизни. Отец его, бедный офицер, увез дочь богача, и жестокосердный старик проклял их.

«Я не помню радостей младенчества, — говорил мне Антиох. — Угнетающая бедность, слезы матери, бледное лицо моего доброго отца — вот привидения, которыми окружена была колыбель моя. Бедность убийственна, а я испытал ее, испытал вполне: я видел, как мать моя терзалась последними смертными муками, и лекарь не шел к ней, потому что нечем было заплатить ему за визит! Я видел, как отец мой держал в руке рецепт, прописанный лекарем, и плакал: ему не с чем было послать в аптеку! Мы должны были много аптекарю; он не хотел нам отпустить более в долг, а у нас не было ни одной копейки! Двенадцати лет был я, когда проводил бедный гроб матери на кладбище и,

возвратясь домой, застал отца без памяти — его повезли в больницу.

Я составлял единственное утешение матери моей, и воспитание мое было в странной противоположности с состоянием нашим. Женщина, каких не встречал я после, святой идеал материнской любви! зачем так рано раскрыла ты мое сердце? Зачем не дозволила свету охолодить, облечь меня в свои приличия и условия? Но тебе потребна была душа родная, с которою могла бы ты делиться своею душою, своим сердцем. И твоя мечтательная, любящая душа погубила меня! Голова моя была уже романической, когда я едва понимал самые обыкновенные предметы жизни. Единственный друг нашего семейства, пастор лютеранской церкви того города, где мы жили, был другой губитель мой. Его высокая добродетель, его трогательная проповедь, его музыка, его слова, беседы с моею матерью уносили меня за пределы здешнего мира. Добрый старик этот в один год лишился нежно любимой жены, двух дочерей и осиротел на чужой стороне в старости лет. Единственное утешение его было, когда мать моя со мною приходила к нему, и он мог плакать, мог говорить с нею о милых, утраченных им, о своей доброй Генриетте, о своих незабвенных Элизе и Юлии. По целым часам стоял я иногда и слушал, когда он, забывши весь мир, один в своей кирхе, играл на органах — я слушал божественные звуки Моцарта и Генделя, и голова моя горела, пока я не начинал неутешно рыдать. Тогда старик переставал играть и обнимал меня со слезами... Мы казались друзьями, ровесниками...

Из этого мира романической жизни и мечтаний вдруг перешел я в мир совершенно противоположный. Дед мой услышал о смерти моей матери. Одинок, грустно проводил он жизнь среди своих богатств. В больницу, где лежал отец мой, явился этот старик: все было забыто, горесть примирила их. Я воображал себе деда строгим, угрюмым богачом: увидел седого, убитого печалью старика, который обнимал меня, называл своим милым Антиохом. Отец мой выздоровел, снова вступил в службу; я переселился к моему деду. Вскоре бессарабская чума лишила меня отца...

Дед мой жил как богатый русский помещик, окруженный многочисленною дворнею, льстецами, прислужниками. Меня, его единственного наследника, облелеяли все прихоти, все изобретения роскоши. Но грубый мир страстей, который увидел я у деда, старика, обманываемого всем, что его окружало, не только не увлек меня, но отвратил от себя и увеличил противоположность мечтательной

души моей и действительной жизни. Все время, которого не проводил я в учебной своей комнате с множеством учителей, для меня нанятых, был я с моим дедом — как говорится, не слышавшим во мне души,— или бродил по окрестным лесам, с книгою, с мечтами, или скакал по полям на борзом коне. Соседи наши, добрые грубые люди — особенно соседки, матушки, тетушки, кузины, дочери их,— заставляли меня с особенною охотою скрываться в мое уединение».

Выражение Антиоха сделалось колким, насмешливым, когда он описывал мне грубую безжизненную жизнь деревенского быта: помещиков, переходящих от овина к висту, помещиц, занятых то ездой в гости, то сватаньем дочерей. Но с большою насмешкою говорил он мне о сельских красавицах — полных, здоровых, с румяными щеками, с бледною душою, красивых личиками, безобразных сердцами...

«Я искал душ в этих прозябающих телах,— говорил Антиох.— Часто увлекался я добродушием отцов, простою матерей и взрослым младенчеством детей их. Но грубые формы их вскоре отталкивали меня, и всего грустнее мне было видеть, когда я находил следы чего-то прекрасного, высокого, насильно заглушенного среди репейника и полыни сует и мелких отношений. Я готов был тогда жаловаться на провидение, сеющее бесплодные семена или попускающее расклеивать их галкам и воронам ничтожных отношений, душить их белене и чертополоху невежества.

Я выпросился у деда моего в Геттингенский университет. Мне и потому несносно было оставаться более в деревне, что меня там невзлюбили наконец, называли философом — страшная брань в устах тамошних обитателей,— чудачком, нелюдимом, насмешником.

Германия — парник, где воспитывает человечество самые редкие растения, унесенные человеком из рая; но она — парник, Леонид! — а не раздольное поле, на котором свободно возрастали бы величественные пальмы и вековые творения человеческой природы. «Германия снимает с лампад просвещения нагар, но зато от нее пахнет маслом», — сказал не помню кто, и сказал справедливо. Однако ж в ней провел я лучшие минуты жизни — в ней, и еще в итальянской природе, и между швейцарскими горами, где песня приволья отдается между утесами горными и вторит шуму вечных водопадов...

Внезапная смерть деда заставила меня возвратиться в Россию, о которой сильно билось сердце мое на чужбине.

Не зная разлуки с отчизною, не знаешь и грусти по отчизне, не знаешь, какую прелесть имеет самый воздух родины, какое очарование заключается в снегах ее, как весело слышать наш русский, сильный язык! Я увидел себя обладателем большого имения; сила души моей не удовлетворялась более одним ученьем. Мне хотелось забыть и мечты мои, и противоположности жизни в деятельных, достойных мужа трудах; хотелось узнать и большой свет.

Мой друг! кто рано начал жить вещественною жизнью, тому остается еще необозримая надежда спасения в жизни души; но беден, кто провел много лет в мире мечтаний, в мире духа и думает потом обольститься оболочкою этого мира, миром вещественным! Так путешествие — отрада для души неопытной, обольщаемой живыми впечатлениями общественной жизни и природы, но оно — жестокое средство разочарования для испытанного жильца мира! Богатые лорды английские проезжают через всю Европу нередко для того, чтобы навести пистолет на разочарованную голову свою по возвращении в свои великолепные замки. Есть путешествия, в которых душа человеческая могла бы еще забыться, — путешествия по бурным безднам океана, среди льдов, скипевшихся с облаками под полюсом, среди палящих степей и пальмовых оазисов Африки, среди девственных дебрей Америки. Но такой ли мир для души петербургский проспект и эти разраморенные, раззолоченные залы и гостиные? Кто привык к крепкому питью, тому хуже воды оржад, прохлаждающий шеголеватого партнера кадрили. Вода, по крайней мере, вовсе безвкусна, а бальный оржад — что-то мутное, что-то приторное... Несносно!

Если бы горела война, изумлявшая Европу в 1812-м году, если бы грудью своею ломил нашу Русь тогдашний великан, которому мечами вырубили народы могилу в утесах острова св. Елены, — под заздравным кубком смерти можно бы отдохнуть душою; если б я был поэтом, мог в очарованных песнях высказывать себя, — я также отдохнул бы тогда, я разлился бы по душам людей гармоническими звуками, и буря души моей исчезла бы в громах и молниях поэзии; если бы я мог, хотя не словами, но звуками только оживлять мечты, которым тесно в вещественных оковах... Но ты знаешь, что я не поэт и не музыкант! Непослушная рука моя всегда отказывалась изображать душу мою и в красках, и в очерках живописных. О Рафаэль, о Моцарт, о Шиллер! Кто дал вам божественные ваши краски, звуки и слова? Для чего же даны они были вам,

а не даны мне? И для чего не передали вы никому тайны созданий ваших? Или вы думали, что люди недостойны ваших тайн? И для чего же судьба дала мне чувства, с которыми я понимаю всю ничтожность, всю безжизненность моих порывов, смотря на небесную Мадонну, слушая «Requiem» и читая «Résignation»? «Звуков, цветов, слов! — восклицаю я, — их дайте мне, чтобы сказаться на земле небу! Или дайте же мне душу, которая слилась бы со мною в пламени любви...» И что же вокруг меня? Куклы с завялыми цветами жизни, с цепями связей и приличий! Чего им от меня надобно? Моего золота, которое отвратительно мне, когда я вспоминаю, что мать моя умирала, а у меня не было гривны денег купить ей лекарства! И эту купленную любовь, эту продажную дружбу, эти обшитые мишурою расчёта почести будут занимать меня? Никогда!»

Вы назовете Антиоха моего безумцем, мечтателем? Не противоречу вам, не хвалю его, но — таков он был. Не осуждайте его хоть за то, что впоследствии он расплатился дорого за все, что чувствовал, о чем говорил и мечтал. Простите ему, хоть за эту цену, его безумие и, если угодно, извлеките из этого нравственный вывод, постарайтесь еще более похолодеть, покрепче затянуться в формы, приличия и обыкновенные, благоразумные, настоящие понятия о жизни. *Его пример будь нам наукой*: не слишком высоко залетать на наших восковых крыльях. Лучше дремать на берегу лужи, нежели тонуть, хотя бы и в океане... — Леонид улынулся и продолжал рассказ:

— Не все, что высказал я вам, говорено было нами во время прогулки на Чичаговой даче в этот незабвенный для меня вечер, после которого мы почти не расставались с Антиохом. Каждый раз привязывался я к нему более и более, каждый раз лучше узнавал я эту душу, пылкую, независимую, добрую, как у младенца, светлую, как у добродетельного старца, пламенную, как мысль влюбленного юноши. Не знаю, что полюбил Антиох во мне. Может быть, детское самоотвержение, с каким вслушивался я в голос его сердца, в высокие отзывы души его.

Тогда узнал я, что дельвал Антиох, запираясь у себя дома и отказывая посетителям. Склонность к мечтательности, воспитанная всею его жизнью, увлекала Антиоха в мир таинственных знаний, этих неопределенных догадок души человеческой, которых никогда не разгадает она

вполне. Исследование тайн природы и человека заставляли его забывать время, когда он занимался ими. Исследования магнетизма, феософия, психология были любимыми его занятиями. Он терялся в пене мудрости, которая кружит голову вихрями таинственности и мистики. Знания, известные нам под названиями каббалистики, хиромантии, физиогномики, казались Антиоху только грубою корою, под которою скрываются тайны глубокой мудрости.

Я не мог разделять с ним любимых его упражнений, однако ж слушал и заслушивался, когда он, с жаром, вдохновенно, говорил мне о таинственной мудрости Востока, раскрывал мне мир, куда возлетает на мгновение душа поэта и художника и который грубо отзывается в народных поверьях, суевериях, преданиях, легендах. Антиох не знал пределов в этом мире. Эккартсгаузен, Шведенборг, Шубарт, Бем были самым любимым его чтением.

«Тайны природы могут быть постижимы тогда только, когда мы смотрим на них просветленным зрением души,— говорил он.— Кто исчислит меру воли человека, совлеченной всех цепей вещественных? Где мера и той божественной вере, которая может двигать горы с их места, той дщери небесной Софии, сестры Любви и Надежды? Природа — гиероглиф, и все вещественное есть символ невещественного, все земное — неземного, все вещественное — духовного. Можем ли пренебречь этот мир, доступный духу человеческому?»

«Мечтатель! — говорил я иногда Антиоху,— ты погубишь себя! Мало тебе идеалов, которых не находишь в жизни — ты хочешь из них создать целый мир и в этом мире открывать тайны, которые непостижимы человеку!»

«Но они постижимы ему в зрящем состоянии ума, во временной смерти тела — сне — и в вещественном соединении с природою — магнетизме! Но если я и грежу, если это и сон обольстительный, не лучше ли сон этот бедной вашей существенности? Если сон приставляет крылья телу — мечта подвязывает крылья душе, и тогда нет для нее ни времени, ни пространства. О, мой Леонид! Если дружбу мою столько раз, со слезами, называл ты благословением неба, зачем не могу я изобразить тебе, что сказала бы родная душа о моей любви, о любви выше ничтожных условий земли и мира! Да, правда: эта любовь не для земли — ее угадала бы одна, одна душа, созданная вместе с моею душою и разделенная после того. Леонид! назови меня сумасшедшим, но Пифагор не ошибался: я верю его жизни до рождения — и в этой жизни — верю я — было»

существо, дышавшее одной душою со мной вместе. Я встречусь некогда с ним и здесь; встреча наша будет нашею смертью — пережить ее невозможно! Умрем, моя мечта! умрем — да и на что жить нам, когда в одно мгновение первого взора мы истощим века жизни?..»

Не знаю, поняли ль вы теперь странную, если угодно, уродливую душу Антиоха, которая открывалась только мне одному и никому более? Для других продолжал он быть прежним, насмешливым, холодным молодым человеком, не переменял образа своей жизни, жил по-старому, служил, как другие...

В это время приехал в Петербург какой-то шарлатан: называю его так потому, что его нельзя было назвать ни артистом, ни ученым человеком. Он, правда, не объявлял о себе в газетах, не вывешивал над своею квартирою огромной размалеванной холстины днем, ни темного фонаря с светлою надписью по вечерам и называл себя Людовиком фон Шреккенфельдом; однако ж разослал при театральных афишках известие, для любителей изящных искусств, о мнемо-физико-магических вечерах, какие намерен давать петербургской публике, и «льстил себя надеждою благосклонного посещения». В огромной зале давал он эти вечера. Цена за вход назначена была десять рублей, и зала каждый раз была полна. В самом деле — было чего посмотреть. Удивительные машины, непонятные автоматы, блестящие физические опыты занимали прежде всего посетителей. Потом приглашенные лучшие артисты разыгрывали самые фантастические музыкальные пьесы; иногда фантазмагория, кинезотография, пиротехника, китайские тени изумляли всех своею волшебною роскошью. Но молодых посетителей более всего привлекала к Шреккенфельду девушка, которую называл он своею дочерью.

Не знаю, как описать вам Адельгейду: она уподоблялась дикой симфонии Бетховена и девам валкириям, о которых певали скандинавские скальды. Рост ее был средний, лицо удивительной белизны, но не представляло ни стройной красоты греческой, ни выразительной красоты Востока, ни пламенного очарования красоты итальянской; оно было задумчиво-прелестно, походило на лицо мадонн Альбрехта Дюрера. Чрезвычайно стройная, с русыми, в длинные локоны завитыми волосами, в белом платье, Адельгейда казалась духом той поэзии, который вдохновлял Шиллера, когда он описывал свою Теклу, и Гете, когда

он изображал свою Миньону. Вечера Шреккенфельда отличались тем от обыкновенных зрелищ за плату, что хозяин и дочь его не собирали при входе билетов, и собрание у них походило на вечернее сборище гостей. Шреккенфельд и Адельгейда казались добрыми хозяевами, и пока артисты разыгрывали разные музыкальные пьесы, ливрейные слуги угощали посетителей без всякой платы, а он и она занимали гостей разговорами, самыми увлекательными, веселыми, разнообразными. Затем, как будто нечаянно, хозяин начинал рассуждать о природе, ее таинствах и принимался за опыты. Но все ждали нетерпеливо того времени, когда Адельгейда являлась на сцену. Она обладала удивительными дарованиями в музыке, говорила на нескольких языках, и, несмотря на ее всегдашнюю холодность и задумчивость, разговор Адельгейды был блестящ, увлекателен. Заметно было, что она выходила на сцену неохотно. Обыкновенно начинала она игрою на фортепиано, а чаще на арфе. Задумчивость ее исчезала постепенно — игра переходила в фантазию, звуки лились, как будто из ее души, голос ее соединялся с звуками арфы. Тогда глаза ее начинали сверкать огнем восторга. Она пела, декламировала, оставляла арфу, читала стихи Гете, Шиллера, Бюргера, Клопштока. Раздавались звуки невидимой гармоникки, скрытой от зрителей, и потрясали душу. Каждый думал тогда, что видит в Адельгейде какое-то воздушное существо, каждый ждал, что она рассеется, исчезнет легким туманом. Тогда только раздавались рукоплескания зрителей, когда Адельгейда уходила со сцены, скрывалась от взоров и к звукам гармоникки присоединялся шумный хор музыкантов. Адельгейда не являлась уже к зрителям после игры и декламации, и Шреккенфельд оканчивал вечера изумительными фокусами или фантазмагориею.

Слухи о вечерах Шреккенфельда и особенно об его Адельгейде привлекали к нему молодежь. Каждый шел посмотреть на нее, как на кочевую комедиянтку, походную певицу. Но каждого изумлял взгляд на нее и, особенно, разговор ее. Свобода обращения Адельгейды с молодыми людьми представляла разительную противоположность с ее холодностью. Один взор Адельгейды останавливал двусмысленный разговор или дерзкое слово самого безрассудного ветреника, а ее дарования заставляли забывать, что она была дочь какого-то шарлатана и показывала опыты необыкновенных дарований своих за деньги.

Шреккенфельд скоро составил у себя особенные,

частные вечера, давая публичные вечера только один раз в неделю. Он занимал богатую квартиру, и всякий, кто был порядочно одет и знакомился с ним на публичных его вечерах, имел право прийти к нему на частный вечер и привести с собою знакомого. Совершенная свобода была в этих собраниях, хотя вид Адельгейды удерживал всех в совершенной благопристойности. Шреккенфельд был неистощим в занятии гостей: пение, музыка, опыты ученые, декламация и игра Адельгейды занимали одних, большая карточная игра — других. Шреккенфельд держал огромный банк, выигрывал и проигрывал большие суммы, хотя сам никогда не садился играть, и только повсюду надзирал своими зелеными, лягушечьими глазами. Он внушал всем какое-то невольное отвращение, так, как Адельгейда всех привлекала собою. Нельзя было не удивляться обширным знаниям Шреккенфельда; притом он свободно говорил на пяти или шести языках; но всякое движение его было разочтено, продажно. Он казался всезнающим демоном, а Адельгейда духом света, которого заклял, очаровал этот демон и держит в цепях. Внезапный восторг, одушевлявший задумчивую Адельгейду при музыке и поэзии, можно было почесть мгновением, в которое этот ангел света вспоминает о своем прежнем небе.

Посетив раза три Шреккенфельда, я, как и другие, был очарован Адельгейдой. Но это не была любовь. Я смотрел на Адельгейду, как на волшебное привидение какое-то, как на создание из звуков музыки и слов поэзии. С восторгом говорил я об ней Антиоху. Он смеялся и отвечал мне, что один вид шарлатана ему отвратителен, и, несмотря на то, что многие шарлатаны обладают тайнами знаний, неизвестными ученым, дарованиями, какими могли бы гордиться художники, он всегда видит в них презренных торгашей божественными дарами, ремесленников, унижающих величие человека.

«Признаюсь тебе, Леонид, что женщина, показывающая за деньги свои дарования, есть для меня творение нестерпимое. Я могу равнодушно смотреть на паяца, на фокусника, но на певицу — не могу, все равно что на эквилибристку! Смейся, но я не пошел слушать Каталани в ее концерте и слышал ее в частном доме: я не пошел бы в концерт ни Малибран, ни Пасты! Один вид приставника, который отбирает у меня билет при входе, поворачивает мое сердце и разрушает для меня очарование. Иное дело в театре, где все является мне в каком-то оптическом обмане».

Но я уговорил его идти к Шреккенфельду. Антиох сел в дальнем углу залы, холодно слушал музыку, невнимательно смотрел на опыты Шреккенфельда. Он видел и Адельгейду, но, казалось, не замечал ее. В ту минуту, когда Адельгейда села за арфу, обратила взоры к небесам и начала тихими аккордами, движение Антиоха заставило меня взглянуть на него. Я увидел, что глаза его загорелись. Чудные звуки арфы слились с голосом Адельгейды — Антиох едва мог сидеть на месте. Неизъяснимая грусть, смешанная с какою-то радостью, что-то непонятное для меня изображалось на лице Антиоха. Надобно сказать, что в этот роковой вечер и Адельгейда была очаровательна, неизобразима! Когда она оставила арфу и начала декламировать, с вдохновенным взором, с горящими щеками, с глазами, полными слез,— я не посмел бы влюбиться в нее: так неземна казалась мне Адельгейда! Она читала чудное посвящение «Фауста», и эти, столь известные, слова:

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? *

казались импровизациею в устах Адельгейды; казалось, что мы слышим их в первый раз! Когда же «звуки смычка, водимого по сердцу человеческому» (как сказал о гармонике наш известный поэт), раздались в зале и среди их умолкающих, замирающих переливов Адельгейда произнесла:

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ersten Geisterreich.
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen,
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,
Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen,
Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze, seh ich wie in Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten! **

* Опять ты здесь, мой благодатный гений,
Воздушная подруга юных дней!
Опять, с толпой знакомых привидений,
Теснишься ты, Мечта, к душе моей!

Жуковский

** И снова в томном сердце возникает
Стремленье в оный таинственный свет;
Давнишний глас на лире оживает,

слезы потекли из глаз ее... Антиох закрыл глаза своим платком, и, пока раздавались рукоплескания, он поспешно ушел из собрания.

Дня три после того не удалось мне видаться с Антиохом. Я застал его смущенного, бледного. Против обыкновения, он не ходил в наш департамент и дома ничего не делал, расхаживал взад и вперед, сложа руки.

«Ты болен, Антиох?» — спросил я.

«Нет, кажется, а, впрочем, может быть и болен».

Он замолчал, продолжал ходить и вдруг остановился передо мною, когда я сел и в беспокойстве смотрел на него.

«Леонид! — сказал он мне. — Какой злой дух внушил тебе мысль увлечь меня к Шреккенфельду, к этому демону, волшебнику? В каком мире жил я в эти дни? Что я чувствовал? Что это заговорило для меня во всей природе? Что вложило душу и голос во все бездушные предметы и слило голоса всего в один звук, в одно имя, которое беспрестанно режет мне слух мой, вползает в душу мою адскою змеею, сосет мое сердце?»

«Антиох! неужели Адельгейда произвела на тебя такое сильное впечатление?»

«Впечатление! Не любовь ли, скажешь ты? Неужели это любовь — любовь, этот палящий яд, который течет теперь по моим жилам и в каждой из них бьется тысячью аневризмов? О нет! Это не любовь! Я не люблю, не уважаю Адельгейды — торговки своими дарованиями, дочери воплощенного демона! Я — презираю ее! Но это какое-то очарование, от которого, как от взора гремучей змеи, спирается мое дыханье, кружится моя голова... Это какое-то непонятное чувство, похожее на усилие, с каким вспоминаем мы о чем-то былом, о чем-то знакомом, забытом нами... Леонид! я видал, я знал когда-то Адельгейду — да, я знал ее, знал... О, в этом никто не разуверит меня!.. Я знал ее где-то; она была тогда ангелом Божиим! И следы грусти на лице ее, и этот взор, искавший кого-то в толпе, — все сказывает, что она жила где-то в стране той, где я видал ее, где и она знала меня... Но где, где? Не на Аль-

Чуть слышимый, как Гения полет,
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:
Все близкое мне зрится отдаленным;
Погибшее опять одушевленным...

Жуковский

пах ли раздавался ее голос и закипел в моем сердце слезами памяти? Не на Лаго ли Маджиоре он носился надо мною и запал в душу с памятью об яхонтовом небе Италии?»

Антиох рассказал мне, что третьего дня, оставив собрание Шреккенфельда, он бродил всю ночь, сам не зная где. Слова, голос, музыка Адельгейды преследовали его, терзали, заставляли плакать, и только говор пробудившегося, зашевелившегося по улицам народа напомнил ему самого себя. Он заперся у себя в доме и на другой день, сам не зная как, вечером, желая подышать свободным воздухом, решаешь идти за город или на взморье, он опять очутился у Шреккенфельда, сел в углу и смотрел на Адельгейду. «Думаю,— продолжал Антиох,— что я походил на всех других, бывших у проклятого шарлатана этого, потому что никто не изумлялся, не дивился мне. Помню, что кто-то даже рекомендовал меня Шреккенфельду. А если бы знали люди, что тогда был я, что была тогда душа моя!..»

Адельгейда декламировала на сей раз только песню Теклы. Не стану читать вам немецкого подлинника. В пленительных стихах Жуковского, может быть, вам будет понятнее этот «Голос с того света»:

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг! Я все земное совершила:
Я на земле любила и жила!

Нашла ли их? Сбылись ли ожидания?
Без страха верь: обмана сердцу нет —
Сбылось все! Я в стороне свиданья,
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет!

Друг! На земле великое не тщетно!
Будь тверд, а здесь тебе не изменят!
О милый! здесь не будет безответно
Ничто, ничто — ни мысль, ни вздох, ни взгляд!

Не унывай! Минувшее с тобою!
Незрима я, но в мире мы одним.
Будь верен мне прекрасною душою —
Сверши один начатое вдвоем!

Адельгейды не стало, но Антиох не двигался с места, сидел неподвижно и тогда только опомнился, когда Шреккенфельд подошел к нему и что-то начал ему говорить. Антиох увидел, что все разошлись, зала опустела, и он был

один. Схватив шляпу свою, он поспешил за другими. Шреккенфельд провожал его самым учтивым образом и просил посещать впредь, потому что он видит в нем особенного знатока и любителя изящных искусств.

«Вид его, какая-то злобная радость, какая-то демонская улыбка были мне так отвратительны, что я дал себе слово никогда не бывать у него более. Но вообрази, что вчера я опять очутился у него; меня влекла какая-то невидимая, непостижимая сила. Адельгейда декламировала песню Миньоны... * Но она была выше, лучше, чудеснее Миньоны...»

Антиох закрыл лицо руками и бросился в кресла.

«Антиох! — сказал я, — ты любишь Адельгейду!»

«Нет!»

«Что же это, если не любовь? — *S'amoг поп è, che dunque è quel ch'io sento?*» — спросил я его. Не знаю сам, как пришел мне тогда в голову этот стих.

«Прочь с твоим водяным Петrarкою! — вскричал нетерпеливо Антиох, — прочь с стихами! Я проклинаю их: они сводят с ума добрых людей! Не от них ли столько народа, который был бы порядочным народом, сделалось никуда не годными повесами! И не глупость ли заниматься детским подбором созвучных слов, нанизывать их вместе на нитку одной идеи и этой погремушкой дурачить потом других, заставляя их верить, что будто в этой игре колокольчиков заключено что-то небесное, божественное! Дурацкую шапку, дурацкую шапку Гете, Шиллеру, всем, всем поэтам за то, что они заводят нас в глупые положения, разлучают с делом, с настоящей жизнью, расстраивают нас своими нелепыми мечтами!..»

Он замолчал, ходил большими шагами и вдруг спросил меня очень спокойно: «А согласишься, что ты не слыхивал, кто бы читал стихи лучше Адельгейды? Не показывает ли это глубокое сочувствие поэзии, это непостижимое слияние восторга музыки и стихов — души, некогда бывшей великою, ангелом, пери — не знаю чем! И вот она: человек, ничтожный, как другие, — делает кникс за десять рублей, которые ты даешь ей, чтобы она, и с отцом своим, не издохла с голоду! Ха, ха, ха!»

* Ты знал ли край, где негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок край неба холодит,
И тихо мирт, и гордо лавр стоит?
Туда, туда!

Я молчал. И что мог я сказать? Какой ответ поставить против этой бури, разразившейся над пороховым арсеналом?

«Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen ernstern Geisterreich»,—

произнес глухо Антиох. Видно было, что с усилием хотел он обновить на лице своем обыкновенную, презрительную, насмешливую улыбку, но забыл, каких мускулов движением производилась она! «Право, Леонид! — сказал он, — я не люблю Адельгейды; но только меня мучит мысль: где видел я ее? Где? где? Не помню, не знаю; но я ее видал — и это время было самое счастливое в моей жизни, блаженное время! Мне кажется, что если бы я мог только его припомнить, то одного этого воспоминания было бы достаточно для счастья всей остальной моей жизни! Леонид! не говорил ли, не сказывал ли я тебе чего-нибудь подобного о какой-нибудь девушке?»

Я трепетал и не мог выговорить ни одного слова. Увы! я предчувствовал, я предвидел гибель, в которую упал Антиох; я припоминал слова его: «Умрем, моя мечта, умрем, да и начто нам жить?» Я соображал его мечтательный характер, его мистическое направление; трепетал, что он попался теперь в руки шарлатана, всеми поступками доказывавшего, что для него нет ни бога, ни греха; в руки бродящей певицы, походной комедиянтки, которая само кокетство, может быть, почитает одним из средств пропитания...

—

В этот вечер явился я к Шреккенфельду, предчувствуя, что Антиох будет там; я желал рассмотреть все, поклявшись быть ангелом-хранителем моего друга. Шреккенфельд был ко мне отменно ласков. «Придет ли сегодня ваш почтенный приятель, г. Антиох? — спросил он меня. — Мы готовим репетицию Бетховеновой симфонии, а он, кажется, отличный знаток и любитель. Пойдемте к нам — здесь нам помешают».

В зале сидело за карточными столами несколько игроков. Мы прошли через несколько комнат и очутились в круглой внутренней комнате. Тут несколько человек разбирали партитуру и готовили инструменты. Адельгейда держала в руках ноты, задрожала, услышав голос отца, и с трепетом обернулась к нам; при взгляде на меня глубокий вздох вылетел из ее груди и, казалось, облегчил

ее. С изумлением прочитал я в глазах Адельгейды чувство: «Слава богу! Это не он!»

До сих пор я видал ее только на сцене, в виде певицы, актрисы; теперь в первый раз увидел я ее по-домашнему, в простом, хотя и щегольском, капоте. Она показалась мне так мила, в движениях ее была такая простота, в глазах ее светилась такая чистая невинность, что мне стало совестно самого себя, когда я вспомнил все оскорбительные подозрения, какими обременял Адельгейду.

Все вокруг меня показывало довольство. Серебряный чайный сервиз стоял на столике. Адельгейда подошла к нему и начала готовить чай. Вместо разговорчивой, блестящей певицы я видел молчаливую, тихую девушку, задумчивую, грустную. Шреккенфельд, усадив меня, начал веселый разговор. Адельгейда молчала.

«Неужели, милое, чудное создание! — думал я, смотря на нее, пока говорил Шреккенфельд, — неужели тебе суждено погубить моего друга, моего пламенного Антиоха? Между вами нет и не может быть никаких отношений: ты не для него, и он не для тебя! Вижу, что ты сама чувствуешь униженное, презрительное свое состояние — иначе отчего же грусть твоя? Отчего это глубокое выражение печали на лице твоём?»

Тут явился слуга и сказал что-то Шреккенфельду. Он поспешно вышел, и через минуту мы снова услышали голос его: он возвращался — с ним был Антиох.

Задумчив, мрачен вошел Антиох. Презрение, негодование изображалось на лице его, и он был ужасно бледен. Взгляд на Адельгейду не произвел в нем никакой радости. Я заметил только одно выражение, как будто Антиох, с трудом, совершенно рассеянный, что-то старался вспомнить. Еще внимательней глядел я на Адельгейду: она затрепетала, услышав голос, увидев самого Антиоха; щеки ее вспыхнули, но как будто от усиленной скорби, от негодования; глаза ее поднялись к небу, опустились в землю, и украдкой отерла она слезу.

Началась репетиция симфонии. Антиох молча сел в стороне; Шреккенфельд давал какие-то знаки Адельгейде; взор Адельгейды обратился к отцу, и в глазах отца сверкнул тогда ужасающий гнев, злость. Поспешно вышла Адельгейда. Шреккенфельд мгновенно переменил свою удивительно подвижную физиогномию в самую ласковую, сел подле меня и занял меня разговором, как будто не обращая вовсе внимания на Антиоха. Но мы замолчали, когда безумные звуки Бетховена начали развиваться в не-

изобразимых аккордах. Среди глубокой тишины всех вдруг услышал я позади себя восклицание Антиоха: «Это она!» С беспокойством оборачиваюсь и вижу, что Адельгейда сидит подле Антиоха и глядит на него, испуганная, с изумлением. Рука ее была в руке Антиоха. Радость, восторг, изумление, небесное чувство поэзии изображались в глазах его; жаркий румянец горел на его щеках. «Это она — я узнал ее!» — говорил Антиох, забыв, что тут есть посторонние свидетели, что тут отец Адельгейды. Она вырвала у него свою руку, отступила на два шага и поспешно ушла из комнаты.

К счастью, музыканты, занятые разбиранием трудных нот, ничего не слышали и не заметили. Антиох смотрел на дверь комнаты, куда удалилась Адельгейда, смотрел, как испуганный, как будто все сосредоточилось для него в один взгляд, в один образ — этот образ на одно мгновение пролетел мимо его и унес у него жизнь, и ум, и все идеи его, все понятия, все прошедшее и будущее! Волнение души его видно было в неизобразимой борьбе физиогномии, где радость сменялась печалью, восторг унынием, уверенность недоумением. Всю историю сердца человеческого прочитал бы на лице Антиоха тот, кто умел бы схватить все изменявшиеся быстро переходы страстей, обхвативших его навеки пламенным вихрем... Человек и жизнь исчезли в нем: в раскаленном взоре, каким преследовал он удалившуюся Адельгейду, я видел взор больного горячкою в ту непостижимую минуту, когда тихая минута кончины укрощает телесные терзания болезни, оставляя всю силу духа, возбужденного натянутыми нервами, и не приметно сливает идею вечного покоя смерти с полнотою деятельности, обхватившею телесный и душевный мир — жизнию.

Какое-то тихое, радостное спокойствие, какое-то чувство наслаждения осталось наконец на лице и означилось во всех движениях Антиоха. Когда подошел к нему я, он крепко пожал мне руку и сказал: «Пойдем! Я поделюсь с тобой тем, чего никто из людей не знает и что я узнал теперь!» Когда приблизился к нему Шреккенфельд, улыбка детского лукавства мелькнула на устах Антиоха.

«Позвольте нам идти теперь, любезный г-н Шреккенфельд,— сказал он.— Могу ли надеяться, что вы не запретите мне иногда приходить, разделять ваши семейственные наслаждения?»

Шреккенфельд улыбнулся адски и, казалось, пронизал в душу Антиоха своими ядовитыми глазами. «Г-н Антиох! — отвечал он, — дверь моего дома никогда не будет затворена для любителя и знатока искусств, вам подобно; тем более, если к этому присовокупляется личное уважение к его особе».

«Посетите и вы меня, любезный г-н Шреккенфельд. Буду вам сердечно рад: вот мой адрес!»

Антиох подал ему карточку и дружески пожал ему руку.

Мы вышли и почти бежали по улице. Иногда Антиох останавливался, складывал руки и медленно произносил: «Адельгейда, Адельгейда!», как будто это имя надобно было ему вдыхать в себя с воздухом, чтобы поддержать свое бытие. Я хотел начать разговор, но Антиох схватывал меня за руку, влек с собою и говорил: «Молчи, ради бога, молчи!.. Адельгейда, Адельгейда!»

Мы пришли на квартиру его, и Антиох запер за собою двери.

Я думал, что он задушит меня в своих объятиях: так крепко обнял он меня. Он прыгал, как дитя, он смеялся, хохотал, и слезы текли между тем по щекам его, горящим неестественным жаром. «О Леонид! я нашел ее, нашел мою половину души! Загадка жизни моей, загадка жизни человечества найдена мною, — воскликнул наконец Антиох. — Итак, судьба испытывала, терзала, готовила меня, чтобы я разрешил наконец миру, сказал людям тайну их бытия? Теперь я все понимаю: и тоску, и грусть мою, и мучения души! И как терзался я, приближаясь к разрешению тайны высочайшего блаженства, к бытию цельною, полною душою! Мой взор проникает теперь всю природу: я понимаю, что, делая повсюду уделом человека борьбу духа и вещества, величайшее блаженство наше — смерть — судьба нарочно отделяет от нас разными ничтожными призраками и привидениями — болезнью, страхом, недоумением! И человек трепещет этих бумажных духов «Фрейшица», этой дикой музыки смертного стога, которой привыкло пугаться его воображение. Мы бродим по земле, ища родного душе и сердцу, бродим, не находим, падаем от усталости; тогда судьба начинает жалеть об нас, укачивает нас в вечной люльке, в гробе, и мы засыпаем навсегда, как дети, утомленные беганьем, но перед сном трепещущие всего — и шороха мыши, и стука в окошко, пока все не забудется в игривых фантазиях сна крепкого! Заметь, как искусно скрыта от нас прежняя жизнь наша, наша Ugle-

веп, а также и жизнь будущая. Если бы мы знали прежнее наше бытие — мы не могли бы существовать здесь, на бедной нашей земле: мы не остались бы на ней, если бы знали и понимали, что последует и за земною жизнью! Какой же я выродок, за что я так уродливо счастлив, что все это суждено мне понять здесь? Ах, Леонид! Придумай мне слова, составь мне азбуку, которыми мог бы я высказать, написать людям все то, чему хотел бы я научить их, что хотел бы рассказать им. Я узнал из этого языка только одно слово: *Адельгейда!* Понимаешь ли ты это слово? Я произнесу его тебе тихо, медленно: *А-дель-гейда!* Слышишь ли, чувствуешь ли ты, что оно соединяет в себя и звуки музыки, и слова поэзии, и цветы живописи, и формы ваяния, и все мечты души, и все думы сердца? О таких словах думает душа, их ищет она, их слышит и не понимает она в реве морских волн, в грохоте грома, в пении соловья, в песнях поэтов! У поэтов, впрочем, и трудно понять их: ведь они безумцы. Спроси об этом философов, и они растолкуют тебе, что поэты говорят без сознания и потому думают украсить такие слова гремушками, мишурою слов, рифм, всякого вздора. А природа выговаривает такие слова так ясно, громко, просто... Виновата ли она, что мы глухи? Возьми мое слово: *Адельгейда*, произнеси его — какая симфония сравнится с ним? Напиши, вырежь его — какое изваяние осмелишься подле него поставить? Тут все — мысль, душа, жизнь, весь мир...»

После того Антиох опять начинал говорить: «Адельгейда, Адельгейда!» Наконец идеи его приняли какое-то определенное, систематическое направление, и он стройно начал рассказывать мне, где и когда видал он Адельгейду.

Как жаль, что я не могу пересказать вам рассказа Антихова! Помните ли вы слова Байрона:

Her thoughts
Were combinations of disjointed things,
And forms impalpable and unperceived
Of others' sight, familiar were to hers,
And this the world calls phrensy... *

Да, свет называет это безумием! Но что мудрость наша? Игра в жмурки! Счастлив, кто хоть за что-нибудь, хоть за сумасшествие ухватился...

* Ее мысли были уравнением несоединяемых предметов, и образы, недоступные и незаметные зрению других, были знакомы ей — а люди называют это безумием...

«Ты видел, что я признавал с первого взгляда в Адельгейде что-то знакомое, родное, что я старался вспомнить только: где знал я Адельгейду? Когда ныне пришел я к Шреккенфельду, когда он взял меня за руку и повел в свою комнату, мне казалось, что смертельные судороги гнули все мои кости и смерть была в груди моей. Вы занялись музыкою; я не заметил, как явилась и когда села подле меня Адельгейда. Она сказала мне только одно слово: назвала только меня по имени; она только поглядела на меня, и — забывши все, я схватил в восторге ее руку! Это слово, этот взгляд, это прикосновение пояснили мне в одно мгновение все, и я невольно воскликнул: «Это она!» Все прежнее обновилось в душе моей и сделалось мне совершенно ясно.

Леонид! только одного боюсь я: этот Шреккенфельд, эта Адельгейда — не мечты ли какие-нибудь, созданные моим воображением? Ты гораздо хладнокровнее меня, хоть я и сам себя очень хорошо понимаю и чувствую, — скажи: точно ли она и он существуют? Кажется, я не ошибаюсь: я видел, что она глядит, говорит, я чувствовал, взяв ее за руку, что теплая кровь льется в руке Адельгейды: стало быть, она не привидение! И Шреккенфельд также говорит, ходит; он обещал быть у меня...»

«Что говоришь ты, Антиох!»

«То, что если он и она привидения, оптический обман... Да, заметь, что я всегда вижу их только вечером... Если это мечта, и я — сумасшедший!» — Он сильно ударил себя в голову.

«О, мой Антиох! К несчастью — это не мечта. Шреккенфельд и Адельгейда существуют!»

«К несчастью? Почему ж «к несчастью», если они существуют? Я только требую удостоверения твоего в этом; остального ни ты, ни он, ни она не знает. Шреккенфельд думает, что она дочь его... ха, ха, ха! Какая дочь: это моя душа — половина моей души...»

Видишь ли что: есть страна в мире, чудная страна — ее называют Италия. Там все великое, все прекрасное. Столько изящных созданий там, что нет другого равного количества в целом мире. Вообрази, что там был человек, умевший изобразить земными красками, цветною нашею грязью преображенного бога; там есть храм, купол которого кажется небом — так велик он, — и этот купол висит над людьми целые века, ничем не поддержанный; там есть такое изображение красоты в мертвом мраморе, что перед ним красота самой очаровательной девы кажется безобразием; там есть города, утонувшие в виноградниках, мирто-

вых, лавровых, померанцевых лесах; другие построены на волнах моря; другие на городах, зарытых веками в землю. Там был народ, некогда обладавший целым миром: Север, Запад и Восток стремились к нему туда, боролись там с ним — следы борьбы их остались в исполинских развалинах, обломками которых бросали они друг в друга, и эти обломки величиной с наши города. Там смерть и жизнь слиты вместе, вместе любовь и мука, слезы и пение; горы горят, в море отражаются волшебные невидимые сады и замки фей; на горячем пепле огнедышащих гор растет багряный виноград, зреет маслина; обломки столицы мира окружают тлетворные болота... Там родился Наполеон; оттуда шагнул он на трон полусвета; оттуда, надышавшись в последний раз вдохновенного воздуха, пошел он еще испытывать игру судеб... там видел я Адельгейду! Помню эту хижину в цветнике на берегу моря — этот голубой, опаловый цвет вечернего неба — эту песню рыбака... Адельгейда стояла на дикой скале; арфа была подле нее; она пела — я слушал, не видал, как скрылась она, и на другой день напрасно искал я безвестной моей певицы. Но она была тогда не то, что теперь, и в ее образе я не узнал тогда души моей...

Может быть, она и не заметила встречи со мною, так как, может быть, она забыла тот мир, где прежде, до Италии, мы жили некогда с нею, нераздельным, одним бытием. А! что Италия перед тем миром? Муравейник, на котором расцвела бедная незабудка! Этот мир... немного описаний его найдешь ты у Шекспира, еще у Мильтона... еще у Тасса... еще у Фирдуси... Но все это так мало и недостаточно! На Востоке есть предание, что очарованные райские сады не скрылись с земли, но только сделались невидимы, переносятся с места на место и на одно мгновение делаются иногда видимыми человеку. Есть минуты, когда в них можно войти, подышать их райскими ароматами, напиться жемчужной живой воды их, отведать их золотистого винограда; но они тотчас исчезают, переносятся за тысячи верст, и счастливец остается или на голой палящей степи Ю<га>, или на холодных льдах Севера... В этой-то невидимой стране было существо, которое теперь бродит двойственно по земле под именем Антиоха и Адельгейды. Шреккенфельд, мнимый отец половины меня, — злой демон: он очаровал Адельгейду и дал ей отдельное бытие. Мысль неба хранилась в моей половине души, но это был луч, упавший в бездну мрака. Адельгейда, заклятая демоном, ничего не поймет, пока я не скажу ей волшебного

лова: «Люблю тебя, Адельгейда, половина души моей!» Когда она сознает себя и скажет мне: «Люблю тебя, Антиох!» — тогда очарование разрушится. Предчувствую, что Шреккенфельд понимает опасность, что он употребит все волшебство свое... Но я обману его, я украду у него самого себя. Мне стоит только напомнить Адельгейде о давно минувшем мире, о нездешнем бытии нашем... тогда... но я не могу предвидеть будущего: ведь я человек и потому не знаю, как свершится таинственный союз души моей: останемся ли мы в мире или, говоря по-человечески, умрем — ведь мне все равно... Но мне надобно подумать, поступить осторожно... перечитаю еще раз Бема и Шведенборга. У них это описано довольно подробно и хорошо. Между тем сам демон мой дается в хитрый обман мой: я притворюсь ему другом, и потом...»

Бродячие глаза Антиоха устремились на черкесский кинжал, висевший у него на стене. Он содрогнулся, подумал. «О, нет! не то, совсем не то!» — сказал он, сел за столик свой и придвинул к себе деловые бумаги.

«Надобно поработать немного, Леонид, — промолвил он, улыбаясь, — завтра день доклада директору. Прощай!»

Я пробыл еще несколько времени у Антиоха. Он не говорил ничего более об Адельгейде, спокойно занимался бумагами, подробно рассказывал мне содержание их и то, что хочет писать.



Несколько раз щупал я себе голову, идя домой, где меня ожидали также дела. Слова друга моего были слова безумца; но их стройность, порядок идей и то, что он превосходно говорил мне потом о своих обыкновенных занятиях, совершенно смешивали меня. «Что же это такое? — спрашивал я сам себя. — Неужели в самом деле это закрывали жрецы Изиды непроницаемым покровом, и только безумие есть истинное проявление мудрости и откровение тайн бытия?»

Утром встретился я с Антиохом в нашем департаменте. Кто не знал случившегося с ним, тот не заметил бы ничего. Только глаза его были ярче обыкновенного; но он говорил прекрасно, умно, был даже по-прежнему колок и насмешлив. Однако ж кто-то нечаянно произнес имя Адельгейды — об ней часто говаривали наши товарищи. Антиох вздрогнул, как будто от электрического удара; но он смолчал, и улыбка оживила лицо его.

На другой день, утром, пришел я к Антиоху. Слуга его отворил мне дверь.

«Не велено никого пускать», — сказал он.

«И меня?»

«Об вас ничего не сказано».

«Пусти же».

«Но у барина сидит какой-то неизвестный мне господин, и они занимаются чем-то».

Антиох услышал мой голос, вышел сам и ввел меня в свой кабинет. Там сидел у него Шреккенфельд.

Друг мой казался спокойным, тихим, любезным, ласковым; на столе разложены были разные мистические сочинения, расставлены были разные физические инструменты. Давая мне знаки глазами, чтобы я молчал, Антиох просил Шреккенфельда продолжать. Шреккенфельд казался совершенно занятым предметом разговора, как будто не замечавшим ни знаков Антиоха, ни моего присутствия. Они говорили по-итальянски. Худо разумея этот язык, я, однако ж, понимал, что речь идет о том, что всегда увлекало моего друга. Таинственная феософия, семь Зефиротов, Соломонов храм, слияние душ, высшее созерцание неба и земли — вот что изъяснял Шреккенфельд, по временам рассказывая о разных любопытных опытах и приложениях. Наконец он дружески раскланялся и ушел.

«Ну, все идет, как надобно! — сказал мне тогда Антиох с радостною усмешкою. — Представь себе, что этот демон решительно поддается мне! Теперь надобно только поступать осторожнее. Помаленьку начну я изъяснять Адельгейде скрытую от нее тайну до-бытия земного. Нечего делать! Таков человек — падший ангел, в земной своей оболочке, — что ему надобно начинать говорить обыкновенными идеями. Яркий свет, вдруг блеснувший, может ослепить человека. И на солнце глядят сквозь закопченное стекло, а что свет солнца нашего против того света! Стану увлекать Адельгейду словами любви, стану говорить ей о дружбе, о неземных идеалах земного счастья, как будто счастье может быть на этой земле! Мне забавно, что я буду казаться влюбленным, тихонько вздыхать, шептать: «Милая Адельгейда! Люблю тебя!» Буду произносить эти слова, как произносят их все люди, не понимая волшебного их смысла, не зная даже того голоса, каким надобно произносить их. «Люблю!» — говорить Адельгейде: «люблю», когда я только ею и существую, и если бы не было Адельгейды, так все равно, что одна половина меня ходила бы по петербургским тротуарам! Вот забавный был бы гуляка,

Леонид! Вообрази себе половину туловища и головы, с одной рукой, с одной ногой, и этот урод прогуливается, смотрит одним глазом, нюхает табак, жмет руку знакомым. А между тем такие душевные уроды ходят вокруг нас, живут, говорят и никто не смеется над ними...»

Спрашиваю: что мог я сделать? Чем пособить моему другу? Я терялся в размышлениях. Лечить можно только то, на что известны лекарства; но целый мир лекарей до сих пор не умеет лечить душевных болезней. Бедные медики заботятся только о теле и производят опыты только над трупами телесными. Антиох был болен душою; но кто мог когда-нибудь разанатомировать труп души и сказать, чем можно пособить в той или другой душевной болезни? Меня утешала еще несколько мысль, что я не видел перемены ни в здоровье, ни в действиях Антиоха. Напротив, он расцвел, казалось, новым здоровьем, был весел, мил, одевался щегольски. Но он решительно не стал ходить никуда, кроме Шреккенфельда. Там, запершись с этим шарлатаном, просизивал он целые часы, или дома также запирался с ним. Они казались друзьями совершенными. Я старался оправдывать друга моего перед знакомыми, спрашивавшими меня, что сделалось с Антиохом. Но скоро все заметили, что Антиох беспрестанно бывает у Шреккенфельда; начали говорить об этом; клубок сплетней навертывался более и более, перекатываясь от одного к другому, и сделался наконец таким огромным шаром, что задавил всякую осторожность. Как обрадовались все те, кого уничтожил прежде Антиох своим превосходством! Какими острыми бритвами явились язычки самых милых девушек! Каждая из них говорила о привязанности Антиоха к бродяге, актрисе, певице, бог знает к чему, и в словах каждой ясно видна была мысль: «Видите ли, он презирал мною потому, что недостойн был моей любви и хорошо понимал это!» А друзья, друзья? Как верно сказал наш поэт, что

...нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью повторенной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг, с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой...

О, друзья платили за злословие женщин и девушек самую чистую монетою: и легкое словцо мимоходом, и двусмысленная улыбка при имени Антиоха, и полный рассказ, с прибавкою злобных догадок, и отвратительное сожаление об Антиохе как о человеке весьма умном и любезном,— все было истощено и всего казалось еще мало за прежнее! Мужчины были рады мстить ему даже и за то одно, что, по всем слухам, Антиох успел, в чем не успевали другие,— успел очаровать красавицу и обмануть бдительность отца ее.

Бедная Адельгейда! как об ней говорили... не стану повторять вам! Все, что только можно сказать о самой развратной кокетке, было сказано...

Между тем я был свидетелем обхождения этой странной девушки с Антиохом. Он сделался у отца ее домашним человеком, часто обедал, просиживал вечера у Шреккенфельда, не скрывал любви, потому что нарочно не хотел скрывать ее, следуя постоянно своему плану. Как самая хитрая кокетка, он изучал, казалось, каждое свое движение, каждое слово, каждый взор свой. Весь ум, вся сила души Антиоха были устремлены к тому, чтобы высказать, дать выразуметь Адельгейде самую пламенную страсть. Сам Антиох думал, что он нарочно изучает все возможные тайны искусства любить. Он точно изучал даже все свои движения, когда расставался с Адельгейдою, обдумывал, что и как ему говорить; но, видя Адельгейду, он забывал все это, и вся душа его переливалась в его слова, взоры, движения — начинал ли он говорить Адельгейде о страданиях отверженной любви; исчислял ли бессонные ночи; описывал ли жгучесть слез, проливаемых безнадежною любовью в минуты всеобщего спокойствия; изображал ли страшные сны, терзающие нас за думы любви; говорил ли о нестерпимом чувстве ревности ко всему, что приближается к предмету страсти нашей, ко всему — даже к ветерку, который вьется в ее локоне; описывал ли, напротив, блаженство взаимной страсти, одушевление всего в глазах любимого и любящего человека; сказывал ли о высоте, на которую возносит человека любовь, уничтожающая все препятствия состояний, званий, лет, времени, все земные отношения — все это было пламенем, громом и молниею, Шекспировым сонетом, песнею испанской девы! Адельгейда слушала, молчала, говорила мало, потупляла глаза или

неподвижно устремляла их на Антиоха, дышала тяжело, тяжело, бурно, как говорит Пушкин. Рука ее трепетала в руке Антиоховой. Иногда она казалась вся переселившейся в его речи, жила только слухом. Иногда казалась бесчувственною, непонимающею или нарочно перебивала его слова, нарочно заводила самый обыкновенный разговор и старалась увлечь, удержать при этом разговоре Антиоха, как будто боясь его слов о любви, о поэзии. Среди самого жаркого разговора она вдруг уходила и когда являлась после того, глаза ее были красны от слез. Шреккенфельд, по-видимому, ничего не замечал, был всегда весел, любезен. Между тем постепенно многое переменилось в его общественных отношениях.

Антиох, вскоре после сближения своего с ним, стал говорить, как отвратительна для него девушка, показывающая дарования свои публике; как тяжело сердцу человека, который полюбил бы такую девушку, видеть, что она делит бесценные наслаждения сердца и души с бездушною толпою. Шреккенфельд сначала заспорил, говорил, что человек, который скрывает данные ему от бога дарования, не передает их в полноте людям, лишает людей высоких наслаждений изящными искусствами, похож на недостойного скупца. «В одном человеке должно сосредоточить весь мир»,— говорил Антиох. «Эгоизм непростительный!»— возражал Шреккенфельд. Но вскоре он согласился, и Адельгейда перестала играть на арфе, петь и декламировать перед публикою. Она даже не являлась на публичных вечерах Шреккенфельда и оставалась в своей комнате, где нередко в это время были с нею Антиох, я, двое-трое знакомых или старая угрюмая женщина, называвшаяся ее теткою. Адельгейда пела, играла для нас одних, но ее игра и пение были тогда бездушны, холодны и изредка только одушевлялись прежним восторгом. Она потеряла душу— можно бы было сказать, смотря на нее теперь и зная ее прежде. Впрочем, Адельгейда и не могла по-прежнему петь и декламировать даже потому, что в здоровье ее произошла видимая перемена: грудь ее стала слаба, дыхание тяжело. С тех пор, как Адельгейда перестала показываться, вечера Шреккенфельда потеряли свою прелесть; вообще стали менее ходить к нему и потому, что клевета неустанно чернила самого Шреккенфельда и все, что его окружало, что он делал. На частные вечера являлись по-прежнему, но здесь оказалась перемена. Множество шалунов стало собираться у Шреккенфельда; карточная игра усилилась. Часто происходили сцены буйные, и только

хладнокровие, необыкновенный ум и ловкость хозяина могли удерживать дальнейшую огласку и неприятные последствия.

«М(илостивый) г(осударь),— сказал мне однажды директор нашего департамента, когда я пришел к нему с бумагами,— вы человек молодой, и хорошая репутация должна быть для вас драгоценна. Бывши другом вашего почтенного родителя, я долгом почитаю предостеречь вас и заметить вам, что до меня дошли весьма неприятные для вас слухи».

Я смотрел на него с изумлением.

«Мне сказали, что вы пристрастились к карточной игре и посещаете общества, не делающие чести вашему имени».

Негодование взволновало мою кровь.

«Я замечаю также, что вы не по-прежнему прилежны и слишком увлекаетесь знакомством человека, который может вам повредить,— г-на Антиоха».

Его знакомство могло бесчестить меня!!

«Г-н Антиох человек богатый,— хладнокровно продолжал мой директор,— он может negliжировать службою и своими поступками, хотя и ему, если вы друг его, должны бы вы посоветовать быть осторожнее».

Директор хорошо знал характер Антиоха: один взгляд заставил бы его немедленно подать в отставку, а у директора была дочь, перезрелая Агнеса, лет двадцати семи; он был притом по уши в долгах, и две тысячи душ Антиоха были такою для него рекомендацією, что милости сыпались на него и заставляли товарищей завистничать.

Я хотел оправдаться, хотел говорить смело, но покраснел и смешался, когда директор упомянул имя Шреккенфельда и Адельгейды.

«Говорят, что вы бываете у этого шарлатана и что г-н Антиох находится даже в связи с его развратною дочерью. Кто не шалил смолода? И даже кто не перебесится, того добродетель ненадежна; но всему, сударь, есть мера. Знайте, что этот человек, этот бродяга Шреккенфельд, становится подозрительным и полиция уже присматривает за ним и за теми, кто к нему ходит. Говорят, что он обыгрывает наверную, а, может быть, что-нибудь и хуже — остерегитесь...»

Нам помешали продолжить разговор. С отчаянием увидел я, куда бедственная судьба завлекла Антиоха. Мог ли я теперь оставить его? Как мог я раскрыть ему глаза?

Как разуверить порядочных людей, что самая гнусная клевета очерняла Адельгейду? Как можно было растолковать им состояние души Антиоха? В то же время я не мог скрыть от самого себя, что слухи об отвратительном Шреккенфельде могли быть, хотя отчасти, правдивы и что этот человек был способен на всякое злое дело. Я не знал тогда, что бедствие было уже близко от моего несчастного друга — ближе, нежели я воображал...

В число людей избранных, друзей своего дома, Шреккенфельд допустил одного дерзкого молодого офицера, богача и шалуна отъявленного. Антиох, я, несколько артистов, этот офицер и двое друзей его обедали у Шреккенфельда. За столом лилось шампанское. Офицер пил много; Антиох не пил почти ничего: он сидел подле Адельгейды и разговаривал тихо, с особенным жаром среди общего шумного разговора. Адельгейда слушала его, вздыхала, краснела — в первый раз Антиох говорил ей тогда о своей безумной идее бытия прежде жизни... Видно было, что уединенный разговор их и заметное волнение Адельгейды приводили офицера в большую досаду. Еще за столом он позволил себе несколько дерзостей на счет Адельгейды. После обеда он предложил банк, бросил кучу денег товарищу и сам старался сесть подле Адельгейды. Холодность ее совершенно взбесила его; он позволил себе несколько таких слов, от которых Адельгейда с ужасом вскочила и отбежала от него. Шреккенфельд принужден был вступить. Наглец сделался груб. Шреккенфельд сам разгорячился и забыл себя.

«Бродяга, шарлатан! — вскричал офицер, — я прибую тебя, и, в доказательство, как мало уважаю я тебя, Адельгейда должна поцеловать меня сейчас или ты получишь пощечину...» — Он бросился к Адельгейде. Она помертвела и лишилась чувств...

«Прочь!» — вскричал Антиох, молчавший до сих пор и не принимавший никакого участия в ссоре. Сильною рукою оттолкнул он дерзкого. В неистовстве бросился на него офицер.

«Понимаешь ли ты, подьячий, что должно тебе делать?» — вскричал он.

«Не знаю, понимаешь ли ты, пьяный буян, что ты делаешь», — отвечал горячо Антиох.

«Пистолет или шпагу? Выбирай немедленно», — кричал офицер.

Мы хотели утишить ссору, но все было тщетно. Соперники не слушали, не хотели ни на минуту откладывать. С отчаянием в душе, я должен был сопровождать моего друга за город. Дорогою Антиох не говорил со мною ни слова, и тогда только, как стали заряжать пистолеты, он обнял меня и сказал: «Теперь я понимаю еще более загадку жизни: Адельгейда умрет, и смерть соединит меня с нею. Прости, радуйся счастьем друга твоего!»

Весело стал он на барьер, еще раз пожал мне руку... Состояние мое было неизъяснимо... Раздался выстрел — пистолет выпал из руки Антиоха. Я бросился к нему. «Странно! Ничего,— сказал он мне,— я ранен только!»

Соперник его лежал на земле: пуля изломала у него ребро; у Антиоха пуля только скользнула по плечу.

Уже вечером возвратились мы в Петербург. Антиох казался глубоко задумчивым и опять ничего не говорил со мною. Я не имел сил сказать ни одного слова. Антиох велел ехать прямо к Шреккенфельду. Я хотел возражать. «Жизнь и смерть моя соединились в этой минуте! — воскликнул Антиох.— Или не препятствуй мне, или оставь, оставь меня, Леонид! Оставь навсегда!»

«Ни за что в мире!» — вскричал я.

Шреккенфельда не было дома. Не было никого из гостей — комнаты были пусты, темны. «Я хочу видеть девицу Шреккенфельд!» — сказал Антиох слуге, оттолкнул его и пошел прямо к ней. Она сидела в круглой комнате, на диване, бледная, едва живая. Старуха тетка была подле нее. Едва отворилась дверь, едва вошел Антиох — «Мой Антиох!» — вскричала Адельгейда и бросилась в его объятия.

Да, величайшая радость походит на сумасшествие. Два несчастные существа эти сжали друг друга в объятиях, и продолжительный поцелуй, в котором отозвались все их чувства, вся жизнь, запечатлел роковой союз их...

Антиох сел на диван, Адельгейда подле него, голова ее склонилась на плечо Антиоха, глаза ее устремлены были на его глаза, рука ее обвилась вокруг его шеи... Он начал говорить — Адельгейда также говорила ему, задыхаясь, спеша, как будто стараясь поскорее высказать все и боясь, что после того потеряет навсегда дар слова...

Я сидел в стороне, смотрел на них, и — я не охотник плакать, но слезы невольно капали из глаз моих...

Не думайте, что они объясняли друг другу свои чув-

ства — нет! Это были беспорядочные, отрывистые слова: память прошедшего, блаженство настоящего, мечта будущего, пламень сердца, жар души, тихий поцелуй, тяжкий вздох — мысль в образах поэтических, слово в фантастических идеях, гармонические звуки неба, жизнь земная в высоких идеалах! Что говаривал мне прежде Антиох о своих безумных мечтах, казалось льдом перед тем, что он говорил теперь Адельгейде... Адельгейда была очаровательна в неестественном состоянии души своей; Антиох одушевлялся чем-то неземным...

Растворилась дверь, и вошел Шреккенфельд. С пронзительным воплем бросилась Адельгейда от Антиоха, и лицо ее, горевшее огнем любви и восторга, побледнело, как будто она увидела перед собою демона адского... Глаза ее сделались дики...

Шреккенфельд казался смущенным, расстроенным. Антиох глядел на него неподвижными глазами, не вставая с своего места.

«М<илостивый> г<осударь>, — сказал Шреккенфельд, — кажется, дальнейшие объяснения не нужны? Честь моей дочери погибла, и несчастная история обесславит ее, погубит меня, если вы не сделаете того, к чему долг обязывает каждого благородного человека».

«Что говоришь ты, воплощенный демон? — воскликнул Антиох, быстро вскакивая с дивана. — Что сказал ты?»

«Адельгейду никто не мог поцеловать, кроме ее жениха. Вы вошли в дом мой под видом друга; я позволил вам вступить в домашний круг мой: вы поступили бесчестно, вы употребили во зло мою доверенность, вы — обольстили дочь мою!»

Антиох затрепетал.

«Мерзавец! — вскричал он. — Злой дух, демон тмы! Выбирай лучше слова свои! Или ты думаешь, что я не могу уже эту рукою навести пистолет на твою голову и разбить гадкую форму, под которою обладаешь ты половиною души моей!»

«Вы должны жениться на моей дочери, м<илостивый> г<осударь>, или — вы бесчестный обольститель!»

«Жениться, — сказал тихо Антиох, водя пальцем по лбу своему, — жениться! Когда она сам я? Какая досада: я совсем не понимаю теперь этого слова! Какое бишь его значение? Heiraten¹, se marier...² Но ведь нельзя жениться

¹ Жениться (нем.).

² Жениться (фр.).

даже на родной сестре, не только на собственной душе своей?.. А, злой дух! Ты смеешься надо мною!»

Шреккенфельд изумился словам Антиоха.

«Говорите яснее, м<илостивый> г<осударь>, — сказал он. — Я отдаю вам руку моей Адельгейды, или вы будете иметь дело с раздраженным отцом: я природный дворянин немецкий».

«Адельгейда будет моя! Ты отдаешь ее мне?» — поспешно спросил Антиох.

Шреккенфельд горестно улыбнулся.

«Разумеется, если она будет вашею женою, то она будет вашею, и я отдам ее вам... И что мне теперь в ней: спасение ее зависит от вас... я погубил ее и себя...»

«Ты выдумываешь какие-то условия — я их не понимаю; но это последний обман твой. Если с твоего согласия она будет моею, тогда власть твоя уничтожится. Руку, Адельгейда! Скорее ко мне, Адельгейда, моя Адельгейда!»

Шреккенфельд хотел взять Адельгейду за руку и подвести к Антиоху. Но с смертельным ужасом отступила Адельгейда.

«Позорный обман! — вскричала она. — Никогда!»

Она упала на колени перед Антиохом.

«Прости меня, мой Антиох! прости, ради бога, прости! Я недостойна тебя, великодушный, благородный человек, существо неземное! Этот старик увлекал тебя, я принуждена была участвовать в его обмане. Он хотел купить твое богатство мною, хотел завлечь тебя, велел притвориться в тебя влюбленною... Душа моя противилась этому. Сколько плакала я, сколько раз хотела открыть тебе весь умысел... Но ты сам сделался моим ангелом-хранителем: ты растолковал мне тайну бытия моего, ты сказал мне, что я тебе родная, что я половина души — я твоя, твоя, Антиох! Никто, ничто не разлучит нас. Если это называется любовью, я люблю тебя, Антиох, люблю, как никогда не любили, никогда не умели любить на земле! Прости, что я не понимала этого прежде и повиновалась этому человеку...»

Адельгейда дико засмеялась: «Он уверил меня, что он отец мой!»

Изумление заставило всех нас безмолвствовать. Но последние слова Адельгейды взбесили Шреккенфельда.

«Дочь недостойная!» — вскричал он.

С воплем бросилась Адельгейда в объятия Антиоха.

«Спаси, спаси меня, мой Антиох! Я думала, что этот демон отец мой и повиновалась ему! Зачем не сказал ты мне прежде тайны моего бытия!»

«Моя Адельгейда!»

«Твоя, твоя, не правда ли? Навек твоя? А не дочь его, этого демона? Разве ты не знаешь, что если ты назовешь меня твоею, то я никогда уже не разлучусь с тобою? Мы переселимся туда, где нет людей, где нет ни Адельгейд, ни Антиохов, ни Шреккенфельдов — где я и ты одно, где дышат любовью, где жизнь есть одна радость, где нет ни земли, ни неба — мой Антиох! Dahin, dahin (туда, туда)!»

Она лишилась чувств, крепко обхвативши руками Антиоха. Спешили помочь ей, но тщетно: сильный обморок продолжался. В отчаянии бегал тогда по комнате Шреккенфельд. Антиох сидел подле дивана, на который положили бесчувственную Адельгейду; он не говорил ни слова, держал ее руку, ждал, казалось, когда откроет она глаза, но ждал тихо, спокойно, не оказывая ни малейшего знака ужаса — только бледен был он не человечески...

Явился лекарь, за которым посылал Шреккенфельд, и объявил, что у Адельгейды сильная горячка. Она открыла глаза, с ужасом поднялась и вскричала: «Где Антиох! Неужели он ушел!»

«Он здесь, Адельгейда!» — отвечал ей Антиох.

Радость блеснула в глазах Адельгейды.

«Не уходи, не уходи от меня, мой Антиох, жизнь, душа моя — больше, нежели жизнь, — жизнь проходит, любовь остается!»

Глаза ее устремились тогда на Шреккенфельда.

«Ах! и он здесь, здесь! Ради бога, спаси меня, Антиох!» — закричала она и снова лишилась чувств.

Лекарь советовал Шреккенфельду удалиться. В отчаянии вышел он в другую комнату. Я последовал за ним. Мне жалко стало этого несчастного человека: он не был уже коварным, отвратительным шарлатаном — он был отец, он плакал!

Что сказать вам? Я видел раздирающее душу зрелище: я видел разрушение Адельгейды, прекрасного, юного, цветущего создания! Подле смертного одра ее сидел мой друг — в явном помешательстве, о котором я не мог более сомневаться. Три дня и три ночи сидел он, почти не отходя от Адельгейды, забываясь сном на минуту.

Я терял милых мне людей, видал страшно умирающих. Да, всегда —

...страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека...

Но никогда не видал и не увижу я ничего подобного, столь терзательного, мучительного! Смертельная, злая горячка несколько не безобразила Адельгейды: щеки ее пылали, глаза горели, распущенные ее волосы вились локонами по плечам и груди; но со второго дня лекарь объявил, что смерть ее неизбежна. Она не отпускала от себя Антиоха, и если он уходил на минуту, она начинала жаловаться, плакать, как дитя, и Антиох был беспрерывно подле нее. В первые сутки Адельгейда беспрестанно говорила с ним о его безумных мечтах, о своей смерти, как о своем вечном союзе с половиною души своей, улыбалась, смеялась, в бреду мечтались ей прелестные сады, где ветерок навевает любовь, где слезы радости освежают землю, где думы счастья спеют в гроздах, где поцелуи летают певистыми птичками... Иногда она снова начинала просить прощения, что участвовала в обманах отца своего. Тогда раскрывала она всю прелестную, ангельскую свою душу и слезами смывала с нее легкую тень вины своей...

Шреккенфельд сидел в другой комнате, слышал все, не смел появиться перед дочерью и терзался муками совести и раскаяния. Он сам рассказал мне все. Историю его, дополненную разными сведениями, от других собранными, я объясню вам коротко.

Он был сын немецкого дворянина и получил порядочное состояние. Страсть к учению отвлекла его от всех других занятий, а безрассудная мысль о философском камне превратила все его состояние в газ и дым. Ловкий, оборотливый, он вошел тогда в тайные немецкие общества, был участником всех тугендбундов и принужден был бежать в Италию. Там женился он и родилась его Адельгейда. Связи его по тайным обществам доставляли ему средства жить, но карточная игра разоряла его. Крайность заставила его сделаться карточным обманщиком, ссора с одним сильным итальянским вельможею заставила бежать из Италии. Он решился сделаться фокусником и проехал Европу, показывая опыты фантазмагии, химии, физики. Пользуясь необыкновенными дарованиями дочери, которую любил страстно, он заставлял играть и петь свою Адельгейду перед публикою; но связи и долги отвсяду гнали его. Приехав в Петербург, он начал свои обыкновенные представления, заметил Антиоха и угадал страсть его к Адельгейде. Мысль, что дочь его может сделаться женою богатого русского дворянина, заставила Шреккенфельда употребить для сего всю хитрость, весь ум свой. Он особенно воспользовался мистическим расположением Ан-

тихова характера и заставлял Адельгейду оказывать ему внимание, не понимая, что благородная душа Адельгейды ужасалась притворства, что Адельгейда любила уже Антиоха страстно, но чувствовала, как низко, недостойно ее завлекать Антиоха в сети. Она пренебрегала своим униженным званием, и отчаяние более всего вдохновляло ее, когда она должна была выходить перед публику. Тем выше становился в глазах ее Антиох, великодушный, полусумасшедший от любви к ней, пламенный. Ей хотелось показать ему все несходство положений их, она страшилась мысли быть его женою, думая, что унизит, обесславит собою Антиоха. В этом отношении, в сознании высокой души своей и низкого звания, несчастного положения отца своего и себя самой, Адельгейда точно была светлый ангел, очарованный демоном, которому не может он противиться. Видя дерзость, вольное обхождение мужчин, приходивших к ее отцу, положение которого становилось более и более затруднительно, она трепетала ежеминутно. И каким ангелом-спасителем показался ей Антиох, когда он так смело заступился за нее! Когда она опомнилась, узнала, что Антиох поехал драться с наглецом, оскорбившим ее, тогда узнала она и всю меру любви своей к нему. «Я не переживу его! Боже! спаси Антиоха и возьми жизнь мою!» — говорила она, стоя на коленях и молясь со слезами. Антиох явился; радость ее при виде Антиоха перешла в совершенное безумие... Жить после сего было невозможно...

На другие сутки Адельгейда говорила мало, но беспрестанно глядела на Антиоха, держала руку его, радостно улыбалась, шептала ему: «Dahin, dahin! Скоро исполнится все, что говорил ты мне... Ведь ты меня простил? Ведь ты мой Антиох?»

Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude! *

Это были последние слова. Адельгейда казалась после сего забывшеюся. Утром, на четвертый день, Шреккенфельд привлечился к ее постели и, стоя на коленях, обливался слезами. Адельгейда вдруг открыла глаза — обратила взор на отца своего, улыбнулась — взглянула на Антиоха, хотела приподняться, хотела протянуть к нему руку — и не могла — от Антиоха подняла она глаза свои к небу и закрыла их навсегда...

* Минутна скорбь — блаженство бесконечно!

Состояние Антиоха во все это время можно было назвать бесчувственным. Когда, отлучаясь на короткое время из жилища Шреккенфельда, я возвращался в него, постоянно находил я Антиоха неподвижного близ постели Адельгейды; когда, разделяя с ним ночь, засыпал я беспокойным сном и потом просыпался — при слабом мерцании лампы я видел Антиоха, неподвижно облокотившегося на изголовье Адельгейды, считавшего каждое ее дыхание. Казалось, что для него ничего более не существовало, и он сам не чувствовал ни себя, ни других. Когда подходил я к нему, желая уговорить его успокоиться, он пожимал мою руку, давал мне знак молчать и снова обращался к Адельгейде. Никто, кроме его, не подавал ей ни питья, ни лекарства: ни от кого более не брала она их. Понимал ли Антиох ужас своего положения? Не думаю. Он не показывал ни малейшего знака чувства и говорил мало, даже и с самою Адельгейдою, как будто боясь пропустить какое-нибудь слово ее, как будто наслушиваясь ее речей, наглядываясь на нее. По мере того, однако ж, как Адельгейда ослабевала, Антиох более и более начинал понимать себя, складывал руки, судорожно сжимал их, обращал взоры к небу и потом ко мне, как будто спрашивал меня: «Что это такое, друг мой?»

Адельгейды уже не было, а он все еще держал руку ее. «Отчего так озябла она? Посмотрите: рука ее холодна, как лед! Она вся побледнела!» — сказал наконец Антиох и в испуге вскочил с своего места. «Леонид! Посмотри, что с нею сделалось? Посмотри!» — говорил он, толкая меня к Адельгейде. Я обнял его со слезами. Антиох не плакал, хотя глаза его были красные и опухшие. «Она не может умереть, — говорил он, — не может, потому что я еще жив. Что же это такое? Какой это странный перелом болезни? Эти доктора ничего не понимают в психологических явлениях!» Он схватил себя за волосы и вырвал клочок их, не чувствуя, что делает. В бессилии склонился он ко мне, глаза его закрылись — он был бесчувствен и неподвижен. Признаюсь: я желал ему смерти... Но смерть надолго забыла Антиоха.

Бесчувственного перенесли мы его в карету и на руках вынесли из кареты в его квартиру. Доктор, призванный мною, сказал, что это не обморок, что Антиох спит... Не помню, как-то по-латыни назвал он этот сон. Только это не был сон смерти. Ровно через сутки Антиох проснулся,

бодро встал, надел свой всегдашний шлафрок, казался задумчивым, глубоко размышляющим, поглядел на меня, но не оказал ни печали, ни радости, никакого признака жизни. Более часа ходил он по комнате, когда пришел доктор и хотел посмотреть его пульс. Молча Антиох подал ему руку, но не сказал ни слова. Я стал говорить с ним. Он смотрел на меня, не сказал ничего и опять начал ходить. Потом сел он за свой столик, вынул десть бумаги, взял перо, приготовился писать, остановился, долго думал, бросил перо, взял карандаш, тер лоб свой с нетерпением. Так прошло несколько часов. «Завтра!» — сказал наконец Антиох задумчиво, бережно спрятал бумагу, лег на диван свой и скоро заснул.

Пришедши на другой день, я застал Антиоха уже вставшим. Он опять сидел за своим столиком, держал перо, думал, не отвечал на мои слова. Лекарь, приставленный к нему, сказал мне, что всю ночь Антиох проспал каким-то бесчувственным сном.

Целый день просидел он опять за своим столиком и иногда только прохаживался по комнате, думая, молча, потом опять садился и думал. Видно было, что он слышит слова и видит людей, потому что, когда мы стали просить его принять лекарство, он с досадою и поспешно выпил его. Когда я говорил ему о прежней дружбе нашей, он поглядел на меня, но не сказал ни слова, как будто человек, ничего не понимающий.

Так прошла целая неделя, и в Антиохе не было никакой перемены. Он вставал поутру, не обращая ни на что внимания, спешил сесть за столик свой и целый день просиживал за ним, держа то перо, то карандаш, задумывался, думал, печально прохаживаясь иногда по комнате, и вечером ложился спать, с глубоким вздохом произнося: «Ну, завтра!» Более не слыхали мы от него ни слова.

Доктора, которым рассказывал я всю историю Антиоха, решили, что он в сумасшествии особенного рода, что лечить его нельзя обыкновенным образом, что обыкновенное лечение сумасшедших может только привести его в яростное безумие и что можно надеяться исцеления его со временем. Сон Антиоха всегда походил на бесчувствие смерти: его нельзя было разбудить; ел и пил он весьма мало, и то, когда принуждали его. Я нанял для него квартиру на даче, в прелестном местоположении. Ночью, во время сна, мы перевезли туда Антиоха. Он проснулся поутру, изумился, казалось, обгляделся кругом, но, увидев свой

столик, бумагу, перо и карандаш, поспешно сел к столу и просидел целый день задумавшись, как будто стараясь что-то вспомнить. Вечером он лег по обыкновению спать и, проснувшись на другой день, опять просидел его за своим столиком. Идти никуда не хотел он, иногда с бесчувствием взглядывал в окно и тотчас отворачивался. Однажды веселое общество гуляющих проходило под окном его — он поглядел и отворотился к своему столу.

Мы испытывали лечить его музыкою. Когда раздались звуки арфы, Антиох бросил перо, стал слушать, но через минуту с негодованием покачал головою, опять взял перо и не оказывал более никакого внимания.

Так прошло несколько месяцев. Мне надобно было ехать из Петербурга; я препоручил Антиоха честному старику, который согласился жить с ним, и доктору, который хотел навещать его каждый день.

Поездка моя была довольно продолжительна. Отправленный по казенной надобности, я не мог иметь постоянной переписки. Меня уведомляли по временам, что Антиох остается в прежнем положении, но — не все сказывали мне!

Во время отлучки моей приехали в Петербург родственники Антиоха и взяли в управление все имение его. Бесчеловечные перевезли Антиоха в дом умалишенных. Честный старик, приставленный мною, умолил их взять для него особую комнату и перевез туда его столик, бумагу, перо и карандаш. Антиох проснулся на другой день в доме сумасшедших и, не обращая ни на что внимания, сел думать за свой столик.

Великий боже! Я увидел Антиоха и ужаснулся. Он вовсе не узнал меня, взглянул на меня, когда я пришел, и снова принялся думать. Он был худ; кожа присохла к костям его; длинная борода выросла у него в это время, и голова его была почти седая. Только глаза, все еще блиставшие, хотя желтые, показывали тень прежнего Антиоха. Прежний прекрасный шлафрок его, висевший лоскутьями, был надет на него.

Я не хотел переводить Антиоха никуда: не все ли для него было равно, в доме ли сумасшедших был бы он или у меня, потому что уж ничто не могло ни занять, ни развлечь его, а нескромное любопытство людей могло быть для него тягостнее в моей квартире. На лето хотел я опять нанять дачу и туда взять с собою Антиоха. Доктора давно отказались лечить его.

Ровно через год после смерти Адельгейды, в одно прекрасное утро, когда солнце ярко осветило комнату Антиоха, он проснулся, поспешно сел за свой столик и вдруг радостно закричал: «Это она, это она!» Приставник бросился к нему. Указывая на слово, написанное на бумаге, Антиох с восторгом говорил ему: «Видишь ли, видишь ли? Это она, это душа моя — я вспомнил, вспомнил таинственное слово, которым могу призвать ее к себе... Мне кажется, я долго думал об этом слове! Неужели ты его не знаешь? Теперь к ней, к ней!»

Приставник обрадовался, услышав первый раз Антиоха говорящего. Он думал, что Антиох излечился. Антиох долго, с наслаждением смотрел на написанное им слово, горячо поцеловал его, хотел встать и вдруг свалился опять на стул свой; голова его склонилась на бумагу; перо выпало из рук его...

Я прибежал опрометью, когда меня известили, и застал Антиоха еще в этом положении. Но он был уже холоден. На бумаге было написано его рукою: *Адельгейда*.

Леонид кончил свой рассказ. Мы все молчали. Читатели припомнят, что в числе слушателей были две девушки, одна веселая, с черными глазами, другая задумчивая, с голубыми. Веселая встала и пошла прочь, сказав:

— Он все выдумал. Так не любят, и что за радость так любить?

Леонид не отвечал ей ни слова, но, когда мы, мужчины, составили кружок и стали рассуждать всякий по-своему, Леонид придвинулся к другой девушке. Она плакала, закрывая глаза платком. Леонид взял ее руку и поцеловал украдкой, не говоря ни слова.

— Вы не выдумали? — сказала она, вдруг взглянув на Леонида.

— И не думал, — отвечал Леонид. — Неужели и вы скажете: *так не любят?*

— О нет! Верю, чувствую, что так можно любить, но... Леонид?

— Если иначе не смеешь любить, скажи, милый друг: не блаженство ли безумие Антиоха и смерть Адельгейды?

Я не вслушался в ответ и не знаю, что отвечали Леониду.

РАССКАЗЫ РУССКОГО СОЛДАТА

Богатыри! Неприятель от вас дрожит — да есть неприятели больше — больше и богадельни — проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, бестолковка кличка, что бестолково выговаривать: *край, прикак, афок, ваиркак, рок, ад* и проч. и проч.— стыдно сказать.

Почтение Суворова солдатам

Часть I

КРЕСТЬЯНИН

«А что, мужичок, как ты поживаешь?» — «А што, родимый, неча господа гневить; не без милости от господа; день прошел, так и до нас дошел...»

Кажется, это было в 1817 или 1818 году. Мне надобно было ехать в Острогожск и Воронеж; я жил тогда в Курске. До сих пор между настоящими русскими купцами нет обычая ездить на почтовых. Только со времени учреждения дилижансов купцы для езды между Петербургом и Москвою оставили вольных ямщиков и извозчиков. Но в других местах России повсюду они ездят еще на *вольных*, то есть нанимают условною ценою пару, тройку лошадей на некоторое расстояние, где извозчик сменяется или *сдаёт* ездока другому; тот везет его опять известное расстояние и сдаёт третьему. Так от Тамбова, от Херсона можете доехать в Архангельск, в Казань, в Смоленск. Этот порядок езды идет издревле, с того времени, когда еще не было на Руси ни почтовых лошадей, ни подорожен, и до сих пор сохраняется он между купцами, несмотря на большие неудобства. Главное неудобство то, что ныне, с потерей многих старинных обычаев, потерялись между нашими ямщиками и извозчиками верность данного слова и взаимная честность, по которой за цену, условленную, например, в Харькове, они свято довозили ездока до Москвы и до Вологды. Изменить ее никто не осмеливался. Какой-нибудь

ямщик серпуховский, нарушив святость договора, никогда не смел бы потом отправить с своей стороны проезжего в Харьков: в Белгороде каком-нибудь проезжего, отправленного по договору ямщика, нарушителя своего слова, не повезли бы далее, потому что молва из уст в уста провозглашала бы *нечестным* нарушителя по всей дороге; старики положили бы повсюду: по договору такого-то проезжих не возить, и — на тысяче верстах никто не дерзнул бы взять сдачу от негодяя.

Все это теперь утратилось; бедный проезжий подвержен по дороге всяческим обманам, притеснениям; у него забирают вперед деньги, заставляют его прибавлять, надоедают ему требованиями на водку, везут худо и без русских поговорок, которые услышите от каждого мужика и которых не найдете ни в каком словаре... Да, вы найдете их в книге *Паула Якоба Марпергера* «*Moscowitischer Kaufmann*»¹, изданной в Любеке в 1723 году. Автор приложил необходимые для путешественника слова и разговоры на русском и немецком языках. Он был мастер говорить по-русски, как видим из этих разговоров; он уверяет, например, что «покарауль мои сани» по-русски говорится: «*stoi taem gdié phzanie stoid*»; что «*stote gchotsjes potché mutot tawar?*» значит: «что просишь ты за этот товар?»; что «*Jachotssju tebié piath aregchie dam*» — «я тебе дам оплеуху» и проч. Вот он, приводя одну русскую дорожную поговорку, сказывает, что по-немецки это переводится: «*fahre geschwind*» («поезжай скорее»). Без этого «*fahre geschwind*» вольные ямщики везут вас, как пресное молоко. «Ведь мы не почтовые, а вольные!» — говорит вам ямщик на крик ваш: «пошел» и невольно заставляя вспомнить пословицу: «воля не холя, а добра коня портит».

Однако ж купцы соглашаются лучше терпеть всякое притеснение, платить дорожке, спорить, шуметь, кричать, а не едут на почтовых лошадях. Тут много причин. Во-первых, купец обыкновенно едет целым домом; иногда везет с собой товар, всегда деньги и кучу постелей, подушек, ковров, полстей, подстилок, одеял, запасов, припасов, на дождливое время шинель, на холодное тулуп, на морозное шубу; и, кроме того, дюжину коробок, коробков, сулеек, погребцов, чемоданов, фляжек, кульков, сум и проч. и проч. Нередко четверо, часто трое, никогда менее двух *хозяев* не сидит в этом подвижном доме, называемом *повозкою*, укрытом, обшитом, обитом сукном, холстиной,

¹ «Московский купец» (нем.).

кожей, рогожами, обгороженном, загроможденном сзади, и спереди, и на передке коробами и всякою всячиною. Какой почтовый ящик повезет, даже свезет с места эту громаду — ящик, привыкший запрягать свою тощую клячу лычком и ремешком, ставить последнюю копейку ребром и столь же мало думающий, снесет ли он завтра свою голову, сколь мало помышляющий о том, как побережь ему седока и свою лошадь! Давай такому ящику седока лихого, у которого вся поклажа сжалась в маленький чемоданчик, на защиту против ветра и непогоды всего только какой-нибудь клочок сукна или лоскуток бурки; давай ему курьера, который, зацепив трубку зубами, имеет непостижимую способность усидеть на веревочке, и не только усидеть, но и выспаться, пока остов телеги, без подстилки, без покрывки, летит на гору и под гору, тощие клячи несутся скорее вихря и ящик в дырчатом балахоне, иногда в шапке летом, в шляпе зимою, закатывает, хлещет бичом сплеча и в каком-то упоении поет во все горло: «Ах! да западала! частым ельничком, ох! все березничком, ох! да зарастала! Ну! Ну! Ну!»

Заметьте, когда встретится вам в дороге эта отчаянная гоньба и вместе с нею повозка на вольных — разница между ними такая же, какая между толстым откупщиком и отчаянным посетителем питейного дома. Почтовый ящик награждает свою плохую наружность тем, что во всю прыть мчится мимо дорожного барина — огромной повозки, запряженной тремя огромными лошадьми, с дюжим ящиком в красной рубахе, с тремя колокольчиками на дуге, с медными бляхами и погремешками на сбруе. Спорым, но тихим и ровным шагом ступают между тем лошади вольного; из повозки его выставляется борода купеческая, пробужденная мимолетным визгом, и из подушек красноватое лицо глядит: кто это промчался мимо и уже вдали, в облаках пыли?

Во-вторых, тяжело ездить на вольных нашему брату, не дорожному, домоседу, но легче купцу, который по одной дороге из Москвы в Харьков, Ростов, к Макарью, из Вологды, Курска в Москву едет в сороковой раз, иногда ездит по два, по три раза в год. Ему все знакомо по дороге; его везде знают, принимают, растворяют пред ним ворота, кланяются ему, ведают его имя и имена отца его и бабушки его; перед ним ставят хлеб, соль; все дородные хозяйки и хорошенькие их дочери известны ему по именам; он знает, где надобно побережиться, где остановиться, где побраниться, где подарить, поласкать. Вот он, например, на



постоялом дворе в какой-нибудь *Лопасне, Ивановке, Липцах, Красной слободе*; перед ним на столе кипит огромный самовар, лежит московский калач, расставлены гжельские чашки, кулек с икрою, балыком, сайкою — ведь постных дней у нас две трети в году. И краснея, и потея, в светлице *старого знакомого*, ямщика, он располагается господином, пьет, ест, закусывает, шутит, говорит, договаривается, спорит; и он, и хозяин называют друг друга *приятелями, знакомыми*, величают по имени, по отчеству; оба клянутся, что сказывают *крайнюю и последнюю* цену, указывают на образ Николая Чудотворца, ссылаются на худые кормы; хозяин спорит, что *обрезные* червонцы, какими платит проезжий, совсем не в ходу; тот утверждает, что везде их берут, что других денег теперь в целой Москве нет. И вот они поспорили, уверились, что нашла коса на камень, утвердились во взаимном уважении к ловкости и уму один другого и наконец поладили; повозка подкатилась, и купец беспечно залег в свои подушки и перины до нового знакомого, где переменяет он лошадей с прежними обрядами, спорами, уговорами, божбою. Возможно ли вообразить такого ездока, приехавшего на почтовую станцию, где четырнадцатого класса смотритель сухо, без всяких возражений ответит ему: «Нет лошадей!», а смотрительша в чепчике и запачканном длинном платье, пользуясь поддержкою, предложит тощий кофе, пока общипанный почтовый староста, почесывая голову, спорит, что уroda, повозку приезжего, с места не стянут три лошади и что на трех седоков велено по указу припрягать четвертую лошадь... Где поэзия самовара, ласковой хозяйки, калачей, сайки, икры? Вы знаете, что на почтовой станции надобно все покупать у смотрителя, а без того...

Но — я чувствую, что к старости становишься болтлив, особенно вспоминая что-нибудь из своей молодости: начал о том, как мне надобно было лет семнадцать или шестнадцать тому ехать из Курска в Острогжск, а заговорил об ямщиках, о почтовых станциях. Впрочем, лишнее слово, только бы не в осуждение ближнего, право, не беда. Люблю широкий, просторный рассказ, где всякой всячине свободно лечь и потянуться. А притом, может быть, не всякому знакомо то, что я рассказывал, и я dokonчу, как пошел рассказ мой, тем, что таким-то образом до сих пор сохраняется у нас на Руси особенное братство ямщиков и проезжих, с своими тайнами, не меньше *ложных* тайн какой-нибудь Шотландской Звезды. В каждом городе значительном есть особые ямские, где живут ямщики и где

у них свой мир, свои нравы, обычаи, обряды. В Москве таких ямских слобод несколько: *Тверская, Переяславская, Рогожская* и проч. Подите туда: это не Москва, это какой-то особенный город; иначе дома построены, иначе люди живут, одеваются, говорят; это такие уголки в Москве, где всего более сохранилось донне *русской старины*, хотя и там уже дома перестраиваются и старая Русь пропадает вместе с появлением бритья бород, ресторанов, французских хлебов, немецкого платья и гильдейского честолюбия. Но отсюда выходят все эти бесчисленные, бесконечные обозы; отсюда выезжают купеческие вольные тройки; здесь теснятся все приезжающие в Москву ямщики и извозчики; здесь можете подрядить тысячу телег хоть до Одессы и до Архангельска; можете нанять извозчика куда угодно — только не далее пределов русского царства и не в царство небесное. Вам дадут тройку жирных, огромных лошадей, и если у вас нет своей повозки, то и с огромною ямщицкою повозкою, укутанною рогожами, с резным задком у кибитки, выложенным разноцветною фольгою, и повезут вас в *Питер, Курск, Смоленск, Володимер*, останавливаясь на своих особенных станциях и минуя почтовые. Ехавши в Курск, вы проедете мимо Подольска и остановитесь в Лопасне; ехавши в Петербург, мимо Черной Грязи, в селе *Чашникове* — сорок верст от Москвы; здесь ямщик даст *вздохнуть* своим лошадям и повезет вас до *Клина*, а от Клина на свежей тройке вас доставят, *не кормя*, в Тверь и *поставят* в условленный час, по договору, в тамошнюю Ямскую, минуя замаранный тверской «Город Милан», где с тощим животом вы любуетесь на изображения из Шекспировых трагедий и не можете решить: что тут хуже — чай, кофе или обед?

Ямские слободы, сказал я, есть у нас во всех значительных городах; но ямщики некоторых городов особенно славятся своими лошадьми, своим достатком, своею ездою. Таковы ямщики *московские, коломенские*; ямщики *курские* также знамениты. Любо посмотреть на их опрятные, высокие дома, с кровлями почти перпендикулярными, с раскрашенными окнами, с крытыми обширными дворами, где все завалено кибитками, ободьями, рогожами, колодами, дегтярными бочками, телегами и где останавливаются обозы и иногда тесно бывает от возов и лошадей; любо посмотреть и на самих ямщиков, крепких, сильных, здоровых, рыжебородых, под пару их дюжим лошадям, которые могут выехать восемьдесят, сто верст в сутки, которых хозяин бережет и лелеет, как друзей. Странна жизнь ям-

щика: спокойно сидит он у ворот своего дома, в кругу соседей, на прилавочке, толкует, дремлет после сытного обеда или отдыхает, проглотивши дюжины две чашек чаю,— приходит человек, и через два часа ямщик уже помолился богу, надел дорожный зипун, простился с родными; и через несколько часов еще он уже катит на тройке своей по Московской, Арзамасской, Воронежской дороге или тихо переступает подле *обоза*, который отправился в Бердичев, в *Адесту*, в *Липецк*, если угодно, или *Бериславль*, *Королевец*. Прежде, когда многие курские купцы торговали за границу, Лейпциг, Бреславль, Кенигсберг были знакомы курским ямщикам так же близко и коротко, как их соседка, Коренная ярмарка. Мне случалось видеть и возвращение ямщиков домой. Ничего, никто не кричит от радости, от удивления о том, что отец, брат, сын воротился после полугодового отсутствия. Спокойно убирают, поят лошадей, и, сытно пообедавши, прохрапевши часов пять с дороги, ямщик, между прочим только, рассказывает товарищам, сидя вечером у ворот, и то, если спросят его: «А што, таго, где ты бывши?» — рассказывает, что он ездил в *Одессу*, а оттуда *наняли* его в Николаев; потом *довелось* в Астрахань; там *вышла работа* в Эривань, а оттуда он *взялся свезти* ездока на *долгих* в Тетюши, из Казани *наложил* товар до Москвы и потом через Рязань приехал домой. Другие не дивятся нисколько, а через сутки, пожалуй, приезжий ямщик найметя опять хоть в *Аршаву* (Варшаву).

На *долгих*. — Знаете ли, что это такое? Это значит, что вас договариваются в положенный срок довести от одного места до другого на одних и тех же лошадях, останавливаясь ночевать и *кормить* лошадей по дороге. Кому некуда спешить, такая езда, особливо летом, особливо в обществе добрых товарищей, беспечна и весела. Так, на ярмарки, большею частию, купцы ездят на *долгих*, и иногда собирается их по десяти, по двадцати троек. В таком случае останавливаются ночевать и обедать обыкновенно вне селений, где-нибудь под лесом, на берегу реки, и — тут полный досуг русскому духу и дорожному досугу! Все забыто — и барыш, и убыток; разводят огонь, накупают припасов, варят, жарят, кипятят самовары; на разостланных коврах, тюфяках, под *ташами*, разбитыми в виде палаток, идет ужин, обед; затем следует отдых; кто поет, кто спит, кто спорит, говорит, и часто хор стариков:

Склонитесь, веки,
Все, и со человеки,

К Российской державе,
Ко восточной главе,
Сущей ныне
Во благостыне —

сливается с хором молодежи:

Вы метитесь, улицы,
Вы метитесь, широкие;
Становитесь, города,
Города с пригородочками,
Теремы с притеремочками!

Наступает ночь. Огонь погас, все убрано, снесено в повозки: проезжие крепко спят в повозках, закрытые рогожами и кожами; брезжит восток раннею зарею; ямщики напоили лошадей, впрягли, и с словом: «Господи, благослови!» повозки катятся с спящими седоками до первого места, где снова останавливается поезд кормить лошадей, а седоки обедать, прокачавшись, как в колыбели, тридцать пять, сорок верст.

Все это изменяется теперь. Но так бывало еще за двадцать лет. Я помню это.

Вот, когда мне в 1817 или 1818 году надо было отправиться в Острогжск,— впрочем, не привести бы мне на память читателям эту поездку того немецкого путешественника, который ездил когда-то на своем веку из Данцига в Штольпе и после того сорок лет рассказывал об этом... Спешить мне было некуда, и я решился ехать на долгих. Притом мне надобно было нанять надежного, доброго ямщика, потому что со мной было много денег, а ехал я один. Отправляюсь в Ямскую слободу. Положение этой слободы и вообще Курска прелестно. Город стоит на горе, которую обтекает река Тускорь, и с некоторых мест взор обнимает пространство, усеянное деревеньками, селами, перелесками, нивами верст на двадцать. Если вы будете в Курске, советую вам пойти на берег Тускори к бывшему Троицкому монастырю и полюбоваться оттуда видом на Стрелецкую слободу, окрестности ее и скат под гору к Тускори. Не менее хорош вид и на Ямскую слободу, которая раздвинулась по луговой стороне реки на Коренской дороге.

Но поспешим рассказом. Мне попался здоровый, плечистый рыжий ямщик, взялся ездить со мною, сколько мне угодно, и на другой день в огромной повозке, прочной, крепкой, набитой свежим сеном, запряженной тройкою лошадей, с парюю колокольчиков на дуге, покатались мы

с *Васильем* — так звали моего ямщика. Помню это красное лицо, эти плечи, эту голову, где *между глаз* могла поместиться *калена стрела*. Василий был человек лет пятидесяти, веселый, словоохотливый, большой мастер петь заунывные песни; он выпивал едва ли не полштофа зеленá вина для аппетита и никогда не бывал пьян; ел он ужасно, не спрашивал, что ему давали есть, смотрел только на количество, а не на качество, мог пить пиво, хлебать молоко, есть рыбу и кислую капусту, пить чай в одно и то же время. Обед оканчивался у него ковшом воды не менее знаменитого Торова рога скандинавской «Эдды». После того он ложился спать под повозку, спал, храпел, как Илья Муромец. Но удивительно: этот же человек не знал устали в работе, мог не спать сутки, сидя на передке, верно просыпался, когда надобно было поить лошадей, задавать им овса, и за них готов был он сам отказываться от сна, пищи и питья; и не жаловаться, и петь песню под голос своего тощего желудка. Смело можно было при нем не бояться разбойника, оставить повозку, уйти вперед, отстать или спать без просыпа. Василий был удивительно *бывалый человек*; вообразите, что он побывал даже в Париже, подрядившись из Лейпцига в 1814 году везти какие-то казенные снаряды. Он рассказывал... но прочитайте статейные донесения старинных русских послов, например, из Италии, о том, как: «Город Флоренск безмерно строен, согражден палатами превысокими, а столпов превысоких, сажен по пятидесяти и больше, во Флоренске шесть. А кирпичи, или *мечети*, зело стройны, и иную делают уже лет двадцать, а еще делать лет двадцать, все камень аспид, трут пилами. А стоит город меж великими и высокими горами; а длина градскому месту и с уездом верст тринадцать, а то все горы. А извычай у жителей такой: мужи и жены честные и дети, ходят все в *скуратах*, сиречь в личинах всяких цветов. Да казали нам казенные палаты, палата с сосудами однозолотыми и с вещами драгими, кресла княжие с камнем драгим и с жемчугом большим, жемчуг иной в орех есть...» Вот на это походили и рассказы Василия о *Паризии* и *Леонтъеве* (Лионе), *Нунции* и *Тавлери* (Нанси и Тюльери). Он сказывал за диво, что французские мужики носят *башмаки деревянные* и называют их *суботы*. Вообще по-французски говорил он довольно порядочно; сказывал мне, что французы называют хлеб «*пень*», масло «*быр*», воду «*ох*»; что самая злая брань, если скажешь французу: «Наполеон капут»; что по-французски «*жонопранпопо*» значит «не знаю ничего» («*je ne com-*

prends pas»). «Хороши земли,— заключал он,— да все нехристь, бес их знает, какая; и кто погонится за барышом да поедет в ту сторону, в руках у него будет много, а в кармане ничего». Надобно знать, что путешествия бедного Василия за границу кончились встречей на обратном пути с башкирами, которые, от нечего взять, отняли у него все деньги и обменяли лошадей его на клячи, так что он едва мог доехать до святой Руси, и то в казенном обозе.

Мы выехали с ним из Курска рано утром; погода была прекрасная, начало июля, небо яхонтовое, поля изумрудные, нивы золотые. Дорога шла между селениями, полями, рощицами; народ был рассыпан по полям; все казалось мне таким веселым, счастливым, цветущим, потому что я сам был молод, здоров, весел, как птица небесная, и готов видеть в каждом человеке друга. Печаль скользила у меня тогда по сердцу, как ласточка нижет мимолетом по земле, а радость выглядывала из-за каждого кусточка и качалась на каждом васильке между хлебными колосьями. Встречи с сельскими помещиками, с их барынями и барышнями, с лихими кирасирами, квартировавшими тогда в Курской губернии, с купцами, ехавшими с старооскольской ярмарки,— все это было предметом моего любопытства, наблюдений, забавы, знакомства и проч. и проч.

Надобно сказать, однако ж, что места, по которым мы проезжали, были в самом деле большею частью удивительно милые. Природа не являлась тут в грозном величии какого-нибудь Кавказа, какой-нибудь Сибири; но зато, как кокетка, наряжалась она в пестрые луга, тенистые рощицы, убиралась живописными селениями, смотрелась в зеркальные речки и змеистые ручейки, расстилалась полосатыми жатвами, загоралась алою, палевою, оранжевою зарею, засыпала под покрывалом ночи, сплошь униженным золотыми звездами. Помню местоположение *Стужина*, маленького селения, верст сорок от Старого Оскола,— что за прелесть! В длинной лощине, крутоберегой, обросшей кустарником, вьется серебряная речка, и по ней разбросаны хижинки; с обеих сторон дорога в гору, и на этих горах, как шахматы, белеют, желтеют, пестреют бесконечные поля с хлебом. Там лениво тянется обоз малороссиян на волах; здесь раздается песня поселянина; там природа бросила перелесок; здесь человек выставил шпиз церкви и кровлю своего сельского дома. Как нарочно, темная туча всходила вдалеке, и молния дрожала в ней и рисовала свои огненные узоры, когда с другой стороны еще ярко светило солнце между облаками; и эти облака обрисовывали собою

вокруг солнца исполинские снеговые горы с позолоченными и раскрашенными вершинами. Но еще лучше положение небольшого городка Старого Оскола, где на горе, смотря на реку и на окрестности при заходящем солнце, я, как умел тогда, долго любовался и мечтал, почитая себя поэтом, потому что читал Жуковского, сам кропал плохие стихи и плакал за романами Монтольё и Августа Лафонтена. И в дорогу с собой взял я, помнится, «Мальвину» да что-то делилевское: мне хотелось перевести ее... Какой вздор не взойдет в молодую голову!..

Вечером на третий день мы остановились ночевать верстах в семидесяти за Старым Осколом в деревне *Становой*, уже в Воронежской губернии. Это была обширная малороссийская деревня с вымазанными глиною, выбеленными известкою хатами, с малороссийскими нравами и обычаями, и я попал в самое шумное сборище усатой *гетманщины*. У хозяина, где мы остановились, продавали горелку: был какой-то праздник, и что за разгулье, за пляски, за разговоры! На меня сначала посматривали косо, как на *москаля*; но вскоре меня полюбила *казацкая душа*, когда я принялся хвалить ее, разговаривать с нею, потчевать стариков чаем, табаком, сам рассказывать о Хмельницком все, что читал об нем у Голикова и Рубана, а еще более с любопытством слушать рассказы других. Помню, что моя любезность обратила на себя особенное внимание старого казака *Никиты Шимченка*, с длинными усами, в высокой казацкой шапке, с гордою поступью, с седым *чубом* на голове. Он пил со мною чай, говорил о старине, о переселении острогожских казаков в эту сторону, заставил даже какого-то скрыпача петь и играть, других плясать.

К удивлению моему, Шимченко был даже большой грамотей, восхищался «Энеидою» Котляревского и наизусть читал мне из нее множество мест.

Солнце было еще высоко, когда мы приехали; досыта наговорившись и наслушавшись, я отправился с «Моими безделками» в руках насладиться зрелищем заходящего солнца и гулять по деревне; таков был тогда обычай у всякого, кто почитал себя поэтом; ходил, гулял — наконец сел у ворот одной хаты и размечтался о счастье простой сельской жизни, слыша песни, шум и говор в хате и по улице, видя всюду веселые толпы народа, с гудками и дудками ходившие по улице. Подле меня неожиданно поместился какой-то сосед, не малороссиянин, и я обрадовался, увидя *земляка* на чужой стороне. Это был отставной солдат,

седой безногий старик на деревяшке; изношенная ленточка с Георгиевским крестом, добрый, веселый вид его, ласковый привет всех проходивших мимо его, что показывало, как уважала его целая деревня, — все это расположило меня к беседе с добрым инвалидом. Он без памяти рад был, встретя такого ласкового, приветливого земляка, и беспрестанно называл меня «ваше благородие».

Я узнал от моего собеседника, что он родом из Курской губернии, из однодворцев, был отдан в военную службу, долго служил, потерял ногу в Финляндии, воротился на родину, оставил ее, бродил в разных сторонах и наконец поселился в Становой, где исправляет должность волостного писаря, по воскресеньям заменяет должность звонаря и певчего в ближнем селе и решился окончить странническую жизнь свою между здешними обывателями. «Все хохлацкий народ, ваше благородие, и добрее русско-го; только не тронь их казацкой хвостовни; да и прост, ваше благородие, хоть по виду и кажется такой смысленный, важный».

Бесконечный разговор завязался наконец между нами. Здравый, простой ум, какой-то философско-комический взгляд на все в мире, особливо рассказы о том, где бывал, что видел, что перенес мой инвалид, заняли у нас несколько часов. Уже свечерел, потух день; прекрасная летняя ночь наступила, ночь тихая, месячная, теплая, после дождя, бывшего днем, а мы все еще разговаривали. Он подробно рассказал мне всю свою историю, все свои похождения. То, увлеченный живостью своего рассказа, вставал он, вытягивался, маршировал, забывая о своей деревяшке; то чертил палкой на песке расположение лагерей, желая дать мне понятие о битвах и сражениях, где бывал; то в унынии умолкал, набивал свою *люльку*, тянул из нее дым и в разлетавшихся облаках дыма, казалось, видел прежние, разлетевшиеся дымом годы своей юности.

Добрый старик! Тебя, верно, нет уже теперь в здешнем мире! Если беседа со мною, тогда юным, беззаботным жителем света, усладила твою душу, зато и твои рассказы сильно врезались в мое сердце. — И теперь еще ясно могу я представить себе твои седые волосы, твой кровью купленный крест; слышу еще, кажется, стук твоей деревяшки, твой голос; вижу твои выразительные телодвижения, огонь, сверкавший в глазах твоих, когда ты рассказывал мне о гибельных битвах, и слезу, появлявшуюся в глазах

твоих при воспоминании о родных, некогда близких твоему сердцу; грустную улыбку, с какою смотрел ты на свое состояние, и улыбку радости, с какою говорил ты об успокоении костей своих в недрах матери-земли...

Желал бы я передать другим что-нибудь из твоих рассказов; но тронут ли они других так, как трогали меня? Чем заменить твой вид, твой взгляд, твои движения, твое простое красноречие сердца? Прибавляя что-нибудь искусственное, я только обезображу твое добродушное повествование; но могу ли и *пересказать* так, как говорил ты; могу ли заменить твои поговорки, прибавки, побасенки, и этот смех сквозь слезы, и эти слезы сквозь смех, что так удивляло меня, еще не понимавшего, как можно плакать и смеяться в одно время! И прежде того видал я, что сквозь дождевые тучи светило солнце и радугой перепоясывало полнеба, отражаясь в дожде, падавшем сквозь лучи солнечные. Я не знал тогда, что это всего более похоже на слезы и улыбку человека.

В ближней роще свистал и щелкал соловей; коростель скрипел в отдалении поля; лягушки дробили голоса в своем болотном концерте; заря потухала на одном краю неба и загоралась на другом; иногда глухо раздавался голос кукушки в лесу; люди редели, засыпали. Мой инвалид говорил мне:

I

— Вы знаете, что у нас в Курской губернии есть много дворян — больших помещиков, а еще больше мелких. Есть целые деревни, и большие деревни, где все жители дворяне, и у них, у сотни человек, десять крестьян, и эти крестьяне служат всем поочередно. Наконец, есть еще у нас что-то такое, ни дворяне, ни крестьяне, а так, *сам крестьянин и сам барин*, и называется *однодворец*. Говорят, будто это остатки каких-то прежних дворян, потому что у многих однодворцев есть свои крестьяне. Я называл себя однодворцем, как мы все себя называли, а впрочем, право, мы не ведали, что это такое значит, — так, как мелкое дворянство, жившее вокруг нас, знало о себе одно, что с них *рекрутчины не бывает*. Впрочем, эти высевки дворян жили в таких же хатах, как и мы; так же одевались, так же пахали, сеяли, косили, жали, как все мы; ели по-нашему и пили по-нашему. Одна только бывала беда с ними связываться, что, подравшись на весельи, мы просто мирились на другой

день, а дворяне наши непременно подавали просьбу *в бесчестье*. Кроме того, все у нас было общее, и согласное, и одинаковое; ссорились и дрались мы на межах одинаково, потому что и наши, и дворянские поля были пестрее рябой рожь и перерезаны в такие мелкие ремешки и клинушки, что разобрать их не удалось бы самому домовому дедушке, не только земскому суду. После каждой просьбы между нами начинался, однако ж, суд, делался судебный осмотр; оканчивалось тем, что выигравший тяжбу должен был продать свой участок для оплаты расходов по суду; на продаже напивался весь мир крещеный, подымалась на веселье новая ссора, за ней драка, и — дело оканчивалось новою тяжбою.

Так жили мы, и дворяне, и однодворцы, под одним небом божьим, жили изо дня в день, и весело, не думая о завтрашнем дне; и житье наше так нам всем нравилось, что — поверите ли — многие из наших дворян, прослужив много лет в военной службе, возвращались поручиками, даже капитанами на родину, надевали старые свои зипуны и принимались снова за плуг и соху. Вот было житье: подыми, встряхни, перевероти и вывероти — ничего не выпадет, ни из души, ни из головы, ни из кармана, кроме гроша на вино да краюшки хлеба на сегодняшний день! И чего ж вам больше? Был ли у нас в оный год неурожай, есть нечего — мы занимали у других; отдавали, когда потом хлеб родился, а ведь у бога не положено, чтобы неурожай был всякий год? Итак, барыш и убыток, веселье и горе, сытое брюхо и голодное ездили у нас на одних саях. Ну что же, если не было у нас ничего в запасе, ни лишнего хлеба, ни лишней коровы, ни лишнего гроша, — да на что запас? Мы думали так: «Коли бог создал какого человека, так, верно, в то же время испек для него и краюшку хлеба, которою ему надобно пропитаться в мире; и заботься ли, не заботься ли этот человек, а той краюшке от него не отбежаться ни на краю мира». Приходило горе — на утеху было у нас то, о чем давно сказано, что оно *веселит сердце человека*; приходила радость — всякий просто радовался изо всех сил. А впрочем, ведь и в городах, и везде — кто плачет, кто скачет; один родится, другой умирает; кто родится, кричит; кто умер, тот молчит. Валилась ли избушка, хозяин подпирал ее жердинкой, говоря: «С меня станет; с мой век простоит, а там, как сам свалюсь и она развалится, так строй новую, кто захочет». У кого не оставалось ни кола, ни двора, ни поля, ни избы, тот нанимался у других, а стар становился, к работе него-

ден — ну, просил милостыни и был уверен, что сыт будет, потому что ни из одной хаты не говорили у нас: «Бог подаст», а подавали, кто что смог. Когда нам нечего было делать, мы ничего не делали либо спали, а в праздники ходили мы хороводами по деревне, и проезжий какой-нибудь богач, раздумавшись в своей карете, как, поди, завидовал нашему счастью и веселью, слушая наши веселые песни!

Нас было в семье двое. Старший брат *Василий* да я, *Сидор*, покорный слуга вашего благородия. Василий был старше меня десятью годами, сын от первой жены. Старику отцу вздумалось жениться на старости, когда первая жена его умерла; от другой жены родился я. Мне и трех лет не было, когда сам старик переселился на божью ниву. Василий с моей матерью стали хозяйничать, — плохое хозяйство, правда, у старой бабы да у молодого парня — ну, что делать! Зато Василья женили рано, и жена его, здоровая баба, работала за трех. Зато с ней была такая беда, что рожала она за трех: в несколько лет у Василья было полдюжины ребят, а им каждый обед надобно было полдюжины ломтей хлеба.

Пока все это так и сяк делалось, я рос своим чередом, и о моем ребячестве многого сказать вам не приходится. Сколько запомню, так сперва лежал я в лубяном коробе, повешенном на палку подле печи, и кричал почти целый день, потому что меня некому было унимать, да и некогда. Потом ползал я по грязной избе и, взбираясь на лавку, падал, ушибался, плакал; тут высаживали меня на улицу, где, взбираясь на завалину, опять падал я, ушибался и плакал. Иногда подходили ко мне корова, коза, теленок, и, боясь их, я кричал из всех сил, так что слышно было на другом конце деревни. Соседи сидели подле своих хат или шли мимо, да я хоть раскричусь — никому дела до меня не было. Единственным защитником моим была старая хромоногая собака, *Жучко*, с которою делились мы иногда куском хлеба, вместе лежали на солнышке и вместе защищались от коров, телят, козлов, коз и свиней, а в награду я бил *Жучку* и любовался, как она визжит и ласкается ко мне.

Как уцелел я, как не упал в колодец, который был вырыт подле нашего дома, сруб незакрытый, вровень с землею, как не выклевал мне глаза гусь какой-нибудь или не забодала меня корова, как не сгорел я подле печки и как не раздавили меня возом, когда я выползал на середину улицы и сидел в грязи или играл пылью и пугал мимохо-

дящих куриц и петухов,— право, не знаю. Но, видно, сам бог хранит крестьянского сына, потому что мы все так росли, как рос я; и потом видал я, что везде наша братья, крестьяне, растут таким образом и вырастают.

Я поднялся на ноги, начал ходить, просить не ревом, но словами, и тут уж мне стало жить и лучше и легче.

Надобно знать вашему благородию, что во всей деревне нашей считалось дворов с двадцать пять. Все эти дворы были вытянуты под одну кривую линию в два ряда, так что составляли собою улицу, которая, как пьяное капральство, повихиваясь на обе стороны, шла по косогору в лог, где текла маленькая речушка, глинистая, тинистая, почти пересыхавшая летом; но весной она разливалась и затопляла весь лог, так что до самой осени грязь не пересыхала у нас, особливо у гати, обсаженной ивами, где беспрестанно вязли лошади проезжающих и где проезжающие ругали нашу деревню на чем свет стоит. Все дома у нас были черные избы, закоптелые от дыма, покрытые соломой, которую стаскивали мы с крыш в голодный год для корма скотины, а потом подновляли на зиму, если было чем подновить. У редкого двора была огорожа или крытый сарай кругом двора; почти каждый дом был четырехугольный сруб с маленькими двумя окнами на улицу, с пестрыми вокруг них рамками и с пузырем или с обломками стекол, так запачканных, что ночь начиналась в избах наших двумя часами ранее, а оканчивалась двумя часами позже настоящей божьей ночи. К такому срубам приплетались сени, где летом спали мы и держали скотину, где висели у нас веники для бани, стояли кадки, кадушки, лежали дрова — тоненький хворост, который рубили мы в небольшой роще недалеко от нашей деревни. Затем, с другой стороны ворот, торчала мазаная плетушка для скотины; далее, сзади, был небольшой навес из тычинок, покрытый соломой, для лошадей; затем, далее назад, пятились овин и гумно, низенькие мазанки с соломенной крышей; и все это окружено было поскотиной из палок, и те часто сжигали мы, потому что в дровах терпели большую нужду; соломы едва доставало у нас скотине; гречневую шелуху мы съедали сами, подмешивая с лебедой да с мякиной и посыпая мукой, а другого топлива мы не знали, потому что ничего не слыхали мы об этом от своих стариков. На дворах мы не только не чистили, а еще старались умножить грязь и навоз, потому что этим только и успевали мы вырастить что-нибудь на полях, куда весной свозили все, что накапливалось во дворах наших за целый год.

Во всей деревне только у двоих было по три лошади да по три коровы; у многих других по две, по одной, и, наконец, у остальных — ничего не было, кроме рук да ног. Такие обыкновенно отдавали свои участки другим либо обрабатывали их *помочью*, то есть ставили вина, поили всех, заставляли пахать, жать, косить, а потом платили половиною сборки хлеба целовальнику за ссуду вином на целый год. Поля наши были все чересполосные; работать на них уходили мы за две, за три версты, но меняться участками не думали, хоть у иного чужой участок был подле двора, а свой через болото, за рекой, подле дальнего леса. Покос был у нас особенно богатый: поемный луг с осокою, половину которой скашивали соседи, за что каждую осень дрались мы с ними и заводили тяжбы. Право не знаю, как еще мы умели платить подати, особенно когда приходилось в иное время лето проработать за поправкою дорог и мостиков по дорогам. У нас, впрочем, почиталось это за отдых. Мы уходили на дороги целыми семьями, вырывали себе землянки, спали в них без просыпа, а между делом заваливали кое-где ямы землецею, вместо переделки мостиков обтесывали на них бревешки, и, заплатив положенное исправнику, получали мы позволение воротиться домой, не думая о том, что с первым обозом и первым дождем вся наша поправка как не бывала, а дома сидит у дверей голод и зубами пощелкивает.

Ремесла у нас не было никакого; да и что стали бы мы делать? У нас не было даже липки, с которой можно б было содрать лычко да сплести лапоть. Бабы и девки ткали холстину на рубахи, сукно на зипуны отцам и мужьям и на понявы себе, а дети ходили в обносках отцовских и материнских.

Как теперь вижу свою благословенную родину, хоть и давно оставил ее: на голой степи по косогору несколько избушек, общипанных, как после пожара; кругом ни леска, ни перелеска, а только поля с плохим хлебом; подле реки несколько землянок, где мылись мы грязною водою; глинистая гать с ветлами; грязь по колено по улице, а зимою все занесено снегом, который едва отчищен у входа каждой избушки и привален грудями к стенам ее: без этого мы замерзли бы от холода, и случалось, что в бесснежные холодные зимы только на печи было и спасенье. В стороне торчала у нас ветряная мельница, как будто подсмеиваясь, что у нас ей нечего молоть, а с другой стороны бродило около деревни несколько десятков коров, коз, баранов и свиней, тощих, как мышь в приказной избе, где, кроме бумаги, и приказным закусить нечем. Въезжайте в де-

ревню — не говорю: зимой, когда все спряталось в конурки под снег, или в рабочую пору, когда по всем избам могли прогуливаться вору, не опасаясь, чтобы им сыскалось что-нибудь унести, хоть хозяев и хозяек никого нет дома, кроме полудюжины дряхлых стариков и старух — этот запоздалый на свете народ домовничал и грелся на солнышке, потому что кровь его уже не грела, а двигаться силы у него не было. Но и в такую пору, когда все жители бывали в деревне, вы встретили бы по улице только баб и девок, в рубахах и понявах, босых, замаранных; сидя у ворот, они пряли или бродили по грязи, крича и загоняя коров и свиней; мужики у нас подле ворот своих сживали мало: они все собирались обыкновенно у питейного дома, который всегда был чисто-начисто обметен от снега, обставлен лавочками и украшен елками. Там собирались мы ссориться, мириться, судить об общественных делах, пока мальчишки в отцовских старых шапках, в каких-нибудь обрезках отцовских тулупов и зипунов бегали, дрались и кричали по улице; вечером весь этот народ засыпал, кто где успел лечь или свалиться, а поутру просыпался всякий там, кто где с вечера лег, и вел снова день до вечера, а за одним днем другой день, а за другим третий и так далее. Но поверите ли? Плохо было наше житье — нечего сказать, — а так много у человека есть способности веселиться его жизнью, что весь этот народ веселился, смеялся, боялся смерти и не хотел умирать, словно богач какой-нибудь, у которого в Петербурге либо в Москве большой дом на большой улице! Да и состоянием своим были мы недовольны, думаете вы? Да, как не так! Попытайся-ка кто-нибудь уговорить нас переселиться в другое место, где будет много хлеба и денег, да житье иное, — ну! на такого злодея мы готовы были просьбу подать не только земскому суду, но самому соседке под печкой! Попытайся-ка кто-нибудь и не на это, а на то только, чтобы уговорить нас жить не по-старому, — и места бы не нашел этакий советник, что со мной самим случилось впоследствии. Уговорить моих земляков перестроить дома получше, жить почище, ходить поопрятнее и вместо питейного дома чаще заглядывать в церковь божию или поучить чему-нибудь детей своих — страху господню, началу премудрости, например, — за это расплатился бы дорого тот, кто стал бы об этих невидальщинах говорить!

Надобно сказать, однако ж, к похвале моих земляков, что в числе старинных преданий, которым они верили и которых нарушать не смели, были такие предания, каких

дай бог всякому и каких, бродя после того по свету, иногда не встречал я и в больших городах. Несмотря на то, что нередко половине деревни приходилось складывать зубы на полку и забывать о старинной привычке обедать каждый день непременно, что нередко приходилось снимать крышу с домов для скотины, а самим есть, что кому бог на сердце положит,— пешеход в глухую полночь мог пройти с кульком золота по нашей деревне, и никто не тронул бы его. Мы не считали за грех драться за межу, пропивать свою последнюю копейку либо просить милостыни, а никто из нас никогда не вздумал бы воспользоваться добром своего ближнего. Мы не ведали ни одной заповеди по катехизису, но, по преданию, знали мы, что не добром нажитое впрок нейдет; что за душу христианскую тяжел ответ богу. «Ребята, дело нечисто!» — говорил какой-нибудь старик на мирской сходке, и — дело осуждали общим голосом.

Такова была моя родина, так жили, так мы были, а чтобы лучше растолковать вашему благородию все дело, так расскажу я вам мое собственное в крестьянстве житье-бытье.

Когда начал я ходить, и бегать, и говорить, зимой, примером сказать, день начинался у меня обыкновенно тем, что просыпался я рано, когда еще до света, с лучиной в светце, мать моя принималась топить печку. Мне было холодно, лежа на печи, простывшей во время ночи, и еще мне страх как хотелось есть; я начинал хныкать и просить хлеба и наконец сползал с печи, потому что дым, расстилаясь облаком, мог задушить меня на печи. Матери и брату не было никакой обо мне надобности: он занимался своим хозяйством, а она топила печь, начинала варить и на мои слезы и жалобы отвечала только: «Молчи, чертенок!» Наконец я до того каждый раз надоедал всем, что мне давали несколько толчков и кусок хлеба, завертывали меня в старую шубу и садили меня в угол на лавке. Тут я засыпал и просыпался, когда уже дыму в избе не было, становилось тепло и на столе стояли пустые, но горячие щи. Мы усердно принимались за них, и, наевшись, забывал я горе, шумел, дрался с Жучкой и с кошкой, опять надоедал всем так, что мне давали оплеуху, напяливали на меня обрезок отцовской шубы, отцовские старые сапоги, старую его шапку и выгоняли меня из избы вон. Я шел на улицу, где уже толпа мальчишек дралась, бегала, шумела, кидалась снежками, мерзла, плакала, согревалась, опять мерзла, и я возвращался только вечером, совсем окоченелый, отогреться, дремать и просить есть. Опять принимались

мы за пустые щи, и меня закидывали вместо полена на печку, где спал я, пока на другой день не начинали вставать, ходить, топить печь, и дым не сгонял меня с печи. Летом перемены в моем житье бывало немного. Только просыпался я не от дыма и без шубы, в одной рубашке и босой прямо уходил на улицу, откуда только голод гнал меня домой.

Но знаете ли, ваше благородие, что при такой жизни кто из нас не умирал, тот был здоров и крепок, как из железа скован; лет трех, четырех уже начал я помогать в работе, водил лошадь на водопой, сидел на возу и правил, когда возили весной навоз на пашню, таскал дрова в избу и вскоре заменял мать и брата во многом, возился с детьми, бесился с ними, ушибал их, заводя в шалости. Признаться сказать, когда я подрос, то никто в деревне не сравнивался со мной в работе, в ухаживаньи за молодыми девками, да никто не равнялся и в проказах. Сталкивать в грязь пьяных стариков, подбивать глаза старшему себя, пугать баб из-за угла, лихо плясать с девками и бурлацкую песнь петь — все это было Сидоркино дело. Только одного не любил я — зеленáго вина, и за то целовальник первый невзлюбил меня. Второй невзлюбил меня староста, по особливим причинам.

Не знаю как, вздумалось мне, будто можно жить не так, как все мы, грешные, жили. Насмотрелся ли я на других людей, ездивши в Корочу на базары и проезжая по большим деревням, только денег своих в питейный дом я не носил; и когда не был в хороводах или в поле на какой-нибудь работе, то работал дома, плел тын вокруг двора, ладил телегу, снаряжал соху. Старики только покачивали головою, говоря: «Да что он? Умнее всех, что ли, хочет быть?» А молодые товарищи особенно невзлюбили меня за то, что у них ничего не было, а у меня начали появляться то новая шляпа, то новая рубаха, то красный кушак.

Все еще беда-то была бы не велика, что староста, целовальник и товарищи меня не жаловали: у красных девушек был я в особенной милости, больше всех других, прочих; с двумя крепкими кулаками не боялся я никого; а когда староста высылал меня лишний раз на дорогу либо чаще других наряжал в подводу — я молчал, потому что плеть обуха не перестегает. Навязалось на меня совсем другое горе.

В ближайшей деревне жила одна красотка, дочь тамошнего крестьянина. Ну, ваше благородие, дело прошлое, а, право, что за красотка такая была эта Дуняша — кровь

с молоком — и такая же работница, как и дородница! Отец ее был мужик довольно зажиточный, и хоть дочерей был у него почти целый десяток, однако ж за каждую давал он по корове да по пятидесяти рублей денег, хоть сам жил не лучше нашего и ходил в зипуне хуже моего.

Проклятое это дело — сердечная зазноба! Хоть мы и не умели любить так, как любят бары да горожане, но сказать вам правду, будто взбеленился я, узнавши Дуняшу. Пропала охота работать, не пилось, не елось, все хотелось быть с ней, глядеть на нее, шутить, говорить с нею. Дивился я тут двум вещам: тому, извольте видеть, что и прежде я видал ее, да ничего особенного не чуял на сердце. Но один раз как-то, песню, что ли, она запела: «Не белы-то снега — тьфу, пропасть! так вот и кольнуло меня в самое сердце; и повесил я нос, и с тех пор, словно напущенное, стала она мерещиться мне и во сне и наяву. А вторая-то вещь, ваше благородие, что с тех пор, как она мне приглянулась, стал я перед ней дурак дураком — ни песни спеть, ни слова вымолвить! Со всеми другими, бывало, откуда бодрость берется, поешь, пляшешь, целуешься, будто век жил,— а с ней... куда тебе! И взглянуть не смешь... Ребята наши стали замечать, что я отчего-то, бог весть, грущу; стали говорить, что я то и дело хожу в соседнюю деревню и забываю даже коней напоить — сижу, уткнувши глаза в землю, будто мокрая курица, так что в эту пору баба могла меня обидеть, а я слова не сказал бы ей. После узнал я, что и с Дуняшею сделалось то же самое, такая же невзгода, и подруги стали сперва шептать, потом говорить, а потом уж и кричать во все горло, что девка наша кого-нибудь полюбила. Эти слухи дошли до отца ее, мужика сердитого и строгого.

«Дунька! — сказал он своей дочери, — что ты затеяла такое? Знаешь ли ты, что у тебя уже есть жених?»

Жених этот был сын старосты нашей деревни — нечего молвить, лихой малый, зато и первый буян и первый пьяница из всей деревни. Только меня и боялся этот сорванец, даром что у отца его была хата лучше других, а у меня, кроме удали, в кармане хоть выспись, а хата держалась на курьих ножках, и в той жили мы вместе с братом. Дуняша испугалась отцовских речей; руки у нее опустились; она не посмела сказать ни одного слова напротив, а только заплакала.

«Плакать-то я не мешаю: слезы — вода, особливо женские,— продолжал старик,— а если затеешь что-нибудь непутное — береги спину!»

Легко приказывать, да подумали бы: легко ли исполнять,— вот в чем дело зависит. На другой день в Дуняшиной деревне был праздник; мы все собрались туда, начали хороводы, запели песни: есть ли, нет ли хлеб, а пиво вари и гостей зови — этаким был у нас общий обычай, просим не погневаться! Дуняша вышла в хоровод такая грустная, такая печальная и веселилась будто поневоле, и вот вижу я, что Дуняши нет; без нее мне белый свет не взмилелся! Бегу и ищу ее и нахожу, что она сидит на берегу пруда под тыном, смотрит на воду и плачет навзрыд. Меня самого такое горе взяло, как будто каждая слезинка ее кипятком капала прямо на мое сердце.

«Дуняша! — сказал я. Она испугалась, а у меня откуда слова взялись; подошел я к ней, присел подле нее, хоть она и отодвигалась от меня.— Что ты смотришь на пруд, глаз не опускаешь? Или у тебя что-нибудь недоброе на уме?»

«Доброе ли, недоброе ли, тебе что за дело? Хочу благословиться да в пруд кинуться».

«Что ты, Дуняша, отчего?»

«Да оттого, что жить не хочется».

«Да отчего тебе жить не хочется?»

«А тебе начто?»

«А нато, что бросимся вместе,— и мне житье надоело».

«А отчего тебе житье надоело?»

«Да оттого, что я люблю тебя, Дуняша, а отец твой тебя за меня едва ли выдаст».

Она заплакала, и вот пошли у нас разговоры, и вот я узнал, что Дуняша любит меня так, как я сам люблю ее,— ну, то есть очень шибко любит. Слово за слово, у меня сердце хотело из-под ребер выпрыгнуть от радости.

«Чем сдуру торопиться нам с тобой, так лучше попробуем сперва: авось твой отец над нами смилосердится».

И начал я ей говорить так, что она и грусть забыла. Лукавый соблазнил меня — крепко обнял я Дуняшу и поцеловал раз, два, три.

Извините, ваше благородие: много этому лет прошло, а все помнится; и кажется, будто радостнее этого времени для меня во всю жизнь мою не было.

Мы и забыли с Дуняшей, что, кроме нас, еще есть люди на белом свете, да еще и злые люди.

«Не плачь же и не кручинься, Дуняша,— говорил я ей.— Завтра же пришлю я к тебе сватов. Брат и мать у меня противиться не станут; мы с тобой у них не даром хлеб станем есть. Ну, и у отца твоего дети все девки, сыновей нет; захочет он меня к себе в дом принять, так лучше

меня, конечно, не найдет работника. Да я в кабалу к нему пойду хоть на десять лет!»

В это время громкий смех раздался за нами — гляжу: из-за тына смотрит старостин сын и с ним еще человек пять таких же сорванцов... Дуняша ахнула и чуть в воду не свалилась со страха. Меня словно жаром обдало, да так и взорвало. Будто сумасшедший бросился я на моего злодея; он ударился бежать; я догнал его.

«Слушай,— говорил я, схватив его за ворот,— если ты скажешь хоть кому-нибудь о том, что ты видел, так не быть тебе живому!»

«Убьешь, так в Сибирь пойдешь, а пока жив, всем рассказывать стану»,— кричал он.

Я отвесил ему оплеуху; он мне отвечал тем же; началась драка, товарищи его закричали, сбежался народ. Едва разняли нас, и проклятый пьяница все высказал. Отец Дуняши всплеснул руками, народ захохотал, и напрасно говорил я старику и приводил бога во свидетели, что Дуняша чиста, как голубь небесный, что я только поцеловал ее.

«Целовать без людей, под тыном — да черт вас тут разберет! — кричал старик,— иное дело целоваться при добрых людях, в хороводе, а коли девка за углом шепчется с молодым парнем, так в это время ее ангел-хранитель плачет и улетает от нее!»

Староста наш вступился за побои своего сына; но, увидев, что отец Дуняши отправился домой, я бросил старосту, убежал из толпы и успел прибежать к отцу Дуняши, когда он только что вошел в свою избу. Дуняша сидела в углу и плакала.

«Стой, Панфил Артемьич,— вскричал я,— слушай: если ты тронешь дочь свою хоть синим волосом, так вот тебе бог порукой, что я волоска в бороде твоей не оставлю!»

Старик остановился; я упал перед ним на колени и начал говорить, как я люблю Дуняшу, как она меня любит, начал просить его благословения на свадьбу.

«Тебе жениться на моей дочери, голь отпетая, тебе?»

«Что хочешь, Панфил Артемьич: возьми меня в работники, закабали меня, не давай приданого!»

«Слушай, Сидор,— сказал старик,— вот я тебе образ со стены сниму, что моей дочери за тобой не бывать уж и по тому одному, как ты меня избидел».

Тут Дуняша вскочила, бросилась в ноги отцу и сказала:

«Если ты меня, батюшка, за него не выдашь — руки сама на себя наложу, а за другого не пойду!»

«Смеешь ты мне говорить,— вскричал отец,— да я убью тебя!»

«Прежде меня убей!» — вскричал я.

Вдруг старик остановился, схватил дочь за руку, толкнул ее ко мне и вскричал:

«Так на — вот тебе ее, коли хочешь — женитесь где хотите, живите как хотите,— только с этого часа нет на вас моего родительского благословения; будьте вы прокляты отныне и до века; пусть у вас дети будут проклятые; не сойди ни дождь, ни роса на ваше поле, ни божие благословение в вашу семью!»

Мать Дуняши вступилась было за нее; но старик чуть не зашиб ее кочергой; напрасно мы плакали, стояли на коленях, клялись в своей честности и добродетели.

«Вон отсюда, проклятая!» — кричал старик и ничего не слушал.

«Что же, Дуняша! — сказал я,— отцовское проклятье не подтверждает господь, если оно несправедно. Пойдем!»

Она была как помешанная; я взял ее под руку и повел в свою деревню. Дуняша не противилась, только рыдала. Мы пробрались тихонько по загородам, удаляясь от народа, который с песнями и смехом возвращался в нашу деревню. Но горе забежало вперед нас и ждало нас на родительском пороге. Мать моя знала уже обо всем, не согласилась принять дочь, проклятую отцом, разругала ее и меня, затворила дверь и сказала, что если я не оставлю Дуняши, так не будет мне места ни в отцовской хате, ни в материнском сердце.

Что станешь делать! Сели мы на улице; я молчу, Дуняша плачет.

«Не благословляют люди, благословит бог! — сказал я наконец.— Дуняша! Ты одно теперь у меня на свете, а я одно у тебя,— пойдем!»

Дуняша повиновалась, прижимаясь ко мне, как испуганная птичка. Я вспомнил, что у меня есть старый дядя в деревне за пять верст, и решил идти к нему. Дядя этот слыл между всеми крестьянами человеком гулливым, но добрым и богатым, любил меня и помогал нам кое-чем. К нему явился я теперь с своею бедною невестою, повалился в ноги, рассказал все дело. Старик и сам женился в молодости тайком; увез свою невесту у богатого мужика. Ведь это между крестьянством часто бывает. Что же ты будешь с богатыми мужиками делать: не отдают дочерей добром! Дядя прослезился, смотря на нас, и сказал жене своей:

«Старуха! Ведь детей-то у нас нет? Примем-ка мы сирот, оставленных людьми!» — И он принял меня и Дуняшу, сыграл свадьбу, и мы поселились у него.

Как отца, стал я почитать дядю, как мать, стала почитать Дуняша тетку; покоя не знал я, работая в поле и в доме. Что же? Казалось, старика бог благословлял за его милосердие. У кого поле выбивало градом — у него зеленело и желтело оно под богатую жатвою — смотреть любо. Под рукою Дуняши масло и молоко прибывало, как у сарептской вдовицы, у которой Илья Пророк жил, а копейка раздувалась в грош сама собою и кликала к себе гривну. Старик не мог налюбоваться нами; старуха у него была превздорная кропотунья, но мы все терпели. Да как и не терпеть? Ведь мы любили, а с любовью и горе лучше нелюбовной радости...

Но — велико дело благословение отцовское, ваше благородие, и горе тому человеку, которого не благословит отец либо мать! Бог судья, праведно или неправедно кто проклинает детей своих, а всякое проклятие тяжко лежит на совести сына и дочери! Несмотря на привольную жизнь, ласку дяди, на то, что добрые люди вступались за нас и общий голос обвинял и мать мою, и тестя за их немилость, — жизнь Дуняши была тяжкая. Иную ночь всю напролет не спала она, бедная, и, засыпая, твердила: «Прости, прости меня, родной батюшка!» Иной день плакала без всякой причины, говоря, что ей ни пить, ни есть не хочется и что сердце ее словно змея сосет. Я сокрушался, глядя на нее, хоть она еще дороже была для меня за свое горе. Ведь она от меня, за любовь мою страдала. Прошел год, прошел другой, бог не благословлял нас детьми. И это казалось нам наказанием Божиим. Надобно вам сказать, что в это время мать моя со мной помирилась. Брат Василий, оставшись без меня один, смотался на работе, но ничто не шло у него впрок; крепко начал он держаться чарки; что день, то хуже становилось его и материно житье. И вот однажды мать сама пришла ко мне, поплакала со мной, простила меня и стала звать к себе, чтобы на старости лет не покинуть ее. Дядя слышать не хотел; подарил ей пять рублей, обещал помогать брату, но меня не отпускал. Ослушаться его мне было нельзя, но все мне казалось, будто я не прав против матери и брата, оставляя их на невзгодье одних. Истинно, иногда дума такая, бывало, найдет, что ничему не рад! Мне казалось иногда, что и люди поглядывают на меня и на Дуняшу, переговаривают, подсмеиваются, шепчутся, осуждают нас. Нечистая со-

весть — плохое дело... Дуняша сохла, худела... Напрасно налагал я на себя обеты, подавал милостыню, призывал знахарей — ничто не пособляло.

Но бог обрадовал нас великою радостью. Дуняша сделалась беременна, родила. Вы еще молоды, ваше благородие, не женаты и не знаете, как весело и как вместе тяжело отцовскому сердцу, слыша первый крик своего ребенка. Все мы без памяти веселились. Мне так и мерещилось, что с этого часа все мои беды кончились. Только Дуняша плакала и горевала. «Ох! — говорила она, — не на радость родился ты, бедный! Чует ретивое, что на тебя обрушится дедушкино проклятие!» Я утешал, уговаривал ее. Но дядя приготовил ей утешение лучше моего. В тот день, как были у нас крестины и все пировали у нас, даже сам батюшка священник изволил пожаловать, дядя вводит в избу... Кого бы вы думали? — Отца Дуняши...

Позвольте, ваше благородие, утереть слезку-дуру; выкатилась из сердечного, левого, глаза и не спросилась у меня...

«Зачем ты привез меня сюда?» — говорил старик; но я и Дуняша были уже у ног его, а дядя подавал ему внука. Старик задрожал, бросился на лавку. Отец священник вступился за нас; все окружили его. Он ревел навзрыд, как старая баба. «Ох, Дунька, Дунька! — говорил он, — много ты горя навела на меня, много седины высушила на голове моей, много родной крови испортила! Не знал я прежде, как сильно я люблю тебя, и что, если и сниму я отцовское проклятие, будешь ли ты от этого счастлива? Чем заплатишь ты богу за мои слезы? Ну, да бог вас простит, а я прощаю!»

Великая радость была после того. Да только знает ли человек, что будет с ним на другой день! Все мы расстались здоровы, веселы, а на завтра добрый дядя мой уже не проснулся. Жил как христианин, умер как праведник; рука — видно хотел перекреститься — так и замерла у него на лбу с сложенным крестом... С ним умерло и счастье мое...

Старуха тетка сделалась хозяйкою и на старости лет — седина в голову, а бес в ребро, — не прошло полугода, сосваталась на молодом парне, бобыле безродном, вышла за него, и нам житья не стало от нового хозяина. Между тем мать и брат звали нас к себе, и в один день услышали мы от тетки приказ — опростать место, помолились и поехали на мою родину. Худо пошло тут дело. У матери

и брата Василья не было ни хлебца пылинки, ни живой животинки; изба, как решето, — хоть сей, да сеять-то было нечего! Сначала нас ласкали, думая, что мы успели пожить у дяди, а как увидели, что мы ни с чем приехали, так все и опрокинулось на Дуняшу! И без того ей, бедняжке, нелегко было привыкать ко нраву свекрови — тяжеленок был — не тем помянуть покойницу...

Ну, ваше благородие, прошло тут времени немного, не успел еще я и одуматься, как беде да горю пособить, затевал то и се, думал так и сяк... вдруг сделался нездоров наш мальчишка. Какой славный был, здоровяк, красивый... Начала ходить по деревне оспа и пристала к нашему Федюше — так его звали. Этого мало: у Дуняши самой не было еще оспы; и к ней пристала окаянная. Три дня сидел я в сенях, в отгородке, подле жены и подле сынишки, а на четвертый день — где был мой здоровый, красивый Федя! Оспа искривила, изуродовала его, и бог взял его к себе, чтобы не оставался он калеккой на сем свете и не указывали бы на него злые люди, приговаривая: «Видишь, каково отцовское-то проклятие!»

Тяжко было мне сколачивать гроб моему дитятке и на своих руках нести его в могилку. Закопал я его в общую нашу мать сыру землю, горько поплакал, утер слезы и воротился. Зачем? Затем, чтобы видеть, как умирает Дуняша! На нее страшно было поглядеть; она была без памяти. В ту пору ехал через нашу деревню уездный лекарь. Выбежал я к нему, просил, молил посмотреть жену мою; он пришел, взглянул, махнул рукой и сказал:

«Э! Пиши пропало! Не вставать ей!»

«Да уж хоть бы скорее бог прибрал — уши простонала», — примолвила мать моя.

Я пошел из избы, точно ошалелый, и в первый раз пришло мне тогда в голову: «Пойду, напьюсь пьян, авось забуду горе!» Подле питейного дома нашел я большую толпу, и волостного старосту, и заседателя. Шумят, кричат. Я не вслушивался в их речи, велел дать себе полштофа сивухи, сел в стороне, начал пить — и хмель-то не берет! Погода стояла пасмурная, сырая. Я глядел на небо, и мне казалось, что и господь милосердый на меня гневается, посылая мрачное небо в день моего несчастья...

Тут начал я вслушиваться в спор и крик мирской сходки и услышал, что речь идет о рекрутской очереди с нашей деревни.

«Оканчивай скорее, разбойники! — кричал заседатель, стуча об стол, поставленный подле питейного дома. — Не

то перекую полдюжины, половине деревни обрею бороды, всех повезу в город!»

Брат Василий кричал пуще других, потому что на нашу семью выпадал рекрут, как понял я из всей этой сумятицы.

Надобно знать вашему благородию, что в то время рекрутская раскладка была темнее дремучего леса. Теперь совсем не то, а ведь это было давно. И сами подьячие не умели тогда хорошенько разбирать, потому что считали по пальцам да по биркам. Василий спорил, что староста налыгает на нас; кончилось тем, чем оканчивались у нас все споры,— дракою. За Василья принялось много рук. В это время сидел я и думал: «Да не божий ли голос слышишь ты, Сидор? Ведь уж твоей жизни краше этого не бывать, какова она теперь? Дуняше не вставать с смертного одра, а без нее что ты будешь? И где надежда, чтобы вам поправиться как-нибудь? Замени своей головой доброго человека — послужи матушке государыне»,— тогда еще царствовала ее императорское величество государыня императрица Екатерина Алексеевна.— «Если и неправо наклепывают на нас очередь — не сегодня, так завтра: ты избавишь от солдатства брата и племянников. А останешься ты в деревне — видимое дело, что сопьешься ты с круга и будешь позором целого мира...»

«Стой! — вскричал я, бросаясь в толпу и расталкивая мужиков.— Стой! Бери меня, если целый мир говорит, что с нас очередь рекрутская!»

Заседатель выпучил глаза, а мужики в один голос закричали:

«Вестимо, что за вами очередь — вот тебе бог порукой! Иди, Сидорка, коли некого нанять!»

У Василья брызнули слезы из глаз; он обнял меня и завопил:

«Ох! Очередь-то занами; да ведь я для того спорил, чтобы ты успел убежать да спрятаться,— а ты сам в руки отдаешься!»

«Если мир православный не лжет,— промолвил я,— так прятаться нечего; видно, так богу угодно!»

«Да с кем же я-то останусь: один я какой работник; мачеха стара, жена пьяница, дети малы — не растут, бесенята!»

«Работник был бы я и без того плохой,— отвечал я,— прощай, брат! Похорони только Дуняшу мою, когда приберет ее бог, а обо мне не заботься!»

«Ну, полно растабарывать! Тот, что ли, это мужик? Отвечай, да куй его!» — вскричал заседатель.

«Не надобно, не убегу»,— сказал я.

«Да, не убежишь! Знаем мы вашу братью, охотников! Теперь-то с пьяных глаз ты ладно говоришь, а как протрясет тебя дорогой, так и будешь, словно коза, вытараща глаза, в лес смотреть!»

«Я не пьян».

«Да коли есть уж такая *поведенция*, чтобы рекрута ковать, так как же ты смеешь противиться приказанию начальства, негодяй?»

«Ребята! — сказал я, подумавши.— Куйте меня хоть по рукам и по ногам, только дайте мне сходить проститься с женою».

«Позволяется!» — вскричал заседатель и принялся за штоф, а я пошел домой, и за мной поплелась вся мирская громада.

Мать уже слышала о моем решении, выбежала ко мне навстречу, бросилась на шею, заревела:

«Ох ты, мое милое дитяtko! На кого ты меня покидаешь; и не любишь ты родной матушки, коли сам идешь охотю в службу царскую!»

«Не охотю иду, а потому, что очередь наша, матушка; и не брату же Василью идти, когда у него детей куча, а у меня бог прибрал последнего!»

«Так за этих-то бесенят идешь ты, мое дитяtko? Да подави их всех горой; да лопни они, собаки; да чтобы им и на том свете части не было! И какая наша очередь? Кто говорит?»

«Я говорю,— отвечал староста, подпираясь обеими руками,— и мир говорит!»

«А вот я тебе дам очередь, вот ты, пьяница, разбойник, конокрад!» — Последнее взбесило старосту, но мать моя уже вцепилась ему в бороду, крича: «Помогите, православные, управиться с вором, с разбойником!»

Кто шумел, кто бранился, кто пел, кто смеялся в это время. Я выцарапал кое-как старостину бороду из рук матери, уговаривал старуху. Она повалилась на землю, ревела и причитала, а я пошел в хату. В сенях встретил я много баб и старух; они голосили нараспев, попивая сивуху; в углу старая ведьма кроила саван. Ничего не чувствовал я в это время, даже и не плакал, хоть и понимал, что это значит покойника. Теперь, даже теперь мне горше, когда вспоминаю об этом, а, право, тогда легче было!

«Что,— спросил я,— что такое? Аль Дуняша отдала душу богу?»

«Нет еще; да уж только что дышит»,— отвечали мне.

Тихо подошел я к подмосткам, где лежала она навзничь, бледная, худая, изуродованная оспою, и едва дышала, без памяти и без словеси... И это была моя Дуняша, моя красивая здоровая лебедка, звездочка из двух деревень!

«Прощай до свиданья,— прошептал я,— прощай, моя душечка! Не видала ты со мной красных дней, да не видал их и я и не увижу... Ох! Куда-то приведет меня господь — когда-то и меня успокоит он, как тебя успокоивает».

Ничего не слыхала она, ничего не чувствовала.

«Готов!» — отвечал я, слыша, что меня зовут с улицы; вошел в избу, помолился в землю перед иконою, поклонился еще раз Дуняше и опрометью бросился в телегу, крича: «Пошел, ступай!»

Мужики заорали, зашумели; все было готово; явился и заседатель; мы пустились в путь. Брат Василий, и мать моя, и детишки Василья гнались за телегой, крича:

«Постой, дитятко! Постой, брат! Постой, дядюшка! Простись еще раз с нами; прими еще благословение!»

«Надобно остановиться, сковать его»,— кричал заседатель.

«Там остановимся, у кабака; вы выпьете на дорогу, а меня скуют!»

«Ну, так вези ж до ближней деревни,— кричал заседатель,— свяжи покамест кушаками!»

Мы пустились за его повозкой; за нами староста и отдаточные выборные. Вся деревня столпилась на улице, и я увидел, что не совсем-то худую память по себе оставляю, хоть и жил горемыкой.

«Прощай, Сидорка! Прощай, брат!» — кричали со всех сторон, становились на колеса телеги и обнимали, целовали меня, как будто все были закадычные друзья мои.

«Ребята! Не поминайте лихом!» — говорил я.

Тут мать и брат догнали меня и повисли у меня на шее. Едва могли оттащить старуху, которая голосом вопила:

«Заройте меня скорее в мать-сыру землю! Засыпьте мои ясные очи песком рассыпчатым! Ходите по моей могилке, топчите мое ретиво сердце!»

Мы выехали из деревни, и — вскоре родина моя скрылась в вечернем тумане — и ничего у меня не осталось на белом свете, кроме горя моего, спутника моего неразлучного!

ЖИВОПИСЕЦ

Ich kenn ihn lang, er ist so leicht zu kennen
Und ist zu stolz, sich zu verbergen. Bald
Versinkt er in sich selbst, als wäre ganz
Die Welt in seinem Busen, er sich ganz
In seiner Welt genug, und alles rings
Umher verschwindet ihm. Er läßt es gehn,
Läßt's fallen, stößt's hinweg und ruht in sich —
Auf einmal, wie ein unbemerkter Funke
Die Mine zündet, sei es Freude, Leid,
Zorn oder Grille, heftig bricht er aus:
Dann will er alles fassen, alles halten,
Dann soll geschehn, was er sich denken mag,
In einem Augenblicke soll entstehn,
Was jahrelang bereitet werden sollte,
In einem Augenblick gehoben sein,
Was Müne kaum in Jahren lösen könnte.
Er fordert das Unmögliche von sich,
Damit er es von andern fordern dürfte.
Die letzten Enden aller Dinge will
Sein Geist zusammenfassen; das gelingt
Kaum einem unter Millionen Menschen,
Und er ist nicht der Mann: er fällt zuletzt,
Um nichts gebessert, in sich selbst zurück...

Гете. Торквато Тасс¹

¹ Его давно я знаю.
Он слишком горд, чтобы скрываться. Вдруг
В себя он погружается, как будто
Весь мир в его груди, он тонет в нем,
Не видя ничего вокруг себя.
Тогда он все отталкивает прочь,
Покоится в самом себе и вдруг
Он бурно извергает радость, скорбь,
Причуду, гнев. Он хочет все схватить,
Все удержать, тогда должно случиться
Все, что сейчас пришло ему на ум.
В единый миг должно произойти,
Что медленно готовится годами.
В единый миг он хочет разрешить
То, что во много лет неразрешимо.
От самого себя и от других
Он требует того, что невозможно.
Желаает он пределы всех вещей
Схватить за раз, а это удается
Едва ль из миллионов одному,
Он не из тех, и должен наконец
Уйти в себя, не став нисколько лучше.

Пер. С. Соловьева

Я жизни сей не раб презренный:
 Я проводник того огня,
 Который движет всей вселенной
 И с неба льется на меня!

Вельтман

...Итак, я решился сам ехать в Петербург. Уже все было готово для моей поездки, когда пришел ко мне бывший уездный казначей нашего города, добрый, почтенный старик. Прослужив беспорочно лет сорок, он жил на покое, с небольшою пенсиею и большим семейством, довольный тихим своим жребием. Из детей его два сына служили в нашем городе и считались деловыми и честными чиновниками; один из них был уже сам отец семейства. В губернских городах обыкновенно все знакомы между собою, и почти никто не дружен. Я уважал нашего старого казначея; в праздники мы платили друг другу визиты; иногда и в будни бывал я у него, а он у меня. Тем ограничивались все наши отношения. Мы обыкновенно и всего чаще говорили о погоде, о новостях. Старик любил читать газеты, пить чай в дружеском кругу, любил выкурить трубку табаку и потолковать о переменах министров и государственных чиновников. Он служил некогда при графе Безбородко: это было бесконечным предметом для его рассказов. В течение тридцатилетней жизни и службы в провинции старик не мог отвыкнуть от всегдашней поговорки своей: «У нас в Петербурге — у нашего графа Александра Андреевича...» *«Мы петербургские»*, — прибавлял он с особенным удовольствием.

— Я зашел к вам на минутку, — сказал он мне, — и нимало не задержу вас.

— Всегда рад вам сердечно.

— Рады, я уверен; но при отъезде бывает много хлопот — не буду мешать и расскажу коротко, в чем дело: сделайте мне большое одолжение, если только это не отяготит вас.

— Прошу вас только сказать мне.

— Все дело, изволите видеть, в том, что вот письмо к младшему сыну моему, живущему в С⟨анкт⟩-Петербурге.

— Я и не знал, что у вас сын служит в Петербурге.

— Ах! если бы *служил*, я и не утруждал бы вас. А то, бог знает, как вам и сказать...

— Разве вы им недовольны... если только этот вопрос не нескромность с моей стороны.

— Помилуйте! Любя и уважая вас как человека *солидного и степенного*, я именно *вас* хотел просить, чтобы вы узнали в Петербурге поподробнее о моем сыне. В прошлом году я просил было об этом нашего почтенного г-на прокурора, когда он ездил в Петербург; но ему было некогда. Он послал письмо мое с своим человеком и велел сынишку моему прийти к себе, а тот не пришел. Ныне ездил в Петербург почтеннейший г-н почтмейстер, но забыл письмо мое дома, не знал адреса и не видал моего сына. Впрочем, всякий едет в Петербург с своими хлопотами. Ведь у нас в Петербурге бездельников нет. Если уже кому-нибудь и в самом деле нечего делать,— ну, так по крайней мере показывает, что будто делает что-нибудь. А с этим соображается всякий, кто приезжает в Петербург.

Признаюсь, как ни уважал я старого казначея, но поручение его было мне неприятно. Я думал, что он заставит меня искать по Петербургу какого-нибудь молодого повесу, отставного корнета или коллежского секретаря, шалуна, препоручит мне усовещивать его, приводить на путь правый...

Может быть, старик заметил неприятное выражение на лице моем. Он было опустил уже руку в карман свой, чтобы вынуть письмо, и вдруг остановился.

— Впрочем, если вам некогда будет заняться моею просьбою,— сказал он,— то будьте только откровенны, я не обремену вас...

— О, нет, нет! — отвечал я.— Пожалуйте мне ваше письмо. Вы знаете, что я должен прожить в Петербурге долго, и времени свободного будет у меня немало.

— Ах, сударь! не будучи сами отцом, вы не можете судить о чувстве родительского сердца, когда отец ничего не знает об участи своего сына! — Слезы навернулись на глазах старика.— Двое детей со мною, и, нечего сказать,— утеха моя на старости, кормильцы моей дряхлости; а ведь я сам чувствую, что люблю моего ветреника петербургского более их...— Старик вынул из кармана клетчатый бумажный платок и утер глаза.— Вот уже более года от него нет даже писем!

Мне стало совестно. Мгновенный порыв эгоизма рассеялся, когда я увидел отца, плачущего о милом, может быть, погибшем сыне.

— Пожалуйте мне ваше письмо,— сказал я с жаром,— и верьте, что вы получите от меня верные сведения о сыне



вашем. Если я могу чем-нибудь быть ему полезным, то готов употребить все силы.

— Благодарю вас. Вы утешаете меня словами вашими. Но я прошу только одного: откровенности вашей. Повидайтесь с сыном моим, поговорите с ним, наблюдайте за ним и потом скажите мне без закрывки и добро и худо. Но помощи вашей никакой не надобно. Я знаю моего ветреника: он будет умирать с голода, а пособия не примет ни от кого; при всем добром сердце своем он не послушается ничьих советов. Если бы только знал я, что ему есть нужда, то последнее послал бы к нему. Но это будет бесполезно: он отошлет назад. Да я же и не ведаю: где он и что он!

— Вы изумляете меня. Если он так благороден и горд, то почему же вы беспокоитесь о нем? Из первых слов ваших можно было заключить, что сын ваш какой-нибудь шалун...

— О нет, сударь, но...— Старик вздохнул.— Боюсь, что ему худо жить на белом свете! У нас в Петербурге не житье людям, подобным Аркадию моему...

— Но для чего же вы отправили его в Петербург?

— Его вырвали у меня — он сам вырвался у меня! Бог судья покойнику, его превосходительству Григорью Григорьевичу: сбил с толку моего сынишка и меня!

— Стало быть, сын ваш уже давно находится в Петербурге? Григорий Григорьевич был у нас губернатором лет десять тому.

— Нет! Пятнадцать минет о Петрове дне, как он уехал, и вот уже пять лет, как он изволил скончаться. Можно ли было не послушаться! Мы с его превосходительством были, изволите видеть, сослуживцы и вместе служили у нашего графа. Ему повезло: умен был; я не пошел в гору: уехал сюда, женился. Но когда потом его превосходительство изволил приехать к нам губернатором,— ведь не забыл, сударь, он старого сослуживца! Бывало, всегда так ко мне милостив: всегда изволит говорить со мною, когда приедем, бывало, к нему в большой праздник. Да, сударь, дай бог ему царство небесное! не гордился он со мною! И г-н вице-губернатор стоит да щиплет плюмажик, и г-н прокурор руки *по швам*, а меня за руку и начнет: «Что, брат Иван Перфильевич? Как поживаешь? Ну, что у тебя в канцелярстве? Не развелось ли много крыс?» Зависти-то сколько было, когда он взял к себе моего Аркадия! А вот люди не знают, чему завидуют!

— Но, вероятно, Григорий Григорьевич видел необык-

новенные способности вашего сына и хотел доставить ему хорошее место?

— Да ведь он и не думал определить его в службу.

— Как? Что это значит? Для чего же он взял его с собою?

— И сам растолковать вам хорошенько не умею! У моего Аркадия совсем не было отличных способностей, грамоте учился он плохо, нрава с малолетства был пречудного: нелюдим и ветреник, шалун и плакса... Одно только и было его любимое занятие: писать картинки. Славно писал он их, нигде не учась: сам, сударь, выучился! Бог открыл ему дарование. Его превосходительство любил Аркадия; сначала только призывал его к себе; потом он по неделе проживал у него иногда на даче, а наконец всегда бывал с ним, прогуливаются, бывало, вместе по лесам, по полям. Я не узнавал моего Аркадия: он сделался тихий, смирный такой. Наконец его превосходительство потребовал у меня Аркадия с собою, когда изволил быть переведенным в Петербург. Я было сначала не соглашался. Как теперь помню, призывал меня к себе его превосходительство; Аркадий стоит печальный у окна, а его превосходительство, в первый раз, начал со мной говорить не шутя и так, как никогда еще не говаривал. Я ничего из слов его не понимал. «Может быть, сын твой переживет тебя, и меня, и весь твой город, и век наш! — говорил он.— Ты хочешь сделать из него подьячего и не понимаешь божественной силы, какая заключена в душе его!» Ну, и прочее, и прочее, что я со страха едва расслушал. Глаза его превосходительства были страшны. Я видел, что он рассержен,— нечего сказать — испугался! Аркадий уехал с ним и поселился в Петербурге. Право, уж не умею сказать, чему он все это время учился. Да вот, сударь, что значат людские намерения! Его превосходительство сказал мне, что обеспечит будущую судьбу моего сына, а это были только пустые слова. Его превосходительство скоропостижно скончался. Я знаю, что Аркадий был его другом и любимцем до самой смерти, что Григорий Григорьевич определил его в Главное училище живописи. Но как бы это ни было, а его превосходительство ничего не оставил моему сыну. Я писал к Аркадию об этом, и, позвольте,— вот со мною ответ Аркадия. Посудите, что мне с ним делать?

Слова старика возбуждали во мне сильное любопытство. Я взял письмо. Оно было написано связным, но смелым округлым почерком и прямо набело, ибо несколько помарок показывали, что его не приготавливали на досуге,

что оно вылилось на бумагу прямо из сердца. Вот оно, слово в слово; я выпросил его у старика:

«Последнее письмо ваше, любезный родитель, опечалило меня, а приписка братьев еще более. Простите, если буду с вами откровенен. Вы изволите спрашивать, почему, уведомляя вас о моем несчастье, кончине моего благодетеля, я ничего не сказал о том, исполнил ли он свое слово и наградил ли меня чем-нибудь в своей духовной? К этому присовокупяете вы сожаление и поставляете бога судьбою, если благодетель мой не исполнил данного вам слова. Слова ваши растерзали мое сердце. Если бы вы не были моим отцом, отцом всегда для меня незабвенным, обожаемым мною, я ничего не отвечал бы вам, и — клянусь богом — не только никогда не писал бы я к вам более, но никогда и не встретился бы с человеком, написавшим мне письмо, подобное вашему! На коленях прошу прощения вашего, если слова мои покажутся вам дерзки. Но я со слезами молю бога простить несправедливый ропот ваш и то оскорбление, какое нанесли вы ропотом вашим священной для меня тени моего благодетеля! Правда, он мне не оставил ничего по духовной, если это угодно вам знать, — ничего потому, что не думал о своей духовной. Кончина его была неожиданная. Но неужели тогда только был бы он моим истинным благодетелем, когда дал бы мне кусок *насущенного хлеба*? Неужели только деньгами мог он оказать мне благодеяния? Не знаю, чем не обязан я ему; не знаю, что был бы я, если бы провидение не привело меня при начале жизни моей к этому спасителю, ангелу-хранителю моему! Если я еще живу, если я чувствую бытие мое, всем этим ему одному я обязан — ему и никому более! Еще раз простите мне, любезный родитель! Пишу, что сказывает мне сердце мое; не смею перечитать написанного, но не в силах писать к вам иначе. Может быть, мы не пойдем друг друга, но я знаю добродетельную душу вашу, знаю ваше чистое, святое сердце, и к ним отношусь я. Прошу вас обо мне не беспокоиться. Руки и голова у меня здоровы, и я не умру с голода. И в этом случае неволью обращаюсь я к приписке братьев моих. Им угодно пенять, что я не пишу к ним ничего о своих обстоятельствах, что я делаю и где я нахожусь. Им угодно осуждать меня в какой-то беспечности, в какой-то ветрености. Желаю им счастья и только одно напому: просил ли я у них хотя какого-нибудь пособия с тех пор, как расстался с ними? Смею уверить их, что никогда и вперед в тягость им не буду. Горек хлеб чужой, но от родного, который напоминает нам, что

нас кормит,— это не полынь, а яд! Правда, что донныне я еще не мог быть полезным вам, любезный родитель: это сокрушает меня, и одно из пламенных желаний моих есть то, чтобы бог привел меня некогда успокоить старость вашу. Братья мои обладают уже этим счастьем, и неужели не понимают они цены его? Осмеливаюсь думать и надеяться, что бог пособит мне некогда быть вам полезным — может быть, более их. До тех пор желаю, чтобы другие дети ваши превзошли меня в горячей молитве, какую воссылаю я к богу за вашу драгоценную жизнь, в любви и почтении, какими преисполнена к вам душа моя».

— Ну вот, сударь, такие-то письма присылал всегда ко мне мой Аркадий! Что прикажете мне думать о нем и что с ним делать?

— Ничего, почтенный человек, ничего! Можете быть уверены, что ваш Аркадий есть чистая, светлая душа...

— О душе-то я и не спорю; да голова-то у него...— Старик провел указательным пальцем по голове своей.— И вот уже прошло с год, как я вам докладывал, он вовсе ко мне не пишет. Притом чистая душа не помешает быть ветреником и умереть с голода, если мы будем только, знаете, летать по поднебесью и забывать о земле. Боюсь, сударь, я: не скрывают ли чего-нибудь от меня? Жив ли он? Не знаю и того, что теперь делает он в Петербурге? В последнем письме писал он, что хочет ехать за границу и поедет на счет Главного училища живописи... Об таких людях говаривал наш граф Александр Андреевич...

— Успокойтесь: верьте, что я увижусь с сыном вашим и обо всем вас уведомя, — возразил я с невольным чувством.— Но на письме вашем нет адреса?

Старик опустил голову, помолчал и сказал потом печально:

— Я не знаю, где теперь живет мой Аркадий! С тех пор, как его выключили из Главного училища живописи...

— *Выключили!* Давно ли?

— Да будет с полгода, сударь, как говорил мне об этом один проезжавший здесь чиновник, который знает всех главных учителей в училище живописи, — выключили за ссоры, за беспокойный характер! Вот видите, что все это должно тревожить меня как отца, нежно любящего! Ах, ради бога, сударь! Вы не сделаете так, как г-н прокурор и г-н почтмейстер наш! Узнать об Аркадии всего вернее можно в доме г-на N. N., человека почтенного, коллежского советника и кавалера, моего старого сослуживца, к которому всегда ходит Аркадий.

Мы расстались. Разговор с старым казначеем растрогал меня. Мне нетерпеливо захотелось узнать его странно-го сына, в котором я не мог дать сам себе отчета. Признаюсь: молодой человек, бывший любимцем умного и добродетельного чудака, несколько времени находившегося губернатором в нашем городе, и писавший после смерти его письмо, читанное мною, не мог быть ничтожным ветренником или шалуном, не отличенным каким-нибудь высоким дарованием. Но если, по русскому обычаю, он как художник подвергался какой-нибудь несчастной слабости или дарования его затмевались примесью чего-либо недостойного высоких дарований? Если он был нечто *недоконченное*, с душою великою, но лишенною средств достигнуть своего назначения, — создание малодушное, робкое, безрассудное? Словом, мне, по крайней мере, весьма любопытно было узнать Аркадия.

«Только *любопытно?*» — скажете вы. Что ж делать! В мои годы перестают уже *любить* психологические странности, любить только за то одно, что они странны. Это чувство проходит с годами. Невольно делаешься эгоистом в сорок лет, одружившись, отлюбивши на свой участок. Притом жизнь в провинции бывает такая положительная и приводит в такое оцепенение чувства души... Общее поверье, что в сорок лет надобно быть *степенным* и *солидным*, как называл меня старый казначей и каким я почитал себя, — все это холодило мое участие и превращало его — признаюсь — только в простое любопытство, но сильное и живое.

Дня через два по приезде моем в Петербург я увидел, что мне придется долго, год или более, прожить в Северной Пальмире. (Так называют Петербург, хотя не понимаю почему, ибо пески Сирии столько же не походят на болота Ингерманландии, сколько развалины Пальмиры на великолепный Петербург.) Мысль об Аркадии мелькнула в голове моей. Воспоминание о разговоре с его отцом и письме, читанном мною, во всю дорогу не оставляло меня. Прежде всего отправился я к г-ну N. N.

На пороге небольшого опрятного дома в грязной Колокольной улице встретился со мною человек, сухощавый, в вицмундире, с Аннинским крестом на шее, с Владимирским в петлице. Спрашиваю у него о г-не N. N.

— Это я сам, — отвечал мне незнакомец. — Что вам угодно?

— Я желал бы узнать, милостивый государь, где живет некто Аркадий...

Лицо г-на N. N. покосилось.

— Этого я не могу сказать, милостивый государь,— угрюмо проворчал г-н N. N.

— Но мне говорил отец его, что вы с ним хорошо знакомы.

— Отец его говорил вам несправедливо, милостивый государь.— Я, точно, позволял этому молодому человеку посещать дом мой, и Аркадий, точно, бывал у меня прежде, но уже более года я с ним не вижу.— Г-н N. N. приподнял шляпу и хотел идти.

— По крайней мере, позвольте мне узнать об этом молодом человеке.

— Извините, я спешу к должности и мне некогда. Спросите о нем в Главном училище живописи.— Г-н N. N. сухо поклонился и ушел.

«Начало плохое»,— подумал я. Отзыв его об Аркадии не рекомендует молодого человека. Мы так привыкли к *рекомендации*, этому адресному билету общества, что прежде всего по ней начинаем судить о человеке, не думая, кто подписал его адресный билет. Итак, Аркадий, верно, какой-нибудь ветреник и шалун? «Но этой ли сухой роже поверю я, хотя она принадлежит коллежскому советнику и кавалеру! Знаю я вас, господа!» — сказал я, с досадою стуча в камни мостовой моею палкой. Странное дело: свидание с г-м N. N., напротив, усилило желание мое узнать Аркадия! «Но где искать его?» — подумал я и послал служителя спрашивать в Главном училище живописи. Он не добился толку. Старый учитель тамошний качал головою, слыша вопросы об Аркадии. Он начал расспрашивать служителя обо мне, узнал, что я приезжий помещик, и проч., и проч.

— На что же твоему барину этого молодца? — спросил он наконец.— Если заказать портрет, так вот тебе, братец, лучше адрес моего отличного ученика Чистомазова.

— Нет, сударь, не портрет заказать, а есть у барина к г-ну Аркадию письма от отца его.

— От отца? Ну, не порадуется твой барин новому знакомству! Не знаю, братец, не знаю, где он живет. Да и никто этого у нас не знает. Он перемещает по три квартиры в год, а иногда и более.

По обыкновению русских слуг мой служитель передал мне разговор слово в слово, с прибавлением «дескать» и «мол». «Плохо! — подумал я.— И тут его не любят!» В тот же день отправился я в Эрмитаж. Вдруг мне пришлось там в голову спросить об Аркадии у одного старика-живо-

писца, который, смотря в большие очки, с помощью молодого ученика своего списывал одну из огромных картин Каналетти.

— Вот, сударь, в десятый раз списываю эту картину, — сказал мне старик, когда я начал с ним разговор об его работе, — в десятый!

— Может быть, вы находите в ней какое-нибудь высокое достоинство, судите о ней как опытный художник и стараетесь особенно изучить ее?

— О нет! — в замешательстве отвечал старик. — Я, конечно, сударь, старый художник, понимаю красоты этой картины и две или три копии сделал с нее, в самом деле, совершенные. Но эту копию делаю я, как простой мазилка.

— Как это?

— А вот видите — не прикажете ли табачку? — Он открыл свою золотую табакерку. — Славный художник, известный наш декоратёр Бестиаго, говаривал: «Злава злавой, а теньга теньгой!» Просто делаю, сударь, я эту копию наскоро, для любителя одного, которому все равно, худо ли, хорошо ли сделано. В неделю и то вот этот молодой человек перемажет, а я поправлю и возьму добрые деньги. Видите: я прославился копиями с Каналетти, и мне их всегда заказывают. А между тем, этот молодец учится, привыкает, а со временем сам станет копировать не хуже моего!

Молодой ученик покраснел и отворотился. Старик не замечал этого и продолжал:

— Я, сударь, верю тому, что было напечатано некогда в «Пантеоне иностранной словесности», именно словам великого Бюффона: гений есть терпение в высочайшей степени. Истинно так! И это стараюсь я внушить ученикам своим. Про меня самого говаривали смолода, что будто у меня вовсе нет дарования. Но я, сударь, дарование свое высидел, как курица цыпленка.

— Вы, конечно, член Главного училища живописи?

— К вашим услугам: я там старший учитель по пейзажной живописи. У нас ведь все разделено на разряды, и кому что определено, тот тем и занимается, а в другую часть не забегает.

— Не был ли у вас учеником Аркадий...?

— Воспитанник покойного генерала ***? Как же, сударь, был!

— Скажите, где он теперь? Мне любопытно знать о нем.

— Вот уж этого порядком сказать вам не могу. Он лет

с пять, думаю, как вовсе перестал учиться у нас. При сильном покровительстве своего генерала и прежде почти всегда находился он в отпуску и только числился при училище.

— Я слышал, что недавно его совсем выключили?

— Нет! Он самовольно вышел, а потому аттестата и звания от нас не получил. Вы его знали?

— Нет!

— О, сударь, залетная голова! мальчик не дурак! То есть, я вам скажу, если б этот человек был поумнее, так из него вышел бы второй Лосенко в русской живописи. Но он сбился с толку, и мы, признаться, чтобы его опасный пример не испортил других, старались понемногу выживать его.

— А не потому, чтобы у него дарования не было?

— Нет! Дарование у него было бы, потому что дарование развивается, милостивый государь, наукою, и собственно наука у нашей братьи художников есть истинное дарование. Живописца тогда узнаете, будет ли он хороший живописец, когда он кончил курс живописи. Вот, например, и в стихотворстве: как узнать дарование, если стихотворец не выучился стихи писать и хоть чего-нибудь не написал — поэмы, что ли, ну, или там трагедии какой, или комедии.

— Из слов ваших можно заметить, что Аркадий, если и имеет дарования, то характер у него дурной.

— Престранный, сударь, у него характер — ни добрый, ни худой. Он скромненький, но упрямец, тихий, но пребешеный! Никогда, бывало, ссоры не заводит, а участник во всякой ссоре. Молчалив, а заговорит, так заслушаетесь. То вдруг учится прилежно, первый — и досадует; то совсем не учится, последний — и радехонек! Главное, я полагаю, он был в дурных руках, у этого генерала ***, который избаловал, испортил молодого человека. Этот генерал *** был, сударь, умница, но чужак великий...

Тут какая-то толстая фигура перервала наш разговор. Старик пошел с нею по зале и начал разговаривать заботливо. Ученик его бросил кисть, оборотился ко мне и сказал:

— Ах, сударь! Если вы не знаете Аркадия, не слушайте, что говорят о нем! Аркадий пример доброты, ума и дарования! Мог ли он ужиться с людьми, которых образчик вы сейчас видели!

Глаза ученика сверкали. Боясь ободрить этого молодого человека в негодовании, которое столь неосторожно

изъявлял он против учителей человеку неизвестному, я сказал ему хладнокровно:

— Хвалю, что вы заступаетесь за Аркадия, но не советую никогда соединять с этим нескромности насчет ваших учителей и наставников.

Бедный молодой человек испугался.

— Ах, сударь,— сказал он робко,— не подумайте, чтобы я хотел осуждать моего почтенного наставника; но зачем же он сам несправедлив к такому человеку, каков Аркадий? Это самая высокая добродетель, это божественное дарование...

— Вы знакомы с ним?

— Нет! Несмотря на ласковость Аркадия, я не смею ходить к нему, боясь рассердить моего учителя. Он мне строго запрещает; но я знаю, где живет он.

— Скажите же мне.

Я поспешно записал адрес Аркадия; старик учитель подходил к нам; ученик схватил кисть и начал работать прилежно. Старик казался рассерженным.

— Вот, брат Ваня! Мы с тобою и в дураках,— сказал он, как будто забывши, что я тут находился,— в чистых дураках! Этого проклятого Каналетти мы с тобою мажем, а ведь Палитрин-то схватил получше заказец: ведь ему отдали скопировать для графа «Капуцинский монастырь» Гранета!

С досадой ударил старик по своей табакерке. Я ушел. К Аркадию влекло меня теперь не одно любопытство — эгоизм мой уступил место участию.

На другой день явился я в квартире Аркадия. Он жил тогда на Мойке, в третьем этаже огромного дома. Звоню, мне отворяет двери старик слуга.

— У себя ли Аркадий Иванович? — спросил я старика.

— Нет; он ушел со двора,— отвечал мне старик.

— Очень жалею. Когда могу я застать его дома?

— Бог знает, сударь. Иногда он по целым неделям бывает дома, но никого не принимает, а иногда по целым неделям его нет дома с утра до вечера. Если вам угодно сказать ваше имя, так я доложу ему, когда вы изволите пожаловать.

— Скажи ему, любезный друг, что приходил Мамаев, приезжий из города N. N., и приносил к нему письмо от его батюшки.

— Как, сударь? — вскричал с радостью старик.— Вы приехали из N. N.? Как же обрадуется Аркадий Иванович! Он так давно не получал писем от своего батюшки! Ах,

сударь! пожалуйста завтра! Я ему скажу, и он верно будет ждать вас. Или не прикажете ли записать, где вы остановились? Он тотчас явится к вам.

— Не нужно. Вот письмо; ты можешь отдать его своему барину, а я завтра приду сам непременно.

— Ах, сударь! как вы его обрадуете! — продолжал словоохотный старик. — Здоров ли Иван Перфильевич?

Я видел, что старик нарочно заводит речи, желая разговориться со мною. Я не люблю разговоров со слугами и особливо выведываний у слуг. Но теперь я не боялся узнать что-нибудь худое об Аркадии и поддерживал речь со стариком. Старик смотрел таким честным, добрым, он с таким восторгом упоминал о своем господине.

— Скажи, любезный, что я крайне сожалею, не заставши Аркадия Ивановича, и очень желаю с ним короче познакомиться.

— Это не так бы легко было сделать, — сказал старик, улыбаясь, — если бы вы не приехали из N. N. и не привезли письма от батюшки его. Барин мой небольшой охотник до гостей, если только они не заказывают ему работы.

— Вероятно, он очень занят?

— Да, — сказал старик, — он, сударь, теперь беспрестанно портреты списывает, а картинами не занимается, хотя прежде был большой охотник и только их и писал. — Тут как будто нечаянная мысль мелькнула в голове его. — Пожалуйста сюда, сударь, посмотрите: вот его рабочая комната. Не угодно ли вам взглянуть, как славно пишет Аркадий Иванович? — сказал старик.

Мне уже так хотелось поближе узнать Аркадия, что я решился взглянуть на занятия его.

Из передней мы вошли в комнату, где стоял длинный турецкий диван, покрытый старым ситцем; дорогой стол красного дерева придвинут был к этому дивану; полдюжины дрянных стульев, в углу богатые старинные вольтеровские кресла и этот стол составляли странные противоположности. В другом углу находилось еще дорогое старинное бюро. Я оглядывался кругом.

— Это, сударь, у нас гостиная, — сказал старик горделиво. — Это бюро, эти кресла и этот стол выпросил себе Аркадий Иванович от наследников покойного моего барина, его высокопревосходительства Григория Григорьевича. В этих креслах старый барин всегда изволил кушать кофе после обеда, а на этом бюро он писывал. Слезы навернулись на глазах старика.

— Да, сударь, много добрых дел было придумано за

этим бюро... Аркадий Иванович говорит мне всегда: «Семен Иванович,— он, сударь, так меня называет,— кто напишет на этом бюро хоть одну строчку и не сделается добр, того бог накажет!» А в этих креслах Аркадий Иванович сидит, когда ему грустно.

— Разве ему бывает и грустно иногда?

— Случается, сударь: человек бо есть.

— Ты доволен ли им?

Старик с удивлением посмотрел на меня, как будто говоря: можно ли об этом спрашивать?

— Он вырос на моих глазах, у старого моего барина, сударь,— отвечал старик,— и я не хотел с ним расстаться, хоть я и вольный человек. Вот, пожалуйста сюда,— сказал он, отворяя дверь направо.

Я вошел в большую комнату. Тут на стенах висело множество эстампов без рам, запыленных, измаранных; на полу разбросаны были свертки бумаг, палитры, книги; на большом столе лежало несколько дорогих собраний эстампов. На окошках стояло несколько прелестных горшков с цветами. Окно, подле которого работал Аркадий, было закрыто дорогим транспарантом. На пюпитре его лежал портрет немолодой женщины, глупого вида, почти отделанный; сначала я не рассмотрел ее головного убора и удивился, взглядевшись: это были ослиные уши!

— Вот, сударь, портрет генеральши А. А.,— сказал мне старик.— Говорят, что он очень похож, и генеральша от него в восторге.

— Я не вижу других работ твоего господина,— сказал я старику.

— А вот их целая куча,— отвечал он, указывая в угол, на множество холстин, натянутых на рамы, большие и маленькие, сброшенные беспорядочно одна на другую.— Он многое начал и ничего еще не успевает окончить. Вот еще несколько портретов; вот его эскизы и картоны.— Старик указал на несколько огромных картонов.

Я мимоходом взглянул на все и обратил внимание на большую картину, тщательно закрытую белым полотном.

— Что это? — спросил я старика.

— Картина, которую Аркадий Иванович не велит мне трогать. Я не смею показать ее вам. А вот, сударь, взгляните, какая жалость! — Старик указал на другую большую картину. Это была огромная холстина в золотых рамах, изрезанная ножом и закрашенная красками так, что нельзя было рассмотреть, что было на ней прежде изображено.— Аркадий Иванович года два писал ее, кончил, целую

неделю любовался ею и вдруг задумался, взял кисть, замарал и потом сам изрезал ее ножом.

Что сказать мне вообще о мастерской Аркадия? Я видел какое-то странное смешение высокого искусства, шалостей художника, роскоши, беспорядка. Тут стояло несколько золотых богатых рам, без картин; здесь было брошено несколько книг, одна на другую, полузакрытых, в пыли; загнутые листы и заметки показывали, что их читали внимательно и потом бросили, не окончив чтения. Колоссальное изображение Кельнского собора (известный эстамп) висело на стене. Подле него был портрет Дюрера, потом Мюллеров эстамп Рафаэлевой Мадонны, перечеркнутый красным карандашом. Внизу было подписано рукою Аркадия: «Ты был достоин сумасшествия, бедный пачкун! Одинакое вдохновение не является в мире дважды. Твори свое!» Стены все были исписаны углем и мелом. В этих очерках видно было фантастическое своеволие. Это были изображения готических зданий, жоаннотовских уродов, гогартовских карикатур. Но меня поразило милое женское личико, которое только что было начато в небольшом размере. И вот что было странно: это личико повторялось несколько раз, в разных размерах и везде только что очеркнутое! Оно было начерчено углем на стене в нескольких местах, нарисовано карандашом на картонах, даже нацарапано ножом на столе. Видно было, что это личико невольно являлось под рукою Аркадия, что оно преследовало его — и везде было оно очеркнуто так отчетливо, верно, истинно, что я узнал бы это личико из тысячи.

Я не смел ничего рассматривать подробно. Мне казалось святотатством перебирать картины, поднимать с них занавески или пересматривать картоны и эскизы художника, когда он сам не дал мне на это права. Мне даже стало совестно, что, пользуясь слабостью и усердием старика слуги, я вошел в мастерскую Аркадия. Поспешно вышел я из этой комнаты и торопился уйти, говоря только «да, да», когда слуга шел за мною и повторял просьбы *пожаловать завтра* и уверения, что *Аркадий Иванович будет мне очень рад*.

Кто из нас не бывал молод; следовательно, кто не читывал романов, кто сам не бывал героем романа! Всякому свое; иной бывает героем романа Поль-де-Кокова, иной лафонтеновского, иной дюканжевского, иной бальзаковского, иной жаненовского — а все-таки какого-нибудь романа! Идя от Аркадия и соображая все виденное и слышанное мною, мне казалось, что я начал читать Гофманова

«Кота Мура». Воображение живо представило мне в неизвестном Аркадии образ художника, провидением к тому назначенного. Мне подумалось даже, что без знакомства с Аркадием в романе жизни моей не доставало бы весьма любопытной главы под названием «Идеал художника». Не знаю с чего, мне казалось, что в Аркадии увижу я дополнение к человеку, которое мы называем — *художник*, дополнение, созданное самим человеком, странное, очаровательное, своенравное, блестящее, недовольное собою, неперпимое или обожаемое другими, рожденное от соединения необыкновенных случайностей. То, что узнал я об Аркадии от отца его, от слуги, от учителей Главного училища живописи, от ученика, от г. N. N., — все это — неприязнь и ненависть одних, любовь и восторг других — делало для меня знакомство с Аркадием одним из необыкновенных событий в моей жизни. Мне хотелось теперь к опытам и наблюдениям моим прибавить любопытные опыты над душою истинного художника. Не всякий из нас согласится разменяться местами с тем, чему удивляются, что изучают люди; но все мы любим посмотреть на необыкновенное, странное в мире и в обществе. Так, никто не пойдет жить на краю швейцарского ледника или на скалах Норд-Капа; но кто же отречется взглянуть на сии дивные явления природы и рассмотреть их внимательно? Отказавшись от практической деятельности жизни, в провинциальном уединении моем я привык к теоретическим наблюдениям. В Аркадии думал я увидеть *аналитическую* поверку моих теорий изящного. Я создал его предварительно в моем воображении. Я вообразил себе Аркадия с греческим лицом Гете или германским профилем Шиллера, страждущего, гонимого, потерявшего в генерале *** друга, который развил его высокую, пламенную душу. И теперь этот человек с неба дружбы упал в существование, богатую идеальными отблесками, но бедную во всех других отношениях. В беспорядке убранства Аркадиевых комнат, в смешении излишеств и недостатков жизни, во всем, даже в картинах, сброшенных в кучу и покрытых пылью, и в этой картине, которую неделю любовался он и которую потом сам он изрезал, — во всем, казалось мне, слышал я вопль души, отвергаемой миром и людьми, недовольной собою. Мне досадно даже было, что Аркадиев идеал женщины не походил на Мальвин и Миньон, ибо в изображении хорошенького личика, которое писал и чертил везде Аркадий, уже наверное думал я видеть изображение идеальной его красавицы. Это изображение казалось мне слишком *мило*

и очень *красиво* для идеала художника! Аркадий заставлял меня забывать о моей *степенности*, моих сорока годах: мне казалось, что я сам молодею, разогреваясь его юною, горячею головою... Какой несносный эгоист *человек*: он всегда видит *только себя*, глядясь в других... Что делать!..

Но как же досадно разочаровался я на другой день, увидев Аркадия! Совсем это не был молодой человек с греческим профилем Гете, германским профилем Шиллера, потухшими в борьбе сильных страстей глазами или невыносимую, наполеоновскую бесцветностью глаз. В одежде его не было байроновской изысканности, ничего восточного; не было у него ни шиллеровских локонов, ни гофмановской дикости. Увидев меня, старый слуга спешил сказать обо мне Аркадию, и пока я ставил в угол свою палку, в переднюю вышел молодой человек, в модном сюртучке, с деланым галстухом на шее, с русыми, опрятно причесанными волосами; лицо его было благородно, правильно, но ничего особенного не выражало. Глаза его были, как говорится, *голубые*, то есть просто серые. Впрочем, глазами Аркадия я остался потом доволен: серый цвет их сбивался в голубой, и они оживлялись в разговоре. Аркадий был высок ростом, строен; только в движениях его не было ни простоты изящной природы, ни увлекательной изысканности светской, могущей заменять природу, как ассигнация заменяет звонкую монету. Отличительным признаком осанки и обхождения Аркадия была чрезвычайная неровность выражения в лице и в движениях: Аркадий то слишком казался веселым, то вдруг слишком задумывался; мне не понравилось еще, что он то и дело всчесывал рукою густые, длинные волосы на голове своей. Словом, Аркадий, при первом появлении, не сделал на меня никакого сильного впечатления: я видел перед собою обыкновенного молодого человека, обыкновенно одетого, и если бы кто-нибудь не сказал мне: «вот художник», — я ничего не подозревал бы в этом правильном, приятном лице, в этой простой улыбке, этом обыкновенном наряде. Ничего особенного не выражал мне и голос Аркадия, приятный, но не заставлявший душу ни трепетать, ни радоваться. Особенно занятие, в каком застал я Аркадия, мне особенно не понравилось.

Он с улыбкою взял меня за руку и сказал:

— Конечно, я имею честь видеть г-на Мамаева?

«К чему такой пошлый вопрос?» — подумал я, готов был грубо отвечать и немедленно расстаться с Аркадием. Он спросил меня после сего об отце своем, но без всякого

особенного чувства; наконец просил полюбить его и пожаловать в его гостиную. Тут нашел я толстую, богато одетую даму, ту самую, к чепчику которой Аркадий приставил ослиные уши. Дама сидела, надувшись, стараясь придать миловидное выражение своему толстому, брюзглому лицу. Портрет ее находился перед Аркадием, и он дополнял в нем некоторые черты, пристально разглядывая даму. Он просил меня извинить, что должен закончить при мне свою работу. Мужчина, худой и сухой, сидел и дремал в углу. Я просил Аркадия не беспокоиться, продолжать работу, и сел в другой угол, пристально рассматривая своего нового знакомого. Он весело работал, отрывисто, но вежливо разговаривал с дамою; улыбался на ее глупые ответы. Портрет этой дамы был превосходен. Ушей ослиных уже не было на нем — Аркадий закрыл их большими букетами и бантами. Лицо, изображенное Аркадием, выражало всю глупость, все безобразие подлинника, но он придал ему что-то доброе, веселое, и дама была в восторге — портрет походил на нее чрезвычайно и не походил нисколько. «Насмешник и льстец, обыкновенный ничтожный художник! — думал я. — Если ты поневоле принял на себя заказ написать эту глупую рожу, можешь ли ты быть так спокоен, так весел, услужлив? Вижу, что ты изрезал свою картину из жалкой робости, а не по сознанию недостигнутого идеала!» Нельзя было не отдать, однако ж, справедливости искусству Аркадия. Судя по портрету, кисть его была смелая, резкая, удивительно правильная. Занятие продолжалось с полчаса. Аркадий встал наконец и сказал, что портрет готов и завтра он пришлет его к ее превосходительству.

— Ах! покорно вас благодарю! — вскричала дама. — Только помните: соблюдайте мой секрет; ведь это будет сюрприз моей сестрице! А теперь позвольте же мне расплатиться. Эй, Яков Потапыч! Опять, батюшка, задремал! Проснись! Отдайте, сударь, деньги!

Сухой человек зевнул во весь рот, отсчитал не знаю сколько ассигнаций и подал Аркадию.

— Покорно вас благодарю, — начала опять дама.

— Ваше превосходительство обещали рекомендовать меня вашему дядюшке, — почтительно сказал ей Аркадий.

— О, непременно и охотно! — вскричала дама. Она и спутник ее пошли. Аркадий вежливо провожал их.

— Это генерал и генеральша W., — сказал он, воротясь. — Простые, но добрые люди! Генеральша готовит сюрприз сестре и тихонько приходит ко мне с своим мужем, хотя взбираться в третий этаж ей очень тяжело.

«За что же ты приставил ей ослиные уши, бесовестный! если они точно добрые люди?» — думал я про себя и решительно рассердился на Аркадия. Уже все теперь бесило меня: я досадовал, что он осторожно спрятал деньги в бюро, а не скомкал и не бросил их, что после того он учтиво сел подле меня и завел самый вздорный разговор. Как житель Петербурга он вздумал мне, приезжему провинциалу, говорить о новостях столицы, о новых зданиях. Недолго просидел я и с досадою ушел домой, повторяя: «Он не художник — он обыкновенный молодой человек, и живописец просто — искусный, но не поэт!»

Я был несправедлив к Аркадию. В наш век воины сняли железные брони свои и философы не ходят уже в изодранных лоскутках какого-нибудь цинического плаща. С чего же вздумалось мне искать наружного байронизма и гофманизма в Аркадии? Неужели художник и поэт должны отличаться от людей полусумасшедшим видом или странностью одежды? Наш век кажется веком бессильных страстей внутри, без резких отличий извне. Он весь одет однообразно, причесан, подвязан, ходит и говорит однообразно. Все воины наши в мундирах, чиновники в вицмундирах, нечиновники в темных фраках. Но тем глубже и пестрее внутреннее образование нашего века. Никогда не являлся человек столь знающим, столь страстным, столь высоким, как является он ныне. Все тихо, все однообразно в нынешнем обществе; но откуда же неслыханные, уродливые события, горячки умов, разрушительные страсти, какие сверкали и сверкают в мире в наше время? Мы отличны от стариков наших тем, что душа нынешнего человека потеряла самодовольство: он недоволен людьми, недоволен собою. Разочарованный в том, что совершенно увлекало его отцов, не должен ли нынешний человек укрываться в мнимую бездейственность и внешнюю однообразность и оттого впадать в ужасную неровность характера, то бросаемый страстью вне круга обыкновенной его жизни, то снова упadaющий в нее? Наше поколение, как Наполеон, стоит сложив руки или нюхает табак, пока страшная битва — Ваграмское, Бородинское, Ватерлооское сражение — гремит в душе его. Он задумчиво смотрит в землю, как будто ищет чего-то потерянного праотцом Адамом. Найдет ли он? Не знаю; но — это глубокое озеро без источника, на дне его бездны, а поверхность тиха, и едва легкий ветерок пробежит по ней, всколышет ее легкими кругами — они расходятся, и снова озеро зеркально, светло и неподвижно. Нынешняя жизнь — роман, *первую* часть

которого написал Август Лафонтен, а вторую еще дописывает Виктор Гюго.

Аркадий явился ко мне на другой день. Несмотря на мою угрюмость, на предубеждение против него, я не мог в этот раз не отдать справедливости ему в той нежности, с какою говорил он об отце своем, в той заботливости, с какою расспрашивал он обо всех подробностях житья его. С каким чувством говорил этот добрый сын о том, что он вскоре надеется сделать для отца своего что-нибудь полезное! Он молчал о братьях или отзывался почтительно. «Он скрывается от меня,— думал я,— не открою же и я ему, что знаю его гораздо лучше, нежели он полагает!» Аркадий мельком говорил о своих занятиях. Я также ничего не говорил ему о том, что видел в нем мой разрушенный идеал художника. «Он явно притворяется,— думал я,— или в самом деле отказывается от своего назначения и хочет улечься на прокрустово ложе света, хотя бы привелось для этого отрубить ноги! Что же? Он думает, что я не стою признаний души его? Хорошо, и я не покажу ему своей души: я эгоист!»

Мы виделись потом еще несколько раз и каждый раз, невольно, становились искреннее друг с другом. Разговоры наши перестали оканчиваться ничтожными пустяками. Наконец я имел случай оказать Аркадию маленькую услугу. Однажды захожу к нему, застаю его в страшном беспокойстве и требую объяснения. Аркадий долго колебался и, краснея, сказал, что ему недостает несколько денег для одного весьма важного дела.

— Вот тысяча рублей,— сказал он,— а мне надобно две.

— Вот *другая*,— отвечал я, выняв бумажник и отсчитывая деньги.

Аркадий крепко пожал мою руку и с минуту ходил молча, в сильном движении. Через три дня он принес мне деньги и не благодарил меня: это мне понравилось, ибо я видел, что, сказав мне пошлую благодарность, он отделался бы ею; теперь, напротив, Аркадий сбросил с себя личину вежливого равнодушия, и в первый раз он понимал меня, а я его. В первый раз тогда между нами завязался разговор от души. Я обратил его на изящные искусства, и Аркадий не скрывался более. С жаром начал он говорить об упадке изящного в наше время, о средствах свести изящные художества с ложной дороги школьных условий, по которой ныне идут они. О многом спорил я, со многим соглашался, удивляясь необыкновенным познаниям Аркадия. Вдруг он схватил меня за руку и сказал:

— Простите меня, г-н Мамаев: я не знал вас. Я думал, что вижу в вас просто умного, доброго человека: теперь вижу в вас горячую душу, человека глубоко чувствующего, просвещенного. Вам доступно все прекрасное. Зачем вы скрывались от меня?

Слова эти были сказаны так добродушно, так просто, что я невольно улыбнулся:

— Зачем сами вы, любезный Аркадий, хотели спрятаться от меня под маскою ничтожного живописца и молодого петербургского щеголя?

— Я щеголь? Если бы вы прежде знали меня, то могли бы назвать немного сумасшедшим по наружности; с некоторого времени этот недостаток перестал быть моим недостатком. Я сделался благоразумен, осторожен, опрятен. Мой старый Семен Иваныч не может теперь нахвалиться мною. Но, право, я совсем не щеголь, ни одеждою, ни обращением, ни душою.

— Аркадий! Я не того хотел от вас, чем вы хотите казаться.

— Чего же вы от меня требуете?

— Я хотел видеть в вас истинного художника, а видел только молодого портретиста, который так одет, так работает и говорит, что от него ничего ожидать не смеешь. Вы скрывались от меня? *Да или нет?* Если нет, то вы упали духом — вы пережили даже недовольство своего падения: вы уже спокойны, и это спокойствие есть тишина смерти!

Аркадий задумался. Лицо его изменилось.

— Что ж мне делать, когда этого хотят от меня судьба и люди, — сказал он тихо, — когда без этого счастье мое бежит от меня! Хочу удержаться хоть за него — со всем другим я простился: одно недостижимо, другое пусто. За чем гоняться мне? За призраком ничтожной славы? Но и его могу ли достигнуть? Кто уверит меня, что мне можно надеяться на силы свои... О, мой почтенный друг! зачем тревожите вы терзательные мечты, которые задушил — *усыпил* я, по крайней мере! — Аркадий схватил мою руку и сжал ее крепко обеими своими руками. Он был очарователен в это время. Таким желал и надеялся я видеть его.

— Что заставляет вас принимать во мне столь сильное участие? — спросил он, растроганный до глубины души.

— Долго рассказывать, как родилось и усилилось мое к вам участие. Может быть, для этого надобно было рассказать вам прежде всего собственную жизнь мою... Но, я клянусь вам, Аркадий, что во мне видите вы человека,

который на себе испытал, как тяжело душе, как душно сердцу, если призвание наше в мире не исполняется! Годы безвозвратно погасили для меня все мои мечты, все мои надежды; но, смотря на вас, полного жизнью и надеждами, могу ли не думать о том, как грустно, как страшно кончить их ничтожным физическим бытием!

— И люди говорят о ничтожности и бесчувствии мира, если в нем жил ты, святая душа, второй отец мой! если судьба столкнула меня теперь на дороге жизни с новым другом и если мир украшен бытием создания, которое может заменить мне все вдохновения исчезнувшего века художеств...— Аркадий вдруг остановился. Насмешливая улыбка появилась на лице его.— Вы мечтатель, господин Мамаев, опасный мечтатель! С чего вы вздумали наводить на меня волшебное стекло вашего воображения? Вы обманываете себя, обманываете меня, и, клянусь богом, это бессовестно, стыдно! Зачем искать во мне того, чем не велят мне быть ни судьба, ни мир, ни люди? Кто я? Сын бедного чиновника, ничтожный *разночинец*, братья мои подьячие, мне надобно было сделаться также подьячим. Пришел ко мне такой же мечтатель, как вы, наговорил мне бог знает чего; я заслушался его и поссорился с миром и с судьбою. Чего не вытерпел я за то, что отказывался идти в гусиной веренице, которая тянется целыми поколениями от колыбели до гроба! Чего не вытерпел я от самого себя еще более, нежели от других! «Художник», «идеал» — вздор, вздор! Говорите «маляр» и «счастье»; да, *счастье на земле, без неба и идеалов!* Вот что я — и прекрасно, чудно хорошо! На что искать идеалов, если они не превзойдут существенности — милой, очаровательной, живой, дышащей жизнью? Я скован и счастлив. Что мне в воле, если она только губит и терзает меня! Вы изумитесь, мечтатели, как тихо и спокойно можно быть счастливым? Зачем нравится вам только бешеный водопад Ниагарский? Не лучше ли любоваться милым ручейком, который вьется и журчит между цветами? Вы презираете его? Но в вашем водопаде видна только мутная пена страстей, а в ручейке отражаются — и солнце, и небо, и тихие небесные звезды, и целый мир! Любезный, почтенный друг мой! Я изодрал мои глупые рисунки, над которыми просиживал ночи и бесполезно тратил жизнь мою; на других нелепых мечтах моих мирно плетет свои сети паук, и никогда не смету я с них паутины... Не надобно картин — не хочу писать их; пишу портреты, рожи людские, и пишу как ремесленник! Уверяю вас, что теперь только нашел я истинное счастье — мне так весело,

спокойно — я так доволен... — Он судорожно сжал мою руку, и слезы сверкнули на его глазах.

— Счастье ваше похоже на куклу, которою играет ребенок. Но вы насильно делаете себя ребенком, добровольно позволяете своему счастью пеленать вас, как дитя, и — я страшусь за вас, Аркадий! Не знаю, какой волшебный сон лелеет вас, но, друг мой, это мгновенный сон, а не жизнь: пробуждение ваше будет опасно; лучше бороться с судьбою, нежели позволить ей без сопротивления сковать себя...

— Нет! Мой сон прекрасен, как жизнь, и не прервется, — сказал Аркадий, с радостным самодовольством закрывая глаза рукою. — Его сам бог создал для меня!

— Аркадий! — сказал я с досадою. — Понимаю: вы влюблены? Угадал ли я?

Он затрепетал.

— Вы любите?

— И неужели я не любим? — спросил Аркадий с трепетом. — Почему же вы знаете, что я *не любим*? Нет, нет! За мою бешеную, безумную страсть, за то, что для нее отказался я от всего, от самого себя, ужасно было бы не платить хотя участием, хотя снисхождением! А смею ли требовать более? За это снисхождение... мало жизни моей!

Несносные женщины! Они везде вмешиваются и все портят! Так вот разгадка его бесчувствия! Он любит... Женщина *уничтожила* его... И дивиться ли после того чему-нибудь, если на жизнь он смотрит глазами женщины, а ей жизнь кажется занятием вроде хозяйства; она вяжет ее, как чулок, плетет ее, как кружева, вышивает ее по канве, в размеренных квадратах...

— О нет! вы не знаете моей Вериньки, — сказал Аркадий. — Она не женщина: это чудное существо, залог мира между небом и землею! Она умела сделать из меня то, чего не сделали люди с их гордостью, их силою — чего не сделала дружба человека единственного! Она доказала мне невозможность неба на земле, но доказала, что и земля есть небо, если мы забудем для создания пленительного все-все, и самих себя, передаваясь ему! Ей пожертвовал я всеми мечтами... какая мечта сравнится с нею! Я бросил все свои ничтожные идеалы... какой идеал не бледен перед моею Веринькою! Она помирила меня с самим собою, она поведет меня тихо, нежно по остальному пути жизни. Так, я чувствую, что напрасно старается человек создавать и ищет на земле несбыточных образов — они уже созданы богом и живут на земле в душе женщины. Душа женщи-

ны — вот наше небо на земле, и в нем соединено все! Беден, кто не нашел его — блажен, кто его отыскал! Но тогда — во прах перед ним все страсти, все идеалы, или, как отверженного ангела, тебя изгонят из этого неба, где ничто не должно существовать, кроме душевной невинности!

Аркадий замолчал и начал ходить по комнате. Я прервал молчание, продолжавшееся несколько минут.

— Аркадий,— сказал я,— сердца наши сказались друг другу. Отныне мы с тобою друзья. Вот тебе рука моя, а кому я сам подаю ее, тот не спрашивай меня ни о чем более! Заключение в минуту душевного бытия, отныне дружба моя к тебе неизменна. Друг мой! Мне сорок лет; жизнь моя была бурная, мятежная; я испытывал страсти, знал и любовь... Она знакома мне... Когда-нибудь я расскажу тебе все страдания, какие перенес я от этого яда жизни... Я трепещу за тебя: ты отравляешь себя медленной отравой! Я угадываю твою Вериньку: это какое-нибудь простое, доброе, милое создание, которое обольстило тебя колыбельною песенкою и усыпило твою пылкую душу тихим напевом ее! Не для тебя такое счастье: берегись! Душа женщины не рай, но раек. Ты на нее хочешь опереться, но эта опора ломка, как стекло, и, как стекло, изрежет тебя...

Аркадий быстро взглянул на меня:

— Да, я усыплен колыбельною песенкою, но эту песенку не человек напел мне, а что-то божественное. Узнайте Вериньку... Я боюсь показать ее вам: вы можете погибнуть, узнав, как близко от вас было счастье в жизни, а вы не знали его...

Я невольно улыбнулся. Аркадий как будто опомнился и поспешно взялся за шляпу.

— Ах! что я говорю! — сказал он.— Простите! Голова моя так расстроена от нашего разговора... Какая глупость: стараться ощупать руками свое счастье, как будто оно что-нибудь вещественное! Вы ощупаете одни вещественные его формы и никогда не узнаете его вполне... Вы подали мне вашу руку, благородный человек! позвольте мне пожать ее...

«Я тебя понимаю, юноша,— думал я, оставшись один,— понимаю и сожалею о тебе: ты испугался бури, какая волнует океан души человека, и ты думаешь, что лучше причалить свой челнок близ тихого берега семейственной жизни и задремать под шум бешеных волн, нежели пускаться по кипящим их безднам! Горе тебе, если ты будешь счастлив, как счастливы все люди! Бедное счастье их есть дремота, произведенная маковым питьем;

но твоя душа создана не для этой сладкой дремоты, а для жизни, и — горе, если ты пробудишься, когда будет уже поздно воротиться! Страсть художника не начинается усыплением души и не кончится семейственным бесчувствием, чем так дорожат люди для мелких уступок счастья, покупая его, как покупают они себе пищу и одежду. Допускаю страсти — даже любовь, — но не такая любовь, не такая страсть бывает вдохновением высокого. А кто знал, кто хотя предчувствовал это вдохновение, тому пробуждение хуже смерти!»

Увы! Аркадий вскоре сведал на опыте истину, которую я предугадывал и предвещал ему. Страшно пробудилась душа его, безжалостно оттолкнуло его от себя обольстительное, тихое упоение.

После нашего разговора прошло дней шесть. Аркадий не являлся ко мне. Недосуги мешали самому мне идти к нему. Воспользовавшись первым свободным вечером, я спешил к Аркадию. Семен Иваныч отворил мне двери. Он был печален.

— Где девался твой барин? Не болен ли он? — спросил я поспешно.

— Нет, сударь, но бог знает, что с ним сделалось! Дня три тому он пошел со двора такой веселый, такой милый; воротился поздно, и я его не узнал — так был он бледен, расстроен. С тех пор он сидит запершись, никого не велит пускать к себе, почти ничего не делает и даже ничего не кушает.

— И мне нельзя его видеть?

— О нет! Вас он однажды навсегда приказал принимать, во всякое время!

Вхожу в гостиную. Бюро открыто, бумаги, книги разбросаны везде, все в страшном беспорядке. Аркадий был в своей мастерской. Тихонько отворил я дверь. Аркадий стоял посреди комнаты. Огромный, прекрасный портрет откупщика, которым в последнее время занимался Аркадий, был брошен на пол недоконченный. Кисти, палитры были раскиданы повсюду. Большая, вновь начатая картина поставлена была подле окна. Небритый, со включенными волосами, в старом шлафроке, стоял Аркадий, сложив руки и устремив неподвижные взоры на холст, где еще ничего нельзя было разобрать хорошенько. День вечерел; последние лучи солнца освещали комнату.

— Что с вами сделалось, Аркадий? — сказал я.

— Ничего! — отвечал он мрачно. — Это надобно было предвидеть прежде. Вы предугадали, вы предрекли мне то,

чего не понимал, не предвидел я! Какая глупость! Мне надеяться быть счастливым? Думать, что я буду так же искусно выть, как воет эта стая волков, называемых *людьми*! Но чего же хотят они от меня? — говорил Аркадий с увеличивающимся жаром. — Они терзали меня, когда я хотел стать между ними самобытно; они терзают и теперь, когда я отказываюсь от самого себя! Они разрушали мир, какой создавал я сам себе. Они не дают мне местечка и в *своем* мире! Виноват ли я, что бог создал меня иначе, нежели их? Должно ли за это наказывать меня так бесчеловечно? Но я добровольно становился в ряды их, отрекался от всего, давал клятву быть их товарищем, таким же, как они, чем они хотят — глупцом, ремесленником, шутком, последним из них...

— Аркадий! что все это значит?

— Ничего! — сказал он, горько улыбаясь. — Они уничтожили высокий мир художника, разбили истукан изящного, которому молился он в Греции, отняли у искусства религиозную святость Средних веков и хохочут над тем, кто стремится в эти погибшие миры искусств! Он враг им, нынешним ремесленникам, и они все за одно против него; мстят ему, как человеку, отказывают ему, если он соглашается на бедное счастье людское, — боятся его, клеймят его позором и насмешкою...

— Но давно ли, Аркадий, давно ли вы были так счастливы?

— Был — да! *хотел быть*, хотел обмануть себя, если нельзя *быть* в самом деле. Мой обман открылся — счастье мое погибло... Не мне то счастье, которого я надеялся от людей! Они отказывают мне в этом счастье — отказывают, не хотят его мне отдать! А чего не делал я, чем не угождал им? Боже великий! Сколько времени был я болваном, куклой их — и за что же другому это счастье? Если он глупец без притворства, почему я не могу притвориться глупцом? Во всю жизнь мою они не заметили бы между нами никакой разницы, не услышали бы ни одной жалобы, ни одного вздоха...

— Успокойтесь, Аркадий. Что такое сделалось? Что за отчаяние? И как же не поспешить вам ко мне... Сердце друга согреет, оживит вас...

— Виноват, — сказал Аркадий тихо, — виноват; но — и она с ними за одно — и она! Веринька, Веринька! зачем же обольщала ты меня прежде? Зачем вдохнула в меня жизнь, когда я умирал... Тогда мне легче было бы погибнуть; но теперь тебе без меня, мне без тебя нет смерти — ты

моя, моя — ты не вырвешься из объятий души моей; я умерщвлю тебя моим последним, смертным дыханием...

— Успокойтесь, Аркадий. Сядем, будем говорить благоразумно; разберем дело наше основательно.— Я посадил Аркадия. В изнеможении он опустил голову на грудь; руки его упали на колена. Бледный, измученный, он казался умирающим.

— Аркадий! стыдись: неужели своенравие, даже презрение ничтожной какой-нибудь девочки должно доводить до отчаяния мужа, человека...

— Кто сказал вам, что Веринька ничтожна? — вскричал с сердцем Аркадий.— Знаете ли вы ее, узнали ль вы ее светлую, прекрасную душу? Проникнули ль вы в ее чудное, святое сердце? И она меня любит, знаю, что она живет, дышит только мною — она моя, моя — люди не отымут ее у меня — я принужу их — я вырву у них Вериньку мою! Они должны будут уступить ее мне, моей славе, моему имени! У нас нет Капитолия — нет триумфа для художника; но когда общий восторг поставит меня выше всех... Посмотрите, что напишу я теперь... Вот, что готовил я... Как это было глупо, как это было пошло, ничтожно! Это Грез, пачкун семейственных сцен, копеечного отчаяния, грошового счастья — ха, ха, ха! — Он сорвал покрывало с картины, которая стояла в стороне: я увидел превосходное изображение семейственной сцены. В старинной готической комнате, в германских одеждах, семейство занимается чтением: старик изображен дремлющим в старинных креслах, молодая девушка опускает занавеску, чтобы солнце не беспокоило его, молодая женщина останавливает детей, которые вбегают в комнату. Она указывает им на старика; взгляд на него превращает их шумную радость в благоговейное молчание; молодой человек держит в руке книгу, опускает ее, вглядывается, прислушивается: точно ли спит старик и надобно ли продолжать чтение или перестать?

Молча любовался я этою картиною — она была прелестна; выражение лиц, темный колорит, рембрандтовское освещение ее были превосходны. Она переносила зрителя в патриархальные времена Дюреров и Гольбейнов.

— Вот, что готовил я,— продолжал Аркадий,— но это глупо в природе, глупо и в картине. Теперь я их ужасну моею кистью!.. Вот здесь, посмотрите, вот здесь я напишу им моего бешеного Прометея. Он изобразит им душу мою, прикованную не к Кавказу, а к этому неблагоприятному, бесчувственному миру; не ворон будет клевать и терзать

его, а несчастное, губительное чувство страсти безнадежной! О боже, боже! Они не люди будут, если не увидят следа крови моей и слез моих в красках, какими изображу я им моего Прометея, — если не отдадут мне после того Вериньки!

Аркадий заплакал, сел и закрыл лицо руками.

— Аркадий, — сказал я, — грустно смотреть на слезы мужчины: мужчина не должен плакать. Умри, но не плачь!

— Ах! мне еще хочется пожить на свете, в нем еще так много хорошего, так много прекрасного — в нем еще существует Веринька; она *не моя*, но и никому не принадлежит она. Дайте мне слез, позвольте мне плакать, друг неумолимый! И если бы вы знали, о чем я плачу! Не Вериньку — я теряю жизнь! Любовь к ней, любовь ее было все, что привязывало меня к жизни. С потерей Вериньки все связи мои с миром будут разорваны. Неужели хотите вы, безжалостный человек! чтобы и после этого я еще скитался по земле тенью безжизненную? Неужели думаете, что в моих созданиях будет жизнь, когда не будет ее во мне самом? Хорошо! Сделайте из меня привидение, машину, творящую великое и прекрасное; но каково же будет мне, привидению, созданному вами? Ведь я человек — пощадите меня — позвольте мне лучше умереть!

Как странна участь моя! Зачем надобно было юной душе моей соединиться с душою человека единственного, добродетельного, но оскорбленного миром, и людьми, и жизнью! Зачем этот человек исторг меня из ничтожества, в которое судьба поставила меня при рождении! Зачем он оставил меня после того в жертву оскорбленному мною миру! Зачем после него воскресило меня это милое создание, эта Веринька? Да, она поддержала во мне жизнь, готовую погаснуть; за то я хотел ей посвятить мое бытие — ничем более не мог я подарить ее, да я и не мог уже располагать собою: она воскресила меня, но потребовала себе душу мою — я отдавал ей — и этого нельзя мне сделать! Бедный человек! Люди становятся, как разбойники, между мною и Веринькою; она сама пугается, презирает меня, бежит от меня! Чего боятся они во мне! Разве не принимал я всех их условий — всех, но только с Веринькою — с нею; а без нее что мне в мире, в людях? На что я сам без Вериньки!

Я радовался, видя, что слезы и жалобы облегчают Аркадия, и не препятствовал ему плакать и жаловаться. Упрямое, молчаливое, одинокое отчаяние, три дня терзавшее его, теперь прошло. Он стал спокойнее. Тогда тихими,

сердечными словами дружбы начал я врачевать его растерзанное сердце.

— Аркадий, друг мой! Ты еще так молод, — сказал я, — и уже думаешь, что жизнь совершенно рассчиталась с тобою. Мой друг! перед тобою она лежит еще необозримым полем горести и радости — да, мой друг, и радости! Знаю и уверен, что юность твоя была уже испытана скорбью, но радостей ты знал еще мало доньше. Благодарю лучше провидение, что при начале жизни оно искусило тебя и приготовило к будущим подвигам. Чувство любви в твои годы всеильно, всепоглощающе; но не одно оно объемлет жизнь и мир для человека, который чувствует в душе своей призвание к чему-либо высокому...

— Нет! — сказал Аркадий. — Для меня все погибло, если погибла любовь моя. Судьба везит в эти минуты жребий мой на весах своих, и если не бросит она любви в мою чашку весов — расчет кончен: Аркадию не существовать более! Тот век, когда художник мог быть художником, потому что не мог быть ничем другим, когда он мог совершенно, всем бытием своим, погрузиться в океан изящного — золотой век Дюреров и Кранахов, Рафаэлей и Микеланджело прошел и не возвратится. Мир забыл уже об этом веке, и художник может существовать ныне только вдохновением страстей: если мне нельзя существовать любовью — художник во мне исчезнет. Других страстей я не знаю: любовь только, одна любовь могла бы вознести меня к великому моему идеалу, назло веку нашему и людям! Выслушайте, добрый, почтенный друг мой!.. Вы должны узнать повесть моей души. Вам все я открою, и потом судите обо мне, судите меня...

II

— Да он поэт? — Поэт. — Так и довольно: Уж кто поэт, тот верно без ума.

— И я поэт, однако ж не безумец...

— Ну, вы совсем другое...

Кукольник

— Иногда, с досадою, я ошупываю свою голову и сожалею, что я не Галль, не Шпурцгейм. Мне хотелось бы доискаться в моем черепе ответа на простой вопрос: «что

я такое?» Ответ на этот вопрос разрешил бы для меня многое — все!

Точно ли есть во мне *нечто*, отличающее меня от других? Точно ли в душе моей есть какой-нибудь огонь — небесный, или... почему я знаю какой, и что он такое, и пусть он будет, что ему угодно! Только есть ли что-нибудь, от чего горит душа человеческая вдохновением изящного и на мозгу человеческом рисуются очерки, каких никому другому не вздумать, каких мир еще не видал и не увидит, если художник умрет, не показав их миру? Да, не увидит, потому, что они его — их нет в природе — их не природа создает, а он, художник, творец их: он не захочет и не отдаст их миру!

Или во мне нет ничего творческого, созидательного: *я не художник!*? Мечты мои — неясный бред горячки, лихорадочный жар бессилия, которому хочется в небо и которое не летает, а прыгает, и то на земле, думая, что летает в небе! И тогда что же вся жизнь моя? Что мои безумные порывы творить? Это ужасно! Природа не отзывается моему голосу, люди не понимают моего вопля, не потому ли, что я жалкое дитя, бедное, полоумное дитя, помешавшееся в колыбели? А! это ужасно!

Вдохновение истинное, творчество неподдельное, не должно ли быть тихо, спокойно, величаво? Истинный художник — это царь среди людей, волшебник среди природы; на голос его преклоняется народ, по мановению руки его пляшут толпы невидимых духов, страсти облакаются в живые образы, гроб сказывает свой ответ!

И я ошибся, избрав себе поприщем жизнь художника? Я ошибся, думая, что на голове моей светит пламя избранника божьего?

Вы не поймете, добрый друг, какое отчаяние отравляет душу при этой мысли! Человеку, который мечтал видеть в себе сына великого властителя, открывают, что он сын раба, вместо трона ему указывают на ошейник невольника! «Тебя подменили в ребячестве ошибкою — тебя подменила злая кормилица — ты раб, а не царь!» — говорят ему — и еще смеются при этих словах, смеются. — Боже великий! Неужели люди могут в эти минуты смеяться? Что же оставят они дьяволу?

Сколько раз, в грустном, безнадежном отчаянии, думал я, что весь мир хвастливо ошибался и грубо ошибся, что изящного вовсе нет в мире, что все это бред, вздор, мечта, что художник есть такой же работник, как слесарь, кузнец,

плотник. Это бывает утешительно думать. В самом деле: почему не так? В последнее время эти мысли особенно радовали меня. Знаете ли, с каким наслаждением воображал я себе жалкое унижение Шекспира, с ролью в руках, за кулисами; глупую радость Корреджио, идущего с мешком медных денег на плече; жадное корыстолюбие Паганини подле ящика, где раздают билеты в его концерт... Вот вам они, эти художники, обнаженные, ободранные! Что вы смотрите на блестящую мишуру их? Глядите на них, как глядят все другие: никто ничего в них не видит и не ищет. Им заказывают трагедию — потому, что людям скучно же сидеть сложа руки в долгие зимние вечера; у них покупают картину — надобно же какому-нибудь богачу что-нибудь повесить на голой стене его залы; им говорят: «играй!», как говорят собачке: «служи!» И вот: поэт чинит перо свое, живописец трет свои краски, ваятель покупает себе у торгаша кусок мрамору. Вздор, будто когда-то искусство горделиво стояло в ряду других великих действий гения человеческого — никогда этого не было! И теперь художник есть мастеровой, каким был всегда! Говорят, что лучшие мастера во всяком деле — все пьяницы. Великие художники — это нравственные пьяницы! Мир, люди, обстоятельства иногда их вытрезвливают. И тогда, трезвые, они ничего не могут сделать, дивятся сами себе: как они сделали то или другое в чаду головы своей? Это лунатики: они лазят на крыши, на колокольни; но берегитесь назвать их по имени, берегитесь сказать им: «Ты человек!» Лунатик тотчас свалится с высоты и расшибется — бедняжка!

Но убийственная истина снова, еще сильнее прежнего, впивается в сердце после всех таких оскорбительных для человечества помышлений! Нет! это клевета на бога и человека — нет! не опьянение произвело тебя, «Ночь» Корреджио, тебя, «Гамлет», тебя, «Водопад» Державина! В душах создателей ваших были забыты мир, и люди, и страсти! Они творили потому, что не могли не творить; они были художниками потому, что не могли не быть ими! Но как же узнать это безотчетное сознание? Неужели Шекспир твердил свой монолог Гамлета, когда крал орехи у судьи Шаллова, а Державин читал свою оду «Бог», когда стоял с ружьем на карауле? Как узнать отличие истинного художника? Скажите, скажите мне его, ради бога! Клянусь, что я принялся бы шить сапоги, стучать молотом по наковальне, если бы кто-нибудь убедил меня, что я гоняюсь за тщетною мечтою! Надобно же было судьбе толкать меня на

нынешнюю мою дорогу. Если же было надобно, зачем она ничего не дала мне на дорогу? Зачем она завалила путь мой людьми, страстями, отношениями? Путеводная звездочка моя светит — она прекрасна, но она не солнце, и я замерзну на снеговой дороге, глядя на мою приветную звездочку...

Говорят, что с самого детства уже видно бывает назначение человека. Судя по себе, я не знаю, правда ли это. Никогда колыбели моей не окружали ни видения, ни предвещания; никакой благодетельный гений не слетал баюкать меня; никогда не чувствовал я в детстве минуты восторга, в которую хотел бы воскликнуть: «И я живописец!» Колыбель мою качала добрая моя мать и напевала мне баюкальные песни, как и другим детям; отец мой говаривал мне: «Учись, Аркадий, азбуке — будешь славный канцелярист!» Вы знаете отца моего, но не знаете его хорошо. Не видывал я человека добродетельнее его; но он не получил никакого образования и нам не мог его дать. Вечно занятой в своем казначействе, при недостатках в жизни, он сохранял только темную какую-то мысль, что надобно учиться для отличия от мужиков. Чему учиться? Как учиться? Отец мой не знал этого. Выходило то несчастное состояние, когда человек теряет первобытную грубость и не восходит на степень истинного образования. Старшие братья мои, добрые, смирные, умные дети, учились, ходили в уездное училище, потом в гимназию. Я был негодный баловень, родился слабый, больной, и мать испотворовала меня, сделала упрямым, своевольным. Я не был ни зол, ни коварен, но меня надобно было уговаривать ласкою, если хотели что-нибудь из меня сделать. Может быть, моя неохота учиться произвела то, что, своевольно бегая и играя, я стал бодр и здоров. С малых лет братья мне завидовали — их так мало ласкали; они хотели отнимать мои игрушки, какими мать беспрестанно дарила меня, — им не давали игрушек. Я дрался с ними, кричал, плакал; потом сам отдавал все братьям и товарищам, когда их наказывали за ссору со мною. Если же они сердились, не брали, я бросал все, что дарили мне, все, кроме одного: суздальских картинок. Вы знаете эти лубочные изображения райских птиц, погребения кота — это были для меня драгоценности; их не уступал я никому, лепил их на стену подле своей кровати, рассматривал их, любовался ими. Нередко просиживал я целые часы, глядя на них, перелепливая их с места на место, и даже не помню, когда я начал их сам списывать. В памяти моей сохранилось несколько случаев

детства, оставивших во мне более сильное впечатление. Однажды приятель отца моего, слыша, что я бестолков и ленив на ученье, сказал, что принесет книгу, которая заставит меня полюбить ученье. Он подарил мне, в мои именины, «Начальное руководство» — книгу, изданную в 1793 году в Петербурге, со множеством картинок. В этот день я не спал и почти ничего не ел: книга эта казалась мне новым, волшебным миром! Тут было все: цари, боги, история, цветы, звери. Я скоро выучился читать, для того только, чтобы знать, что такое значат все эти чудные изображения? «Начальное руководство» составлено не мастером своего дела: это небольшая энциклопедия, где смешано без разбора все: священная история, мифология, естествознание, технология, басни, сказки; многое совсем не приурочено к понятиям детей. Я вытвердил его наизусть. Показывая рисунки, я мог подробно рассказывать содержание их и изумлял гостей отца моего своими знаниями, не зная ничего основательно. В голове моей вертелся хаос слов, сказок, сведений, но я приводил в замешательство старших братьев моих, учеников гимназии. Видя, что я сам себе составляю краски из угля, чернил, ягод, цветов, мне подарили кисточку и ящичек плохих красок. Тогда я ничему уже не хотел более учиться и только рисовал беспрестанно. Через несколько месяцев опять дивились моим рисункам. Я копировал все из моего «Руководства», списывал все мои суздальские картинки, срисовывал цветы, делал силуэты так искусно, что они были совершенно не похожи ни на кого, но мать хвалила меня с восторгом, называла руки мои *золотыми*. И я гордился, рисовал неутомимо, почитал себя великим мастером, до того, что однажды, оставшись один дома, вздумал я списать образ ахтырския богоматери, находившийся в моей комнате. Мать застала меня за этим занятием, тихонько подошла и, вместо того чтобы бранить, обняла меня, заплакала. «Ах, ты мой милый Аркадий! — сказала она мне. — Ты напоминаешь мне грех, лежащий на душе моей!» Я испугался. Мать моя объяснила мне, что, когда я, едва родившись, был отчаянно болен, она дала странное *обещание*: если я выздоровею, научить меня *иконописанию*, чтобы я мог сам списать образ ахтырския богоматери и на свои бы деньги сделал потом для этого образа ризу позолоченую. «До сих пор я не подумала еще об этом, окаянная! — сказала мать моя, сложив руки, и слезы потекли по щекам ее... — Не подумала, хоть сам господь вложил в тебя охоту к живописи и теперь явно наводит меня на покаяние, когда ты, не

знавши моего обещанья, по своей воле принялся списывать образ ее, матушки-владычицы!»

Да, если я не чувствовал никогда тайного отзыва гения изящного, то это событие вдруг заменило мне все его отзвы. Боже! как наполнилась жаром каким-то моя голова, как забилося мое сердце! Благочестие было всегда первым правилом в нашем доме. Мать моя была чрезвычайно набожна. «Я обречен при самом рождении списать образ твой, владычица!» — думал я, смотря на икону ахтырския богоматери. Вы знаете этот образ: на нем изображена богоматерь в простой одежде; умиленно сложила она руки пред распятием. «Я должен снять обещание с души матери моей!» Мне показалось, что богоматерь улыбается мне; со слезами бросился я на шею к матери моей и потом убежал в сад. Вечер был прелестный. Солнце тонуло в разодранных, фигурных, фантастических облаках, облежавших запад после сильного дождя; оно расцветало их радужными цветами; все остальное небо было голубое, синее и переливалось по краям золотом и пурпуром. В первый раз в жизни природа, дотоле мертвая, механическая, заговорила со мною. Стоя на коленях, я молился, глядел на небо, на эти цветные облака, и мне казались они сонмами святых, образами богоматери, исполинскими украшениями храма предвечного! Ветерок зашелестил листьями, соловей защелкал в ближней роще, иволга, милая моя иволга вторила мне своим унылым голосом... Счастливое мгновение! Тогда решился мой жребий!

Неправда, будто изящные искусства составились механическим подражанием природе. Тогда, молясь в саду, я не мог бы доказать противного, но не поверил бы, если б стали мне говорить об этом! В то мгновение я был первобытным человеком, тем девственным человеком, который первый вздумал перенести образ человека и природы в искусство. Надобно, чтобы когда-нибудь этот *первый* существовал. Я, дитя, восторженное порывом к божественному, проникнутое пророческим голосом матери, который обрек меня *быть живописцем*, когда еще я не понимал ничего, когда жизнь и смерть спорили обо мне, ничтожном, бессильном, — я безотчетливо перелетел в область первобытной фантазии человека: я создавал себе, что узнал я после; создавал много такого, чего не знаю еще и теперь! Все, что читал я в моем «Начальном руководстве» — история, басня, сказка, — все слилось с тем, что меня окружало, с этим небом, этою землею, этою зеленью дерев, этим пением птичек, слилось в душе моей в неясные

образы, оцветилось радугою. Выразить, сказать это — я не мог и не умел. С жаром чертил я тогда на песке палочкою фигуры; они были неправильны, нелепы. Но это не было грубое желание только чертить что-то похожее на человека, на зверя, на птицу — нет: эти черты изображали для меня идею того, что скрывалось в душе моей. Указывая на них, с детским добродушием я готов был подробно, красноречиво объяснить, что они для меня изображали. Если б я был язычник, я преклонился бы пред ними, видя в них сокрытую, тайную мысль, которой вполне не мог я выразить не только словами, но и в душе моей, моими мыслями!

Простите мне подробности о моем детстве. Видите, как странно связывалась жизнь моя с тем, что после, в часы забывчивого наслаждения, я почитал своим предназначением и — чего теперь не почитаю этим.

Разговор с матерью и время, проведенное мною после того в саду, неизгладимо запали в душу мою. Какое-то религиозное чувство стало наполнять меня после того всякий раз, когда я смотрел на образа. Мне казалось, что они богом поставлены в жилище человека, чтобы напоминать ему о небе, о том чувстве, какое испытал я, молясь в саду. Люди, создающие эти святые образа, казались мне людьми, отличенными богом от всех смертных. В первый раз узнал я наслаждение переживать себя в создании своем. Неизобразимо было впечатление, когда приходил я после того в церковь. Там старинный высокий иконостас нашей приходской церкви с темными его образами казался мне миром, который создало искусство человека, напоминающая ему о высоком назначении художника как изобразителя божественного. Когда, за всеобщую, растворялись царские двери и среди куренья фимиама, в сумраке ночи, тускло озаряемом мелькавшим перед образами огнем свеч, при звоне колоколов, наносимом откуда-то издалека, извне, сверху, являлись священник и диакон в своих блестящих ризах, и когда согласный клир громко начинал петь: «Хвалите имя господне, аллилу-ия!..» О, мне тогда казалось, что иконостас, алтарь, весь храм и сам я — все превращалось в картину! И эта картина шевелилась, оживлялась — казалась мне безмерною; лики святых являлись чем-то оживленным, не человеческим, алтарь — престолом бога и весь мир — его рамою! После того я не мог уже смотреть на мои суздальские картинки, на эстампы, где изображались звери, и птицы, и люди. Я бросил мое «Начальное руководство», где живопись сведена была часто на изображение предметов ничтожных. Греческое иконописание,

с его неестественными цветами, его рельефным очерком, мечталось мне единым достойным живописи делом.

Я умолял мать мою отдать меня учиться иконописанию. Она не смела сказать об этом отцу. Как можно было мне, сыну титулярного советника, учиться у мужика какого-нибудь, и чему же? Пусть бы рисованью, так, как учатся ему дворянские дети, учатся братья мои в училище, где их заставляют скопировывать глаза и уши, нередко с уродливых гравюрок, бог знает для чего — для того, может быть, что им нельзя же не быть в классе рисованья. Но мне учиться *писать образа, у цехового иконописца!* Однажды мать моя заговорила было с отцом о моей охоте к живописи и о том, не нанять ли мне учителя?

«То-то,— сказал отец,— к дельному, так у него охоты нет, а вот к дряни так охота!»

«А что вы, папенька, называете *дельным?*» — спросил я.

«То, братец, что ты должен учиться писать, читать, арифметике да готовиться быть порядочным человеком!»

«А что такое, папенька, *порядочный человек?*»

«То, что порядочный, то есть *чиновник*, как я, и как другие, и как все хорошие люди».

«И мне надобно будет так же, как вам, сидеть в казначействе или в палате, как дяденька, где я у него много раз бывал. Но там гадко, папенька! Там сидят подьячие!»

«Прошу покорно: *подьячие!* Да я-то кто? А ты сам что за птица? Ты должен быть приказным человеком и уметь зарабатывать себе хлеб».

«Разве только о хлебе надобно человеку думать?»

«Разумеется; о чем же еще. Не век я буду с вами, умру; кто станет тогда вас кормить?»

Я заплакал: он умрет, и мне должно будет сидеть в палате, среди этих подьячих, думать о хлебе, только о хлебе! Мне казалось, что вся будущая жизнь моя потемнела тогда передо мною...

Видите, какое странное противоречие было во всем моем образовании. Я носил в душе моей безотчетный, но высокий идеал живописи как искусства, изображающего божественное. А люди понимали под этим искусством какое-то черченье домов, глаз, носов, цветов. И мне указывали на такое занятие как на ничтожное дело, пустую забаву. И мне говорили, что я должен целый век просидеть в палате, между этими подьячими, которых я страшился, ненавидел — и не диво: вспомните наших провинциальных подьячих, оборванных, пьяных! Я заметил, правда, бывши

несколько раз в палате у дяди моего, что там сидят еще другие люди, которых все уважают, которые украшены блестящими крестами. Но я или думал, что они такие же подьячие, только старшие, или жалел, что они, люди хорошие, должны сидеть в мрачной, закоптелой палате. «Бедные! — думал я. — И все-то они бьются из хлеба! И неужели его так трудно добывать? И неужели, кроме него, ничего нет на свете?» Стоя в церкви, я часто сматривал на икону, бывшую внизу иконостаса. На ней изображен был Спаситель в пустыне. Перед ним стоял искушитель, подавал ему камень и говорил: «Преврати его в хлеб!» Ответ Спасителя был подписан сверху. Он врезался в мою память, этот божественный ответ: «*Не о едином хлебе жив будет человек, но о всяком глаголе божием!*» Сколько думал я над этим ответом! Спросить мне было не у кого. Я сам себе разрешал слова Спасителя. «*Глагол божий*, — думал я, — есть то чувство, которое хранится в душе моей и говорит мне, что я должен быть образителем для людей божественного, образителем не из насущного хлеба, но по внушению божьему. Тогда и камень превратится для меня в хлеб».

Мать моя не смела ничего более говорить отцу моему, но, связанная обещанием своим, слабая, добрая, решила учить меня иконописанию между делом, тихонько. Мы условились с нею, что я буду ходить в училище, хотя для виду, и начну между тем учиться у знакомого нам иконописца. Знаете ли вы, что такое *иконописцы* русские? Они введены в цех и составляют в России многочисленное сословие. У них есть своя теория живописи, свои манеры писать, составлять краски, покрывать картины лаком. У них есть свои предания, поверья, условия, есть целая письменная книга, где изложены тайны их искусства. У них есть свои школы — *курсунская, строгоновская, вологодская*. Как литье колоколов почитается у нас доньше чем-то таинственным, с чем соединяется молитва, к чему не должно касаться с злою мыслью, так у иконописцев их занятие. Они не допускают в свой цех человека дурной нравственности и не сделают его настоящим мастером. Они знают, что живописцем был евангелист Лука, что первый образ создал сам Спаситель, утершись белым полотном и послав свой *нерукотворенный* лик царю Авгарю.

Сзади нас жил иконописец — истинное изображение древних последователей Алимпия Печерского и благочестивого Андрея Рублева, оставшихся в памяти потомства. Это был старик, добродетельный, богобоязливый. К нему

привела меня мать моя. Мы застали нашего Альбрехта Дюрера за его работою: на большом столе лежала перед ним огромная доска; он писал на ней образ богоматери *всех скорбящих радости*. Выслушав мать мою, которую любил и уважал как добрую соседку, старик указал ей на образ. «Вы, сударыня, скорбите о неисполненном вашем обещании,— сказал он,— а Пречистая приемлет всякую скорбь, и я, изображая теперь ее образ, могу ли отказать вам? Будь благословенно ваше благочестивое желание!» Он подошел ко мне, поцеловал меня в голову; седая, длинная борода его упала мне на лицо. Старик благословил меня, велел нам и начал сам молиться. Какое благоговение проникло тогда в душу мою! Я был в патриархальном веке искусства. Здесь видели в нем великое, святое занятие, не ничтожную забаву. Его начинали молитвою; образ богоматери, разрешающий душу моей матери, составлял предмет труда. Чистая, светлая комната, где мы находились, множество образов, радость матери моей, смиренное торжество старика, когда он заговорил после того с матерью моею о своем занятии, сетовал об упадке его, о забвении чистой иконописи, о развращении нравов между людьми, которые ею занимаются,— это было что-то высокое, от чего душа моя отдыхала! «Суета овладевает миром! — говорил старик.— Что теперь делают с искусством, занимавшим некогда св. евангелиста Луку и великого чудотворца Петра, митрополита всероссийского! Что пишут! Знаете ли, что прежде только избранные допускались к живописи, что их торжественно благословляли святители, испытав наперед их искусство и нрав, что цари призывали в чертоги свои художников, благоговейно молясь их созданиям?»

В «Стоглавном уложении» сказано: «Подобает живописцу быти смирну и кротку, благоговейну, непразднословцу, не смехотворцу, ни сварливу, ни завистливу, ни пьянице, ни убийце. Наипаче же подобает ему хранить всякую чистоту, душевную и телесную, в посте и молитве пребывать, и с превеликим тщанием воображати, и писати, что вообразить божественное. Царю таких живописцев подобает жаловати и святителям брещи и почитати их, паче простых человек, зане бог талант великий открыл им!»

Я начал учиться у старика и переселился в новый, очарованный мир. Мое дело сливалось теперь для меня с нравственностью, с добродетелью. Не было у меня идеалов, не знал я великих творений человеческих, но я видел что-то небесное, таинственное в занятии моем. Славы я не ведал — мысль об *изящном* меня не касалась: я считал

себя исполнителем обета матери моей, и тем большую прелесть имело это для меня, что соединено было с тайною. Отец и домашние — никто не знал, как уходил я через сад к моему учителю. Старик полюбил меня, не слышал во мне души. По моей страсти, по моему образованию я превышал всех простых его учеников, цеховых работников, мещанских детей. Мысль, что у него учится *барич*, радовала старика и потому уже, что, придерживаясь немного старобрядства, он полагал высшие звания потерявшими чистую веру и радовался, что во мне успеет водворить древнее благочестие, радовался моей кротости, моей набожности. Во время работы он беспрерывно беседовал со мною. Он разговаривал о чудесах, о св. писании. Нередко, оставляя занятие, читал он со мною жития святых, плакал за ними и заставлял меня невольно плакать. Помню, как он рассказывал мне однажды видения святой отроковицы Музы, выбравшей во сне цветок смерти как величайшее блаженство в мире! Ангел подавал ей *три цветка* — она выбрала белый, прелестнейший — это была *смерть*, тихая, блаженная кончина, в чистоте и невинности, награда благоугодившей богу отроковице... Со слезами слушая сию повесть, я ждал моего ангела, благовестника смерти... Скоро, однако ж, не стал я довольствоваться учением у моего старика, снова улетаю в область мечтаний. Голова моя разгоралась в мечтаниях. Я старался объяснить старику свои темные мысли.

«Неужели, — говорил я, — ты думаешь, что изображения твои выполняют всю мысль величия и святости, какие может человек понимать и хочет изобразить? Я воображаю себе красоту бога выше красоты человека. Неужели человеку нельзя изобразить этой нечеловеческой красоты, если он ее понимает? Для чего же он понимает ее? Неужели и не было покушения стать выше той степени, на которой находится твоя живопись?»

«Были, сын мой, — отвечал мне старик, — были такие покушения, но неизобразимое тщетно будем стараться изобразить! Поймешь ли ты бога? Но посмотри: этот треугольник с сиянием изображает тебе *мысль* твою о боге! Так и мои изображения представляют его: это нижняя ступень лестницы, виденной святым Иаковом, ступень, лежащая на земле, а конец лестницы скрыт в небе. Засни на этой земной, нижней ступеньке святым, детским, невинным сном и переносись только мыслию к созерцанию того, что невообразимо и неизобразимо».

«Бог неизобразим, — отвечал я задумчиво, — так, но он

являлся на земле человеком. Покажи мне хоть то, что было в нем тогда человеческого. Но неужели так груба была близна одежды преображенного на Фаворе бога, как ты ее изображаешь?»

«Нет! Лицо его было, яко солнце, и ризы его белы, яко снег, — да где же я возьму красок, дитя мое? В мире их нет! И могу ли изобразить сияние бога, если один луч солнечный, только еще солнечный, упавший на сияние, мною изображенное, темнит его! Говорят, что были будто бы где-то живописцы, до того чудно изобразившие преобразование и рождество, что человек в забвении может подумать, будто их не кисть писала человеческая, не краски изображали! Но я не верю этим рассказам. Видал я немецкие и итальянские картинки, которые католики называют образами, но это грубые портреты мужей и жен красивых — человеческие, а не божественные изображения. Сын мой! Будь прежде всего смиренномудр — не ищи того, что не дано человеку, или — горе тебе!»

Так, горе мне! Я искал, чего не дано мне! Но как мог я воспротивиться судьбе, увлекавшей меня по безднам несбыточных мечтаний!

Однажды утром застаю у моего учителя какого-то незнакомого мне человека, в простом сюртуке, в поношенной шляпе, с палкою в руках. Он сидел и тщательно смотрел на работу старика, расспрашивал о разных подробностях и заказывал ему написать образ самым старинным, *корсунским писанием*. Не обращая внимания на незнакомца, я подошел к благословию старика: так всегда начиналась моя работа; потом сел я за свой столик. Незнакомец, казалось, изумился, взглянув на меня.

«Любезный друг, — сказал он старику моему, — разве это твой ученик?»

«Да, милостивый государь.»

«Но, кажется, он должен быть из благородных, а не из цехового звания?»

Я был одет в своей курточке, с воротником *á l'enfant*¹

«Да, милостивый государь. Это сын моего соседа, господина казначея... между нами только сказать».

«Разве это какая-нибудь тайна?» — спросил незнакомец.

«Да, милостивый государь», — отвечал мой старик и рассказал ему вполголоса все происшествие.

Незнакомец слушал хладнокровно. Потом долго гово-

¹ на детский манер (фр.).

рил он что-то со стариком, но я не слышал их разговора, занятый моею работою: я покрывал тогда лаком икону. Совсем не заметил я, как незнакомец сел подле меня и глядел пристально на мое занятие. Он начал потом со мною разговор. Я привык уже видеть людей, приходивших к старику и расспрашивавших его из любопытства об его искусстве. Тут имел я случай внимательно рассмотреть незнакомца. Ах! черты его изгадятся из души моей только с моей смертию! Лицо незнакомца было бледно, черные волосы и густые черные бакенбарты придавали ему какую-то суровость; темные, унылые глаза его оживлялись участием. Ему было лет сорок пять, по-видимому.

Казалось, что мои ответы ему нравились. Но он вдруг замолчал и ушел.

«Кто это был?» — спрашивал я у моего старика.

«Бог его знает. Умный и, кажется, благочестивый человек, даром что барин», — отвечал старик.

Дня через два, когда отец мой после обеда сидел в своем садике, к нам явился чиновник из губернаторской канцелярии. Неожиданный приход этого чиновника встревожил весь дом, особливо когда он сказал, что *прислан от губернатора* и желает видеться с отцом моим. Отец мой опрометью прибежал в комнату. Мы толпою глядели из дверей, как раскланивался, как усаживал он гостя неожиданного.

«Что бы это такое значило! — вскричал мой отец, когда чиновник ушел. — К его превосходительству, завтра непременно, на особенную аудиенцию! И горе и радость! Зачем бы это? Неприятности никакой нет; он велел мне именно подтвердить это. Разве при своей особе хочет меня определить, *по особенным поручениям*? Что же? Славно! Жена! белую манишку и галстук белый приготовить мне к завтраму!»

Все мы, мать моя, даже слуги, только и толковали о том, что отец мой завтра позван к губернатору, *особенно и непременно*. Отец мой встал часом ранее обыкновенного, тщательно брился, беспрестанно глядел на стенные деревянные часы, боялся, радовался...

«Диковинка, диковинные вещи! — вскричал он, едва переступил через порог после своего возвращения. — Жена! Знаешь ли, зачем звали меня?»

«Нет, друг мой!» — отвечала мать моя, глядя на него с робким нетерпением.

«Его превосходительство просит отдать ему нашего Аркадия».

«Как отдать?»

«Да так, отдать, чтобы он воспитывался вместе с его племянником; он хочет самолучшим образом воспитать его и сделать значительным человеком».

Мать моя заплакала — не знаю, от горести или от радости. Я задрожал, в глазах у меня сделалось темно от слез, я зарыдал.

«И ты согласился?» — спросила мать моя.

«А для чего же и не так? С богом!»

«Чем я прогневал вас, папенька? За что хотите вы прогнать меня от себя?» — вскричал я, падая на колени. Слезы лились у меня ручьем.

«Ах ты, дуралей! — сказал отец мой, усмехаясь. — Поди вон и не говори ни слова».

Я ушел в другую комнату, плакал потихоньку, а между тем слушал, как рассуждали отец и мать мои. Они не понимали, что это значит: почему *его превосходительство* узнал Аркадия; почему он требует именно *его*? Мать моя думала, что это милость божия, хоть я и не в сорочке родился. Между тем я не понимал ничего в таком неожиданном перевороте дел. Я видал до тех пор губернатора только раза два, в блестящем мундире, окруженного большою свитою, знал, что его в городе все боятся, слышал, что он все может сделать. Жар и озноб чувствовал я весь этот день.

Мне было тогда лет двенадцать. Если может быть поэтическим названо воспитание самое беспорядочное, то мое воспитание, как вы видели, было поэтическое. Я жил в каком-то странном патриархальном мире, читал много, знал много и ничего не знал порядком. В училище, куда не переставал я ходить по уговору с матерью, меня почитали самым негодным учеником, ленивым, упрямым; даже не заботились, когда не знал я уроков или вовсе не приходил. Мать извиняла меня слабым здоровьем, хотя я был здоров, силен и крепок. Старик иконописец был от меня в восторге, мои успехи у него казались необыкновенными. Он не мог нахвалиться и тихостью, кротостью моего нрава. Таково было тогда во мне соединение противоположностей, и благословенный мир никогда и потом не сходил на меня, на мою душу, мое сердце, мое воображение: они вечно ссорились и ссорятся между собою...

В совершенном отчаянии, как будто на казнь, одевался я на другой день после обеда, когда отцу моему велено было приехать и привезти меня к *его превосходительству*. Я не знал: как мне войти в великолепный губернаторский дом, мимо которого с любопытством хаживал я иногда

мимо; где мне стать, как говорить и что говорить! *Его превосходительство* и — я! Нас разделяла бездна неизмеримая!

Но беспокойство мое немного уменьшилось, когда я узнал, что мы поедem не в дом губернатора, а на дачу его, верстах в трех от города. Однажды целым семейством гуляли мы там по саду, когда губернатор был в городе. Дом у него на даче был построен небольшой, но прекрасный. Мне страх как хотелось, помню я, войти в него, но отец запретил мне и думать об этом. *Его превосходительство* казался мне теперь не так страшен, когда не соединялась с ним мысль о великолепных его чертогах. В его хорошеньком загородном доме я как-то легче мог снести величие его превосходительства. Дорогою очаровательные окрестности, прелестное местоположение на берегу реки, рощицы, поля рассеяли мою грусть. Я опять оробел, когда, остановив старые дрожки свои у ворот, отец мой у крыльца еще снял свою шляпу и в сенях долго оправлялся, учил меня кланяться, потом на цыпочках пошел по зале, где большие зеркала, люстры, паркетный пол меня совершенно изумили. Я дрожал, подходя к кабинету: нас было велено провести прямо в кабинет. Но едва растворилась дверь, страх мой прошел. За большим бюро сидел тут — мой знакомый незнакомец, которого я видел у моего старика иконописца!

В пояс, множество раз, кланялся ему отец мой. Я стоял выпучив глаза, когда незнакомец мой подошел дружески к отцу моему и пожал ему руку.

«Познакомимся, любезный мой Аркадий!» — сказал потом мне незнакомец с улыбкою.

«Да где же губернатор, *его превосходительство*?» — отвечал я, не кланяясь ему.

Отец мой покраснел от стыда. Незнакомец опять улыбнулся.

«Неужели вы — губернатор, вы — *его превосходительство*?» — спросил я добродушно.

«Кажется, — отвечал он. — Прошу, мой друг, полюбить меня».

Я совершенно смешался.

«Ах! вас я уже полюбил! — вскричал я. — Вы такой добрый, такой ласковый. Не знаю, за что вас боятся люди!»

Незнакомец не мог утаить вздоха и грустно посмотрел на меня. Я едва не заплакал, я как будто понял его, мне стало его жаль, сам не знаю отчего. Тут хотел я, по науче-

нию отцовскому, поцеловать руку губернатора; он не допустил до этого, обнял меня и поцеловал в голову.

После того усадили порядком моего отца и меня. С изумлением глядел я на блестящие шкафы с книгами, на статуи между шкафами, дорогое бюро, часы. Сердце мое трепетало. Я пристально смотрел и на самого хозяина нашего, и лицо его казалось мне добрым, увлекало меня. Принесли чай. Я не смел взяться за дорогую фарфоровую чашку. Отец мой не знал, куда девать ему свою шляпу, и решился пить чай, держа шляпу под мышкою, как это ни было ему неловко. Тут явились племянник губернатора, мальчик моих лет, седой старик, гувернер его, и еще старик — вы его знаете: это мой добрый Семен Иваныч.

«У тебя будет товарищ, Саша,— сказал губернатор племяннику,— подружись с ним!»

Мальчик горделиво вздернул голову, потом ловко шаркался и начал говорить мне по-французски: я был уничтожен! Он так был шегольски одет, так ловок, так свободно ходил и прыгал по кабинету губернаторскому. Я дичился, чувствовал свое невежество, свою ничтожность.

Но в это время нечаянно растворили дверь в другую комнату, род небольшого будуара... картузик мой выпал у меня из рук, и я невольно вскрикнул:

«Ах! что это у вас там?»

Там увидел я несколько картин.

«Разве вы не знаете и никогда не видывали картин?» — спросил у меня племянник.

«Не знаю, не видывал!» — отвечал я, сложив руки на груди.

«Пойдем же смотреть!» — сказал племянник, прыгая. Он потащил меня за руку. Там, над диванами будуара, висело несколько картин в раззолоченных, богатых рамах.

«Вот, смотрите,— говорил мне племянник, указывая на картины,— вот *Корреджиева «Ночь»*, вот *«Иоанн Богослов» Доменикина*, вот *«Оссиан» Жироде*, вот *Фридрихов «Пустынный приморский берег»...*»

Я стоял вне себя.

Так вот оно то, о чем мечтал я в саду, когда молился там, узнав *обещание* моей матери! Вот те образа, о которых говорил мне старик учитель, называя слухи о них несбыточными!

«Дяденька! Он их вовсе не знает!» — сказал губернатору племянник.

«Он знает их лучше тебя!» — отвечал губернатор, стоя подле меня, поджав руки и с каким-то горестным наслаж-

дением смотря, как я позабыл всех и самого себя, стоял, глядел на божественные изображения! Это были копии с картин Доменикина, Корреджио, Жироде, Фридриха.

«Сядь здесь, любезный Аркадий,— сказал губернатор, усаживая меня на диван,— и скажи: нравятся ли тебе эти картины?»

«Разве это картины? — отвечал я.— Нет! Не обманывайте меня: ветер точно веет в волосах этого старика — этот месяц светит — а это тот самый святой апостол, которого Иисус Христос любил больше всех своих учеников — а это, видимо, господь новорожденный — от него сияние нестерпимо — посмотрите, как этот человек закрывает глаза: ведь он живой!» — Забывшись, я преклонил колена и молился.

«Довольно,— сказал губернатор поспешно,— довольно! Пойдемте, дети!»

Я позволил увести себя из комнаты, но ничего не мог говорить. Едва заметил я, как распрощался мой отец и куда ушел губернатор.

Едва мы отъехали немного от дачи, как отец начал меня бранить.

«Ты был дурак, мужицкий мальчик, шалун! — говорил он мне.— Сам ты не хотел прежде идти к его превосходительству, а теперь я уже тебя и не пушу, да и его превосходительство тебя прогонит!»

«Ах, папенька! Ради бога, отпустите меня к губернатору, ради бога, отпустите!»

«Да как отпустить тебя, этакого невежду?»

«Что же я такое сделал?»

«Ты вел себя, как деревенский мальчишка».

«На меня не разгневался, однако ж, его превосходительство?»

«Хуже! Все над тобой смеялись, как ты не умел кланяться и кричал, смотря на картины! Экая невидаль дураку! Потерял свое счастье, да и только!»

«Папенька! Я буду просить его превосходительство ради бога взять меня... хоть в слуги, только бы мне у него жить».

«В слуги! Где ты набрался таких неблагородных чувств и привычек, негодный мальчишка! В слуги! Лакейский дух какой! Нет, я тебя проучу!» — вскричал мой отец сердито.

Горько плакал я, когда мы приехали домой, и отец мой с сердцем начал рассказывать матери, что я посрамил его у губернатора. О боже! Моего возвращения ждали, как торжества: братья, сестры, слуги сбежались встречать

меня. Теперь я был прогнан в дальнюю горницу и плакал; все меня дичились, все надо мною издевались! Горе мое было тяжкое. И, право, я не жалел о том, что не буду жить в великолепном доме губернаторском, но мысль моя привязывалась только к будуару его, к этим чудным картинам. Ах! Как великолепно они носились теперь передо мною, как много высказывали они мне такого, о чем не мечтал я даже и во сне! Мне и в голову тогда не приходило творить самому что-нибудь подобное; я хотел только глядеть на них, видеть их, забывать, смотря на них, все: я не верил, что их создала рука человеческая, земными красками! Земле ли может принадлежать такой младенец? Для земли ли такое лицо, как у этого апостола? А этот старик!..

Я не переставал плакать. Отец прогнал меня от ужина, бранил мать мою.

«Вот до чего довело его твое баловство!» — говорил он. Впрочем, робея перед губернатором, он не заметил, что мы уже знакомы друг с другом. Но он сердился, бранился. Уныние распространилось во всем нашем доме.

Губернатор, *его превосходительство*, однако ж, не прогнал меня, не разгневался на меня, вспомнил обо мне вопреки словам отца. Рано утром, на другой день, явился кабриолет губернаторский за мною. Добрый Семен Иваныч приехал к моему отцу и сказал, что губернатор переселяет меня к себе на дачу, где я буду жить с его племянником, и что ему, Семену Иванычу, поручено быть моим дядькою. Изумление неописанное овладело всеми. Отец мой не верил глазам и ушам своим, качал головою. Я бросился на шею к Семену Иванычу, обнял мать мою и с восторгом уехал. Губернатора не было на даче. Меня провели в учебную комнату.

Простите, что я рассказывал вам мелкие подробности этого важнейшего события моей жизни. Повторяю: мне хочется показать вам, как странно увлекала меня судьба, как беспрерывно уводила она меня в какой-то волшебный мир воображения и ссорила с действительным миром, где ей надобно было как можно крепче приковать меня. Она забыла, видно, что мне надобно было ходить по земле и дышать земным воздухом! А я так безотчетно предавался увлекающему потоку жизни и всегда был еще впереди своего настоящего состояния! Я еще не знал тогда собственного моего бессилия — теперь иное...

С переселением в дом моего благодетеля началась совершенно новая для меня жизнь. Рассказывать вам внешние подробности ее нет надобности. Вы знаете, что

я жил у благодетеля моего до самой его смерти, более десяти лет. Через год меня не узнавали те, кто знал прежде. Лучше расскажу вам изменения моего душевного мира. Я был тот же, прежний, но сколько перемен во всем, во всем... Изменения морального бытия моего были безмерны, как безмерен был шаг, который вдруг сделал я. Меня, странного, мещански воспитанного мальчика, с моею так легко вспыхивающею головою, вдруг судьба сделала другим, сыном человека богатого, редкой образованности, высокой нравственности, совершенно не похожего на других ни жизнью, ни образованием! Я перестал знать различие между богатством и бедностью. Удобства жизни и роскошь, какими окружил меня мой благодетель, я принимал как дело обыкновенное и не думал благодарить его, ибо он без всякой оценки давал мне их, а я принимал, не зная, что люди ценят их весьма дорого. Так в течение нескольких лет я совершенно отвык от положительной жизни.

Еще более отделился я от мира состоянием души моей. Мой благодетель в юности своей сделался самовластным обладателем огромного имения; все льстило ему в будущем, люди казались рабами, готовыми служить для угождения ему, для его прихотей! Не зная тягостей службы, он был уже в чинах; не заслужив любви и дружбы, он был уверяем от людей в дружбе и любви и доверился им, был жестоко обманут, разочарован, не возненавидел людей, но был оскорблен ими и начал их презирать. Жизнь, казалось, улыбнулась ему наконец. Он узнал одно милое, очаровательное создание и предался всем обольщениям пламенной любви. Но она умерла, эта очаровательная девушка, а он ее *пережил!* Несколько лет после того он скитался за границу; наконец приехал опять в Россию, не хотел блестящих должностей и решился взять смиренное место губернатора в губернии бедной и отдаленной. Здесь, в совершенном уединении, жил он, благотворя подвластным, одинокий, только с самим собою мечтая о надеждах, так жестоко обманувших его. Весь жар души его, долженствовавший разлиться по его жизни, осчастливить его жизнь, горел теперь в грустной любви к ближнему, не освещенной ласковою доверенностью к людям. Он казался угрюм, суров — грозный всякому мерзавцу, унижавший других своим достоинством, не находивший людей, по сердцу, по образованию сходных с ним. Единственный наследник его, племянник, причинял ему только досаду. Это был ветренный, гордый, ничтожный мальчишка. Страсть к изящным

искусствам оставалась одною утешительною, постоянною страстью моего благодетеля. Увидев меня у иконописца, к которому зашел он, желая узнать подробности его малоизвестного искусства, добродетельный, одинокий, уединенный в самого себя, этот грустный мечтатель, этот пламенный мизантроп думал, что видит во мне поэтическое создание, предназначенное быть великим художником. Такое чувство привлекло его ко мне. Не только хотел он облагодетельствовать меня — нет! он хотел еще наблюдать во мне психологическое развитие души поэта. Системы едва ли не всегда неисполнимы и губительны, если их начертывает предубежденное в чем-нибудь воображение наше. Вследствие плана своего мой благодетель начал мое образование, чисто поэтическое, по жанполовской «Леване». Я с жадностью учился, к чему влекли меня мои непреодолимые склонности, но вовсе не учился ничему другому; убегал вперед в одном и решительно отставал в другом. Старый гувернер, добрый француз, воспитанник баттёвской школы, друг Катрмера де Кенси, часто спорил с моим благодетелем, уверяя, что он испортит меня своим *неклассическим* воспитанием. Но благодетель мой ничего не слушал, вскоре увлекшись ко мне привязанностию, наконец дружбою. Я сердцем понял его, несмотря на мою неопытность; он невольно открыл мне всю свою душу, передал мне свои чувства, понятия. Он не понимал опасности, какой через то подвергает меня. Он, тяжело испытанный, оскорбленный жизнью, разочаровывал меня в действительной жизни и уносил в идеальное бытие. Младенчеству надобны игрушки, юношеству также надобны игрушки. А он обратил мне в игрушку людей и действительную жизнь их, указывая на идеалы, как на истинную цель жизни, воскрешая свои разрушенные мечты в моей будущности и забывая свои погибшие надежды в моих!.. Но идеалам нет места на земле: человек обязан жить с постылою действительностью и только золотить ее, страшась будущего, как злого врага. Каждый из нас разочаровывается в жизни. Как легко это в свое время, в своем месте! Но не говорите юноше, что под розовыми щеками девушки скрыты костяные челюсти, что эта зелень лесов, и голубой цвет неба, и краски лугов и полей — простой оптический обман лучей солнечных! Не говорите ему, что и под маскою дружбы и любви кроется червь своекорыстия в сердце человеческом! Не говорите, что и жизнь наша есть также страшный скелет, что на земле природа *должна* иссушать зелень полей и замораживать ручейки и реки, потому что

без этого не будет у нее весны. Не говорите ему: вы его убьете!

А он говорил мне все это! Прощаю: ему было от этого легче самому, но я погиб! По слуху, я уже презирал и не любил людей, обожая в них человечество; по слуху, уже боялся я людских страстей и знал ничтожество многого, перед чем благоговеет грубое невежество простолюдина. И самая фанатическая добродетель его губила меня: она была не по плечу людям. Что же это такое? Урод нравственный!.. Все это отразилось на моем ученье, моей жизни, моей судьбе. Я более читал, нежели учился; голова моя наполнилась идеями, на которые недоставало у меня ни форм, ни образов, ни выражений, потому что я не знал ни жизни, ни света, ни людей. Так, я обожал моего благодетеля, но кроме его не хотел никого даже любить. Самые отношения мои к родным сделались странны: я видел грубое полупросвещение моего отца, его странные формы, простодушное невежество моей матери, мелкий эгоизм моих братьев. Тяжко сердцу, если оно не может уважать тех, кого любит! Я принужден был обходиться с моими родными, как с грубыми, необразованными детьми; братья мои просто возненавидели меня. Отец и мать терзали меня притом своими ничтожными требованиями: почему я не в службе — и опасениями: что ожидает меня впереди! Они не понимали, что такое значит и к чему поведет меня моя жизнь? Я наконец убежал от них. Но все, что было вокруг моего благодетеля, также не терпело меня. Напрасно уступал я его племяннику, сносил оскорбления от этого шалуна, от его приверженцев, которые видели в нем будущего своего повелителя. Ничто не помогало. Я не смел тревожить моего благодетеля, открывая ему свое мучительное положение, но терзался и был несчастлив, когда столько людей мне завидовало...

За все это мог бы вознаградить меня тот мир, в который свободно переносился я,— мир фантазии, мир художника. Я тщательно изучал под руководством моего просвещенного благодетеля все переходы этого мира в истории человечества. Тщательно учился я живописи. Без всякой корыстной цели, без предположенной системы рисовать сперва головки и ножки, заметить потом, в чем я более успеваю, перейти после сего к исторической, *шевалетной*, миниатюрной, пейзажной и бог знает какой еще живописи, избрать себе после того образцом какого-нибудь великого или не великого живописца, скопировывать его — изучал я живопись. И не живопись изучал я, но *искусство* как

искру божественную, запавшую в душу человека, как вечную идею, развивавшуюся всюду в мире, на Востоке, в Греции, в Средних веках. Я замечал все эти развития искусства, изучал мир, современный каждому его периоду, каждому его месту на земле, и хотел наконец угадать: что должен делать художник *теперь*, в *наше время*? Уверенный в том, что творение дважды не повторяется, что возрасты человечества также не повторяются однообразно, но совершаются отдельно и самобытно, как развитие бесконечного, окончания чего не можем мы угадать, а начала не знаем, я хотел знать требование *моего* века. Но, к несчастью, *великое* и *прекрасное* не суть следствие изысканий и соображений. Это вдохновение безотчетное, пророческое какое-то чувство, которое творит и создает невольно. Рафаэль долго думал, как изобразить ему Пресвятую, и терялся в размышлениях, мучился, терзался; силы его ослабели — он уснул. Тогда явилась ему Пресвятая Дева в том небесном виде, в каком он изобразил ее на изумление векам. Рафаэль вскочил с своего ложа. «*Она здесь!*» — вскричал он, указывая на полотно. И в забвении самого себя схватил он кисть и краски, забыл все, переносил свое видение на холстину, облакал мечту свою в очерки, в краски... Он *творил*, а не думал уже о том, *как творить*. Я верю этому происшествию, верю и тому, что великое «Преображение» его было тайною, мучительною мыслью всей его жизни; в этом я также уверен. И тогда только, когда душа его затосковала о близкой разлуке с миром, Рафаэль умолил божественное вдохновение сойти в младенческую душу его. Оно низошло к нему, как древний Зевес к Семеле, в громах и молниях, и сожгло его: помните, что «Преображение» недоконченное было поставлено при гробе Рафаэля — он не досоздал его и лежал перед ним мертвый — великое свидетельство, что может человек; печальное доказательство, чего не может он перенести!

С другой стороны, грустная механика искусств есть свидетельство, что с началом жизни зреет в человеке и начало смерти, что бытие его есть борьба живительного начала и начала разрушительного. Вы не поверите, если вы сами не изучали искусства какого бы то ни было, что за бездна тяжелой, ничтожной, механической работы предстоит художнику, пока звуки его инструмента будут составлять пленительную гармонию, пока резец его станет вырубать из камня идеалы красоты, пока краски его заблистают жизнью в картинах. Природа лишена ума, но ей отдано владычество над вещественностью; человеку дано

царство ума, но вещественность — враг его. Прислушайтесь, как ветер безумно вьется около струн Эоловой арфы и безотчетно извлекает из них звуки — как это легко ему! И как же трудно человеку обезуметь в изящном, чтобы так же безотчетно играть на великих струнах вещественности!

Эта механика искусства долго не покорялась мне, потому что я самовластно требовал ее покорности, а не рабски торговался с нею на маленькие уступки. Я хотел вырубить Кельнский собор одним ударом, из одного камня, забыв, что такого камня нет в природе и что этот собор строили тысячи людей триста лет...

Все мучения, все несогласия моего внешнего и внутреннего мира увеличились, когда я переехал в Петербург с моим благодетелем.

Что такое называете вы обществом людей? Не знаю; но, по-моему, это собрание народа, соединенного для вещественных польз — *только для вещественных*. В этом обществе есть место купцу, чиновнику, даже будочнику, а нет его ученому, если он не учитель, художнику, если он не ремесленник, поэту, если он не poeta laureatus¹ В провинции эта цель жизни общества так грубо, так нагло открыта, что чувство собственного достоинства спасает вас. Не так в столице. Там, возведенная на высокую степень внешней образованности, грубая цель жизни до того закрашена, до того залакирована, что надобно высокую философию, чтобы не увлечься в вихрь ничтожных отношений общества или не упасть духом, видя себя без места в этом мире, сгроможденном из вещественных отношений всякого рода. Все страсти там разочтены; все требования души и сердца дают подписку действовать в силу общих условий и забывать собственную свою волю. О! как возненавидел я тогда этот *большой свет*, увидев его, узнав его, возненавидел еще более, нежели ненавидел прежде грубую жизнь провинциальную! Там я *мог презирать*; здесь образованность, богатство, знатность не дозволяли мне отрадного чувства презрения. Здесь невольно рождалось во мне страшное, тяжкое сомнение: *не ошибся ли я?* Не эта ли жизнь есть, в самом деле, истинное назначение человека? Если же она и не назначение его, но люди условились в этом — условились все, дураки и умные, богатые и бедные, — что могу сделать один я в толпе их?

Благодетель мой по месту, какое занял он в Петербурге, был в самом блестящем кругу. Все было рассчитано и

¹ поэт-победитель (лат.).

условлено между им и обществом. В этом расчете и племянник его, с своим новым, блестящим мундиром, с своим светским образованием, с своими требованиями на успехи в свете, получил свое значение; и камердинер горделиво стал у дверей, для того чтобы докладывать своему барину о приходящих; и швейцар спокойно остановился подле своей конурки, как будто говоря: «Прошу не трогать меня, я на своем месте!» Где же мог поместиться я? Люди хотели знать: что я такое подле моего благодетеля? Племянник его мог отвечать: «Я глупец и шалун, но я его племянник и наследник!» Люди вежливо кланялись ему. Если бы я сказал им: «Я художник; я потому в вашем обществе, что благодетель мой знает мою *душу!*», люди изумились бы. *Душу?* А ее-то тщательно прятали они друг от друга! *Художник!* Но что такое были для них искусства и художества? Забава от нечего делать, средство рассеяния, что-то вроде косморамы, на которую смотрят они сквозь шлифованное стекло, требуя от нее условной перспективы.

В Петербурге я осиротел и во внешней жизни. Занятия по службе и большой свет теперь более прежнего отвлекали от меня моего благодетеля. Нам редко удавалось жить вместе. Утро, обед, вечер всего чаще бывали у нас отняты. Я играл жалкую роль, являясь утром, когда толпились у него *деловые* люди; в обед, когда собирались к нему люди *равные* ему; вечером, когда съезжались к нему *убивать время* за картами и сплетнями. Это общество было нестерпимо холодно, как крещенский мороз. Но оно же показывало мне и безмерную неравность в отношениях между мною и благодетелем моим; оно и разделяло нас бездною неизмеримою, бездною состояния, занятия, отношений, приличий. Тогда только, с ужасом, узнал, заметил, увидел я все это! Я видел, правда, и то, что благодетель мой сам терзался от своего нового рода жизни. Как часто, оставаясь со мной, он по-прежнему спешил делиться душою и сердцем, отдыхал в разговоре со мною, в чтении, в суждении о моих занятиях, о моих мечтах. Но он приметно бременился своею жизнью, тяжелою, заботливою, блестящею и пустою, как японская ваза, расписанная яркими цветами: она светилась насквозь, и в ней ничего не было, кроме пустоты...

Если я сказал вам, что меня убивал взгляд людей на искусство, скажу, что еще более убивал меня взгляд на искусство современное. Видя, что ему нет места как положительному занятию в жизни общественной — бедное! как оно гнулось, изгибалось, какой позор терпело оно, чтобы

только позволили ему хоть как-нибудь *существовать!* Начиная с самого учения, оно делалось чем-то похожим на горшки с цветами, которые ставят на окошках для того, что надобно ставить их и что можно притом похвастать хорошим фарфором, редкими, хотя и уродливыми, заморскими растениями и красивыми, дорогими цветочницами. Оно походило на колонны, которые ничего не поддерживают, но стоят близ опрятных лачужек петербургских и подле огромных домов — алебастровые карикатуры мраморных колонн греческого Парфенона и римских вилл, поставленные для того, что в Афинах и в Риме их ставили! Начинают теперь гнать *схоластические* и *классические* формы из нашей литературы, но в искусствах они царствуют у нас беспрекословно, самовластно. И при них ли что-нибудь может родиться? При них ли развиться самобытности века и народа, когда при том смотрят на искусства, как на прихоть роскоши; когда художники делают из своего занятия или *profession* и должность, или ремесло.

Наши *аматёры* были для меня еще несноснее! Глупец решительный, совершенный глупец, для меня сноснее, нежели глупец, который хочет умничать. Они, эти восковые души, эти конфетные сердца хотят быть *литераторами, поэтами, художниками?* Я много читал сатирических описаний, как светские люди дают концерты, разыгрывают театральные пьесы, занимаются живописью, музыкою, — но все еще, кажется мне, этот предмет далеко не истощен — и неистощим. Пусть бы они переводили гравюры на свои модные столики, разрисовывали цветами бархат для своих ридикюлей, играли в своих аматёрских концертах пьесы, которые, как попугаи, твердили они тысячу раз и вытвердили наконец... Нет! они хотят еще вдохновений, настоящих занятий литературою, и живописью, и музыкою! Им мало альбомных стишков, мало карандашных копий с эстампов, в которых мечтают они видеть творения Рафаэля, Доменикино, Мурилло; мало котильонов и вальсов, переделанных из чудных тем Россини и Вебера! Они судят, они сами творят безобразные свои недоноски, своих кукол, одетых в лоскутья пошлого подражания! Они собирают себе галереи, где им все равно — изысканный Тициан, фламандская мясная лавка, приторная Ангелика Кауфман, и великий Мурилло, и страшный Доменикино — рядом с ними! Они говорят: «Я купил прелестного Гвидо Рени — я променял своего Караваджо — я получу завтра прекрасного Тинторетта...» От всех этих людей... я бегал без оглядки. Но я попадался к художникам *ex professo*, по

должности, по назначению, потому, что их учили живописи и благословили быть живописцами, укрепив это дипломом. И как же иначе? Они высидели в школе положенные годы, прошли *натурный* класс, они умеют рисовать с бюстов и статуй, они дерзают списывать произведения божественных гениев — они, они *списывают* Корреджио и Рафаэля, Мурилло и Доменикино! Послушайте: это было мне нестерпимо больно. Да! волосы становились у меня дыбом, когда я видел все это, слышал обо всем этом! Дрожь принимала меня, когда я видел ученье по ланкастерской методе особого рода, ученье, где начинали копированьем ушей и глаз, отрезанных от картин Рафаэля, и выходили слепые; но хотели судить! Да, судить, по известной мерке, по тому, что слышали они в классах, и писать на заданную тему, как пишут акrostихи, дистихи, мельестихи, шарады. И об этом живописном *буриме* с важностию толковали потом; сличали, как изобразил тот или другой предмет тот или другой известный живописец и что у кого умел занять себе новый художник: от Снейдерсовой ли собаки заимствовался он хвостом, от Поль-Поттеровой ли коровы взял он главное украшение картины! И дело решал знатный барин какой-нибудь, великолепный *любитель*, бросая сколько-нибудь денег отличенному мазилке! «Если бы у нас были меценаты, ему подобные; если бы у нас было всегда такое ободрение; если бы у наших живописцев были всегда такие выгодные работы!» — восклицало собрание других мазилок.

Да неужели Рафаэль создавал потому, что папа задавал ему работу для ватиканской галереи и для фламандских ковров? Неужели Корреджио лучше создал бы свой исполинский мир в Пармском соборе, если бы ему заплатили за него сотни тысяч? И разве вам самим не задавали создания великолепных храмов, вековечных памятников, святых иконостасов? Что же вы сделали? И неужели, в самом деле, вы уже такие нищие, которым есть нечего? Дайте им поскорее жалованье, ради бога, обещайте пенсию, когда они состареются! Но за то велите им мести мостовую или вязать кружево — только запретите им приниматься за кисть. Они убьют искусство. Оно и то еле дышит!

Вы видите, что я должен был со всеми перессориться, потому что я не скрывал своих мнений, истинные или ложные они — не знаю. С досадою спрашивали у меня после того собственных моих созданий, а я с горестию видел, что ничего не могу представить, что, утопавший в море идей

и идеалов, я работал неумоимо, жег себя в работе; но уже самое то губило меня, что я поставил цель свою недостижимо высоко и стыдился всего, что было ниже моей цели.

Наконец, я не мог более выносить ни других, ни самого себя. Я хотел просить благодетеля моего: позволить мне уйти пешком за границу, в отечество Дюреров или Рафаэлей; просить его, чтобы он забыл обо мне, как желал я, чтобы весь свет обо мне забыл! Я хотел сказать ему, что если я буду достоин его надежд на меня, его родительской ко мне нежности, то имя мое скажет ему моя слава! Если же *нет*, если мне суждено упасть, погибнуть под бременем самого себя и несбыточных моих мечтаний, то да позволит он совершенному забвению скрыть мое имя и даже то место, где успокоится голова его безумного Аркадия, которого судьба с детства тащила насильно на погибель! Но я не смел говорить всего этого моему благодетелю, ибо чувствовал, что я нужен ему для утешения его больной души. Без меня он остался бы совершенно *одинок*... Время проходило.

Его здоровье видимо наконец расстроивалось от не свойственного образа жизни, от трудных его занятий. В один вечер мы остались с ним одни. Он не велел никого принимать, чувствуя себя особенно нездоровым. Он рассматривал мои новые эскизы, говорил с жаром, с каким-то особенным чувством... он так любил меня, он так хорошо меня понимал!

«Аркадий! — сказал он мне. — Я не хочу скрывать от тебя радостной для нас обеих вести. Я думал было изумить тебя нечаянностью, но не буду отнимать нескольких приятных дней ожидания для того только, чтобы тем сильнее поразить тебя потом известием неожиданным. Знаешь ли, что я подал просьбу об отставке? Слушай далее: едва получу отставку, немедленно едем. Хочу поселиться в Италии. Здоровье мое расстроивается совершенно. Мне не для чего беречь его, но зачем же и быть самоубийцею».

Говорить ли мне о моем восторге? Я целовал руки моего второго отца, я едва не плакал от радости. Италия, Италия!.. Мы проговорили с ним до глубокой ночи. Мой благодетель прожил некогда года два в Италии. Он много рассказывал мне вообще о своих путешествиях, об Италии особенно. Теперь мне усладительно было вновь услышать от него все, что уже слышал я прежде. Наконец он встал, простился со мною, взял свою ночную лампадку. Все в доме давно уже спали. Мы были с ним одни совершенно.

Выходя из комнаты, он вдруг остановился... Как теперь помню я этот бледный свет, упавший от лампадки на его бледное, задумчивое лицо! Он еще раз взглянул на меня, улыбнулся, протянул ко мне руку и сказал четыре стиха любимого своего поэта:

Du mißgönnst
Dem Bild des Märtyrers den goldnen Schein
Um'es kahle Haupt wohl schwerlich; und gewiss,
Der Lorbeerkrantz ist, wo er dir erscheint,
Ein Zeichen mehr des Leidens, als des Glücks!.*¹

Что такое были эти слова? Предчувствие, страшное предвещание будущей моей участи, изреченное устами того, кто вырвал меня из растительной моей жизни и указал мне на достоинство человека?.. Это были *последние* слова, слышанные мною от моего благодетеля!

Я ушел в свою комнату; грустное впечатление последних слов скоро пролетело, я вспомнил о предстоящем путешествии, голова моя была в жару, я не мог спать, ходил, думал, мечтал... К утру только заснул я... Просыпаюсь, услышав рыдание... это был Семен Иваныч... Он стоял подле моей постели и не мог выговорить ни одного слова... И без слов его я понял ужасную истину... «Он умер!» — вскричал я вне себя. Бросаюсь в спальню благодетеля моего... Тих, спокоен был лик умершего; задумчивая улыбка застыла на устах его... Смерть не смела стереть этой улыбки. Он был теперь счастлив... он рассчитался с жизнью...

Аркадий не мог более продолжать, закрыл лицо руками и тихо плакал. Крупные слезы текли между его пальцами — так крепко прижал он руки свои к лицу... Я не в силах был выговорить ни одного утешительного слова. Всякое утешение казалось мне оскорблением священной горести, какую чтит он память незабвенного для него человека.

* Гете.

Едва ли будешь ты
Завидовать сиянью золотому
Вкруг мученика голой головы.
И знай, что так же лавровый венок —
Скорее знак страдания, чем счастья.

Пер. С. Соловьева

— Oui, ma douce amie, malgré l'absence, les privations, les alarmes, malgré le désespoir même, les puissants élancements de deux coeurs l'un vers l'autre ont toujours une volupté secrète, ignorée des âmes tranquilles. C'est un des miracles de l'amour de nous faire trouver du plaisir à souffrir, et nous regarderions, comme le pire des malheurs un état d'indifférence et d'oubli qui nous ôteroit tout le sentiment de nos peines...¹

Ж. Ж. Руссо

— Или я создан иначе, или неправду говорят, что величайшая горестъ всегда безмолвна. Нет! после первого оцепенения какого-то, продолжавшегося несколько минут, походившего более на душевное несуществование, нежели на скорбь, я зарыдал, слезы мои полились, как будто душа моя хотела выхлынуть с ними через глаза мои. Три дня плакал я, почти не переставая, почти не отходя от бездушного трупа того, кто столько лет был моим провидением...

Я едва замечал, что делалось вокруг меня. Помню, что слуги моего благодетеля горько плакали; что великолепная процессия шла за гробом его по Петербургу, что люди подходили, спрашивали: «кого хоронят?» — слышали имя и спокойно шли, кто куда шел, иной на рынок, иной в суд, иной прогуливаться — дело обыкновенное! Воротясь с кладбища, заперся я в своей комнате. Во все эти дни только однажды приезжал племянник, теперь наследник моего благодетеля. Потом явился он на похороны, провожал тело покойника и прямо с кладбища уехал куда-то. Я не начинал с ним говорить; он как будто не замечал меня. Мы были с ним чужие.

Сырой, пасмурный был этот день. Наступил вечер, тяжкий, грустный. Безмолвно ходил я по своей комнате, в ужасающем одиночестве. Ни прошедшее, ни настоящее, ни грусть, ни печаль, ни мысль о будущем, ничто не втеснялось в мою душу. Во всем доме было безмолвие, приво-

Да, моя нежная подруга, невзирая на разлуку, утраты, тревоги, даже на отчаяние, само всеильное влечение двух сердец приносит нам сокровенную отраду, недоступную безмятежным душам. Обретать радость в самом страдании — это и есть одно из чудес любви, и нам показалось бы злейшею бедою, если бы безразличие и забвение лишили нас способности чувствовать наше горе.

Пер. Н. Немчиновой и А. Худадовой

дившее в трепет. Ничто не шелохнется в этом жилище, еще недавно оживленном деятельностью жизни, ума, сердца! Кабинет моего благодетеля был запечатан. Казалось, что с смертью его все умерло — умер и я! Уничтоженный, как будто несуществующий, ходил я по комнате, ни о чем не думал и не мог думать.

Бесчувствие мое было столь велико, что я не заметил, как вошел ко мне какой-то угрюмый незнакомый человек. Его провожал старик камердинер покойного. Угрюмый незнакомец объявил мне, что отныне ему препоручает все имение свое племянник покойного, что все распоряжения и доверенности прежнего владельца уничтожаются, и все дела поступают к нему, г-ну управляющему. Хорошо; но что же мне была за надобность до его дел? Я молчал, смотрел на незнакомца; он принужден был сам начать продолжение своей речи и сказать мне, что доверителю его не угодно оставлять за собою этого дома, что он его отдает в наем, что для этого надобно очистить дом, а посему и просят меня выехать из него немедленно.

Да! какая глупость! С чего вздумал я сюда воротиться с кладбища? Как мне было не знать, что с смертью моего благодетеля для меня все было кончено; что мир вещественный должен был теперь схватить меня и мстить мне за то, что столько времени я не жил в нем? Эта мысль пролетела в голове моей, когда мне объявляли, что меня гонят из дома, где провел я столько лет с моим вторым отцом... Счастливо или несчастливо? На что спрашивать: у меня было сердце, понимавшее меня, была целая семья чувств в этом сердце... Теперь — *одинокость*, страшное уединение души и сердца — и страшное лицо мира, с его двумя тусклыми, помраченными от низких страстей очами, на которых не ищите божественного отблеска первосоздания! Мне казалось, что я видел уже эти два глаза, на меня устремленные, чувствовал холодное дыхание мира и людей на моем сердце, замечал, как две огромные руки ничтожных забот о жизни обгибаются вокруг меня, хотят схватить, поднять меня, и мир злобно хочет после того смеяться над моею незащищенностью, моим сиротством, держа меня в страшных своих когтях... Холодный пот выступил у меня на лбу. «Но посмотрим, — думал я, — посмотрим, что ты сделаешь со мною, мир? Я от вас ничего не потребую, ничего не захочу, люди! Тяжко тому, кто чего-нибудь хочет, и ему этого не дают; а кто ничего не хочет, ничего не требует?»

«Долг мой был предуведомить вас, милостивый госу-

дарь», — сказал мне наконец незнакомец, удивляясь, повидимому, моему молчанию.

«Я слышал все это», — отвечал я ему.

«Итак, благоволите приказать убрать ваши вещи».

«У меня ничего здесь нет, милостивый государь, — отвечал я, — никаких вещей. Все, что вы ни видите, принадлежало моему благодетелю — теперь принадлежит все это его наследнику».

«Он позволяет вам взять с собою все, что было подарено или поступило во владение вам из движимости его покойного дядюшки. Вместе с тем прошу объявить: не имеете ли вы каких документов, по которым вам следовало бы получить какую-нибудь сумму или что-нибудь отдельно во владение?»

Я чувствовал, что лицо мое загорелось.

«Документов никаких я не принял бы, и благодетель мой не стал бы мне давать их, — отвечал я. — В течение многих лет, пока я жил в его доме, подарил он мне несколько книг, несколько эстампов — вот эти золотые часы. Я готов все это отдать...»

Я вынул часы из кармана и осмотрелся кругом по комнате, где лежали мои любимые книги и портфейли. Странное чувство! Как грустно стало мне, когда я подумал, что мне должно будет со всем этим расстаться, со всем этим, что столько лет составляло часть моего внешнего бытия! И это чувство могло вгнездиться в душу мою, когда я был убит горестью о потере моего благодетеля? Но это чувство *есть в сердце человеческого*: мать плачет сильнее, видя игрушку, которою играл сын ее; слезы каплют чаще, когда мы смотрим на столик, за которым видали прежде милое нам существо, которого теперь уже нет...

Стыдитесь за меня!

«Надеюсь, что все эти безделки отдадут мне?» — сказал я. Да, я сказал это, когда за минуту столь горделиво готов был объявить миру: «Я *ничего* от тебя не требую!»

«Разумеется», — с улыбкою отвечал мне незнакомец.

Он ушел, а я ходил по комнате. И в это время место прежнего безмыслия вдруг заступил в голове моей хаос различных мыслей. Они летели, пролетали, сверкали, пересекали одна другую. Прошедшее, настоящее, будущее — все было возбуждено коротким разговором с незнакомым мне новым управителем дома. «И после тебя начались обыкновенные действия людские, как будто после самого ничтожного человека! Где же следы, где истинная память твоя? Для чего же *ты* жил? — думал я. — Для чего я живу?»

Что было твоё бытие, твоё истерзанное, обманутое жизнью бытие — и *мое*? — невольно прибавил я. — Завтра идти из этого дома... Куда? Зачем? Надобно жить! Для чего? Что мне в будущем?»

Это был пароксизм какого-то нравственного бесчувствия, жгущая лихорадка души. Думаю, что если бы в эти минуты кто-нибудь подал мне пистолет... хладнокровно спустил бы я курок, приставив дуло пистолета ко лбу, и не понимал бы в то же время, для чего я это делаю! Как хорошо знал подобное состояние души Байрон!..

...Vacancy absorbing space;
And fixedness without a place...
...Silence, and a stirless breath,
Which neither was of life nor death;
A sea of stagnant idleness,
Blind, boundless, mute and motionless!..

Но это не было ещё последним расставанием с жизнью. Сколько времени этому прошло? Пять лет, да, пять лет — я многого ещё не знал тогда! Жизнь так дешево не даёт отпускных. У меня оторвалось тогда только полсердца; но человек может жить, пока остается у него хоть маленький кусочек сердца. Только тогда он умирает, когда этот *последний* кусок разорвется. А пока человек ещё жив, ему надобно жить. Я пережил тяжкую минуту бесчувствия и после того не мог уже умереть. Жизнь опять подкралась ко мне. Душа моя пустила новые побеги; жизнь усеяла их новым пустоцветом...

Она сошла ко мне прежде всего благодетельным сном. Я забылся — уснул. А когда я проснулся, сквозь зеленые занавески окна пробивался луч едва только восходящего солнца, и этот луч осветил мне будущее какою-то отрадою, сказал мне, что между мертвым и живым нет более отношений. Живому жить, мертвому тлеть. Мне казалось, что совершившееся недавно уже перешло в область отдаленных воспоминаний, что благодетель мой умер уже давно. И что такое *давно*? Разве не мысль человеческая меряет его? Разве она не может раздвинуть минуту на целый век и целый век сжать в одной минуте?

Теперь сидел я в креслах своих, где провел несколько часов, забывшись сном, сидел мрачный, но — бодрый и

¹ ...пространство, наполненное пустотой; прикрепленность без определенного места... безмолвие и неподвижность воздуха, не говорившие ни о жизни, ни о смерти; стоячее море бездействия, слепое, безбрежное, безмолвное и неподвижное!.. (англ.)

здоровый. Вчерашние слезы мои высохли. «Пойдем отсюда! — думал я. — Пойдем, сыщем себе пристанище!» Тут, машинально, рука моя обратилась к моему бумажнику. Я вынял его, развернул: в нем лежала ассигнация 25 рублей; я вынял мой кошелек: в нем был рубль серебра и несколько серебряной мелочи. Все это оставалось у меня от денег, которые ежемесячно давал мне благодетель мой на мелкие расходы. Я разложил эти деньги перед собою. «Тут будет у тебя столько, чтобы не умереть с голода на первый раз... — думал я. — А там? а там...»

Уныло склонилась голова моя. «Что же потом? Работать для насущного хлеба?» Я содрогнулся. Дверь тихо растворилась. Осторожно вошел ко мне Семен Иванович. Его седые волосы, франклиновский вид, его черное с плерезами платье, красные от слез глаза (он не переставал плакать, уединяясь от всех) — в первый раз все это поразило меня. Со времени кончины моего благодетеля я почти не замечал моего доброго Семена Ивановича — неблагодарный! Что же теперь? Семен Иванович, по обыкновению, нес ко мне маленький мой кофейник, чашку, молочник на маленьком серебряном подносе.

«Батюшка, Аркадий Иванович, — сказал он мне, — услышав, что вы изволили уже встать, я принес к вам ваш кофе».

Поверите ли, что это меня растрогало, обрадовало? Еще раз прежде, хоть во внешнем, как будто ничто не изменилось вокруг меня! Еще человек близкий ко мне.

«Но почему же узнал ты, Семен Иванович, что я уже встал?»

«Я, признаться, батюшка, видя, что вы очень обеспокоены, спал у вас подле дверей. Вчера этот новый управитель так грубо поступил с вами — я боялся...»

«Садись, Семен Иванович, — сказал я, почти до слез тронутый добротой старика, — полно говорить об этом. Мы должны расстаться, мой любезный Семен Иванович!» — продолжал я, протягивая к нему руку.

Я хотел только пожать его руку; он бросился целовать мою. Поспешно отдернул я руку и вскочил с места.

«Нет, нет! это невозможно!» — вскричал я.

«Батюшка, Аркадий Иванович! — сказал мне старик, — простите моей дерзости! Вы мне не приказываете говорить об этом, изволите прощаться со мною».

«Что делать, мой любезный Семен Иванович! Общее несчастье наше...»

«Оно, конечно, велико; я все еще не могу удержаться от

слез, да и в целый век об этом не наплачешься, но отчаяние — грех пред богом, тяжкий грех! Вам особенно, когда вас бог одарил всеми благами, умом и красотой (старик и теперь уверен, что я величайший красавец), вам будет еще жить хорошо, а мне — остается жить немного, следовательно — тоже хорошо!»

Что мог я сказать на это? Открыть ему, этому простодушному старику, состояние души моей вполне? Или, для увертки, сказать, что у меня есть нечего, и оттого так грустно смотрю я на будущее? Напротив, его простые слова: «*Отчаяние есть грех пред богом!*..» Что мог я возразить на сии слова? Разве не *отчаянием*, не *грехом* должно было назвать безотчетное, тревожное состояние души моей, самое себя терзающей? Сказать же, что меня сокрушает неименее денег, голодная смерть в будущем, когда у меня были две здоровые руки — стыд!

«Батюшка, Аркадий Иванович,— начал старик, помолчав немного,— не отриньте вы моей просьбы: я весь тут, у меня нет ни роду, ни племени. Барин давно уже дал нам всем отпускные, когда еще здравствовал: я свободный человек; да куда я пойду? Позвольте мне жить у вас; я еще могу служить вам не хуже молодого. Вспомните, что вы на руках моих выросли: вы не захотите и теперь расстаться со мною. Не правда ли?»

«Любезный Семен Иванович! на что тебе подвергаться на старости лет труду и беспокойству!»

«Какое же беспокойство? Простите моей дерзости: ведь я всегда почитал вас своим сыном; думаю, что и теперь могу еще быть для вас полезным. Вы совсем не знаете хозяйства; я хотел заменить вас собою, чтобы вы могли между тем, по обычаю вашему, на свободе думать и писать ваши прекрасные картины, как было при старом барине».

«Я сам еще не знаю, где я буду жить,— сказал я,— и *чем жить!*» — едва не вырвалось у меня.

«Не знаете? А я так почти знаю,— отвечал старик, усмехаясь. В изумлении взглянул я на него: он оробел, смешался.— Я думал, что вы позволите мне жить с вами и приготовил было для вас и для себя квартиру, по вашему вкусу, прекрасную, веселую... простите меня! — Старик сложил руки с умоляющим взором.— Я знал, что у вас теперь нет денег. У меня, во время моей службы у барина, скопилось до двух тысяч рублей. Они лежали в ломбарде. Вчера я взял их оттуда, нанял квартиру; вот остальные деньги на разживу *нам*... О! у вас под руками золото будет

родиться, а теперь... Батюшка, Аркадий Иванович! не откажи: утешь меня, старика! Вспомни, что душа моя сжилаась с тобою, что я столько лет ходил за тобою, как за родным...» — Он хотел стать на колени.

Я бросился к моему старому другу и обнял его, этого слугу, — он был выше в это время, гораздо выше многого, что называют люди высоким! Я обнял бы его перед целым миром и горделиво сказал бы: «Обнимаю человека». Отказаться от такого предложения я не мог, более — оно согрело душу мою, мир умел подкрасться ко мне в виде этого старика, под личиною добродетели.

С тех пор мы уже не разлучались. Немедленно пошел я с ним осматривать мою новую квартиру. В самом деле, я увидел несколько веселеньких комнат. Семен Иваныч в тот же день перевез мои вещи, устроил маленькое хозяйство. Началась новая жизнь моя. Горесть моя успокоивалась мало-помалу и превращалась в грусть и унылую память о былом. Опять все возрождалось теперь в душе моей. Около года жил я в глубоком уединении. Чего не передумал, не перечувствовал я в это время!

Я узнал теперь прежде всего, как мало было надобно человеку для вещественной его жизни, о которой столь много заботятся люди. Семен Иваныч доставил мне некоторые работы, и этого достало мне прожить год. Двум-трем богатым купцам надобны были портреты их самих, жен их, детей; каким-то поэтам надобны были картинки к их поэмам. Механически сделал я все это и никуда, ни к кому не ходил. Все еще не было мною решено, что мне делать с самим собою? В этот год снова переучил я все, что знал, перемыслил, о чем думывал прежде. Множество эскизов, рисунков, этюдов сделано было мною. Темная мечта — ехать в Германию и Италию — становилась, однако ж, постоянною моею мыслию. Я хорошо знал *наш* художественный мир и не хотел вступать в него. Но все это — мысли, мечты, предположения, ученье мое, — все было так неполно, мертво! Художник без живых страстей и ощущений, художник-мизантроп, какое-то недовольное создание, критически изучающее свое искусство, художник, который насильно старается разочаровать мир и природу и носится в неопределенных безднах между небом и землею, — что это такое? Все что угодно, но не истинный художник. Фридрих пишет пустыни безлюдные, дикие, необитаемые — часто изображает он просто одно бесконечное море, но, посмотрите: тут есть, однако ж, клочок земного *берега*, тут *нет людей*, но есть *земля* их, и на ней видны остатки разби-

той лодки, и чайка носится тут над каким-нибудь полуразрушенным крестом, а под этим крестом могила, и в ней,

Под мягким дерном гробовым,
Спит сердце, некогда земным,
Смятенным пламенем согрето!

Правда, и у меня была в мире могила, единственное место, куда ходил я гулять, могила незабвенного; но она молчала, он молчал! А душа моя требовала живого ответа, звала к себе живую душу! Где же была эта живая душа, друг моей, *моя*? Я вопрошал и могилу друга моего, и мир: могила его не отзывалась мне, а мир шумел вокруг меня и не думал замечать моих скорбных воплей.

Однажды вечер был прелестный: один из тех вечеров петербургских, по которым лета петербургского не променяю я на лето одесское или таганрогское, теплое, но богатое жаром, пылью и мухами. Проведя целый день в уединенной работе, я отправился на кладбище; дорогою встречалось мне так мало народа; на кладбище совсем никого не было: помнится, тогда весь Петербург гулял на островах, где показывали ему разные диковинки — фейерверки и еще что-то такое; о кладбище ли думать в это время петербургскому жителю, который за фейерверком готов скакать двадцать верст и только одного не променяет на гулянье: свидания, назначенного знатным человеком, в его передней! Меня радовало, что решительно никто не встречался со мною на *ниве божией*: мне было так свободно на ней одному доспрашиваться ответов у самого себя, беседовать с могилою моего благодетеля. Шумный город остался за мною, в городском тумане. Уже долго сидел я и мечтал на гостеприимной могиле моей. Ее не тяготил еще тогда великолепный памятник, какой поставили на ней после. Меня не отчуждала еще от нее золотая надпись, где исчислены ордена и чины покойника, а не сказано, какое сердце скрывает эта драгоценная могила, какого человека прах тлеет в ней! Я забыл самого себя в усладительной тишине этой природы, в тихом спокойствии этой могилы. Природа, меня окружавшая, на этот раз — казалось мне — не была мертва: она дышала так понятно, весело, так тепло веяла она вокруг меня! Мне казалось, что я чувствую даже биение пульса ее, что он отзывается мне даже и в этой хладной могиле, что каждая травка, смятая моею ногою, говорит мне: «Не презирай, не уничтожай меня — ведь я жива!»

Тут легкий шелест шагов послышался вблизи. Оборачива-

чиваю голову: девушка в черном платье идет поспешно, не видя меня; лицо ее закрыто вуалем...

Знаете ли, что я никогда не любил и теперь не люблю женщин? Я не люблю *женщин*, эту касту, эту *секту* (как называет женщин наш милый поэт, воспевавший их, будто ангелов, ненавидевший, будто демонов). *Женщина!* Кто из них самих не рассердится за такое название? Сами они не любят его: им хочется в ангелы, в человеки, в матери. Тогда только жалобно говорят они: «я женщина», когда раздраженная ими страшная воля мужчины разрывает цепи, какими они оковывают ее, они, пигмеи, мирмидоны, нарумяненные Омфалы, заставляющие своих Геркулесов пряхсть нитки и целовать башмачки и трепещущие их львиной кожи! О, тогда они говорят тихо, жалобно: «Я женщина!» Переведите на настоящий смысл эти два слова: вы узнаете в них печаль души человеческой, понимающей свое жалкое, бедное полубытие, принужденной слабостью своею защищаться от грома, от молнии, горящих, гремящих в полной душе мужчины. Во всю жизнь мою до того времени почитал я женщин загадкой, которая не стоит разгадки, шарадою, у которой два слова имеют смысл, являют два смысла, если их читать отдельно, и — никакого, если сложить их вместе. Это клавиши, на которых играют страсти мужчин. Самые неприятные воспоминания о женщинах остались у меня от моего детства; я совершенно разочаровался, видев потом женщин в большом свете. От аркадских идиллий меня брала зевота. Не хорош наш железный век, но, боже мой! что же был золотой! Только *одна женщина* существовала в мире, показала миру и унесла с собою из мира идеал, постигнутый потом в вещественных его формах Рафаэлем. Венера Медицейская мне всегда нравилась как кусок мрамора, обделанный для анатомического образчика женского тела; всегда смотрел я на эту статую, как философ смотрит на восковое изображение трупа, изучая в нем физического человека.

Но теперь, в это мгновение — место, уединение, тишина, черное платье, закрытое лицо — это не была женщина: это была какая-то идея, прилетевшая ко мне на призыв души моей. Незнакомка останавливается, не видит меня, закрытого кустами, которые насадил я вокруг могилы моего друга. Да она и не смотрит никуда — она стоит подле какой-то своей могилы; она становится подле нее на колена — она тихо плачет, приклоняет к этой могиле свою голову... С изумлением, не смея дышать, смотрел я на это создание, на его легкие, прелестные формы... Она что-то

шепчет, говорит; напрягаю слух и слышу только одно слово: «Маменька!» Но как произнесено было это слово! — Милое, милое создание! пусть на одре смерти моей, в последний час моих смертных терзаний, скажут мне его, это слово, произнесут его мне этими звуками — они вдруг украсят всю прошедшую жизнь мою, они усладят мою смерть... «Мать моя!» — скажу я тогда в свой черед природе и засну, как засыпает дитя на лоне своей матери, и эти звуки будут мне предвестником того, что услышу я в небел..

«Веринька! где ты?» — произнес мужской голос.

«Здесь!» — отвечала тихо незнакомка.

Сколько идей, мыслей, выражений соединилось для меня в одном этом слове? *Здесь она* — при гробе матери! Где же ей быть? Она неземная — мир в это время смеется, веселится, глядя на паяцев. Там собрались и *женщины*. Но что ей до них? Ее ищите здесь, здесь, где лежит все, что привязывало ее к миру — берегитесь, не испугайте ее: у нее есть крылья... И она *Вера*, она пришла сюда, когда и я пришел сюда! И рядом покоятся здесь два драгоценные ей и мне существа! Мы *свои* с нею; вот они, *наши* — эти две могилы, доказательство, что мы с нею родные. Откуда пришла она? Кто она? Зачем вдруг исчез весь мир, разделивший нас доселе? Зачем он вдруг столкнул нас, и говорит нам: «Плачьте вместе!» Неужели слезы наши, смешавшись вместе, будут небесною росой, от которой должен снова ожить и расцвести увядший цветок нашей жизни? О! мы обманем мир — он свел нас на грусть и печаль, а мы найдем надежду и радость!

К незнакомке подошел немолодой мужчина. Он казался мне таким добрым. Пристально глядя на него, я ничего особенного не находил в его лице, но что-то необыкновенно доброе и простодушное оказывалось во всех его движениях. Это была поэзия своего рода — народная песня, пропетая добрым весельчаком.

«Я знал, что найду тебя здесь, — сказал он. — Дурочка! Всегда бежит сюда опрометью! Ну, что все плакать? — Он отвернулся и отер тихонько слезу, которая покатила по его смуглой щеке. — Пойдем! Посмотри-ка, что за славная эпитафия!» — продолжал он и начал читать забавную надпись на ближней гробнице; но — он притворялся: голос его дрожал.

«Пойдем! — повторил он, но, опираясь на свою палку, не двигался и осматривался кругом. — Много, — сказал он, — много вас, дружки, собралось здесь! И много тут

хорошего схоронено!» — Он задумался и произнес несколько стихов — вы знаете, чьи эти стихи?

Как быть! а всем одно! всех на пути
Застигнет сон... Что ж нужды? Все мы будем
На милой родине! Кто на кладбище
Нашел постель — в час добрый! Ведь могила
Последний на земле ночлег; когда же
Проглянет день, и мы, проснувшись, выйдем
На новый свет, тогда пути и часу
Не будет нам с ночлега до отчизны...

Никогда эти добродушные, простые стихи не являли мне столько прелести, как теперь! Мне казалось, что я вижу самого сторожа ночного, самого Гебеля, который не сочиняет свои стихи, а так, остановясь на кладбище, думает их вслух.

«Вот и этот был куда славный человек! — продолжал незнакомец, указывая на могилу моего благодетеля. — И памятника никто не поставит, и поплакать никто не придет...» — продолжал он задумчиво.

«Папенька! я всегда молюсь за него, когда бываю у маменьки! — сказала незнакомка, подходя к отцу. — Я знаю, что он был ваш благодетель».

Тень твоя радовалась тогда, второй отец мой! Здесь вдруг билось три сердца, которые *не забыли* тебя! И он был благодетель отца ее, благодетель ее! Она молится за него! Великий боже! Если ты, тень священная! привела меня сюда, благодворя мне еще и по смерти, привела для того только, чтобы я узнал *ее*...

Я тихо поднялся с могилы. Нечаянное появление мое, казалось, изумило незнакомца. Дочь его робко прижалась к его руке. Он смотрел на меня пристально, но спокойно.

«Если не ошибаюсь, — сказал он, — вы Аркадий Иванович, живший у покойного генерала, вот у этого доброго, почтенного человека?» — Он указал на могилу. Лицо незнакомца выражало особенное любопытство.

«Вы не ошиблись. Извините, что я испугал вас, помещал вам, может быть; но вы говорили о человеке для меня драгоценном».

«Ему был я в свое время обязан многим».

«Я никогда не видал вас у него?»

«А я вас знаю... Мы видались».

«Не помню, извините...»

«В училище живописи, у г-на N. N.»

Тут вспомнил я, что, точно, мы видались; но я пропускал это лицо без замечания. И что мне было заметить

в нем? Оно всегда сидело за вистом, когда случайно я прихаживал вечерами, раза два-три, к N. N., одному из главных учителей в училище живописи.

Мы пожали друг другу руки, как старые знакомые. Старик был отменно словоохотлив; он начал со мною разговор. Дочь его молчала. Он успел рассказать мне, что некогда был определен в училище живописи пособием моего благодетеля. Но потом оставил он свое занятие и потому, когда возвратился благодетель его в Петербург, он уже не являлся к нему. Теперь он был чиновником, рисовальщиком, переводчиком при одном из министерств.

«Но я все-таки, сударь, немножко охотник, аматёр в живописи. Все училище до сих пор мне знакомо. Главные учителя мои старые однокорытники». — Старик засмеялся. Его откровенность, добродушие, воспоминание о благодетеле моем, может быть, всегда сблизили бы нас. Теперь могли бы мне не понравиться? Он был *отец ее* — а мне казалось, что душа ее уже давно мне знакома, и все родное ей было родным и мне. Мне все нравилось теперь в старике; нравился даже этот грубый лоск образованности, какой воспитание художника, самого дрянного, придает ему. Так грамотный образованнее неграмотного, хотя бы только по складам читал он. Понравилось мне и то, что незнакомец не мучил меня вопросами: что я такое? где я? Впрочем, повторяю: что не понравилось бы мне, близкое к ней? Странное свойство человека: глупость отвратительна, невежество глупо; но если на них брошено покрывало отношений — глупость кажется добродушием, невежество — первобытною, доброю простотою человека. Человек неумолим, и он же так способен извинять, так снисходителен; и эти две противоположности могут быть в одну минуту, от одного слова, и никакой ум не защитит в этом случае от заблуждения! Нечувствительно пошли мы все вместе, перешли кладбище, вошли в город; разговор наш не прерывался. Незнакомец был шутив, ласков и словоохотен — я влекся за ним... Чего желал я? Зачем шел? Не знаю, не знаю! *Она* шла с нами вместе; но что же была мне она? Я еще не видал даже ее лица, не говорил еще с нею ни одного слова, но я и не хотел видеть лица ее. Она могла быть безобразна, урод! Какое мне дело? Я уже знал ее: душа ее сказалась мне на могиле матери ее, на могиле моего благодетеля.

Вдруг остановились мы подле хорошенького, опрятного домика. Я изумился, огляделся кругом.

«Зайдите, сударь, ко мне, Аркадий Иванович, — сказал

старик, пожимая мне руку.— Мне очень приятно познакомиться с вами покороче».

Вообще я небрег тогда о моем наряде. Еще менее думал я о нем, идя на кладбище. Я бормотал извинения.

«Ничего, сударь, ничего»,— сказал старик, удерживая меня за руку. Мне хотелось бы спросить у нее. Она как будто поняла меня.

«Папенька,— сказала она,— кажется, пора пить чай!» — и проворно пошла вперед. Я пошел за отцом ее.

Редко можно встретить жилище, небольшое, но столь хорошо, мило, удобно расположенное. Коврики, диваны, столики, светлые стекла в дубовых окончиках, цветы на окнах — и эта женская заботливость, видимая повсюду, в шитье по канве синелью, бисером, гарусом, в разных мелочах, доказывающих искусство, вкус, занятие хозяйки. И притом чистота, опрятность, несколько литографий за стеклами, прекрасное фортепиано. Мы сели в диванной, подле небольшой гостиной. Веринька явилась тотчас; она скинула свою шляпу; я увидел ее вполне.

Много раз после того старался я отдать самому себе отчет: что такое пленяло, очаровывало меня в ней! Нет! она не была урод, безобразна! Милое, привлекательное личико, свежее, как роза, с большими глазами, то принимающими веселое, живое выражение, то вдруг унылыми, задумчивыми, но всего более ничего не выражающими, ибо выражение дают страсти; эфирный стан, маленькая ножка — но у какой же, хоть немного сносной, шестнадцати-семнадцатилетней девчонки всего этого нет? Что же особенно пленяло, очаровывало меня в ней? Что безвозвратно решило судьбу мою? Что? Не знаю: я тщательно изучал лицо Вериньки; я могу изобразить его вам ощупью, если вы закроете мне глаза, и — никогда не напишу я ничего похожего на Вериньку — не напишу ни ее взора, ни ее голоса, ни ее движений, ни ее души. Но все это, отдельно взятое, так просто, так обыкновенно... Боже! как хороша ты, моя Веринька; но скажи мне: что в тебе хорошего?

В первый раз после кончины моего благодетеля мне хотелось участия других. Думаю, что я говорил тогда хорошо: мы говорили о благодетеле моем, сердце мое невольно высказывало себя. Мы были, как будто давно знакомые. Веринька сидела за столом, молчала, не замечала того, что локон ее, развившись, падал в беспорядке, что легкая косыночка скатилась с одного плеча ее... Она двигала серебряную ложечку по подносу, задумчивая, иногда с участием подымая на меня глаза свои. Когда я гово-

рил о последнем вечере, проведенном с моим благодетелем, на глазах ее навернулись слезы — она поспешно ушла из комнаты. Я простился с стариком и побрел к себе...

Сказать ли вам глупейшее из всех слов, какие только находятся в языке человеческом? Это глупейшее слово — «влюбиться»! Этим словом унизил человек святое имя, которым называл себя сам бог. Так человек унизил великое слово «могу», заменив его словом «должен». С первым исчезло в любви все небесное, с вторым высокая воля человека заменилась невольною обязанностью, и пропало бескорыстное вдохновение добра! Человек был создан из добра и любви, с ними все соединялось у него в первобытной его жизни. Кто был добр, тот любил; кто любил, тот был добр. И любовь роднила душу человека с мертвою природою. Философия не разогреет веры, и не логикою убеждаются в ее святых истинах, но сердцем. Там, в сердце человеческом, воздвигнут алтарь святой веры, рядом с ним поставлен алтарь любви, и на обоих горит одинокая жертва вечной истине — пламень надежды! Без этого пламени солнце наше давно погасло бы, кровь в человеке давно застыла бы, и кометы праздновали бы только погребальную тризну на скелете земли, с ужасом спеша из мрачной пустоты, где тлеет труп ее, спеша туда — выше, далее, где свет чище, ярче, более вечен... Вы дивитесь чудесам в великом, но зачем не наблюдаете вы их в малом? Наша земная любовь не есть ли отблеск любви вечной, огня небесного — украденного, говорили греки, Прометеем каким-то. Нет! он не был украден, этот огонь: он мы — дитя не крадет молока своей матери: его всасывает оно с жизнью!

Я не умел *влюбляться*: я *любил*, едва только узнал любовь, как начал жить, едва только узнал жизнь. Жизнь разлилась во мне с первым моим дыханием, разлилась в мозгу, в крови, в костях моих. Так было теперь с любовью. Я жил с тех пор потому, что любил, и любил потому, что жил. Тут для меня не было ни идеалов, ни отдельного чувства — было все! Вскоре не было и меня, отдельно существующего — была только моя любовь. Вы хотите узнать, что происходило со мною после того? Я *любил*. Хотите знать, каким образом Аркадий, о котором рассказывал я вам до сих пор, сделался тем, что вы видите в нем теперь, как мирились и снова ссорились в нем все возможные противоположности, почему всегда хотел ехать и не поехал я в Италию? Отчего видели вы во мне какого-то упавшего, но счастливого своим падением человека, отчего

видите теперь почти сумасшедшего? Я *любил* — и только: более ничего я не знаю. Ни сил, ни памяти моей не останется рассказать вам все то, что заключено в одном слове: *любить*. Вот несколько лоскутков бумаги, на которые бросал я иногда свои заметки — одну из тысяч!

Аркадий вынял из бюро своего множество лоскутков бумаги.

«*Прошедшее!* — сказал он усмехаясь. — Я буду смотреть в этом на самого себя, как на что-то любопытное постороннее. Простите беспорядку, нескладнице — иногда я сам ничего не понимал; мне иногда самому казалось, что я на один шаг от сумасшествия... О Веринька! что ты со мной сделала!»

«Мир в сущности своей лучше, нежели нам кажется; мы сами лучше, нежели мы думаем. Небо и земля, по-видимому, отдельные; но они слиты вместе. Станьте на высокую гору, выше *низкой* земной поверхности — на земле, однако ж, — и вы увидите, что земля кругом вас сливается с небом. Но *на земле* станьте для этого, а не в облаках; иначе земля обовьется для глаз ваших густым туманом земной атмосферы, и вы потеряетесь в бездне этого пустого тумана. Ногу на землю, взор в небо — вот истинное твое положение, человек! Но ты устаешь смотреть в небо? Хорошо; мы не можем глядеть на солнце — меньше ли его очарователен месяц? Заоблачное небо закрыто от нас солнцем, и на эту закрышку смотреть также нельзя — ослепнешь! Однако ж иногда и на солнце глядеть можно. Надобно только темное стекло. Так на счастье можно смотреть сквозь *темноту* жизни человеческой, сквозь несчастья. Тогда блеск его не ослепляет. А кому свет счастья нестерпим, тот смотри на месяц; вместо золотых лучей солнца он утешит вас своими серебряными лучами...

Святое должно быть прекрасно; все *прекрасное* должно быть свято для человека. Если вы без веры входите в храм, будет ли он для вас храмом? И зачем вы пришли в него? Не так ли все прекрасно потому, что вы чисто душою убеждены в этом? После сего есть ли что-нибудь на земле не прекрасное? Для того родится оживотворенная вера в него — *художник*. От его волшебного прикосновения то, что на земле *казалось не прекрасным*, получает красоту, делается *изящным*.

Если ты любишь прекрасное только в камне, только

в красках на холстине, будет ли полна душа твоя? Никогда: ты любишь мертвые формы, ты не знаешь *души* прекрасного, заключенной в живой жизни его.

Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь, что только невинность, младенчество души достигнет мира, после которого начнется новое, обетованное царство искусства и знания. Человек ищет истины, роясь в гниющем трупe ума, вооруженный анатомическим ножом. Ему надобно искать его в полноте жизни, искать не наукою, но верою. Мы уже слишком много *знаем*. — Чувствую, как душа моя начинает отдыхать теперь и как много начал я *делать* с тех пор, когда перестал *испытывать*. Какой-то святой огонь радости и тишины греет душу мою. А если я ошибаюсь и если это утомление души? — Нет! это не утомление! Чувствую, что теперь на плечах моих подниму я горы. Вот разница: прежде я *отчаивался*; теперь *надеюсь*. Надежда — сестра веры... Какое слово, какое имя! Чье это имя! Подруги любви?

Однако ж как грубы формы жизни их, формы их мышления! Этот старик, художник по диплому, рисовальщик машин, как мало он знает, как грубо он чувствует! Мне смешно, когда он начинает говорить об искусствах. А *она* молчит — и заставляет меня краснеть при мысли: не дура ли она? Но ребенок разве глуп? В нем небесные формы, он только не знает наших выученных фраз. Бог с ними! Не эти ли фразы губили меня до сих пор! Богочеловек призывал детей прямо в царство свое, а нам с какими тяжкими условиями жизни, с каким крестом дозволено думать об этом царстве! *Погуби разум свой, разумный!* будь дитя... Однако ж это грустно, когда нет ответа душе моей, когда я должен возить тележку детскую или стучать в детский бубенчик, чтобы уравниваться с *нею*...

Как я ошибся, как глуп был я! Как устыдила она мою гордость; какое величие души! Я изумлен! Так глубоко чувствовать сердцем, так безотчетно понимать сердцем все великие тайны ума и искусства, так задумываться над великим и потом так добродушно отвечать: «Понимаю, но не знаю состояния души, в котором это может улаждать

се!» Она не знает еще наслаждений страдания! Три часа говорили мы. Она скрывает себя от других. Нет! это не глупое незнание, не холодное равнодушие. Рафаил долго жил в семействе Товии, и никто не замечал крыл его. Так в ней все великое и прекрасное живет с нами. Сколько мыслей возбудила она во мне, сколь многое разрешила мне одним взглядом! А этот вопрошающий взор, устремленный на меня, когда она не понимает чего-нибудь? А эта радость, когда она начинает понимать, эта детская радость...

Он совсем не так глуп, и люди, его окружающие, не так глупы. Что лучше: большой ли свет, где все на ходулях и в масках, или этот малый, где люди ходят в первобытных одеждах и не закрывают масками простых лиц своих? Однако ж на вечера их я не пойду более. Мне скучно. Зачем же сидел я там до пяти часов утра? Аркадий! ты можешь привыкнуть, а это дурно.

Зачем теперь не думаешь ты о своей Италии? — Но как я поеду туда? — Пешком идти надобно тебе. — Хорошо, только зачем же? Не сам ли я всегда опровергал нелепость: изучать искусство в образцах? Это та же теория. Разве вдохновение, разве изящное есть какой-нибудь колдун или кикимора, которые скрываются в развалинах Колизея или пугают из грязи Понтинской? — Но, Аркадий, ты хотел туда ехать, бежать? Ты хотел бежать туда от людей, от самого себя. Но теперь тебе не совсем дурно. Отчего твое довольство собою? Отчего...

Я не спал всю ночь. Гром и молния, дождь, ветер мешали мне спать. Голова моя болит.

Что за странность! Семен Иваныч уверяет, что ночь была тиха и прекрасна. Можно ли так ясно видеть сны? Но спал ли я? Кажется, нет! — Сомнение есть признак мудрости. — Как глупа эта сомневающаяся мудрость! И как будто мудрость может сомневаться!

Бессонница моя продолжается. Вчера я видел сон и с ужасом вскочил с постели — а он был так прелестен! Чего испугался я? Противоположности с действительным?..

Неужели обман и мечта — это счастье! Ради бога, уверьте меня, и жизнь моя перед вами — возьмите ее: я все еще дешево куплю небо на земле! Как она спрашивала меня: почему не был я целую неделю? Как слезы навертывались на глазах ее, когда она говорила мне о бледности лица моего! Если это просто *участие*, что же *любовь* ее?.. Чувствую, как голова моя кружится; или я сделался солнцем, вокруг которого вертится все... Веринька, милый друг! «Веринька, ты забыла гостей своих», — говорил ей отец. Она *заговорила* со мною. Я хотел уйти, но она так взглянула на меня, что я бросил шляпу, сел в угол и молчал. Как мило щадила она меня, не стараясь вовлечь в разговор, и как украдкой оглядывалась она на меня! А это движение, когда она прикладывает руку к груди, как будто у нее грудь болит... болит... Неужели от этого чувства больно груди? Или грудь человеческая не привыкла к этому святому чувству? О Веринька! Что ты такое?

Зачем пошел я к ним сегодня! День грусти и тоски нестерпимой! Она так обрадовалась, когда увидела меня, сделалась так весела, так ласкова ко всем, она прыгала, как дитя. Зачем она не бросилась ко мне и не прижалась к груди моей? Чего она боялась других? Что тут худого? Я обнял бы ее, как ангелы обнимают ангелов, душа моя так чиста была в то время... Но после этой радости не совестно ли ей было уравнивать меня с другими? Хуже: я казался ей более чужим, нежели все другие! Она убежала моего взора, ничего не говорила со мною... А эти два дурака, которые окружали ее, — они меня взбесили. Зачем она позволяет себе быть с ними всегда веселою, ласковою, а со мной так часто задумывается, молчит.

«Вы меня пугаете!» — сказала она и затрепетала. Разве взор мой сделался страшен в это время? Мне ужасно как хотелось выкинуть их в окошко.

«Что вам за радость говорить с этими дураками?» — сказал я.

«Какое же право имеете вы почитать их дураками и запрещать мне говорить?» — отвечала она.

«Право, *Веринька*».

В первый раз я назвал ее так. Она, казалось, собрала все свои силы и сказала с негодованием:

«Я всех в мире люблю!»

«Всех?» — спросил я злобно, чувствуя, что готов был позабыться.

«Неужели те, кого мы любим, должны терзать нас?» — сказала она со слезами на глазах, умоляющим голосом и ушла из комнаты.

Я убежал домой. Это невыносимо... Бог с тобой, Веринька! Люби всех. Я могу любить *одну* и хочу, чтобы она одного меня любила. Сердце человеческое не должно быть постоянным двором, где всякого принимают с равной ласкою: это храм, где воздвигается жертвенник одному. И для кого бесславишь ты святое имя любви? Их любить? Любовь тратить по мелочи?... Как ты жалка, бедная Веринька, как ты бедна, жалкая девочка! Ты смешна мне. Я думал что-то найти в тебе — кланяюсь тебе, хорошенькое личико, — люби всех, люби... Кровь моя бросилась в голову... Презрение — незаконный брат любви, но родной ей по матери.

Старик заходил ко мне и пенял мне, зачем я позабыл их. Я немедленно пошел к ним, завернувшись в горацевскую епанчу философа. Ровно три недели я не был у них. Ее не было дома. Это меня обрадовало. Я думал отделаться визитом моим. Да и что ей во мне? Она не считает минут моего отсутствия, она не ждет меня, — ей все равно! Отец говорит, что она очень здорова. Горько улыбался я, слыша, что еще вчера, вчера они где-то провели всю ночь, все прыгали, плясали. Зачем не вошла она в эту минуту, веселая, насмешливая? Я никогда бы не явился к ним более. Она вошла поспешно, задыхаясь от усталости, но унылая, печальная.

«Что с тобой сделалось?» — спросил отец.

«Я бежала опрометью, — отвечала она вдруг, — мне сказали, что Аркадий Иванович пришел... я думала, что вас, папенька, нет дома», — прибавила она краснея.

«Какая приветливость!» — подумал я и с досадою взялся за шляпу.

«Вы не будете пить чай у нас?» — спросила она в замешательстве.

«Нет!» — отвечал я грубо.

Отец вышел в это время. Глаза ее обратились ко мне; они, казалось, спрашивали: что значит все это?

«Вы у нас так давно не были».

«Разве вы заметили мое отсутствие? — Она молчала, несносная! молчала! Хоть из учтивости бы сказать: *да!* — Вы весело проводите время», — продолжал я, едва скрывая бешенство.

«Ах! очень весело!» — сказала она, как будто боясь, чтобы разговор не обратился на что-нибудь другое.

Но я и не думал обращать его ни на что, был хладнокровен, спокоен. Тут, видно, ее рассердило мое равнодушие, и она — женщина! — нашла средство терзать меня! Скрывая досаду свою, с улыбкою она начала рассказывать мне о вечере, где они были. Ничтожная девчонка, стрекоза, бездушное создание! Я выдержал характер: захохотал, отвернулся от нее и ушел в кабинет к отцу ее. Там сидели какие-то старики. Я не видал ее более, потому что через полчаса ушел. Но — стыдись, Аркадий! ты видел ее! Да, я остановился на улице, против окна; она сидела на диване, задумчивая, печальная... Так-то я видел ее в первый раз. Но — клянусь богом! — что я смотрел на нее теперь, как на картинку. Зато дождь промочил меня до нитки. Он заступился за женщину, которая не могла победить твердости мужчины. Желая доказать свое упрямое равнодушие, я стоял и смотрел целый час.

Она любит меня! Нет сомнения! Ее поступки не кокетство. Но в ней вовсе нет сердца, или она глупая кукла. И ты, Аркадий, передашь себя ей, этой девчонке? Ты помиришься на этой любви, на этом ребяческом чувстве? Разве ты не видишь: она женщина просто. Не мне она, не мне — пусть явится избранный, мишурное создание, вывальсирует с нею из круга людей, объяснится с нею где-нибудь на бале, на прогулке, пусть благоразумно скажет он ей, что обожает ее. Она потупит глаза — карикатура, карикатура! Хохочу, когда подумаю! У нее есть тоже свои дрянные идеалишки, своя кукольная комедия дружбы пансионской — вероятно, и любви, — ей пора сменить одних кукол другими куклами. «Объяснитесь с папенькою, я от себя не завишу». — «Но позвольте ли мне надеяться, что мое желание не возбудит негодования вашего...» Нет! глупее надобно: «Но смею ли думать, что не оскорблю вас...» И в заключение всего: «Как я счастлив!..»

Семен Иваныч услышал мой хохот и вошел ко мне. В самом деле, какие глупости пришли мне в голову...

Чудная Веринька! скажи, кто ты: демон или ангел! Нет! ты *неземная* — это я знаю лучше самой тебя. Великого не стыдит унижение добровольное. И я понимаю, что ты скрываешься от людей, ты снисходишь к ним, ты равняешь-

ся с ними, ты не хочешь оскорбить их, открыв им свое небесное происхождение! Тебя оскорбило бы признание мое: ты думаешь, что словами не выражают чувств, ты чувствуешь, что надобно жить, дышать этим чувством, эту любовь — но не говорить о ней! Сегодняшняя прогулка, где так нечаянно мы встретились, где в толпе людей мы были одни, где мы говорили так мало, где я мог вести тебя под руку, слышать сильное трепетание твоего сердца, где ты забывала земной язык, где прижималась ты к моей руке, и я казался твоим защитником...

«Полно говорить об этом — ради бога, перестаньте!» — сказала ты мне, когда я начинал рассказывать тебе об ужасном состоянии души моей: я не смел говорить о любви моей.

«Полно, Аркадий, топ воп ами! ¹ Вы не поверите, как тяжело слышать, что вы несчастливы! При вашем сердце, при вашей душе... Вы не должны быть несчастливы!»

«Что же составит мое счастье, Веринька, что составит его? Не люди, нет, не люди! Дайте мне одну *душу* любящую, понимающую меня... — Она вся затрепетала. — Вы мне и жаловаться на это не позволяете?»

«Могу ли я быть вашим руководителем, Аркадий!»

«Будьте им, будьте моим ангелом-хранителем».

«Мы не понимаем друг друга».

«Нет! вы меня понимаете».

«Боюсь понимать, может быть...»

«Меня ли можете вы бояться? — сказал я с жаром. — Испытайте меня, заставьте меня делать, говорить, думать, что вам угодно! Передайте только мне мир души вашей!»

Как начала она после того говорить, как чудно изъясняла мне свой детский, невинный, ангельский взгляд на мир, на людей! Только гордость моя не позволяет мне согласиться, что она права... Теперь я вижу всю ее душу! Я готов был преклонить колена перед нею, не думая казаться странным; в лице ее обожал я великую идею любви... И вся толпа, окружающая нас, также преклонилась бы перед нею, если бы только я сказал ей несколько слов, этой толпе. Никакое сердце, ничья душа не лишены своего участка неба.

Нет, Веринька! — так дешево не отдам я тебе себя! Твоей детской любви мне мало. Хочешь ли быть *моею*?

¹ мой добрый друг! (фр.)

Отрекись от себя; не думай быть со мною счастлива; вообрази, что страшное, неизъяснимое бедствие ожидает тебя со мною; что только горькие слезы будут тебе отрадою... Тогда-то мы будем счастливы, но счастливы не по-земному: тогда жизнь моя, душа моя, моя вечность принадлежат тебе! Ты еще не знаешь счастья *умереть вместе*, после жизни ужасной, бедственной, от которой содрогнулось бы все, кроме любви. Любовь не боится ничего, всего менее — смерти. Это чудовище, столь гибельное, страшное всему другому, есть ангел-благодетель любви! Отдайте Вериньку кому угодно, забросьте ее за моря, за непроходимые леса и горы, позвольте мне ползти на коленях по всему свету, искать ее; разбейте лодку, на которой поплыву я, и бросьте меня, истерзанного, об острые скалы приморские, только бросьте к ногам ее, так, чтобы мой последний взор устремился на нее, встретился с ее взором, выражающим любовь... — Вот счастье, вот что я знаю в любви...

Она способна, она может так любить — она готова будет скитаться со мною вечно, по земле неприязненной, с нищенскою сумою, с посохом, которым мы будем стучаться под окном поселянина, выпрашивая ночлега любви нашей... Аркадий! ты сумасшедший!

Как странно говорил со мною сегодня отец ее! Чего он хотел? Не думает ли, что я *жених* его дочери, что я также хожу к нему, как другие, *играть в свадьбу*? И неужели она смотрит на меня, как на толпу других молодых людей, из которой более нежному, более скромному, более прилежному в искании, представляющему более удобств в жизни она отдаст свою руку? Веринька! неужели я *женщину, невесту* обожаю в тебе? Неужели ты думаешь, что я не посмел бы любить тебя, если бы ты была царица? Побоялся бы любить тебя, если бы ты была нищая бродяга, а я сильный царь? Ты прекрасна, Веринька: в глазах твоих небо, стан твой зефирен; но подурней, милый друг! сгорбись, сделайся безобразна! Тогда только увидишь ты, люблю ли я тебя! Принадлежи другому — что же мне? Я люблю душу твою — она всегда будет моею.

Нет, нет, о боже мой! Ей принадлежать другому! Нет! все — *только не это!* Я не переживу этого — больше недели не переживу. Что смерть? To die, to sleep!¹ Мне нельзя будет тогда *даже и умереть*: ты останешься в мире...

¹ Умереть, уснуть! (англ.)

Напрасно хотеть воротиться теперь — это уже невозможно, бедняк! Если она и не то, если она ничтожна, если ты должен играть жалкую, презренную роль ничтожного любовника, как этот долговязый молодой человек, который вчера навязывался к тебе в друзья, — все кончено! Ты думал властвовать ею, ты думал, что она боится, трепещет твоей исполинской силы, а она опутывала тебя паутинными нитками — и опутала! Видишь ли, кто теперь повелевает: она или ты? Что за лицо представляешь ты у них в доме? Что ты — привидение ли, которое приходит пугать других? Или шут, над которым все забавляются? Куда как глуп ты с своими мечтами, с своими высокими мечтами! Вчера ты хотел остаться в своем кабинете, и что же? Целый вечер у них; и целый вечер ты сидел наряду с другими, играл в дурачки, рисовал карикатуры! Тебе дали альбом, и ты вписывал в него глупости — цветочки, хижинки — и был весел — весел — вот что мне всего досаднее! Ты потерял всю власть над нею: она уже не тревожится твоими взорами, уже не боится тебя. Огонь безумных, сильных страстей погас! Она так спокойна, весела, так уверена, что ты всегда придешь к ним. Ты не смеешь уже изъявить ей никакого противоречия. Вчера, помню, при первом слове она тихо пожала мне руку и сказала: «Опять пугать меня, Аркадий?», и я замолчал. Ей весело играть в эту ничтожную любовь, в этот звонок жизни, по которому веселая радость и крошечное удовольствие являются, когда их позовут! Она дитя, она забылась сном, а ты не смеешь пошевелиться, не смеешь говорить громко — боишься перервать сон твоего дитяти! Но как очарователен этот сон! Веринька! ведь ты моя?

Неужели я до того изменился? Как: они, эти люди, которые меня пугались, страшились, они уже начинают любить меня; они находят меня милым, любезным, забавным, веселым? Стыдись! По крайней мере этот долговязый вчера был рассержен. Какую глупую рожу делал он, как был жалок! Она торжествовала. Она говорила, казалось, всем: «Видите ли, как мой Аркадий умен, как он мил?» — «Вы всегда будете таким милым, Аркадий, как сегодня были?» — сказала она, прощаясь. Мне стало известно за нее — нет! за себя.

И это ты перенес, Аркадий! Как: отец ее говорил тебе, что почитал тебя богатым, что он почитал тебя незаконным сыном твоего благодетеля, думал, что благодетель твой оставил тебе большое состояние? Какое сострадательное лицо сделал он, когда ты сказал ему, что ты бедняк, надеющийся только на свои руки, что у тебя ничего нет — ни денег, ни покровительства! С какою утешающею улыбкою говорил он потом: «Но я никогда не разлюблю тебя, мой любезный Аркадий Иванович, будь ты мильонщик, будь ты нищий! Я, брат, сам начинал с копейки!» — Потом он стал мне давать советы, как жить, как надобно думать о будущем — о будущем, не за гробом, а *здесь!* Как надобно беречь копейку на черный день... *Ее*, правда, не было тут... Я не мог же оскорблять отца ее? Но ведь это гадко: думать и даже говорить так, как он думает и говорит? Я не пойду к ним более — но надобно наконец узнать от нее... Где мое прежнее бешенство?

Три дня сижу я, запершись, у себя. Но как мне грустно, как мне скучно!

Сегодня я подходил к воротам дома ее — но не пошел к ней. У меня еще есть сила души...

Я был к нему несправедлив. Он обезоружил меня простодушною добротою. Мог ли я этого ожидать? Он пришел ко мне. Встревоженный принял я его. Старик спрашивал меня, зачем я не приходил к ним три дня и не пришел *вчера*.

«Вчера? Но что было *вчера*?»

«Забыл? Вот как ты любишь нас; а мы простудили свой обед; мы так привыкли видеть тебя при каждом семейном празднике нашем, при каждой радости нашей!»

Но какой праздник *вчера* был? Чему они там радовались?

«Ты и позабыл, видно? Вот я скажу Вериньке, что ты забыл *17-е сентября!* А она целый день ждала тебя, хотела даже послать нарочного».

Старик сел и начал говорить:

«Прости меня, брат Аркадий: я человек простой, невоспитанный; говорю что думаю. Не осердился ли ты на нас за что-нибудь? Это *вчера* приходило мне в голову, но я ничего не припоминаю. А что я люблю тебя, как друга,

как доброго, славного, горячего немного, но умного мало-го — право, люблю, как сына... Мой покойный Гаврило был бы в твои годы... Ты на него немного и походишь... Голова только у тебя горяча, проклятая!..»

Итак, он не хотел оскорблять меня? Он не за то любил меня, что я казался ему сыном генерала, человеком с деньгами, *выгодною партией* его дочери? Он видел во мне что-то похожее на милое, незабвенное дитя его?

Но зачем же он не говорит, что я могу быть его сыном? Неужели, когда дочь его видит в любви моей какую-то игрушку, он вовсе не понимает отношений моих к себе?

Но так выходит. Он говорит столь добродушно, столь откровенно. Что же? Если в его окошко смотреть и не видеть, не знать вовсе горящего солнца любви, — могу ли я тогда быть его сыном и Веринька может ли быть моею? Нет! Но он любит меня, он пришел узнать обо мне, навестить меня... К ней! к ней!.. Она решит все!..

«Бессовестный!» Одно слово, которое успела она сказать мне, когда мы на минуту остались одни, когда я взял ее руку и прижал ее к горящим устам своим. И какой взор сопровождал это слово... Только *одно* слово, но тут было все: упрек, прощение, радость свидания, грусть разлуки... Дайте мне сто лет жизни, сто рук — я изъясню вам это слово; но целой жизни мира мало будет вам изучить то, что я напишу вам.

Ни одной еще картиной не был я так доволен, как той, которую сегодня начал.

Если я был когда-нибудь счастлив, так не в детстве ли моем это было? Или не тогда ли это было, когда еще безотчетно увлекался я искусством? Были ли это минуты душевной пытки, мучительных исследований, неудовлетворяемых идеалов? Нет!

Разве не счастье это, когда вы чувствуете, что сердце ваше бьется тихо, кровь тепла, голова свежа, люди *кажутся* — пусть хоть *кажутся* — добры, земное солнце греет вас, вся природа дышит сном радости?

Завтра решительно сожгу я свой большой картон с рисунками и возьмусь писать портрет этого откупщика.

Почему до сих пор я никогда не воображал себя счастливым семьянином; подле себя Вериньку как подружку жизни, и мою буйную душу, согреваемую тихим дыханием любви из уст ее, и ангела, с улыбкою спящего на ее коленях? Аркадий! Недостижимо то, чего искал ты доньше. Не гордость ли твоя виною, что ты не сознаешь причины недостижимости в собственной своей слабости? Берегись, Аркадий! Гордость погубила сатану! Если грудь женщины не создана для поприща сумасшедших страстей, а для того только создана, чтобы голова, измученная их безумием, успокоивалась на этой груди? Вспомни, что Наполеон не терпел г-жи Сталь, страстно любившей его! Важная тайна человеческого сердца! Неужели ты влюбился бы в г-жу Сталь, в ее Коринну? Никогда! Поди они в ад! Актриса не женщина — это пасквиль на женщин; певицу надобно слушать, а не любить! Как умен был англичанин, который торговал горло у Каталани — только горло...»

— Читать ли вам еще что-нибудь, мой почтенный друг? — сказал Аркадий, отталкивая рукою свои заметки. — Избавьте меня! Мне тяжело — я задохнусь... Вы понимаете теперь, хоть немного, как эта непостижимая девушка умела пересилить мою бешеную душу, как она умела связать волю мою, как я никогда не смел сказать ей ни одного слова о любви моей — видел, что она любит меня, страстно любит, и не позволял себе даже ни одного взгляда, который вырвал бы у нее признание, после которого я прижал бы ее к груди своей, задушил ее в своих объятиях. Беспечная невинность, детская простота; и среди этого один взгляд, одно слово, которые показывали мне все богатство души ее; и после этого слова, этого взгляда какая-то электрическая, согревающая, детская веселость, от которой радость так сладостно дышала на меня от людей и от природы... Вы застали меня в этом состоянии — меня, забывшего все свои идеалы, все свои мечты, и — для чего? Для счастья земного? Но я и по-земному не был счастлив: я только уничтожился... прежний Аркадий исчез тогда во мне. Я успел наконец помириться с самим собою, с моим внутренним, вечным врагом, но условия были тяжки: я был уже просто *живописец*, не *художник*. Довольно ли, что меня полюбили даже в Главном училище живописи,

что мне хотели даже дать денег и отправить меня в Италию на счет этого училища. Все это перенес я, потому что Веринька сказала мне: «Аркадий! вы это сделаете!» Я подписал бы кабалу на вечное мое рабство, если бы только она сказала: «Аркадий! вы это сделаете!» Проклятые слова! Я успел тихонько расстроить посылку меня в Италию и как ребенок трепетал, чтобы Веринька этого не узнала; я успел сделать, что меня выключили из Главного училища живописи. Ей было все это досадно; я притворялся, что и сам очень жалею. Для чего же сделал я все это? — Я не в силах был подумать о разлуке с нею... И что же за все это Веринька?.. Три дня тому — страшный свет осветил мне судьбу мою! Это ужасно...

Аркадий быстро прошел по комнате три или четыре раза. Он сел потом. Ни одно движение наружное не показывало внутренней бури его. Он говорил мне хладнокровно, по-видимому; только лицо его было бледно, глаза мутились, губы посинели...

IV

Ты любишь тяжело и трудно,
А сердце женское — шутя!..

А. Пушкин

— Не знаю: испытывали ль вы, когда вы любили — «любили ль вы?» — надобно спрашивать прежде всего в наше время, — если вы любили, узнали ль вы то тягостное, терзательное чувство, какое меня мучило и мучит в моей несчастной участи? При совершенном уничтожении каком-то, при каком-то странном состоянии, в котором я существую, живу, дышу, мыслю — только моею любовью, — это чувство лишило меня всякой радости, всяких наслаждений во всем другом. Оно убило у меня все, потому что я отвергаю, отталкиваю от себя все, все, что *не оно*, не это чувство, не любовь моя! О, как бы все возвысилось, расцвело, ожило передо мною, когда бы любовь моя была счастлива, увлажала глаза мои слезами радости; когда бы она была хоть трескучим, диким, но взаимным пламенем, в котором я сгорал бы *самдруг*... Нет этого! Я горю, тлею, одинокий, медленно, тяжко; и за всем тем, как святотат-

ство отвергаю я все, что *не она!* Тяжким преступлением кажется мне самая легкая мысль хоть на минуту, хоть иногда забыть любовь мою! Не думаете ли вы, что в то же время порывы ко всему другому исчезают в душе моей? Бедствие, гибель мою составляет то, что, нет,— они не исчезли! Я, как раб, лишенный воли, не смею только предаться им; и — теперь едва ли уже не отвык от увлечения ими. Но эти порывы: мысль о славе, пытливость ума, мечты художника — все это гнездится в душе моей, все это превратилось в змей шипучих, которые не дают мне покоя, лишают меня сна, делают мне горькими каждую мысль, каждое дыхание; я душу их — они снова оживают и шипят еще сильнее, делаются еще ядовитее! Я унижен и *понимаю* свое уничтожение — вот мука моя! Этого мало: *понимаю*, но не хочу, если бы и мог, *не хочу* вырваться из сетей бедственной моей страсти! Испытали ль вы это состояние? Согласитесь ли вы, что сумасшествие лучше, лучше, легче этого состояния? Это ад по доброй воле, из которого страдалец не хочет выйти, потому что в нем оставит он грешника, которому судьба определила век мучиться в этом аду; но с этим грешником он не расстанется за райские наслаждения!

Три дня тому — предчувствовал ли я, что это будет роковой день решения судьбы моей! — три дня тому я пришел к Вериньке. Ее не было дома. Дня с два я не видал ее. Прощаясь с нею в последнее свидание, я заметил в ней, в первый еще раз, какое-то усиленное ко мне внимание, какое-то необыкновенное волнение души. Она так уныло, внимательно смотрела на меня; рука ее, забытая, оставалась в руке моей; грудь ее трепетала; глаза наполнялись слезами. Казалось, что ее тяготит какая-то тайна; казалось, что она трепещет, как бы тайна эта не открылась. Несколько раз она останавливала меня, когда я хотел идти.

«Что с вами, Веринька?» — спрашивал я, изумленный, встревоженный.

«Ничего!» — отвечала она и едва не плакала, и никогда глаза ее не выражали столь много! Все это дало мне запас счастья на два дня, но ужасно беспокоило меня. Теперь меня встретил отец ее. Он был один и задумчив. Разговор наш вертелся на пустяках и перерывался беспрестанно. Невольный ужас овладел мною.

«Все ли у вас здоровы?» — спросил я.

«Все», — был холодный ответ его.

«Но где же...» — промолвил я и не мог докончить.

«Не о Вериньке ли ты спрашиваешь?» — спросил старик.

Я мог только наклонить голову в знак подтверждения.

«Ее нет!» — отвечал он.

«Что это значит?» — воскликнул я.

«Она уехала из Петербурга, в деревню к тетке, и, признаюсь тебе, разлучась с нею в первый раз в жизни, я грущу и печалюсь, как будто сердце потерял!»

Он *сердце* потерял! А я что же потерял, я? — Никогда прежде мысль о *разлуке* не представлялась мне. Иногда с ужасом воображал я, что Веринька может принадлежать другому; но — расстаться с нею, и так неожиданно, и не слыхав от нее ни одного слова, не слыхав даже милого, унылого: «до свиданья!»... Мне казалось, что кости мои затрещали в суставах... Но это было только начало пытки...

«Видя в тебе доброго друга нашего дома, — продолжал старик очень хладнокровно (он не выдержал более своей тайны), — не стану скрывать от тебя, любезный друг Аркадий, что меня занимает теперь весьма важное семейное дело...»

«Если вонзать нож в сердце, так вонзай его глубже, быстрее, и сильно поверни потом, — думал я, — иначе можешь ошибиться в ударе: только измучишь человека, а не зарежешь. За что же мучить? Лучше убей с одного раза». — Я предчувствовал, что хочет говорить старик! Откуда было это предчувствие — не понимаю. Боясь, что упаду, крепче сел я на диван и придвинулся к самой спинке его.

«Ты догадываешься, любезный Аркадий, что я хочу говорить тебе о судьбе Вериньки. Ей открывается *прекрасная партия*. Думаю только и не придумаю, как мне быть? Конечно: человек хорош, молод, состояние у него будет отличное; ну и любвишка замешалась тут: Веринька ему очень нравится. Он так и говорит, что любит ее и надеется видеть в ней добрую жену и мать; даже не требует за нею никакого приданого. Я, признаться, ничего и не могу дать за дочь, кроме этого домишка. Мне бы так хотелось, однако ж, чтобы зять мой поселился со мною. А он говорит, что этот дом для него мал...»

«Вы уж успели с ним переговорить обо всех этих хозяйственных распоряжениях?»

«Как же, братец; надобно делать дело порядком. У меня главное затруднение в том, как мне расстаться с дочерью и как опять бросить этот дом? Конечно, можно отдать внаймы, а самому переселиться к зятю, но жаль постояльцам отдать дом, который готовил я для себя и так

хорошо отделал и устроил. Опять и то, что человек-то славный! Ты его знаешь: вы с ним друзья; он мне сам сказывал».

«Кто он такой?»

Старик назвал его: это был дурак, долговязый молодой человек, давно ходивший к отцу Вериньки, и над которым я всегда безжалостно смеялся.

«Он лжет, что мы с ним друзья!» — вскричал я с негодованием.

«Как же так? А он еще хотел заказать тебе портрет Вериньки, если дело у нас сладится!»

О позор! о унижение! Я готов был рвать на себе волосы и чувствовал, что вся кровь моя клокочет и пенится. Но чрез минуту мысль: долговязый — мой счастливый соперник — показалась мне столь смешною, что я думал, не шутит ли старик...

«Совсем не знал я, что он жених вашей дочери... никогда этого и не думал...» — сказал я, едва не засмеявшись.

«И я не думал, — отвечал с важностью старик. — Он всегда казался мне славным малым, и я замечал, что он ластится к Вериньке. Но только с неделю тому он получил письмо, где уведомляют его, что старик дядя скончался у него: пятьсот душ в Калуге. Состояние, братец, прекрасное! И вообрази ты себе, что уж моя дочь ему бы и не пара, а первое дело его было, что он пришел ко мне и сделал предложение. И только тут-то узнал я, что он давно в Вериньку влюблен!»

«Но мне всегда казалось, что он очень глуп».

«Нет! что ты! Преобразованный ведь он. Застенчив немного, но от этого исправится. Да я и не знал, что ты его не любишь?»

Не постигаю, как я остался жив и как не наговорил чего-нибудь безумного! Видно, что человек может быть живущ и перенослив притом, если захочет!

«Право, брат Аркадий, в большом я затруднении! — продолжал старик, ходя по комнате. — Как ты думаешь?»

Я думал: если это не глупая шутка, то не испытание ли, не желание ли шутливо сказать мне, что он отдает мне Вериньку... Но к чему же такая нелепая шутка?.. Ах! это была ужасная истина!

«Где теперь ваш будущий зять?» — спросил я, сам не зная для чего.

«Уехал, братец, вчера для устройства дел, принятия наследства и прочего и воротится уже зимою».

«Через полгода?»

«Да».

«И дочь ваша воротится от тетушки через полгода?»

«Да; но что ты вдруг побледнел?»

«Следственно, их останется тогда только обвенчать?»

«Нет! еще дело так далеко не дошло!»

«Как же! Ведь вы согласны?»

«Охотно; но Веринька что-то...»

«Ангел-Веринька! Скажите ради бога: она отказала?»

«Нет, не отказала... Но что ты опять покраснел, брат Аркадий? И к чему приплел ты имя ангела к Вериньке? Э-э! любезный Аркадий, что все это значит? Неужели...»

«Веринька ваша еще свободна?»

«Да, потому что я не добился от нее ответа. Девичий ответ обыкновенно бывает — слезы! Но она не отказала — она просила только меня отсрочить; а потом умоляла отпустить ее к тетке. Так жених — без решения, с одним моим словом, что я согласен, но *принуждать* моей дочери не стану — уехал, и дело отложено».

«Итак, она не согласна? А вы не станете ее принуждать, почтенный, добродетельный человек?» — вскричал я, вскочив с своего места.

«Избави меня бог!»

«Вы отдадите дочь вашу человеку, который ее любит, которого она сама любит, с которым она будет счастлива, блаженна?» — продолжал я, крепко обняв старика.

Едва освободившись от моих объятий, старик принял угрюмый вид.

«Во-первых, так по-чертовски не обнимают добрых людей, а во-вторых, что это такое значит, брат Аркадий? Или и ты в женихи себя ладишь Вериньке?»

Я окаменел и старался разгадать по выражению голоса, что такое хочет сказать старик?

«Любезный! — продолжал он. — Мы люди старые; этой любовной вашей дребедени не знаем. Что ты наговорил мне о счастье, о любви, о чем еще... Аркадий, брат! я этого не замечал прежде — это нехорошо, нехорошо!»

«Итак, всякому позволяется любить Вериньку вашу, только не мне?»

«Любить всякому?.. Она ничего не знает обо всем этом вздоре?»

Я молчал.

«Знает? Это нехорошо! — сердито вскричал старик. — Помнишь ли ты анекдот в «Письмовнике», что один

кавалер спрашивал у девушки: «Как, сударыня, пройти к вашей спальне?» — «Через церковь», — отвечала она».

Негодование овладело мною. Я с жаром начал говорить о несправедливости низкого подозрения, о том, что любовь моя была чистое, святое чувство; но я не мог сказать старику, будто Веринька не знала о моей любви... Ах! она слишком знала о ней!

«И ты ей признался, чай, по-рыцарски, по-картинному, на коленях?»

«Нет! я молчал!»

«Как же она могла знать все эти пустяки, когда ты посылал к ней посла немного с грамотою неписаную? Вот я, например: ты не говорил, и я совсем этого не заметил. Мало ли вас увивалось вокруг Вериньки. Правда, ведь девушки иногда объясняются без слов, как-то глазами... Неужели это было причиною ее слез, ее отказа, ее отъезда? Глупо! Для чего она мне об этом не говорила!»

«Что же вы сделали бы, если б она сказала?»

«Я отвечал бы ей... — Старик сердито ходил по комнате. — Тогда бы я подумал, что говорить; а теперь, как ничего не сказано, так мне и говорить нечего».

«Но я вам говорю теперь это».

«То есть что Веринька тебя любит?»

Боже! мысль, в которой несколько лет не смел я отдать сам себе тайного отчета, — он сжал эту мысль, объемлющую все мое бытие, в один вопрос и сказал ее в виде допросного пункта, тремя холодными словами...

«Да говорите же, Аркадий Иванович! Тут уж молчать не время».

«Не знаю!» — промолвил я, едва не задыхаясь от горести.

«Ну, так дело-то, видно, все пустяки: обыкновенное глазенье молодежи друг на друга. Я так и надеялся на тебя, любезный Аркадий, что ты честный человек, что ты истинный друг мой. Женщины народ слабый; мужчины должны беречь их».

«Я посвящу всю жизнь мою на то, чтобы беречь ее!»

«Да говори же толком, чего ты от меня хочешь?»

«Отдайте мне Вериньку!» — вскричал я, едва держась на ногах.

Старик молча сел на диван и уперся ногтем в зубы.

«Отец мой!»

«Я, сударь, вам, во-первых, не отец, а во-вторых — дайте мне подумать».

«Подумайте!» — сказал я и пошел вон, сам не зная

куда. Я не показал признаков сумасшествия перед отцом Вериньки — но видите, каков я теперь! А этому уже прошло три дня! Не спрашивайте у меня ничего: ни о том, что было со мною в эти три дня, ни о том, что я предпринимаю в будущем!

Аркадий кончил свое повествование. Я ничего не советовал ему, но притворился любопытствующим узнать разные подробности о благодетеле его, об училище живописи, об иконописании, увлек его в посторонний разговор, стал с ним читать. Семен Иваныч поглядывал в дверь с радостною улыбкою, видя, что мы разговариваем спокойно. Я ушел, когда уже было утро. С несчастными надобно обходиться как с больными, а Аркадий был истинно несчастлив.

На другой день, едва проснулся Аркадий, я был уже у него с наемною коляскою и предложил ему ехать верст за тридцать от Петербурга. Это казалось ему неприятно, но он промолчал и согласился. Я не давал ему покоя, ничего не спрашивал у него, видел, о чем хотелось ему говорить, и удалял этот разговор. Мы проехали сутки двоим; я уговорил его потом ехать со мною на финляндские каменоломни.

Грустно, больно было мне смотреть на Аркадия во все это время, тем более что я не понимал еще и сам, как пособить ему. Но первый перелом его душевной скорби прошел. Когда мы воротились в Петербург, Аркадий сам предложил мне лекарство для больной души его.

Велик запас жизни, дарованный провидением человеку! На утлой доске выплывает человек с развалившегося, избитого волнами корабля к бесплодному утесу; неделю живет потом на этом утесе, голой скале, которую едва не заливают волны разъяренного моря, едва не сокрушают удары буйных валов, живет под свистом бурь, огнем молний и — уцеливает! Небо проясняется, волны утихают, голод и жажда томят, но не умерщвляют его, и надежда не перестает гнездиться в сердце страдальца! И наконец она спасает его! Так и в нравственном мире.

— Почтенный друг мой! — сказал мне Аркадий, когда мы по приезде нашем отдыхали вечером в его мастерской. — Чем могу изъявить вам благодарность мою? Неужели вы думаете, я не вижу, не понимаю ничего, что вы для меня делаете?

Я пожал ему руку.

— Я заплачу вам тем, что к стараниям вашим спасти меня сам приложу все старания. Будь что будет! Назначено ли мне, в самом деле, проявить что-нибудь в будущем

или ничтожно погибнуть — будь что будет! Всего более страшит меня какое-то мрачное предчувствие — и я верю ему: ничтожество — мой удел на земле! Гордые мечты мои погаснут бесплодно, великие думы мои убьет безжалостная судьба. Она зарежет меня перочинным ножиком, а не убьет громом! Но я погибну тогда только, когда истощу все силы в борьбе с нею. Вот вам моя рука и клятва!

— Принимаю ее, Аркадий, и даю тебе мою клятву: все, что от меня зависит, употребить для твоего спасения! Ты не знаешь себе цены, душа сильная!

— Сильная! Мне кажется, что я точно мог бы что-нибудь сделать... Скорее опыт сил моих, и — почему знать? Может быть, этим опытом я возвращу себе все? Это и была первая мысль моя, когда я узнал решение моей судьбы! Мысль, внушенная моим ангелом-хранителем, подкрепи меня!.. Только бы продышать мне как-нибудь... В будущем году назначена выставка... Мой «Прометей», идея, которую так давно и тяжело носил я в груди моей, — да, эту идею изображу я им! И когда восторг зрителей, голос народный, собственное мое убеждение скажут им, что я *первый* между ними, — не завидно первенство между пигмеями, но где же земля исполинов? — тогда отец ее поверит... хоть тому поверит, что я могу пропитать голову мою и жену мою... А она меня любит, у нее достанет сил сказать: *он или никто!*

На другой день я застал Аркадия за работою. Вдруг ожил он и совершенно изменился! Опять казался он тих, спокоен, весел. Вместо отдыха он ходил в Главное училище живописи. Там не любили, но боялись его и не смели отказать ему в лъстивой ласке и притворном расположении. Возвратившись домой, Аркадий рисовал карикатуры на учителей Главного училища. Многие были забавны. Не описываю их. Иного стоило только нарисовать вернее, и выходила карикатура превосходная.

В это время, к большой досаде моей, мне надобно было ехать, для справок по моему делу, в Москву, в Симбирск. Я отправился. Аркадий дал мне слово писать и не написал ни одного письма. Отлучка моя продолжилась. Мысль об участии Аркадия беспрестанно тревожила меня. Впрочем, один общий наш знакомый уведомлял меня, что видается с Аркадием и что он здоров. Почти первое дело мое было, по приезде в Петербург, послать к Аркадию. Он прибежал опрометью вместе с моим посланным, и, к изумлению моему, веселый, радостный. Извинения в неписаньи писем, расспросы о здоровье были непродолжительны. Какое

непостижимое смешение противоположностей может быть в человеке!

— Не буду рассказывать вам, как провел я все это время,— говорил Аркадий.— Я кончил моего «Прометея» и доволен им: вот все! Завтра приходите ко мне, почтенный друг мой, в двенадцать часов утра. Знаете ли, кого вы увидите у меня? Вериньку и отца ее!

— Как же это, Аркадий?

— О! не думайте слишком многого! — Аркадий засмеялся.— Я не был у старика более полугода. Он сам не заходил ко мне, и — что за странный человек! — обрадовался, увидев меня. Я ни слова не говорил ему о прошедшем. Казалось, он был рад этому и изъявлял мне большую дружбу. Мы были, как будто старые приятели, которые не говорят ничего о временной размолвке. Неделя тому Веринька возвратилась. Она приехала в тот самый день, когда для моего «Прометея» принесли мне золотую раму. Это счастливый знак; притом же это случилось во вторник и четырнадцатого числа — признаки хороши! Я только всего раз и виделся с Веринькою. Она похудела немного, но — чудный, настоящий ангел! Мы говорили мало, но — она меня любит! Видно, что глупое сватовство не состоялось: наш *пятисотный* жених не едет, ха, ха, ха! — Через три дня открывают выставку картин. Я просил старика прийти ко мне, посмотреть, что я приготовил на выставку... Ах! почтенный друг мой!..— Аркадий в восторге обнимал меня.

— Предупреждаю вас, что я переменяю квартиру и живу теперь на *** улице.

— Как? На той же самой улице...

— Где живет она. Мог ли бы я пережить столько времени, если б не глядел хоть на тот дом, где некогда видал ее!.. Впрочем, эта квартира гораздо удобнее прежней...

— Чего же теперь хочешь ты, чего ждешь ты, Аркадий?

— *Счастья*. Дайте, я запишу вам новый мой адрес! — Он убежал.

— *Счастья!* — прошептал я; сердце мое стеснилось...

Случалось ли вам видеть, как молодого, неженатого, но живущего своим маленьким хозяйством мужчину посещает семейство, где есть *одна*, для которой приглашение его было сделано? Это мило и любопытно видеть! Сколько тут бывает мечтаний, приготовлений, робкого любопытства! Хозяин показывает подробности своего хозяйства; старики думают, что он для них только заботится и делается лю-

безным, услужливым; *она* понимает истинную цель услуг, тихо мечтает о том, как можно б было устроить здесь, поправить там, быть счастливою в этом тихом убежище. А он, неловкий хозяин, попадаясь беспрерывно под дружеский выговор стариков, дает разуметь, что у него *некому* хозяйничать. Наконец уговаривают *ее* приняться разливать чай, управлять, распоряжаться. Краснеют, спрашивают, хозяйничают... Это прелесть! И сколько после того бывает воспоминаний! *Здесь* она сидела, *там* глядела, *там* останавливалась, *там* сказала то-то...

Новая квартира Аркадия была в самом деле лучше и обширнее прежней; новая мебель украшала комнаты. Семен Иваныч ходил торжественно, одетый в старый свой праздничный фрак; весело и значительно посмеивался он и кивал мне головою. Едва пришел я, как жданные гости появились на улице. Их, разумеется, ожидали нетерпеливо, побежали к ним навстречу: ведь надобно было показать им дорогу. Шутливые восклицания старика отца слышны были из передней. В первый раз увидел я тогда Вериньку и отца *ее*.

О нем вам нечего говорить много: одно из тех созданий, которых называют *добродушными весельчаками*, — нечто не злое, не слишком умное, кругловатое по наружности, веселое, от нечего делать душе и сердцу, шутливое без остроумия, смеющееся каждой своей шутке, способное и плакать, когда бывает какое-нибудь горе. Но *она*?

Разрушать ли мне очарование моих читательниц, если они уже создали себе идеал Вериньки? Или взять на совесть грех и уверить их, что в Вериньке были все совершенства, что она была совершенная красавица? Ни то, ни другое. Вы знаете русскую пословицу: «Не по-хорошу мил, а по-милу хорош». Эта пословица — разрешение психологической задачи о том, что нам *нравится* и *не нравится*, что мы *любим* и *ненавидим*. Кронеберг, разрешая странную задачу любви, говорит, что в жизни человеческой бывают мгновения, когда душа вспыхивает молнией прекрасного и проникает сквозь свою темную, вещественную оболочку. В то же самое мгновение, когда одна душа таким образом является в мир, подглядывает *ее* другая душа и узнает в ней свое родное, небесное. Раз освещенный этою молниею души, вещественный образ человека, проявившего свою душу, остается навеки в душе другого, и уже ничто не разрушит его — ни время, ни самое безобразие! Там, где люди ничего не видят, мы видим этот светлый образ души, проглянувший для нас сквозь ничтожную оболочку и

оставшийся в нашей душе. Для двух душ, свидетившихся таким образом в области земного изгнания,— что такое *время*, что такое *расстояние*? Они знают только одно: *любить друг друга*; когда они вместе,— любить и *радоваться*; любить и *грустить*,— когда они розно. Впрочем, Веринька для всякого, и не подглядевшего души ее, была милое, прелестное создание, цветущее всем тем, что дает нам молодость, обладающее многим, что остается и после нее. Она не была бы нигде *заметною*, но взор *ваш*, утомленный блеском красоты и изысканности, всегда мог бы успокоиться на ее милом лице, мог бы полюбоваться ее стройными, изящными формами после многих красавиц, которых не захотите любить и о которых говорите, отворачиваясь: «Как хороша!» Но идеал Аркадия — *эта* девушка, *она* — идеал его, высокого художника, великой души человека, понимающей все ясновидящими очами своими! Я смотрел на Вериньку, понимал возможность того, что она нравится, но не постигал безумия, околдования моего друга.

Аркадий усадил своих гостей и отрекомендовал им меня. Отец крепко пожал мне руку. Веринька взглянула на меня и тихонько, с улыбкою, сказала:

— Он много говаривал мне о вас!

Голос и улыбка были увлекательны; но — увлекательны — не более! Между тем старик отец ее повел шумный разговор. Надобно сказать, что с ним пришел еще какой-то *аматёр*, старый гравировальный мастер. Тот и другой занялись прежде всего водкой и закускою, поставленными на столе. Аркадий был как будто на иголках, метался, робел, хотел скорее начать свое торжество.

— Пойдемте смотреть поскорее мои картины! — сказал он наконец Вериньке тихо.

— Я сама нетерпеливо хотела бы видеть их, — отвечала она, взглянув на меня и как будто говоря: «Если, хоть для приличий, вы пойдете с нами».

Я встал с своего места. Аркадий схватил руку Вериньки.

— Вы уж и спешите, господа? — сказал отец Вериньки. — Да нет, брат Аркадий: я не расстанусь с селедкой! Чудо, чудо! Где ты брал? Скажи, сделай милость! Вот, сударь, объясню я вам о селедках... — продолжал он, обратясь к своему товарищу. Я не дослушал слов его, ибо спешил за нетерпеливым Аркадием. Он увлек уже Вериньку — он был так счастлив, так доволен; он с жаром прижал руку ее к губам своим. Легкий румянец пробежал по ее

щекам; она украдкой взглянула на меня, потом на него; нежный укор изобразился в ее взорах, как будто она хотела сказать: «Что ты делаешь, безрассудный!»

— Милый друг! дай мне забыться хоть на минуту. Кто ручается даже за будущий час? — говорил Аркадий, не отпуская руки ее. Веринька еще раз взглянула на меня выразительно. «Что мне делать с ним, с этим прихотливым ребенком, — решите сами!» — вот что выразил взор ее.

— Он хорошо знает меня; он мне истинный друг, — говорил ей Аркадий.

Мы вошли между тем в мастерскую Аркадия, отлично прибранную, искусно отененную занавесами. Тут стояло полукругом несколько картин его и портретов. Аркадий оставил руку Вериньки и, горделиво сложив руки на груди, хотел насладиться ее восхищением.

Тут была картина Аркадия «Иисус в пустыне» — желание изобразить то, что так сильно поражало его в детстве. Но этой картиной Аркадий был недоволен. И не диво: он измерял ее достоинство по безотчетному идеалу своих младенческих лет. Вторая — «Чтение в семействе», о которой я уже говорил, еще несколько других и между прочим «Прощанье рыцаря». Закованный в железную броню, нежно, с горестью смотрит паладин на милую девушку; печально лежит голова ее на груди рыцаря; рука его обхватила стан ее. Знаток увидел бы в этой картине глубокое изучение германской живописи, тщательность в костюмах. Но душа художника не выражалась в ней вполне: он изображал чуждое ему — горесть *счастливой* любви; лучше мог бы он изобразить чувство более странное: наслаждение любви *несчастной*.

Независимое вдохновение можно было заметить в «Клятве швейцарских вождей» — предмете, взятом Аркадием из Шиллерова «Вильгельма Телля». Простота, с какою изображены были тут Штауффахер, Фурст, Мельхталь, толпа разнообразных лиц, поднятые к небу руки пастухов, смесь странного оружия их, швейцарская природа окрест их — все это было истинно и прекрасно. Художник понял поэта. Но весь Аркадий, вся жизнь его выразились в его «Прометее». Идея, которую великий Эсхил заключил в своей чудной трагедии, которую потом так хорошо выразил Байрон, — горделивое презрение воли тирана Зевеса, величие духа, превышающее самую судьбу, и страшное терзание вещественное, соединенное с скорбью об участи человека, с пророческим видением, заставлявшим Прометея среди мучений прорицать гибель Зевеса, — все это выра-

жала картина Аркадия. Огромный кровожадный орел, подъемлющийся к небесам; седой Океан, угрюмо погружающийся в бездны моря; дикообразный Эфест, держащий в руках орудие казни, страшный молот свой, и бесчувственно смотрящий на оживотворителя людей; природа, содрогающаяся от бедствий Прометея и гремящей грозы небесной! Это был Эсхил, переведенный рукою Гете; миф первобытной Эллады, проникнутый огнем всеобъемлющего романтизма; событие Древней истории, описанное в трагедии Шекспира... И Аркадий хотел, чтобы это произведение поняли его судьи, его зрители — чтобы это произведение поняла Веринька!.. Бедный Аркадий! вечно несогласный с собою, когда люди его понимали, и вечно непонимаемый ими, если был согласен с собою!..

С детским любопытством Веринька пробежала взором своим по всему ряду картин; обратила лорнет свой на «Прометея» и — содрогнулась. Только. Чего же вы хотите? Она была женщина: ее ли женской душе, жадной наслаждений счастьем и радостью, можно было оценить этот миф глубокий, этот мир страстей, кипящий огненною лавою, сражающийся с волнами моря, которые влились в расселины горящего волкана. Взор Вериньки еще раз пробежал по всем картинам, и она сказала радостно и весело:

— Бесподобно! Прелестно, Аркадий! — Этим словом она заплатила дань своему роду, тому, что она была *женщина!* У них есть слова, которыми выражают они свои безотчетные чувства, свое ребяческое удивление. Таковы были разборы Гетевых и Вернеровых созданий, писанные г-жею Сталь,— это женское «бесподобно, прекрасно!», растянутое на множество страниц.

Взор Аркадия потемнел и помрачнел; руки его крепче сжались на груди. Веринька взглянула на него и оробела, подошла к нему, хотела взять его руку; он не давал ей своей руки. В смущении она отошла к картинам и наклонялась к ним, как будто рассматривая их, но я видел, что она хотела скрыть свои слезы. Аркадий подошел к «Прометею» своему и горящим взором, с каким-то яростным негодованием, смотрел на него — он готов был уничтожить свое создание. И какой поэт не изорвет своей поэмы, вдруг услышав простое, детское «прелестно!», когда он с восторгом читает ее своей подруге! Это вода, влитая в зажженное масло! Он в облаках и думает, что он орел, а его тянут к земле ниткою: он бумажный змей, пущенный с земли прихотью ребенка. Я не хотел скрывать своих чувств от Аркадия.

— Аркадий! — сказал я, — поди, обними меня: ты великий, истинный художник! — Эти слова были сказаны мною от искреннего восхищения; они были животворною росой на страждущую душу художника.

— Почтенный друг мой! — воскликнул Аркадий и бросился ко мне. — Она не понимает! — шептал он мне. Тут, с детскою невинностью дитяти, с жаром любящей души, Веринька подошла к нему. Слезы капали из глаз ее, и она не скрывала их. Мгновенно опомнился Аркадий. Он схватил ее руки и целовал их.

— Аркадий, *mon bon ami!* — говорила Веринька. — Зачем вы требуете от меня невозможного? Могу ли я судить и понимать ваши прекрасные произведения? Одно, что их *создал Аркадий*, вот одно, что составляет для меня главную — всю их прелесть...

— Что их создал *ты*, скажи мне, Веринька! — воскликнул Аркадий, — и ты осчастливишь меня...

— Что их создал *ты*, — сказала она, нежно улыбаясь сквозь слезы.

О женщины! кто дал вам эту волшебную силу над сердцем мужчины, эту силу слабости? — и как умеете вы пользоваться ею! Аркадий готов был прижать теперь Вериньку, не умеющую оценить его произведений, к груди своей и забыть своего Прометея, свое искусство, всю вселенную у ног ее...

Разговор отца Вериньки и товарища его послышался в ближней комнате. Аркадий и Веринька опомнились. Он пошел навстречу гостей; она отошла к картинам и внимательно смотрела на них, хотя я видел, что она ничего не могла в них разглядеть. Ее щеки пылали, грудь волновалась, глаза перебегали с одной картины на другую в беспорядке чувств и мыслей.

— Ну! управились мы, брат, с селедкою, выпили, закусили; давай теперь смотреть картины! — говорил отец Вериньки. — Да ведь мы по-художнически, по-ученому смотреть будем! Ставь сюда кресла — так! Надобно выбрать настоящий *point de vue!*¹ Хорошо! Эта картина невыгодно поставлена — а еще сам художник ставил! Ближе ее к окошку, чтобы лучше был свет. Отойди, Веринька! что ты знаешь!

— Отойдете, сударыня, — сказал, смеясь, Аркадий. — Вас исключают из числа знатоков, а я теперь не имею

¹ точка зрения (*фр.*).

права судить.— Он стал с Веринькою в стороне и тихо пожимал ее руку.

— Начнем с начала: с рам. Что это у вас нынче пошли в моду эти готические рамы, плоские, пестрые? То ли дело прежние, с бусами и сухариками, имевшие более *эффекта!* Хорошо, хорошо! Только терпеть я не могу этой темной немецкой живописи! Тут облака надобно было мягче сделать! Что это за костюмы ты написал, вот в этой картине?

— Это древние германские.

— Все немцы да немцы! Почему не национальные наши? Пора нам думать о своей родной живописи, пора, братец, думать о русском! Тут *clair-obscur*¹ не точно смешан. Ошибка, братец! Рыцарь не мог прижать девушки так крепко к груди: ведь он был в железной броне! Зачем такие страшные носки у его сапогов?

— Так носили тогда.

— Так носили! Да ведь ты подражаешь природе не грубой и должен украшать ее! За что же ты и художник? Ты должен был украсить, сгладить костюм. А! Прометей! То-то художником-то быть: тотчас угадаешь! Хорошо! Ну, ведь не посоветуется, злодей, с опытными людьми! Впервые, как он неловко положен...

— Да, ему, думаю, и в самом деле было не очень ловко лежать на Кавказе,— отвечал Аркадий.

Бедный Аркадий! Он думал торжествовать, думал, что Веринька поймет его «Прометея», что сила его дарования ослепит старого *художника*, отца ее, думал, что она в восторге устремит на него безбоязненный взор любви, а отец ее воскликнет: «Аркадий! ты великий художник», что в эту минуту будут забыты глупые приличия — он может упасть к ногам старика, сказать: «Отдайте же Вериньку этому великому художнику!» Веринька упадет в его объятия с словами «я твоя!». Что же теперь? Бездушный мазилка после рюмки водки закусывал его картинами... А Веринька? Она как будто стыдилась мгновенной милой откровенности своего сердца; она спрятала свою душу; она огородила себя холодностью, как будто нарочно заковала себя в самые тяжкие приличия светской девушки и отошла от Аркадия, пока отец ее начал со мною спор об изящном: я не вытерпел и горячо стал защищать Аркадия. Спор продолжился; мы перешли вообще к искусствам. Аркадий был забыт. Веринька спокойно глядела в окно, и — женщина! — ничего, ничего нельзя уже было прочитать на

¹ распределение света и теней (*фр.*).

ее лице! Наконец старик вынул часы, посмотрел на них и сказал:

— Как приятно пролетело время — три часа! Пора домой! Сбирайся, Веринька! Хотя я уверен, что споры ничего не решают и что каждый всегда остается при своем мнении,— продолжал он, обращаясь ко мне,— но тем не менее всегда приятно поспорить с умным человеком!

Он ласково отрекомендовался мне, просил жаловать к нему, благодарил Аркадия, и гости пошли. Проводив их, Аркадий бросился к окошку. С каким восторгом, с каким унынием смотрел он на Вериньку, идущую с отцом. Еще раз она сжалилась над ним — оглянулась на него раза два, улыбнулась... И тогда только, когда отец и она ушли из виду и Семен Иванович начал прибирать остатки закуски, Аркадий полупечально, полунасмешливо обратился ко мне, прошедши несколько раз по комнате.

— «Вот наши строгие ценители и судьи!» Неужели так будут судить все? — сказал он.

— Нет! — отвечал я, скрепив сердце, хотя мне хотелось броситься к Аркадию, обнять его и сказать ему: «Да, бедный Аркадий, да!»

В тот же день Аркадий отвез свои картины на выставку. «Швейцарских вождей» его не приняли, говоря, что на выставке нет места. Одно крыло было таким образом отбито у Аркадия... Но еще надежда не покидала его. Он сносил все с терпением изумительным.

Дело Аркадия перенесено было теперь на решение толпы, публики, знатоков... Что же она сказала? Чем они решили?

Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой,—
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагодарною кивает головой.
Постигнет ли певца внезапное волнение,
Утрата скорбная, изгнание, заточение —
«Тем лучше,— говорят любители искусств,—
Тем лучше! Наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастье поэта
Меж ними не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно...

Такая толпа должна была решить дело Аркадия.
Но каково было Аркадию, гордому, несчастливому

Аркадию, когда с решением этой толпы соединялось все его будущее!

Мы пришли с ним на третий день после открытия выставки, когда избранные посетители впускались *по билетам*.

Прошедши по всем залам, посмеявшись над классическими уродами, которым придавали имена Геркулесов, Марсов, полюбовавшись на плохие копии с превосходных эрмитажных картин, пожалевши о бедных учениках, которые принуждены были писать по определенной мерке, на жалкие задачи, мы остановились у «Прометея». В этой комнате было поставлено еще несколько огромных картин, на которые художники не пожалели ярких красок и в которых *подражали они самым лучшим живописцам*. Тут толпилось множество народа; блистали звезды, стучали шпоры, гремели сабли, веялись перья дам. Мы стали в стороне.

Г е н е р а л. Прелесть, сударь, прелесть! Как быстро идут у нас художества! *C'est charmant!*¹

Щ е г о л ь. *Mais, mon général!..*²

Г е н е р а л. Без «*mais*», *mon cher!* Посмотри: что за прелесть!

Щ е г о л ь. Но видели ль вы Луврскую галерею?

Г е н е р а л. Видел, *mon cher*, и в полном блеске, в 1814 году! Прелесть! — Как хорош этот старик! А эта живая головка! (*Тихо.*) Кто эта дама? А! да! Прелесть.

М е ц е н а т (*идет мимо*). *Vou joug!*³

Г е н е р а л. Вы не любуетесь?

М е ц е н а т. Эти две я уж купил. У меня не было *пандана* для большой залы. (*Художнику.*) Только смотрите, чтобы вышли в меру!

Х у д о ж н и к. А «Прометея» не прикажете?

М е ц. «Прометея»? (*Прищуривает глаза.*) Предмет не хорош.

Б а р и н (*соседу своему*). Слышите! Вот и его сиятельство то же говорит!

Ф е м м е s a v a n t e. *Fi! quelle horreur!*⁴ Что это такое? Не пытаются ли это кого? Какая гадость! Что это?

Щ е г о л ь (*улыбаясь*). Это Прометей.

Ф. s. *Prométhée*. А! из мифологии. Давид ввел было

¹ Это прелестно! (*фр.*)

² Но, генерал!.. (*фр.*)

³ Добрый день! (*фр.*)

⁴ Ученая женщина. Фи! какая гнусность! (*фр.*)

в моду изображения мифологические; но теперь мода эта давно забыта! *Von joug, ma cousine!*

Толпа дам и девушек. (*Слышны восклицания французские и русские.*) *Charmant — honneur — très bien!*¹ — мило — были ли вы у N. N. — что ваша тетушка — были — будем — танцевали — *quel beau temps!*² — *C'est lui...*³ (*«Прометей» шатается от их толчков.*)

Надзиратель. Осторожнее, ваше превосходительство, — вы изволите уронить «Прометея».

Старик с звездой. Он и без того лежит. (*Хохочут.*)

Щеголь. Какая теснота! Позвольте пройти! *Von joug!*

Сухощавый знаток. В этой картине вовсе не понята цель. Что хотели изобразить? Мифологический сюжет? Надобно было отделать его барельефным образом, *альянстик*.

Другой знаток. Что это за фигуры подле главного лица? Они развлекают внимание — это ошибка художника.

Первый. Тело слишком темно.

Другой. Небо слишком мрачно.

Старый художник. Это, сударь, новая школа, дюреровская. Мы, классики, ее не понимаем.

Молодой человек (*тихо товарищу*). Здесь вся душа художника! (*Слова их заглушаются громкими суждениями.*)

Старик. Нога крива.

1-й знаток. Отдадим сами себе отчет: какое чувство должно было одушевлять Прометея? Конечно: раскаяние, благоговение к наказующей судьбе. К чему же это презрение на лице его?

Надзиратель. Позвольте, милостивые государи, — дорогу его сиятельству (*его сиятельство лорнетирует картины. Все оттораниваются.*)

1-й знаток (*тихо*). Какой это у него орден?

2-й знаток. Кажется, Золотого Руна.

N. N. (*тихо и униженно его сиятельству*). Как вы находите?

Его сиятельство (*с гримасою презрения*). Могло б быть лучше.

¹ Очаровательно — ужас — очень хорошо (*фр.*).

² какое прекрасное время! (*фр.*)

³ Это он (*фр.*).

Так судили о «Прометее». Вдруг Аркадий, дотоле равнодушный, усмехавшийся, побледнел, схватил меня за руку и указывал прямо на своего «Прометея». Перед этою картиною стоял высокий молодой человек и, разинув рот, равнодушно глядел в потолок, на картины, на зрителей.

— Это он! — шептал мне Аркадий.

— Кто он?

— Долговязый! Он воротился! Боже мой! у него золотое колечко на правой руке!

Аркадию сделалось дурно. Я поспешил вывести его на свежий воздух. Мы пошли на его квартиру. Аркадий молчал дорогою. Едва мы пришли, Семен Иванович известил Аркадия, что Парфен Игнатьевич, отец Вериньки, заходил к нему, спрашивал его, отдохнул немного и ушел.

— Не заказывал ли он чего-нибудь? — спросил Аркадий задумчиво.

— Ничего-с. Но он заботливо разбирал тут какие-то бумаги и, видно, второпях забыл их. Вот они на столе. Он говорил, что у него теперь тма хлопот.

— Бумаги? — К изумлению моему, Аркадий схватил бумаги, оставленные стариком, и поспешно стал перебирать их. Это были какие-то счета, записки. Одну из них вдруг развернул Аркадий, руки его задрожали — записка вывалилась у него из рук — он упал в кресла.

Испуганный Семен Иванович бросился помогать Аркадию. Я поднял записку с полу: это был образчик билета, вероятно, писанный для отдачи в типографию и начинавшийся сими словами: «Парфентий Игнатьевич N. N. сим честь имеет известить о помолвке дочери своей Веры Парфентьевны...»

— Не бойся, любезный Семен Иванович, — сказал Аркадий, бодро вставая и усмехаясь, — не беспокойся! За бумагами верно придет Парфентий Игнатьевич. Ты отдашь их присланному. — Он тщательно сложил бумаги и передал их старику. Сомнительно посмотрев на обоих нас, взглянув потом на меня, будто умоляя меня быть хранителем Аркадия, Семен Иванович вышел. Да, в эту минуту я обещал сам себе употребить все, что будет в моих силах, для спасения бедного моего друга!

Аркадий ходил несколько минут по комнате молча, спокойно по наружности; только беспрестанно отирал он лицо свое платком. Потом, не говоря ни слова, взялся за шляпу.

— Аркадий! куда ты? — спросил я.

— К Вериньке, — отвечал он каким-то могильным голо-

сом, отирая щеткою шляпу свою и поправляя перед зеркалом беспорядок своей одежды. — Разве вы не видите, что ее губят? Я должен спасти ее!

— Аркадий! позволь мне идти с тобою!

— Пойдемте. Мне все равно. Мне хочется только сказать ей или им два-три слова. Как я желт и бледен! — Он поправил свои волосы.

Аркадий шел поспешно, почти бежал. Едва успевал я за ним. Расстояние было невелико. Нам никто не встретился в передней комнате. Мы вошли прямо в гостиную. Веринька сидела тут на диване, наклонясь головою на стол и закрыв лицо платком. Услышав шум, она вскочила, увидела Аркадия, ахнула и принуждена была удержаться рукою за стол. Глаза ее были красны; другую руку прижала она к груди своей.

— Веринька! милый друг! — сказал Аркадий трепещущим голосом.

— Аркадий! зачем вы пришли! — отвечала она и в бессилии опять села на диван, боясь совершенно лишиться чувств.

— Судьба твоя решена?

— Оставьте меня, Аркадий, ради бога оставьте. Будьте счастливы! Вы достойны счастья!

— Хоть не смейся надо мной, бесчеловечная! Веринька, милый друг! я пришел спасти тебя!

— Поздно, Аркадий! Оставьте меня; я уже принадлежу другому. Мое слово дано!

— *Другому!* — Аркадий отскочил от нее, как будто наступил на ядовитую змею. — Он прежде повергнет меня мертвого к ногам твоим и тогда возьмет тебя!

— Аркадий! ради бога...

Аркадий в отчаянии ничего не слышал.

Вдруг лицо Вериньки изменилось. Она отерла слезы свои, встала и твердым голосом сказала ему:

— Я добровольно отдаю ему свою руку. Вы не имеете права располагать моею волею!

Я ждал грома, но его не было: душа Аркадия уже потухла. Колена его смиренно подогнулись. Он сложил свои руки и с умоляющим видом поднял их к Вериньке.

— Ты решаешь смерть мою, Веринька! Если ты добровольно отдаешь ему свою руку, сердце твое принадлежит мне — я знаю!

— Нет!

— Бесчеловечная! так ли мы должны хоть расстаться с тобою! Еще есть время, Веринька: скажи одно слово —

убежим, милый друг, если тебя принуждают! Ты ошибаешься, Веринька: ты *моя, моя!*.. О чем ты плачешь?

— Кто велел вам подсматривать за моими слезами? Я не хочу вас видеть!

Веринька закрыла глаза платком. Аркадий не говорил более ни слова; он встал, сложил руки; жадным, горестным взором, взором, в котором жизнь и смерть, казалось, спорили о своей добыче, он посмотрел на Вериньку и потом бросился из комнаты. Веринька опомнилась, как будто вышла из какого-то состояния бесчувствия; она не замечала меня и кинулась к дверям.

— Аркадий! — вскричала она.

Аркадий бежал уже по улице.

— Аркадий! — громко произнесла она и с выражением нестерпимой горести протянула руки вслед за ним, к окошку.— Аркадий!

Голос ее выражал отчаяние. Тогда только заметила она меня, покраснела, слезы ее вдруг исчезли. Это была обыкновенная, благоразумная Веринька.

— Сударыня,— сказал я, приближаясь к ней,— вы знаете меня: я люблю Аркадия, как брата; я пришел с ним, боясь, чтобы отчаяние не довело его до какой-нибудь безрассудности. Сядьте и выслушайте меня.

Веринька машинально села на диван и закрыла глаза платком, взмокнувшим от слез ее.

— Сударыня,— сказал я,— не скрывайтесь от меня; говорите со мною, как с отцом своим. Мои лета дают мне на это право. Вы любите Аркадия? Будьте откровенны.

— Более жизни моей люблю его! — сказала Веринька, рыдая и прижимая руки к груди своей.

— Что же разлучает вас? Если согласие вашего папеньки должно купить улучшением состояния Аркадия, я готов поделиться с ним. У меня большое имение, я одинок. Скажите одно слово, и вы будете счастливы!

— Счастлива! Никогда, никогда! Я давно уже отреклась от счастья! Одно осталось мне: жертвовать собою для спокойствия моего отца...

— И выйти за человека, не любимого вами?

— Папеньке он нравится — я его не ненавижу — он меня любит.

— А Аркадий только вами и живет!

— И только терзает меня и всё, что его окружает!

— Неужели вы не верите любви его? Неужели вы не захотите даже пожертвовать ему собою, если и знаете его пылкий, неукротимый характер!

Веринька перестала плакать, потупила глаза и щипала кончик платка своего.

— Буду с вами откровенна, человек добродетельный! — сказала она. — У вас нет детей, но вы можете судить: не первая ли обязанность моя успокоить, утешить отца, у которого я одна, единственное его утешение, единственная его отрада? Этим ли пожертвую я безрассудной страсти моей — безрассудной! Чувствую, как дорог мне Аркадий, но ужасаюсь любви его, трепещу ее! Мы не понимаем друг друга; и не знаю — может ли даже кто-нибудь понять это сумасшествие, это безумие, с каким любит Аркадий! Я не в состоянии осчастливить его. Он видит теперь во мне что-то неземное. Изменения его характера ужасны. Уверена, что он так же потом легко возненавидит меня, как теперь безумно обожает! Не говорю о счастье: такое неукротимое бешенство чуждо его! Но Аркадий будет со мною несчастлив, и я должна отдать руку свою другому, чтобы спасти от горести моего доброго отца... чтобы спасти его самого — ах! нет! спасти самое себя... Его любовь могла бы, наконец, и меня довести до безумия... И без того, сколько раз я была от нее на краю бездны...

Веринька опять начала плакать.

— Подумали ль вы о том, какую участь приготовляете себе?

— *Смерть*, может быть... Что же тут ужасного? Не я буду виновата, если не переживу.

— Нет! не смерть, но жизнь в объятиях человека вами нелюбимого, в ужасающей стуже приличий и обязанностей, нарушение коих будет для вас преступлением. И как же? С любовью, с пламенем, который будет сожигать вашу грудь.

— Пощадите меня!

— Будет ли счастлив этим ваш отец? — Вы молчите? А если Аркадий не перенесет своего бедствия? Если могила его будет укорять вас, что вы погубили в нем человека великого, надежду отечества, сердце, каких немного на земле, душу высокую, пламенную, которая любила вас — как не любят уже в наше время...

Веринька плакала и не отвечала ничего.

— Говорите, сударыня! — повторял я.

Она молчала; глаза ее были неподвижно устремлены на золотое колечко, бывшее у нее на правой руке.

— Зачем еще не вчера пришли вы... — прошептала она.

— Неужели вы боитесь разорвать ваше обязательство? Неужели приличия страшат вас?

— Это невозможно! — сказала она.

Душа моя отворотилась от нее. «Так-то всегда любите вы, женщины!» — думал я. И сердце мое облилось кровью. Я вспомнил свои страдания. Так-то некогда растерзали меня... Мне показалось, что я вижу в Вериньке оживленный эгоизм женщин нашего времени.

Теперь, когда после этого прошло много времени, размышляя обо всем, я уже не обвиняю ее. Кто не содрогнулся бы, в самом деле, души и любви Аркадия, кто из вас, женщины? Может быть, в минуту забывчивости некоторые из вас предались бы такой любви, но — только *забывшись!* Вы все Вериньки! Должно ли обвинять вас? Сохрани бог! Вы правы. Говорят, что девушек должно приучать к хозяйству. Жаль, что, приучаясь к нему, они нередко видят хозяйственные распоряжения в самых высоких вдохновениях души...

Я застал Аркадия на его квартире. Он был мрачен, но спокоен и встретил меня следующими словами:

— Почтенный друг мой! можете ли вы оказать мне последнюю услугу!

— Последнюю, Аркадий?

— Решено: я немедленно еду за границу! Вот, посмотрите: я рассматривал сейчас карту Европы. Завтра же оставлю я Петербург, и, пока получу паспорт, пока соберется мой Семен Иванович, я буду жить в Ревеле. Туда приедет он ко мне, и тотчас отправимся мы в Дрезден, оттуда в Швейцарию, оттуда в Италию... Прости отечество, прости все — я никогда уже не возвращусь сюда, никогда! Не возражайте, почтенный друг! Не ручаюсь ни за жизнь, ни за что, если останусь еще одни сутки в Петербурге... Ни за что не ручаюсь... — повторил Аркадий. Он страшно сжал кулаки и заскрежетал зубами. — И презирать ее не могу, и возненавидеть ее не умею! — воскликнул он.

— Аркадий, — сказал я, стараясь перебить его мысли, — это прекрасно вздумано. Что же тебе надобно?

— Гадости, без которой ничего нельзя сделать на свете, — *денег!* У меня есть тысячи с полторы. Примите на себя труд, почтенный друг мой, продать мои картины. Может быть, кто-нибудь купит их, хоть для *пандана*. Семен Иванович продаст мебели и прочую дрянь. Ссудите меня деньгами, с тем чтобы получить уплату из продажи моих картин и вещей, и — простите, простите, друг забывенный!

Мы обнялись. Надобно ли сказывать ответ мой на требование Аркадия? Почти всю ночь просидели мы вместе

и проговорили. О Вериньке не было ни слова. Иногда Аркадий вдруг останавливался, думал, с трудом соображая, о чем мы говорим... На другой день я проводил Аркадия по Нарвской дороге. Разумеется, что картины его оставил я у себя и что цена их далеко превосходила небольшую сумму, которою я ссудил его. Остальную сумму, по его желанию, переслал я к его отцу. Через две недели и Семен Иваныч простился со мною. Он знал, что уже ему не воротиться в Россию, но не хотел оставить Аркадия. Долго, со слезами, молился старик в Казанском соборе и говорил:

— Матушка казанская богородица! благослови только и утешь моего барина. Ничего более не молю!

Увы! молитва доброго старика не была услышана!

Вы хотите знать окончание моей повести об Аркадии? Память незабвенного друга мне так драгоценна, что я до скажу вам о нем.

Я сам думал, что время, путешествие, страсть к искусству, слава, может быть, рассеют горечь и отчаяние Аркадия. Но время ничто, если прошедшее убито у человека навсегда, а настоящее погубило всю его будущность. Путешествие хорошо для души, жадной впечатлений, юной, свежей или уже отстрадавшей, утомленной, требующей просто отдыха. Ни то ни другое не было уделом Аркадия. Горячая кровь текла у него из сердца, разорванного бешеною страстью. Ужасная одинокость в настоящем, пустыня жизни впереди — и что тогда значит страсть к искусству? А слава? И в наше время! Этот мячик, перебрасываемый от одного к другому бестолковою толпою... Кто может жить *только с нею!* И что такое вообще слава? Определили ль вы ее?

Расставшись с Аркадием, я вскоре уехал в свой город и жил там по-прежнему, как теперь живу. Но речь не обо мне. С Аркадием вели мы постоянную переписку. Часто получал я письма Аркадия. Он описывал мне свои впечатления, свои занятия. Так прошло три года. Письма его стали приходить реже, хотя так же были дружественны, так же обширны. Наконец прошел целый год, и я вовсе не получал от него писем. Я знал, что Аркадий, объехав большую часть Италии и Сицилию, наконец поселился в Риме, что он посвятил себя совершенно живописи. Имя его скоро стало известно между тамошними художниками. Желал бы я сообщить читателям некоторые из писем Аркадия.

Как созревал его ум в страданиях! Как светлела более и более душа его! Но никогда, ни слова не писал он ни о любви своей, ни о прошедшем — ничего не упоминал и о состоянии своего здоровья. «Что сказать вам, добрый друг, на вопрос ваш о моем здоровье? — писал однажды Аркадий. — Тот здоров, кто счастлив. Больной душе не навеют здоровья лимонные рощи Италии, не согреет ее итальянское солнце...» Письма к отцу Аркадия шли через меня. Аркадий был в них нежным, почтительным сыном и радовал старика от времени до времени надеждою возврата в отчизну. Я пересказывал старику о славе, какую приобретал сын его. Старик не понимал этого, но радовался, как ребенок. Часто приходил он ко мне — *поглядеть на картинки своего Аркадия*: так он называл картины, доставшиеся мне в Петербурге. Часто изъявлял он желание иметь себе особенную *картинку* его и писал об этом к Аркадию. Аркадий обещал прислать.

Когда я начинал уже сильно беспокоиться о том, почему так долго не получаю известий о моем друге, писал уже к нему неоднократно и не получал ответа, мне сказали в одно утро, что меня спрашивает какой-то иностранец. Это был итальянский живописец, странствующий торгош картинами.

Полуфранцузским языком он изъяснил мне, что едет из Одессы в Москву и Петербург и везет на продажу множество египетских древностей, этрусских ваз, разных картин и статуй. Потом он вручил мне письмо Аркадия.

— Вы его знали в Италии? — спросил я нетерпеливо.

— Знал ли я его, синьор? Он спас мне жизнь в Террачинских горах, и я не имел бы чести говорить с вами теперь, если бы не *синьор Аркадио* защитил меня.

— Здоров ли он? Где он?

— Как, синьор? Неужели вы не знаете!

— Что такое?

— Он умер, синьор, умер этот необыкновенный молодой человек, *di molto ingegno, di grandissimo ingegno!*¹

— Но как же у вас письмо его? — спросил я, будто громом пораженный.

— Ах, синьор! Я оставил его совсем больного. Надеялись, однако ж, что он еще проживет лето; но в Триесте я получил известие о смерти Аркадия. Впрочем, нельзя было без слез смотреть на него, когда он прощался со мною. Он был так худ, так бледен; и при всем этом он со-

¹ большого дарования, величайшего дарования! (*ит.*)

блюдал удивительное присутствие духа и смеялся, прощаясь со мною до свидания за гробом! Он всегда был печален, мрачен; ничто не могло развеселить его, хотя никто не знал, что такое его сокрушало. *Vi sono certi punti che non sembrano mai abbastanza sviluppati e schiariti* ¹

Я развернул письмо Аркадия. Оно состояло из немногих строк, писанных уже слабою рукою. Аркадий просил простить его, что он скрывал от меня бедственное состояние своего здоровья. «Не жалейте обо мне, — писал он, — вспомните обо мне иногда, но не жалейте — жизнь моя давно не принадлежала уже здешнему миру. Никакого друга не встретил бы я так весело, как эту костлявую гостью, которая сильно стучится ко мне в двери». Он рекомендовал мне итальянского живописца, своего приятеля, как доброго, честного человека и писал, что с ним посылает свою *последнюю* картину. «Рассчитываю по времени, что он придет к вам около именин моего отца. Если будет так, то передайте моему старику эту картину в самый день его именин. Он давно просил меня прислать ему картину. Он порадуется и благословит меня заочно. Не говорите ему, однако ж, ничего о моей болезни и о смерти моей, если до того времени о ней узнаете. Зачем отравлять немногие дни, оставшиеся моему доброму отцу! Он любил меня. — Я перевел двадцать тысяч франков на дом Б** и компании в Санкт-Петербурге. Это осталось у меня от издержек. Здесь осыпали бы меня деньгами, если бы я хотел. На что их мне? Отец стар; братья проживут без меня. Себе оставил я сколько надобно на простые похороны. Получите упомянутую сумму и вручите ее отцу моему. Семену Иванычу (не забудьте его! Добрый старик лишается со мною последней своей радости!) препоручу я, после смерти моей, привезти в Россию несколько рисунков и вещей для вас — на память обо мне. Воспоминание о моем благодетеле и о вас уношу с собою во гроб; и с вами еще... но зачем вспоминать о том, что отвергло меня так жестоко, растерзало меня так свирепо... Говорят, что *она* счастлива. Боже! при гробе нет уже страстей — я желаю ей счастья — молюсь о ней... и о *нем*, если он осчастливил ее собою, молюсь, как ни тяжело мне, — а это *очень тяжело*, почтенный друг мой...»

Долго плакал я над этим письмом. Как нарочно будто на другой день были именины отца Аркадиева.

¹ Бывают некие обстоятельства, которые никогда не кажутся до конца выясненными или проявившимися (*ит.*).

— Где картина, присланная с вами Аркадием? — спросил я итальянца.

— На моей квартире, синьор.

— Выберите раму у меня, — сказал я ему, — вставьте в нее картину и приготовьте к утру завтрашнего дня.

Рама нашлась по мерке: мы ее сняли с «Прометея»... Синьор взял раму. На другой день, свято исполняя волю моего друга, я предварительно узнал, когда старик Иван Перфильевич уйдет к обедне, и явился к нему в это время. Братья Аркадия приняли меня весьма вежливо. Я сказал им о присылке картины. Вскоре привезли и картину. Она была огромна и в маленьком домике старика, в своей золотой раме, казалась чем-то необыкновенно великолепным. Вся она была закрыта полотном. Мы поставили ее в зале, где она заняла целую половину стены. У меня недоставало еще духа раскрыть ее. Слух о картине, присланной от *Аркадия Ивановича*, разнесся уже по соседству. Множество народа сошлось смотреть.

Я сел у окна, ожидая старика, и грустно смотрел на все, меня окружавшее. Я был в том доме, где родился, между теми людьми, с которыми провел свое малолетство Аркадий. И дом, и люди были те же, какими были они за двадцать пять, за тридцать лет, — ничто не переменялось в них: они только устарели физически — *они*, то есть и *дом*, и *люди* эти. Они были спокойны, веселы, самодовольны — эти братья Аркадия, соседи, родственники, пришедшие поздравлять старика. А *он*? А этот Аркадий? Он уже прогорел метеором по небосклону, ярким метеором, — он, единственный *человек* из этой толпы *народа*...

Обедня кончилась. Старик пришел домой. Все встали, встретили его, поздравляли. Он увидел меня, тотчас поплелся ко мне, взял меня за руку и с радостью спросил:

— Видно, письмецо от друга моего Аркадия? Сын ты мой милый! Может быть, в последний уже раз привел меня господь праздновать на старости день моих именин, и ты радуешь меня в этот день письмом своим!

— Письма нет, — отвечал я, — но Аркадий прислал вам в подарок картину своей работы и просил меня вручить ее вам в день именин ваших.

— Картина от моего Аркадия, — завопил старик, — прислана мне! Где, где она? Дети! картина от моего Аркадия!

— Она в зале, дедушка! — закричали внучата, дети братьев Аркадия, прыгая вокруг своего деда.

Старик спешил туда. Мы раскрыли картину: она стояла

теперь во всем великолепии, освещенная утренними лучами солнца. Старик, с толпою родни, соседей, с братьями Аркадия, вошел в залу: домашние все уже сбежались туда. Множество голов зрителей видно было даже в окошках.

Тут, на картине, изображен был Спаситель, благословляющий детей. Лицо его было божественно, исполнено любви и благости. Он изображен был сидящим; несколько детей беспечно, смело, безбоязненно окружали его, смотрели на него; только один из них, устремив глаза свои на Спасителя, задумался и облокотился локтем на его колено. Вознося благословляющую руку над головою сего дитяти, другую обращал Спаситель к двум ученикам своим и, казалось, говорил им: «Не возбраняйте детям приходиться ко мне; для таких предназначил я царство небесное; только будучи невинен душою, как младенец, будешь со мною во славе отца моего на небесах!» В стороне, отворотясь от детей, стоял какой-то человек. Его бледное лицо, его всклооченные волосы, морщины, прорезанные пылкими страстями на лице его, показывали, что это был не простой пастырь галилейский, но страдалец, много испытавший, прошедший бурную жизнь. Казалось, этот человек слышал в словах Спасителя решение загадки, мучившей его всю жизнь; казалось, он хотел бы погрузиться в прежнее невинное младенчество... Он возводил к небесам взор надежды и страха.

Старик упал на колени пред этою картиною, восклицая:

— О, мой милый Аркадий! осчастливил ты меня! Да благословит тебя господь, как благословляет он этого младенца!

Мы подняли старика. Он велел поставить себе стул против картины, рыдал; слезы радости текли по его щекам. Каждому, кто подходил, кто приходил вновь, он указывал на картину и мог проговорить только одно:

— Аркадий, Аркадий прислал!

Когда я сказал, что Аркадий прислал еще ему около двадцати тысяч рублей, которые успел он скопить во время пребывания своего в Италии, это почти не произвело в нем перемены; но тогда других надобно было видеть. Братья Аркадия принялись хвалить его...

Разумеется, никто из зрителей не мог судить о высоком искусстве Аркадия, которое доказывала эта картина, но тем не менее все были приведены в восторг его работою. Превосходное было это произведение! Какое дарование! Сколько души! Что могло б быть из этого человека! — Увы! эта *последняя* картина Аркадия растерзала меня,

когда я всмотрелся в нее более: в лице малютки, благоговяемого Спасителем, я узнал черты Вериньки, возведенные к идеалу невинности первых лет детского возраста, а этот измученный страстями пастух — это был сам Аркадий! Итак, мысль о тебе — женщина! — преследовала его и на краю гроба! И такой любви ты не поняла, не оценила! Меня даже успокаивало теперь помышление, что Аркадий уже не существует, что он уже перестал жить, то есть перестал страдать. Но видеть восторг, производимый его картиною, слышать благословения отца, произносимые ему, воображать, что, может быть, многие, смотря на его картину, думают: «Как счастлив этот художник! Как услаждает его слава!» — соображать и думать все это было мне тяжело, грустно, больно... Вся жизнь Аркадия сливалась для меня в этой картине... Только слезы облегчили сердце мое...

Несколько дней сряду к старику приходили смотреть картину. Сам губернатор приезжал к нему. За нее давали ему очень дорого. Но он не уступал ни за что и говорил, что, умирая, велит поставить ее против себя и будет благословлять милого сына своего и желать ему *счастья* и *здоровья!* — Увы! в целом городе только я один знал, что Аркадия уже нет на свете...

Над миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов нескольких на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын Севера, бродя в краю чужом...

На другой год мне опять привелось ехать в Петербург по делам. На меня навязалась тяжба. Мне надобно было выправиться о моем деле по министерству юстиции, и знакомые дали мне письма к одному значительному чиновнику. Имя его показалось мне знакомо, только я никак не мог вспомнить, где я знал его? Осведомившись, что могу застать этого чиновника по четвергам, вечером, являюсь к нему и нахожу довольно много гостей. Хозяин был в своем кабинете с кем-то. Меня просили войти в залу. Тут нашел я несколько столов с вистом и бостоном. Дамы сидели на диване. Хозяйка сидела тут же и весело разгова-

ривала с ними, ее окружали трое или четверо милых, опрятно одетых детей. Она была еще молодая женщина, одетая по-домашнему, щегольски, и ловко встала, чтобы принять меня. Тогда я узнал ее: это была *Веринька!* Я остолбенел и искал в лице ее, полном, здоровом, спокойном, искал в этой чиновнице, даме, с чепчиком на голове, в модном шлафроке, окруженной детьми и гостями, идеала моего друга Аркадия.

— Боже мой! Г-н Мамаев, вы ли это? — сказала мне *Вера Парфентьевна*.— Садитесь, пожалуйста, садитесь. Давно ли вы в Петербурге?

Мы начали говорить — о погоде, о новостях. Она *вспомнила* меня. И *ничего* более не вспомнила?.. Не знаю. Тут вошел сам хозяин. Из долговязого молодого человека, одетого в щегольской фрак, он сделался теперь плотным чиновником, в вицмундире, с крестом на шее, с другим в петлице и с пряжкой за пятнадцатилетнюю беспорочную службу. Он принял меня вежливо, обещал все сделать. Жена его, очень равнодушно, сказала ему, что некогда я был знаком с ее отцом, что я старый *приятель* их дома. Муж просил меня после этого посещать их, предлагал мне немедленно партию в вист. Я отказался от виста и не приходил к ним более. В департаменте сказывали мне, что муж Вериньки отличный чиновник и со временем может надеяться многого, что он притом весьма счастлив в семействе, что жена у него премилая женщина, добрая мать детям и большая хозяйка. Я видел после того еще раз Вериньку в театре. Она сидела в ложе с мужем и детьми. Не один лорнет был наводим из кресел на эту ложу; не один молодой человек говорил другому: «Прелестная женщина! и с каким вкусом одета!»

ЭММА

Look on a love which knows not to despair,
But all unquench'd is still my better part,
Dwelling deep in my shut and silent heart
As dwells the gather'd lightning in its cloud,
Encompass'd with its dark and rolling shroud,
Till struck,— forth flies the allethereal dart! ¹

Байрон

I

В отдаленной части Москвы, именно в *Немецкой слободе*, до нашествия Наполеонова было много милых, веселых домиков и больших боярских домов. Теперь это изменилось: Немецкая слобода застроена фабриками, заводами, казенными училищами; только развалины, обгорелые в 1812 году, видны от большей части прежних боярских домов и вывески пансионеров застилают собою стены обширных палат вельможеских, уцелевших от пожара двенадцатого года или возобновленных после него. Прихоть перенесла обиталища знатных людей в другие части Москвы. Но когда все это было не так, до 1812 года, говорю я вам, в Немецкой слободе из числа великолепных домов вельможеских великолепнее других был дом князя С*** Тенью своею застилал он всю улицу; обширный сад, окруженный каменною стеною, с чугунными фигурными столбиками по тротуару, помощенному чугунными плитами, и с железными цепями от столбика к столбику, примыкал к нему с одной стороны. Огромные старые деревья видны были из-за садовой стены, и гордо шумели вершины их, равные с вторым этажом княжеских палат. С другой стороны дома, похожего видом на старинный фигурный комод, с ракови-

¹ Смотри! Не уступив отчаянья порывам,
Неугасимую любовь к тебе мою,
Часть лучшую души, так глубоко таю
Я в сердце замкнутом и вечно молчаливом,
Так тучи грозовой таинственная мгла
Скрывает молнию в своем покрове свитом,
Пока не вылетит воздушная стрела...

Пер. Т. Щепкиной-Куперник

нами на полукруглых окнах и с обширным балконом, окруженным фигурною решеткою, были исполинские ворота. Сквозь их железные, всегда растворенные решетки открывался обширный мощеный двор с флигелями, где помещалось ста три дворовых людей, бывших для услуги при князе и княгине, жен их и детей. Двор этот вдали оканчивался чугуною решеткою и опять железными симметрическими воротами, ведущими в регулярный, стриженный сад. Об обширности сада судите по тому, что Яуза текла через него.

Таков был дом князя С***. Подле этого обширного, построенного во времена императрицы Елисаветы дома рядом находился домик, деревянный, обитый тесом, выкрашенный серою краскою; и — если бы счастию надобно было выбирать себе жилище по сердцу, не знаю, едва ли не этот домик выбрало бы оно себе и едва ли не предпочло бы его огромному соседу, великолепному княжескому дому. Идя поутру мимо серого домика, редкий прохожий не останавливался, видя сквозь светлые стекла его в небольшой зале прелестную картину вроде картин Августа Лафонтена: каждое утро за большим столом сидели тут трое милых детей — настоящие Грёзовы головки. Дети сидели и учились; в стороне, под окном, всегда сиживал тут же в больших креслах старик с дымящеюся трубкою и с книгою или с газетами в руках. Его не умел бы написать Грёз, потому что он не умел писать этих добрых немецких лиц, этих длинных седых волос, внушающих какую-то невольную почтительность. Грёз не мог бы написать и еще двух лиц, которые можно было всегда заметить сквозь светлые окна серого домика: старушки в огромном чепчике, с очками на глазах, заботливо занятой вязаньем или штопаньем чулков, — истинного изображения доброй немецкой хозяйки, и молодой девушки, которая учила детей, сидя с ними за большим учебным столом их.

Люблю я эти готические лица немецких стариков и старушек, смолода краснощекие, прикрытые русыми кудрявыми волосами, украшенные голубыми глазами, и тихо, постепенно перешедшие к седым волосам, морщинам и выражению доброты, откровенно высказывающей вам всю жизнь, за которую едва ли не всякий день благодарили они бога! Иногда и на этих лицах увидите неправильную морщину — след печали, горести, сердечной потери, но такая морщина — пришлец между другими собратиями, показывающими, что жизнь постепенно накладывала их на лица добрых людей, как часовая стрелка постепенно пере-

ходит от одной минуты к другой, от одного часа к другому, пока укажет полдень, вечер, наконец — *полночь*, добрую ночь! — Да, смотря на такое лицо старушки, я готов сказать вам, что жизнь ее прошла, как ясный весенний день, что было для нее время учиться и помогать матери в хозяйстве, потом время любить, любить тихо, весело, при самом начале любви думая о подвенечном платье и заведении своего маленького хозяйства и переходе для этого хозяйства из кухни матери в кухню мужа, с которым совестно не быть счастливою: так он добр, так он заботлив, так он любит тихо, кротко, нежно. Печаль и горе в жизни таких людей — это облачки, рассеянные на ясном небе. Они, эти люди, по капле пьют столь горькое для многих питье, которое судьба подает каждому из нас при рождении, — *жизнь* — и, допивая его при дверях гроба, среди добрых, милых им людей, с сожалением заглядывают в бокал, ими осушаемый, и жалеют, что в нем остается допить только несколько капель.

Старик с газетами и старушка с чулком, обитатели серого домика, прожили жизнь свою так: это видно было из всего — из их взоров, часто с благодарностию обращавшихся к небу, из тихого пожатия руки, каждый раз, когда старушка проходила мимо старика, из их ясных, добрых лиц, из того, как они смотрели на малюток детей, из того, как эти малютки обнимали их и доводили до слез своими ласками. Он и она изображали собою прекрасный вечер прекрасного дня.

Но девушка? Правда, по ее беленькому, всегда опрятному платьицу, розовым щечкам, голубым глазам, зеленому передничку, стройной ножке, тоненькой талии можно было видеть, что это молоденькая немка, милое, доброе создание, утро дня жизни, ясного и тихого; но, и не бывши Нострадамом, не умея составлять гороскопов, можно было задуматься, глядя на нее, подумать, что едва ли ей предоставляла судьба участь, подобную участи ее деда и бабушки (старик и старушка, жившие с нею, были ее дедушка и бабушка). Из чего можно было так заключать? Она была так скромна, так проста, так мила; от учебного стола братьев весело переходила она к хозяйству, от хозяйства к своему фортепиано, от фортепиано к своему «*Sammlung gottesdienstlicher Lieder*» * и с таким полным радо-

* «Собрание духовных песен», которые поют в лютеранской церкви во время божественной службы и нередко дома в благочестивых семействах.

сти сердцем пела вместе с дедом своим: «Deines Gottes freue dich, dank ihm, meine Seele! Sorget er nicht väterlich, daß kein Gut dir fehle?» *

Все так. Но, всматриваясь в нее, в эту девушку, вы заметили бы какую-то невольную задумчивость, когда ей вовсе не о чем было задумываться, увидели бы иногда в глазах ее наворачнувшиеся слезы — не радости и не печали, а чего-то тайного, грустного; она закрывала тогда глаза своею ручкою и потом подымала их к небу; и тогда можно было заметить, что у нее глаза не просто будущей немецкой хозяйки, голубые, но какие-то светлые, яркие, почти лазуревые, способные сверкать чудным огнем. У девушки, которую судьба предназначает просто быть доброю хозяйкою и размерять жизнь свою определенными шагами от колыбели дитяти до кухни, никогда не подымается грудь от такого тяжелого вздоха, никогда щеки не пышат таким неопределенным румянцем, и этот румянец не сменяется потом вдруг такую бледностию. Вглядитесь в нее: и волосы ее не просто русые — они отливают каким-то особенным, бледно-золотистым цветом, и эта белизна лица не просто белизна всякой молодой девушки в семнадцать, восемнадцать лет: это какой-то особенный поэтический цвет, о котором певали немецкие миннезингеры, какая-то прозрачность тела, о которой говорит современный нам Данте: «à travers ton beau corps mon âme voit ton âme» («сквозь твое прекрасное тело душа моя видит твою душу»). Вы видите эту девушку за рукодельем, за учебным столом, подле деда, бабушки; она тиха, тиха, безмолвна, глаза ее опущены; вокруг нее пустота души и сердца, ни одна страсть не смеет приступить к ней, близ нее не слышно пламенного дыхания юноши, который угадал бы ее душу, не слышно и биения сильного сердца, от которого страшными звуками отзывалось бы ее сердце, как струна сама собою вторит струне, на один лад с нею настроенной. Да, эта девушка может умереть, сама не сознавши души своей; ее небесная гостя может безмолвно протосковать всю жизнь в ее прекрасном теле; девушка эта может наконец задохнуться сердцем и душою в объятиях молодого, благопристойно-красивого, ласкового, благоразумно любящего супруга, и жизнь ее тогда пройдет так же тихо и весело, как тихо и весело танцуется немецкий вальс, оканчиваемый гросс-фатером, как протекла жизнь ее бабушки... Но что будет с нею, если

* «Возрадуйся, о господе, и благослови его, душе моя! Не он ли, яко отец, помышляет о тебе, да ни единое благо прейдет мимо тебе?»



злобный демон страстей зажжет ее бытие сильными страстями? Кстати: на учебном ее столике, подле тетрадок, лежит какая-то маленькая книжка; это Шиллер, сумасброд Шиллер, напечатанный в маленький формат, по немецкому обычаю, на серой бумаге; и глаза ее задумчиво устремлены на стихи:

Empfange meinen Vollmachtbrief zum
Glücke!
Ich bring ihn unerbrochen dir zurücke
Ich weiß nichts von Glückseligkeit... *

И кажется, что старики вовсе не замечают этого проклятого Шиллера, не видят, как читают его украдкой, когда добрые старики думают, что внучка разбирает грамматический смысл какой-нибудь фразы в детском «Lesebuch». Милое создание! брось, ради бога, брось этого Шиллера! Возьми лучше с старинного туалета бабушки твоей «Livländisches Kochbuch»¹ и читай в ней, как готовят пикули и делают сою...

Но я рассказываю вам столько подробностей о девушке, обитательнице серого домика, а не сказал вам еще ни имени ее, ни кто такие старик и старушка, с нею живущие, ни что это за дети, которые живут с нею и с ними. Объяснить такие семейные подробности — если они вам надобны — не долго: девушка, о которой я рассказывал, — *Эмма*. Старик — это уже вам известно — ее дед; старушка — ее бабушка; трое мальчиков — ее маленькие братья; и все они и она составляли доброе, счастливое семейство, которое до 1812 года обитало в маленьком красивом домике, в Немецкой слободе, подле огромного дома князя С***.

Биография старика была очень проста и не велика. Отец его был немец, приехал в Россию, когда вызвали из Германии знающих людей для устройства в России почтамтов. Определясь в Москве, он прожил в ней всю жизнь; лет двадцать просидел подле почтамтского окошечка, ежедневно, *кроме воскресных дней*, принимая письма; но при том он успел выполнить почти все, что Стерн почитал необходимою обязанностью каждого честного человека, то есть: женился, построил дом, насадил сад (только не написал ни одной книги и едва ли читал что-

* Возьми мою доверенность на земное счастье — возьми! Я отдаю тебе ее обратно, нераспечатанную: я не знал наслаждения счастьем...

¹ «Лифляндскую поваренную книгу» (нем.).

нибудь, кроме немецких газет и деловых бумаг); потом передал и домик, и садик, и небольшое нажитое им имение сыну, который, не имея охоты сидеть в почтамте, сделался учителем немецкого языка в Москве, женился в свою очередь, на старости лет перестал учить немецкому языку и спокойно доживал век свой в отцовском домике, который перестроил он и выкрасил серою краскою. Детей у него не было. Услышав, что племянник его, служивший в Петербурге, умер, оставив дочь и трех сыновей, старик, в первый раз в жизни, оставил Москву, поехал в Петербург, обнял там со слезами сирот племянника, маленькую Эмму и братьев ее, поклялся заменить им отца и привез их в Москву, где в доброй старушке, жене его, Эмма и братья ее точно увидели вторую мать, а в старике деде — второго отца. Уже несколько лет прошло после поездки старика в Петербург. Эмме было уже семнадцать-восемнадцать лет; но благодарная молитва к богу все еще означала для нее каждый вечер, когда день оканчивался, и Эмма, удалясь в свою комнату, надев на свою головку спальный чепчик, размышляла несколько минут о том, что происходило с нею в этот минувший день и не согрешила ли она перед богом чем-нибудь? Не огорчила ли чем-нибудь папеньку и маменьку (так называла она деда и бабушку)? Потом — и то не всегда — она задумывалась, думала несколько минут — сама не зная о чем... «Нет ничего опаснее таких неопределенных дум!» — скажете вы. Может быть; только уверяю вас, что Эмма после того каждый вечер засыпала тихо и спокойно, и никакое дневное событие не перерождалось для нее в привидения ночи: она не видала никаких снов, этих зловещих воронов нашей действительной жизни!

II

— Дома ли Эмма, дяденька? — спросила веселая девушка, поспешно входя в залу серого домика.

— Дома, дома! — отвечал старик.

— Где она?

— В саду.

— Бегу к ней!

— погоди, ветреница! Дай поцеловать себя!

— Некогда! Мне надобно пересказать ей тысячу новостей! — отвечала девушка, мимоходом прижимая

ротик свой к руке старика, пока он целовал ее в лоб и щеки.

— Тысячу новостей! Они все, я думаю, сойдут на одну: ты, верно, получила письмо от своего Теобальда?

— Вы угадали!

— Что он пишет?

— Он скоро сюда будет; да не задерживайте меня: мне надобно все, все пересказать моей Эмме! — И, бросив свою соломенную шляпку на столик, гостья побежала в сад.

Этот сад можно было назвать небольшим красивым цветником, чем-то похожим на шитье дамских шемизеток, где в стройном порядке нитками вышиты глупые цветочки и листочки. Но скажите: кто из нас не любовался этими нитяными цветочками на груди какой-нибудь милой девушки? Так и эти садики. Они малы, однообразны, пошлы; деревянная клетка, выкрашенная зеленою краскою, обложенная тощими акациями, и несколько кустов малины и смородины, вытянутых по веревке, заменяют в них тенистые аллеи; кривые дорожки, по которым тесно идти втроем и извилины которых рассмотрите вы с первого взгляда, как обман дитяти угадываете с первого слова, — вот вам изображение того, что при маленьких домиках в Москве громко называется — *сад*. Обыкновенно посредине бывает еще в этих садах цветник, где хозяева ставят иногда алебастровых богинь, которых разносчики таскают по Москве на лотках вместе с статушками Наполеона, изображениями Езопа, Милосердия, Лаокоона, Надежды и Любви, Купидонами и кошками с подвижною головкою и с мышью в зубах; или садят тут редкие американские растения, продаваемые в каждой цветочной лавочке. Если у хозяина есть еще дюжина чахлых деревьев — он гордится своим садом. «У вас прекрасная тень», — говорят ему. «Мы тут пьем чай по вечерам», — говорит хозяйка. «Как приятно пить чай вечером на открытом воздухе», — прибавляет гость: как будто этот ящик без крышки в самом деле *сад и открытый воздух*! Но когда такая цветочная шемизетка бывает надета на грудь счастья жизни, — знаете ли, как милы, очаровательны кажутся тогда и клетка с акациями, и дорожки, и цветник! Все зависит от лучей души: свети они радостью — все мило и радостно! Капля росы на листочке, что это такое? — Капля воды; но луч солнца осветит ее, и она загорится алмазом.

Такой садик, о каких мы говорили, был при сером домике; в этот садик побежала гостья искать Эмму, увидела ее в углу садика, подле беседки, и издали закричала ей:

Вон жюж, топ амié!»¹ Эмма стояла, низко наклонившись к цветочной грядке, и что-то внимательно рассматривала. Она не слыхала приветствия веселой своей гостью, не слыхала шума шагов ее, когда эта гостья бежала к ней по дорожкам, и тогда только заметила ее, когда гостья подбежала к ней и зажала ей глаза руками.

— Ах, Фанни,— сказала Эмма (гостью звали *Федосьею*, но это неблагозвучное имя еще в детстве ее было переделано в *Фанни*),— шалунья! пусти меня!

— Что за задумчивость? Не слыхать моего голоса, не видеть меня!

— Я смотрела вот на этот милый мой цветочек: погляди — он оживает; я думала, что он совсем пропал, и как это меня печалило, Фанни! Я ходила за ним, как за больным братом; посмотри: он оживает теперь!

— Что за цветок? Какой вздор! Простые васильки!

— Васильки! Бог и им велел жить; и не жалко ли, если они гибнут, не расцветая, не насладившись своею жизнью! А всего-то им жить одно лето...

Эмма опять наклонилась к кусту васильков и выправляла их около тычинки, к которой был привязан кустик их.

— Что за ребячество, Эмма! Брось твои васильки; пойдем ходить по саду; я тебе перескажу — ах! милый друг! я тебе все перескажу! *Он* пишет, *он* скоро придет! Уйдем в беседку, Эмма! Я тебе прочитаю! — Фанни вынула из-за шнуровки своей маленькое письмецо, крепко поцеловала его и издали показала Эмме.

— Пойдем в беседку! — сказала она. Девушки обнялись, сели на лавку в беседке; рука Фанни обвилась вокруг шеи Эммы; голова Эммы склонилась на плечо Фанни, и разговор — смесь французских и русских слов — начался вполголоса.

Пока Эмма и Фанни переговаривают о всяком вздоре — а он в девичьих разговорах занимает важное место (да и в чьих разговорах не так?), — я успею сказать вам, когда вы сами еще не догадались, что Фанни была подруга Эммы — молодая девушка, дочь соседа, немца, чиновника, какой-то дальней родни, который женился на русской дворянке, отчего в именах детей его вышла страшная путаница русских имен и немецких прозваний: Федосья Готлибовна, Филипп Готлибович и проч.— Говорили, будто такая же путаница вышла в его хозяйстве и воспитании детей. Фанни была подруга Эммы: вы знаете, что такое

¹ Добрый день, мой друг! (*фр.*)

значит «подруга девушки»? Меньше, нежели ничто; французская эпиграмма на дружбу, перевод Шекспирова сонета с французской прозы в русские стихи! Всего чаще поддружество девичье начинается в пансионах, иногда на балах и танцевальных вечерах. В пансионах оно доказывается тем, что подруги подсказывают друг другу уроки и делятся конфетами; на балах — тем, что они садятся рядом в мазурке и ходят обнявшись, пока музыканты отдыхают, сто раз повторивши одно и то же. Иногда это поддружество продолжается годы и кончится тем, что одна подруга выходит замуж; счастливец вытесняет из сердца ее бедную подругу, как первый луч солнца заставляет бледнеть бедную луну. Иногда подруги надоедают друг другу, ссорятся и расстаются; иногда свет разрывает нежную дружбу их за порогом пансиона, где одну подругу ждет лакей, облитой золотом, с словами: «За вашим сиятельством маменька изволила прислать карету», когда другой в то же время говорит беззубая нянька или старая кухарка: «Маменька велела мне проводить вас, барышня, домой». Старые девушки редко бывают подругами: злые на все, они искушали бы друг друга, искушав всю надежду свою на счастье в жизни. Но едва ли сыщете хоть одну молодую девушку в мире без подруги. Они читают вместе азбуку любви на заре жизни, когда душе девушки все так чуждо и знакомо, близко и далеко, и все так непонятно и понятно, без отчета голове и сердцу. В маленьком мире ее бывает так темно: сердце еще не освещает пустоты идей, а сквозь душу, как сквозь стеклянную призму, расцветивается между тем все семью небесными цветами, без жара, но и без тени. Под эту призму становится обыкновенно подруга девушки, и — боже мой! — сколько тут является важных открытий ничего, тайных разговоров ни о чем, писем и записок, стихов и альбомов, узоров по канве и пересылки нот, где стихи Жуковского и Пушкина, понятные только перегоревшей душе, поются на голос романса королевы Гортензии и «Фрейшиц» переделан в вальсы и кадрили безбожными врагами музыки! Кто не смеется, найдя в альбоме девушки: «Je vous souhaite de tout mon coeur — toutes sortes de bonheur»¹ либо выписки из Делиля и Сен-Ламбера? Но мне также бывает смешно, когда я нахожу в нем:

If that high world, which lies beyond
Our own, surviving Love endears;

¹ Я вам желаю от всего сердца всяческого счастья (фр.).

If there the cherish'd heart de fond,
The eye the same, except in tears —

How welcome those untrodden spheres!
How sweet this very hour to die!
To soar from earth, and find all fears
Lost in thy light — Eternity!

It must be so: tis not for self
That we so tremble on the brink;
And striving to o'erleap the gulf,
Yet cling to Being's severing link.
Oh! in that future let us think
To hold each heart the heart that shares,
With them the immortal waters drink,
And soul in soul grow deathless theirs! *

И это переписывают в альбом подруге, по складам, детскими каракулями? Сколько смешного в мире!

«Спешу уведомить вас, милая Фанни, что, слава богу, все дела мои в Саратове кончились, и я вчера еще выехал бы отсюда, если бы не простудился и если бы доктор не посоветовал мне не пускаться в дорогу с моим кашлем. Зная чувства ваши и судя о них по своим, прошу вас не беспокоиться обо мне и уверяю, что болезнь моя совершенно ничтожна. Вы можете вообразить, с каким нетерпением желал бы я поспешить к вам в Москву, где ожидают меня любовь и счастье. Завидую этому письму, которое увидит вас прежде меня. Мысль о вас никогда не оставляет меня, и нередко даже благотворный сон представляет мне ваш прелестный образ. Недавно был я у дяденьки Богдана Богдановича. Он сам и милое семейство его любят вас заочно, как сестру и дочь, хотя еще и не знают лично. Папенька и маменька препоручают вам свидетельствовать их почтение вашему дедушке и бабушке».

Таково было письмо, которое прочитала Эмме подруга. Это было письмо от жениха ее, молодого и *очень милого человека*, который ходил к ее отцу три года, наконец пред-

* Если в этом мире, возвышенном над нашим миром, переживает нас любовь наша; если там переживут нас любящее сердце и очи любви, уже не знающие слез,— как радостно перейти в эти безвестные небеса, как весело умереть в сей самый час, улететь с земли и увидеть все опасения исчезнувшими в свете твоём, о Вечность!

Так должно быть: не за самих себя трепещем мы, стоя на берегу, и, порываемые желанием переплыть бездну, остаемся прикованные тяжкою цепью. Ах! оставьте нам думу, что в неизвестной будущности сердце соединится с любящим его сердцем, упьется с ним водами бессмертия, и душа с душою будут жить вместе, неумирающие!

ложил Фанни руку, был сговорен и уехал в Саратов испросить позволения отцовского на свадьбу и устроить свои дела.

— Не правда ли, как он мило пишет, как он меня любит? — вскричала Фанни.

Эмма молчала.

— Ты сегодня пренесносная, — продолжала Фанни. — Радуюсь над дрянным цветком, а не восхищаешься письмом моего жениха! Мило ли оно?

— Нет! — отвечала Эмма рассеянно.

— Эмма! — вскричала ее подруга, сердито отодвигаясь от нее.

Эмма опомнилась и спешила уверить подругу, что она сама не знает, что говорит.

— Я ведь хорошо знаю тебя, Эмма: ты опять сегодня вздумала мечтать; опять начиталась своего Шиллера!

— Нет! я недели две не читала его и едва ли примусь за него скоро.

— Что ж за причина твоей рассеянности? Посмотри, что за прекрасный день! Как все цветет, как все хорошо!

— Да! — отвечала Эмма, вздыхая.

— Мой Теобальд придет; мы будем танцевать, много танцевать!

— Я рада! — сказала Эмма, и слезы капнули из глаз ее.

Фанни испугалась, бросилась к подруге, обняла ее, просила простить и клялась, что не хотела огорчить ее.

— Я и не грущу; право, я весела, и ты меня ничем не оскорбила, Фанни!

— Но я говорю о своем счастье, когда ты печальна!

— Я не завидую *твоему* счастью, Фанни; клянусь богом, не завидую! Мне иногда даже бывает жаль тебя.

— Милый друг! что с тобой сделалось?

— Прости меня, Фанни! Я печалю тебя моими словами!

— Нет! но я тебя не понимаю: этого прежде не бывало. Я заметила, что с тех пор, как я невеста Теобальда, я вовсе не узнаю тебя!

Поверят ли: беспокойное чувство ревности и вместе самодовольства блеснуло в глазах Фанни; но, прибавим

— Ради бога, не спрашивай! Я сама их не понимаю и не умею растолковать.

— Тебе скучно?

— Нет! не скучно и вовсе не грустно. Но мое чувство походит на состояние человека, которого посадили в клетку и которого невидимая какая-то сила удерживает между небом и землею. Он сам не понимает, где висит его клетка; вокруг него пустота, и ей нет конца ни края, этой пустоте, Фанни: пустыня совершенная! Иногда по ней пролетает мимо его что-то милое такое, раздаются звуки такие чудные — ах! какие чудные... И вдруг все исчезает; и являются и летят мимо привидения, такие страшные, что он от ужаса закрывает глаза...

В это время где-то в отдалении, по-видимому у соседей, раздались странные звуки: казалось, что они походят на клики отчаяния, на смертный стон, вырывающийся из груди человека, которого душит сильная рука. Звуки эти пронеслись в воздухе и мгновенно исчезли. Эмма задрожала; Фанни также вздрогнула, осмотрелась кругом — все было тихо, радостно, светло; она не посмела спросить у Эммы, прижавшей лицо свое к ее груди, и начала опять разговор:

— Милая Эмма! ты будешь неблагодарна, если не согласишься, что тебя все любят, обожают, что ты составляешь радость и счастье своего семейства, что я тебя люблю... Неужели тебе этого не довольно?

— Все знаю, все чувствую и боюсь, не грех ли мое несчастное чувство, не значит ли оно неблагодарности к моим родным... к тебе, моя Фанни... к самому богу...

— Эмма! ты любишь кого-нибудь и скрываешь от меня?

— О, нет! уверяю тебя! — Эмма подняла голову свою и прямо в глаза смотрела своей подруге.

— Верю теперь; но что же сокрушает тебя?

— Не знаю. Когда дедушка ласкает меня, мне кажется, что это в последний раз, что завтра Эмма останется одна, одна; когда братья весело прыгают вокруг меня, мне думается: они скоро покинут тебя, и каждый из них скоро и навсегда забудет об Эмме.

Зачем же печалишь себя такую грустною мыслью, Эмма? Милый друг! у тебя будет свой *Теобальд*! Не пове-

понимаю, как может оно тебя радовать! Мужчины — я боюсь их: они пугают меня, все, сколько их ни видала! Их любовь — прости меня — любовь к тебе Теобальда — избави боже! Нет, нет! мне не надобно такой любви...

— Ты сумасбродишь!

— Может быть; но в душе моей я чувствую что-то непонятное мне самой. Послушай: говорят, что цветы не живут полною жизнью, что они только *растут*. Я не верю этому. Всякий раз, когда я смотрю на мои цветы, когда запахом их навевает ко мне ветерок, когда притом птичка так весело напевает мне своим голоском, — тут отзывается душа какая-то, душа в цветах, в звуках — говорю я самой себе. Шиллер знал эту душу цветов и звуков. Он говорил о ней, а у людей я этого не вижу! Когда цветок так нежно высказывает мне жизнь свою, когда птичка так мило выпевает ее мне — как же должны бы высказывать, выражать ее люди, когда им бог дал глаза и слова! Какова бы должна быть *любовь людей!* Мне кажется иногда, что я создаю себе кого-то, какое-то привидение, из всего, что очаровывает меня в природе; я даю ему образ человеческий, передаю ему *свою душу* — он мне больше, нежели подруга — он *друг* мой — нет! еще больше: он так любит меня, что друг так любить не может... и я не знаю, как назвать его...

— И это привидение, верно, походит на мужчину, а не на подружку?

— Ах, да! Но не смейся надо мною: оно не походит ни на одну подружку мою; уверяю тебя, что оно не походит и ни на одного мужчину, каких я знаю. У него глаза светятся небом; у него щеки алеют, как заря; он *не говорит мне ничего*, а я *все понимаю*.

— И мой Теобальд точно таков!

— Ах, нет! Он не таков! Твой Теобальд говорит тебе, как говорят другие мужчины — *ты* не он, а он *не ты!* Мое привидение такое воздушное, что я дышу им, и если бы надобно мне было говорить с ним, я называла бы его *я*, а себя *ты!* Он жил бы моею жизнью — он умер бы, когда не видал бы меня с собою... — Эмма понизила голос. — Он не уехал бы в Саратов, не пожалел бы своего кашля и не писал бы ко мне «вы»! Я разлюбила бы его за все это, а без любви моей он не мог бы существовать. Его создала любовь моя, и с смертью моей любви — умрет он!

Фанни невольно задумалась при словах подруги.

— Милый друг! ты мечтаешь! — сказала она. — Того, что создаешь ты себе в воображении — нет в мире. Но

любовь моего Теобальда прекрасна; она совершенно счастливит меня...

— Что это за любовь, Фанни, если ты могла существовать прежде, не зная любви своего Теобальда! Прости меня, Фанни, — я люблю тебя и не хотела огорчать; но ты сама спрашивала меня — я все сказала тебе. Видишь ли, отчего письмо твоего жениха холодит меня, как кусок льду, отчего мне так тяжело смотреть на людей, особливо на мужчин, с их дерзкими взорами, с их любовью, такую грубою... Нет! мне не надобно такой любви!

— Но тебя отдадут замуж, и, может быть, за того молодого гусара, который говорил с нами, когда мы были на вечере у М*** Он от тебя в восторге — он же такой хорошенький!

— Я никогда не отдам ему руки своей. Дедушка не станет принуждать меня. Этот гусар надоел мне ужасно: он всякий день ездит мимо нас и глядит к нам прямо в окна. Неужели он любит, когда может глядеть на меня, как будто на хорошенькую куклу, и еще прямо, разглаживая свои усы и щеголяя лорнетом? Урод! Нет! ваши люди, ваши мужчины мне не нравятся... Если бы можно было мне отказаться вовсе от света, когда не будет дедушки и бабушки, и если бы я была русская, я — пошла бы, может быть, в монахини. Там святая вера наполнила бы всю мою душу, так наполнила, что все привидения были бы из нее вытеснены... Если бы я могла полюбить здесь кого-нибудь на земле, — Фанни! я умерла бы: кто поймет мою любовь, когда я сама ее не понимаю? Фанни! я чувствую, что мне не жить здесь долго; о счастье я и думать не смею: люди не знают счастья, и мне кажется, что все шепчет мне: Эмма! тебя ждут в родной стороне! Ты здесь пришлица! Не люби так, как любят люди! И небесный дождь, когда он падает на землю, делается грязью...

Тут снова послышались пронзительные звуки, каких прежде испугалась Фанни. Теперь можно было яснее расслушать, что это были отчаянные крики человеческие. Эмма снова задрожала.

— Что это такое, Эмма? Уже в другой раз мне это послышалось!

— А я всякий день слышу, и мне кажется, что судьба моя откликается ими, когда я спрашиваю у нее: есть ли на земле счастье для Эммы?

— Растолкуй мне, что это такое?

— Это кричит сумасшедший.

— Какой сумасшедший?

— Разве ты не слыхала, что у соседа нашего, князя С***, года два тому сошел с ума его сын?

— Да, такая жалость! Говорят, он был премилый молодой человек.

— Я его никогда не видала. Князь всегда жила в Петербурге и до приезда в Москву с сумасшедшим сыном долго жил еще в своей деревне. Только прошедшею зимою поселился он у нас по соседству, в своем доме. Сына его взялся лечить какой-то ученый доктор, выписанный из Берлина. Но успеха нет. Молодого князя поселили с самой весны в садовом павильоне; говорят, он беспрестанно приходит в бешенство и всегда прикован на цепи. Он кричит иногда так отчаянно, что у нас, особливо поутру и в вечеру, все бывает слышно.

— Какой ужас!

— Что за ужас? Сначала я сама пугалась его крика, а теперь привыкла, хоть невольно содрогаюсь каждый раз, когда услышу этот ужасный крик. Мне все кажется, что этого бедного молодого человека мучат, мучат за то, что он был лучше других людей, и он просит пощады у бесчеловечных, а его не слушают.

— Это расстроит меня на целый день, Эмма,— и твой разговор притом...— Фанни задумалась и тихо промолвила: — Да, можно бы любить иначе, нежели любит мой Теобальд.— Она соскочила с скамьи.— Пойдем в комнаты! — сказала она с принужденною усмешкою и потащила с собою Эмму по садовой дорожке.

III

Прошло несколько дней после разговора двух подруг, и опять задумчиво, с неопределенною мечтою Эмма гуляла в садике своего дедушки. Прекрасен был день, ясно было небо; любимцы Эммы, цветы, казалось, хотели сказать ей: «Будь весела, наша милая Эмма! о чем ты грустишь? Посмотри: мы жили твоим старанием. Повеселей же, наша Эмма!»

Но Эмма ничего не слыхала, ни на что не смотрела; она сидела с своею работою в беседке, иногда устремляя взор на любимую грядку цветов подле беседки, где великолепно цвел теперь василек и, казалось, гордился между другими цветами, как будто хотел сказать им: «Меня любит Эмма!»

Вдруг необыкновенный шум привлек внимание Эммы. Она глядит — нет! она не ошибается: среди ясного по-

лудня не являются привидения! Но что же это такое, если не привидение? — Сверх каменной ограды, отделявшей княжеский сад от садика дедушки Эммы, появилась растрепанная голова; рука чья-то уцепилась за верх ограды: это человек — он лезет на ограду; с руки его перемахнулась в садик железная цепь... Другую рукою ухватился он за ограду — другая цепь повисла на ограде. Он останавливается, глядит назад, оборачивается в садик; бесчувственно глядит он потом на солнце, на небо, на деревья, на цветы...

Эмма хотела бежать — холодом обдало ее; ноги ее подкосились. Беги, Эмма! беги, моли своего ангела-хранителя спасти тебя! Нет! силы оставляют Эмму! Ужас лишает ее возможности бежать; она не в бесчувствии, но как будто гремучая змея глядит на нее и очарованием глаз своих уничтожает у нее даже самую мысль двинуться с места.

Внимательно, не понимая сама, что делает, Эмма устремляет взоры свои на незнакомца; не может отвести от него глаз своих. Она видит ясно, что это какой-то молодой человек: он одет в сюртук, глаза у него голубые, волосы русые, но — великий боже! какое лицо — бледное, худое, какие глаза — дикие, мутные! Волосы его всклоочены, падают на плеча, нерасчесанные, в беспорядке; на руках его цепи; платье его разорвано. С минуту держался он за забор и глядел назад, в сад княжеский. Вдруг в саду княжеском раздался голос: «Вот он! ловите его!» Лицо незнакомца обезобразилось судорогами. Держась одною рукою за ограду, он схватывает другую какую-то огромную палку, взмахивает ее и кидает в сад княжеский. В одно время раздался в саду пронзительный вопль, и с ним смешался безумный хохот незнакомца! Быстро вскакивает он на ограду с криком, с диким хохотом прыгает в садик дедушки Эммы, мгновенно поднимается, кричит, бежит испуганно, перепрыгивает через кусты, топчет грядки цветов и стремится прямо к беседке, где сидит Эмма...

После первого мгновения бесчувственного, безотчетного страха Эмма поняла, что страшный незнакомец должен быть молодой сумасшедший князь С***, что, вероятно, он вырвался из рук своих зрителей, и — пронзительный вопль, слышанный ею в княжеском саду, означал, может быть, убийство приставленного к нему человека, что он теперь бежит в неистовстве, в бешенстве — сумасшедший, безумный, убийца! Еще раз мысль о спасении мелькнула в голове Эммы, но она не в силах пошевелиться с места...

И поздно! С безумным воплем он стремится прямо

в беседку; нога его топчет и уничтожает милые васильки, любимцы Эммы, цепи его глухо ударились о беседку — бежать нельзя! Безумец загородил собою вход, мутные глаза его пробежали по маленькому пространству беседки и устремились прямо на Эмму. Еще мгновение — он растерзает, задушит Эмму своими иссохшими руками. Вид человека приводит его в бешенство; он видит в нем своего врага, и бессмысленное выражение лица его переходит в ярость — одно чувство, оставшееся ему от прежнего состояния человеческого. Злость человека и сила зверя — удел безумия...

Мысль о смерти была первою мыслью Эммы, но — какую чудную перемену ощущает она в себе? Неужели после того, когда человек вместит в груди своей всеобъемлющую *мысль смерти*, все ничтожное, все земное, все, что делало его братом червю земли, — исчезает в нем, и он, свободный, вольный в ощущениях и поступках, переходит к тому, что носит на себе знамение неземного, только к тому, что бесконечно и необъятно, как небо, говоря земле, подобно перу, улетающей в растворенные врата рая: «Прости, земля»?

Эмма вдруг теряет весь страх свой, все свое опасение: в безумце, который стоит перед нею, виден ей не сумасшедший убийца, но бедный больной, страждущий, слабый человек, и сквозь его обезображенное болезнью и страданиями лицо светлеет для нее какой-то прекрасный юношеский образ, не страшный, но как будто умоляющий ее о пощаде, о спасении: падший ангел, еще не вовсе утративший следы своего небесного происхождения. В самой себе она чувствует необыкновенную, непонятную для нее перемену, как будто до нее коснулся волшебный прутик какого-нибудь Просперо, и вместо крови потекло по ее жилам что-то горящее, пламенное и стало брызгать лучами света и огня из глаз ее — и глаза ее засветились этим непобедимым светом, и руки ее сделались проводниками небесных огней, которыми гремят небеса; и эти молнии, тайно, невидимо от взоров людских, ввились во все сокровенные изгибы души Эммы; кровь ее быстро закипела по всем ее жилам и отразилась на щеках ее жарким румянцем!

Смело поднялась Эмма с скамейки, на которой сидела, протянула руку и голосом, не похожим ни на повеление, ни на просьбу, ни на гнев, скоро и громко произнесла: «Кто вы? Что вам здесь надобно?»

Какое непостижимое действие произвели эти слова,

этот голос на безумца! Казалось, что они сверкнули огнем, ударились прямо в грудь его, причинили ему нестерпимую боль. Дикость выражения в лице его исчезла и заменилась болезненным ощущением; мутные глаза его почти закрылись веками, как будто он не в состоянии был смотреть на Эмму, прежде, в безумии своем, смотревши прямо на солнце. Он ухватился обеими руками за грудь свою и со стоном произнес: «Ах!»

Теперь он уже не был тем страшным незнакомцем, который вырвал из стены крепкие цепи свои и, взмахнув тяжелой палку одною рукою, убил своего приставника. Он несчастный, больной, слабый юноша, лишенный единственного дара божия, которым человек отличен от животного; он меньше, нежели зверь: он *сумасшедший!*

Эмма видит изменение лица его; непобедимое чувство сострадания заступает в ней место страха и ужаса, заступает невольно, не спрашиваясь ее рассудка. Более: ей кажется, что этот бедный безумец как будто знаком был ей давно, что она где-то знавала его, что вопли его, издавна слышанные ею, были призывным кликом: «Эмма! спаси меня!» Он едва держится на ногах, и Эмма бросается к нему, хочет поддержать его, говоря: «Что с вами случилось?» Но едва рука ее коснулась незнакомца, колена его дрожат, он падает перед Эммою и, закрывая глаза руками, говорит жалобным голосом: «Пощади меня; не мучь меня — я не виноват! Они терзали меня нестерпимо!»

Эмма не понимала, что ей делать. Она решилась удалиться, сказать дедушке, призвать людей, ибо вовсе не знала, как должно обходиться с сумасшедшими. Что она теперь одна в саду с неизвестным ей мужчиною — ей вовсе не приходило этого в голову: она видела не мужчину, но какое-то жалкое существо человеческое, покорное ей, просившее у нее пощады. Только мысль о том, как и чем пособить бедному страдальцу, заняла всю ее душу. Она решилась, однако ж, идти из сада. Но едва Эмма сделала один шаг, сумасшедший стал перед нею на колена, сложил руки на груди, тихо промолвил: «Не уходи, не уходи — побудь здесь!» — и в бессилии упал он на траву.

Эмма испугалась, опять подошла к нему, наклонилась и заботливо спрашивала:

— Что с вами? Скажите, что с вами случилось?

— Мне больно — здесь (он указал на грудь) — и здесь больно (он указал на голову)! Не уходи — без тебя они придут и возьмут меня...

— Нет! они не придут; скажите, что вам надобно?

— Ничего, ничего! Приложи руку твою к моей голове; слышишь ли, как она болит у меня?

Эмма приложила руку свою к голове безумца. Он дышал тяжело, но вдруг открыл глаза, и улыбка — может быть, давно небывалый гость — оживила лицо его. Вдруг он приподнялся, сел на траве и тер глаза руками, говоря:

— Мошки, мошки! Они лезут мне в глаза, отгони их!

Эмма стояла подле него и начала махать платком, опасаясь раздражить сумасшедшего своим непослушанием.

— Нет! рукой, рукой,— говорил он,— сделай милость, махни рукой, а не этой тряпичкой: мне от нее холодно; теперь стало тепло, тепло — ясно, ясно — ах! как хорошо: мошки улетели!

В это время шум нескольких голосов раздался подле садовой калитки. Эмма оборотила голову и увидела дедушку. В своем колпаке и халате старик спешил в садик и бежал по дорожке; за ним поспешно следовали трое или четверо незнакомых людей, один из них был одет в княжеской ливрее. Эмма поняла, что княжеские слуги пришли за сумасшедшим, и испуганный дедушка бежит к ней на спасение, услышав об угрожающей ей опасности. Мысль о спасении и страх снова взволновали всю душу Эммы, едва увидела она дедушку и княжеских людей; она в то же мгновение почувствовала и то, как неприлично ей было оставаться в саду одной с неизвестным человеком и как опасно быть с сумасшедшим.

В одно мгновение бросилась она от бедного безумца, как молния, достигла до своего дедушки и трепеща прижалась к его груди.

— Ох! милый друг мой! — говорил старик, едва не задыхаясь и обнимая Эмму, — как я испугался! Не испугал ли он тебя? Какое несчастье! Можно ли было предвидеть!

— Успокойтесь, милый дедушка! Я испугалась немного; но он такой смирный; он ничего мне не сделал.

— Слава богу! Его сейчас возьмут княжеские люди! Пойдем скорее домой. Как ужаснули они меня своими рассказами: прибежали опрометью, говорят, что сумасшедший убежал в наш садик, что никогда еще не был он в таком бешенстве — сорвался с цепи, ушиб своего пристаownika...

— А не убил, дедушка?

— Нет, только ушиб больно: бросил в него палкой с размаха; других людей на тот раз не было при нем...—

Старик спешил вести Эмму, но страшный крик остановил их и заставил оборотиться.

Едва удалилась Эмма от сумасшедшего, он громко вскричал:

— Где же тот, кто был здесь со мною?

Казавшись прежде слабым, изнеможенным, он как будто вдруг получил опять всю свою неистовую силу; глаза его помутились, волосы стали дыбом; он вскочил и, увидя подходящих к нему княжеских слуг, страшно заскрежетал зубами.

— Ваше сиятельство, — сказал один из слуг, — пожалуйста домой.

Сумасшедший смотрел на него молча.

— Не извольте противиться, — сказал другой слуга. — Их сиятельства приказали вам пожаловать домой.

Сумасшедший захохотал. По знаку, данному старшим из слуг, трое вдруг бросились на безумца и схватили его. Он закричал раздирающим душу голосом, и не успели оглянуться, как двоих сшиб он с ног и отбросил от себя далеко, третьего схватил он за горло, повернул через себя, придавил его к земле и со смехом начал душить. Старый управитель отчаянно завопил:

— Ванюша, Ванюша! он задушит его! Помогите, помогите, ради господи помогите!

Старик не смел броситься сам, только кричал:

— Люди, люди! — и совершенно потерял голову.

Двое других слуг едва могли подняться и не в состоянии были помочь своему товарищу. Дедушка Эммы громко читал «Vater unser»¹ и не знал, что ему предпринять: бежать ли, помогать ли?

А Эмма? Весь страх, вся робость, какую чувствовала она, снова вдруг исчезли. Она вырвалась из объятий дедушки, безотчетно бросилась прямо к сумасшедшему и вскричала:

— Что вы делаете, князь?

Непостижимое изменение! Сумасшедший оставил слугу, которого душил руками, и робко поднялся с земли, потупил глаза, сложил руки. Эмма казалась божеством, перед которым уничтожаются его злость и сила. Дедушка, изумленный ее неожиданным поступком, признавался потом, что в это время он не узнал своей кроткой, тихой Эммы, что лицо ее засветилось чем-то неестественным, что, оживленная чем-то непонятным, она, с своим скромным,

¹ «Отче наш» (нем.).

нежным лицом, своею легкою талиєю, когда в то же время в быстром порыве ветерок сорвал с груди ее легонький платочек,— походила на одного из Клопштоковых бес- смертных духов. Старик любил читать «Мессиаду» и очень любил свою Эмму: не удивляйтесь его уподоблению.

— Сядьте здесь и будьте спокойны! — продолжала Эмма, все еще сама не понимая, что говорит, но смело указывая сумасшедшему на дерновую скамейку. Он без- молвно повиновался.

— Можно ли так бесчеловечно поступать! Вы убили бы этого бедного человека!

— Убил? А что такое «убил»? Они били меня, они му- чили меня! — Сумасшедший заплакал, как дитя.— Я не стану драться,— продолжал он, смотря на Эмму,— если ты этого не хочешь,— только не сердись.

— Как можно хотеть убивать людей! Но сидите же спокойно.

— Но не уходи же от меня,— сказал сумасшедший, протягивая к ней руки,— и не вели им меня трогать.

— Будьте только смирны.

— У меня опять заболела голова. Дай мне свою руку — вот здесь у меня болит! — Он протянул свою руку к Эмме; она бестрепетно дала ему свою руку, и он прило- жил ее к голове.

— Лучше ли вам теперь?

— Лучше.— Он отнял руку Эммы от головы своей и с улыбкою, внимательно рассматривал эту милую, неж- ную ручку.

В изумлении от всего происходившего стояли дедушка и слуги княжеские. Дедушка тихонько подошел к Эмме и дернул ее за платье. Эмма оглянулась.

— Эмма! что ты делаешь! Отойди от него, пойдем домой! — сказал дедушка.

— Как же оставить его? — отвечала тихонько Эмма, печально улыбаясь.— Вы видите, что он только меня и слу- шается.

— По-немецки говорит! — сказал сумасшедший, улы- баясь и указывая пальцем на старика.

Эмма отняла у него свою руку; управитель и слуги осмелились опять подойти ближе. Эмма отступила.

— Ваше сиятельство...— произнес управитель.

Одной рукой сумасшедший ухватился за беседку, и она вся затрещала от его усилия выломить из нее палку. В ужасе отбежали слуги княжеские. Эмма снова произ- несла:

— Вы обещали быть спокойны,— и сумасшедший сел на скамью, будто послушливое дитя.

— Как же мне уйти отсюда? — спросила Эмма у дедушки.

Слуги подошли к старику.

— Ваше высокоблагородие! — сказал ему тихо управитель,— позвольте мне доложить об этом их сиятельствам. Я тут ничего не разумею, изволите видеть. Надобно позвать нашего доктора.

Но доктор шел уже в это время по садовой дорожке. Один из слуг успел его обо всем уведомить. Доктор был старый человек в синем старомодном фраке. Он отрекомендовался дедушке Эммы с старинною немецкою оригинальностью.

— Извините, любезный сосед,— сказал доктор,— а может быть, когда узнаем друг друга поближе, и любезный друг, извините, что вас беспокоил наш больной негодяй! Вы не поверите, как хитр бывает человек, когда лишится употребления рассудка. За два часа я оставил его такого смиренного; он пил лекарства и во всем меня слушался — а между тем, вообразите, что он напроказил после того!

— Объясните мне, господин доктор, что все это значит? — говорил дедушка, указывая на Эмму, стоящую подле князя, и на князя, который смотрел на нее, улыбался, был тих, спокоен и, казалось, с жадностью глотал воздух, сделавшийся для него целебным от присутствия Эммы.

Дедушка наскоро пересказал доктору все события. Доктор угрюмо задумался, долго качал головою, долго чертил палкою по песку, наконец поднял голову и протяжно отвечал:

— Изъяснить, любезный сосед, не откажусь, но прежде всего позвольте мне, как честному человеку, уверить вас, что я не употреблю во зло вашей доверенности, и потом спросить: сколько лет вашей внучке?

— Я потерял дорогою, ехавши из Петербурга, или в Петербурге где-нибудь календарь, в котором был записан день ее рождения.

— О дне ни слова, но год...

— То-то, и года-то хорошо не знаю; должно быть, ей восемнадцать или девятнадцать лет.

— Характер ее?

— Ангельский.

— Это сказано неопределенно; судя по виду, должно думать, что характер ее *холеро-меланхолический*.

— Она одно утешение наше со старухою.

— Хм! утешение! И одна внучка у вас?

— У нее есть еще братья, маленькие, премилые шалуны.

— Хм! — повторил опять доктор.— Она должна быть набожна и, верно, не любит общества мужчин?

— Не знаю, к чему клонятся ваши странные вопросы, г-н доктор? Мы еще так мало знакомы.

— К тому, сударь, к тому — черт побери! Зачем вы давно не выдали замуж вашей внучки! Zum Teufel! ¹ На что держать дома этот гнилой товар!

— Г-н доктор! моя Эмма ангел скромности, добродетели и невинности.

— Да я лучше вас самих могу сказать вам все это, сударь, я — ученик и друг великого Месмера! — Доктор приподнял свою шляпу.— Вы тут ничего не понимаете, а я понимаю.— Доктор утер слезу, выкатившуюся из его глаза.— Черт побери! Ведь вы желаете счастья вашей внучке? Так зачем же вы давно не выдали ее замуж?

— Г-н доктор!

— Господин сосед! потому, что вы должны были уговорить ее выйти замуж. Неба с землей мешать не надобно. На земле надобно думать о земле, и если неземное мешается там, где его не спрашивают, выходит дребедень — вы этого не понимаете, а я понимаю. Лечить можно всякой всячиной: я вылечивал чахотку от любви пилюлями из ипекакуаны; *tinctura regia* ², Перувианский бальзам и Боэргавов сахар спасли бы дурака Вертера, и этого сумасшедшего я вылечил бы, да теперь все пропало! Теперь ведь уж нельзя их разлучить — он умрет! Эх, сосед, сосед! как можно позволять девчонкам гулять в садах, подле которых содержат сумасшедших!..

Доктор с досадой стукнул своею палкою в землю и подошел ближе к сумасшедшему. Он пристально начал глядеть на сумасшедшего и на Эмму. Эмма потупила глаза и покраснела бы, если бы щеки ее, от солнца, от всего, что было, и от сильного внутреннего движения, давно не горели, как полымя.

— Ну! так! Все признаки,— точно так...— сердито произнес доктор.

Сумасшедший заметил доктора. Эмма отошла в это время от него. Взор безумца мрачился и темнел.

¹ К черту! (нем.)

² царская настойка (лат.).

— Вы опять принялись за ваши дурачества,— сказал доктор князю,— стыдитесь, князь, стыдитесь!

Сумасшедший сжал кулаки.

— Не нужно сжимать кулаки,— вскричал доктор.— Я велю посадить вас в узкий мешок и капать вам водой на голову!

Сумасшедший готов был вскочить с скамейки.

— Можно ли так жестоко обходиться с ним? — сказала Эмма, обратив умоляющий взор на доктора.

— Прошу покорно: жестоко обходиться! Ласкайте, ласкайте его; вы еще не знаете, что значит человек сумасшедший; а не сумасшедший еще хуже, хуже во сто раз, говорю я вам! Вы этого не понимаете, а я понимаю.

Глухое рыкание послышалось в груди сумасшедшего.

— Теперь все мое лечение пошло на ветер по вашей милости! — вскричал доктор.

Заметив желание сумасшедшего броситься на доктора, Эмма оборотилась к нему и напомнила обещание быть спокойным.

— Позволь мне убить только этого,— шептал ей сумасшедший, робко указывая на доктора.— Он всех больше меня мучит. Я убью его так, что никто этого не увидит, и потом опять буду смирен, как тебе угодно.

Неужели только страх наказания или выдуманные человеком приличия заставляют несумасшедших не говорить того вслух, что говорит человек в безумии? Или с потерей ума человек теряет божественную половину свою, и тогда только остальная половина его — *зверь* — остается в нем, и кровожадность тигра является в человеке ничем неукротимая? Гнев не есть ли сумасшествие на минуту? Не знаю; но как часто человек с умом мыслит то, что, лишенный ума, говорит он вслух! Загляните в душу свою без свидетелей, и — вы содрогнетесь!

— Сударыня! велите ему остаться спокойным и скажите, что вы пойдете уговаривать меня не мучить его; потом, пожалуйста, подойдите сюда, ко мне. Без этого он тотчас убьет меня,— сказал хладнокровно доктор.

Доктор говорил по-немецки; сумасшедший тщательно вслушивался в слова, не понимал их и с досадою потряхивал головой.

— Будьте же спокойны, сидите здесь; я пойду уговорю его помириться с вами; видите, какой он сердитый,— сказала Эмма безумному.

— Ты уйдешь,— отвечал он,— и опять они возьмут меня. Ах! ты не знаешь, как они меня мучат! И все говорят

мне, что я сумасшедший! — Он взял Эмму за руку; слезы наполнили глаза его. — А я совсем не сумасшедший. Ты видишь, что мне с тобою хорошо; я стану делать все, что ты мне велишь, только не оставляй меня! — Он стал на колени и держал Эмму за руку.

Сердце девушки замирало от ощущений, дотоле ей неизвестных и теперь непонятных. Она снова уговаривала безумца, и он остался неподвижен, на коленях, на своем месте, глядя на удаляющуюся Эмму. Так глядел он на нее, как будто все существование, вся жизнь его заключались в ней.

— Сударыня, — сказал ей доктор, — нет надобности изъяснять вам *как*, но только одно скажу: вы приобрели теперь полную власть над этим несчастным молодым человеком. Пользуйтесь своею властью, и вы вылечите его непременно. Начинайте теперь же ваше дело.

— Господин доктор! вы смеетесь надо мною! — сказала Эмма. — Что я за лекарка!

— Ну, ну! — вскричал доктор нетерпеливо, — я не умею по-вашему изъясняться и не стану говорить вам: будьте его ангелом-хранителем! Ангелов на земле нет; да и какой вы ангел? Вы женщина, из костей, крови и мяса...

— Господин доктор!

— Госпожа женщина, а совсем не ангел! прошу не сердиться! Угодно ли вам лечить его?

— Если бы я и могла, то надобна воля дедушки...

— Дедушка вам тут значит меньше нуля, поставленного к единице с левой стороны. Надобна *ваша* воля.

— Я не понимаю.

— И не нужно понимать! Много наделали бы люди, если бы понимали все, что делают!

— Что же мне делать?

— Пожелайте выздороветь ему, так пожелайте, как вы желаете себе царства небесного, как вы любите вашего дедушку.

— О! больше, больше, если надобно... — Эмма смешалась, когда невольно вырвались у нее эти слова. — Я буду молиться об этом каждый день, мыслить каждый час!

— Доброе создание! — сказал доктор, крепко сжимая ей руку. — Воля человека в молитве непобедима. Это... Но вы не поймете меня! Читали ль вы Библию? Помните ль слова его, того, кто сам сходил на землю для страдания: «*Aber ohne deinen Willen wollte ish nichts tun, auf daß dein Gutes nicht wäre genöthiger, sondern freiwillig*» («Без

твоей воли ничто же восхотел творити, да не аки по нужде благое твое будет, но по воле») ?

— Ах! Г-н доктор! что значит моя воля!

— То, чего никто в мире превозмочь не может. Поведите меня к нему, положите руки ваши ему на голову и три раза проведите ими от головы до сердца — то есть от первого главного зла человеческого до другого, еще худшего. Потом скажите ему, что я желаю ему добра; смотрите ему прямо в глаза; велите ему ехать домой и пожелайте здоровья.

— Я буду желать и молиться об этом.

Эмма исполнила слова доктора. Сумасшедший все еще стоял на коленях. Она подошла к нему и положила руки на его голову.

Если только может быть в человеке чистая, святая воля на добро, в это мгновение молитва к богу, какую в душе своей произнесла Эмма, молитва, в которой, забыв самое себя, она преобразилась в одно небесное желание добра, — эта молитва могла силою воли душевной сдвинуть горы и сбросить их в океан, как легкие песчинки! Будто непорочный ангел, коснулась Эмма — в первый раз в жизни — сердца мужчины и слышала под рукою своею его трепетание; но она не стыдилась и не краснела: она не глядела тогда на мужчину, сердце которого билось под ее рукою; взоры ее устремлены были на небо, где бесконечная, светлая лазурь казалась ей лазурью ока неизмеримого, пред коим пролетают века, как пыль, ветром свеваемая, и вселенная ветшает, как бедная риза, но оно вечно и неподвижно устремлено на века и на вселенную.

— Твои руки жгут меня, — прошептал сумасшедший. — Но сожги, сожги меня — мне так хорошо!

Дикий взор его угасал постепенно; он поднялся с земли и повел рукою по глазам, как будто снимая с них что-нибудь.

— Вы должны любить этого человека и слушаться его, — сказала Эмма, указывая на доктора. Сумасшедший робко взглянул на него.

— Пойдемте со мною, — сказал ему доктор ласково, — вам теперь и со мною будет хорошо.

Сумасшедший взглянул на Эмму, как будто спрашивая: велишь ли ты мне идти с ним?

— Да, идите с ним, — промолвила Эмма тихо.

Доктор взял безумца за руку, повел его и наткнулся на платочек, упавший прежде с груди Эммы. Он наклонился, поднял этот платочек и спросил у Эммы:

— Ваш ли?

— Ах, мой! — вскричала Эмма смешавшись.

— Возьмите его в руки и потом повяжите его на левой руке больного. Да не дурачьтесь же: извольте делать, что я говорю.— Неужели вам жаль этого дрянного лоскутка, если вы не жалеете всей своей воли для его здоровья? Знаете ли, чем вы, сударыня, жертвуете для него?

Эмма не отвечала ни слова и повязала платочек свой на руку сумасшедшего. Доктор повел его к калитке садика. Безумный не противился, но казалось, что он едва может идти; голова его тяжелела, глаза закрывались, ноги едва двигались. У калитки садика уже стояла великолепная карета княжеская; два высокие лакея в богатой ливрее растворили дверцы. Сумасшедшего почти на руках внесли в карету. Доктор сел с ним и, садясь, оглянулся на Эмму и на ее дедушку, неподвижно стоявших в садике; он усмехнулся, ласково махнул рукою. Дверцы кареты захлопнули; лакей закричал: «Пошел домой!», и карета загремела и быстро укатилась за ворота.

Эмма все еще стояла неподвижно. Что она думала? Не знаю. Дедушка подошел к ней, ласково обнял ее и заботливо спросил: «Ты вдруг так побледнела, моя Эммочка; что с тобою сделалось? Ты верно чувствуешь себя нехорошо? Пойдем, прими поскорее раковых жерновок!»

Эмма прижалась к дедушке, опустила голову на грудь его и заплакала.

— Эмма, милая Эмма! — говорил ей дедушка.— Вот и старушка наша возвратилась из города. Пойдем к ней.

Тихо повел он Эмму. Русые локоны девушки переплетались с седыми волосами старика, и слезы юности падали на грудь его, среди разрушений времени вполне сохранившую чувство добра и любви к милым ему людям.

IV

В огромной диванной своего великолепного княжеского дома сидела княгиня С*** Комната была богато убрана и превосходно меблирована. Стены ее были красиво драпированы красным сукном с золотыми подборами. Против княгини, подле окна, сидел и глядел в окно на обширную Москву супруг княгини, князь С*** Он был в шелковом большом шлафроке. Впрочем, трудно было решить, что его занимало более: вид ли Москвы или пара болонок, которые прыгали, кусались и играли в комнате? Князь кликал их,

бранил, ласкал, брал к себе за пазуху, ссорился, мирился с ними. Княгиня не принимала участия в его занятии, сидела подле столика, гоняла от себя собачонок, когда они подбегали к ней, и казалась весьма недовольною. Две колоды карт лежали перед нею на столике; княгиня не трогала их. Наконец она громко позвонила. Вошел лакей.

— Ну? — сказала она вошедшему лакею.

— Они изволили возвратиться, — отвечал лакей.

— Так что ж ты не зовешь его ко мне? — вскричала княгиня так сердито, что лицо ее покраснело от досады.

— Докладывал; изволили пойти к его сиятельству; сказали: приду.

— Поди же, попроси его пожаловать ко мне скорее, да учтивее говори, болван! — закричала княгиня. Лакей ушел.

— Матушка, — тихо проговорил тогда князь, зажимая рот собачке, залаявшей от громкого восклицания княгини, — ты испугала моего Коко!

— Мне кажется, князь, этот гадкий Коко заставляет вас забывать, что кроме его есть что-нибудь на свете.

— А что же такое есть еще на свете? — спросил князь, в недоумении поднимая голову.

— Например, у вас есть единственный сын, и этот сын болезнь своею ведет ко гробу вашу жену.

— Вы знаете, княгиня, что я не люблю говорить об этом печальном предмете.

— Потому что вы эгоист, и если бы сын ваш скорее умер, вы поразовались бы этому как избавлению от скуки!

— Лучше умереть, княгиня, нежели остаться без ума.

— Однако ж есть примеры людей, в чинах и богатстве, вовсе лишенных ума. — Княгиня насмешливо взглянула на князя.

— То есть, не одаренных большим умом? хотите вы сказать, — отвечал князь, как будто не понимая намека княгини. — Они не сумасшедшие однако ж. Большой ум опять зло, и очень большое зло. Знаете ли, что я опытом узнал это?

— Не на себе ли самом?

— Нет! на чиновниках и людях, с которыми случалось иметь дела в жизни. Поверьте мне...

— Замолчите, сделайте милость! — прервала с досадою речь его княгиня. Князь испугался, молчал с минуту, потом опять старался завести разговор.

— Ты не поняла меня, топ атіе, — начал он тихо и ласково, — я сказал, что лучше пожелаю смерти моему

милому Полю, нежели соглашусь видеть его на всю жизнь сумасшедшим.

— И вы говорите об этом так хладнокровно, как будто речь идет о вашей гончей собаке? — вскричала княгиня.

— Надобно философически смотреть на вещи. Вы знаете правило Гельвеция...

— Я знаю одно, что только сердце матери способно чувствовать и оценить потерю сына.

— Но разве мы не приняли всех мер, *mon amie*? Наш доктор...

— Ваш доктор — пустой ученый говорун!

— Помилуйте: его европейская слава, письма Гуффланда, рекомендация Франка и Аберкромби...

— Вся ваша Европа дура!

— Но я сам говаривал с ним...

— Вы, сударь, бесчувственное создание!

— Но, вы сами, княгиня...

— Что же я разумею в их глупой науке, в этой медицине? Одно вижу я, что все доктора обманщики и нас дурачат.

Князь не отвечал, как будто решительный тон княгини убедил его в истине всего, что говорила княгиня. Он начал глядеть в окно и напевал вполголоса:

Dans ma cabane obscure
Toujours soucis nouveaux;
Vent, soleil, ou froidure,
Toujours peine et travaux! ¹

В это время слышались в другой комнате тяжелые шаги доктора. Приближение его произвело чудное действие на княгиню: она поправила свою шаль, небрежнее села на диван, улыбка вдруг появилась на лице ее и, как будто веселую маскою, закрыла всю ее досаду. Никто не узнал бы теперь в этой ловкой, светской, ласковой женщине сердитой барыни, бранившей мужа своего, доктора и всю Европу за минуту прежде.

— Мой любезный г-н доктор, — сказала княгиня, — я ждала вас нетерпеливо.

— Я к вашим услугам, княгиня, — угрюмо отвечал доктор. — Что вам угодно?

— Могу ли думать о чем-нибудь, кроме одного!

В моей темной хижине все время новые заботы; ветер, солнце или стужа, но все равно труд и дела! (фр.)

— Теперь в самом деле, княгиня, пришло время доказать на деле ваши слова: точно ли думаете вы *только об одном*, то есть о жизни вашего сына.

— О жизни? Боже мой! вы меня пугаете!

— И не думал пугать: вы решительно можете спасти его — или погубить, также решительно.

— Спасите! Говорите, ради бога, говорите, г-н доктор.

— Да! это в вашей воле. Более говорить нечего.— Доктор спокойно сел на диван и начал нюхать табак из своей огромной золотой табакерки.

— Сжальтесь над беспокойством матери, скажите скорее!

— Но я не имел еще чести слышать вашего ответа на первые мои слова.

— Чего пожалеем мы для нашего Поля! Деньги — все что вам угодно!

— А если бы это стоило пол-имения вашего?

— Г-н доктор! я не понимаю...

— А, кажется, очень понятно: если бы это стоило пол-имения, сказал я. Дело идет не о таком лечении, где говорится только о *возможности вылечить*, — нет! Сын ваш через полгода непременно будет здоров, как первый едок лондонского бифштекса и первый боксер смитфильдского рынка, или вы можете сказать мне в глаза, что я величайшая скотина, и приказать вашим лакеям вытолкать меня в шею!

— Ваша услуга будет оценена во что вам угодно.

— Моя услуга уже оценена тем, что вы мне договорились платить и платите. Больше мне ничего не надобно. Понимаете, княгиня: ни одного талера лишнего! Не обо мне тут дело. И разве мог бы я сказать о самом себе, что вылечу наверное не только сумасшедшего вашего сына, но даже одурелую кошку?

— Я вас не понимаю. И без этого я хотела спросить вас, что значит нелепое происшествие, о котором рассказывал мне управитель? Что это за немка? Что было в саду у нашего соседа? Мне крайне неприятна история, где может быть вмешано наше имя.

Доктор молчал.

— Я хотела видеть сына моего, пошла к нему и увидела его спящего, накрытого каким-то женским платочком. Мне сказали, что он спит уже двенадцать часов сряду и вы не велели его трогать.

— Но, мой друг, — сказал князь, — разве ты не побоялась идти к нему в павильон?

— Вы ничего не знаете: он переведен теперь в свои комнаты.

— Как? Он здесь — в комнате? Но его припадки ужасного бешенства? — Доктор молча взглянул на князя. — Я говорю об опасности припадков его, — сказал князь в замешательстве. — Вы полагаете, что пребывание его здесь не опасно? — с робостью прибавил князь.

Доктор не хотел ничего отвечать ему, оборотился к княгине и смотрел на нее пристально.

— Если бы не лекарь явился, но сделалось чудо, и ангел божий слетел на землю для исцеления вашего сына, — согласитесь ли вы наградить его всем, чего только он потребует?

— Странные речи, г-н доктор! Вы шутите, когда я совсем не расположена шутить.

— Читали ль вы, г-н доктор, сочинение шалуна Аруэта? «*Examen important de Milord Bolingbroke, ou le tombeau du Fanatisme*»¹? — спросил князь усмехаясь.

— Читал: мерзость, о которой не стоит труда говорить. Разрешите же, княгиня, мой вопрос?

— В наш век, любезный доктор, не верят и старинным чудесам, не только не видят их вновь, — промолвила княгиня с принужденною улыбкою.

— Но если бы чудо сделалось с вашим сыном? — с жаром возразил доктор. — Вы все еще молчите? Так оно уже сделалось! — вскричал доктор, с досадою поднявшись с дивана, — сделалось: ангел слетел с неба. Умейте оценить его, люди, кто бы вы ни были, князя или мужики! Великий Месмер! Друзья мои — вы, Жюсьё, Бекман! для чего нет вас здесь!

— А! я был у Делона в бытность мою в Париже и видел его магнетические ванны и гальванические кондукторы — это очень любопытно! — сказал князь.

— Вы смотрели без веры, а надобно не видеть, но верить: иначе чудес нет на свете! Ради бога, увольте меня от вашего Вольтера, князь: для вас довольно знать, что сын ваш выздоровеет. А вам, княгиня, как матери, и мне, как честному человеку, надобно более. От вас зависит спасение вашего сына и того ангела, который прилетел к нему для его спасения!

— Пожалее ли я чего-нибудь!

— Не в деньгах дело, не их требуют! Явился лекарь,

¹ «Важное исследование милорда Болингброка, или Могила фанатизма» (фр.).

который лечит сына вашего своею душою, своим бытием. Жизнь и смерть положены на весы вашего решения. Если вы безусловно не отдадитесь доверенности, если вы хоть мысленно воспротивитесь тому, что непостижимо для нас, чего ум наш не умеет понимать,— сын ваш погиб! Смерть — середины нет! Но так же верно и совершенное его спасение, при согласии и доверии вашем.

— Ах, г-н доктор! сделайте милость, поступайте как вам угодно! Но кто же этот спаситель моего бедного Поля?

— Та немка, о которой управитель говорил вам.— Доктор опять сел спокойно на диван.

— Она лекарка?

— Лекарка! Да, лекарка, если вам это угодно.

— *C'est quelque chose d'empirique,*¹ — промолвил князь невнимательно.— Впрочем, надобно испытать все. Только не опасно ли лекарство?

— Больше нежели опасно: оно яд самый сильнейший, какой только существует в мире! Сама лекарка подвергается опасности умереть и уморить больного в одну минуту.

— Как же вы хотите отдать моего сына такой шарлатанке? — сказала княгиня с неудовольствием.— *Вы* взяли лечить его, и ваши знания ручались за вас...

— *Лечить* взялся я, но не *вылечить*. Мои знания — вздор, нелепость, дрянь! А она ручается вам своею жизнью... И как растолковать вам это? Верите ли вы хоть чему-нибудь, княгиня?

— Боже мой!

— Верьте же этой посланнице небес: она спасет вашего сына!

— Но изъясните ваши загадки?

— Как будто это можно! Изъясните прежде загадку души человеческой, изъясните тайну жизни нашей, изъясните земное бытие наше. Изъяснить, когда сам Месмер ничего не изъяснил!

— Стало быть, она магнетизерка? Но ведь магнетизм, я слыхала, не опасен?

— Вольно вам называть это магнетизмом!

— Но что же это такое?

— Это лечение души душею; это микстура из бытия, пластырь из сердца, порошки из жизни и смерти! Но что тут много говорить! Пойдемте к вашему сыну. Вы увидите сами и — тогда опровергайте.

— Теперь... Но, его состояние...

¹ Это что-то знахарское (фр.).

— Неужели и вы боитесь его?

Княгиня надвинула шаль на плеча и встала с дивана. Молча пошел перед нею доктор. Он и она вошли в спальню молодого князя. Больной спал, закрытый платочком Эммы. Боязливо подошла к кровати его княгиня. Здесь, когда она стала близ одра скорби несчастного своего сына, — в ней исчезла светская женщина: она была матерью; слезы потекли у нее из глаз.

Доктор снял платочек, положил руку на глаза больного, повел рукою по глазам — больной открыл их.

— Встаньте — вам велели встать, если вы хотите видеть ее, — сказал доктор.

Больной бодро поднялся с постели.

— Я ее вижу, — сказал он, как будто с усилием всматриваясь, — она теперь молится и думает обо мне.

Тихий голос, кротость, какой не замечала княгиня в сыне своем с самого начала его сумасшествия, так поразили ее, что она невольно вскричала:

— Ах! вижу, вижу, что ему лучше — боже мой! ему гораздо лучше!

Больной вздрогнул и так дико посмотрел на мать свою, что она содрогнулась и отступила невольно.

— Какая неосторожность! — шепнул ей доктор. Он обратился к больному и ласково сказал ему: — Вам не должно сердиться.

— Кто это тебе говорил? — угрюмо отвечал больной.

— Она велела.

Больной мгновенно успокоился.

— Да! — сказал он. — Но когда же опять придет она? — продолжал он, водя рукою по лбу. — Я чуть вижу ее; мне так темно, темно!

— Вам велели лечь и успокоиться. — Больной не сопротивлялся, лег и закрыл глаза. Доктор опять накрыл его платочком Эммы.

Княгиня плакала.

— Видели ль вы, княгиня? — громко сказал тогда доктор.

— Ах! тише — не тревожьте его!

— Не бойтесь. Теперь может греметь гром и его не разбудит: он очарован неестественным сном, пока его природа и сила, выше его природы, спорят между собою о нем. Видите ли вы? Верите ли вы? Еще ли надобны вам объяснения?

— Верю, хоть ничего не постигаю. Но что должна я делать? Повелевайте мною, г-н доктор.

— Вы видите то, чего никто еще не понимает. Люди называли это *животным магнетизмом*. Великий Месмер первый угадал эту тайну *бытия всемирного*. Ваш сын полсутки тому назад находился в высшей степени безумия, но теперь совершается над ним таинственный процесс магнетизма, и он в самом опасном положении. В то же время жизнью моею ручаюсь вам, что он выздоровеет. Сядьте, княгиня, и выслушайте.

Как бы это сказать вам? Самый высокий ум человеческий есть крот, выглядывающий из норы своей на вселенную. Но где человек сближается с *универсальной* жизнью, там он становится *весь мир, вся вселенная*; крот, как часть целого, есть микрокозм макроkozма. Поелику для содержимого в содержащем пространство и время исчезают, ибо из «не-я» они переходят в его «я», то посему взор наш видит сквозь море, живет в прошедшем, и *воля* человека непобедима, если только он обратит силу и волю свою на действие, внутри и вне себя все равно, ибо тогда природа становится частью его самого, *субъектом* его *объекта*... Чувствую, что я говорю темно; но, позвольте *

Любили ль вы, княгиня? Вы молчите: верно вы никогда не любили, не знаете любви, этого совершенного уничтожения воли, не знаете субъективной жизни чужою жизнью. Жаль, жаль, что вам после этого решительно невозможно изъяснить закона, по которому человек — дух и тело, ангел и земля, великое и смешное, Кант и я, все и ничто. Вообразите, однако ж, что человек может весь перейти в универсальную жизнь; что вся его воля может устремиться на один предмет, — что тогда противостанет ему? Ему ли тогда не уничтожить собою болезни какой-нибудь? Какое сомнение! Что такое болезнь? Победа *тела* над духом, от которой победитель умирает. Этого победителя вдруг окочывает *дух* другого, переходит в него, живет одною с ним жизнью и дает ему жизнь свою. Может ли тело бороться с этим страшным противником, для которого нет ни времени, ни пространства, ни малого, ни великого и который бессмертен жизнью за гробом — следственно, бессмертен вечно, и не только *там*, но и *здесь*: дух Сократа живет в нас, хотя плоть Сократа давно умерла и истлела! Вы этого не понимаете, потому что, извините, княгиня, вы не жили

* Может быть, то же скажут и читатели наши; но мы просим их извинить нас, ибо повторяем слово в слово речи доктора и не смеем изъяснять того, что ему самому казалось темно *для других*. Но что *сам он* хорошо понимал все, что говорил, в этом мы уверены и уверяем наших читателей.

духом, ибо вы *не любили*, а кроме любви женщина ни в чем не может приблизиться к универсальной жизни — для нее процесс универсальности объективно совершается только в любви; а во всех других случаях она живет субъективно...

Видно было, что доктору чрезвычайно казалось трудно объяснить все то, что он думал объяснить. Он усердно отирал пот с лица.

— Г-н доктор,— сказала княгиня,— мы были знакомы в Париже с последователями Месмера. Они делали тогда много шума. Делон часто обедал у нас. Он также говорил как вы; но мы смеялись над ним — признаюсь вам!

— И надо мной теперь смеетесь или не смеее только смеяться? Но когда же чернь не освистывала мудрости? когда поэзия не почиталась сумасшествием? когда любовь не казалась нарушением всех наших приличий? Впрочем, теперь уже поздно раздумывать: сын ваш не принадлежит ни себе, ни вам — он принадлежит тому существу, которое овладело его бытием. В воле этого существа возратить ему разум, сделать его человеком. Если вы, если я вмешаемся — мы погубим его. Вы должны только повиноваться этому существу, владыке вашего сына, что бы оно ни приказало. Малейшее сопротивление — смерть!

— Боже мой! Любезный доктор! я передаю вам полную волю.

— А когда он будет здоров, когда у вас опять будет сын, а не сумасшедшее животное, когда обладающее им существо будет жить *одною душою* с вашим сыном, тогда, княгиня, тогда что?

— Пожалее ли я чего-нибудь для ее награды! Я готова осыпать ее золотом!

— Да что вы так дорого цените ваше золото? — возразил доктор.— Если потребуется более, нежели золото, если надобно будет жертвовать вашими предрассудками, вашею знатностью, если... Пойдите, княгиня: клянусь богом — если вы теперь скажете мне: «нет»; если вы только задумаетесь на одно мгновение,— я сорву этот платочек с вашего сына: в бешенстве встанет он, и вы первая будете жертвою его бешенства, и ничто уже не укротит его... Он погибнет!

Печально светил погасавший день сквозь шелковые занавесы. Как мертвец, лежал молодой князь на своей кровати, неподвижен, едва дыша. Княгиня сложила руки и с чувством отчаянной матери сказала доктору:

— Спасите его! Чего бы ни стоило, спасите его!

- Вашу руку, княгиня!
— Вот она!
— Совесть! довольна ли ты? — проворчал доктор самому себе.

V

Эмма сидела в учебной комнате поутру, на другой день после разговора между княгиней и доктором; молча, задумавшись, она вязала что-то. Дедушка ее сидел в своих креслах. Вдруг щегольская карета остановилась у ворот домика.

— Друг мой,— сказала бабушка Эммы, поспешно входя в комнату,— друг мой! Княжеский лакей прибежал спросить у тебя: можешь ли ты принять княгиню, которая желает тебя видеть?

Эмма вспыхнула; дедушка с беспокойством вскочил с кресел и бросил трубку.

— Княгиня? Скажи, что я за честь почитаю, где она? Дайте мне сюртук мой, приберите поскорее в комнате!

Эмма поспешно подвинула к стене столик, взяла книги, лежавшие на нем, переложила их на другой и не знала, за что приняться.

— Что же сказать лакею?

— Да просить, просить!

Карета въехала во двор, и пока дедушка надевал свой сюртук, бабушка Эммы в дверях встречала княгиню.

Просто, но богато одетая, с ласковою улыбкою отвечала княгиня на неловкие приветствия старушки. Явился дедушка, низко кланяясь. Бабушка предлагала чашку кофе. Эмма с трепетом присела и дрожала невольно, не смея глядеть на княгиню.

— Не беспокойтесь, любезный сосед, не беспокойтесь, милая соседка,— сказала княгиня.— Прошу вас быть со мною без церемоний; прошу удостоить меня вашей дружбы, вашего знакомства.

Удивительно действие богатства и знатности: им все пристало, все к лицу, как молодой хорошенькой девушке! Княгиня успела очаровать старика и старушку своим входом и немногими словами. Светское обращение, ловкость, наряд ее, экипаж, кротость, ласковость — о! она могла приказывать им, не только просить их.

— Но где же милая ваша внучка? Ради бога, дайте мне расцеловать, обнять ее! Познакомьте нас. Это вы, милая? — сказала княгиня, нежно целуя Эмму.

Она посадила ее подле себя на диване. Робея, дрожа, с раскрасневшимися щеками, Эмма едва дышала.

Как будто желая вывести ее из замешательства, княгиня обратилась к дедушке и, не выпуская из рук своих руку Эммы, сожалела, что давно не имела удовольствия узнать лично своих почтенных соседей.

— Ваше сиятельство,— отвечал дедушка,— могли ли мы ожидать такой чести, такой благосклонности! Я еще должен благодарностью брату вашему, его высокопревосходительству (старик проговорил *чин, имя и фамилию*); он был директором нашего департамента, и я имел честь служить под его милостивым начальством.

— Когда же это? — спросила с участием княгиня, желая завести разговор. Старик начал подробно рассказывать, а княгиня внимательно оглядывала Эмму. Несмотря на уменье скрывать свои ощущения, казалось, что она изумляется, рассматривая эту девушку. Чему дивилась она? Тому ли, что видела какое-то кроткое, доброе создание, робкое, несмелое, молоденькую *мещанку*? И эта девушка-мещанка была спасительницею сына ее? И это создание было загадкою, которой не мог изъяснить ей ученый доктор немецкий? От этой девушки зависела жизнь ее сына? Но чему же дивиться? — А кто из вас не дивится, видя вдохновенного поэта в обществе людей, видя, что этот поэт — какое-то робкое, несмелое, неловкое создание? Дети, дети! кто из нас не воображает себе, что великие люди должны быть какие-то исполины; кто из нас не меряет величия души человеческой саженьями? За что же мы смеемся над детьми, которые представляют себе каждого богатыря, о котором читают в сказках, ростом с Ивана Великого?

— Не могу ли я быть теперь чем-нибудь вам полезною? — сказала княгиня ласково.— Прошу приказывать мне.

— Ваше сиятельство!..

— Оставьте мое сиятельство в покое, любезный сосед. Вы видите во мне несчастную мать, и от вас зависит теперь все мое счастье, жизнь моя, жизнь моего бедного сына.— Княгиня заплакала. Бабушка заплакала вместе с нею. Эмма побледнела и готова была также плакать.

— Ваше сиятельство,— сказал дедушка, заикаясь и не зная что отвечать...— Если только — то я — прошу вас...

— Наградить за это я ничем не могу вас, любезный сосед: награда ваша на небесах, а не на земле — если толь-

ко радостные слезы матери не дороже вам всяких наград в мире.

— Ваше звание, ваша благосклонность...

— Вы видите всю бедность знатного звания, всю ничтожность богатств, любезный сосед! От вас зависит теперь участь всего нашего семейства.

— Возможно ли, ваше сиятельство? Помилуйте...

— Тут нечего толковать много, любезный сосед,— сказал доктор, перебивая речи старика. Доктор приехал вместе с княгиней, но сидел молча и слушал, упершись зубами в золотой набалдашник своей палки.— Тут нечего толковать. Вы должны согласиться, чтобы ваша внучка исцелила молодого князя,— должны, если только вы человек, если только вы христианин, если только вы желаете себе царства небесного.

— Ах! Господин доктор, ваше сиятельство! надобны ли для меня подобные убеждения? Если только добрая моя Эмма может чем-нибудь пособить вашему сыну...

— Если только *хочет*, скажите лучше,— возразил доктор.

— Вы спасете его? Вы захотите спасти его? — вскричала княгиня, нежно схватив за плечи Эмму обеими руками и смотря ей в глаза сквозь слезы.— Милое создание! скажите мне!

Крупные слезы закапали из глаз Эммы. Она склонила голову на грудь княгини и едва могла промолвить:

— Располагайте мною, ваше сиятельство.

Крепко обняла ее княгиня. Радостно улыбалась бабушка, смотря на княгиню, обнимавшую Эмму; дедушка утирал глаза; доктор внимательно глядел на ее сиятельство и, казалось, хотел прочесть в ее душе все тайные чувства.

— Г-н доктор,— сказала наконец Эмма, вырвавшись из рук княгини,— не ошибаетесь ли вы? Клянусь вам богом, что я совершенно не знаю, чем могу я пособить излечению сына ее сиятельства!

— Девушка! — вскричал доктор, схватив руку Эммы,— так же робко говорила некогда одна девушка, тебе подобная, когда высокая тайна совершалась в мире. Душа невинности есть рай чудес высоких и непостижимых. Горе вкусившему плод с древа познания! Не ему, нет! не ему упадет в душу луч небесный. Только невинному, чистому, как младенцу, предоставлено уничтожить предведения мудрых, и только в неведущую душу нисходит благодать! О, великий Месмер! какую тайну узнаю я теперь! — Он

благословил Эмму, поднял глаза к небу и отвернулся утереть слезу.

— Милая Эмма! — сказала княгиня, — отныне вы будете моею дочерью!

Ярко загорелись опять щеки Эммы от этого слова. Она закрыла лицо руками и тихо промолвила:

— Пощадите меня, ваше сиятельство!

Казалось, что с восхищением княгиня теперь смотрела на Эмму. И прелестна, очаровательна была Эмма в эту минуту, необъяснима, как миг восторга, проста, как песня швейцарская, радостна, как весть свободы узнику.

— Любезный сосед! — сказала княгиня дедушке, — отныне вы позволите мне разделить права ваши над вашею Эммою. Пред лицом бога клянусь быть ей матерью! Послушайте же теперь, после моего обещания, после моей клятвы, и не пугайтесь: вы должны отпустить со мною мою милую Эмму.

Невольное «ах!» вырвалось вдруг из груди Эммы и из уст ее бабушки. Сам дедушка казался изумленным. Предложение было так неожиданно. Эмме показалось, будто сердце оторвалось у нее; она побледнела.

— Завтра едем мы в нашу подмосковную деревню. Эмма поедет со мною.

— Только в деревню вашу?

— Неужели ты согласишься расстаться с Эммою? — поспешно сказала бабушка. Молча, но с умоляющим взглядом, оборотилась к ней княгиня. — Извините, ваше сиятельство, — продолжала бабушка в замешательстве, — мы так привыкли к нашей Эмме... Впрочем, как угодно моему мужу...

— Мы можем примирить все затруднения, — возразила княгиня. — Поедемте все вместе, любезный сосед! Места достанет для всех нас; деревня наша прелестная — у нас тут немного: только пятьсот душ; но дом пребольшой, сад обширный — будет, где поместиться.

Мысль: ехать к князю, к этому знатному, богатому вельможе, быть в его обществе, светском, блестящем, модном, расстаться с своим домиком, расстроить порядок хозяйства, все привычки, все удобства, с которыми свыкается старость? И почему не ехать одной Эмме? Все это пролетело в голове старика в одно мгновение.

— Но что я буду у вас делать? — сказала Эмма робко. — Простите меня, ваше сиятельство, я вовсе не знаю

никаких приличий большого света, даже никогда не живала в чужом доме.

— В *чужом*, милый друг! Разве вы будете в чужом доме? Разве не заступлю я вам места матери?

— Ах, ваше сиятельство! — сказала Эмма, целуя руку княгини, — я уже люблю вас, как мать...

— В самом деле, ваше сиятельство, наша Эмма вовсе не знает большого света, — начала важным голосом бабушка, думая, что нашла непобедимое средство оспорить требование княгини.

— Оставьте ваш большой свет, — сказала княгиня, с легким упреком. — Можете ли вы воображать дом мой каким-нибудь блестящим, большим светом, дом печали и скорби, где ваша Эмма будет звездой счастья и радости! О, боже мой! неужели имя княгини, неужели звание моего мужа пугает вас?

— Но разве пребывание Эммы с вами необходимо?

— Да, сосед! — сказал доктор. — Надобно, чтобы наш больной был беспрестанно с нею вместе, дышал одним с нею воздухом, глядел ее глазами, говорил ее мыслью, думал ее умом.

Дедушка невольно улыбнулся. «Что же из этого будет?» — подумал он сам про себя.

Эмма не видала его улыбки. От слов доктора у нее мелькнула совсем другая мысль: «Мечта моя! неужели ты сбываешься?»

Княгиня заметила, как улыбнулся дедушка. Может быть, она поняла его мысль; по крайней мере она улыбнулась, будто говоря ему в свой черед: «Оставим будущее судьбе, любезный сосед!»

Но доктору показалась усмешка дедушки недоверчивостью к его словам.

— Сосед! — сказал он. — Неужели вы ничего не слышали и не читали об этом? Вам как немцу стыдно такое незнание. Завтра же пришлю я к вам сочинения Гмелина и Бекмана.

— Но вы говорили мне, доктор, — возразила княгиня, усмехнувшись лукаво, — что ни Месмер, ни Гмелин, и никто этого не понимает.

— Вам угодно ловить меня на словах, княгиня. Но между двумя вещами, которые одинаково называются, может быть разница неизмеримая. Простолюдин говорит: «я ничего не знаю», и Сократ, объявленный от оракулов мудрейшим из людей, говорит то же. Что ж из этого? Простолюдин в самом деле не знает ничего, а Сократ знает

все то, чего он не знает... Как бы изъяснит мне это... Er weiß alles, was er nicht kennt...¹ — доктор заговорил по-немецки с дедушкой Эммы.

— Не позволите ли, ваше сиятельство, чашку кофе, — сказала бабушка. — Прошу вас сесть; ся ьте, отдохните, успокойтесь, ваше сиятельство!

— Охотно, милая соседка. Позвольте мне ближе познакомиться с вами; уверяю вас, что вы найдете во мне простую, добрую женщину.

— Эмма! поди поскорее, милая, свари нам кофе.

Эмма весело побежала.

— А мы поговорим между тем с вами об Эмме, — сказала княгиня, усаживая подле себя бабушку.

Доктор с жаром вел между тем с дедушкой разговор о сомнамбулизме и магнетизме, искусственном магнетизировании, естественной поляризации и духовной эксцентризации. Общество этих людей казалось таким дружеским, веселым, радостным. Княгиня расцеловала братьев Эммы, послала своего лакея за фруктами в свою богатую оранжерею. Бедняжки дети с роду не видывали таких персиков, таких яблоков; им дали по целому ананасу, и бабушка едва уговорила их отдать спрятать ананасы сестрице и не есть всего вдруг. Дружески расстались наконец соседи.

— Довольны ли вы мной, доктор? — сказала княгиня, когда села с ним в карету. — Еще ли станете вы говорить, что кто не любил, тот не знал ничего универсального?

— Вы *мать* — я забыл это, — сказал доктор, весело улыбаясь. Он досыта наговорился о Месмере с дедушкой Эммы и был теперь чрезвычайно весел и доволен.

— Боже мой! — восклицала старушка, бабушка Эммы, проводив княгиню и оставшись в своем семействе. — Да, что за милая дама эта княгиня! Совсем и не заметишь, что она знатная, что она сиятельная, что она богата.

Старик сидел в своих креслах и курил трубку с усиленным удовольствием, может быть и от того, что проголодался, почитая неучтивостью курить при княгине и не принимавшись за трубку свою во все время, пока была у них сиятельная гостья. Вид его выражал довольство простолюдина, который после свидания с знатным человеком говорит сам себе: «Кажется, я не одурачил себя в глазах его?» На слова своей старушки он отвечал односложными: «Ja, ja!»² и пускал табак фигурными кружками

¹ Он знает все, что он не знает (*нем.*).

² Да, да! (*нем.*)

и вдруг густою тучею, и потом тихонько, тоненькою, длинною змейкою... Эммы не было в комнате. «Где же наша Эмхен?» — сказала наконец старушка, когда уже не находила более слов для похвалы княгине. Она пошла в комнату Эммы и увидела сквозь стеклянные двери, что Эмма стоит на коленях и усердно молится. С наслаждением смотрела старушка на Эмму и думала, смотря на нее: «Судьба непостижимая! Может быть, это будущая княгиня С***?» Тайные слова старушки показывали все, что поняла и придумала она из всего, что видела и слышала. У старика дедушки бродили в голове магнетизм и сомнамбулизм, поляризация и эксцентризация. Но Эмма? Думала ли она о будущем своем княжестве? Ах, нет: она молилась; таково было первое движение Эммы, расставшись с княгиней. Но о *ком*, о *чем* молилась она, и *что* она думала?

VI

Смешны люди, если они решаются систематически отдавать себе отчет о самих себе и о других! Забавны все эти философы и историки, когда они хотят изъяснить каждую дробь мыслей и поступков человеческих! Что такое всеобщая история? *Человек*, написанный Ролленем в миллионе огромных томов in quarto. А жизнь человека, отдельно взятая? Сокращение той же всеобщей истории, сделанное Шрекком для училищ. И вообще говоря: походит ли человек на логический силлогизм в своей жизни? Что же такое мелкие дробы мыслей и дум его! Тут система? Бедняки!

Но мысли, и думы, и вся жизнь девушки, этого творения, созданного в минуты восторга первобытной поэтической жизни вселенной, этого творения, очарованного и очаровательного, но безотчетного, как стихи юного поэта, — в них ли будем искать логической системы? Будто облака, вольно летают мысли и думы по небу души девичьей, освещаются улыбкою, темнеют слезами, сверкают чувствами...

Мы знали прежнюю Эмму до встречи ее в саду с сумасшедшим князем. Она высказала нам всю свою душу в разговоре с Фанни: мы подслушали этот разговор. Когда, по возвращении с дедушкою из сада, карета княжеская умчала безумца, когда все происшествие в саду казалось Эмме какою-то мечтою, от которой ничего не осталось в действительности, когда Эмма выслушала продолжительные рассказы старика старушке о том, что видел он в саду, и когда ее самое заставили два раза пересказать

обо всем этом, пересудили, переговорили, — Эмма ничего не понимала, что это такое было... И еще более: она даже не спрашивала у самой себя об этом! Чувства ее были похожи на чувства человека, которого невидимая сила вдруг подняла высоко, близко к солнцу; и вдруг голова его закружилась — он упал в какую-то бездну, полную непроницаемого тумана. Он не знает, где он, на небе ли, на земле ли, в пропасти ли какой, боится крепко стать ногами, чтобы не провалиться далее в глубину, боится ощупать вокруг себя руками, чтобы не схватить за голову какой-нибудь змеи, чтобы не протянуть руки своей в пасть какого-нибудь невидимого чудовища, боится и взглянуть кверху: что если над головой его мрак непроницаемый или тяжелое, роковое решение судьбы нависло черною тучею? — Как естественно кажется мне действие детей, когда они сжимаются ночью под своим одеяльцем и закрывают себе глаза руками, думая, что спаслись от привидений, если не видят их! Не так ли делаем и все мы, взрослые?

Но когда, после обеда, братья расселись по углам и учили свои уроки, а дедушка и бабушка легли отдыхать, Эмма села подле окна с вязаньем. Несколько минут сна смотрела на небо, на улицу, опять на небо... Наконец, она никуда не смотрела и стала думать — думать невольно, в глубокой тишине, окружавшей ее. Туман рассеивался вокруг нее; бездна исчезала; образ несчастного молодого человека, лежавшего у ног ее в садике, означился теперь перед нею сквозь мрак и туман. Вечный враг наш — воображение стало расцветать его своими заколдованными красками. Забавны мне старушки, маменьки и бабушки: они не дают дочкам и внучкам своим читать романов, забывая, что душа девушки есть сама по себе глава из романа, под которою подписывает судьба, как журналист: «продолжение обещано»! Из всего, что было в садике, Эмма живо помнила только ту минуту, когда сквозь бледное, обезображенное болезнью лицо молодого князя проглянул ей какой-то юношеский милый образ — и какой образ? Тот, тот самый, который создавала себе Эмма в неясных мечтах, образ, которому она давала жизнь, и бытие, и счастье жизни, и прелесть бытия! Все остальное исчезло перед нею — и ужас события в садике, и безумие князя, и князь: совсем не приходило в голову Эмме, что это был князь — и то ли еще? Исчезала вся природа и все люди: один он, неизвестный и знакомый душе, лежал у ног ее и говорил ей: «мне так хорошо!» Миллионы людей, будто пылинки в тучах пыли и тумана, толпились вокруг него

и Эммы, и все они были *им* чужды: из миллионов только *один* принадлежал Эмме, молил спасти его, оживить, воскресить. Сердце Эммы так сильно билось! — Вдруг страшный удар грома раздался в ушах ее — она испугалась, взглянула в окно: небосклон облекала черная туча, и огненною змеею раздирали молния недра этой тучи; крупный дождь шумел, и окошко, растворенное Эммою, хлопало. Эмма совсем не заметила, как подкрались на небо тучи, как собралась гроза и зашумела буря. Она спешила запереть окно и ободрить испугавшихся братьев. Но, боже мой! Ей казалось теперь, что мечта ее сливалась каким-то непонятным образом с действительностью; она слышала, видела грозу и не понимала еще: в самом ли деле наяву гремят эти громы или только гремят они в ее душе? «Эмма! ты забыла, что обещалась молиться за него, молиться о том, чтобы он выздоровел! А что же ты делала, Эмма — молилась ли ты о нем? Ты безумствовала; ты преображала его в какую-то странную мечту... Эмма! ты согрешила, и бог напоминает тебе громом небесным о грехе твоём». — «Создатель! прости меня!»

Эмма стала на колени, но не знала, как ей молиться, как провести челнок успокоения молитвою по волнам души своей, в первый раз в жизни вздымавшимся грозными, непримиримыми валами...

— Ты видно очень испугалась грозы, Эмма! Прежде ты никогда не баивалась грома, — сказала бабушка, входя в комнату. Грозы душевные были неизвестны старушке, и в душе ли Эммы, своей кроткой, тихой Эммы, вздумала бы она замечать их!

В первый раз в жизни Эмма скрыла тайную думу свою от доброй бабушки, изумленная тем, что гроза уже пролетела, и солнце опять ярко светило на небе, и что этого перехода от бури к солнцу она так же не заметила, как прежде не заметила грозных туч, заставших светлое солнце. В первый раз Эмма не пошла вечером полюбоваться цветами в садике своем. Ей хотелось бы теперь говорить с Фанни и ни с кем более не говорить ничего. Она занялась ученьем братьев и так прилежно и так долго учила их, что они стали жаловаться бабушке. Настал вечер; Эмма села разыгрывать Гуммелев концерт и играла опять так долго, что бабушка принуждена была два раза напомнить ей об ужине. Когда надобно было идти в свою комнату, остаться в ней одной, — Эмма ужаснулась пустоты и одиночества; ей казалось, что из каждого темного уголка глядят на нее какие-то безумные глаза, из-за каждой двери слы-

шится какой-то хриплый голос: «Эмма! я твой, но и ты моя!»

Со страхом бросилась она в свою постелю. Тяжелый сон налег на грудь ее привидениями и глушил ее воплями, звуком цепей, гробовым пением. Он был мертвый, лежал неподвижно; перед ним догорала свеча в высоком гробовом подсвечнике. «Эмма! — сказал он, вдруг поднявшись, — когда догорит эта свеча, ты умрешь!» Свеча горит, горит, догорает, догорает, едва светит; Эмма поспешно поправляет светильню, но светильня кончается, кончается — догорела — еще раз вспыхнула, потухла — мрак повсюду — какой-то голос запел похоронную песню, и глаза мертвеца открылись, засверкали, окостенелые руки его протянулись — он говорит насмешливым голосом: «Сюда, Эмма, сюда!»

Эмма вздрогнула и пробудилась... Восток алел утреннею зарею, и Эмма чувствовала дрожь и холодный пот по всему телу. «Не оставь меня, боже великий! — прошептала она и вместо утренней молитвы читала: «Du bist mein Vater, ich dein Kind: mein Heil ist, dich zu lieben!»¹

Бледная и задумчивая сидела Эмма за работою своею, когда не мечты, но действительность жизни явилась перед нею в виде княгини С*** Все, что говорили потом княгиня, дедушка, бабушка, доктор, все, что говорила сама Эмма, пролетало мимо души ее. Но когда доктор сказал, что молодому князю надобно быть вместе с Эммою, дышать одним с нею воздухом, глядеть ее глазами, говорить ее мыслью, думать ее умом, — «Мечта моя! неужели ты сбываешься?» — невольно спросила Эмма у самой себя.

«Итак, это не будет уже мечта? Но как же встретимся мы опять с тобою, мой безумец? Как станешь ты оживать моею жизнью, сумасшедший», — думала Эмма и не смела спрашивать, когда и каким образом отправится она с княгинею, хотя и знала, что дедушка и бабушка согласились на ее отъезд в подмосковную княжескую. Прилежно, ревностно занималась она хозяйством, как будто ей совсем не надобно было собираться в дорогу. Бабушка скрывала от нее все небольшие дорожные приготовления; тихонько увязали ее белье, сложили ее платья; старушка сама не хотела говорить Эмме о разлуке с нею до самого часа разлуки. Разве не радуется человек даже отсрочке казни, хотя участь его уже определена бывает в этом случае неизбежно? И кто из нас не был доволен, когда на день

¹ «Ты мой отец, я твое дитя: мое счастье — любить тебя!» (нем.)

отсрочивал отъезд свой милый нам человек? И кто из нас напоминал ему потом, что время ехать?

С изумлением увидела Эмма на другой день утром экипаж княжеский, подъехавший к крыльцу. Неожиданно бабушка велела ей поскорее одеваться. Только доктор вошел в комнату. Княгиня оставалась в карете.

— Милая Эмма! ты едешь на счастье! — сказал дедушка и горько заплакал, когда Эмма в одну минуту была готова, надела свою шинельку и бросилась к нему в объятия — *проститься!*

Страшное слово! Кто первый заменил тобою милое «до свиданья», тот, кто первый сказал тебя, тот знал ужас разлуки, разлуки вечной! Не ты ли, праматерь наша, сказала первая это страшное слово в то время, когда перед тобою простерт был бесчувственный труп Авеля!

В бричку, въехавшую во двор вместе с каретою, отправляла бабушка картончики и узелки Эммы, и слезы текли между тем из глаз ее. На крыльце стояли кухарка и дворник.

— Простите, барышня! — говорили они и плакали, целуя руку Эммы. А братья ее? О, милые связи семейственные, простые ощущения любви родственной, тишина безвестного бытия! Зачем меняет вас человек на бурные страсти, на бешеные впечатления, на шумный, безвестный ему, обольстительный свет? — Чье сердце не бьется сильнее и после двадцатилетней стужи лет и печалей, вспоминая ту минуту, когда один шаг в кибитку, карету, телегу — все равно — должен был отделить нас от всего прежнего, чем мы жили, с чем мы сжились сердцем, и когда на крыльце стояла, провожая нас, добрая мать, скрывающая свои слезы, и подле нее видна была седая голова старика отца, и простые печальные лица слугителей, и беленькие головки братьев, сестер с заплаканными глазами... Не сжимайся так тяжело, сердце мое: это было давно... это так давно прошло, пролетело... Тех, кто провожал меня, давно нет на свете...

Дверцы кареты отхлопнулись. На задней лавке сидела княгиня; против нее сидел молодой князь, сын ее: он был закутан в шинель свою, и яркие глаза его сверкали из-под дорожного картуза. Карета была четырехместная, великолепная; кучер и форејтер едва удерживали шестерню борзых коней, впряженных в нее.

Доктор говорил что-то с дедушкою, пока Эмма целовала своих братьев.

— Как земляк, честный германец и честный человек! —

громко произнес наконец доктор, крепко пожимая руку старика. Он взял потом Эмму за руку и повел ее к подножкам кареты, пока княгиня ласково кланялась дедушке и бабушке. Старик и старушка перестали плакать и усердно откланивались. Эмма не плакала, даже казалась веселою, но когда ступила она на нижнюю ступеньку каретных подножек — вдруг затрепетала она, будто кто-то дернул ее сзади, будто кто-то удерживал ее и шептал ей: «Эмма, остановись!» — Лицо ее побледнело; едва не сделалось ей дурно. Она чувствовала неизъяснимое отвращение ступить еще шаг далее...

— Идите, моя милая, моя добрая Эмма! — сказала княгиня, со слезами на глазах подавая ей руку, — идите — нам пора ехать!

— Пожалуйте, сударыня, — говорил доктор.

Эмма вошла в карету. Доктор сел против нее, подле молодого князя. В последний раз взглянула Эмма на людей, столь милых ее сердцу, неразлучных с нею до того времени. Дверцы захлопнули; стук экипажа заглушил голоса, и карета быстро понеслась по московским улицам.

Эмма робела? Нет! она не оробела от блестящих глаз безумца, прямо на нее устремленных, — чего же было еще робеть ей? Или то, что сдавило сердце ее, когда она входила в карету, было мрачное предчувствие будущего? Но что же такое страшное видела вокруг себя Эмма? Ласковую, добрую княгиню, странного весельчака доктора. Сумасшедший сидел молча, неподвижно, не раскрывая своей шинели, не снимая своего картуза; уподоблялся статуе, пока Эмма не взглянула на него: взгляд Эммы обратился на него, и он поспешно надвинул картуз свой на глаза, закрыл лицо своею шинелью. Эмма поглядела на доктора, как будто спрашивая: что это значит?

— Не замечайте его, — сказал ей доктор по-немецки и начал общий разговор с княгинею. Княгиня казалась растроганною, обняла, поцеловала Эмму, взяла ее руку, долго держала руку ее в своей, пожимая дружески, нежно, и между тем вела разговор с доктором. Эмма молчала.

Она имела теперь досуг осмотреться кругом и углубиться в самое себя. Но душа ее показалась ей каким-то хаосом беспорядочных, безотчетных мыслей; Эмма не захотела смотреть в нее, как разоряющийся богач не смотрит на счета, подносимые дворецким.

Тем внимательнее глядела Эмма кругом себя. Как зашла ты сюда, Эмма? Какая непостижимая сила вырвала тебя, столь быстро и неожиданно, из мирной семьи твоей

и бросила сюда, в это странное общество, чужое, чуждое? Что за великолепие тебя окружает: бархат, золото, блеск! И что же в этом великолепии? Сумасшествие, принужденный разговор, печальная мать, наемник, который взялся лечить ее безумного сына! Так ли было в твоей тихой семье, без золота и блеска, но при ласковой речи бабушки, при улыбке старика дедушки, резвой веселости братьев, простоте подруг? Эмма! как зашла ты сюда! — Робость овладела Эммою; она прижалась в уголок, чувствуя, что все уничтожает ее — да, уничтожает! Несмотря на ласковость княгини, на ее старание не дать заметить Эмме превышающего состояния и образования светского, Эмма ясно видела это: самая одежда княгини, дорожная, простая, но богатая, брильянт на руке ее, множество ничтожных, но дорогих безделиц, какими бывает окружена светская дама, — все это видела и заметила Эмма, соображая свою одежду, свою опрятную, но бедную шинельку, свою красивую, но простую соломенную шляпку. Эмма чувствовала, что никому не уступит в силе души, силе чувства — может быть, и уме, — но ловкость, оборот разговора княгини — ах! ее каждое слово, и эта невнимательность, с какою княгиня смотрела на все великолепие, холодность, с какою говорила она о дорогом, важном, сильном, обо всем, что прежде казалось Эмме столь великим и значительным, — все показывало Эмме бездну, разделявшую ее состояние и образование от состояния и образования людей, с которыми так неожиданно столкнула ее судьба!

Какую философию, какую твердость духа и опытность надобно иметь, чтобы свое самобытное «я», свое внутреннее превосходство поставить без робости против прилагательного блеска большого света и твердо глядеть в бесчувственные глаза этому чудовищу, называемому большим светом!

Когда после трех часов скорой езды карета въехала в огромные ворота обширного поместья княжеского и перед Эммою открылся величественный фасад каменного княжеского дома, сады его, пруды, бесконечные парки; когда потом, смущенная, робкая, пошла она по мраморной лестнице, мимо огромных канделябров и статуй; когда слуги засуетились, растворили двери в бесконечный ряд старинных зал и гостиных, — Эмма потерялась совершенно. Эти стены, покрытые штофом и бархатом, мрамор, бронза, ковры, картины, золото, серебро, до потолков зеркала и темные до полу окна, тысячи изобретений роскоши, которых Эмма вовсе не знала употребления; наконец

явление угрюмого старика, князя С***,— и толпа слуг и служанок, и самая тишина и почтительность, с какою все ходили по этим залам и комнатам,— все это делало Эмму какою-то простою, бедною девочкою, которую из милости взяла к себе княгиня — подивиться, посмотреть на все великолепие и потом слышать убийственные слова: «Видишь ли, Эмма, всю разницу между нами и тобою?» — Но этого не было. Дружески и мило обняла княгиня Эмму, и нежно осмелилась прижаться к ней Эмма, и сердце ее отдохнуло, когда княгиня повела ее после сего по дому и показала ей несколько богатых комнат, говоря: «Вот ваши комнаты, милая Эмма! Будьте здесь полною хозяйкою». Княгиня пошла к себе. Эмма осталась одна, оглянулась кругом и готова была воскликнуть, смотря на огромность и великолепие комнат и на удалявшуюся княгиню: «Я здесь одна, я здесь чужая — перенесите, перенесите меня опять под родную, знакомую мне кровлю смиренного убежища моего детства!»

Щегольски одетые, красивые служанки окружили Эмму. Ей казалось, что каждая из них смотрит на нее с удивлением, что каждая превосходит ее привычкою ко всему, что изумляло ее. Почтительно стояли эти служанки, ожидая приказаний, но Эмма не привыкла *приказывать*.

— Мне ничего не надобно, мои милые,— сказала она, сама поспешно снимая свою шляпку. Служанки поглядели одна на другую. Это заставило Эмму покраснеть: «Они видят твою неловкость; что же увидят в тебе другие?»

Замешательство Эммы прервано было приходом слугителя, который важно произнес:

— Сударыня! Ее сиятельство приказала просить вас к себе.

Эмма спешила к княгине.

VII

«Я обещал вам, мой любезный и почтенный друг, продолжить сообщение наблюдений моих касательно магнетических явлений, какие начались над вверенным лечению моему молодым князем С***, и мыслей моих по сему случаю. Хотя после того получил я письмо от общего друга нашего, г-на профессора и доктора Копфбреннера, но нисколько им не убежден. Препровождая при сем копию с упомянутого письма общего нашего друга, признаюсь: вижу в нем только доказательства, что ни лета, ни учение

не охладили энергии души его, и он всегда пылок, как дитя, хотя и учен, как старик. Но он решительно не прав. О сем упомяну далее.

Вам уже известно первоначальное явление, происшедшее в саду г-на ***, в Москве, где больной субъект подвергнулся внезапному и сильному действию объекта, совершенно здорового и никогда дотоле им не виданного. Известно вам и то, что после сего поляризировал я субъект с объектом и, чтобы действие магнетизма происходило свободнее, решил устранить субъект от всякого насильственного лечения, как-то: усмирительных наказаний, обливания водою и т. п.— Далее, пользуясь хорошею погодою, перевез я его в окрестности Москвы, в село, окруженное обширными лесами, где совершенно устранил все положительные лекарства, а только давал успокоивающие. Но зато подвергнул я мой субъект самому сильному действию объекта, на полной свободе, при постоянно хорошей погоде и при спокойствии наружном совершенном.

Следствия были мною предвиденные. Сближение совершенно животного состояния сумасшедшего с чуждою ему стороною усиленного духа произвело в *одном* совершенное уничтожение его «я», когда в *другом* его «я» развилось в высокой духовной степени. Молодая девушка, представительница духа, поборающего животность, без всяких механических средств магнетизма, покорила себе больного так, что сначала несколько дней он не мог даже смотреть на нее прямо, был при ней безмолвен и неподвижен, как истукан. Потом начал переходить в него живительный дух высшей жизни. Тогда первое чувство его было робость, покорность какая-то совершенно безусловная. Наконец больной начал понимать все, что говорил ему объект, начал сам упражнять свою мыслящую способность, и журнал, мною веденный, представит вам изумительную картину постепенного развития человека в нравственном его отношении. С тем вместе образовывалась и внешняя сторона больного: пропала дикость в его глазах; черты лица проникло выражение мысли; возродились понятия об уважении к родителям, о благопристойности и стыдливости. Больной постепенно терял робость свою перед объектом, и чувство приязни и дружбы к объекту усиливается в нем беспрерывно и постепенно. Кончиться должно тем, как я это наперед изъясняю, что субъект должен почувствовать самую усиленную дружбу, то есть сильнейшую любовь. Тогда объект потеряет свою силу и станет в страдательное положение, в каком находится

в мире женщина, мощная, когда перед нею слабость, ничтожная, когда перед нею великое. Женщины любимые и любящие непременно должны быть в пассивном бытии, когда просто любящие, но нелюбимые, живут активно. Оттого отчаяние любви в женщине может возвысить ее до неслыханной поэзии, а счастье любви всегда будет только приятная проза. Оттого женщины, по инстинктивному самолюбию, предпочитают в любви дураков гениям, и оттого мой нынешний объект удивительно возвысился душою, ибо перед ним было совершенное животное, то есть *сумасшедший*. Здесь я решительно противоречу общему другу нашему, г-ну Копфбреннеру. Его мысль та, будто моральные стихии так же разлиты во вселенной, как и вещественные, что главная из сих стихий есть любовь, что каждый есть представитель какой-либо стихии и что сородные индивидуальности мужчины и женщины, созданные по одной стихии, производят те магнетические явления, какие наблюдаю я ныне над князем С*** и его объектом. Все это несправедливо. Здесь, по моему мнению, следует совсем иное: женщина, совершенная по чистоте души, набожная и изолированная от всякого другого бытия, вознесла свою земную стихию до высочайшей степени скорби, сострадания и чрез то телесную магнитность, как категорию скрепляемости (*Zusammenkettung*), перевела в моральное бытие. *Магнетизм* и *пансофика* суть одно и то же. Низшую часть их видим в обыкновенной магнетизирующей манипуляции, а высшую в свободном фанатизме, рождающем на Востоке столь странные всеведения (вспомните, что писал я в диссертации моей «*De spectrogum artificiosa exhibitione*»¹, которою, впрочем, теперь и сам я недоволен). Наш общий друг утверждает, что по возвращении разума князь С*** и объект его должны страстно полюбить друг друга и что объект особенно будет любить субъект свой. Все это невероятно. Напротив, князь С*** преимущественно должен привязаться к объекту как к моральной необходимости жизни, а объект его, утомленный возвышением духа, должен или совсем уничтожиться, или сойти с ума, если не будет проникнут чувством активной привязанности субъекта и не согласится жить пассивно. Вся ошибка нашего общего друга происходит от того, что он почитает любовь, низшее чувство бытия, всемирною стихиею. Но если допустить это, то каждая женщина любящая делалась бы самым высоким существом, когда это

¹ «Об искусном представлении видений» (лат.).

бывает напротив. Все это, однако ж, только запасы к моему психо-физиологическому огромному исследованию о любви и духе и об отношениях страстей с нервами и мозгом. Посылаю вам при сем метеорологические записки мои о климате Москвы и статью о поветренном кашле, какой имел я случай наблюдать здесь в Москве в марте сего года. Поклонитесь от меня г-ну статскому советнику Бибириху, г-ну доктору Штульвейссу», и проч.

VIII

*(Девичья, в деревне князя С***)*

А н ю т к а. Право, Степан, ты досидишься до беды. Пооди в свою лакейскую.

С т е п а н *(с торбаном в руках, развалиясь на стуле, поет и подыгрывает).*

За палатами-то стоят шатры шелковые,
Э, а, о, о, ох! шелковые, да, шелковые!

П а р а ш к а. Тебе по-русски говорят, Степан, чтобы ты убырался отсюда.

С т е п. Да я и слушаю не по-французски, моя разлапушка, слушаю, да нейду.

Д у н я ш к а. А вот увидит тебя Артамон Панфилич, так он тебе даст себя знать.

С т е п. Не бось, моя разлюбезная Авдотья Степановна: этого старого черта унесло в Перепелихино, и он раньше ночи не воротится расхаживать здесь по-петушину.

М а ш а. Но ты знаешь, Степан Ильич, что барыня накрепко заказывает лакеям приходить в девичью. Увидит тебя мисс Черт, подымет такую грозу...

С т е п. Она ушла завтракать. Ей вот этакое блюдо *буденю* да окорок унесли в ее комнату. Ну! да если увидит, что за беда? Хе! палки деньги, деньги палки — семь бед один ответ — спины не нанимать стать: своя, не купленная! Лучше ли мне красть барское да проигрывать в три листа, чем приходить сюда к вам, мои красавицы, погугорить кое о чем, то есть, так сказать, о том о другом? Или, примером то есть сказать, спеть песню... То есть, Авдотья Степановна, как ты изволишь об этом думать:

Ах! ты, Степа, Степаша-горюн!
Ты почто, Степан, не женишься?

А н ю т к а. Да я говорю тебе, что барыня не велит лакеям в девичью ходить. И в самом деле, за своею Дуняшкой ухаживаешь да другим дело делать мешаешь, постреленый!

Д у н я ш к а. Так тебе стало и завидно, что не за тобой ухаживают?

А н ю т к а. Завидно! Будто не знает, что вот все это белье надобно к обеду выгладить, отделать; а смотри-ка: где солнце-то?

С т е п. Ну, если к барскому обеду, так успеете — в пять часов ведь обед; добрые люди, отдохнувши, полдничать да к вечерне идти собираются, а мы обедать садимся...

(Все смеются)

С т е п. А что, право, у бар затей не оберешься. Ведь, вот, хоть бы и о том сказать: не ходи сюда с красными девицами поговорить! А сами что делают...

М а ш а. На то они баре.

С т е п. Баре? Так им и надобно что хошь делать? Тут не далеко искать: вывезли они молодому барину эту немку молоденькую...

А н ю т к а. Да ведь она его лечит.

С т е п. Лечит? Хитер стал этот немецкий народ: у него и девки-то лет восемнадцати лечить умеют. Хоть бы ты меня, Дунюшка, этак полечила!

Д у н я ш к а. Да от коего черта тебя лечить?

С т е п. Да от сердечной зазнобы, разлапушка. От того же, от чего немка молодого барина лечит.

А н ю т к а. Полно ты врать, Степан.

С т е п. Нечего врать. Верь ты этим барчатам да немкам, а мы знаем, что знаем.

М а ш а. Ах! скажи?

С т е п. То-то скажи. Будто вы сами не догадаетесь. А я так подслушал, как мисс Черт говорила, а она, уж конечно, знает, что говорит.

Д у н . Чего тут догадываться. Барич наш сошел с ума, и как было ему не сойти: ребенком был — его лелеяли, мальчиком рос — нежили; а как попал в службу, так в полгода и с ума спятил.

П а р а ш к а. Говорят, он книг зачитался.

С т е п. Скажи лучше: от ретивого головушка повернулась. Ведь и с нашим братом, лакейщиной: как приглянулся кто, так вот голова и одуреет.

А н ю т к а. Вздор!

С т е п. Не вздор, а то, что правдой зовут. Видишь: мисс

Черт говорит, что барич только прикинулся сумасшедшим. Этому, говорит, примеры и в книжках есть описаны, и на театре представляют. А он себе очень на уме. Полюбила, видишь, ему эта немка, и уговорил он доктора сказать, будто она лекарка.

П а р. Не такова наша барыня, чтобы ее обманули.

А н ю т к а. Однако ж, Параша, в самом деле: чем же она его лечит? Ни порошков, ни пластырей, а он здоровеет видимо с тех пор, как немка при нем.

С т е п. Эх! да какое лекарство лучше девичьих глазок! Я сам заметил: баричу грустно станет, опять будто что-то на него найдет недоброе — немка поглядит ласково, заговорит с ним — и как рукой сняло!

П а р. Ты думаешь, будто немка эта полюбила баричу? Ан неправда, я знаю. Если и были у него шашни, так не тут. Помнишь, Анюта?

А н ю т а. Да с соседкой-то, молодою графиней? Знаю.

В с е. А что? что?

П а р. Мы знаем что. Пока не определялся барич на службу, и записочки летали, и тихонько видались они — да не наше дело, а барское!

М а ш а. Ну, что твоя графиня: и теперь-то она дитя, а этому уж три года прошло.

А н ю т к а. Батюшки! этак выдумала: дитя! Давно из пеленок вышла... А прошлую зиму послушала бы ты, что о ней по Москве-то говорили: первая, видишь, красавица и щеголиха; лучше ее никто в Благородном собрании плясать не умеет.

М а ш а. А знаете ли что: я так другое подозреваю. Немка эта не колдунья ли? Ну как она приворотила к себе барича каким-нибудь зельем, а на всех родных его обморок накинула?

П а р. Не правда. Она такая добрая!

М а ш а. Смотри ты на этих добрых! Ведь княгиней-то быть велико дело! А сама рассуди: что в этой немке хорошего? Так, всю-то красоту лавочным аршином смеряешь — ни кожи, ни рожи! А голь-то какая! что за бельишко у нее! Три капота белых, то и дело в стирку; а чепчиков-то всего полдюжины!

А н ю т к а. Надарят, не бойся.

П а р. И ухватки-то у нее все нашей братьи, лакейские: слова гордого не скажет, взгляда сердитого не увидишь — ничего нет барского; сама одевается, сама голову чешет...

А н ю т к а. Да, так тебе кажется, будто барского нет, а поди-ка, спеси в ней — не мисс Черт чета! Я-таки живала

с барышнями. Бывало, к самой спесивой как раз и в фаворитки попадешь. А с этой заводишь речь — она молчит; продолжаешь — проговорит тебе: «Милая! мне ничего не надобно — ты можешь идти», — и пойдешь несолоно хлебавши...

М а ш а. Ведь и с баричем она так же обходится: не подлещивается, гордеянка, а как будто все приказывать ему хочет.

А н ю т к а. Да уж не обвенчаны ли они, чего доброго?

М а ш а. Куда тебе! Тогда с старой барыней и не сладишь!

П а р. Но ты видишь, что старая барыня сама в ней души не слышит.

М а ш а. А, право, девки, дело чудное; я и не слыхивала об этом; не знаешь, как к этой немке и подходить: не то барышня, не то служанка, не то жена барича — а ходят вместе, сидят вместе.

С т е п. А вот этак, не заметила ль ты, так сказать, чего-нибудь...

М а ш а. Ах! нет, нет! Вот уж нет — нечего и греха принимать на душу — ей богу! нет! ничего — как брат с сестрой — хоть и одни остаются, так на фортепианах начнут играть либо книги читать... Ну! ручки не пожмет ни разу!..

П а р. Ах! нелегкая вас побери! заговорила с вами да любимый барынин чепчик прожгла утюгом...

В с е. Ах! беда! ах! ах! ах!

IX

«Давно не писала я к тебе, милая Фанни, и вот уж почти осень наступает, а мое последнее письмо было писано, когда еще цвели розы. Милый друг! прости меня — виновата и хочу теперь так положить, чтобы писать к тебе всякий день, а потом вдруг отсылать, что у меня будет написано. Без этого, когда есть случай, ничего в голову не приходит — ни пера, ни бумаги не сыщешь...

Боже мой! у меня и нечего много рассказывать. Я писала к тебе подробно о нашем приезде в княжескую деревню, о княгине, о прелестном здешнем местоположении. Как сказать: *прелестном*? Может ли быть названо так место, где бедная природа брошена к ногам роскоши и искусства, где лужку не позволяют быть зеленым, пока не усыпали его золотом, а цветочку цвести, пока садовник не утвердит, что

это цветок редкий или модный? Здесь все размеряно, расчитано. Что кажется просто, то держится самым скрытым искусством. Обширные парки княжеские занимают ежедневно множество народа; каждое дерево там обделано, осмотрено, и что сначала почтешь простым, очаровательным, диким лесом, то все обработано по самой ученой перспективе. Вот окрестности здешние точно прелестны; виды в них превосходные. Но знаешь ли, милая, что я теперь чувствую?

Я писала к тебе, как сначала испугало меня великолепие, богатство, знатность, какие встретила я у княгини. Но я скоро к этому привыкла, узнала порядок здешней жизни, применилась к людям и теперь ничего не пугаюсь. Надобно знать тебе, что каждый день я открываю в милой княгине новые достоинства. Она так добра, проста, откровенна, ласкова! Она подарила мне такое множество всякой всячины, что я не знаю даже, куда мне с этим деваться. Не принять совестно, принять тоже. Князь — старичок предобрый, и мы его мало и видим: только главное за обедом. Завтрак поутру носят к нему в кабинет, а за чаем вечером всегда составляется у него партия виста. Он и еще трое стариков соседей, а иногда наш доктор, каждый вечер сидят в гостиной и играют; между тем мы собираемся в свое отдельное общество. Не воображай себе княгиню и дом ее, как мы всегда воображали знатных людей, с толпою гостей, с множеством народа. Мимоездом, изредка посещают нас, и княгиня ездит иногда с визитами. Но кроме того, что князь и княгиня не имеют здесь много знакомых, по болезни сына они совсем отказались от гостей. Думаю, что при гостях, при выездах, при балах я потерялась бы, не знала, что мне делать. Но теперь совсем другое, и я совершенно обжилась у милой моей княгини. И — вот, что чувствую я теперь: какую-то тягость, какую-то пустоту в великолепии и богатстве! Меня удивляла прежде всего эта пышность — теперь несколько не удивляет. Я не могла сначала пройти мимо огромных зеркал, какие везде расставлены по залам, без того, чтобы не поглядеться в каждое. Теперь хожу мимо их и не думаю взглянуть на себя. Сначала я тихонько дотрагивалась, бывало, до малахита, бронзы, мрамора — так гладко, так хорошо погладить эти столы и вазы. Теперь все одно и то же пригляделось мне, и даже приходит иногда в голову: для чего стоят тут какие-нибудь пустые мраморные чаши и вазы, и можно ли платить за них тысячами, когда они ни на что не надобны, кроме того, чтобы занять места по

углам и подле стен? Картин у князя так много, что часть их отнесена в кладовую. И не лучшие, но по симметрии подобранные поставлены картины на стенах. Многие ценятся за одно то, что они дороги. В гостиной находится большая картина: дикие американцы едят пленника — такая гадкая сцена, и я не взяла бы дорого смотреть на нее, но она дорого заплачена, писана каким-то славным живописцем и потому поставлена в лучшем месте. Не поверишь, по какому размеру и расчету все делается в знатном доме. Тут нет места уединению или свободе делать, что ты хочешь: на все часы, условие, и сто человек только того и смотрят: чего ты желаешь? Здесь все безмолвно слушается и услуживает — даже карпы в пруду слушаются звона колокольчика — и, не поверишь, как это скоро и сильно надоедает. Здесь так всего много, что желать нечего, и скучно желать, потому что наперед знаешь, что все тотчас исполнится, чего ты ни захочешь. От этого, думаю, и добрая княгиня моя смотрит на все равнодушно, холодно, ничему не удивляется, ничему не радуется. Помнишь, когда на выработанные тихонько деньги мы делаем бывало друг другу какой-нибудь сюрприз? — Теперь я понимаю: не в том радость, что подаришь, но в том, что сколько прежде этого думаешь, придумываешь, заботишься, как бы все это устроить и сделать! А когда бывало дедушка наймет карету, и мы отправимся в Царицыно — как радовала нас карета, как мы восхищались тем, что едем в карете! Теперь, милый друг, пять карет, и кабриолетка, и линейка — только захотеть, и поедешь в карете или в чем угодно, и — мне ни однажды этого не захотелось: право, не знаю, почему. Не знаю еще, каким образом милая моя княгиня узнала день именин моих и подарила мне богатый изумрудный фермуар. Но ведь я не обрадовалась ему так, как радовалась той браслетке, которую прошлого года подарила мне ты. Не думаешь ли, что я не люблю княгини? О, это невозможно — ее нельзя не любить; но для браслетки ты полгода копила деньги, а княгиня взяла фермуар из ящика, где у нее лежит множество брильянтов и всякой всячины; она подарила мне его как ничтожную безделку — я знала, что он ничего не значит для нее, и он потерял для меня всю свою цену. Дня три тому мы зашли на княжескую ферму. Тут я увидела дюжину превосходных коров — тирольских, английских — такие миленькие! И мне тотчас пришло в голову, видя, что княгиня и не смотрит на них: «Ах! если бы у бабушки моей была хоть одна такая коровка!» Я давала в это время кусок хлеба прелестной

английской корове, белой, как снег, и она так ласково лизала мою руку. Княгиня заметила, что я задумалась, и стала спрашивать, о чем я думаю. Я откровенно призналась ей. «*Chère enfant!*»¹ — сказала она, печально улыбувшись, и поцеловала меня. На другой день я узнала, что корову увели в Москву, к дедушке. Это до слез растрогало меня. Я побежала к княгине и целовала ее руки. Пожалуйста, Фанни, поласкай мою коровку, когда приведут ее к бабушке, и напиши, рада ли была ей бабушка. Мы после того целых полдня сидели и говорили с княгиней. Она жаловалась мне на скуку жизни — я верю ей: у ней всего много, и ей нечего желать...

Расскажу тебе еще прогулку нашу дней пять тому назад. Она оставила глубокое впечатление в душе моей. Сквозь княжескую рощу из окошек моей комнаты видна золотая глава ...ской пύстыни. Давно хотелось мне побывать в этом монастыре. Я слышала, что там поют монахи по-старинному и очень хорошо, а ты знаешь, что никогда прежде совсем не слыхивала я монастырского пения и даже совсем не видала монастырей. Княгиня вздумала ехать и взяла меня с собою. Когда живет она летом в деревне своей, то всегда говеет, и духовник ее — один из монахов этого монастыря. Его все считают здесь за святого человека. Наружность монастыря обыкновенная, и он походит на все московские монастыри: четыре каменные стены, старинные башни, на воротах написаны святые. Мы молчали всю дорогу. Я думала, не сердита ли на меня княгиня; но, подъезжая к монастырю, она печально сказала мне: «Здесь погребена моя мать». — Ее *мать!* Я поняла причину ее грусти, мне стало самой тяжело и грустно. Монастырь показался мне после того гробом живых мертвецов, которые оберегают могилы мертвых. У ворот мы вышли из кареты... Нет! жаль, что в наших лютеранских церквах нет образов! Ты не поверишь, какое чувство произвело во мне изображение на воротах двух смиренных монахов, несущих крест, и надпись над ними: «Отвергнись себя, возьми крест мой и по мне иди!» Но в то же время неописанное наслаждение произвело в душе моей изображение Спасителя над дверьми главной церкви и надпись: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» Мне казалось, что я приближаюсь к святому месту успокоения, обещанному Спасителем. Когда мы вошли в церковь, старинную, высокую, темную, невольное благоговение объ-

¹ Милое дитя! (фр.)

яло меня. Церковь была почти пуста, народу было в ней немного: крестьянки-старухи да еще несколько богомольцев, пришедших из Москвы; но служба совершалась в церкви, как всегда; свечи зажжены были повсюду. О Фанни! мысль, что здесь, в этой уединенной обители, люди, отрeksiеся от мира, забытые миром, молятся за государя, за страждущих, плененных, за целый мир, за счастье его, за будущее небо для других людей — и в то же время свет, и люди, и мир шумят, бегут, едут мимо их и не мыслят о молитве их — и нет никакой награды в мире этим инокам, кроме мысли о темном гробе, о светлой жизни за гробом... Фанни! я невольно стала на колени и молилась усердно! Только молитва бедных поселян и смиренных богомольцев, пришедших издалека, сюда, в забытую эту обитель, сливалась с моею молитвою. «Господи! успокой его там, где успокоены праведные!» — шептала за мною какая-то старушка, босая, с котомкою за плечами, с изношенным платком на голове — она молилась со слезами, в землю. Я спросила у другой старушки: о чем плачет ее подруга? «У нее умер сын, барышня, и она для утешения пришла сюда, потому что с печали совсем лишилась хлеба и только в богомолье находит еще отраду». Бедная мать ничего не замечала, молилась и плакала. Я готова была обнять ее и также плакать. Все несчастные казались мне друзьями моими. «Итак, только в горести, в скорби, — думала я, — мы вспоминаем об этих святых монастырях, приходим сюда плакать и молиться!» И звон колокола, который столько раз слышала я равнодушно, утром и вечером, каждый раз говорил мне: «Бедствующие! утешьтесь! есть место, где вы можете плакать; и люди не помешают вам, и сам Спаситель сойдет святым утешением в душу страдальца!»

Между тем с любопытством смотрела я на монахов, на их длинные черные рясы: мне казалось, что я вижу тени людей, уже умерших, и только молитва, мрачная, грустная, печальная молитва, являлась мне в образе этих черных иноков, возносимая из глубины гроба, где погребены они. «Зачем же молитва тому, кто столь милосерд, должна быть мрачна и печальна?» — думала я, смотря на черные рясы и важные, угрюмые лица монахов. Я вслушивалась в пение, и оно удивляло меня какою-то важностью, дышало чем-то гробовым, страшным, заставлявшим содрогаться. Вдруг все монахи сошлись на середину церкви, и громкий хор их раздался повсюду. Я не знаю слов того, что они пели, но этот хор поразил меня какою-то патриархальною простотою: мне казалось, что я живу еще в первые времена

христианства, когда еще не много стекалось народа в храмы и все страшилось, что посланные тирана набегут на храм, сокрытый в какой-нибудь пустыне, и смерть ждет христиан в усердной молитве их...

Но хор умолк, и вдруг три тихие голоса запели.— О Фанни! И теперь слезы на глазах моих, едва вспомню я, как пели они! Я достала себе слова и ноты этой церковной песни: это та самая песнь, которую пел святой старец Симеон, когда увидел Христа, принесенного во храм Иерусалимский. Ты помнишь эту великую повесть? Симеону было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. И вот ждал Симеон, долго ждал, состарелся, одряхлел — нет обетованного! Напрасно приходил он ежедневно во храм, смотрел, тосковал душою и сердцем — нет его! Уже ноги Симеона едва двигались, глаза едва смотрели — а смерть не приходила к нему! Он идет во храм еще раз — и перед ним божественный младенец, на руках пресвятой девы, — и мысль, что он видит от веков обещанное спасение мира и людей, и сладкая дума, что он видит вестника освобождения своего из тюрьмы здешнего мира и что настал для него час праведной кончины и для мира час вечного спасения... все это излилось из глаз его горячими слезами. И старец Симеон бросил в сторону свой костыль, принял на руки божественного младенца и вдохновенно запел: «Ныне отпускаеши раба твоего, владыко! по глаголу твоему, с миром!»... Эту самую песнь пели иноки обители. Не могу писать к тебе более — дай мне поплакать немного!..»

Х

— Не прикажете ли, ваше сиятельство, поднять штору? — униженно спросила у княгини служанка, горничная княгини, если угодно. Впрочем, в целом доме звали эту служанку Аграфена Михайловна; дворецкий всегда ласково кланялся ей, и *мисс Шорт*, или как называли ключницу-англичанку слуги и служанки, *мисс Черт*, всегда звала ее к себе завтракать. Аграфена Михайловна редко отказывалась от этого: она очень любила *бриошки*, какие мисс Черт готовила для своего завтрака.

Княгиня сидела на низеньком табурете подле круглого столика и, казалось, со вниманием смотрела в письмо, которое только что было прочитано и лежало перед нею на столике. Глаза княгини не могли оторваться от следующих

слов письма (мы переведем их для наших читателей; письмо писано было по-французски, разумеется):

«Словом, милый друг, прости эгоизму, с каким читала я твое известие о надежном выздоровлении твоего Поля Ты опять возвратишься в Петербург, опять, счастливая мать, ты увидишь милого сына своего на блестящем пути, какой открывают ему его род, дарования и образование. Но мы радуемся всего более за себя, милый друг: без тебя мы сиротеем, негде души отвести, и если бы не наш барон Б. Б. завел дни, я не знала бы, куда деваться с днями, прежде тебе посвящаемыми. Ты полюбишь его баронессу; в этом я уверена. Кстати, милый друг, неужели ты не знаешь, что в соседстве твоём опять живет нынешнее лето сестра баронессы, графиня N. N.? — Кажется, вы бывали некогда довольно знакомы, когда еще графиня не ездила в Италию. Баронесса рассказывает, что малютка графини, эта Лауренсова головка, *Моина*, сделалась прелестна и исполнена дарований, что вся Москва была восхищена ею в прошедшую зиму. Мне невольно пришел в голову твой Поль. Если бы слабость здоровья не позволила ему служить, *Моина* твоя соседка. Несмотря на расстроенное состояние матери...»

Княгиня задумалась и оборотила голову к окну. Аграфена Михайловна с величайшим вниманием смотрела в это время в окно.

— Что ты видишь там такого любопытного, Груня? — невнимательно спросила у нее княгиня.

— Ах! ваше сиятельство! извините... я засмотрелась..

— Что там такое? — княгиня встала и подошла к окну, из которого видна была часть сада. На прелестном садовом лужку молодой князь и Эмма играли в *серсо* и весело бежали по саду.

Княгиня молчала и внимательно смотрела. Игра кончилась. Эмма бросила свою рапиру; князь побежал к дерновой скамейке, где лежали зонтик Эммы и платок, он подал их и потом взял Эмму под руку. Он и Эмма пошли после того по садовой дорожке.

— Прекрасная парочка!.. — прошептала Аграфена Михайловна, как будто забывшись.

— Что ты говоришь? — быстро спросила княгиня, оборотясь к ней.

— Ах! ваше сиятельство! извините...

— Что говоришь ты? — взор княгини сделался мрачен.

— Ваше сиятельство! я осмелилась сказать: «прекрасная парочка».

— Кто же эта парочка?

Аграфена Михайловна обратила взоры молча на князя и Эмму. Белое платье Эммы еще мелькало вдаль, между деревьями.

— Ты знаешь, Аграфена, что я терпеть не могу, если ты позволяешь себе болтать всякий вздор.

— Я полагала, что на это есть воля вашего сиятельства и не смела бы подумать ничего противного воле вашей.

— Ты дерзкая болтунья.

— Не я, ваше сиятельство: это общий слух. В доме графини N. N. недавно говорили об этом.— Княгиня молчала.— Дедушка Эммы совсем этого не скрывает от своих знакомых.

— Кто сказывал тебе, что в доме графини говорили об этом?

— Лука Лукич, возвратясь от графини домой, говорил это своей супруге, а она спрашивала у меня, встретившись со мною в церкви.

— И неужели старик-немец осмелился сказать что-нибудь подобное?

— Ваше сиятельство! я не знала, что это тайна.

— Поди вон и не смей показываться мне на глаза!

Аграфена Михайловна сделала печальную рожу и безмолвно пошла из комнаты, думая: «где гнев, тут и милость». Но ее насмешливая улыбка могла бы показать, что ядовитая стрела пущена была не без намерения, не пролетела мимо и попала по своему назначению.

«Об этом уж *говорят* и у графини N. N., и я сделалась басней слуг и соседей, и этот дерзкий немец осмелился думать и говорить...» — княгиня так сильно толкнула пьедестал с мраморным Амуром, что бедный бог любви полетел с него и отшиб себе оба крыла. Княгиня так задумалась, что совсем не заметила падения Амура...

«В самом деле — какое несчастное стечение обстоятельств! Кто не подумает?» — проговорила она вполголоса.

О! как много действует одно слово, один намек! Как правы были наши старики, говоря: «Слово не дубина, а убивает сильнее обуха!»

Только теперь все вдруг осветилось в глазах княгини и устроилось в какой-то особенный порядок идей, из которых мы перескажем только немногие:

«Она — моя невестка — жена моего Поля — дерзкая девчонка! Неужели ты думала? — И этим все должно

кончиться для меня! — Какая глупость с моей стороны, какое безрассудство!»

Неужели совесть не сказала в это время княгине: «А отчаянное положение твоего сына? А то мгновение, когда ты плакала при одре его и говорила врачу: „Спасите его, спасите, чего бы то ни стоило!“?»

Нет! Совесть ничего подобного ей не сказала.

Неясно, неопределенно думала теперь княгиня: «Дерзость этих немцев — лекарка эта — моя дочь!..» Да, сын княгини был уже здоров, и чего же еще более? Какая была надобность, если это непостижимое таинство природы, совершившееся над сыном княгини, должно было кончиться, может быть, нежным чувством любви, если земному надобно было перейти в небесное! Какая надобность, что на светлой душе Эммы взор княгини до сих пор не открыл еще ни одного пятнышка! Какая надобность, если судьба уже благословила два сердца на всю вечность быть одним сердцем и, разрывая их, надобно было растерзать их, облить кровью и, может быть, окровавленными руками положить во гроб — и юношу, спасенного Эммою, и девушку эту, спасительницу юноши... Зачем же не догадалась глупая судьба пустить его в мир каким-нибудь немцем-учителем, под пару немке, дочери небогатого чиновника? А теперь — он *князь*, а она *мещанка*, и судьбе вздумалось шалить так неосторожно сиятельными родословными?..

Но, что бы ни думала княгиня, она спокойно, не изменяя ничего прежнего, встретила Эмму и сына своего, когда они воротились с прогулки.

И как несправедлива была княгиня к бедной Эмме! Прочтем письмо, посланное Эммою к Фанни через несколько дней после того.

XI

«Ты спрашиваешь меня, милый друг, почему ни однажды не упоминала я тебе о молодом князе; ты говоришь мне, что заочно видишь, как я буду краснеть, читая твое письмо. Ошибаешься, Фанни: я читала письмо твое и не краснела. Ты шутишь над отысканным идеалом, несправедливая Фанни! Нарочно хочу написать тебе мою полную исповедь, и если бы не грешно было божиться, я наперед побожилась бы тебе, что говорю сущую правду.

Всегда бранивала ты меня за мои странные мечты, за

мои несбыточные понятия о том, что люди называют *любовью*. Виновата ли я, милый друг, что иначе не могла думать? Не знаю, как и отчего составляются в душе нашей понятия, но не такого мужчину, не такую любовь могла любить я, каких мужчин знавала я на свете и какую любовь любила ты, Фанни, и другие подруги.

Молодой князь С*** также совсем не тот человек, которого ждала мечта моя — нет! Он не тот! Сказать ли тебе, Фанни? Сначала мне самой казалось, что этот бедный страдалец в самом деле приведен к сердцу моему из миллионов людей, чтобы молитва моя и непонятное действие, которым могу я возратить ему разум, исцелили его и чтобы после того он навек отдал мне свое сердце, навек взял мое. Никогда подобное чувство не могло бы запасть в душу мою, если бы я встретила князя в обществе, в блестящем светском кругу, с его отличиями по роду и званию; но ты знаешь, как странно мы встретились, — я могла думать, могла мечтать о родной душе моей... Фанни! мысль эта мелькнула в душе моей, когда не *князь*, но какой-то несчастный молодой человек встретился со мною. И при всем том только мелькнула у меня эта мысль, Фанни, и, уверяю тебя, тотчас исчезла невозвратно. До сих пор я вовсе не знаю, отчего именно надобна была моя воля для исцеления князя. Но я поняла это лечение так, что мне должно было желать ему исцеления, желать всем сердцем и молить о том бога. Фанни! я желала этого всем сердцем, я молилась — ничего более не делала я, но в этом соединялось все мое бытие, все мои мысли. Только это заняло всю мою душу, с этим поехала я в деревню княжескую, об этом только крепко и постоянно думаю донныне. Недавно прибавилось к этому еще наслаждение: видеть, что предвещание доктора исполняется, и молодой князь получает постепенно ум, здоровье и молодость, и всем этим он мне обязан...

Припадков безумия у него вовсе не стало с самого приезда нашего в деревню. На другой день по приезде он явился уже одетый настоящим образом, только бледный, молчаливый, угрюмый. Так прошло несколько дней. Он беспрестанно находился с нами, но всегда молчал и сидел потупив глаза. По приказанию доктора, он должен был каждый день с ним прогуливаться. Странно, что всегда почти надобно было мне пристально поглядеть на него, чтобы он послушался. Однажды мы остались с ним одни. Я ласково взглянула на него, улыбнулась — он также улыбнулся, и угрюмость его пропала. Ах! как это обрадовало меня, обрадовало самую чистую, святою радостью! На

другой день доктор велел мне идти гулять с ним, взяв его под руку. Князь задрожал, когда я протянула к нему свою руку, протер себе глаза, но не мог не послушаться. Мы гуляли с ним долго и молча. В другой раз, прогуливаясь, я начала с ним говорить, и он охотно начал говорить со мною. Но еще долго после того не говорил он ни с кем, кроме меня. Мне удивительно было, что со мной разговаривать как будто кто-нибудь ему приказывал. Еще удивительнее казалось, что он походил в это время на ребенка, должен был приискивать слова, с видимым усилием мыслить; иногда он отвечал совсем не то, о чем его спрашивали, казался опомнившимся после того, думал и отвечал складно. Вообрази себе, милый друг, статую, которая постепенно оживляется: таков был этот бедный князь. Он очень не дурен собою теперь, когда изглаживаются в нем все следы его ужасной болезни; дикость глаз его пропала, и он всегда теперь одет прекрасно. По всему видно, что он получил отличное воспитание. Сумасшествие уничтожило в нем все это; только, я думаю, в душе его оставались какие-нибудь следы прежнего: ему стоит напоминать теперь — и иногда легко, иногда с трудом он тотчас вспомнит и начнет делать то, что делывал прежде. Так я узнала, что он превосходно рисовал, и вот однажды велела ему сесть подле себя, взяла карандаш и начала рисовать цветок. Он смотрел внимательно. Кончив мой рисунок, я подала карандаш ему и сказала: «Нарисуйте и вы». Он казался изумленным, по обыкновению, протер себе глаза; я пристально смотрела на него; он взял карандаш, долго вертел его в руках. У меня на груди было приколото несколько цветочков, сорванных во время нашей прогулки. Я бросила их на стол и сказала: «Срисуйте их». И он начал рисовать их и срисовал прелестно подле моего цветочка; но работа казалась ему трудною: он думал, счищал написанное, опять рисовал. Наконец с улыбкой посмотрел он на меня и обвел гирляндой мой цветочек и нарисованные им. Точно так стали мы с ним играть на фортепиано в четыре руки и теперь играем всякий день. День ото дня показывает он более и более и природный ум свой и прежнее превосходное свое образование. Он уже говорит свободно со всеми; только все еще робок, застенчив кажется он, хотя прежде, сказывают, бывал отменно ловок и разговорчив. Душа его также должна быть прекрасна. Вчера мы стояли с ним подле окна. На небе была великолепная радуга: она перегибалась по всему небу, казалась великолепным сводом небесным, и заходящее солнце изменяло и переливало бес-

прерывно цвета ее. «Какая прелесть!» — сказала я. «Oui, — отвечал он и задумчиво прибавил, смотря на радугу: — *Voyez avec quelle brillante variété il change ses couleurs; mais quelque changement qu'on aperçoive dans ses teintes, n'est ce pas toujours le signe consolateur de l'amour céleste?*»¹ У меня невольно навернулись слезы, когда, слушая эти слова его, я вообразила ужасное его состояние за несколько месяцев. В первый раз сам взял он тогда мою руку и, уныло смотря на меня, сказал: «*Notre vie ici bas — rien que misère — un souffle et nous ne sommes plus; mais tout ce qui nous attriste et nous accable n'est fait que pour nous rapprocher de l'amour du Père céleste...*»²

Фанни! согласишься, что только прекрасная, чистая душа могла внушить ему сии слова. Но, милый друг! никогда в душе моей не заменит князь того, о чем мечтала я с тобою некогда. Теперь мне, право, нет времени ни о чем думать, но в князе я вижу не тот прелестный образ, взор которого заставил бы меня потушить глаза, заставил сердце мое биться сильнее обыкновенного. Если бы можно было (на-добно было, хотела я сказать), то я назвала бы чувство мое к нему какую-то родственною привязанностью — буду откровенною: чем-то больше дружбы, меньше любви. Признаюсь тебе, что видеть его, говорить с ним, изъяснять ему разные понятия сделалось для меня даже привычкою. Мне будет, может быть, грустно расставаться с ним, но мне не менее грустно расстаться и с княгинею. Я такая animal d'habitude³, так привыкла к ним, даже к нашему чудаку доктору. Но какая же это любовь, Фанни? Похожи ли мои чувства на чувства Теклы? — Ты ведь читала и помнишь «Валленштейна». — Я совсем не замечаю в себе ни тайной грусти, ни уныния. Мы так весело играем, бегаем с князем, и мне всего более удовольствия приносит то, что милая моя княгиня радуется, смотря на нас. Меня любят здесь все, даже старая управительница англичанка, ужасная воркунья на других. Но не думаешь ли ты, Фанни, чтобы все это заменяло мне вас — тебя, милая, и бабушку, и дедушку? Ах! нет — никто и никогда не заменит вас в моем сердце! Одного взгляда на великолепие и холодные усло-

«Да. (...) Посмотрите, с каким блестящим разнообразием меняются ее цвета; но каковы бы ни были переливы красок, разве не есть это всегда утешительный знак небесной любви?» (фр.)

² «Жизнь на этом свете ничтожна; одно дуновение — и нас нет в помине, но все печали и горести наши лишь приближают нас к любви отца небесного...» (фр.)

³ привязчивое животное (фр.).

вия приличий здешних достаточно напомнить мне, что не здесь мое счастье, не здесь назначение моей жизни... Я и забыла сказать тебе, что мы еще не скоро с тобою увидимся. Княгиня остается в своей деревне на всю зиму, и она упросила дедушку оставить меня с нею. Поверишь ли, что это сначала опечалило меня, когда я об этом узнала? Можешь судить после сего: справедливо ли все то, что я писала тебе о князе? Говорят, что в деревне глубокою осенью бывает скучно, а зимою совсем несносно. Мне кажется, напротив, должно быть весело. Отчего будут печалить нас желтые листья, падающие с деревьев, если мы знаем, что за осенью следует новая весна с новыми зелеными листьями? Грустно, если бы этого не было. Но человек? Где у него новая весна после его осени? Где? — А жизнь за гробом, милый друг! Помнишь ли последние слова бедного Пальмера: «There is another and a better world» («Есть другой мир, лучше нашего»)?..»

XII

Княгиня. Итак, любезный г-н доктор, вы можете теперь ручаться за решительное выздоровление моего сына?

Доктор. Сколько ум человеческий может предвидеть, он вне всякой опасности. Дайте пройти зиме, и весной мы приступим к гимнастическим сильным упражнениям, станем пить кумыс, и к будущей зиме сын ваш сделается здоровее меня, потому что сильный ревматизм мой с некоторого времени дает мне чувствовать жестокость здешнего климата, и я...

Княгиня (*перебивая речь его*). Я хотела посоветоваться с вами о том, не надобно ли теперь испытать какого-нибудь светского рассеяния.

Доктор. Нет! это еще невозможно. Ваши ночные выезды, театры, балы, городская жизнь вообще могут расстроить снова его здоровье. Еще год уединения, княгиня; поскучайте в деревне еще одно лето.

Княгиня. Боже мой! вы не поняли меня! Могу ли скучать в какой бы то ни было глуши, если это необходимо для здоровья моего Поля? Нет! я думала так: нельзя ли у нас в деревне завести небольшие вечера. Несколько добрых приятелей и родных рады приезжать к нам из Москвы, и собрания наши будут без шума, без блеска...

Доктор. Да, таким образом. В самом деле, это

испытать нехудо; это может послужить к рассеянию вашего сына, и только это, может быть, решительно прогонит его задумчивость, его какую-то грусть и странную робость. Я забыл, что у светских людей рассеяние бывает стихиею, без которой они жить не могут и задыхаются, как рыба без воды. Вы правы, княгиня: немного более движения в жизни вашей не худо.

И через неделю, в день каких-то именин или чьего-то рождения, великолепно освещены были комнаты в деревенском дворце князя С*** Множество гостей съехалось из Москвы накануне и с утра.

XIII

(Письмо, которого Эмма не отправила к Фанни. Оно было писано в ночь после княжеского вечера.)

«Фанни, милый друг! где ты? Приди ко мне, спаси свою Эмму! Она несчастлива, она гибнет, и ужас обнимает ее, когда она подумает о будущем!

Я не обманывала тебя, Фанни, когда писала к тебе прежде, что никакого чувства любви не ощущала я к Полю — у меня уже нет сил назвать его *князем* — нет! я не обманывала тебя: я сама этого не знала! Теперь — стыжусь сказать тебе, — теперь вижу, знаю, чувствую, что я люблю его, люблю так, что, несмотря на терзание, какое причиняют мне эти слова, — сто раз сряду готова я написать: «Люблю Поля!» И мне надобно было узнать эту страшную истину вместе с ужасающею уверенностью, что несчастное чувство мое есть безнадежное безумие, узнать эту истину вместе с терзательным чувством ревности и отчаяния. Все это совершилось для меня в один день — и в один день передо мной раскрылась пропасть будущности, на краю которой столь беспечно стояла я; вдруг исчезло мое заблуждение, пропала тишина души, простота сердца, и все мучения любви я испытала в один день... И неужели так должно быть всю жизнь мою — *всю жизнь*? А если жизнь моя продолжится и вся станет походить на этот несчастный день... грешно ли молить о смерти? Неужели грешно? Но, великий боже! я ли искала Поля? я ли увлеклась в эту бездну несчастной страсти? Какая же невидимая рука злого демона увлекла меня?.. Я не могу плакать, Фанни; глаза мои горят, в груди жжет; все вокруг

меня тихо и безмолвно, а мне чудится что-то похожее на похоронный звон. Не сказать тебе всего — я не могу: меня задушит! Но в силах ли буду я рассказать тебе все? Осмеюсь ли послать к тебе этот листок? Зачем нет тебя здесь: я все сказала бы тебе и убежала бы с тобою отсюда! — но в силах ли я бежать отсюда?

Дня три тому княгиня известила меня, что у них будут гости. Есть предчувствия: я этому верю теперь — мне показалось страшно это известие; я чувствовала, как вся кровь отхлынула у меня от сердца и ударила в голову; мне невольно пришли на память непонятное впечатление, оставившее меня, когда я садилась в первый раз в карету с княгиней, мой ужасный сон накануне первого свидания с нею, моя робость, когда я вошла в дом княжеский. «Гости, съезд, знатные — а ты что будешь между ними?» Но Поль вошел в это время в комнату. Княгиня сказала ему о будущем празднике. Казалось, что и ему это не понравилось. «Он одинаково думает со мною!» — едва не проговорила я вслух. Поль предложил мне играть на фортепиано. Музыка рассеяла грусть мою, и в первый раз подумала я тогда: «На что *нам* другие люди, *мне и ему*? Не мне ли было суждено возратить ему прелесть бытия? Могли ль сделать это другие? Он *мой*: я пересоздала его — он мое создание. Зачем хотят стать между нами другие люди? Где были они, когда, забытый всеми, Поль был страшный безумец и скрежетал зубами при одном взгляде на человека?» Мы разыгрывали «Олимпиаду» Чимарозы и именно ту арию Мегакла, где поет он:

Addio mia vita; addio
Mia perduta speranza. Il ciel ti renda
Più felice di me... *

Я не могла продолжать: мне показалось, что я предсказываю свою собственную участь.

Сегодня с самого утра начали съезжаться гости. Простое, *дружеское* собрание княгини состояло человек из ста дам и мужчин: у знатных так много *друзей*... Меня оглушили громкими именами, превосходительствами, сиятельствами. Щегольские наряды, какой-то особенный язык общества, условный, непонятный для меня, взгляды гостей на меня, бедную Эмму, явно отличавшуюся от всех — одну не сиятельную, не превосходительную, неловкую, роб-

Прости, жизнь; простите, мои погибшие надежды! Будь счастливее меня...

кую — о! как все это унизило меня в собственных моих глазах! Я страшилась: не знают ли эти люди всех чудных событий между Подем и мною. Меня приняли бы тогда за магнетизерку, за шарлатанку. Ах! как я терзалась! И как обрадовалась я, заметив, что княгиня выдавала меня просто за бедную девушку, компаньонку, и я не видала никакого признака удивления, зеванья на меня. Впрочем, удивление можем дать заметить только мы, bourgeois¹, а знатные всегда стыдятся и не показывают удивления. Я была забыта в этой толпе народа. Мимоходом молодые девушки говорили со мною этим милостивым, покровительным тоном, которому научаются они от пеленок. Увы! тут все были *свои, равные* — кроме бедной Эммы! В первый раз увидела я и добрую мою княгиню совсем иначе, как никогда еще не видывала: она иначе была одета, иначе говорила. И Поль явился тут в первый раз настоящим светским молодым человеком, шегольски одетый. Я изумлялась, не узнавала его — и не я была причиной этой перемены: *она* была тут, *она* — и что же? Могу ли я жаловаться на Поля? Она так прекрасна, она была всех лучше! Эмме ли спорить с нею, когда эта красавица давно обладает его сердцем...

Кто же *она*? — Ласковее всех встретила княгиня семейство N. N. — Я слыхала об этих соседях, но я не знала, что у графини есть дочь. Не знаю, как зовут ее по-русски, но все называют ее *Моиною*. И очаровательно хороша Моина, милый друг! Стройна, прелестна, резва, весела, говорлива. Поль разговаривал с каким-то мужчиною, когда вошла Моина с матерью. Он взглянул на нее, казался обрадованным. Ах! как хорош сделался он в это время, как заблестали его глаза, какой румянец опалил его щеки. «Моина! вы ли это?» — говорил он, с восторгом встречая молодую графиню. Так вот каков может быть Поль, когда любовь одушевляет его? И в первый раз — не зависть, — но ревность закипела в груди моей... Еще не понимала я чувства своего: голова у меня кружилась, в глазах было темно; я думала, что мне просто нездоровится, поспешила выйти в другую комнату, и здесь все было для меня разгадано. Сердце не ошибается: пусть целый мир разуверяет его — оно верит, пусть никто ничего не видит и все верят: его не обманешь — оно не верит. В другой комнате села я на стул и едва могла отдохнуть. «Вы что-то бледны, сударыня?» — сказала мне горничная княгини, любимица

¹ мещане (фр.).

ее, Аграфена. Не знаю почему, я не могу любить этой женщины. Мне все кажется, что ее серые, змеиные глаза показывают злое сердце, хотя все говорят, что она очень добрая женщина. Мне всегда казалось, что и она терпеть меня не может — не знаю за что. «Ничего»,— отвечала я Аграфене. Тут она искривила свой рот и с усмешкою начала мне говорить: «Видели ль вы ее сиятельство, графиню N. N.?» Я молчала. «Посмотрите-ка на нее, сударыня, какова красавица, и что за пребогатая, что за превоспитанная! Кажется, она со временем не будет у нас чужою, и видно ей быть суженою нашего молодого князя. Он уже давно любит ее; почти вместе росли он и она и стоят один другого».

У меня достало сил уйти от злой болтуни и дотащиться до своей комнаты; но здесь силы меня оставили — я упала в обморок... Первая мысль, когда меня привела в чувство девушка, ко мне приставленная, была: «Несчастливая! ты *любишь* его!» Я увидела это, увидела ясно, и первая мысль о любви моей слилась с горьким отчаянием.

И мне надобно было опять идти в это блестящее шумное общество, целый день быть в нем, видеть, что Поль забыл самого себя и всех для Моины. И она глядела только на него, говорила только с ним... Мне пришло в мысль, что мой взор, моя воля имеют непреодолимую силу над Полем; но очарование пропало: он не смотрел на меня более, не обращал на меня никакого внимания, ни разу не заговорил со мною: Эмма уже не существовала для него более...

Не знаю, как могла я прожить весь этот бесконечный, ужасный день. Вечером начались танцы — все были веселы, шалили, смеялись. Поль танцевал только с Моиною. Она танцует прелестно. Княгиня принуждена была наконец запретить Полю танцевать. И Моина тотчас отказалась от танцев; они сидели после того вместе и беспрестанно говорили, смеялись. Чего не успели они переговорить в это время...

Мне показалось, что и в доброй княгине произошла какая-то перемена, что она холодно простилась со мною, что ее взор изъявлял даже какое-то сожаление и какую-то скрытную радость, которою она хотела поделиться со мною... Но нет! Она, конечно, устала, утомилась — ей некогда уже было со мною разговаривать...

Бьет пять часов, а я еще не сплю и не понимаю, как прежде спала я с самого вечера, так охотно, даже не утомившись после какого-нибудь бала. Правда, я сегодня почти не танцевала, и мне не от чего быть утомленною...

Фанни! Не мой ли черед теперь сойти с ума? Сумасшедшая! Ах! нет — лучше смерть, смерть...»

XIV

Через три недели после вечера княжеского доктор разговаривал с княгиней. Он ходил по комнате, был мрачен и задумчив. Княгиня спокойно сидела на своем диване с беззаботным, если не совершенно довольным видом. Взглянув на них, можно было сказать: *он проиграл — она выиграла.*

Но что же *проиграл* он? Что она *выиграла*? Не пояснит ли этого разговор их? К сожалению, мы не знаем, что они говорили прежде. Мы успели только к концу разговора.

— Мне очень хотелось бы знать причину неудовольствия вашего, любезный доктор, после всего этого.

— Вы правы, княгиня, правы; я ничего не могу более сказать.

— И вы же говорите, что ее здоровье совершенно поправляется.

— Да, я позволил ей сегодня выйти из комнаты.

— Я прошу вас еще раз: не щадить ваших трудов и попечений.

— То есть микстур и порошков.— Доктор горестно улыбнулся.— Я не жалел их, княгиня.

— И вы полагаете, что опасность совершенно прошла?

Доктор молчал и ходил по комнате. Княгиня, казалось, ожидала ответа.

— Не знаю,— сказал наконец доктор с тяжелым усилием,— не знаю ничего, кроме того только, что вся наука человеческая есть гордость, помноженная на незнание и разделенная по правилу товарищества: философам — юристам — математикам — физикам — химикам — и *лекарям!* — Он шагал при каждом слове и, произнеся последнее, остановился против княгини с забавною досадою.

Она рассмеялась.

— Это ваше дело знать, любезный доктор!

— Да, мое, разумеется; так заведено, и прекрасно заведено. Мы так легко отделяемся, когда исполняем по условию, какое записано в маклерской книге приличий общественных. Кто дает серебряный рубль бедняку и, давши, велит лакеям вытолкать его, тот благотворитель. Кто разыграет лотерею в пользу нищих и съест за одним обедом четыре таких лотереи, тот добродетелен. Ну! Мы убьем человека и велим доктору лечить его. Доктор лжет, уверяя нас, что он вылечит, а мы лжем перед совестью,

уверяя, что ничего не пощадим для спасения убитого нами.

Княгиня улыбнулась.

— Да не смейтесь по крайней мере, княгиня! Разумеется, вам теперь смешно: перед вами здоровый сын и дурак доктор, который откровенно признается, что вся его наука вздор, а сам он глупец.

— Я просила уже вас объяснить мне причины вашего неудовольствия. Разве болезнь Эммы не прекратилась?

— Нет! она прекратилась; а впрочем, кто же это знает.

— Ваша дружба к этой девушке увлекает вас, хотя нет никакой причины беспокоиться. Разве не случается быть нездоровым всякому из нас? И если бы каждый раз доктора так боялись, как вы теперь, то надолго ли станет их? Мы, я и вы, исполнили весь долг наш к Эмме: она была у меня как родная, и я готова стараться о будущей участи этой доброй девушки.

— Что разумеете вы под этими словами: стараться о будущей участи?

— А что бы такое вы разумели?

— Я думаю, что возвышение духа, какое видели мы в Эмме, не дается человеку даром. Каждый негодяй, который вздумает подняться из грязной кучи других людей, получает за это щелчок от судьбы, и бедная эта девушка поплатится душою или сердцем за свое дерзкое возвышение.

Доктор выискивал выражения, но не мог найти и с досадою сказал:

— Просто сын ваш и Эмма любят друг друга; и Эмма, и сын ваш могут погибнуть от этого.

Княгиня рассмеялась.

— Любезный доктор! — сказала она хладнокровно. — Вы знаток в болезнях тела, но не души. Уверяю вас, что сердечная связь между сыном моим и Эммою — мечта, порожденная вашим воображением.

— Как: мечта? Вы приучили меня, княгиня, к откровенному обхождению. Я имел счастье оказать вам услугу. Странно, что я говорю теперь с вами совсем не по медицинской части. Но с кем же и говорить мне? Вы добры, вы умны — вы мать. И с кем же вам говорить? Около вас такая... такая сволочь, что... мне надобно с вами говорить.

— Я привыкла к откровенности вашей, доктор. Можете все говорить, даже и не по медицинской части; впрочем, предупреждаю вас, что вы не знаток в любви.

— Как же не любовь это сначала тайное чувство, страх какой-то, который показывал сын ваш? Беспрекословное

повиновение его... ну! оно и должно было перейти в любовь...

— Нисколько, доктор. Кто поймет, что им повелевали, что над ним имели власть поневоле — тот не может любить.

— Ну! правда; положим, что правда. А если Эмма, передавшая ему свою душу...

— Сделается так самолюбива, что влюбится в душу свою, ему переданную?

— Можно ли шутить!

— Но что же делать мне тогда?

— Я уверен, что болезнь ее была следствие страшного душевного перелома! она любит!

— Разве она вам сказывала?

— Эмма станет сказывать? Эта девушка станет сказывать? О, княгиня! как вы не понимаете ее!

— Но неужели мне должно подвести к ней сына моего и сказать: возьми его и женись на нем, хоть он тебя не любит?

— Княгиня! ради бога! это ужасно! За что же она погубила себя? За что она спасла вашего сына?.. и это ли награда! Княгиня! душевные болезни ужасны. Я исцелил Эмму от горячки, но душу ее — исцелит только бог...

— Предоставим же все ему.

— Да! надобно ему предоставить судьбу твою, ему, а не людям, бедная Эмма! Но еще слово, княгиня, и я или поцелую ручку вашу с таким же благоговением, с каким католики целуют папину туфлю, или...

— Я предвижу ваш вопрос: могла ли бы согласиться я на свадьбу сына моего с Эммою, если бы он любил ее? Поцелуйте же с благоговением руку мою. Хоть это и походило бы на Памел и Нанин — я согласилась бы.

— И презрели бы все предрассудки вашей знатности?

— Вы почитаете меня каким-то исключением из людей! — смеясь сказала княгиня.

«Почти,— думал доктор,— и ты не смеялась бы так, если бы говорила правду».

В это время вдали, в зале, показалась Эмма. Она шла тихо, бледная, слабая; румянец ярким пятном был виден на обеих щеках ее... неестественный румянец! предвестие разрушительной болезни, которая так страшно терзает человека внутри, когда наружно он кажется спокоен и здоров.

Княгиня пошла к ней навстречу, дружески взяла ее под руку и тихо повела в свою комнату, говоря:

— Поздравляю вас, милая Эмма, с вашим выздоровлением. Сядьте, сядьте; как вы себя чувствуете?

— Теперь хорошо, княгиня. Я пришла поблагодарить вас за все ваши попечения, за всю вашу нежность и заботливость.

— Можно ли, милый друг...

— Ах! не знаю, чем могу засвидетельствовать сердечную благодарность за одно то, что вы скрыли болезнь мою от дедушки и бабушки! Бедные старики испугались бы — они меня так любят...

— Конечно, не более того, как я люблю вас, мой друг. Эмма поцеловала руку княгини.

— Теперь позвольте мне просить вас отпустить меня к моим родным. Я не нужна вам более; а невесело смотреть на больных...

— Как? вы хотите, при вашей слабости, зимою, ехать в Москву?

— Сил у меня достанет.

— Только *достанет!* И за кого почитаете вы меня, Эмма! Мне согласиться отпустить вас теперь? Никогда! Мы дождемся лета, проведем его вместе.

— А потом, надобно же расстаться? Ах! вы скоро забудете Эмму, если бы я и осмелилась ласкаться надеждою, что заслужила вашу благосклонность... Но мне тяжело расставаться с вами: я так полюбила вас...

Княгиня усмехнулась.

— Полноте говорить об этом; думайте только о своем здоровье. Не холодно ли вам здесь? постойте, я принесу вам мою шаль...

— Вы беспокоитесь...

— Сидите, сидите, милый друг!

Княгиня пошла в другую комнату. Эмма осталась одна. Три недели она не выходила из своей комнаты, и осматривалась кругом. «Здесь все так же, как было; а я? Какая перемена!» В это время в дальней комнате раздались звуки фортепиано. «Это он!» — думала Эмма. Играли бывший тогда в большой моде польский Огинского. «О! какие звуки!» Эмме пришла в голову история бедного сочинителя, его страсть, горечь, которую услаждал он сочинением своих польских. «Поль! перестань, перестань! — готова была она закричать, хотя князь не мог слышать ее голоса. Но он в самом деле перестал.— Неужели воля моя еще имеет над ним власть? Как бы желала я теперь взглянуть на него...»

Три недели Эмма не видала молодого князя, не видала

с самого вечера княжеского. Он ни разу не приходил посетить больную Эмму. Только доктор сказывал ей, что князь здоров, что он нередко катается в санях и играет с ним на бильярде, что он весел, но очень сожалеет о болезни Эммы.

Длинная анфилада комнат открывалась перед Эммою и оканчивалась большим зеркалом, против которого она сидела. «Боже! это он! он идет сюда; он еще *мой!*»

Князь шел весело, насвистывая какую-то арию. Увидев Эмму, он, казалось, обрадовался, радостно подошел к ней и несколько раз поцеловал ее руку, говоря: «Вы здоровы, милая Эмма? как я рад, что вижу вас...»

Какая перемена в нем и в ней! Где эта прежняя повелительница князя? Неужели это она, бледная, слабая, оробевшая, потупившая глаза? Неужели этот молодой, ловкий, невнимательный человек — тот бедный сумасшедший, который сидел в углу и молчал, не смея взглянуть на Эмму...

Княгиня вошла в эту минуту, держа в руках шаль. Она остановилась на пороге, изумленная: внимательно, заботливо устремила она глаза на сына своего и на Эмму. Через минуту беспокойство ее рассеялось. Она укутала шалью Эмму. Начался разговор...

Бедная девушка! Она думала: «Поль не переменялся; я несправедливо подозревала его! И его ли душа покорится этой Моине, этой светской вертушке!» Эмма оживала. Князь собирался кататься, но велел отложить санки. Он остался с матерью и с Эммою.

XV

Как странен человек уступками в своей жизни! Сколько богачей, лишившихся огромного состояния, благодарили судьбу за бедную жизнь, оставленную им! Человек плывет на гордом корабле, почитает себя царем стихий, досадует на медленность бега своего; буря, корабль разбило в щепы, и — царь стихий благословляет судьбу, что она выкинула его, полумертвого, на бесплодный утес.

Бывает время какого-то странного состояния человеческого, между счастьем и бедствием, время какого-то самозабвения, когда мы страшимся сами себя и не хотим ни оглянуться, ни взглянуть вперед. Это время, когда тучи нависли отвсюду и дождь уже каплет огромными, ленивыми каплями. Еще мгновение — тучи разорвутся, и дождь, шумя, сольется с огнем молний и грохотом грома. Но,

может быть, не будет ни грома, ни молнии; лучи солнца пробьются сквозь мрак туч; вихрь изорвет их, разбросает по небу, и день кончится светлым заходом солнца.

Так и в нравственном мире, и в мире страстей. Так было и с Эммою. Беспечность свойственна человеку; она дальняя родня наслаждению.

Молодой князь С*** сделался внимателен, даже изъяслял какую-то благодарность, какую-то нежность к Эмме, и она оживала с каждым днем.

Не думайте, чтобы Эмма, как опытная какая-нибудь кокетка, надеялась увлечь князя в сети свои. Нет! она радовалась, как дитя, не могла скрывать своей радости, когда он говорил с нею приветливо, нежно, и — ничего более она не требовала, даже страшилась требовать.

Не думайте, чтобы Эмма мечтала когда-нибудь достигнуть, любовью князя, исполнения каких-нибудь честолюбивых надежд! Мысль об этом не касалась души ее.

Молодой князь подходил к Эмме с каким-то чувством благоговения. Он не был еще испорчен светом; он был уже испытан несчастьем, и это несчастье было для него грозным разоблачителем людского сердца. Он знал, чем был одолжен Эмме. Ему приятно было теперь, в свой черед, усладить страдания Эммы своею услужливостью. Но он *не любил* Эммы.

Однажды, когда он и мать его, безотлучно надзиравшая за каждым движением сына, просидели с Эммой целый вечер, князь, возвратясь в свою комнату, задумался и сказал: «Какая умная девушка!.. какая добрая!» — прибавил он, подумавши несколько. Если мы хвалим ум, красоту, сердце — мы не любим. Кто любит, тот не хвалит или хвалит именно то, что не хорошо. Он как будто боится высказать людям, что пленяет его: это тайна влюбленного, и часто он сам не умел бы растолковать ее. — В этот вечер Эмма была чрезвычайно словоохотна: она так мило, так добродушно говорила о мире, о людях, о дружбе, о своем детстве.

Княгиня несколько не была обеспокоена сближением сына с Эммой. Она уже разгадала его душу.

Доктор часто задумывался, нюхал табак, уходил справляться с психологическими трактатами ученых о любви, о дружбе и хмурил брови.

Между тем дни летели, снега таяли, зима умирала. Леса зазеленели. Реки разломали наконец ледяной череп свой, жаворонок запел над лугами. Доктор беспокойно наблюдал пульс Эммы. Она была слаба. Повееяла весна,

и он предписал Эмме выезжать прогуливаться. Князь сопровождал ее в этих прогулках, галопируя подле ее кабриолета.

Был прекрасный весенний день. Солнце ярко светило; свежий ветерок веял сквозь растворенные окна. Доктор советовал воспользоваться хорошею погодою и погулять. Эмма села в свой кабриолет. Она сама правила сминою лошадкою; князь скакал подле нее верхом; жокей следовал за ними. Решились ехать далеко; останавливались, любовались видами окрестностей; потом опять ехали далее. Наконец княжеский парк кончился — перед гуляющими было обширное поле с перелесками.

На другой стороне поля, между сосновым лесом появилась большая кавалькада дам и мужчин, верхами и в экипажах. Они, казалось, все были щегольски одеты. Князь увидел их и умолк среди начатого разговора.

Эмма с изумлением взглянула на него. Он остановил свою лошадь и неподвижно смотрел на гулявших вдали. Взглянув в свой лорнет, Эмма узнала эту толпу: Моина сехала верхом, прелестно одетая; ее окружало много дам и мужчин, но только Моину разглядела Эмма. Этого было довольно. Вожди едва не выпали из ее рук.

— Князь! вас заметили, — сказала она дрожащим голосом. В самом деле, двое мужчин скакали через поле прямо к князю. Все гуляющие остановились.

Князь не отвечал ни слова, стоял неподвижно. Эмма повернула кабриолет свой снова в парк и погнала свою лошадку. Из перелеска, где не могли видеть ее, она видела всех. Эмма остановилась: князь был уже окружен спутниками Моины. Она сама ловко подскакала к нему.

Эмма погнала свою лошадку, гнала ее поспешно, быстро, переезжала с одной дорожки на другую, сама не зная, куда едет. Свежий весенний воздух казался ей чем-то ядовитым; песня жаворонка звучала насмешкою над людьми. Наконец перед ней широкая дорога.

— Куда же эта дорога? — спросила Эмма у жокея.

— Вы, сударыня, далеко заехали направо. Это дорога в ...скую пúстыню.

«Туда!» — подумала Эмма.

— Далек ли до пúстыни?

— Версты три.

— Мы еще застанем обедню?

— Кажись, застанем. Солнце еще не так высоко.

У монастырских ворот оставила Эмма экипаж и жокея и пошла в церковь. Обедня уже кончилась. В приделе

служили молебны. В другой придел вошла Эмма. Здесь, где она почитала себя никем невидимую, кроме бога, упала она на колени, и слезы полились ручьями из глаз ее; судорожные рыдания вздымали ее грудь — она плакала, не молилась; ни слова, ни мысли не приходили ей в голову.

Но Эмма не замечала, а подле нее, невдалеке, стоял монах и наблюдал за нею. Его бледное, желтое лицо, изрезанное глубокими морщинами, показывало, что не лета, но страдания убелили его волосы. В глазах его светился ум, видна была душа, не побежденная ни миром, ни бедствиями, но вся перешедшая в упование, что за гробом есть мир, есть другой мир света тихого и незаходимого. Этот взор ничего не мог искать на земле.

Приклонив голову к холодному столпу, одному из четырех, на которых держался купол церкви, холодному, безмолвному свидетелю стольких слез человеческих, Эмма едва не лишилась чувств. Монах подошел к ней и чистым немецким языком сказал ей:

— Сударыня! вы нездоровы — поберегите себя.

Эмма с изумлением взглянула на монаха. Она узнала в нем отца Паисия, духовника княгини, благочестивого инока, учредителя хора в монастыре. Но до сих пор она думала видеть в нем одно простое благочестие и никогда не слыхала от него речей. Голос, тон разговора показали Эмме ее ошибку. Она увидела человека образованного, бросившего мир, скрывшего под иноческой рясою растерзанную душу свою и верою и благочестием заменившего надежды на бедное счастье мира.

Эмма поспешно отерла слезы свои, встала, но оперлась о стену, шатаясь, едва не падая.

— Дочь моя! — сказал отец Паисий — голос его был голос отца, — если ты ищешь здесь утешения, оставь все условия мира и предо мною, служителем бога-утешителя, будь младенчески открыта душою. Если грех тяготит тебя, я буду за тебя молиться и напомню тебе, что он приходил в мир не праведных призывать на покаяние, но спасти грешных. Если бедствие налегло на юную душу твою, в слове бога ты найдешь отраду скорбной душе. Но не отчаяние, а надежда да будет твоим путеводителем.

— Отец мой! я лютеранского исповедания.

— Что мне за дело, на каком языке и в каком храме молишься ты богу! Его отеческие объятия равно отверсты для всех; служитель алтаря равно приемлет к сердцу каждого несчастливца, дочь моя.

— Я несчастлива, отец мой!

Слезы опять полились из глаз Эммы.

— Выйдем отсюда. Свежий воздух оживит тебя; братья могут здесь заметить скорбь твою.

Отец Паисий пошел из церкви; Эмма следовала за ним неволью. Недалеко от церкви было кладбище, усаженное деревьями. Дерновые скамейки сделаны были между могилами. Их осеяли деревья, едва зазеленевшие свежими листьями; молодая травка пробивалась на могилах между иссохшею прошлогоднею травой.

Здесь, подле одной могилы, на которой рука времени уже разломала надгробный камень, села Эмма, и свежий воздух оживил ее. Она огляделась кругом: монастырская ограда, храм божий, могилы, благочестивый, поседелый инок. Недалеко оттуда тянулся ряд келий; несколько пришельцев в пустыню отдыхали на могилах, беспечно, беззаботно. Дитя играло тут подле бедной какой-то женщины, уснувшей от усталости. Старик, товарищ богомолки, развязав свою котомку, вынимал из нее куски черствого хлеба. Эмма взглянула на небо: оно было распростерто над нею, светлое, весеннее, оживленное роями птичек, мелькавших по поднебесью. Эмма вспомнила, что такое же светлое небо было распростерто над нею, когда она в первый раз увидела сумасшедшего князя. Но тогда как высоко стояла она над миром! — Ее окружали родные в мирном приюте своем. А теперь она одна, среди могил, растерзанная, униженная миром...

— Дочь моя! — сказал ей отец Паисий, когда Эмма отдохнула немного и плакала уже не в отчаянии, но тихо, облегчительно, — дочь моя! забудь во мне инока. Не думай встретить во мне грозного судию твоей совести, твоей души. Ты видишь человека. Тот, кто сам плакивал кровавыми слезами, кто, умирая за мир, был напоем горечью, тот призывает к себе только бедствующих. Я испытал страдания; я был обольщаем великими надеждами — я знаю мир и скорби его — скорби страшные, от которых и теперь болит душа моя и которые забываются только в могиле. Я терял милых сердцу, был унижаем, отчаивался...

Он умолк.

— Отец мой! вы меня знаете, — могла только одно отвечать Эмма.

— Знаю более, нежели ты думаешь. Твоя душа чиста. Никакая тайна твоей покровительницы, княгини, не скрыта от меня. Бедная жертва судьбы непостижимой! Чего ищешь ты в мире? Твое счастье погибло. Мудрость челове-

ческая запуталась в твоей судьбе; она оторвала тебя от назначения твоего — тихо провести век в кругу смиренных родных и друзей — и бросила в величие, знатность, великолепиие...

— Отец мой! не я пришла в этот чужой мне мир...

— Зачем же остаешься ты в нем, когда видишь, что он не твой?

— Куда же убегу я!

— Туда, где тихо протекло твое детство. Удались отсюда, дочь моя: ты здесь чужая — там родная.

— Могу ли возратить мое прежнее спокойствие, мою детскую беззаботность...

— Ты удалишься бедствующею, но чистою, страдающею, но в мире с богом. Неужели не видишь ты, что если еще останешься здесь, то демон страстей начнет рыть в сердце твоем могилу для твоей гибели? Твое чистое чувство, в котором никто не посмеет теперь обвинять тебя, потускнеет в буре страстей. Ревность, зависть, ненависть овладеют тобою. Спаси себя, дочь моя! Смотри в свою душу и береги чистоту ее. Кто принесет растерзанное сердце к престолу бога — тот будет там сыном; но сердцу, отемненному страстями, если и не падшему в преступление, престол бога явит седалище грозного судии. Пусть будут виновны пред тобою люди: они отвечают за то богу, — не будь виновна перед ними.

— Слова ваши, отец мой, терзают душу мою! Подкрепите меня...

И умиленная беседа была продолжительна между Эммою и благочестивым иноком. Всю душу свою открыла ему Эмма, и все утешения веры и надежды он пролил на сердце ее, растерзанное любовью.

Благоговейно поцеловала руку его Эмма и тихо отправилась в княжескую деревню. Здесь встретило ее большое движение: несколько экипажей и верховых лошадей стояло во дворе. Она узнала, что княгиня собирается ехать в гости. Несколько человек соседей шумели в бильярдной. Эмма прошла в свою комнату по заднему крыльцу. Ей сказали, что княгиня давно спрашивала ее. Эмма чувствовала себя утомленною, но готовою на все. Ей казалось, что княгиня зовет ее сказать ей роковое какое-нибудь решение. «Боже! я готова!» — сказала Эмма, обративши взоры к образу и сложив на груди руки. Она оправилась и пошла к княгине. Румянец был виден на щеках ее от прогулки и от всего, что чувствовала и слышала она в это утро.

— Вы загулялись, милый друг,— сказала Эмме княгиня,— и я начинала беспокоиться за вас. Какой ветреник этот Поль: оставил вас, уехал к графине N. N. и прислал сказать, что там пробудет целый день.

— Мы встретили графиню с большим обществом. Мне не хотелось, чтобы меня заметили, и я оставила князя, решаюсь еще поездить на свежем воздухе.

— И очень хорошо сделали. Посмотрите, как расцвели розы на щечках ваших.

Эмма горестно улыбнулась. Княгиня не заметила ее улыбки, примеривая брильянтовые серьги перед зеркалом.

— Вы и меня взманили гулять,— сказала она.— Мы едем обедать к соседям нашим В.В.

— Мне позволите вы остаться дома? — с беспокойством спросила Эмма.

— Думаю, что вам нужно теперь всего более спокойствие, а там будет толпа народа.

Княгиня расположилась на своем диване и посадила подле себя Эмму.

— Я знаю, милый друг,— сказала она,— что вам в тягость шум и большой свет. Вы любите уединение, тишину семейной жизни, домашнее счастье. Ах! кто бы не променял на это самой блестящей доли. Как грустно смотреть на людей, которых рождение и воспитание увлекают в свет! Как часто, смотря на вас, я думала даже о себе самой...

— Вам ли говорить это, княгиня!

— Почему ж не говорить мне? Я чувствую, что не рождена для большого света, и только звание и воспитание сделали его для меня сносным. Вы знаете моего мужа: мог ли он составить мое счастье?

Откровенность княгини изумила Эмму.

— И потом, потеря детей, болезнь одного, оставшегося мне сына!.. Я могла бы осчастливить человека с душою и сердцем, милый друг: я была бы готова отдать за это многое. Судьба лишила меня всех средств жертвовать чем-нибудь для людей, милых мне, а что может заменить наслаждение таким пожертвованием.

«Пожертвованием?» — думала Эмма в недоумении.

— Воображаю себе: какое небесное чувство должно наполнять душу, например, той девушки, которая для счастья своих ближних, своих родных решила бы пожертвовать какою-нибудь безрассудною страстью; променять мимолетное наслаждение на прочное добро; заменить

прихоть воображения постоянным наслаждением добродетели и тихой радости.

Эмма чувствовала лихорадочную дрожь по всему телу.

Княгиня не смотрела на Эмму, казалась задумчивою и, перебирая в руках золотую цепочку, на которой были дорогие часы ее, продолжала говорить:

— Мне надобно посоветоваться с вами о важном деле, милая Эмма. Посоветоваться; не советовать хочу я вам. Вы знаете, что я привыкла любить вас, как дочь.

«Дочь!» — Эмма вздрогнула при этом слове.

— Вы привязали меня к себе вашим милым сердцем, вашею душою, чистою и прекрасною. Вы, конечно, не заметили в доме моем никакой разницы против родственной любви ваших добрых родных; вы были мне подругою в моей скорби, и все, что могла я делать для вашего удовольствия, я делала...

Эмма подняла глаза. Взоры ее обратились на эстампы, расставленные над диваном, и остановились на одном большом превосходном эстампе. Тут изображен был Данте, изгнанник из отчизны, мрачный, угрюмый беглец. Он стоял в бедной одежде на первой ступеньке великолепного крыльца, ведущего в какой-то огромный дворец; страннический посох был в руке его; волосы его развевал ветер чужбины, и уста его только что не произносили слов, выгравированных внизу эстампа:

*Tu proverai si come sà di sale
Lo pane altrui, e come è duro calle
Lo scendere e l' salir per l'altrui scale...*

— Княгиня! скажите, к чему угодно вам говорить все это? Какое пожертвование от меня надобно? Что должна я сделать — для чьего бы то ни было спокойствия, счастья...

— Этого надеялась я от вас, милый друг, и потому заботилась устроить будущую судьбу вашу. Я знаю состояние ваших родных...

— Разве я требовала от вас чего-нибудь и когда-нибудь, княгиня?

— О боже мой! К тому ли говорю я это? Ваш дедушка стар; братцы ваши еще так малы; вы должны будете заботиться об их участи, но можете ли вы сделать это, вы, девушка, одинокая...

* Ты испытываешь на себе, как солон чужой хлеб и как тяжело всходить на чужое крыльцо и сходить с него...

— Есть отец сирот, княгиня...

— Благочестивая мысль. Но мы живем не в век чудес, милый друг мой. Вам надобно избрать себе надежного покровителя...— Княгиня помолчала с минуту.— Вы знаете нашего почтенного знакомого, полковника Доброва? вы видели его раза три у нас в доме. Он предлагает вам свою руку.

«Великий боже! — думала Эмма.— Я была готова на все; но — я человек! Это слишком, творец, спаситель мой! Есть мера всему, есть предел всему, кроме твоего милосердия.»

Полковник Добров был сорокалетний вдовец, богатый помещик ...ской губернии. Потеряв первую жену свою, он отказался от службы и жил несколько лет в деревне, занимаясь воспитанием своего маленького сына. Не знаю, наскучив ли уединением или по делам каким, он приехал в Москву и посетил князя летом в деревне. После того он приезжал еще раз, говоря, что решился провести зиму в Москве. В третий раз приехал он и долго говорил с Эммою о погоде, о немецкой литературе, о ее дедушке. Через неделю княгиня получила от него хорошо переписанное письмо, содержание которого мы теперь знаем.

Эмма молчала, а княгиня распространилась о любви полковника к первой жене его, о прекрасном его состоянии, о том, что он устроит будущую судьбу братьев Эммы.

Эмма не плакала. Княгиня кончила тем, что решилась взглянуть на нее. Эмма была бледна, но спокойна; она даже улыбнулась.

— Позвольте мне, княгиня, обыкновенный ответ невесты. Я слыхала, что девушки всегда отвечают на предложения, подобные вашему: мне надобно подумать.

— Разумеется, милая Эмма. Моих слов вы, конечно, не ожидали.

— Признаюсь.— Эмма встала и хотела идти.

— Да, кстати, милый друг: не будете ли вы писать к вашим в Москву? Сейчас едет туда наш обыкновенный посланник.

— Буду писать. Мне необходимо надобно писать к своим.

Княгиня осталась одна, нахмурила брови и отирала пот батистовым своим платком. «Тяжелая обязанность матери!» — шептала она.

Эмма остановилась на пороге своей комнаты. «Ты будешь гробом моим! — подумала она, обозревая свою комнату.— Через этот порог мне уже не переходить более».

Она села к столику и написала следующие строчки:
«Фанни! Если ты меня любишь, если ты любишь своего Теобальда, поспеши приехать ко мне, чтобы не умереть мне на чужих руках. Попроси своего Теобальда сходить к дедушке, приготовить его к вести о моей смерти и приехать с ним сюда. Но сама приезжай прежде их. Поспеши, Фанни, ради бога поспеши!..»

— Отдай эту записочку по адресу и вот тебе на водку, только не задержи и отдай записку тотчас по приезде в Москву. Мне это очень нужно.

Твердо проговорила все это Эмма посланному в Москву. Она села после того к окну и смотрела, как подъезжал экипаж княгини. На самых этих вороных конях она приехала с княгинею из Москвы.

XVII

Княгиня возвратилась домой поздно. Когда на другой день проснулась она, Аграфена доложила ей, что барышня Эмма Ивановна вчерашний день опять занемогла, и, кажется, очень сильно.

— Для чего ж ты, дура, не сказала мне этого вчера, когда я приехала?

— Я не хотела беспокоить ваше сиятельство.

Княгиня оставила свой завтрак и пошла в комнату Эммы.

Перед этою комнатою встретил ее доктор, только что оставивший Эмму. Он всю ночь просидел у ее кровати.

— Что ваша больная? — поспешно спросила его княгиня.

— Ничего; ей теперь лучше. Не беспокойте ее, княгиня.

— Мне надобно ее видеть.

— Для чего же, княгиня? Она теперь спокойнее и просит послать за духовником вашим, монахом Паисием. Да, она еще просила меня извинить ее перед вами, что причиняет вам столько неприятностей своею болезнью. Прикажете поскорее послать за этим монахом; а что касается до беспокойств, причиненных вам нездоровьем Эммы, то они продолжатся немного времени. Эмма не проживет до вечера.

— Любезный доктор!..

— Да, на этот раз наука меня не обманет...

Княгиня не в силах была ни идти к Эмме, ни говорить. Она пошла в свой будуар. Старый князь встретил ее в зале.

— Правда ли, что наша немка отчаянно больна и умирает? — спросил он.

— Да, — отвечала княгиня.

— Как скучно! Филька! вели заложить мою карету. Adieu, ma chère! я еду в Москву.

— Теперь?

— Да, ты знаешь, что я терпеть не могу мертвых и теряю сон и аппетит, когда в доме есть покойник.

Через час загредел экипаж княжеский и в самых воротах столкнулся с старинными дрожками, на которых приехал духовник княгини.

Инока ввели в комнату Эммы. Больная сидела в больших креслах против окна, обложенная подушками.

— Отец мой! — сказала ему Эмма слабым, едва слышным голосом. — Теперь скоро кончится все: и борьба, и страдание. Одна просьба к вам, моему последнему утешителю на земле: совершите надо мною святое таинство обращения в православную веру и, заклинаю вас, упростите княгиню, чтобы меня похоронили на здешнем сельском кладбище.

— Дочь моя! благословенно твое желание, и святая церковь православная всегда готова принять прибегающего к ней. Но что за мысль о кладбище...

— Неужели это грех? Здесь положены его предки... здесь положат и *его*, где бы он ни умер и сколько бы еще лет ни прожил. Боже! дай ему жизнь долголетнюю и счастливую; но придет и его черед. Бренные кости мои возрадуются, что на одной божией ниве восстанем мы некогда: восстану я — не упрекать его, но встретить взором святой любви, которого не узнать ему в здешней жизни; восстанет и он — не отвергнуть меня, но вместе приблизиться к трону любви бесконечной.

Благочестивый инок не мог удержать слез своих. Он положил обе руки на голову Эммы и молился о ней...

Едва кончился обряд миропомазания и Эмма причастилась св. таин, когда тихо вошла в комнату Фанни и со слезами упала у ног своей подруги.

— Неужели и дедушка приехал с тобою? — спросила Эмма беспокойно.

— Нет, я одна.

— Слава богу! я не дождусь его, если он придет завтра... Сядь здесь, подле меня, Фанни; подвинь мои кресла сюда, поближе к окну.

Все оставили комнату; Фанни села подле своей подруги.

— Фанни! дай мне свою руку. Счастлива ли ты, Фанни, с твоим Теобальдом?

— О, милый друг мой!

— Фанни! если старик мой не переживет моей смерти — будь матерью братьев моих...

— Живи, милый друг, подумай о нас!

— Нет! земное уже исчезло для глаз моих... Но, Фанни, посмотри — мои взоры темнеют, — кажется, это верховую лошадь ведут по двору... Он едет куда-нибудь! Еще раз увидеть его... Фанни! пошли к Полю кого-нибудь сказать, что я желала бы видеть его, поговорить с ним...

XVIII

Молодой князь был в своей комнате, совсем одетый для прогулки. Другой какой-то молодой человек стоял подле него. Они смеялись и разговаривали друг с другом.

— Время проходит, Поль, нас ждут; поторопись! готова ли твоя лошадь? Какой ты неразвязный! Все как будто прежняя дурь осталась в твоей голове!

Вошел лакей княгини.

— Что ты?

— Барышня Эмма Ивановна приказала вас просить к себе поскорее; ей, приказала сказать, крайняя нужда видеться с вами.

— Что такое, Поль? Какая барышня Эмма Ивановна?

— Компаньонка маменьки.

— Да что у тебя с ней за дела? Поль! что это такое?

Молодой князь покраснел от двусмысленного взора своего товарища.

— Вздор! я тебя не отпущу. Что за ребячество! что за любовь в домашнем уголке! что за романы!

— Ничего; оставь свои глупые подозрения.

— Ну! так вели сказать ей...

— Она опять больна, говорят? — спросил князь у лакея.

Очень, говорят, нездорова, ваше сиятельство.

— Ну, так ты что за лекарь? Вздор! Если и были какие-нибудь сплетни, приедешь еще и тогда можешь прощаться и плакать.

— Да разве она очень нездорова?

— Не могу знать, ваше сиятельство.

— Чего тут толковать! Скажи, что ты уехал. Человек!

поди, скажи, что ты не застал уже князя. Не правда ли, Польш?

— Да, да!

Эмма печально улыбнулась, когда ей принесли ответ князя. Она подняла руку и, указывая в окно, сказала Фанни:

— А вон, видишь ли, Фанни, ему только теперь подвели лошадь его — дай мне лорнет — это он, кажется, идет по двору... Боже!.. когда он воротится, ему скажут, что Эммы нет уже более. Прости, Польш, прости!..

Она сложила руки и закрыла глаза свои. Фанни спешила позвать доктора. Он вошел и молча, сложив крест-накрест руки на груди, смотрел на Эмму. Смертная бледность уже обхватила губы ее; пальцы ее холодели... Веселая ласточка прилетела в это время на окошко, запела, защебетала, вспорхнула, и — с ее отлетом не стало Эммы. Фанни рыдала, целуя охолодевшее тело ее. Дверь растворилась. Отец Паисий вошел в комнату; за ним шла княгиня. И он, и она остановились в изумлении. В другой комнате столпились люди княжеские.

— Умерла, умерла! — говорили они.

— Умерла! Кто умер? Моя Эмма? — раздался среди их шепота раздирающий душу вопль. Все посторонились: седой старик, в беспорядке, в дорожной одежде, покрытой пылью, поспешно шел, поддерживаемый каким-то молодым человеком, — это были дедушка Эммы и Теобальд.

Священна горесть каждого, кто потерял милого сердцу; но терзательна горесть старика, теряющего милого сына, добрую дочь, — невыносимо зрелище такой горести старца, переживающего последние надежды свои...

— Эмма! — воскликнул он, всплеснув руками. — В самом деле умерла, умерла...

Почти без чувств упал он в руки Теобальда, который старался утешать его. Бедный старик зарыдал, горько зарыдал.

— Почтенный друг! — начал говорить ему доктор. — Неужели вы полагаете, что менее вас чувствуем мы потерю этого милого, небесного создания...

— Ты чувствуешь? ты, бесчеловечный! — вскричал дедушка Эммы. — Не ты ли вырвал ее у меня, веселую, здоровую, милую, и теперь отдаешь мне труп ее, не ты ли, говорун заморский, людомор!

— Я не ожидал таких упреков от вас, м(илостивый) г(осударь), не ожидал, — возразил доктор. — Можете говорить что угодно, но не укорять меня в незнании или

небрежности. Извольте посмотреть мои журналы болезни; я готов анатомить тело вашей внучки и доказать, что болезнь ее была неизлечима, заключалась в ее сердце...

Дедушка не отвечал ему ничего: он обнял холодный труп Эммы и плакал...

Слезы текут и высыхают. И милое и дорогое сердцу человеческому забывается.

Эмму похоронили на сельском кладбище в селе княжеском, там, где в отдельном склепе лежали предки князя С*** и мирно покоились вокруг них принадлежавшие им крестьяне. Могиле Эммы отвели уединенный уголок на этом кладбище.

Княгиня несколько времени задумывалась, но потом задумчивость ее прошла. «Если и было какое пожертвование от этой бедной девушки, то могла ли я, мать, заботливая об участи своего сына, поступить иначе?»

Участь сына! Знала ли ты эту участь, близорукая смертная?

Настал 1812 год. Молодой князь С*** вырвался из сетей своей обольстительной Моины и не смотрел на слезы матери, которая плакала, но не смела уговаривать его остаться. Он вступил в тот же гусарский полк, где служил прежде, и явился в армию, когда она переходила с рязанской дороги на калужскую, после московского пожара. Через несколько дней после того в приказах стояли слова: «Исключается из списков: убитый в сражении ...ского гусарского полка корнет князь С***». — Пуля французского мародера прекратила старинный княжеский род.

Верный слуга князя, бывший при нем в армии, привез гроб его на простой крестьянской телеге в деревню праотческую.

Здесь все уже было опустошено, разграблено; вместо великолепного княжеского дворца видны были одни обгорелые развалины. Жители села разбежались; церковь сельская была ограблена, превращена в конюшню; даже гробы предков князя С*** были разрыты.

Верный слуга с немногими крестьянами решил похоронить тело молодого господина своего в углу сельского кладбища. Стали рыть могилу и дорылись до какого-то еще свежего гроба.

— Кто бишь тут был недавно похоронен? — сказал один из крестьян, опершись на заступ.

— Вот забыл! А та немка молодая, что жила у княгини, окрестилась и умерла здесь.

— А! да, да!

Порадовались ли кости твои, Эмма? Приветно ли встретили они своего соседа?

Могилы безответны живущим.

МЕШОК С ЗОЛОТОМ

...И в городе горе, и в деревне горе — куда от горя деваться! Зато в городе радость и в деревне радость; отчего же с нею-то люди редко встречаются?

Мы плохо знаем русские деревни: и не диво! Мы проезжаем в них, редко гостим, никогда не живем. Есть ли время наблюдать, спрашивать, записывать, если наблюдатель скачет на почтовых, подле грязной станции кричит только что: «скорее, скорее» — и в лаковую карету свою требует только подорожную? О скакунах *по казенной надобности* и говорить нечего. Путешественники наши ездят по городам, а в городах обедают у воевод, пьют чай у предводителей и в пятьдесят граф своих статистическо-географических описаний вставляют сведения о посевах и жатвах, наугад сказанные, которые могли бы они отыскать в Петербурге. Капитаны-исправники, не все мастера наблюдать нравы и обычаи, умеют подписывать только свои имена. А помещики? Да, они живут не в городах иногда, но и не в деревнях. Будто *псарня* — деревня, будто *господский дом* — деревня! Тот худо знает быт наших помещиков, кто назовет его *деревенским*. Правда, есть разница между житьем помещика в городе и в деревне: в деревне подчивают вас шиповкой, а не шампанским, возят гулять между полями, засеянными хлебом, и до смерти надоедают вам рассказами о жатвах и покосах; но тут и кончилось все деревенское! Тот же бостон после обеда, те же слуги с тарелками за обедом, те же концерты, которые надоели вам в городе, те же кухни, тетушки и матушки, те же шляпки и чепчики, гувернеры и моськи, которых вы видали в городах зимою. Иногда помещик захочет показать вам деревенскую простоту: приказчик сгонит на барский двор *мужиков* и *баб*, господин даст им поцеловать ручку, велит петь, плясать, кланяться и дозволяет напиться допьяна.

Узнаете ли деревню в таком деревенском быту? Повторю, что сказал: *мы не знаем русских деревень*. Наши сказочники редко попадают на правду: они списывают большею частью не свое, а всего скорее ничего не пишут

о русских деревнях. Оттого мы представляем себе их и хуже, и лучше, нежели каковы они в самом деле. Бульварный романист розовою водою разрисует вам счастье, милое, беззаботное веселье русского пастушка, нежную подружку его, сельскую красавицу, а читатель его, когда, ехавши по большой дороге, въезжает в русскую деревню, тонет в грязи или колотится по деревянной мостовой, видит два ряда однообразных, запачканных или выбеленных, хижин, несколько колодцев по обеим сторонам, пестрые перила вокруг дворов, толпу народа у питейного дома, сельских красавиц в понявах и сарафанах, совсем не поэтических, когда за ним бегут ошипанные, босые мальчишки и просят милостыни... Признайтесь, что читателю идиллий розового романиста русская деревня кажется недостойною красок и лиры, а розовое описание — просто враньем? Но и бульварный романист, и читатель его равно ошибаются.

Нет! Не в господский дом, не на почтовых и не по большой дороге надобно нам ехать. Посох в руки, далее в сторону от пыльной дороги, в лес, в поле: там русская деревня; идите в ту деревню, вокруг которой, не тронутые ни исправником, ни помещиком, стоят огромные стоги сена, а на гумнах скирды хлеба торчат, как сахарные головы, и желтеют от лучей заходящего солнца; мельница стучит, и колдун-мельник насыпает возы хлеба; тучные, беззаботные стада бродят вокруг. Для чего толпу людей подле бахусова храма вводить в характеристику русской деревни? Это шалуны, повесы деревни: этот народ везде водится. Я поведу вас лучше к мирской избе, где люди бывалые, как лунь седые, и зажиточные крестьяне толкуют и судят *миром* и *с миром*, важно, чинно. Не презирайте их совета: дело большое занимает их. Батюшке-царю понадобились люди: у него война за святую Русь с басурманом, с французом, с шведом, и они гадают, кому черед на царскую службу, они расстаются с детьми, с родными. Пойдем в церковь их, простую, благолепную, посмотрим на ряды крестьян, взглядемся, как тихо, внимательно слушают они слово божие, как усердно, в простоте сердца, кладут земные поклоны. Святость религии живо почувствуете вы только в сельской церкви, где ум покорен вере, где жизнь безвестная, начинаясь крещением в храме, кончится в нем же, и скромный крест дедовской могилы виден юному внуку из окон хижины его. Не бойтесь грубого балахона и зипуна крестьянского: под ними часто бьется сердце золотое, доброе, горячее. Русский крестьянин говорлив, словоохотен: поговорите с ним, спросите у него, не пугайтесь его

неученого выговора, его невылощенных фраз: вы найдете в них ум свежий, простой и нередко сильный. Крестьянки русские— не пастушки аркадские, но как часто вы увидите на щеках их розы, в сердце найдете сильные страсти, услышите от них речь умную и смысленную. Подите в деревню вечером, в праздник, когда хороводы их, издалека видимые, пестреют на зелени луга: до сердца русского долетят звуки их родной, унылой песни; они напомнят ему неизвестную красавицу, погибшую от любви к милому другу, доброго молодца, который не пережил красной девицы...

Нет, друзья мои, я знаю русских крестьян, я живал, говаривал с ними, просиживал вечера в их беседах, в их хороводах, слышал многое, что западало мне в душу и оставалось в памяти. У них свой мир, свои поверья, свой ум, свои недостатки и добродетели. Дай мне перо Ирвинг, Цшокке, я рассказал бы вам много, много такого, что стоило бы рассказа о наших городских красавицах, швейцарских пастухах и шотландских горцах. И как мне жаль, что я не могу изобразить вам настоящего быта русских крестьян, их жизни, нравов и обычаев! И в деревнях так же горят страсти, так же любят, так же бывают счастливы и тоскуют, как в белокаменной Москве и в позолоченном Петербурге. Там есть свои богачи, свои бедняки... Кстати, послушайте: мне пришла теперь в голову *быль* русская, простая, неукрашенная; я расскажу вам, как она случилась. Мой рассказ не выдумка. В Москве многие помнят еще эту *быль* и не дадут мне солгать. Я выведу вам русских крестьян, буду говорить их языком, и — припишите моему неумению, если простой рассказ мой вам не понравится.

В нескольких десятках верст от Москвы жил-был в одном большом селе крестьянин... назовем его *Федосей*, сын крестьянина Панкратья; имени деда он почти не помнил, а прадедовой и могилы не знал: крест с нее свалился, она вросла в землю и сравнялась с землею. Фамилий у крестьян наших почти не бывает; разве изредка привяжется к кому-нибудь из них кличка *долгорукого, намазаного, сухого, хромого*. Горожане страх как дорожат такими кличками, а в деревнях этого обычая не водится. Итак, просто *Федосей Панкратов* жил и поживал в своем большом доме, молился богу, любил жену, любил детей (бог дал ему трех сынов) и мало знал горя и кручины. Добрые люди говорили, что бог благословил *Федосея* за его добродетель, его гостеприимство и радушие ко всякому. В самом



деле: у Федосея всегда бывали отворены ворота для проезжего и прохожего. Принимал он ласково, сено весил честно, овес мерял с верхом, кормил сытно и за все брал дешевле других. С проходящих же Федосей ничего не брал, а иногда, видя хворого, который тащился на родину из Москвы, где работал в поте лица и откуда вместо деньжонок нес пустую котомку, Федосей даст, бывало, еще бедняку на дорогу хлеба и гривенник, а иного, едучи по пути, довезет до ближней деревни и за все требует одного: *помолись за Федосея!* Если же шел странник или шла странница в Киев или в Соловки, Федосей всегда, бывало, пошлет на свечку. Он любил и погулять с приятелями, но не в кабаке: люд у него собирался почетный, выборные, сотские; сам староста, бывало, обнимается с Федосеем, и уверениям в дружбе, спасибом за хлеб, за соль конца нет. Федосей живал на добрую статью: только у него и у старосты в целом селе были самовары, и когда, бывало, поразгуляются гости, то самовар и на стол, и пока осушат его, воды не жалеют; чай пивали у него все гости с сахаром, вприкуску, и многие, жалея сахара, уносили кусочек его домой ребятишкам, а желтую воду, которую называли чаем, выпивали так, просто. По самоварам, что ли, у старосты с Федосеем было особое душевное сродство и приятельство. Федосей радовался этому, и не без причины: три сына, молодец к молодцу, росли у него; у старосты была дочь — загляденье, и наследница всего добра. Сколько увивалось вокруг нее молодежи, сказать трудно! Но красавица Груня ни на кого не смотрела. Староста Филарет, отец ее, высматривал, выглядывал молодца, хотел избранного принять к себе в дом, и вся деревня думала, что Ванюша, младший сын Федосеев, будет зятем старосты.

Но почему так думали люди? Надобно признаться, что хотя все сыновья Федосеевы были молодцы статные, видные, добрые и работающие, но старший — зашибался хмелиной! Бог знает, откуда привязалась к нему эта беда: кажется, что и в роду их не бывало пьющих. Кто русский человек не пьет? Но выпить с радости не беда, а пить, чтоб пьяну быть, — это, всякий православный скажет, не лучше картежничества. Что ж делать! Беда такая случалась с бедняком Осипом редко, но все случалась, и иногда Федосей куда грозно высчитывал ему худые следствия его дурной склонности. Осип плакивал с горя, крепился, давал обещания отцу и матери и опять не мог устоять против искушения. Особливо проклятые московские ресторации пуще всего губили Осипа. Бывало, Осип приедет в Москву,

продаст хлеб, овес, живности, и только что зазвенит у него денюга в кошелек, откуда ни возьмутся *приятели*, зазовут распить полгаленка чаю, разопьют: Осипу надобно *поставить* другой, там пивца, и Осип начнет писать мыслете! Масляные здоровяки, прислужники рестораций, хорошо знают, чем приласкать деревенского гостя. Их беганье, их обольстительное стучанье тарелками и чашками, их услужливые крики: «ась, ась, ась», когда гость стучит повелительным ножиком в медную полоскательную чашку, — все это гибель крестьянскому карману, здоровью и счастью. Знаете ли, что меня всегда грусть берет, когда я хожу по московским улицам и вижу в растворенные окошки добрых наших крестьян вокруг засаленных скатертей в ресторациях! Шагу по Москве не ступить, чтобы не попался вам «Лиссабон», «Краков», «Казань», или рука из облаков с подносом и чашками, или два самовара, намазанные по сторонам слова «Растеряция». Я готов бы каждому посетителю их сказать: «Что ты здесь делаешь, бедняк! Беги домой, стыдись торжественного красного лица своего; купи лучше на свой рубль саек домой, обновку жене... лучше брось их в воду, а не трать в ресторации...» Но *приятели*, верно, не так говорят, и не так говаривали они Осипу Федосееву. Приятели в крестьянстве — то же, что в высших обществах картежные игроки: это выжига, подторговщики, кулаки базарные: они бывают богатые и бедные. Все порядочные люди от души их презирают; многих можете отличить по щегольским жидовским кафтанчикам, по жилету, по галстуху, по подбритым волосам: но их терпят в деревнях так, как терпят игроков наши знатные бояре, графы и князья; с ними советуется как с людьми опытными. К несчастью, часто в свете принимают плутовство и шалости за *опыты* и испытанного в шалостях и плутовстве называют в деревнях *бывалым, тертым калачом, прошедшим сквозь огонь и воду*, а в городах *опытным, перегоревшим в страстях*.

Но я заговорился и забыл, о чем шло дело. Разумеется, что Осип не мог уже нравиться старосте и быть суженым Груни. Брат его средний был, что называют у нас, мизантроп, а в деревне — *нелюдим*. Сызмала он рос молчаливый, угрюмый, не ходил в посиделки и хороводы, бегал от людей, а в беседах сидел задумавшись, как будто иголку проглотил. Отцу нечего было на него пожаловаться: Сергей был притом овечка дома и вол на работе. Что же? Ведь не вложишь веселья в душу, когда она веселиться не хочет! Бывают уж такие невеселые люди сроду, бог знает отчего.

Такому человеку дайте чинов и почестей, золота и серебра, и добрую жену, и всяких земных благ: у него душа все отталкивает, ей все не мило; хандра, как червяк, точит сердце, и напрасно говорят, что у простых людей ее не бывает. Такой нелюдим мог ли понравиться Груне, веселой, резвой? Сергей же сказал отцу своему наотрез, что никогда не хочет жениться. Федосей думал, качал головою, наконец сказал: «Авось образумится» — и оставил попечение; тем более что Ванюша, третий сын его, любимец матушкин, был и красивее обоих братьев, и нисколько не походил на них.

Вот был красавец и душой и телом! Русые волосы его кудрявились на голове сами собою; румянец играл во всю щеку, хотя загорелое лицо и грубые руки показывали, что Ванюша был не белоручка. В самом деле: никто лучше его не умел сладить бороны, обтесать доски, загородить клетушки, покрыть соломою навеса, выпрячь, запрячь и в ухабе сберечь, как говорит пословица. На покосе он шел всегда в первой косе; верно узнавал он ведро и ненастье по приметам, и ничто из рук у него не вываливалось. Но, бывши первым в работе, он не был вторым и на посиделках и в хороводах. Когда в праздник выходил он щеголем, в своей черной поярковой шляпе, красной александрийской рубашке, шелковом пояске с серебром, в кафтане нараспашку и шел по деревне, то всякой девушке бывала надобность выбежать за ворота или выглянуть за окошко: то надобно было подать Христа ради, то надобилось бежать к колодцу за водою, то курицы уходили далеко, то маленькие братишки плакали. Но что и говорить о причинах, когда девушка их сыскивает! Мне кажется иногда, что бог заменил у женщин ум хитростью, и девушки так же бывают хитры в деревнях, как и в городах, когда надобно украсть минутку у работы или провести старушку бабушку и старичка дедушку. Я сам видал... Но что толковать о старине! Разумеется, что Ванюша не был олухом при ласковости своих соседок. К одной подвертывался он с приветливым словцом; другой кланялся; идя мимо третьей, затягивал песенку, в которой величались ее черные глаза или русые волосы. А глаза Ванюши говорили лучше всяких песен: этот разговор понятен везде. Зато конца не было приветствиям. «Ванюша, здорово!» — раздавался тоненький голосок с одной стороны. «Куда ты, Ваня?» — говорили с другой. «Иван Федосеич! здравствуй. Каково ты живешь? Будешь ли сегодня у свата Парамона?» — спрашивала третья. А когда в хороводах и на посиделках

являлся Ванюша, тут-то бывало шушуканья у девушек. Песню ли он запевал — голос его заливался в звонких перекатах; сказку ли начинал сказывать — прибауткам и присказкам счета не было. Девушки смеялись, хохотали, сердца их бились сильно-сильно, щеки горели, глаза сияли, как звезды: в деревнях не умеют скрывать сердечного чувства. Староста Филарет улыбался, поглаживал бороду и усы и толкал Федосея, когда Ванюша начинал пляску с Грунею. Федосей готов был сам пуститься вприсядку с радости и только что, бывало, не вымолвит: «Ну, брат, Филарет Карпыч: какова парочка?» Груня шла павою, а Ванюша соколом подлетал к ней и коршуном вился вокруг красавицы.

Но вот беда! Вдруг девушки разлюбили Ванюшу — и по делам: он перестал им кланяться, заигрывать с ними, зашучивать. Что за спесь такая? Какая спесь! У Ванюши на сердце шевелилось что-то напущенное. Он стал невесел, неразговорчив, задумывался... Уж не братнина ли хандра на него навязалась? Нет! Он разлюбил всех и полюбил *одну*, и так полюбил, что ему не спалось, не пилося, не слось. Эта *одна* была Груня, дочь старосты Филарета. Бог знает отчего: видал он ее прежде, и певал с нею, и говаривал, и плясывал, а все не догадывался, что она такая близкая родня его сердцу, что без нее свет не мил ему, а с нею только он и хорош, и красен. Странное дело, что и к Груне перешла такая же тоска: она сидела дома, повеся голову, сложа руки, и мать не один раз вспрыскивала ее святою водою, крестила, благословляла, и все было бесполезно: Груне не становилось радостнее. Дивитесь еще тому, что ни Груня Ванюше, ни Ванюша Груне не смели сказать словечка, даже стали реже сходиться вместе, тосковали, не видя друг друга, а если знали, что где-нибудь могут встретиться, то не шли туда. Еще больше: им показалось, что они даже не любят друг друга. Если это кажется вам невероятным, то вы не любили или любили только половиной сердца. Такова бывает любовь настоящая. Девушки! не верьте краснобаю, если он вам красиво рассказывает, как он вас любит, как ему ничто не мило без вас! Спросите у меня: я любил, я натерпелся горя от злодея-сердца, и я скажу вам, что тот, кому суждено сердце ваше, тот сначала покажется вам и дик, и нелюдим; вам покажется, будто он даже не любит вас, и вы его не любите! Видали ль вы грозу? Вспомните, что сперва найдет черная туча и все заволочет в глазах ваших: темно, грустно, тоскливо, а потом уже засверкают молнии и покатится

гром, и снова засветит солнце. Туча — первая тоска любви, гром и молния — любовь сердечная; громом и молнией небо целуется с землею, как жених с невестою.

Но как же это случилось, что Ванюше запала тоска на сердце, когда прежде ее не было? Знаете ли вы, красавицы, ревность? Если не знаете, не дай вам бог знать ее, но то горе, что по ней только узнается любовь! Вам покажется — не то что вас не любят, — это бы ничего... но что любят другого или другую! Нелюбовь все еще можно снести: можно умереть, и надежда гробовой тишины разве не отрада душе? А ревность и за гробом не дает покоя: каждая улыбка счастливца шевелит бедный прах отверженного; грустно, тяжело и в могиле отказаться от приюта, в котором отказало нам в здешнем мире сердце человеческое!

Вот такую-то тяжелую ревность узнал Ванюша, а с нею узнал и то, что он — *любит* Груню! Когда прежде он краем уха слышал, что их называли ровней, парочкой, любовь была для него то же, что жизнь для здорового: он ее и не чувствовал; а когда ревность, как злая болезнь, привязалась к нему, он увидел, что без любви Груниной и свет божий не мил, так, как в болезни только мы узнаем, что жизнь дорога, мила человеку.

Совсем нечаянно в селе появился *Москвич*: это был сын одного тамошнего старика, но он смолоду ушел в Москву, жил в Москве долго, пропадал без вести, торговал в овощной лавочке, переколачивал всякою всячиною — и совестью, как говорили многие. Этот Москвич приехал в село, когда услышал о смерти старика отца. «Не велико, брат, твое наследство!» — говорил ему староста, вводя его в запустевшую отцовскую хижину, бедную и закоптелую. Но Москвич, верно, знал лучше старосты, что у старика водилось добро. Щегольски был он одет, весело смеялся. И вот начал он переворачивать старые ветоши, распечатал и растворил сундук, на котором спал и умер старик, отец его, и — как изумился староста, когда из сундука Москвич вытащил пучки ассигнаций, свертки рублевиков, все старинных! По всей деревне заговорили о богатстве Москвича; он гоголем заходил по улице, стал приторговывать себе дом, начал ластиться к девушкам. Ванюша пришел на беседу к старосте — и что же? Подле Груни сидит Москвич, говорит и смеется, и Груня разговаривает с ним и смеется; Ванюше показалось, что она и не глядит на него! Бедный Ванюша! Где бы Москвичу так сплясать, спеть; но Ванюша сидел, как истукан, в глазах у него было темно,

голова кружилась, а Москвич отличался: язык его был настоящая трещотка. Он не умел петь и плясать, зато рассказывал о Москве, о Кремле, об Иване Великом, Сухарево́й башне, боярских домах, садах, большом московском колоколе, и все его заслушались, зазевались! Чего Ванюша не смел бы сделать года в три, Москвич сделал в три дня. Он уверял уже всех, что свел Груню с ума, что сватается уже за нее, что староста согласен... Ванюша не знал, что делать: говорить ли с Груней, упасть ли в ноги к отцу и матери и просить их родительского благословения? Между тем другая, тяжкая беда легла у него на плечах.

Если люди говорили, что бог благословлял Федосея за его добродетель, то отчего же вдруг напасти нашли на этого доброго человека? Люди говорят, что будто без беды век прожить — значит не быть любимцем божьим и что судьбы божи́и испытывают человека бедствиями, чтобы он не забывался во всегдашнем счастье и в бедах перегорал на новое счастье, как золото в горниле. Правда, истинная правда; но правду эту узнают после, а когда горе посетит человека, то куда горько быть с этим гостем, и *любимца божьего*, бедняка, люди страх как не жалуют. Справедливо ли они поступают, не знаю, знаю только, что когда у человека есть где попить, есть что занять, то вокруг него народ вертится, как пчелы вокруг улья, а когда человек горемыкой засядет без хлеба, то ни один не повернется к нему, ни одно ласковое слово не приголубит его; люди идут мимо: бедность не их, а божье дело! Иногда, смотря на мир православный, подумаешь, что в свете только два рода людей: одни, у которых *есть* деньги, другие, у которых *нет* денег; первым все хорошо и ладно, другим все плохо и неладно, и эти два разные рода не братья друг с другом!

Так случилось и с Федосеем. Вдруг ночью, когда все спали, загорелся у него дом, разом вспыхнул, и едва Федосей и семья его успели выскочить. Дом горел, как свеча; тушить было некому, потому что соседи отстаивали свои дома, а другие едва успевали тушить головешки, которые разносило по всей деревне. Труб пожарных в наших деревнях не знают; правда, у ворот каждого дома написано, кому с чем бежать на пожар: иному с топором, другому с багром, третьему с ведром; да это написано на воротах, а не на сердце. Притом же люди ленивы бегать на чужую беду. Пока просыпались, зевали, спрашивали, где горит, жалели — словом, пока сошелся народ, на месте Федосе-

ева дома было только пожарище, выгорал погреб, и торчали черные веревки ворот да печка. Однако ж смелым бог владеет: дети Федосеевы бросались в огонь, вынесли благословенную икону, сундук, вывели пару лошадей, корову, хотя едва сами не сгорели. Федосей не плакал, молчал, когда народ шумел, спрашивал, от чего и как загорелось, когда каждый отвечал, рассказывал, толковал, советовал, жалел. «Божья воля!» — промолвил наконец Федосей с глубоким вздохом. Ах! Он посмотрел на своих полунагих, обожженных детей, и на душе его стало горько.

И вот Федосей без дома. Это бы еще ничего, но вдруг открылось, что в сундуке его не было пучка ассигнаций и свертка рублевиков, как у родителя Москвича. Был у него запас хлеба и добра — сгорел; были долги за разными, но если нет должнику надежды занять еще, то займодавец может поклониться своим деньгам. Так и с Федосеем сбылось: у одного из должников его не случилось денег, другой обещал, третий хотел отдать: никто не платил. Нечего делать. Пошел сам Федосей занимать. Знаете ли, что для человека, бывшего богачом, ничего нет тяжелее первых дней его скудости! Еще платье его и лицо не угнетены злодейкою бедностью, еще не привык он к унижению, к бесстыдству, с какими бедняк просит, обещает, слышит отказы, кланяется, а люди уже переменялись к нему совершенно, видят в нем нищего и тем сильнее язвят его сердце своими шутками, расспросами, самую жалостью своею. По крайней мере так все кажется бедняку. Я уверен, что люди добрее, нежели мы о них думаем, судя по видимому, но вините несчастное положение всех предметов в мире: счастливцев смотрит на них с одной стороны, где свет, а несчастливцев с другой, где тень: одному светло, другому темно. Бедность иногда похожа на преступление: не об ней говорят, а она краснеет; о ней сожалеют, а она думает, будто над ней смеются. Что делать! И вот нужда гнет бедняка помаленьку, пока он отучится глядеть на небо и станет ходить, наклонясь к земле, как будто ищет потерянного клада; но клады ныне редки на белом свете... где найти их! Так и идет дело в своем порядке, пока могила всех уравнивает, богачей и бедняков.

Уже добрые дети Федосея очистили место пожарища; на деньжонки, которые успели собрать, купили лесу, ладили, строили, но еще недоставало много, чтобы на месте бывшего большого дома построить хоть небольшой домишко, вместо тесу покрыть его соломой и укрыться от зимнего холода. Федосей жил в избе своего соседа, из

дружбы... Но в чужом углу куда тесно жить: и горшок шей Федосеевых как будто мешал горшку шей его хозяина, и хозяйской корове мешала корова гостя. Задумавшись, Федосей пришел к старосте Филарету, старому другу, которым часто пивал из одной кружки. В сенях встретила его Груня, обрадовалась, чуть не заплакала, и Федосей, вспомянув былое, также чуть не заплакал. «Добрая примета!» — подумал он, вошел в светлицу, помолился. Черный ворон, Москвич, сидел уже тут, и староста навеселе шумно разговаривал с Москвичом.

— Федюха, здорово! Что скажешь, братище? — проговорил староста, поворачиваясь к Федосею, но не вставая.

Будто морозом обдало Федосея: с ним говорили уже, как с бедняком! Но скрепя сердце, он хотел заговорить о постороннем: его не сажали, а когда он сам сел, староста поднял бороду кверху и горделиво промолвил:

— Аль устал, Федюха? Ты сегодня что-то наряден!

Только тогда Федосей заметил, что на нем был праздничный старый кафтан его.

— Да другого кафтана не осталось, Филарет Карпыч, и поневоле наряжаюсь.

— Плохо, Федюха, скоро износишь, — отвечал староста.

— Тогда выпрошу у нищего лохмотья или стану греться на солнышке: бог даром дает нам свет и тепло.

Оба замолчали.

— Мне недосужно, брат, теперь: у нас вот с господином-то есть дельце; так, знаешь, лишние люди мешают, — сказал староста.

— И я было за дельцем к тебе, Филарет Карпыч...

— Да что у нас с тобой за дела, говори: не взаймы же ведь ты пришел просить?

Федосей побледнел с горя. «Неужели, — подумал он, — на лице у меня уже написано, что я пришел к нему христарничать!» И в горести опустил он голову. Староста, ничего не замечая, начал говорить о скудости, дороговизне, тяжелых временах. Москвич *ничего* не говорил, но взоры его... Ах! взоры богача, когда с бедняком говорят о бедности, нестерпимы: в них высказано все, что человек таит во глубине своего сердца и откроет только в день Последнего Суда! Когда староста кончил речь и снова повторил свой вопрос: «Так тебе, видно, деньжонок надобно?», Федосей глухо отвечал: «Нет!» — схватил шапку, поклонился и ушел.

Твердыми шагами дошел он до пожарища своего, но когда увидел там детей своих, работающих на жару, в поте лица, когда услышал веселую песню, которую пел Ванюша, едва сдвигая тяжелое бревно, — силы его оставили, он сел на отрубке и горько зарыдал. У крестьян чувства грубее наших, слабых, нервных, чувств, но когда горесть пробьет крепкую кожу, потрясет сильные мускулы, горесть походит на тяжкую лихорадку. Разве грубый крестьянин не налагает на себя рук, не губит иногда души своей? Какому же сильному чувству должно возмутить душу человека в здешнем мире, когда он губит ее навеки и в будущем свете! Будем дорожить горестями, слезами крестьянина: слезы его едки, и напечатленное ими никогда не изглаживается перед богом...

Дети Федосея, видя отца своего всегда грустным и унылым, не утешали его: они не умели утешать словами. Когда Федосей заплакал, они перестали только петь и молча работали.

Я скажу вам, напротив, дивное дело: с тех пор, как сгорел дом Федосея, дети его совсем переменились. Сергей, всегда задумчивый, угрюмый, вдруг повеселел, начал смеяться, иногда сидел долго один, разводил руками, что-то говорил про себя, крестился, но не грустил. Ванюша был как темная ночь на другой день после пожара, а на третий так сделался весел, что мать долго смотрела на него и творила молитву. Расскажу, отчего все это было.

Принимая участие в общей печали, Ванюша еще более сокрушался, когда думал, что в этом пожаре сгорели все его надежды на счастье: он стал бедняком. «Что ж за беда? — говорил он. — Я молод, здоров, поле у нас не выгорело: сыты будем; хату сгношим опять, хотя и поменьше, а может бог благословит нас, еще разживемся лучше прежнего. Но Груня! Господи боже мой! Ей уже не бывать за мною: она богата, отец ее староста, а я сын бедняка! И сама Груня станет ли ждать, пока я разбогатею? Этот Москвич проклятый оглушит отца звоном своих денег, облелеет дочь своими ласковыми словами... пропала моя голова!» Но тут начал он думать, что Груня и не любит его, что он никогда не был ей мил. Вот бедный Ванюша ходил целый день кручинен, печален; куда девалась у него вся охота работать, трудиться. — Но отчего сделался он весел на другой день? Если хотите, это маленькая девичья тайна, и я боюсь, чтобы девушки не почли меня болтливым, не перестали мне сказывать тайн своих... А знаете ли, как весело быть поверенным тайн милой девушки, говорить

откровенно с ее чистою, как весеннее небо, душою? Что делать! Я обещал сказать и исполню обещание.

В деревне Ванюше показалось душно; ему мерещилось, что все еще дым от пожара выедаёт глаза и невольно заставляет навертываться на глазах слезы; он побрел в поле, в лес, ходил, сам не знал где; вдруг глядь... перед ним Груня! Сердце сердцу весть подает. Груня ходила в ближнюю деревню к тетке и как будто знала, что, поворотя ближнюю, окольную дорогою, она встретит что-то радостное. Мудрый Сократ имел у себя услужливого демона, который шептал ему, куда идти; у девушек есть такой демон: это ретивое их сердце, вещун и отгадчик. Груня ахнула, испугалась; Ванюша также испугался... Чего бы, кажется? Но испуг бывает продолжителен только при людях, а тогда, кроме алого солнца, катившегося за дальнее поле, и светлой вечерней звезды, блиставшей на другом краю небосклона, не было других свидетелей: Ванюша и Груня были одни-одинехоньки, и через несколько минут рука Груни была в руке Ванюши, и один взор Груни высказал ему все, о чем он крушился, горевал и тосковал.

— Груня, душа моя!

— Ванюша, милый друг мой!

Они забыли вчерашний пожар, забыли, что теперь они не были уже ровнею в глазах людей, и крепко обняли они друг друга.

Не буду рассказывать, что они говорили. И что бы мог я рассказать вам? Таких разговоров не помнят и сами разговаривавшие: помнят только, что сердцам их было хорошо, как на небе, что время летело неприметно, а что говорено — бог знает! Одно слово «люблю» остается от всей беседы.

Ванюша узнал, что Груня *любит* его, сказал Груне о своем горе, и — «Неужели ты думаешь, что я забуду тебя, когда ты стал беден?» — сказала ему Груня.

— Нет, не думаю; но твой отец, Груня... Ох! этот Москвич...

— Провались он с своим золотом и с деньгами! Кроме тебя, ни за кем не быть Груне: ты или никто!

Тут Груня рассказала, как бесстыдно налгал на нее Москвич. Груня ни однажды не сказала ему даже ни одного ласкового слова. Он сватался, правда, за нее, и Филарет был согласен, но Груня отказалась и со слезами молила отца не губить ее.

— Тебя принудят, Груня! Кто против власти родительской?

— Да разве язык у меня отсохнет сказать «нет!», если бы и насильно притащили меня к налою? Ведь батюшка, наш священник всегда спрашивает... Ты разживешься — подождешь...

— А между тем?

— А между тем будто я не найду отговорок: год притворюсь больною, на другой — безумною...

— Груня, Груня! я буду причиною, что вместо веселья житье твое будет горькое.

— Но какое же веселье было мне до сих пор? Я теперь только и стала весела, когда узнала, что ты вправду меня любишь. Не бойся: я сказала уже батюшке, что дала обещанье идти в Киев с бабушкой на богомолье и к Троице... За тебя буду я молиться, Ванюша, за твое здоровье — и вот год пройдет, там еще год... Довольно ли тебе *два* года?

— Груня! — вскричал Ванюша, — в два года я разбогатею снова — право, разбогатею, и пусть тогда отец твой возьмет за тебя все мое доброе! — Он так крепко обнял Груню, что она испугалась, вырвалась и убежала.

И после этого еще бы не повеселеть Ванюше, еще бы матери его не удивляться его веселью! Ему в самом деле казалось, что *два года* — бог весть сколько времени, что в два года он успеет опять нажить столько, чтобы потягаться с Москвичом и перетягать его. Радостно встал он на заре, радостно работал и пел за работою. Груня прошла мимо, и целый день пролетел для него весело.

Веселись, бедное дитя природы, веселись: ты не знаешь еще, как тяжело, невозможно приобрести права на руку Груни, если для этого надобно *нажить деньги!* Все другое легко: будь добр и честен — наживешь *доброе имя*; будь работящ и прилежен — будешь *сыт и доволен*. Но *нажить деньги* трудно, и быть счастливым, если без этого нельзя быть счастливым, — не суждено тебе никогда! Золото не падает с неба в суму бедняка; люди не дарят его тому, кто на него может купить себе счастье. Отец твой узнал уже эту истину у отца Груни...

Но в свете не без добрых же людей. Недуманно, неожиданно, вдруг застучала по деревне повозка: ехал торгаш, *ходевищик, суздал*. Знаете ли, что это за люди?

Так называются торгаши, которые ездят из одного конца Руси в другой, по городам, ярмаркам, деревням, и везде добрые гости, везде умеют выгадать копейку, по-

торговаться. Ходевщиками называют их потому, что они везде ходят с своим товаром, и в барский дом, и в крестьянскую избушку; суздалами — потому, что большая часть их родом из северных губерний, где земли много, но хлеб худо родится, и жители принуждены промышлять рукодельем, а другие — торговать. Нет худа без добра: они наживают огромные деньги, которых не выпашет себе крестьянин в самой хлебородной губернии. Съезжаясь в Москву, суздала забирают себе товар, половину в долг, половину на деньги, укладывают в повозку и едут куда глаза глядят. Им все рука: продать, купить, променять; есть у них книги и пестредка, парча и холст, бархат и ситец. Приехал сузда в деревню — вот и ярмарка, а где ярмарка, там и ходевщик.

Такой-то торгаш приехал теперь в деревню и прямо к гостеприимному Федосею, когда тот, сложа руки, смотрел на новый домишко свой и не знал, что делать. Домишко выведен был только до верхнего венца окошек, и достроить его было нечем.

Как изумился старый знакомый, когда, вместо приюта, приволья, хлеба-соли и чаю, он увидел всегдашнюю свою квартиру в обгарках и радушного, всегда веселого хозяина в горе, в раздумье.

Начались расспросы, рассказы. Гость качал головою, кряхтел и, выслушав все, весело хлопнул Федосея по плечу, примолвя:

— И! не грусти! Где была вода, там и будет.

— Будет? — спросил печально Федосей.

— Будет! — повторил гость. — Пойдем к тебе на квартиру да отдохнем; утро вечера мудренее.

Хоть и в чужом углу, Федосей угостил приезжего чем бог послал. Привыкши ночевать и в хоромах боярских, и в цыганском таборе, ходевщик напоил лошадей своих, задал им на ночь овса, помолился, растянулся на лавке, положи кафтан под голову, и тотчас захрапел. Назавтра чем свет встал он, смазал свою повозку и отвел Федосея в сторону.

Молчаливо пошел с ним Федосей. Он и не думал просить у него помощи. Кроме того, что у купца никогда не бывает лежачих денег, изверившись в приятелях, Федосей не хотел лишний раз слышать отказа. Как же изумился Федосей, когда гость его сам предложил ему сто рублей готовых и сто рублей через три месяца с тем, если он отдаст ему сына Сергея в работники!

— Я говорил уж с ним, — сказал добрый Сузда, —

и Сергей твой согласен: малый он не разгульный, приучиться к нашему делу недолго, я становлюсь стар, а поле твое обработают двое других сыновей. Я дал себе зарок не давать в долг и в ссуду, но теперь не в долг даю и зарока не переступаю. Мне надо помощника.

Федосею казалось, что бог умилостивился над ним. Позвали Сергея, и тот пришел веселый, радостный. Объяснилось все дело: Сергея всегда тяготило деревенское бездействие, все ему казалось, что не на одном месте человеку должно жить, а бродить по белу свету; отец, верно, не отпустил бы его прежде, но теперь Сергей исполнял свое желание, давал неожиданную помощь отцу, видел перед собою открытым белый свет и радовался пуще Ванюши. Суздал вынял свою кожаную книжку, отсчитал новенькими бумажками сто рублей, вычел за промен, Сергей оделся, и повозка покатила в ближнее село, где в тот день была маленькая ярмарка. «В свете не без добрых людей!» — говорил Федосей, пересчитывая в третий раз свою сотню рублей. Ему казалась она богатством, когда прежде и сам он ссужал другим по полусотне.

Прошу после этого угодить на людей! Когда Федосей был богат, он не знал цены своим деньгам, Ванюша его печалился, Сергей хмурился; теперь, когда все они обедняли, Ванюша был весел, Сергей тоже, и Федосей узнал, что русская пословица не лжет: не в счете деньга, а в цене.

Итак, отстроили домик Федосеев. Еще до заморозов попросил он к себе священника, отслужил молебен и с благословением божием перешел в новое свое жилище. Осип поехал в Москву и привез всю выручку сполна. Теперь, имея опять дом и не нуждаясь ни в чьей помощи, Федосей явился на мирскую сходку по-прежнему, был уважаем другими, но не мог, однако ж, не заметить разницы прежнего и нынешнего житья своего. Никто не попрекал его ничем, но... уже голос его не был силен в мирском определении, иногда его просто не слушали; сидел он в двадцатом месте, и ни староста к нему, ни он к старосте не ходили в гости. Случись же, как нарочно: Москвич выстроил себе дом подле Федосея, и этот дом, заслоняя своею тенью домик Федосея, точно как будто туча застилал его душу. Федосей не сказывал ничего домашним, но смекал, что между Москвичом и старостою дело слажено. Зная, что Ванюша любит Груню, Федосей не мог не подумать: свадьба Москвича убьет бедного парня! Кроме того, где тонко,

тут и рвется: недостатки все одолевали Федосея. Все купи, все заведи сызнова: и чашку, и ложку, и плошку. Надолго ли достанет крох небольших, когда в запасе ничего нет? Год этот, как нарочно, случился неурожайный; от непрерывных дождей сопрело сено; грязи стояли до Рождества: ни выйти, ни выехать...

Но Ванюша все еще был весел, хся полгода прошло, а о больших деньгах не было еще слышно. Сколько раз сидел он и думал: как наживают деньги? Если бы надобно было за богатство два эти года работать на каторге — с какою охотою пошел бы туда Ванюша, чтобы через два года принести старосте кусок фунта в два золота и купить себе на него радости и счастья!

— Батюшка,— сказал он однажды Федосею,— скажи, сколько надобно рублей, чтобы люди называли богатым?

— Сколько? — отвечал отец, смеючись.— Столько, чтобы быть сыту, не просить займы и припрятывать копейку на черный день.

— Я слыхал, что на Руси с голоду еще никто не умирал здоровый,— отвечал Ванюша.— Да я не о том спрашиваю. Вот теперь Москвича называют богачом: как думаешь, что у него, много ли?

— А чужая душа потемки — бог весть! Говорят, рублей не одна сотня лежит у него, а может и тысяча найдется с хвостиком.

— Тысяча? Стало, если бы у тебя была тысяча, ты был бы богач?

— Что делать, дитяtko? Было и у меня, может статься, да богу было не угодно.

— Эх, родной! да мы опять наживем: ведь деньга — дело нажитое.

— Трудно ныне, Ванюша, нажить. К сотне другая сотня все-таки льнет, а на копейку другая копейка ворогом смотрит. У меня и от отца осталось благословенье, и после того двадцать лет жил я да копил: и тут все к тысяче доставало целой сотни. А если копейки не будет доставать, так все тысяча неполная.

Ванюша замолчал. *Двадцать лет! Тысяча рублей!* Эти слова повторял он про себя раз сотню, и они принудили его задуматься. *Двадцать лет!* Да это целый век! А из двух годов, которые врезались у него в сердце, прошло уже более полугодя. Чего не придумывал, чего не передумал Ванюша! Все, кроме покушения на добро ближнего. Грешный человек: иногда впадало ему на ум запалить огнем хоромы Москвича; пусть бы и его тысяча рублей сгорела,

чтобы ни ему, ни Ванюше не доставалась Груня... Но через минуту такая мысль ужасала доброе сердце Ванюши; он крестился и прогонял нечистое наущение, каялся в грехе. Иногда перебирал он в голове рассказы о кладах, об исканье их в Иванов день, о траве папоротнике, которая в самую полночь цветет огнистым цветом. Он готов был на все ужасы привидений, только бы достать эту невиданную траву. Но Иванов день давно прошел: надобно было ждать его.

Кто же из нас в жизни не ждал Иванова дня? Кто не подстерегал цветка папоротника, невиданного людьми? Целые поколения гонятся друг за другом, ищут цветка этого и не находят его в здешнем мире. Этот цветок — счастье. Для Ванюши все счастье казалось заключенным в *тысяче рублей*, для других оно немного поценнее, и осудим ли Ванюшу, что он не спал всю ночь в Иванов день, пугался, робел, но ходил по лесу, где каждый сук казался ему лешим, в каждом ивановом червячке сверкали глаза кошки? Нет: не было цвета папоротника; пропала надежда на клад!

Лето казалось Ванюше хуже осени; деревня стояла по-прежнему, а ему казалась она пуста и темна, как тюрьма преступника: в ней не было Груни. С весною бабушка ее отправилась пешком на богомолье, поклониться киевским чудотворцам, и Груня с нею. Ванюша не смел проститься с Грунею, только низко поклонился ей, когда бабушка ее, кашляя и горбясь, переступала потихоньку, а Груня лукаво, ласково кивнула ему головой. Вся семья старосты провожала богомолка. Ванюша не смел подойти к милой, не смел сказать ей: «прости», да и сил недостало бы у него сказать это слово! Когда вся семья была уже далеко, побрел и Ванюша, вышел в сторону, на дорогу, смотрел, пока Груня с бабушкой скрылись вдаль, смотрел, когда уже ничего не было видно и вечерние тени застилали широкий путь.

Началась жатва, сняли хлеб; урожай был благословенный. Вдруг однажды Ванюша приходит к отцу и начинает говорить ему, что наступает осень, а затем будет зима, что ему нечего делать дома осенью и зимою, что Осип один управится с работами. Федосей вытаращил глаза, смотрел на Ванюшу. «Что сделалось с малым?» — бормотал он.

Ванюша объяснил наконец, что он хочет в это время заработать несколько рублей лишних и, чтобы не лежать на печи даром, просит отца позволить ему ехать в Москву и зиму быть там извозчиком.

— Лошадь лишняя у нас есть,— говорил Ванюша.— Я пристану к дяде Парфентью, он даст мне сани, я увижу и узнаю Москву, стану возить там добрых людей. Что же? Десятков пять иногда зарабатывают, а если и меньше, родимый, то честная денежка стоит несправедливого рубля.

«В Москву, извозчиком!» — подумал Федосей. Предложение было неожиданно; он сначала не соглашался, но подумал, подумал и согласился.

С чего пришла эта мысль Ванюше? Право, не знаю. Ему тошно было смотреть на те места, где прежде видал он Груню. Бабушка ее занемогла в Киеве и принуждена была там зазимовать у старого родственника, которого все звали дядею, хотя никто уже не помнил, кто был ему настоящим племянником. Но дядя был богат, держал в Киеве лучший постоялый двор, а староста Филарет не любил отказываться от родства с богатыми. Потом думал Ванюша... не смешно ли? — что он перебьет рассказы у Москвича и лучше его будет рассказывать о Москве белокаменной. Москва сверх того казалась ему чем-то таким, где наживают деньги: все новое, неизвестное беленит юные горячие головы! Ванюша не мог думать о Москве без того, чтобы мысль о *тысяче* рублей не приходила ему в голову. Он спал и видел эти два слова вместе: что-то непонятное, необъяснимое волновало его душу...

Но рассуждайте как угодно, а Ванюша уже на дороге в Москву. Туда ехал попутчик; Ванюша привязал лошадку к телеге и залег в сено, набитое в телегу. Тут была ему свобода думать о прошедшем и будущем. Он не умел мечтать по-нашему, но и у него сколько было воздушных башен! Что-то будет, что-то увидит, что-то встретит он в Москве!

Рано поутру подъехали наши странствователи к Москве по старой Каширской дороге. Было осеннее холодное утро, небо голубое, чистое.

— Вот и матушка Москва! — сказал Ванюше спутник.

Ванюша во все глаза смотрел вперед. Верст семь оставалось еще до заставы, но перед ним открылся уже ряд московских церквей и бесконечное протяжение домов, башен, крыш зеленых, красных, белых. Влево возвышались розовые стены и золотые главы Донского монастыря; прямо белелась застава Серпуховская; вправо разбега-

лись глаза далеко. Звон московских колоколов доносился до слуха Ванюши, изумленного, обрадованного.

— Это что такое? — спрашивал он у спутника, указывая на что-то, горевшее как жар вдали на небе.

— Иван Великий.

— Иван Великий! — повторил Ванюша. — А Сухарева башня где?

— Ее не видно еще; да то ли ты увидишь.

Телега катилась беспрерывно; они въехали в Москву.

Я уверен, что в будущее время энциклопедия увеличится многими томами против нынешней. Кроме того, что известные ныне знания и науки будут раздвинуты, усовершенствованы, думаю, явится много наук и знаний *совсем новых*, о которых мы и не слыхивали. И как не подумать этого после Галлева *головоишишкословия* (так один профессор переводил мудреное название Галлевой науки) и после *животного магнетизма*? Нисколько не сомневаюсь, что со временем люди сделают науку из *физиогномики*, и мечты доброго Лафатера не будут мечтами. Из всех наклонностей человека ни одни не выказываются так явно у всякого, как *три* следующие: наклонность лечить, наклонность угадывать людей по лицу, наклонность слушать рассказы о чудесах. От первой уже переморили довольно народа, и хотя никто ныне не верит лекарям, но кто из нас не скажет другому какого-нибудь лекарства, только упомяни о болезни? Люди лечат теперь душу, тело, карманы, государства: все неудачно, все не так и все не отказываются лечить и быть лечимыми! От наклонности к чудесам не исцелились люди семьтысячлетним опытом, и с того времени, как Адам был обманут обещанием чудес, донине чудеса — вернейшая уда, на которую поймаете каждого Адамова внука и каждую Евину внучку. Я хотел поговорить только о *физиогномике* и, виноват, заговорил о другом. Вот в чем дело: если физиогномика будет когда-нибудь усовершенствована, то она принесет много добра. По глазам, рту, носу, бровям, щекам люди станут узнавать друг друга лучше всякого зеркала. Физиогномика прорубит окошечко в душу каждого человека и изъяснит, отчего, например, желтая, пухлая, кислая рожа, мышь глаза, оттянутые губы — признаки человека сварливого, злого, ненавистника всему доброму; отчего другое лицо... но я боюсь высчитывать здесь различные лица. Иное может оскорбить случайным сходством какую-нибудь рожу, ды-

шащую на белом свете. Пусть дышит она безопасно, пока еще не усовершенствована физиогномика; но будет время худое для многих, и, может быть, физиогномика распространит свои замечания весьма далеко: сообразив множество лиц и рож (эти два слова не синонимы в русском языке), она даст свои понятия о целых народах; из них извлечет физиогномию областей, городов, и, может быть, в географиях будут со временем писать физиогномии городов наряду с числом жителей, промышленностью, ученостью города.

Что, если бы теперь можно было сделать это, не откладывая вдаль, и вот, кстати, когда герой нашего рассказа явился в Москву, к *лицу без образа* нашей старушки приложить физиогномический циркуль и представить ее в верном портрете? Тогда легче бы мне было описывать и что встретил Ванюша в Москве, и какие впечатления врезывались в душу его по мере того, как он смотрел и рассматривал Москву.

Добрая Москва! я люблю тебя искренно, и, кажется, кости мои будут тлеть на одном из мирных кладбищ твоих. Твое имя дорого моему сердцу; твои башни, твои золотые маковки лелеяли мои юношеские надежды, когда еще в дремучих лесах Сибири я знал тебя только по имени, по рассказам бывалых людей; я живо помню, с каким восторгом приближался я к тебе, с какою грустью бродил после по твоим развалинам, с какою радостью видел обновляемые твои стены, храмы, башни и громадные здания! Не сердись же, милая, если, так давно, так искренно любя, я осмелюсь говорить о тебе правду. Твои недостатки — наши, а об себе почему не сказать?

Москва город большой и единственный, который только на Руси может существовать: широкий, длинный, неправильный; город, который строили семь веков, в котором от каждого века что-нибудь осталось, смешалось, изменилось, но не истребилось и все вместе похоже на жилище богатого русского помещика нашего времени. Войдите в жилище этого помещика: тут Европа и Азия, все языки, все страны, все века; на чердаках гнездятся гувернер-француз, дядька-немец, нянька-англичанка; в передней ливреи прошлого века и жокейские курточки нынешнего; в буфетах саксонский фарфор, русские старинные серебряные кубки и китайские куклы; в гостиной говорят по-французски, в зале поют по-итальянски, в кабинете горюют по-русски. Так и в Москве есть все, старое и новое, родное и чужое, европейское и азиатское, великое и смешное.

Громадных домов множество, и все они разбросаны; улицы огромные, и все кривые. Вот старое вековое здание, подле — палаты вельможи прошлого века, далее новый карточный домик с итальянским мезонином, от которого гниет кровля и в целом доме холодно; там сад, потом огромный казенный дом, далее пустырь и греческая табачная лавка, еще палаты; тут обгорелый при французах дом, хлебные лавки, французские моды, бульвар, церковь. Окрестности московские прелестны, но вы едва пройдете по дорогам от грязи и от того, что в одном месте мост сгнил, а пока делают новый, каменный великолепный мост, положены через ручей бревны, по которым и Киарини подумает, как перейти; там песок, тут ручей, через который нет перевоза. Зато полюбуйтесь Москвою издали, посмотрите на толпы народа, поглядите на пестроту, движение, прислушайтесь к стуку, колокольному звону, шуму, говору, взгляните на Кремль, на Красную площадь, и — вы согласитесь, что Москва — точная Русь: наш русский дух, наши недостатки и добродетели, русское худо и добро, огромность и слабость — все это, как будто живыми словами, вырезано на берегах Москвы и Яузы.

Такова Москва. Но что же Ванюша мог найти в Москве, увидеть, узнать? Не знаю, что найдет, но увидел и узнал он многое. Рано въезжая в Москву, он изумился, как тих, спокоен этот необозримый город: ни души по улицам, кроме дворников, булочников, будочников; ставни окон заперты, все спит; только не спала молитва благочестивых людей: церкви, мимо которых ехала телега наших странствователей, были отворены, сквозь двери их мелькали свечи перед иконами и слышалось священное пение. Долго из улицы в улицу поворачивал спутник Ванюши. Вот миновались огромные здания, начались домишки, хуже, хуже, и Ванюша доехал почти вплоть до другой заставы. Телега остановилась перед старым деревянным домом; спутник Ванюши встал, снял шляпу, помолился и начал отворять ворота: открылся длинный грязный двор, с обоих боков и с задней стороны обставленный высокими навесами на столбах. Множество лошадей стояло у колод, множество саней, дрожек, несколько карет было под навесами. Грустно посмотрел Ванюша вокруг и заглянул во двор. Ах! Москва издали так хорошо белела, светлела, горела первыми лучами солнца, так изумляла его своими домами, храмами... Надобно же ему было проехать всю

Москву и для чего? Чтобы на краю Москвы найти грязный, бедный приют! «Неужели это Москва?» — спрашивал Ванюша, смотря вокруг на бедные лавочки, народ засаленный и дурно одетый. Застава перед глазами казалась дурным предзнаменованием Ванюше, из-за нее как будто шептал ему голос: «Зачем ты пожаловал сюда, незванный гость? В одни двери ты въехал, вот другие: изволь выезжать! И без тебя тесно в Москве, и без тебя довольно искателей счастья гранят московскую мостовую ногами и колесами!»

Какое-то унылое чувство ощущает человек, вырванный из мирного уголка и брошенный в море большого города, особенно пестрой Москвы. Не зная еще ее, он составляет себе понятие по-своему, видит ее, перемешивает свое понятие с видимым; обширность давит его воображение; сближение крайностей — обыкновенная участь больших городов — изумляет его взоры, и первое чувство после того — унылость, отчуждение от нового местопребывания, воспоминание о старом, знакомом уголке, где каждая травка как будто родная, каждый человек знаком с детства, и солнце светит веселее, и хлеб слаще! Тут жестоко страдает и самолюбие человеческое, когда пришелец видит себя для всех чуждым. Нет ему ни слова, ни приветов: он один, один и *чувствует* это одиночество: *не для него* все живет и движется вокруг, всякий занят своим, спешит, идет мимо пришельца, его никто не знает, когда прежде утром встречало его ласковое слово родного и на каждом шагу привет знакомого.

Такие чувства испытывает всякий, кроме знатных и богатей, которые из палат своих переезжают в палаты московские, для которых везде и все равно: в Москве, в Париже, в России, в Америке. После, со временем, если сущность не бедна, призраки прошедшего стираются в памяти. Шум, блеск выгоняют из души мысль о родине, о былом; пришелец едва помнит их, как милые младенческие годы. Но хорошо, у кого не бедна настоящая сущность, хорошо, если человек умеет хотя расцвечивать ее яркими красками!

Бедный Ванюша не был любимцем воображения: оно играло у него немногими грубыми цветами, а что окружало его, то не могло утешить, приласкать надеждою, согреть дыханием радости. Уже готов он был раскаиваться, что поехал в Москву, уже спутник его, который через два дня должен был снова увидеть зеленые луга родины, казался Ванюше счастливецом, а сам себе Ванюша показался вы-

брошенным зимнею вьюгою на придорожный сугроб, когда в поле вьется снег и ветер воет в далеком бору. «Где найти мне здесь счастье свое! — сказал он сам себе. — Но разве ты *здесь* ищешь своего счастья? — прибавил он. — Тебе надобно денег, денег, денег, и их ты достанешь. Так! Вещий сон мой сбудется. Пойдем к дяде Парфену».

Вещий сон видел Ванюша, заснувши в телеге перед самую Москву. Ему показалось, что он идет в каком-то городе, у которого посредине одной улицы поместилось бы полдеревни их. И вот перед ним бесконечная площадь, дома, лавки, церкви, какая-то красная башня и множество народа. Среди этого народа бродил Ванюша; вдруг старичок, седой, добрый, подходит к нему и говорит: «Знаю, чего ты ищешь; молись святому Спасу». Три земные поклона положил Ванюша перед красною башнею, на которой была икона Спаса, и старичок повел его по широкой улице... Тут сон Ванюши смешался: ему виделись золото, серебро, луга, поля родины и Груня. Он помнил только, что Груня обняла его, и с ее поцелуем разлетелся сон.

По грязному двору, которого и осенний холод не мог заморозить, Ванюша вошел в обширную хоромину. Тут бесконечные палаты, печь, грязь, куча народа, множество конской сбруи бросились ему в глаза. За длинным столом сидело и стояло множество народа и хлебало щи из чашки величиною в пол-ушата; другие одевались, иной молился, другой пел, третий перед завтраком прогонял остатки сна стаканом пенника: точная ярмарка! Это все были будущие товарищи Ванюши, извозчики рессорные, *калиберные*, каретные, ломовые. В светелке, рядом с этою ярмаркою, Ванюша нашел дядю Парфентья. Старик, бородатый, плешивый, красный, в красной рубахе и старом плисовом камзоле, с разломанными счетами в руке и с мелом в другой, — таков явился дядюшка Ванюши. Он считал тогда на стене меловые значки, рассчитываясь с извозчиком и доказывая ему, что три мерки овса следует прибавить к замеченным на нарезке.

— Дядя Парфен, здорово, — робко проговорил Ванюша.

— Кто там? Что ты? — сказал Парфентий, хмурясь. — Какой дядя?

— Я брат Осипа Федосеева.

— Будто ты? Видишь, худое-то дерево как тянется! Будто ты Ванюшка Федосеев?

Начался беглый разговор, беспрестанно прерываемый приходом и уходом извозчиков, вопросами жены, криком детей, которых Парфентий отечески унимал за вихор. Ванюша объяснил Парфентью все дело.

— Ох вы, голь! — воскликнул Парфентий. — Ведь не сет же нелегкая в Москву! И без того вашей братьи здесь битком набито. В нынешнее ли время зашибить копейку, когда уж тут на обухе рожь молотить, а часто приходится локти грызть!

— Дядюшка, я тебе в наклад не буду; за хлеб, за соль возьми, а на корм я, уж верно, добуду...

— Добудешь ноги, на чем бежать. Дядюшка, пиши должок на стенку, а примись-ка после за тебя, так бабьего вою не оберешься.

Плохое было приветствие на первый раз, и диво ли, что Ванюша после такого разговора с дядею Парфентьем вышел за ворота печален, со слезами на глазах.

— Добрый молодец! Спасу Христову на свечку; бог благословит тебя, — проговорил ему кто-то.

Ванюша вздрогнул и оглянулся. Перед ним стоял седой старик с кружкой, в которую собирал он на свечку к церкви Спаса.

Как этот нечаянный случай обрадовал Ванюшу! С какою радостью вынял он целую гривну и положил старику, с каким восторгом слушал благословение старика!

И дядя Парфентий не всегда бывал сердит, не всегда каркал, будто зловещий ворон. Вечером, на досуге, он разговорился с Ванюшею о родине, о Федосее, о делах Ванюши, считал, пересчитывал, выпрашивал у Ванюши и заключил приветствием:

— Ну, ты малый, кажись, добрый! Смотри: не пей, не дерись, будь услужлив да уважай дядю. Ремесло, за которое ты принимаешься, таково, что без гибкой спины, о которую палка хожалого не ломается, ничего не добудешь. Нынче ведь и не наш брат берет только поклонам, а нам неужели умнее бояр быть!

И вот Ванюшу повели в Частный дом, потом еще и еще куда-то; подьячие писали, брали с него на водку, на калачи, и когда выпал первый снег, Ванюша на своей лошадке, в плохих пошевнях, с медным значком на спине, на котором выбито было название части города, стал на ближнюю биржу и сделался членом республики московских *волочков* и *ванюшек*.

В самом деле, если нельзя назвать республикою, то можно уподобить целому гражданскому обществу мир

московских извозчиков. Странное животное человек: он все разнообразит, ладит по-своему, так что куда ни брось его, везде от него раздвигается круг, как будто от камня, кинутого в воду. Эти круги сталкиваются, сбивают друг друга и составляют что-то свое, особенное, в чем, как бы ни мало оно было, отражаются человек, и страсти его, и добро, и худо природы человеческой. Так и в мире московских извозчиков есть свои условия быта, из коих только гении-извозчики вылетают и в коих богатство выигрывает, ум служит подставкою, а бедность и глупость, как везде, бывают родные сестры.

Ванюша скоро увидел, что ему не угоняться за другими, если он не пустит гончею собакою свою совесть и если не будет равняться с товарищами, а это равенство было ему куда не по сердцу. Биржа, где стоял Ванюша, составляла только часть мира того постоянного двора, в котором, под покровительством Парфентья, кочевали пришлецы отовсюду и всякие. Они разъезжались каждое утро на несколько биржей и соединялись в одно общество поздно вечером. На каждой бирже были записные, вековые жильцы-извозчики, знавшие всю подноготную в Москве и управлявшие общими мнениями; власть их была деспотическая, ибо основывалась на кулаках и дружбе с будочниками. Эти жильцы улиц были народ отборный, закаленный в боях и ресторациях; у них были свои льстецы, рабы, прислужники. Волнения на бирже, при появлении пешеходца, все делались под их рукою. Тут был неизъяснимый дележ, угощение, череда. Главные коноводы всего более выработывали ночью, возя удалой народ на лихих дрожках бог знает куда и где кидали горстью двугривенные, как сор, не уважали синих и красных бумажек и гордились только белыми. Их подручные отличались бесстыдною ловкостью, когда надобно было подавать сани, наглостью, когда должно было отбить товарища, низостью, когда прихоть седока угрожала их спине. Такой народ всех скорее зарабатывал копейку, но невпрок, а кто не хотел быть угодником высшего звания граждан биржи, не гулял, не делился в шалостях с низшим званием, тот смело мог ручаться, что всегда воротится домой с мелочью, которую утром взял на сдачу. Ванюша не умел и не мог поладить с своими согражданами, и вскоре общий голос проклинал его *негодяем, нетоварищем, лукавцем*. Он с изумлением видел, как старики, подобно ему приехавшие извозничать, сгибались перед шалунами и коноводами и как самый дядя Парфентий был всегда на стороне сильного, кривил весы правосу-

дия; наглая ложь, бесстыдство, и обман выигрывали. Он переехал на другую биржу: везде одно и то же! Оставалось удаляться от биржей, стоять на уголках, ездить из улицы в улицу. Но распри, междоусобия, ссоры, *бури в стакане воды* и тут не давали Ванюше покоя. Его встречали на почлеге насмешкою, провожали свистом. Никто, правда, не смел прикоснуться к Ванюше, который, кроме сильных рук, был еще любимцем тетки, жены дяди Парфентья. Новая беда: дядя Парфентий был ревнив, как турок, и красивое лицо Ванюши, ласковая, тихая речь, услужливость его не нравились Парфентью.

— Да ведь ты сам велел мне угождать другим? — говорил ему Ванюша.

— Мне, а не бабам, угождать товарищам да власти, а ты с товарищами не ладишь и власти в ус не дуешь. Вчера хожалый Фома шел еле жив сыр, ты ехал мимо и не хотел довести его до будки, а как тетка кличет пособлять, так Ванюша сломя голову бежит. Смотри, приятель!

Но, может быть, ловкость, честность, ум Ванюши награждали его за все неудовольствия барышами? Ванюша и сам надеялся на это. Он скоро узнал Москву, ее крюки, извилины, бесчисленные церкви и бесконечные переулки. Он тотчас заметил, что если стать в Китае, протянуть и сложить обе руки, то десять пальцев на руках, считая от Варварских до Боровицких ворот, будут указателями главных улиц: Варварки с Солянкой, Ильинки с Покровкой, Мясницкой, Лубянки с Сретенкой, Петровки, Дмитровки, Никитской с Кудриным, Воздвиженки с Поварскою, Знаменки с Арбатом и Ленивки с Пречистенкой и Остоженкой; что поперек перерезывают все сии улицы валы Белого и Земляного городов, означенные бульварами, которые, начавшись от одного места на берегу Москвы-реки, примыкают к другому и описывают два полукруга. Накинув такую геометрическую сетку, Ванюше легко было рассчитать все места, и вы видите, что смысла у него доставало на все. Через два месяца его не затрудняли ни *Путинки*, ни *Крапивки*, ни *Чигасы*, ни *Болвановка*, ни *Яндовы*, ни *Драчи*, ни *Листы*: везде, как по писаному, ездил Ванюша. Но его тощая лошадка, бедная одежда, плохие пошевенки не казались признаками ловкости; у него не хватало бесстыдства хвалиться, перебивать у других, перекрикивать другого, когда на голос: «извозчик!», будто ястребы, кидались отсюду его товарищи. Ах! как много выигрывают на белом свете медный лоб и ловкий язык, в передней вельможи и... на бирже московских волочков! С грустью

видал Ванюша, что люди садились на сани хуже его только за то, что извозчик умел уверить, будто он лучше; торжественно катили с ездоками товарищи, а Ванюша повеся нос оставался на месте и постегивал хлыстиком по снегу. Но если и удавалось Ванюше поймать добычу, он изумлялся, что за народ такой горожане: прихотливый, сварливый и скупой не скупой, а бог знает как назвать. Богач в глазах его бросал деньги за вздор, а когда доходило до наемки санок, торговался за копейку, как будто за сокровище, и боже сохрани если недоставало сдачи хоть двух грошей! Ванюша привез однажды из Охотного ряда какого-то толстяка, который купил там пять фунтов петушьих гребешков и — за *гривну* оставил в закладе рукавицу Ванюши, не боясь, что бедняжка отморозит руку, пока вырабатывает сдачу!

Считая и пересчитывая, Ванюша думал, что к весне все останется, однако ж, у него что-нибудь. Уже прощался он с Москвою, хотел навсегда расстаться с ее великолепием, богатством, щедростью и — нечего делать — отказаться от мечты своей! Золотые сны его разлетелись, и горе давило сердце. Но как изумился он, когда, увидев невозможность ездить по Москве на санях, пришел к дяде Парфентью и стал просить расчета и когда тот, принявшись за свои счета и мел, объявил его в *долгу!* Бедный Ванюша! Он не смел съесть крупчатого калача, ни разу не лакомился грушами и клюквенным квасом, а вычет на вычет, с пословицею «деньга счет любит», Парфентий объявил, что не выпустит его из Москвы, и, взяв всю заработку, требовал остальных денег Ванюша обещал прислать, просил уступить; тетка вздумала защищать его; неумолимый дядя Парфентий вспыхнул, затопал ногами, выкинул сотню браней. Что оставалось делать Ванюше? Он остался *заработывать долг.*

Уже снег по московским улицам превращался в грязь, уже зимняя настилка их была вырублена и таяла в огромных кучах, когда Ванюша перепряг лошадь свою из саней в волочок и печально выехал из ворот Парфентьева дома. Не с кем ему было даже и погрустить. Теперь: когда кончится его работа, что подумает отец, что скажет Груня, и где она? Светлое небо московское казалось Ванюше туманно, и он прежде всего отправился туда, откуда каждый день начинал свое странствование: к *Спасским воротам.*

Я уже говорил вам о вещем сне Ванюши, но не досказал самого удивительного. Когда в первый раз пришел Ванюша к Лобному месту, он невольно изумился и остановился с благоговением. Вспомнил ли он великие события, пролетевшие по этому святому месту: казни Грозного, торжество Самозванца, парады Наполеона, воздвижение памятника Минину и Пожарскому рукою победоносного царя от имени благодарного Отечества? Нет! Ванюша не знал истории. Изумили ль его благоговение, с каким каждый проходящий снимает шляпу и шапку и преклоняется пред святыми Спасскими воротами, или диковинная церковь Василия Блаженного, вид царского терема, обширных рядов, изваяние спасителей Отечества? Изумили; но он даже испугался, когда, взглянув на Спасские ворота, узнал ту *красную башню*, которая виделась ему во сне, площадь, многолюдство и все предметы! Только не было благодетельного старика. И в душе пришлеца возросла тайная молитва благодарной надежды, укрепилась мысль, что в Москве точно найдет он свое счастье. После сего каждый день начинал он тремя земными поклонами у Спасских ворот. И теперь туда приехал он, помолился и поехал возить добрых людей.

День за днем летел; настало лето. По московским улицам поднималась летняя примета — пыль; бульварные клочки дерну и деревцы на подпорках покрывались бедною зеленью. Москвичи выезжали дышать чистым воздухом в болотах Кускова, Кассина, Останькова, наслаждаться деревенскою жизнью подле трактира в Марьиной роще, в огородах Сокольников и наслаждаться природою в скучном Нескучном. Душною тюрьмою казалась тогда Ванюше Москва, где от каменных домов и мостовых было жарко, как в натопленной печи, особливо ему, всегда жившему на воле в полях и рощах, будто птичка поднебесная. В Москву и добрая птичка, казалось, не смела залетать: только слышал он чириканье воробьев, видел стада грачей, ворон и коршунов.

Вот однажды приехал Ванюша ранним утром к Лобному месту. Там не было еще ни одной души. И сам Ванюша дивился, что так рано подняло его с мягкого сена. Тихо повернул он свою лошадку и поехал по Ильинке, беспечно глядя на забранные ряды, из которых еще ни один сторож не выглядывал. Вдруг лошадь его на что-то наступила, что-то заборонило под колесами. Ванюша смотрит и видит на

мостовой среди улицы кожаный мешок, небольшой, чем-то туго набитый. «Находка!» — сказал Ванюша, соскочил с волочка, схватил мешок... Тяжесть необыкновенная!.. Что это такое? Он оглядывается во все стороны: нигде нет следа человеческого. Я не знаю, что думал тогда Ванюша. Он поспешно положил находку перед собою, сам не зная для чего повернул лошадь назад, погнал скорее, скорее, хотел остановиться, посмотреть, дрожал, радовался, боялся встречи и между тем погонял лошадь далее, далее...

Вот он за Тверскою заставою. Тогда еще не было там высокого, гладкого Петербургского шоссе; дорога шла песками, между сосновым лесом — с левой и полем и огородами к Бутыркам с правой стороны, где теперь разводят сад, до самого Петровского дворца. Ванюша свернул в левую сторону, в лес, оглянулся: никого и ничего не видно, кроме деревьев. Тут он снял свою находку и думал, держа ее в руках: «Что тут? Ну! если все это медные деньги? Бог мне послал такое добро; я расплачусь с дядею Парфеном и мигом в деревню! О, если бы дал бог!..» И он поспешно развязывает мешок, смотрит... не верит глазам, ставит мешок к дереву, протирает глаза, крестится... берется за мешок снова... Так! Он не ошибся: мешок полнехонек золота!..

— *Мешок с золотом!* — вскричал Ванюша и сам испугался своего голоса, раздавшегося в лесу. Он схватил мешок, бросился далее в чащу леса и тогда только остановился, когда дорожка совсем пропала и идти было некуда.

Ванюша, добрый Ванюша! Неужели и тебя, едва прикоснулся ты к проклятому золоту, демон корыстолюбия уже схватил своими когтями? Куда ты бежишь? Если это *не твое*, где скроется хищник чужого? Если *твое*, зачем прячешься в темноту леса: иди на белый свет, перед добрых людей! Только вор и разбойник меняют житье между православными на гнездо совы, когда руки их тяжелеют золотом, вспрыснутым кровию братьев...

Но Ванюша сам не мог бы тогда сказать, что с ним делалось. Не корыстолюбие овладело им: в его душу, юную, не привыкшую к страстям, не могла вдруг поселиться страсть губельная, задушающая всех своих сестер: она или вползает в душу устарелую, изношенную уже другими страстями, или бывает следствием привычки с младенческих ногтей, привычки глядеть на золото, видеть его в грудах и сундуках, когда голос опытного корыстолюбца нашептывает юному наследнику о неизъяснимом наслаждении сидеть подле сундуков и думать, смотря на золото:

«Оно мое!» Нет! Ванюша, который, как благополучия, ждал мешка медных денег, увидев мешок золота, сделался на несколько времени безмолвен, бесчувствен, думал, что видит все это во сне, ошупывал себя, землю, деревья, глядел на небо и прикасался к дорогому мешку тихо, осторожно, как будто боясь, что он обожжет его, как будто страхась, что он разлетится дымом в руках. Щеки его горели, глаза сверкали, и между тем ему казались темно, неясно все предметы; жар палил язык его; Ванюша с жадностью срывал травку, еще не обсохшую от утренней росы, и сосал с нее росу.

— Что ж это такое? — спросил он наконец сам себя, сел на землю, вынул из мешка одну монету, другую, третью; все полуимпериялы, империялы. Ванюша едва мог уверить себя, что каждый из них стоит по двадцать и по сорок рублей. Он думал: сколько их пойдет в сотню, в тысячу рублей, считал пятками полуимпериялов и насчитал десять пятаков.

— Тысяча! — воскликнул он с радостным воплем и тотчас новая мысль блеснула в его голове. Тысяча рублей, отсчитанная Ванюшею, как будто и не уменьшила нисколько мешка: он казался непочатым.

— Да сколько же в тебе всего? — закричал Ванюша, как будто бездушный мешок мог понимать слова его.

— Сосчитаю! — вскричал громко Ванюша. Он поспешно сбросил с себя кафтан, разостлал его на траве, схватил мешок и разом высыпал на кафтан все золото: желтые блестящие кружочки грянули звонко, покатались, упали в груды, и лучи солнца ярко отразились на золоте.

Благословлять или проклинать память твою, первый сыскавший золото, ты, который нашел крупинки его в земле или в песке и, прельщенный сиянием кусочков, принес их к своим братьям, показал им свою находку? Думал ли ты, когда в первый раз взор человечества в твоем взоре был устремлен на этот блестящий металл, думал ли ты, что в руке твоей семена гибели, ужасов, бедствий? Для чего не скрыл ты в глубине морей своей находки, для чего не бросил ее, как страшный перстень Соломона, в морские хляби, не вслушался в смех Искусителя, коим приветствовал он начало новых бедствий бедного человека! Кто видал груды золота, небрежно брошенную, кто знает, как обольстительно играют лучи солнца на такой бездушной груды, тот поймет детскую радость неопытного сердца, с какою смот-

рит юноша на золото, звезду земную, и скорбь, с какою глядит старик на темнеющие перед ним лучи ее, когда ночь смерти застигает ему глаза!

Долго считал Ванюша, и в это время он ни о чем не мог думать. Так после блеска молнии, пока раскат грома грохочет по небесам и сыплется в отголосках по земле, человек не изумлен, не испуган, но ничего не мыслит. Механически двигались руки Ванюши по золоту, но уже насчитал он тысячу, две, три, пять, десять, и вполовину, втретью уменьшилась куча! Еще насчитано десять: куча все еще огромна! Тут недостало ни сил, ни счета, ни места у Ванюши: он все раскладывал стопками, застановил ими весь свой кафтан, вдруг смешал их, сдвинул все снова в одну огромную кучу и сам не понимал, сколько тут тысяч — *тысяч*, когда за два, за три часа у него были в кошельке копейки, и тех как верно знал он счет!

— Ге! ге! гей! гей! — раздалось вдалеке, и Ванюша задрожал, не имел сил сойти даже с места, только закрыл поспешно лапами кафтана золото и робко прислушивался. По самой опушке леса проходил гурт волов в Петербург. Ванюша только теперь увидел всю свою неосторожность. Ясно различал он мычанье волов, лай собак, забегавших близко к нему в чащу леса, хлопанье длинного бича и чуть слышный говор малороссиян, проводников гурта. Что, если увидят его? Где его лошадь с волочком? Что подумают? Он поглядел на небо и увидел, что уже был полдень. Время пролетело невидимо. Ванюша сам не знал, куда девалось целое его утро.

Но гурт прошел мимо; все умолкло вдали; всюду тихо, только иволга уныло насвистывает свою песню, ветерок колышет листочками дерев, и изредка раздается голос кукушки. Ванюша тихо раскрыл кафтан свой, собрал в мешок все золото по-прежнему и понес его к своей лошади. Жарко дыша, смиренно стояла забытая лошадь и как будто дивилась, что заботливый хозяин оставил ее, не надевши ей на голову торбы с овсом.

— Ну, сивко! — сказал Ванюша, трепля свою лошадь, — теперь и моя, и твоя работа кончилась! Он положил мешок свой подле себя, сел, выехал из лесу и почти доехал до большой дороги.

Но тут Ванюша опять остановился. «Сумасшедший! Что ты делаешь? Куда ты едешь? — сказал он сам себе. — Назад, назад, спрячь мешок и поезжай порожняком». Он повернул лошадь, убежал в лес, выбрал местечко, заметил его, палкою вырыл ямку, положил в нее мешок, забро-

сал землею, хворостом, пошел, останавливался, ворочался, был как в лихорадке и наконец поехал опять.

Итак, Ванюша сделался обладателем такого богатства, которого и сосчитать даже не умел? Спросим у него, счастлив ли он? Бог весть! Если счастье оказывается тихою радостью, спокойствием души, веселостью, надеждами на будущее, то золото не сделало Ванюши счастливым. Состояния его нельзя было назвать радостным, и едва ли спокойна душа, когда то холодный, то горячий пот выступает на лице, сердце колотится, как будто хочет выскочить, во рту сухо, горько. Ни одна мысль о счастье не светила в душе Ванюши. К стыду моего доброго героя скажу, что он ни разу не подумал о Груне, об отце, о селе своем. Все кипело, крутилось у него в голове, и ничто не представлялось ему в ясных, понятных образах.

«Я нашел клад; бог меня благословил им,— думал Ванюша.— Но кто-нибудь потерял эти деньги? Что, если они не пойдут мне в благословение, если потерявший, может быть, вкладывает теперь голову свою в петлю, и душа его падает на мою душу? Но кто ж это знает? Береги он лучше: что с воза упало, то пропало; у него, верно, еще осталось больше, а то он стал бы крепче смотреть за своими деньгами. Но не украл ли я эти деньги? Нет! Я взял их среди бела дня, с виду. Кто же видел это, кроме Спасовой иконы, пред которою я молился каждый день? Но трудовые ли они твои? Чем ты заработал их? Куда с ними деваешься, как скроешь их от людей? — Зачем скрывать?.. Нет! нет! лучше скрыть: возьму два полуимперияла, расплачусь с дядей Парфеном, захвачу свой мешок и уеду в деревню. Там — закопаю деньги и прокляну так, чтобы не даровыми достались они вору и разбойнику; скую железный ящик, складу погреб, буду караулить их день и ночь! Но дядя Парфен спросит, откуда я взял два полуимперияла? Скажу: нашел. Кто спрашивает, откуда деньги берутся у человека! Лишь только были бы они. Но если он подумает, что я украл? А вот посмотрим...

Что за чудо: видно, дорога до Москвы растянулась или я не туда поехал сдуру», — промолвил Ванюша, замечая, что он едет весьма давно. Он огляделся: невдалеке от него лес, где закопал он деньги, впереди застава Тверская. Ванюша и не замечал до сих пор, что лошадь его распряглась, стояла на одном месте и щипала траву, а сам он сидел неподвижно на волочке своем и держал вожжи, не чувствуя, что и не двигается с места.

«С нами крестная сила! — говорил Ванюша, запрягая

снова лошадь. — Право, мне кажется, что я одурел. Уже не напущенное ли это? Не проклятые ли это деньги? С тех пор как я нашел их, право, не вспомнюсь. Брошу их, забуду: пусть гниют они до скончания века! Нет, лучше возьму и поеду прямо в деревню; но, нет, нет, нельзя... Что скажут обо мне? Меня поймают...

Да разве я украл их? — продолжал он, приближаясь к заставе. — Нет!» А тайный голос едва внятно говорил ему другое... Казалось, что знак проклятия чернел на лбу его. Всяк, кто встречался ему, был весел, пел, говорил; Ванюша молчал, краснел, бледнел, и мысль «они не мои!» в первый раз так сильно заговорила в душе Ванюши, что никакие другие мысли не могли пересилить. «Они не мои!» — повторял он, и ему представилось, как горько будет ему снова упасть в прежнее свое бедное состояние, ему, обладателю богатства *бессчетного!*

— Да не видишь, что ли, ты, ванька проклятый! — закричал громкий голос, и Ванюша увидел, что он едет по Тверской-Ямской и наехал прямо на булочника, расставившего холстинный навес над своими булками и калачами. Ванюша хотел взглянуть еще раз на лес, где спрятал он деньги: лес этот не был уже виден, и — без памяти поворотил он лошадь, погнав за заставу, к лесу, бросился в лес, к знакомому месту: все цело. Снова пустился Ванюша к Тверской заставе и въехал в город.

Уже вечерело. «Нет! — сказал Ванюша, — не оставаться им тут. Мне не уснуть, если не подложу их под голову».

— Кой черт этот ванька разъездился! — сказал часовой, прохаживаясь перед гауптвахтою подле заставы.

— Я ничего не украл! — вскричал громко Ванюша, которому казалось, что в голосе часового он слышит голос судии.

— Этому и воровать! — отвечал часовой, смеючись и продолжая свою мерную прогулку.

Но Ванюша не смел уже возвратиться в Тверскую заставу. Он вытащил свой мешок, завернул тщательно в холстину и далеко объездом въехал в заставу Пресненскую. Была ночь, когда он приехал к дяде Парфентью. Бесперывно въезжали во двор его товарищи. Голодный, утомленный, изнуренный, обладатель мешка с золотом видел во всем подозрение, умысел, прислушивался к каждому слову, и когда один из извозчиков спросил у него веревочки и хотел прикоснуться к его холстине, Ванюша едва не бросился на него, как неистовый, едва не ухватил его за горло, как бешеная собака.

Сколько думал, сколько мучился он, пока успел укрыться от всех глаз, схватить свое золото и спрятать в старом сарае, между обломками телег, дрожек, саней. Там, на длинных шестах, уже давно покоились курицы, и появление человека испугало их всех; крылатые крикуны закричали, закудахтали... О! Ванюша готов был провалиться с ними и с золотом сквозь землю!

Несчастный! Тебя мучило оно, как мучит человека первое преступление; но еще ты не знаешь всей бездны, куда ты упал! Погоди: она раскроется перед тобою, если ты гонишь от себя тайный, благодетельный голос совести, пока еще чистой, но уже тускнеющей под ядовитым дыханием низкой слабости! Еще шаг — и ты погиб: возврата не будет.

Дикий и мрачный вошел Ванюша в избу, где собирались все извозчики. Он боялся встретиться со взорами своих товарищей, боялся говорить, как будто страшись, что на его лице, в его голосе они прочтут, узнают роковую его тайну.

Дядя Парфентий, каждый вечер отбиривший у него деньги, не встретился с ним. Ванюша залез в самый дальний угол палатей; ему не хотелось ни есть, ни спать; только огромный ковш воды проглотил он; забыл и лошадь свою: кто-то, добрый человек, отпряг ее и поставил к колоде с сеном.

Никто не заметил положения Ванюши; но как ни был смущен, расстроен Ванюша, он заметил, что всех занимало нечто необыкновенное: все собирались в кружки, говорили вполголоса, чего-то ждали. Наконец явился дядя Парфентий, и все умолкло.

Дядя Парфентий был в своей китайчатой троеклинке и в шляпе; он только что возвратился домой и, не скидая платья, сел он на лавку, громко провозгласив:

— Ну, штука!

— Что? — вскричало множество голосов.

Ванюша не обращал внимания, но холод прошел у него по телу, когда дядя Парфентий начал рассказывать, что он был на съезжей, что ему там объявили о важной потере и велели спросить у всех извозчиков, не нашел ли кто потерянного или украденного, не видал ли, не слышал ли кто? Утром пропал у купца из Меняльного ряда кожаный мешок, в котором находилось сорок тысяч рублей золотом.

Общий крик удивления был ответом. Извозчики все уже слышали об этом, но решительное, верное подтверждение успело изумить их всех.

— Ну! идет потеха! — продолжал дядя Парфентий. — Во всей Москве только и разговоров; везде, в постоянных домах, трактирах, на улицах, смотрят, подслушивают, спрашивают. Его превосходительство изволил сказать, чтобы потеря была непременно сыскана.

Тут пустился он в объяснения, сожаления, качанья бородой и головой, спросы. Никто не знал, не видал, не слышал.

А где был тот, кто *один* в целой Москве знал? Он лежал неподвижно, молча; только тогда, как дядя Парфентий, кончив разговор, пошел в каморку и начал раздеваться, а слушатели, забывая ужин, толковали, говорили, судили, судорожным усилием сполз Ванюша с палатей, кое-как доплелся до каморки и спросил Парфентья:

— Неужели, дядя Парфен, нигде никакого следа не найдено?

Если бы дядя Парфентий не был совершенно занят новостью, то заметил бы ужасную перемену лица Ванюши, бледного, как полотно, заметил бы впадшие его глаза, растрескавшиеся губы и самую странность вопроса о том, о чем сейчас только Парфентий подробно рассказывал. Но Парфентий рад был случаю повторить и повторил все снова, тем более что к ним подошли еще слушатели.

— Ну, а что же, дядя Парфен, будет тому, кто найдет, да утаит?

— Что? Обыкновенно: кнут и Сибирь! — отвечал Парфентий.

А! какой ужасный свет озарил теперь перед Ванюшею бездну, зиявшую под ногами его! Он бросился вон, оглушенный, обезумевший, не чувствовал, как ударился о при толку. Под сараем блестел фонарь на столбе; все было тихо, спокойно, и эта тишина, это спокойствие казались гробовым покоем несчастному Ванюше. «Я уже вор, разбойник: я завладел чужим; уже цареву правосудие грозит мне казнию, уже из всей Москвы, где нет счета людям, на мне наклеямен знак погибели...» Он ходил под сараями, не заметил, как товарищи его отужинали, легли; все замолкло, фонарь погас. Теперь не корысть, не сребролюбие терзали Ванюшу — нет — мысль «я преступник!» тлела в груди его, как труп, на распутии брошенный. Где тогда были вы, помышления о счастии, надежды радости, которыми утешал себя некогда Ванюша, и ты, раскаяние,

примиритель отверженного с богом и добродетелью! Он не смел идти к людям, не смел сказать слова, не смел подумать о будущем.

«Ну! будь, что будет! — вскричал он наконец голосом отчаяния.— Господи! Я не вынесу этого: лучше смерть и мука здесь и в аду!»

Он вошел в избу. В каморке Парфентья еще светился огонь; Парфентий лежа высчитывал продажу, творил молитву. Все другие громко храпели.

— Дядя Парфен, дядя Парфен! — сказал Ванюша, севши в бессилии подле столика в каморке.

— Ну! что ты? — отвечал Парфентий без внимания, как человек, у которого перерывали важное занятие.

— Я ...нашел пропажу...— едва мог промолвить Ванюша.

— Как? — воскликнул Парфентий и столь быстро вскочил с лавки своей, что испуганный кот, дремавший подле него, опрометью вспрыгнул на печь.

— Делай, что хочешь... Суди меня бог и царь: пропажа у тебя на сарае.

— Тише, тише! — прошептал Парфентий, как будто присутствие сорока тысяч рублей золотом в его доме внушало ему благоговейное молчание.

Тихо пересказал ему Ванюша, как поднял он мешок. Но далее Парфентий не мог вытерпеть.

— Пойдем! — сказал он, зажег фонарь и, не обуваясь, пошел к сараю.— Тише! — твердил он беспрестанно дорожку.

— Полезай и принеси,— промолвил Парфентий, подошед к сараю.

— Нет, дядя Парфен, я не пойду: мне страшно; поди сам... под осью, в углу, где корзина...

Быстро полез Парфентий, а Ванюша стоял и слушал беззаботный разговор двух извозчиков, которые лежали в стороне, под сараем.

— Ну, брат Гришка! Если бы я нашел, уж так бы и быть, а меня бы ты не увидел в Москве.

— Да куда бы ты провалился?

— Вот: куда! Русская земля не клином вышла, а по золотой дорожке следа не нашел бы сам дедушка домовый.

— Ну, к бесу! Если бы мне попалось, я вынял бы сотни две да взял себе, а остальное отдал...

Смех кончил их разговор. Парфентий нес уже мешок, закрыв фонарь. Бог знает отчего, этот заколдованный мешок и на дядю Парфентья произвел такое же действие,

как на Ванюшу: дядя бледнел, краснел, дрожал, клочки остальных волосов без ветра шевелились на голове его. Он пошел молча к сениям, переменяя руки, как будто держа раскаленные уголья, и в сениях положил мешок на стол.

— Хоть бы сосчитать их...— сказал он глухо.

— Нет, нет, дядя Парфен! ради бога веди меня и неси мешок куда хочешь, в яму, в острог, на съезжую...

Парфентий не утерпел, развязал мешок, взял в руки по горсти монет, положил, еще взял, и руки его тряслись.

— Экое богатство! — проговорил он.— Гм! богатство... богатство, а все тлен и прах... богатство...— Он как будто проглотил последнее слово, оправился и, завязывая мешок, продолжал изменившимся голосом: — Видно, праведно нажито: и в огне не горит, и в воде не тонет, и на дороге не крадут... Пойдем!

Парфентий схватил первый зипун и шляпу, какие попались; не выпуская мешка, надел кое-как; он и Ванюша отправились к частному приставу.



Был в Иркутске случай замечательный. Там, в дальнем переулке, который ведет от кладбищенской Крестовой церкви, жил старик с женою-старушкой и племянницею-девочкою. Его считали богатым, по крайней мере с деньгами. Вдруг однажды поутру не отпираются окна и ворота в домике; прошел день: все молчит, никто не выходит из домика. Соседи собрались, потолковали, пришли: все заперто; отперли, входят: старик, старушка, девочка — убиты, зарезаны. Старик с разрубленною головою лежал на лавке, и рука, которою хотел он перекреститься, замерла на лбу с сложенными перстами; старушка, задущенная, лежала под подушками в другом углу, и девочка, с перерезанным горлом, была подле окошка, из которого, как видно, хотела выскочить. Сундук старика стоял среди избышки разломанный. Кто убийца? Знаков и следов не было; искали, искали, похоронили убитых, и уже опустелый домик, от которого бежали вечером прохожие, разрушался, когда вдруг приходит в полицию человек и говорит, что он несколько лет тому убил старика, жену и племянницу его.

— Вот что нашел я у них в награду! — сказал он и положил на стол семь гривен меди, пятирублевую ассигнацию и два старинные целковые.— Ради господ, велите меня судить и наказать скорее, и вот деньги, мною най-

денные у старика: они целы, они прилипали к рукам моим, когда я хотел их отдавать другому, хотел бросить их!

Вскоре страшное наказание над ним совершилось; он перекрестился и сказал:

— Теперь только вижу свет божий!

Его расспрашивали и узнали, что он бегал за Байкал и к диким братским, молился, пускался на новые злодеяния, но нигде не находил покоя: ему мечтались повсюду тени убитых; кровь их капала на каждый кусок хлеба, багрила каждую каплю воды, которую глотал убийца, и невинная душа девочки, как ангел мщения летая пред ним, твердила ему днем и ночью: «Иди и скажи!» Привидения исчезли, когда он искупил страданием преступление. Благоговейно пошел убийца в бездонные Нерчинские рудники, как пример божьего правосудия и до пределов гроба.

Я рассказал вам ужасный пример сей, чтобы объяснить, отчего Ванюше сделалось легче, когда золото, им утаенное, было возвращаемо назад; когда он увидел, что медленность, нерешительность, мысль овладеть чужим добром — все это, на целый день сделавшее его обладателем мешка с золотом, было обвинением его, что он был вор, хищник, преступник перед судом своей совести — увидел и предавал сам себя в руки грозного суда. Так, он не выдержал испытания: он не принес золота с детскою простотою и не сказал:

— Вот я нашел золото, но оно не мое; отдайте его, кому оно следует!.. — Горе ему: он грешен, и только в раскаянии спасение его...

Парфентий застал частного пристава еще неспящим. У него были гости. В огромной комнате, по стенам коей щели заклеены были полосками писанной бумаги и убраны портретами и старыми географическими картами, сидело с десяток человек вокруг двух столов с картами, пуншем и табаком; табачный дым расстилался облаками, и сам пристав выступил с трубкою, в халате и с вопросом:

— Что ты?

Но как изменился вдруг спокойный, важный вид пристава, куда полетела трубка его, когда Парфентий вытащил из-под полы мешок и объявил, что племянник его нашел потерю, занимавшую всю полицию московскую.

И карты также полетели в стороны от этих слов! Торжественно положили тучную пропажу на зеленый стол. Несмотря на горечь, печаль, Ванюша не мог не заметить, что мешок с золотом производит на всех чудное действие.

Он не знал, что лихорадка бьет каждого, кто прикоснется к таинственному мешку, и увидел, что самый пристав, так же как дядя Парфентий, и дрожал, и краснел, и бледнел, развязав мешок, взяв в горсть золота и перебирая его перед свечкою.

Говорили немного.

— Сидорова сюда! — закричал пристав. Явился Сидоров, небритое, со включенными волосами, в фризовой старой шинели создание, выпучил глаза на мешок, молча общелкал перо о стол и написал показание со слов Ванюши.

По данному знаку явились два казака и стали по обеим сторонам Ванюши. Тут задрожал он, как осиновый лист, слезы полились градом, колена его подломились.

— Батюшка, ваше благородие! помилуйте! — воскликнул он.— Божусь, что я не взял ни одной копейки: все тут, что нашел я!

Зачем не хотели утешить его ласковым словом! Зачем никогда не подумают исполнители правосудия о мучении, какое еще прежде кары должен вытерпеть самый преступник в ужасном молчании, в грозном виде судей! Но таков обычай почти всех судей и всех судов. Ни слова не было в ответ; мешок запечатали печатью частного пристава, печатью Парфентия, сам пристав понес его вниз, в присутствие; Ванюшу схватили казаки, и он — в тюрьме, душной, ужасной, где приход его разбудил двух или трех человек, крепко спавших.

— Здорово, товарищ! — сказал один из них, не поднимая головы.

Товарищ! Ванюша — товарищ злодея, может быть, убийцы! Нет, нет! Он искупает только минутную дань человеческой слабости в смердящем воздухе тюрьмы! Он не спал среди храпенья заснувшего крепко злодейства, и ангел-утешитель слетел к нему в молитве; тихие слезы смывали пятно с его совести.



Когда лучи солнца проникли сквозь тусклые стекла тюрьмы, уже не было отчаяния в груди Ванюши: скорбная преданность судьбе видна была на лице его.

Застучал и упал тюремный затвор. Ванюшу вывели из тюрьмы; рядом с ним пошли два казака и привели его в дом обер-полицеймейстера. Тут ввели его в прихожую и велели ждать. Он стоял убитый горестью, безмолвный, когда

отворились двери, вышел вчерашний пристав и велел ему идти далее.

В другой комнате сидел старик, в синем русском кафтане, с пуховою шляпою в руках. Длинная седая борода окладисто падала от лица его. Он не обращал ни на что внимания и казался задумчивым. Почтительно стал у дверей пристав, по другую сторону дверей Ванюша.

Ах! первым лучом отрады был для него приход доброго начальника! Он явился не судиею мрачным, ужасным, таинственным, но добрым, милостивым блюстителем правосудия и кротким исполнителем обязанности, часто тяжелой. Лицо его было оживлено милосердием и добротою.

— Григорий Васильевич! — сказал он, протягивая руку к старику, с почтением кланявшемуся, — здравствуйте. Я рад, что хотя неприятный случай доставляет мне удовольствие вас видеть. Сядемте. Кажется, что ваша потеря нашлась. Но расскажите мне сперва дело подробно и обстоятельно.

Старик был богатый купец из Меняльного ряда. Он променивал в год миллионы, вел дела с братом, жившим в Петербурге, и по мере возвышения или понижения курса повозки с ассигнациями, серебром, золотом летали у них в Петербург или Москву. Накануне получил он кибитку серебра и мешок золота; сложивши все мешки на телегу, привез он их в ряд рано поутру, когда еще никого не было в рядах, чтобы никто не заметил получения серебра, и слух о получении не уронил курса. Воз въехал в ряд, и за ним забрали снова доски, которыми запирается ряд. В то время, как воз вдвигали в ряд, тяжелый небольшой мешок золота скатился с воза и упал на улице; схватились его тотчас, бросились смотреть на улицу, искать домой: нигде не было; немедленно подано было объявление в Управу благочиния; следствия уже нам известны.

— Сколько было в мешке?

— Сорок тысяч без промена, — отвечал купец.

— Какую монетою?

— Полуимпериялами, частью империялами; думаю немного было наполеончиков и австрийских.

— Какой был мешок?

— Английской крепкой кожи с буквами «Г В. Ф.».

Тут обратился обер-полицеймейстер к Ванюше:

— Не робей, мой друг, и расскажи мне все: кто ты, откуда, как нашел ты мешок?

И Ванюша заговорил красноречиво: каким образом отец его разорился, как он думал найти в Москве свое

счастье, как нашел гибельный мешок, как, изумленный, обезумевший, не знал, куда с ним деваться, и как открыл все дяде.

— Грешный человек! — продолжал он. — Я не хотел красть, но ум за разум закатился у меня, и — судите теперь меня, как вам угодно...

Все казались растроганными, кроме частного пристава, все холодно слушавшего и неподвижно, в струнку вытянувшись, стоявшего у дверей.

— Сколько же хотел бы ты взять себе из мешка, если бы тебе дали на волю? — спросил его добрый обер-полицеймейстер. — Сколько воображаешь ты себе самым большим богатством?

— Тысячу рублей, если бы дал мне бог, — отвечал Ванюша, сложив руки и подняв глаза к небу, — тысячу рублей, и я был бы самое счастливое божие создание!

— Тысячу! Много, брат, велик куш! Вот ваш мешок, Григорий Васильевич! — сказал потом обер-полицеймейстер купцу, вставая и сбросив салфетку со стола; мешок с золотом лежал под нею. — Считайте, все ли, но позвольте начать счет мне. — Он развязал мешок, отсчитал пятьдесят полуимпериялов, отложил к стороне и, обратясь к купцу, спросил: — Так ли?

— Нет, не так, ваше превосходительство, — отвечал купец, сам подошел к столу, отсчитал еще пятьдесят полуимпериялов, положил к отделенным уже пятидесяти и сказал: — Теперь так.

— Благодарю вас, — промолвил обер-полицеймейстер, пожимая снова руку купца. — Иван Федосеич, — сказал он, смеясь, — ты чуть было не сделался плутом, но за то суди тебя бог, а в глазах человека ты достоин награды за свою честность. Держи шляпу: вот это тебе *две тысячи* рублей и — разживайся на здоровье!

Ванюша не говорил ни слова: он плакал... Эти слезы были уже слезы радости, и жаль, что людям столь редко удается плакать *такими* слезами...

Рассказ мой кончен. Вы угадаете остальное. Не знаю, понравился ли вам герой моего рассказа: я представил все, как было, как случилось, ничего не прибавил, не скрыл. Но если Ванюша возбудил ваше участие, я скажу вам, что он тотчас оставил Москву, несмотря на предложения, ласки, поклоны дяди Парфентья и униженность всех своих быв-

ших товарищей. Он поехал прямо в Троицкую Лавру и там, когда он молился у гроба святого Сергия, подле него стала на колени и также молилась молодая странница. Ванюша взгляделся в нее: это была Груня; она пришла к Троице по обещанию с своею бабушкою; воротились они обе вместе, пешком: так следовало по обещанию Груни; Ванюша не хотел уже с ними расставаться. При входе в родную деревню попались им два человека, которые шли обнявшись и навеселе. Кто такие они были? Староста Филарет и Федосей! Молва прилетела в деревню прежде Ванюши, и сам староста первый пришел пенять Федосею, что он забыл старого приятеля, а Федосей не хотел помнить старого зла и ждал добра от настоящего. Золото озолотило будущее для него и для Ванюши.

Если бы я рассказывал выдуманное, то мне в окончании надобно бы, осчастливив добрых, наказать злых; но в белом свете не всегда так бывает. Где и когда рассчитывается здешнее добро и зло, известно не нам, и в наших глазах иногда добрые остаются в убытке, а злые в барышах. Впрочем, кто же в моей повести *злые*? Староста Филарет, Москвич?.. Друзья мои! много ли останется агнцов, если их отделим мы к козлицам? Нет, нет! через три года Сергей приехал к отцу, веселый, с молодою женою, и пировал тогда на свадьбе Москвича, где тысяцким был Федосей, дружкою Ванюша, а староста Филарет плясал, держа на руках милого, хорошенького внучка своего, Филарета Ивановича.

РАССКАЗЫ РУССКОГО СОЛДАТА

Часть II

СОЛДАТ

Субординация, экзерциция, послушание, обучение, дисциплина, ордер воинский, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, *слава, слава, слава!*

Суворов

II

Если бы вы меня спросили, ваше благородие, каково мне было тогда и потом, когда привезли меня в город и когда совершилась моя судьбина, когда сделался я царским слугой вековечным, — ведь я не сказал бы вам, что мне слишком было тошно. Нет! Прежде, когда слышал я отцовское проклятие, произнесенное над Дуняшею, когда бесприютно брел я с нею домой от дяди, когда потерял своего сынишка — тогда — ох! тогда куда как плохо мне приходилось! И оттого, полагаю, было мне очень плохо, что я еще худо свыкся тогда с горем: оно приходило гостить ко мне, как наш брат, солдат, приходит на временный постоя и — ничего не бережет у обывателя; легче, когда он поселится на постоянной квартире; тогда и он к другим, и другие к нему как-то привыкнут. Ведь ко всему привыкнуть можно, правое слово, ко всему. И много значит, когда уж нельзя воротиться назад. Горе сделалось у меня жильцом бесповоротным, и — все мне было равно после этого, меньше ли, больше ли оно.

Я воображал себе: как тяжело было бы мне переносить все, что со мной сделалось, если бы надобно было мне хоть что-нибудь оставлять на белом свете и жалеть хоть о чем-нибудь, так, как другим моим товарищам! Нас было свезено в город много; несколько дней продолжался прием, и каждый день приводили нас к Казенной палате, где мы лежали на солнышке, пока по очереди водили нас в приемную. Вокруг нас собиралась толпа народа. Чего смотрел

этот народ? Бог их ведает! В чужестранных землях видал я после того, что народ сбегается глядеть, как казнят вора либо разбойника. «Этакое страшное зрелище,— думал я,— не приведи господи видеть!» И не понимал я, какую утеху в этом находят другие. Пусть бы хоть казнились, учились страху божию в этой страшной расплате за преступление; а то случалось мне замечать, что вора вешают, а другие тут же в народе из карманов кошельки таскают...

Так и вокруг нас собирался народ, не знаю, право, зачем, а только ни на одном лице не видал я никакого чувства сострадания и милосердия, ни одна слезинка не падала ни из чьего глаза на нашу горькую участь. Смотрели на нас эти народы, да и только тебе, как будто смотрят на *куръез*. Не диво, что мы сами скоро пригляделись, как вдруг бледнел товарищ, когда его выкрикали по имени; как матери, сестры, отцы и братья становились на колени, пока вели его в палату, и молились господу, чтобы он помиловал их; как старуха мать падала потом без памяти, когда раздавалось в палате: «*Лоб!*» и это страшное слово переходило из уст в уста по лестнице и передавалось в народ; и как потом начинался вой и плач, когда нового рекрута выводили с забритым лбом, накинув на него солдатскую шинель, и дюжина рук хваталась за него, как за мертвого, и дюжина голосов высчитывала свои прошлые радости и свое прежнее счастье...

Да, если бы люди понимали все, что перенес солдат с тех пор, как жребий выпал ему служить отечеству, до тех пор, когда царь-государь его пожалует, скажет ему спасибо за его верную службу и выпустит его на покой, так на руках бы носили они каждого служивого. Диво ли, что и наш брат, солдат, иногда вымещает на православных свою невзгоду, когда видит он, как равнодушно православные смотрят на слезы его матери, как не скажут ему слова ласкового, когда он для чести и добра их отрекается от всего света белого? Чье солдатское сердце не растаяло бы, как снег весною, когда ему сказал бы хоть *один* добрый человек: «Брат, приятель! не кручинься: таков, видно, твой жребий, чтобы послужить отечеству за церковь божию, за батюшку государя, за свою братию христиан! Не кручинься, что тебе пришлось отстаивать грудью землю русскую! Царь тебя будет миловать и миловать. Воротишься ты потом на свою сторону, так мы успокоим твою старость, и найдешь ты, что жена твоя тебя дожидается, дети малые твои подросли на твое утешенье, а земляки твои тебя

чувствуют и заслушиваются твоих рассказов о том, где бывал ты, что видал ты, как бил ты врагов поганых сильного царства русского»... Слышит ли когда-нибудь солдат подобное слово? А еще жалуются, что *иногда*, с сердцов, солдаты расплачиваются по-своему... Рассудите-ка поближе...

Ну, да толковать много не стану, ваше благородие, как закричали и в мой черед: «Лоб!» и забрили мне лоб и дали мне шинель солдатскую — носи, не изнашивай, летом не зябни, зимой не потей...

Тяжело мне стало, когда одним словом навсегда зарешилась участь моя и земляки мои раскланялись со мной, обнялись в последний раз, понесли челобитье брату, поклон матери и могилам сына да жены; когда остался я один-одинехонек, без родных, без приятелей, без приветов людского, так что если бы я умер на другой день, так, кроме церкви божией, меня и помянуть было бы некому: она всем мать!

Грустно мне было потом, когда я вошел в солдатскую казарму и видел тысячу человек и ни одного знакомого лица.

Тяжко, грустно, но не плакал я. И когда потом вытянули меня, как тростинку, заставили поднять ногу прямо, глаза откинуть направо на сердитого капрала с усами и с фухтелем,— я переродился, казалось мне. Вся прошедшая жизнь вылетела из меня при команде: «Слушай!», вылетело и всякое помышление о будущем. Новое житье-бытье началось у меня, не крестьянское, а солдатское. Я дивился даже теперь тому, как и о чем люди плачут, когда видел, что рекруты, провожая матерей и отцов своих, плакали. Но и для меня слезы еще не пересохли в то время...

Месяца три продержали нас, добрых молодцев, в одном месте и потом отправили нашу партию в дальний город. Когда выступили мы да грянули песню, горе сваливалось с души, будто скорлупа с яйца. Э! была не была! Начали мы знакомиться друг с другом, дружитья да ладить, пересказывать да посмеиваться.

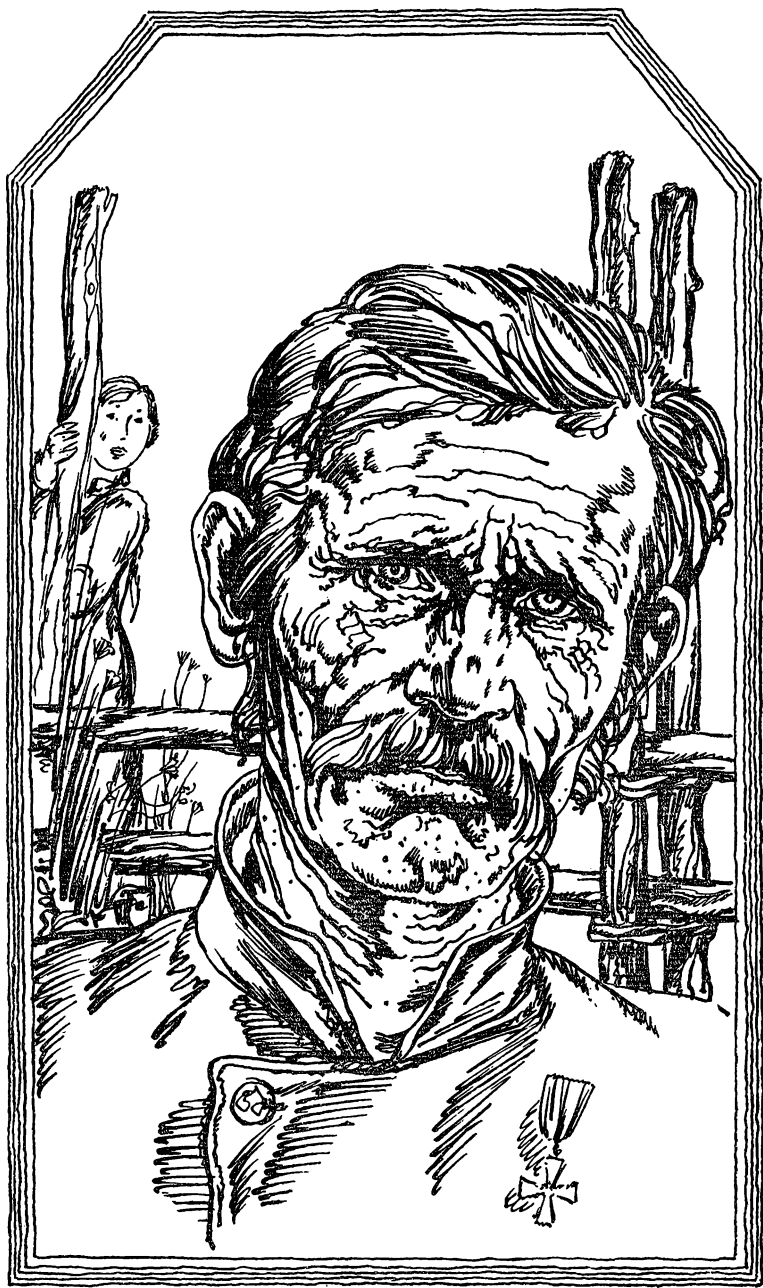
«Ты откуда?»

«Оттуда-то».

«Что, у тебя остались мать, жена?»

«Никого, брат, не осталось. Весь тут, как видишь; младший брат; хотел было жениться; да жеребий благословил в царскую службу по очереди».

«А у меня и жена, и трое деточек дома; да жене воля на



все четыре стороны: жили мы, как кошка с собакой; а деточки и без меня вырастут у старика дедушки».

«А меня, братцы, заело зеленое вино да гульба молодецкая! Государю люди надобны, заменил собой доброго человека; пошел охотой; деньги взял, и те прогулял разом; у солдата хлеб даровой, одежда не купленная, хаты не нанимай! Все трень-трава!»

И громкая песня, которой выучили нас старые служивые, грянула:

Как под дождичком трава,
Так солдатска голова —
Весело служит, не вянет,
Службу царску бойко тянет!

Мы перешли два перехода, и вот однажды привалили мы к берегу. — «Давай перевоза!» По реке с другой стороны плывут к нам два парома, и на них возы и обозы, всякий народ и скот. Мы разлеглись на берегу, ждем, отдыхаем. Смотрю издали: что это мне кажется? Ну, точно моя Дуняша: ее рост, ее лицо, ее одежда; перекрестился, отворотился — опять гляжу. Так у меня на сердце и зашевелилось. Да разве мертвые воскресают и в наше время? Эх! Не напоминай старого, чего не воротишь! Паром ближе — что ты будешь делать! Ну, точно Дуняша! Да, уж это она — ретивое меня не обманет; я ее узнаю и в царстве небесном между тысячами тысяч! Поднялся, бегу к берегу, смотрю: и она меня заметила и узнала, протянула руки... Река глубокая текла между нами — сам я не чувствовал, как вошел в воду по колени, по пояс, чуть не по горло. Дуняша кричала, рвалась; ее насильно удерживали, пока мои товарищи кричали мне с берега, что я утону, а капрал, испугавшись, думал, что я с ума сошел, хочу с горя топиться и, размахивая руками, бегал он по берегу, будто курица с утятами... Но я не утонул, достал паром рукой, вскочил туда — да, это была Дуняша; она так крепко обняла меня, хоть я был мокрехонек... и плакала, и смеялась...

Тут паром привалил к берегу. Капрал схватил меня за ворот и сердито закричал:

«Как смел ты, бездельник, беспокоить твоего начальника, причинять ему огорчение? Ведь я думал, что ты в реку бросился, хочешь утопиться!»

«Виноват, ваше почтение! Жена»

«Какая у солдата жена, кроме ружья! Мочить в воде, портить казенную амуницию... Вот я тебя научу к жене бросаться...»

«Что делать, ваше почтение! Без вины виноват. Она у меня такая красавица, так любили мы друг друга...»

«Красавица!» — Капрал взглянул на Дуняшу и расхохотался.

Она стояла подле меня, испугавшись, дрожа. Я взглянул на нее и сам немного опешил: вместо прежней моей дородницы я увидел худую, рябую, бледную бабу. Так перевернула ее оспа, что Дуняша сделалась дурна, и стара, и подслеповата, и, едва оправясь от болезни, была она еле в чем душа держится; и она же верст пятьдесят прошла пешком, только бы со мной повидаться...

«Ну, для ради такой красавицы избавляешься от фухтеля!» — сказал капрал, засмеялся и отошел в сторону, а я стал вглядываться в Дуняшу, вгляделся и увидел, что она все прежняя Дуняша: те же глаза, тот же голос; ряба немножко, бледна немножко, да зато как же она меня любит, — и я обнял ее, как прежде обнимал. И как вспомнил я тогда все минувшее, подумал, как она меня любит, подумал, что из могилы пришла она — проститься со мною... так слезы у меня и полились из обоих глаз, и такие едучие, что твоя сера горячая! Извольте видеть, они, видно, были застарелые, потому что я не плакал с самого отъезда из дому.

«Так ты не разлюбил меня, голубчик мой, светик мой, за то, что я стала нехороша?»

«Тебя разлюблю я, моя душенька? Да разве красоту твою любил я? Да ты и теперь мне кажешься красавицей!»

И, право, не лгал я: она мне казалась такой красавицей, бог весть отчего, право, не лгу, хоть другие и говорили, что она ряба и некрасива...

«Как же ты оставил меня! Зачем ты закабалил себя в рекруты!»

«Очередь пришла послужить царю-государю, Дуняша. Видно, так богу было угодно. Не бойся — увидимся весело! Ворочусь капралом, подожди».

«А сколько ждать? Нет! Сердце вешует, что в последний раз я тебя вижу! Прости, мое ненаглядное сокровище! Видно, господам угодно было, чтобы допустить меня еще раз с тобой проститься. А для меня уж и саван сшили, и гроб сколотили. Не знаю, дотащусь ли домой! Ну, да все равно: прилягу где-нибудь на дороге, и прими меня, господи! Зачем ворочусь я домой, когда нет тебя со мною? Теперь тебя и золотой казною не выкупишь из царской службы, а дожидаться, пока ты сам воротишься... много

воды утечет... И слез-то мне бог не дает — нечем мне моего горя смочить...»

Так посидели мы, поговорили, поплакали. Капрал позволил Дуняше идти со мною до первого города, где положена была остановка. И тут в последний раз стало мне опять радостно, опять весело.

Но если радость является не так, как добрый жилец, а временной гостьей, лучше бы она совсем не приходила! И добрый булат, когда его то в огне покалишь, то в холодную воду сунуть, то опять в огонь, то еще в воду, — теряет свою крепость, а человек тоже: обтерпевшись в горе, он свыкается с ним, и уж ничего нет хуже этих заплаток радости на ветхом рубище печали и горести... Да, видите, не по нашему замыслению дело делается...

Мы пошли с ночлега, и Дуняша пошла со мною; успевала, бедняжка, за нашей солдатскою ходьбою, хоть несла мешок с дорожным запасом. Но ее сил не стало далее; полумертвая, упала она, когда мы остановились. Я испугался.

«Не бойся, дружок мой, — говорила она, — ничего — ведь это с радости. Вы здесь останетесь дня на три — успею отдохнуть — ничего!»

«Мне нечем и попотчевать тебя, душа моя. Право, копейки за душою нет!»

«У меня есть. Возьми, вот тут в мешке два рубля медью; я заложила свой сарафан праздничный, — ведь тебе в дорогу годится, а мне на что?»

Дуняша рассказала мне, что она как будто сквозь сон слышала мой голос, когда я с нею прощался; и когда после того не стало меня слышно, а все завопили и заголосили обо мне, ее как будто кто приподнял да встряхнул; она опомнилась и спросила: где я? Рассказали ей правду без утайки — и к чему скрываться было? Ведь уж рано или поздно узнает — шила в мешке не утаишь, что сделалось, того не воротишь. Но она долго слушала, ничего не понимая, и потом об одном только стала думать: «Допусти, господи, еще раз повидаться с ним до моей смерти!» На третий день начала она вставать, но долго еще не могла ходить. Тесть мой приказывал ей не пускаться в дорогу. «Дальние проводины, лишние слезы!» — говорил он. Но Дуняша узнала, что нас погонят по дороге верстах в пятидесяти, и тихонько ушла, никому не сказавшись.

На третий день объявили нам дальний поход; сдали нас партионному офицеру. Дуняше нельзя было идти с нами, да и сил ее недостало бы — да и куда же идти...

Тут — грешный человек! — раскаялся я, что так скоро решил свою участь, особливо когда рассудил да раздумал, что Дуняша не переживет разлуки со мною. Темнее осенней ночи показалась мне будущая судьба моя. Я подумал даже — страшно сказать! — не убежать ли мне? Но потом начал я молить бога отогнать от меня злые помышления. И куда убежал бы я? Разве в воду? И что же потом? Посрамление и гибель временная и мука вечная! «Нет, Сидор! — думал я, — за богом молитва, а за царем служба не пропадают! Чему быть, тому не миновать!»

Не знаю: счастьем или несчастьем назвать то время, когда я прощался с Дуняшею. Конечно, это прощанье значило все равно, что развередить рану, которая было задохлась, онемела и замерла; но опять и то, что мне как-то отраднее стало, когда подумал я, что мог еще раз проститься с Дуняшей, что она жива еще, а пока она жива, так есть еще кому на свете помнить обо мне, и богу помолиться, и душу помянуть. А уж это верно, что на том свете душе человеческой легче, когда ее поминает здесь родная душа и к богу молитву об ней посылает, вынужденную слезами сердечными, как жемчугом крупным, перекатным.

Ну, а Дуняша моя почти радовалась, прощаясь со мною. В деревне нашей наговорили ей, будто староста и заседатель неправедно отдали меня в солдатство, что если похлопотать да потратить, так меня воротят, где бы я ни был. И еще более: если бы мог я поставить за себя рекрута, так и по очереди отданного все еще меня воротят. Дура Дуняша всему этому верила и не могла нарадоваться, только о том и говорила, хотела просить отца своего, хотела продать все, что у нее было, идти в работу сама. «Лишь бы знать-то мне, где ты будешь; пиши ко мне, мой дружок, почаще, а уж я либо добьюсь того, что тебя воротят, сама пойду в губернию, стану просить самого губернатора, либо — не переживу»...

Она сдержала свое последнее слово... Я не хотел печалить ее, не спорил; но когда пришлось мне обнять ее в последний раз — было это на большой дороге — наш отряд вышел за город и дожидался офицера своего — случился праздник какой-то большой — и много карет и дрожек ехало мимо нас на гулянье за город, и пешеходы шли туда, и все были так разряжены, так веселы — и всякий ехал с своею женою, с своими детьми — и разносчики толпой бежали за гуляющими... Обнявши свою Дуняшу, чувствуя, что это в *последний* раз, — ох! как невыносимо было, ваше благородие, тяжко несказанно, так, что я,

грешный человек, готов был возроптать тогда на милосердного господа...

«Одна малая частица того, что стоят эти кареты и коляски, — думал я, — выкупила бы меня, сделала богатым и счастливым, соединила меня с Дуняшею...» И я готов был упасть на колени перед этими богачами, которые, смеясь и радуясь, такие здоровые, такие веселые, ехали мимо и не думали даже и поглядеть на нас, — я готов был вымалывать у них у каждого хоть понемногу их счастья... Но — ударили, забили в барабан, и мы отправились в поход; мне нельзя было и оглянуться, посмотреть: стоит ли еще Дуняша и смотрит ли на меня...

Два, три перехода, даже до самого прихода в полк, чуть было не положил я на себя руки, и не один раз, вертя в руках ружье мое, думал я: «Только пошевелить курок, и — поминай, как звали!» Мне казалось иногда ночью, что лукавый стоит подле меня и шепчет мне это в уши; но я вставал, крестился, и демонское обаяние проходило от креста и молитвы. Я оглядывался вокруг себя, видел своих товарищей, видел, что я не один... Не диво, коли солдаты крепко стоят друг за друга: их связывает одинакая участь, их дружит общая судьбина, общая дума, что нет у них ни отцов, ни матерей, ни роду, ни племени, ни впереди надежды, ни назади памяти — приютиться негде, завидовать некому, думать не о чем, лег — свернулся, встал — встряхнулся — весь тут! Солдат, божий человек, один, как солнышко на небе у царя небесного...

Я писал к Дуняше: ответа не было; посылал и со вложением письма — не было вести с родины. Потом перестал я писать; прошел год, прошло два, прошло три — перестал и думать.. И когда об этихких вещах думать солдату! Ученье, смотр, переход, дневка, остановка; маршируй с одного края матушки-России в другой; неси, нянчай неизменного товарища, ружье солдатское; стой на карауле; потом чистись да ладься на ученье... Говорят, будто есть у богачей какая-то особая болезнь — *скука*. Под солдатскую бы я суму всякого, кто хандрит да с жиру бесится, — поверьте, что все забудет, и развеселится, и выздоровеет. Оно не то, изволите видеть, что *развеселится*, а рад будет покою, как нежданному доброму гостю, рад будет отдыху, как сестре родимой. Как бы рассказать вам о солдатском житье-бытье? Жаль, что не умею, а не можете ли вы представить себе, ваше благородие, что солдат — человек, у которого душа перешла в ружье, а сердце бьется в патроне. Оттого штык ему брат родимый и не выдает

солдата — послушливей жены любимой, вернее брата крестового; а пуля слуга его самая верная: куда пошлют ее — слушается, летит прямехонько и скоренько, скорее мысли человеческой...

III

Несколько лет не получал я писем от Дуняши; не знал ничего, что делается на родине; жил с ружьем, на ружье и ружьем, не видя ничего, кроме казарм да ученья, смотра да командира; и от всего этого стал я совсем другой человек: походил на такого человека, у которого переменили руки, ноги и голову и приставили ему другие ноги, железные, другие руки, медные, другую голову, с мозгом, вместо прежней, мужичьей, без мозгу. Не хвастая скажу, что сделался я лихой солдат, так что меня ставили в пример товарищам; командиры меня любили, товарищи слушались, палка реже других гуляла по моей спине. Без палки нельзя, ваше благородие, истинно нельзя, так, как, не побивши жены, чем докажешь, что любишь ее в самом деле — ну, то есть очень любишь?

Когда, изволите видеть, приставили мне другую голову, как я докладывал вам, увидел я, что был я мужиком большая дурачина и что наука пособляет уму и разуму. Вот и принялся я учиться и скоро выучился грамоте, так что никто лучше моего не умел написать рапортички, и меня произвели в унтер-офицеры.

Но кто век свой провел в казарме да на ученье, тот еще *плохой солдат, в половину солдат, в четверть солдат*, как говорил наш отец Суворов. Нет! Для полного солдата надобно побывать в походе, помыкаться на чужой стороне, окуриться порохом, поджариться на огне. Слыша рассказы старых товарищей, куда как мне хотелось поработать штыком, повидать чужой стороны, отведать духа басурманского, чем пахнет штык, когда свалишь им полдюжины. Особливо был у нас в полку один старый служивый, лихой фельдфебель, еще с Румянцевым под Кагулом бывал и с Суворовым на Измаил шел. Вот как, бывало, начнет Зарубаев рассказывать, так у нас слюнки текут. Рассказал бы я вам, да где — только испортишь рассказ Зарубаева! Ведь дело мастера боится.

«А что, Зарубаев, — иногда спрашивали мы его, — как ты думаешь: скоро ли опять начнется война? Скоро ли опять выпустят царскую армию на неприятеля?»

«А бог весть! — говаривал он.— При нашей матушке государыне мы почти беспрестанно дрались, да тогда были на то *резоны*. Видите: с одной стороны были тогда татары, с другой турки, с третьей персияне, с четвертой шведы, с пятой поляки, с шестой пруссаки, с седьмой китайцы. Государыня и подумала: «Ну, хорошо, пока еще они боятся да пока мы готовы, стоим с ружьем в руках. Да ведь на всякого мудреца бывает довольно простоты. Задумаешь отдохнуть, положишь ружье, вздремнешь, а они как все вдруг нагрянут, так вот тебе и раз; рук-то у меня всего двое!» Она и начала, знаете, исподтиха, приосанилась, приоправилась и говорит прежде всего турецкому султану: «Послушай, султан: не вели ты татарам крымским шалить!» А татары-то, знаете, жили тогда в Крыму, туда на полдень от Курска, и к ним по степи нельзя было пройти; а они то и дело на лошадях переедут через степь, да и давай грабить, жечь, рубить; ни церкви божией не оставят, ни младенца не пощадят, за ноги да об угол. А как соберутся мстить им за кровь неповинную христианскую да за церкви божии, так они гикнут, да только их и видели, улетят на своих лошадях, и следа по ковылю да по степи не сыщешь. Ну, а султан их похваливает да девок себе берет, которых татары увезут из России,— ведь он Махметовой веры, и у них вина не пьют, а жен хоть сотню держи. Этакие болваны: не знают вкусу в вине, не знают и того, что и с одной женой горе берет, а с сотней так просто со света беги! Оттого у них такой содом бывает между женами, что султан сам не рад, и дела ему делать некогда, и на войну он не ездит — все сидит у себя да женские сплетни и ссоры разбирает. Вот султан отвечает: «Нет, Катерина Алексеевна, я татар не уйму, *саламалык* (по-турецки, то есть, *не хочу*)!» А государыня говорит: «Уйми», а он говорит: «Нет, не уйму!» — «Так постой же,— сказала государыня,— вот я тебя проучу, копченая ты борода, Саламалык Махметович! Ведь у тебя и Царьград-то твой чужой; ты ведь его у греков взял, когда православного царя Константина убил. Отдай ты мне Крым, Очаков, Измаил, Бендеры, Кафу» — и... начли ему сотни две городов. «Да, как бы, дескать, не так, то есть тово воно, как оно, изволишь видеть!» — отвечал султан. Но не успел он трубки докурить, не успел оглянуться, ан уж наши генералы, Румянцев, Потемкин, Панин и пошли, да и пошли! Да ведь как пошли: султан собрал было тму тмущую басурманов, а они как начали да начали — куда тебе! Только иверни полетели! А особливо отец наш, граф Александр Васильевич Рым-

никский, так он с ними просто шутил. Под Кинбурхом было у него тысячи две солдатишек, и то уж так, кое-чего; а турков пришло сто кораблей, полнехоньки народу, и вышли они на берег. Ему и говорят: «Ваше превосходительство! Турки пришли», а он говорит: «Хорошо!» — и сам будто спит. Опять говорят: «Ваше превосходительство! Турки уж батарею построили». А он говорит: «Хорошо!» — и только себе. Ну, уж еще пришли, говорят: «Вставайте, ваше превосходительство! Все турки вышли на берег и корабли назад поотпускали; хотят с чесноком нас съесть!» Как он вскочит — ажно он и не спал — да как запоет петухом — турки так и дрогнули — и пошли писать! Да ведь так расчесал, что они сдуру-то в море бросались, хотели до Царьграда вброд перейти и достались на закуску морским рыбам! А что было еще под Измаилом, так и рассказывать страшно! А под Очаковым, в самый Николин день? Сам я там не был, а слышал, что там ядра в пушках замерзали, огонь застывал, снегом стреляли, из льду лестницы на стены делали.

Вот услышал шведский король и говорит: «Матушка государыня! Не тронь моего друга, султана турецкого, а не то отдай мне три города!» Знаете песню:

Пишет, пишет король шведский
К государыне в Москву:
«Ты, великая государыня,
Отдай три города мои —
Первый Ригу, второй Ревель,
Третий славный Петербург;
А не отдашь ты их мне,
Походом пойду;
Развоюю твою Россию,
Тебя самое в полон полоню!

Вы думаете, государыня его и послушалась? Да, держи карман! И король шведский разъярился, пришел к самому Петербургу и открыл баталию на море, так что в Петербурге окна дрожали. Адмирал Чичагов — дай бог ему царство небесное! — так отделал его, что и самого адмирала шведского взяли. А между тем через моря далекие, через аглицкую землю, через Средиземное и через Белое море в грецкую землю пришел наш адмирал Алексей Григорьевич Орлов — этакий молодчина, чуть не в сажень — и хотел взять самый Царьград. И как начал палить, так султан уж не шутя испугался, выслал своих корабельщиков, говорит: «Идите вы, мои верные корабельщики, возьмите этого Орлова живьем, а не то я вам всем головы

поотрублю!» Корабельщики поклонились султану и пошли. Но как увидели русские корабли — душа в пятки ушла, — они и давай бежать. А русский адмирал с ними шутить не захотел, загнал их в какую-то гавань и послал одного хитреца, аглицкого немца, а того угораздило — зажечь море; все турки так живьем и сгорели! И такая была возня, что от Царяграда до земного пупа да до Ерусалима земля тряслась, а в итальянскую землю от кораблей огарки летели. Тут султан взметался, и жены все к нему приступили, говорят: «Мы тебя башмаками откозыряем, если ты не помиришься с русскими!» Он еще было послал к персидскому шаху, да к польскому королю, да к китайскому булдыхану просить помощи. Китайцы, знаете, тоже басурманы, живут за Сибирью, к Индейскому морю — народ узкоглазый, делают чай, вот, что бара наши пьют по утрам; а впрочем, не воинский народ, трусливый, и дома-то у них бумажные, а пушки стеклянные, ружья глиняные. Булдыхан и говорит султану: «Рад бы я тебе, приятель дорогой, помогать, да видишь: мне далеко, и у меня русские купцы чаю покупать не станут». А шах говорит: «Пожалуй, помогу!» И послал он войско в Грузию, что между Синим да Черным да Хвалынским морем, где стоит город *Железные ворота*; еще, говорят, Александр Македонский его строил — была стена от моря до моря, да теперь развалилась. Государыня послала туда графа Зубова, и он так пугнул персиян, что они убежали за Араратские горы, на которых Ноев ковчег остановился, такие, слышь ты, горы, что как взглянешь на вершину, шапка свалится, и там на верхушке никогда снег не тает. Вот и остались у султана только поляки — народ задорный, ну-таки и храбрый — в старые годы, при царях, и Москву было завоевал, да русский мясник один собрал мужичков и дубьем прогнал их. Поляки и зашевелились. «О вшистки дьяблы! Ратоваць за моспана султана!» (Зарубаев был мастер говорить на всех языках.) Государыня и думает: «Хорошо — поколотили мы турков, татар, шведов, персиян; но что другие подумают? Ведь этак, дескать, кой черт — русские бьют, бьют, да и до нас добьются? А народу еще много басурманского: англичане, француз, немцы, итальянец, и бог ведает — как песка морского, у бога народов бесчисленно. Хоть и храбры мои русские, да ведь против целой земли господней не станешь». Она и послала к цесарцу да к пруссаку. А тогда в Пруссии был король Федор Федорович, невелик ростом, головка небольшая, глаза ястребиные, коса в аршин, да умен и такой храбрый, что семь лет дрался со всеми соседя-

ми, и уж кое-как русские же пособили — всех было завоевал! И говорит ему государыня: «Любезный брат, король прусский! Пойдем, уйдем поляков; возьмем их царство и разделим». Тот и рад. Государыня послала Суворова — вот тогда-то было взятие Праги, о чем я вам прежде рассказывал. И Польши не стало; и государыня взяла себе сорок городов с пригородками, двадцать четыре дала прусскому, а четырнадцать цесарскому императору. Тогда видит султан, что худо, взмолился уж не Махмету, а русской императрице, давай кланяться, просить мира; и с ним помирились, хорошо помирились, так, что если бы еще раза два этак помириться, то султанское величество маршируй через море в эфиопскую землю, а нам подавай все, чем прежде владели греки. Да ведь оно и праведно: греки нам отдали и свою веру православную, и последняя греческая царевна вышла за нашего царя Ивана, и на гробе царя Константина, который с матерью Еленою нашел крест животворящий — вот, что праздник Воздвиженья, — написано мудрыми людьми, что некогда русские завладеют Царяградом; и в Царяграде есть ворота в стене, закладенные турками, сквозь которые русские пройдут в Царьград. Эти ворота заколдованы были одним немцем; да что устоит против силы честного и животворящего креста господня? Перекрестись да штыком! Посмотрим, устоит ли!»

Так или похоже на это рассказывал нам Зарубаев, и мы, бывало, сидим вокруг него и целые ночи прослушиваем, как он рассказывает. Этакий был солдат, чудо, с каменной грудью, с золотым языком — златоуст, да и только! И обо всем был мастер говорить. Некоторые из нас, новичков, станут, бывало, спрашивать его:

«Как же, Зарубаев, не бояться смерти? И хорошо бы оно, пошел да подрался, но ведь пуля-то не свой брат; а как ногу либо руку оторвут — больно; да и страшно смотреть, когда крошат человека, будто битое мясо готовят, а кровь черпают, будто за здоровье выпить хотят?»

«Ох! вы трусы, дряни! — говорил он. — Да не все ли равно: когда-нибудь умирать надобно? Не лучше ли умереть вдруг, без боли и болезни, нежели изнывать да кряхтеть и чахнуть полгода? Да знаете ли, что на ядре, которым унесет вас из здешнего мира, вы перелетите прямо в царство небесное? Ведь церковь святая говорит: «Больше сея любви нет, еже душу свою положити за ближнего», и она во веки веков поет большую панихиду за всех православных воинов, на брани за веру и отечество убиенных.

А слава-то какая, а честь-то какая? Командир скажет: «Ай да молодец был!» А государь скажет: «Этаких молодцов у меня осталось немного!» Так дождется ли такого слова какой-нибудь гарнизонная крыса, если и сбережет свою дурную башку до отставки, сидя на печи в казарме? — Страшно! — Вишь, что выдумали! Оно, коли хотите, и страшно сначала, а там, как заговорят пушки да затрезвонят барабаны,— так и страх, будто с гуся вода,— так и лезешь вперед, так руки и чешутся на басурмана...»

Но ни об чем не говаривал Зарубаев столь хорошо, как о графе Суворове, с которым служил долго, которого видел в Польше и в Туретчине... Но полно пересказывать вашему благородию чужие рассказы; лучше скажу о том, что сам я видал. Вот, извольте видеть, прошу о внимании: однажды сижу я в канцелярии; слышу такой шум, крик; бегу, смотрю: толпой все высыпали из казармы; офицеры обнимаются, солдаты в кружке около Зарубаева.

«Что такое сделалось?»

«Ура! — кричит он. — Радуйся, Сидор! Давно хотел ты понюхать из пушечной табакерки солдатского табаку да померяться лбом с ядром, кто крепче, — радуйся! Мы идем в поход!»

Тут узнали мы, что приехал курьер, и через три дня мы выступаем, и что батюшка наш граф Александр Васильевич нами начальствует. Вечером Зарубаев уже все узнал и рассказал нам, что мы не за себя будем драться, а за цесарского императора, и с таким народом, с которым еще не дирались, — с французом! Не умел он растолковать, за что дело стало, а только слышал, что французы, невесть с чего, вдруг разъярились, начали всех колотить, и пруссаков, и агличан, и цесарцев, так что не взмилился никому белый свет. И цесарский император взмолился нашему императору: «Ой, батюшка, отец родной, Павел Петрович, государь всероссийский! Смилуйся! Еще-таки управлялся я с французом, пока не было у него генерала Бонапартé, а этот меня совсем загонял. А теперь Бонапартé уехал за море бить эфиопов; а у тебя есть старик Суворов; пришли его, ради Христа!» Император и позвал тотчас Суворова и сказал: «Ну, Александр Васильич! Виноватого бог простит. Поди, спасай царей! Вот тебе моя армия. Надеешься ли?» — «Попытаюсь, — отвечал старик, — да с таким царем, как ты, почто не спасти!» Вот Суворов поклонился, велел заложить кибитку и поехал и нам велел идти на французов за цесарскую страну в итальянскую землю.

Не стану вам рассказывать, ваше благородие, как мы

радовались, как мы пошли, шли, шли, всю цесарскую землю перешли. Нагляделся я чудес и диковинок. Города каменные, домов по семи один на другой настроены, улицы узкие, сивухи русской и в помине нет, все виноградное вино да пиво; дороги, как улицы, мощеные — и грязи-то бог им не дает. Ну, а народ добрый, простой — только захоти, так и обманешь; и все бормочут по-своему — чудный такой язык! Хорошо еще, что Зарубаев нас подучил их языку, и мы так, бывало, и режем. Скажешь: «тринкать» и укажешь на рот — и несут тебе вина; выпьешь, скажешь: «гут!», а немец и рад, и смеется, и начнет тебе лепетать; а ты только подговариваешь ему: «гут, я» — то есть: «хорош я»; да уж если надоест очень, так и промолвишь: «Ты, немец, гут, а я, русак, гутее, а Суворов еще гутее». Тогда, бывало, немец снимет шляпу и поклонится: «О, Субарóв». Но итальянская земля, ваше благородие, еще мудренее: у них вместо нашей березы и сосны — лимоны да помегранцы; и зимы нет — такая земля, что не благословил ее бог снегом, и прокатиться на санях некогда и негде — и все такая теплынь, что потеешь, потеешь, бывало, да и тьфу ты, пропасть какая! Девки у них хороши, только все басурманки, поклоняются римскому папе и против русских дородностью не будут.

Вот мы ждем не дождемся, когда встретимся с французами; и потрушивали мы немного, хоть надеялись на бога и на Суворова. «Не знаю, ребята,— говорил нам Зарубаев, когда мы у него спрашивали,— нечего на душу греха брать, не знаю, что за народ, не случалось драться. А уж что они хуже русских, за то голову прозакладую, хоть они матушку-репку пой!» Кручинило нас и то, что мы еще не видали нашего Суворова.

Будто теперь смотрю — было в апреле месяце, через три дня после Егорья, ночью подняли нас с лагеря. Был тогда у нас генерал Петр Иванович Багратион; выстроил нас в ряды; сам выехал перед фрунт — нос такой большой, голос резкий, мужественный; начал говорить; мы закричали: «Рады стараться!» Сам он кликнул охотников, и пошли мы все. Ночь хоть глаз выколи; подошли к реке... Как бишь она?.. *Адá, Едá*, забыл... Залегли мы все на берегу, и начали наши инженеры мост мостить. Французы и не заметили этого, а мы к свету как грянем по мосту да на них... То-то пошла потеха! Кто бежит, кто дерется, кто кричит: «Пардон!» Тут и страх пропал. «Эхе! — говорил Зарубаев, смотря на пленных,— да этот народ хуже турка, а еще туда же, лезет драться с русскими!»

Но это было только цветочки. Скоро узнали мы, что французы лихой народ. Было это в мае месяце, жара такая, а вместо отдыха мы ходили взад да вперед, по-немецки, потому что немцы до тех пор не бьются, пока не выберут места, откуда можно отступить, если сила не возьмет, — уж такая у них повадка. Старику Суворову не нравилось это, но что делать! Назвался груздем, так полезай в кузов. Наконец выбралась душа на свободу: слышат немцы, что отовсюду идет француз, испугались, а Суворов и начал по-русски — повел нас прямо. Тут в первый раз я видел Суворова.

Все мы стояли в строю, и я глаза проглядел — так хотелось видеть этого отца солдатского, и я представлял его себе еще выше нашего Багратионова. Вот я слышу, режут: «Ура!» И мы крикнули, и едет... Ах ты, господи боже! Из див диво: стариченцо, худенький, седенький, маленький, в синей шинели, без кавалерий, на казацкой лошади; поворачивается в седле направо, налево, а за ним генеральства — гибель. Но как он подъехал, как заговорил, так я и узнал: отчего солдаты его любят? Все поняли мы, о чем говорил он, и так сладко и так умильно говорил он, что когда он снял шляпу, начал молиться Николаю Чудотворцу, мы готовы были и плакать, и смеяться — подавай по десяти на одного! Уж не по приказу, а от души кричали мы: «Ура!»

На другой день рано утром вывели нас, молодцов, поставили. Солнышко только что всходило. Посмотрю кругом — туман, полки, артиллерия. «Где ж неприятель?» — думал я и узнал, что дело не то, как ночью мы перешли по мосту. Сперва началась жарня на левой стороне, словно гром, так и перекачивается. И вот вспыхнула деревенька направо, там налево; туман пронесло — пожар разгорался, пальба крепчала. Тут я, правду сказать, почувял пушечную лихорадку, стою и дрожу. Особенно, когда вдаль пошли в атаку, и нам видно было, как один из русских полков бежит, за ним гонятся французские уланы и гусары, а другого и не видно стало вдаль — он, как печь, горел в дыму, в полыме от беглого огня. Тут поволокли мимо нас раненых, изувеченных — они стонут, воют; иной ползет и просит: «Приколите, ребята!» Наконец дошла очередь и до нас; в первый раз услышал я, как запели ядра над нашими головами, и нас стало вырывать целыми десятками. Мы дрогнули, особенно наша братья, небывальщина, — боязно, хочется посторониться от нежданного гостя — да иной наклонится, а его и следу нет —

кровь, мозг брызгали со всех сторон! А между тем нам кричат одно: «Держи строй! Смыкайся!» Зарубаев стоял подле меня; пальба редела так, что уж ничего не было ни слышно, ни видно, — только будто из темной тучи впереди сверкал огонь, а грому от пушек потому не было слышно, что кругом все скаталось в гром — земля дрожала — свету преставленья!

«Сидор! — сказал мне Зарубаев. — Ты дрожишь?»

«Виноват, приятель, дрожу!»

«Дурак! Если на котором ядре твоя смерть написана, от того ядра ты нигде не спрячешься, а которое не тебе назначено, так всегда пролетит мимо! — В это время над головой загудело у нас ядро — я неволей присел, а Зарубаев захохотал. — Кланяйся, посылай весточку на родимую сторону; уж оно далеко...»

Не успел докончить он слова, как меня всего обсыпало землею, сшибло с ног, я упал, вскочил, шупаю: цело ли ружье — цело! Слышу знакомый голос... Зарубаев лежал подле меня. Я наклонился к нему.

«Ну, Сидор, прощай, брат! — сказал он. — Учись умирать по-солдатски — видишь, как! Твори молитву, вытянись в последний раз, явись к богу молодцом, и как спросят на перекличке у господина, отвечай: «Лег за матушку-Россию и за веру православную...» Господи помилуй!..»

Кровь текла из него и душила его... Тут, видим, сам Багратион наш выскакал, командует: «Вперед!» Все рванулось вперед, и не знаю, как вам сказать, ваше благородие: крик, пальба, бежишь, спотыкаешься на мертвого, топчешь живого — барабаны, пушки, треск, стон — вдруг шаркнули в нас картечью; слева хватили гусары — народ валится один на другого — я упал; на меня попадала целая грудка товарищей — слышу, как ездят через нас лошади... Но — жив, опять тихо, тихо — я выкарабкался и вижу, что немного наших егерей стоят, заряжают ружья — впереди наши русские открыли пушечную пальбу, такую, что не приведи господи — куда устоять — ветром несло дым на французскую сторону, и французы бежали к реке, а вдогонку их провожали ядрами! Как одурелый, бросился я к товарищам. Нам тотчас скомандовали, примкнули нас к другому полку, велели рассеяться, идти вправо, в огонь, где горела деревня, — мы бросились через сады... Что за сады такие: лимоны, померанцы, виноград, все, что у нас господина в оранжереях да в теплицах берегут! И поверите ли: весь страх у меня тогда пропал — точно как на кулачном бою — только допусти, господи, до

врага-собаки — у! — и в огонь и в воду! Французы сильно стреляли из-за огородов; мы ломали огорожи, лезли. Ох! была тут потеха — натешилась душа! Чего тратить казенные патроны! Ближе к делу — прямо через загорожу да штыком... Сробеет! Ведь не русский!

Но тут увидели мы, однако ж, как говорили после и самые старые солдаты, что французы мастера драться. Ведь с самим графом Суворовым три дня тогда дрались они; а потом, разумеется, побежали, давай бог ноги! Еще бы с Суворовым да русскому уступить!

Таково было первое дело, где я попался в самую суматоху и вышел цел. И это меня так ободрило, что потом, истинно, я не похвастал бы перед Зарубаевым, если бы сказал, что не кланяюсь ядрам. Но Зарубаева уже не было на белом свете — жил славно и умер славно! Мы все жалели об нем... О себе бы лучше пожалеть... Что за радость теперешняя моя жизнь: с деревяшкой маюсь, а Зарубаев уж лет двадцать как отслужил богу и государю, да и спокоен. Рвалось у меня сердце, когда потом поганый француз пришел к нам на святую Русь; когда слышал я, как он запленил матушку-Москву, ограбил соборы православные, поругался святым иконам, — хотел было хоть в фурлейты проситься... Ну, и без меня управились. Несдобровал француз проклятый, замерз в наших русских снегах! Хорошо было ему драться в тепле, в итальянской да в немецкой земле...

Проходил здесь отставной солдат, поразговорились мы, и порассказал он мне обо всем... Эх! Не было меня, старика, как батюшка наш царь Александр Павлович давал баталию под Липским — с горя плакать хочется! Что наши суворовские баталии перед этим побоищем? Игрушки! Ведь одних пушек было, ваше благородие, две тысячи! И надобно было дать такую баталию, чтобы порешить этого колдуна Бонапартé. Недаром его боялись цесарцы.

Правда ли, ваше благородие, будто теперь отправили его за море, за окиян, на кипучую морскую пучину? Что-то не верится! Ведь, наше место свято, говорят, он антихрист, и скоро настанет кончина мира, и он опять выйдет? Смотреть на мир и на людей, так кажется, это неправда: люди каковы были, таковы и есть, и знамений пришествия антихристового, о которых читал я в книге преосвященного Стефана Яворского, еще нет.

А знаете ли, ваше благородие, что я видел Бонапартé, ей-богу, не лгу, видел, как вас теперь вижу. Извольте, я вам расскажу. Если бы мне стать рассказывать все, что

видать случалось, где я бывал, что слышал, — ночи-то мало бы мне было, а оно и без того уж не рано. Вот уж и *Сохатый* на небе хвост поворотил, и *Кычиги* шарахнулись на утро...

Поплакали все мы, солдатуськи, как услышали потом о кончине графа Суворова, упокой господи его душу! После того полно драться — заржавели ружья, заплесневел порох. Лет шесть прошло, как воротились мы в Россию. Наше дело солдатское, не нам рассуждать; но как слышали мы разговоры командиров и начальников, так иногда, бывало, толкуем между собою — так и рвется ретивое! Этакую вольность взяли себе эти французы! Забыли, как бегали перед Суворовым, и, смотри пожалуй, воротился Бонапартé из Эфиопии — уж он и *император* — уж и Цесарю взял за себя — и пруссака смял — и Италию заполонил! Наконец ударили поход — слава тебе, царю небесный, утешителю, душе истинный, что внушил такую мысль православному царю земному! Пошли мы по знакомой дороге в немецкую землю, опять с нашим генералом Багра-тионовым, суворовским ученичком...

Вы, конечно, слышали, ваше благородие, обо всем, что происходило и в цесарскую, и в прусскую войну: до самого замирения под Тильзитовым? Говорят, будто были у цесаря изменщики, а я так думаю по своему дурацкому рассуждению: грех да беда на кого не живет. Если Бонапартé и не антихрист, так все-таки он колдун. Что он был заговорен от пули, в этом уж меня ничто не (раз)уверит. Этак выдумали: не заговорен! Да как бы он укрылся от двадцати народов, пока еще не покорил их, когда каждый человек из этих народов целил в него чем попало? Не мое дело толковать об этом, смекайте сами. А вот видите.

Когда наш генерал Леонтий Леонтьевич Бениксонов показал Бонапартé, что русак не пруссак и что зимой русский еще лучше дерется, по пословице, что русскому здорово, то немцу смерть, и наоборот — Бонапартé рад был помириться и такой лисой прикинулся, что наш великий император Александр Павлович поверил ему. Любо-дорого было смотреть, как они тогда помирились. Такой диковинки долго не увидит другой, какую мы тогда видели. Народ, который пришел драться и губить друг друга, и бог весть откуда пришел, — тут было десятка полтора разных народов, — вдруг поладил, помирился, обнимался. Небольшая текла тут речушка, Неман. Александр Павлович сказал Бонапартé: «Твоя сторона, Бонапарт, будет левая, а моя правая; ты будто там хозяйничай, а я будто здесь; ты ко мне приходи в гости на эту сторону, а я к тебе стану

приходить на ту. И коли уж друг, так друг: ты не бери с собой стражи, и я не стану брать с собой». Бонапартé сказал: «Ладно, государь император Александр Павлович! Изволь, будь по-твоему!» И начались такие пиры, гулянья, что на одном пире по двадцати королей да королев бывало.

Наш полк славно отличился в последних делах, а в награждение велено было нам содержать караулы у самого государя императора. Однажды стою я с товарищем на часах у самого входа в ту комнату, из которой входят к императору... Уж, разумеется, поджилки дрожат, ваше благородие: император Александр Павлович был такой добрый до солдат, да ведь *император*, то есть *земной бог*, ваше благородие, нельзя не побояться, хоть рад душу за него положить! Смотрю: двери, что против меня прямо, растворились настежь; наш русский генерал какой-то вытянулся в струночку и разговаривает с каким-то генералом — ну, этот не наш, да и не пруссак; приятелей-пруссаков мы уж по мундиру различать научились — нет! не пруссак, да и такой неуклюжий, плотный, невысокий; и мундир на нем такой чудный: брюхо все наруже, без перетяжки, и по краям обложено белыми широкими выпущками; шпажища предлинная; в руках шляпенка маленькая, низенькая; сапожищи такие страшные, за колено. Поговорил с генералом нашим да через комнату к нашей двери, скоро, скоро таково. Вижу, что особа должна быть высокая; сделал честь ружьем. Он остановился да на меня, прямо таково, уставил глаза... Ну, поверите ли, ваше благородие: так вот морозом обдало всего — волосы подстрижены в кружок, лицо такое медное, а глаза... Ах ты, господи! Дня три потом мерещились они мне, такие страшные, так и сверкают, как будто уголь, черные, красные, желтые — и бог знает какие! Будто кто-то шепнул мне, и я тотчас подумал: «Ведь это сам Бонапартé!» А он мне, не с того слова, указывает на дверь, что к государю-то, и говорит так скоро, скоро, как будто сердито, или бог уж его знает — да и на каком языке, господь ведает, — он, чай, все языки знал, а слышалось мне, будто по-русски: «Тут император?» А я таково скоро: «Тут, ваше императорское величество!» Он усмехнулся и прямо туда, подошел, да потихоньку и стучит в дверь. Дверь отворилась. Сам император наш Александр Павлович показался в дверях и как увидел того, что пришел-то, будто удивился: «А!» — да и заговорил с ним по-ихнему. А этот сам заговорил — лопочет, лопочет императору что-то, да все таково скоро, — а император-то все этак ему руку трясет да кланяется,

и оба, знаете, так будто улыбаются, и ушли в кабинет и дверь заперли.

Это был сам Бонапартé.

Тут прибежало много генеральства, и нашего, и всякого, и начали бегать по зале, говорят между собой; а один с такой звездишей ко мне и говорит: «Лампърёр?» Ну! Уж я смекнул, что не может выговорить хорошенько: «император», и говорю: «Там, ваше превосходительство, в кабинете». А один из наших генералов подошел ко мне, да и шепчет: «Дурак! Ведь это король!» А почему мне было знать; тогда королей-то собралось в одном месте не один десяток. Все они ушли опять и двери затворили. Через час времени этак выходят и наш император, и Бонапартé; что-то смеются и все говорят; тот все лопочет скоро, скоро, а наш император только подговаривает: «вуй, вуй!» И стали ходить по комнате — и пошли вместе, сели на лошадей и поехали вместе. — Наш государь, знаете, молодец собой, такой красивый, высокий, дородный, да и одет-то уж как... А на того посмотрю с искоса и думаю: «Ох ты, окаянный! Так это ты-то Бонапартé? Штучка-невеличка, да куда бойка, — да каким ты шутом одет...» Право так, ваше благородие, право так...

После того вскоре нам сказан был поход в Россию, только не туда, где я бывал до тех пор, а все на полночь. Шли мы, шли; спрашиваем: «Господи! Да будет ли конец? Неужели нашей матушке-России и предела нет?» Ваше благородие! Бывали ль вы туда, дальше за Петербург? Вот уж сторонка! Мы шли в эту сторону через нашу немецкую землю, да через чухонскую, да через латышскую и пришли за Балтийское море в северные горы, где нам объявили, что началась война с шведом. Зима была такая холодная, а сторона, какой я еще и не видывал — гора на горе, все каменные; река выше реки: течет, течет, упадет с камня, да опять течет, будто река, и опять упадет с камня, и опять течет. Целая крепость вырублена там из камня, с пушками, и с стенами, и с воротами. Дороги все были занесены снегами, и как мы шли походом, так впереди лошадей сорок тянули перед нами деревянный треугольник, а то и проходу не было — снег по груди; лес со всех сторон; увидишь деревушку, так в ней неприятель; руки мерзнут, да делать нечего — заряжай да работай штыком по колено в снегу. Стойкий народ эти шведы; куда лихи драться — уж не попросит пардона; та только на них беда, что народу-то у них мало. Кажется, наши генералы были молодцы: Багратионов, Кульнев, — а часто, бывало, Кульнев закусит

свой длинные усищи да только зубами скрипит, а взять нельзя — жжется!

В этой стороне наслужил я недолго, ваше благородие, и шведская пуля подписала мне отставку. Недаром есть поверье, что уж если кто долго служит и в поле бывает, да у него хоть немного крови не выпустят, так ему несдобровать: либо положит свою голову, либо расплатится дорого! Так сбилось и со мною. Хранил меня бог до тех пор; ранен я не был ни одного раза, хоть комплекта три товарищей переменял, и иногда, бывало, посмотришь: немного, немного остается моих первоначальных командиров и приятелей! А в это время — уж пусть бы на сраженье, и сердце бы не болело — а то... поди ты, устерегись, когда уж рок такой придет, — заблудящая *пуля-дура*, как говаривал наш батюшка Суворов, разжаловала меня в инвалиды.

Шведы засели в одной деревне, стояли ловко; наконец мы выбили их штыками, разделили на три отряда, и генерал приказал нам гнать их по трем дорогам, отнюдь не давая соединяться. С утра до вечера наша рота преследовала один отряд; изморились мы до смерти. Шутка ли: верст десять, что шаг, то остановка, что пригородок, то стрелок, что дерево, то пуля, что загородка, то работа штыку! Наступила ночь. Мы остановились ночевать в маленьком селении, оттуда все жители убежали; распорядились мы по-своему — развели огни; кто варил и ел, что найти успели; другие стояли на отводных караулах, на ведетах; третьи повалились, кто где смог; неприятеля не было нигде вблизи, но нам не велено было раздеваться. Прошло не знаю сколько времени, — вдруг — тарара! тарара! — заговорил барабан — вставай! Неприятель! Все поднялось, схватилось за ружье; слышим впросонках — пили-паф, пили-паф! Перестрелка. Мы выбежали из избы, где спали, — ночь темна, как вороново крыло, — бросаемся на улицу, глядим — сверкает огонь из-за огородки, уж в самой деревне — и там, и тут, и здесь! Как прошел, откуда взялся неприятель? У страха глаза велики, да спасибо, русский солдат страха-то в глаза не видывал — только первую дурь надобно было нам стряхнуть.

«Ребята! — закричал капитан. — Не стрелять! Засветите деревню — не трать пороху — штыками очищать, где засел неприятель, — вздор! Это забеглый народ какой-нибудь!»

Тотчас затеплилась деревня, будто свечка восковая, мы пошли на выстрелы — стрельба умолкала, утихала, — при свете пожара увидели мы, что в разные стороны бегут —

там швед, там другой, — скоро вся рота наша выступила из деревни, — светло было, хоть деньги считай... И в самом деле оказалось, что это десятка два шведов сбились с дороги, деваться им было некуда, и они решились враспloch схватить нас — такие сорванцы! И успели бы, да не на тех напали. Казаки, бывшие при роте, пустились за бегущими. Но я уж не видал, как расплачивались товарищи с забияками за нечаянную тревогу.

Когда бросились мы на выстрелы, вижу — с полдесятка шведов: за забором полуразломанным стояли они и метили вдоль улицы; огонь изменил им, и от пожара протянулись длинные тени их по снегу. Туда, на забор, через забор — бац! Пули засвистали — чувствую, что-то тепло в ноге, хоть и не больно, — штыком повалил я одного шведа, но другой хватил меня прикладом по голове — я упал и тут только увидел, что сапог у меня полон крови и снег весь покраснел подо мною; товарищи бежали по двору за бегущими. Я хотел подняться, не мог, упал, а в это время с обеих сторон жарко загорелись строения; бревна падали; забор пылал. Я хотел кричать, но ничего не было слышно от треска огня, барабанного боя, пальбы; и — наконец все затихло — ничего не стало слышно — огонь окружал меня со всех сторон — снег таял подо мною от жара — я полз на руках, волоча ногу за собою, и скользил в крови и снегу. Наконец перетащился я через огарки и бросился на улице в груды снега, чтобы затушить шинель свою. Думаю: «Вот тебе — подстрелили, да еще и изжарить хотят, собачьи дети!» Тут стало мне холодно; я дрожал и, наконец, потерял память...

Когда я опомнился, то увидел, что уже день; что нас трое лежат в чухонских санях; чухонец погоняет лошадь, а казак погоняет и его, и лошадь. Весь я был как разбитый; санишки такие тесные, длинные, словно гроб, и мне привелось лежать в самом низу, товарищ мой сверху был такой тяжелый, что я не мог пошевелиться; чувствовал, как пальцы у меня захватывало морозом, а простреленная нога горела, будто головешка. Кое-как вытащил я руку, ощупал верхнего товарища — он охолоделый, мертвый. Я начал кричать казаку и чухне, чтобы выкинуть этого тяжелого товарища. Чухна оглянулся и не отвечал ничего, а казак кричал только: «Молчи! Недалеко!»

— Ну, Сидор! терпи, будь молодцом! Ведь уж что сделалось, того не воротись. Умереть все равно. Читай-ка «Отче наш» да «Верую».

Нас привезли в полк и сдали в гошпиталь.

«Как? Еще!» — вскричал лекарь, когда меня втащили в комнату и положили на кровать.

«Этак их ночью-то перепятнали!» — Он закурил трубку, подлил из бутылки в стакан свой, стоявший перед ним на столике, хватил добрую и сперва подошел к одному из привезенных со мною.

«Ну! С этим толковать нечего — ему надобен не я, а надобно царство небесное! Эй! неси вон!»

«Ну! Ты что? — Он подошел к другому.— Ба! Это швед — погоди, приятель, дай сперва пособить своему...»

Он подошел ко мне:

«Что у тебя?»

«Нога, ваша благородие».

«Только бы не голова, а ногу приставим. Да у тебя обе ноги целы?»

«В левой, кажись, пуля — смертно болит!»

«Еще солдат не без чего, а хнычет!»

«Больно, ваше благородие!»

Лекарь осмотрел мою ногу, поднял голову, крикнул, оборотился к помощнику.

«Эй! Инструмент, бинтов!» — закричал он.

«Ваше благородие!»

«Что ты?»

«Аль хотите отрезать?»

«Разумеется. Видишь, как ты надурил: ведь нога-то твоя ни к черту не годится!»

«Помилуйте, ваше благородие! Заставьте вечно богу молить: вылечите так».

«Трусишь?»

«Не трушу, но какой я без ноги царский слуга,— вылечите так!»

«Садись! Что много калякать! — Он засучил рукава.— Эй! Инструменты!»

Уж если б можно было, дал бы я этому живодеру оплеуху, да сил-то не было. Я решился в последний раз показать себя молодцом. Куда больно было: словно жилы тянули из меня; а как начала пила скрипеть по кости, всякий волосок у меня становился дыбом на голове, будто плясать собирался.

Бух! Нога отвалилась.— Прощай! Поминай, как звали. Наш полковник вошел в это время.

«Еще операция? — вскричал он, сердито смотря на лекаря.— Слушайте: вы будете отвечать мне за вашу охоту резать руки и ноги без толку... Да что это? Ты, Сидоров?»

«Я, ваше высокоблагородие!»

«Эх, жаль, брат, жаль тебя, жаль молодца!»

«Жаль, ваше высокоблагородие, того, что не удалось умереть молодцом».

Полковник поцеловал меня в голову, отвернулся, вынул червонец и отдал мне.

Как было не порадоваться, видя такую честь?

IV

С полгода провалялся я в гошпитале и вместо двух ног вышел из него с полутора ногой да с деревяшкой в придачу.

На даровых подводах привезли нашу братию, калек, в Петербург. Мне предложили место инвалидное в Петербурге, но я просил отпуска на родину. И вот подписали мне указ: бороду брить, милостыни не просить. Первое-то так, а второе-то как бог велит.

Видите, ваше благородие, — пока лежал я в гошпитале, делать-то было мне нечего, я раздумывал все про старое и все вспоминал, что со мной бывало с самого ребячества. Вспомнил я родину, мать, брата, Дуняшу; вспомнил, что уж лет дюжину и в голову мне не приходило, — вся эта старая дрянь вдруг полезла мне в помышление, и так захотелось мне повидать родное пепелище, и показалось мне, будто Дуняша моя еще жива и обрадуется мне, и мать жива, и брат жив. Штыком работать нет способа, а за сохой ходить еще смогу, хоть на моих полутора ногах. Долг исполнен; верою и правдою отслужил Сидор государю и отечеству; можно ему отдохнуть.

Милостивые командиры надавали мне денег, так что купил я себе лошаденку с телегой и отправился домой.

Долго ехал я, ехал — видел и Москву. Наконец однажды под вечер завидел вдали деревнишку родную, остановился, стал оглядываться. Как будто я и не выезжал; как будто лет пятнадцать, которые прошатался я по белу свету, только вчера совершились! Так же солнышко садилось за дальний лесок; так же ночь подымалась слева черною тучею; так же вечерняя птичка щебетала, словно прежде. Деревня наша была прежняя: те же дома, та же грязь, тот же питейный дом с елками, и так же толпится подле него народ, как прежде! Мне сильно захотелось повидаться со всеми поскорее, поздороваться со знакомыми, спросить о своих, и я прямо привернул к питейному.

«Здорово, ребята!» — вскричал я.

«Здорово, служивый!» — отвечали мне.

Я посмотрел на народ — кой черт! никого не узнаю: все новые рожи! Я и забыл, что прошло пятнадцать, двадцать лет. Кто был в мое время старик — того уже не было на свете; кто был молодец — тот поседел и состарился; кто бегал мальчишкой — тот уже давно был женат, и у него бегали мальчишки.

«Что ты смотришь, служивый?» — спросили у меня.

«Да смотрю: нет ли из вас знакомых?»

«Знакомых? А ты откуда? Из Корочи, что ль?»

«Нет, подальше».

«Аль из Курска?»

«Нет, еще подальше».

«Куда ж ты плетешься?»

«Домой».

«А где твой дом?»

«Да где найду добрых людей, а родина моя здесь».

«Здесь? Как так?» — Меня окружили.

«Тьфу, пропасть! Ни одного старого знакомого. Аль все перемерли?»

«Да ты кто такой?»

«Сидор бывал, Карпушкин сын».

«Сидор! Будто это ты?» — вскричал какой-то седой старик.

«Да, я. А ты кто?»

«Эвось! Не узнал Фомки Облепихина!»

«Будто это ты, Фомка, лихач, кулачник, забияка?»

«Будто это ты, Сидорка, разбойник, плясун, песенник?»

Мы глядели друг на друга.

«Так ты воротился домой?»

«Да вот, видишь — плясать уж не смогу; проплясал, брат, ногу!»

«Да, ты стар-старьем — этакие усищи седые; да и ка-лека...»

Сели мы на лавочку.

«Ну что: жива мать?»

«Нет, брат! Через год после тебя скончалась».

«А брат Василий?»

«Нет, брат,— прибрал бог!»

«А детишки его? Чай, уж теперь мужичье стали?»

«Да какие детишки?»

«Как: какие? Их было у него с косою десяток».

«Парней никого нет. Девки замуж выданы».

«Кто ж теперь в нашем доме живет?»

«Кто? Да на постое летом ласточка, а зимой вьюга гостит».

У меня долго недоставало сил спросить о Дуняше моей.

«Ну, а где ж моя Дуня?»

«Какая Дуня?»

«Да жена моя, дуралей!»

«Как ты все это помнишь, Сидор! Да ведь она умерла, кажется, еще при тебе? Что-то не пригадаю я хорошенько».

Пока мы разговаривали, все другие отошли от нас, и никому до меня дела не было.

«Пойдем ко мне. У меня баба все тебе припомнит и расскажет. Им ведь от нечего делать балясы точить, — а много, брат, времени прошло — куда много!»

Мы отправились с Фомой. Старуха его все припомнила и рассказала.

Я узнал, что Дуняша моя едва могла воротиться домой и скончалась на руках моей матери.

«Умирая-то, все еще говорила она, будто тебя не в очередь в рекруты отдали, и все еще толковала, как она пойдет просить за тебя губернатора, — да и отправилась с этим в дорогу немного подальше Курска».

Тут словно напущенное обрушилось на нашу семью: вскоре умерла мать; Василий худел, беднял, заливал горе зеленым вином, наконец таскался по миру с ребятишками и умер под тыном у питейного дома; девок побрали хорошие люди по рукам и повыдавали замуж, а ребятишки кто умер с худобы, кто разбрелся бог весть куда, так что и слуху нет; избушка, где мы жили, развалилась. Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, однако ж в двадцать лет успеет много его наделаться. Вся почти деревня переменила хозяев, раза два горела, строилась, но опять была она по-прежнему, и хозяйева такие же, как прежде, только не те, что прежде были.

Напрасно старался я узнать: нет ли хоть кого-нибудь из племянников в живых, и куда они раздевались... У мужика память коротка: что за неделю сделалось, он не помнит, — а двадцать лет? Куда тебе! Коли хозяин дома умер под забором — о домочадцах не спрашивай. «Аще не господь созиждет дом, всеу труждается зиждущий, и аще не господь хранит град, всеу бдит стрегий!»

«Варвара! — говорил я жене Фомкиной. — Не можешь ли ты указать мне на кладбище могилы Дуняшиной?»

«А! — отвечала Варвара. — Какой ты затейник, Сидор, — будто ты вчера ушел из нашей деревни: спрашиваешь о том, что за двадцать лет делалось, будто это за

неделю было! Ну кто теперь из тех, кто твою Дуняшу помнит, остался в деревне? А кто и остался, куда припомнить: где ее положили? На кладбище — говорить нечего об этом, — а чтобы найти могилу, так рассуди ты сам: сколько после того похоронено народу, — чай, раза три перерывали его сплошь от одного конца до другого...»

Тут почувствовал я, что на концах усов моих что-то мокро, — схватил рукой — слезы капали из глаз моих и падали на мои седые усы.

Хозяева поужинали и ложились спать. Я сказал им, что залягу в своей тележке; но я не лег спать, а пошел бродить по деревне.

Ночь была светлая, ясная; все звездочки небесные высыпали, как солдаты на генеральный смотр. На земле было тихо, так что листочек не шелохнется, а на небе еще тише; люди спали мертвым сном, и мне казалось, что я пришел из могилы, с того света выходец, лет через сотню, не нахожу уж ни родных, ни привета. И все умерли в моей родине, умерли все, кого знавал я прежде, — умерли дети их, умерли внуки; я бродил по опустелому домовищу, где когда-то жил я, жили и другие со мною.

Прибрел я наконец и к домишку своему. Да видно было, что он был теперь уж не *мой* и не *наш*, а *божий*. Пустырь с полынью, крапивой, лопушником; и на нем избушка, кровля провалилась, окон нет, вся покривилась, держится на гнилых бревнах, избоченясь, будто смеется и плясать хочет.

Так грустно стало мне... Пойду лучше туда, где есть знакомые жильцы! «Здорово, родные! Шевелись, ленивый народ! Выходи на свиданье! Вставай, узнавай Сидора, Федя! Дуня! Мать! Брат!»

Но они не шевелились и молчали. До Страшного суда определено было им, единожды навсегда, молчать. Тут и горе и радость, все тут, все присмирело и улеглось. Садись на могилу, думай и толкуй себе что хочешь.

Варвара правду мне говорила, что кладбища я не узнаю. И мертвые, как живые будто, провели это время в суеде мирской: все у них было взрыто, перерыто, будто друг у друга отнимали они дома; старые кресты сваливались, новые ставились.

На другой день отслужил я панихиду, подал по душе матери, брата, жены, сына и стал думать, что мне с собой делать?

Мне только оставалось *дожить*. Калека безногий! Не мне уж было, одинокому сироте, думать о том, *как* дожить!

Участок поля, который некогда принадлежал нам, был продан давным-давно братом Васильем за штоф вина. Заводить тяжбу с земляками — солдатское ли дело? Да и к чему мне участок? Да и каково станут смотреть после того на меня? Ну, да и чем мне выиграть тяжбу, коли правду сказать?

По милости царской хлеб насущный у меня был. Подумал, подумал я...

Когда на другой день расхотелся я по деревне, таково грустливо стало мне...

Ну и то, ваше благородие, как увидел я, что за народ мои земляки! Никто ничего не слушал, что я им рассказывал; никто не слышал ни о батюшке Суворове, ни о Бонапартé, ни о Финляндии, ни об немецкой земле... Пропадите вы, собачьи дети! — И я запряг свою лошадь и поехал к тестю.

Его давно уж не было на белом свете. Дуняшины сестры были такие старухи...

И бродил я потом по чужбине, пока нашел приют здесь, далеко от своей родины. А таким, изволите видеть, образом нашел я его, что нечаянно встретил полкового нашего священника; а ему приятель был священник ближнего села, и этот священник принял меня, видя, что я бегло разбираю церковные книги. Начал я звонить на колокольне, читать Апостол в церкви, петь на клиросе. За то взъелся на меня дьячок — хоть я не отнимал у него ни кутьи, ни хлеба. А будто в церкви божией петь да читать запрещено всякому, кто хочет? Священник рад был мне пособить — да ему не ссориться же за меня с дьячком? Тогда открылось место писаря в Становой. Спасибо, отец Алексей постарался; меня определили, и поселился я здесь между добряками хохлацкими. Право, хороший народ, ваше благородие. И так вот усердно слушают, когда что-нибудь им рассказываешь. Здесь теперь редкий мальчишко не знает о Суворове. А это все я им порассказал!

Иногда мне кажется, будто нога у меня еще цела, будто я могу пошевелить ее пальцами, подымать, двигать ее. Так иногда мне кажется, будто все, что бывало со мною на белом свете, был сон, что я все еще по-прежнему мужик и со мною Дуняша, и Федя, и мать... Иногда мне кажется, будто все еще я солдат, с батюшкою Суворовым в цесарской земле, либо с Петром Ивановичем Багратионовым в прусской стороне, либо с генералом Кульневым в этой снеговой чухонской стороне, которую поглядел я, да расплатился за то ногой...

Вот и Петра Иваныча Багратионова нет; и старого генерала Розембергова нет — какие были молодцы — и генерала Кульнева нет — царство им небесное, вечная память! Отцы были солдатские!..

А уж жаль, что эта окаянная деревяшка не дала мне воли идти под матушку-Москву...

Однако ж поздно, ваше благородие! Заговорил я вас. Спокойной ночи желаем и здравия желаем — отвел я с вами душу — поговорил...

И он заковылял на своей деревяшке; вдали раздавался голос его; он пел: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю, к тихому пристанищу притек, вопию ти»...

Голос умолк. Все затихло. Еще долго сидел я на том месте, где слышал его рассказы, — мне было так грустно... Но в двадцать лет грусть непродолжительна — это легкий ветерок, который рябит прозрачное лоно вод и через мгновение разлетается под небесами песенкой птички...



ДУРОЧКА

I

Москва, Москва! Она близко — только одна станция отделяет меня от Москвы, милой, прекрасной, родной Москвы — да что мне до тебя, милая, старинная Москва! В Москве *она*, моя Паулина, и с таким же нетерпением скакал и мчался бы я в Колу, в Нерчинск, в Олонец, с каким скачу, спешу теперь в Москву — *там* — нет! теперь уже почти *здесь* — моя Паулина! — Здесь!.. О боже! Голова моя кружится; сердце мое бьется так сильно, как будто ему тесно стало тут, в груди моей...

Я не мог ехать далее — остановился на Черной Гязи, велел отвести себе комнату и вот уже целый час хожу, сижу, ничего не делаю, ничего не думаю. О чем мне думать? Одна мысль моя: *Паулина*. И на одну такую мысль не достанет мне вечности...

Какая-то глупая рожа приходила и спрашивала меня, не хочу ли я есть либо пить?

— Разве у вас останавливаются только для еды и питья? Нет ли у вас уголка, где живут только счастьем, только мечтою о счастье?

Мечтой! Что за вздор! Еще недавно оно было для меня мечтой, а теперь перешло в чудную сущность... О, Паулина! ты — *моя*...

С каким безумным нетерпением поскакал я из Петербурга и мчался опрометью всю дорогу, как бесился я на людей, задерживавших меня там, в их великолепном леднике, — они хотели, чтобы я замерз, как они... Бог с вами! Если за свободу мне можно откупиться золотом — возьмите его и дайте мне поскорее отогреться подле моей Паулины. Расчет верен, кажется: вам золото, мне — воля и Паулина!..

И как переменялись все мои отношения, и отчего? От мешка империялов.— За месяц, я погибал. Безнадежность счастья губила меня. Как тяжело было мне смотреть на мир божий, на людей, на радость! То не зависть была: такое отвратительное чувство для меня непонятно! Но тяжело мне было смотреть и видеть все таким счастливым, видеть неисчерпаемые источники блаженства в мире божьем, в жизни, в сердце моем и гореть адским огнем бесприветного горя. Медленной мукой томительной жизни видел я себя осужденным страдать, томиться до одинокой могилы или... не смею сказать!

И все изменила горсть золота!

Мне иногда приходило в мысль стать на колени перед людьми и благоговейно преклониться перед высоким доказательством небесного их происхождения.

Если оценить страшное увлечение очаровательного, звенящего демона, если оценить, что за него все покупают люди, что перед ним склоняются все страсти их, все приличия, отношения их, разрушаются все связи сердца, души, родства, дружбы,— как не трепетать: чего не сделают люди для золота? Как не благоговеть перед ними после того, что они так мало делают для золота? Что удерживает, что спасает их? Стало быть, есть в душе их что-то выше, то, что удерживает руку убийцы, терзает потом преступника более всякой казни? Есть оно и неистребимо в душе человека — его не отгонит оттуда звон золота, его не заслепит блеск роскоши, его не заглушит клик самых бешеных страстей! Иначе каждый червонец, блеснувший перед глазами нищего, был бы смертным приговором тому, у кого в руках этот червонец...

Я помирился теперь с людьми. Как легко мириться счастливому!

Зачем я остановился здесь? Неужели разрешать нравственные задачи жизни человеческой?

Нет! мое сердце было так полно чувствами, что я не мог ехать далее — мне надобно было передохнуть здесь — мир счастья душил меня! Мне надобно было облегчить душу мою думой, и я приехал бы притом в Москву ночью, и целую вечную ночь мне надобно было провести в одном с нею городе и не видеть ее — нет! невыносимо! Тут еще двадцать верст разделяют нас — в один час перелечу я их, и первый шаг мой в Москве будет к ее жилищу, первая встреча моя будет с нею... Святотатство любви было бы встретить кого-нибудь другого, кроме нее, идти не к ней первой...

Томительные часы охромели, не бегут, а кое-какковы-
ляют, кажется... Ночь длиннее лапландской зимней ночи...
Неужели в Москве изменился до того климат, что заря
загорается здесь в девять часов утра... но она *последняя*
ночь разлуки! Завтра я засну с радостною мыслью, что
с каждым днем могу я видеть мою Паулину... Пусть же она
тянется медленно, последняя ночь скорби... Она услади-
тельна для меня, как последняя капля горечи из сосуда
прошедшего бытия...

Я растворил окно. Какое чудное время, какая теплота
в воздухе! Милая ночь! Кажется, она ласкает меня, лелеет
меня... И вот говорят, что только в Италии знают прелесть
летних ночей... Я не знаю вашей «итальянской» ночи, но
там не может быть ночей лучше... И как кстати теперь
мрачное, грустное положение гостиницы, как будто для
того, чтобы прелесть земли не увлекала взоров моих от
неба, чтобы в небо только улетал мой взор с усладительною
думою души... Странное дело! но мне хотелось бы теперь
даже немного какого-нибудь горя — я встретил бы его
с улыбкой...

Дитя! Ты спасен из реки и опять не боишься играть на
берегу ее, кидать камешки по грозному пространству вод,
которое чуть было не поглотило тебя... Ты уже забыл те
страшные бессонные ночи, в которые ты даже плакать не
мог...

Припомни их... их *много* было! Ты терял в них счет...
Да, я содрогаюсь теперь при мысли, как близок я бывал
к отчаянию, и — сколько раз?

Нет! Теперь я остановлю брата моего, когда... когда
коснется душе его страшная мысль самоубийства! Я скажу
ему: «Остановись — не отчаивайся! Мир надежды беско-
нечен, как мир любви!»

Но была ли мне надежда? Никакой! Пропать делила
меня и Паулину...

Не знаю... Мне пересказать почти нечего, если бы кто-
нибудь спросил меня о прошедшем: я любил, я был любим,
и у меня не было даже и надежды назвать *моею* ту, кото-
рую любил я. Что ж тут необыкновенного?

Да что такое называете вы необыкновенным? Какая
ваша трагедия сравнится с зрелищем отца, в глазах кото-
рого умирает милый сын, матери, у которой голодные дети
просят куска хлеба, а у нее между тем нет куска хлеба...
И все повторяется каждый день в великолепном городе
вашем, да вы не видите, вы не знаете тех мест, где теснится
горе, где живут безотрадные матери с голодными детьми...

Сколько раз, погибая сам безотрадною тоскою, я бегал с Невского проспекта, далеко, туда, где скорбь и нищета гнездятся в глуши, далеко от глаз шумного света... Я был там среди братьи моей, среди таких же, как я, нищих... И как часто, идя по какому-нибудь грязному переулку на Петербургской стороне, думал я: «Друзья мои! я беднее вас! Не смотрите, что на мне не лохмотья надеты; зато вы не знаете, каким счастливецом мог бы я быть, если бы судьба уделила мне хоть немного так щедро разбросанного ею столь многим — вы *не знаете*, и — вы богаче меня...»

Если бы каждый, многие по крайней мере могли передать нам историю их душевной грусти — какой роман, какое произведение поэзии могли бы с нею сравниться? А между тем на гробе иного человека нечего написать, кроме слов: «родился... умер...» — год, месяц и число.

Легким облаком пролетает теперь у меня по ясному, светлому настоящему память о прошедшем... Но слава богу, что оно *прошло*...

Я помню, как умирал мой отец — я был тогда дитя, но я помню последние слова его, помню, как он говорил моей плачущей матери: «Неужели они не простят тебе и малютке нашему, когда уже меня не будет? Неужели они не дадут вам куска хлеба за то, что ты отдала руку свою бедняку и тем оскорбила горделивое, знатное родство? Дядя твой человек добрый...»

Но *добрый дядя* не явился к матери моей, когда умер отец мой. Честолюбие было непримиримо. Помню, как шел я за гробом отца, как мне жаль стало, когда в гроб его застучала земля; я не знал, что на земле бывает иногда тяжелее, нежели под землею. Праведному там легко. Страдальцу там отраднее...

И она умерла, и я остался бесприютен...

Зачем такие мрачные воспоминания пробудились в душе моей теперь? Мне было так сладостно и весело... но они — последняя память былому, грустному и тяжкому...

Если бы не такова была моя судьба, я не узнал бы тебя, Паулина... Пути провидения неисповедимы...

Только зачем так страдали и так безотрадно умерли отец мой и мать моя? Неужели за то, что он, благородный бедняк, осмелился любить дочь знатного и богача, и она отдала ему руку свою, спрашиваясь только у своего сердца, а не у богатых дядей и теток?.. Если бы он и она были теперь живы... моя жизнь и любовь моя и любовь Паулины вознаградили бы их за страдания...

Помню, как дядя мой не хотел видеть меня, но сделался



каким-то незримым провидением моей жизни, милующим и карающим по его желанию. Меня взял к себе отец Паулины; я рос и учился с детьми его. Там я увидел, узнал тебя, Паулина...

Как мне не любить тебя, Паулина, когда, узнавши тебя, я сведал первые радости жизни! С воспоминанием первых впечатлений юности моей, твой образ везде со мною, подле меня...

А когда в первый раз сказалось душе моей, что непостижимое чувство, сливавшее нас в радости и горе, заставлявшее нас делиться жизнью, — была любовь...

— Антонин! — говорил мне отец Паулины, когда однажды пришли мы к нему утром по обыкновению, — ты завтра поедешь в Петербург. Ты хорошо учился. Дядя твой доволен тобою. Но он хочет, чтобы ты был человеком деловым, порядочным, и если ты приобретешь себе место в свете, будущая судьба твоя будет обеспечена моим добрым другом.

— Неужели он не позволит мне теперь увидеть его?

— Он не хочет. «Тогда только, когда Антонин будет достоин любви моей, оправдает себя поведением, — я прошу ему и его матери — он будет мой наследник». Теперь ты будешь получать достаточное содержание. Вот тебе несколько писем в Петербург, по которым встретят тебя ласково и откроют тебе дорогу к будущему... Помни, что во мне всегда найдешь ты отца и друга. — Он заплакал, и мы все заплакали...

Этот день свят в моей памяти: Паулина и я поклялись друг другу вечно любить друг друга...

И, как орел в небо, полетел я в Петербург — *служить*. Голова моя горела мечтами славы и любви...

Через три года мне уже надобно было *отдохнуть*. *Достаточного содержания* едва доставало мне на вицмундир и на то, чтобы не замерзнуть зимою и не сидеть впотмах.

Письма, которые должны были *открыть мне дорогу к будущему*, открыли мне только двери в департамент.

Работа моя была тяжкая; отрады сердцу моему не было. Мечты мои опустили крылья. Я дичал и жил одиноким.

Я вырвался наконец в Москву и увидел ее. — Как переменялась она в три года! Вместо красивой девочки, веселой, резвой шалуньи, она была девушка чудная — украшение лучших обществ. Я не смел сказать ей «ты», я увидел всю свою неловкость — был глуп, неуклюж перед

ною. Я увидел в Паулине дочь богатого человека, блестящую, прелестную, очаровательную, а в себе — бедного чиновника департаментского. Меня по-прежнему ласкали — как доброго сироту, как знакомого семьянина; говорили мне, что я должен стараться быть честным, хорошим человеком, что мной довольны начальники... Растерзанный убежал я из Москвы...

Но я унес с собой сладостное убеждение, что она любит меня, любит... Мы не говорили ничего друг другу — я не смел говорить, — но я видел, что она меня любит...

С той поры прошло три года. Они были мучительны. Не знаю, какая безумная мысль — уравнивать свое образование с светским образованием Паулины — увлекла меня в большой свет... Нелюдимый с товарищами до тех пор, я завел знакомство, дружбу с ними. Между нами были светские шалуны — я подал им руку, и они увлекли меня за собою. Как не найти чего ищешь, и я сделался всегдашним гостем на раутах, вечерах и балах...

Но дорога была расплата! Как часто совестился я, видя себя в толпе бездушных щеголей, ужасался пустоты в великолепных, набитых народом залах и гостиных, пугался блестящих, светских женщин, которые издали, с высоты своей, казались так обольстительны... Ссора за *визави* в кадрили была лучшею моею рекомендациею у многих...

Но кровожадного червя, который глодал меня, грыз мне сердце и обливал его палящею кровью, никто не знал, кроме меня самого! Страшное чувство мое поймет только тот, кто бросился в свет, не имея на то ни прав рождения, ни прав богатства — других прав в свете не знают, и всякий, кто явится без них в свет, будет рабом его, рабом самым жалким, ничтожным, таким, что, как блага, будет он просить, как милости, умолять забвения, что у него есть душа, есть сердце, есть ум — просить, чтобы душа его заменилась эгоизмом, сердце бесчувственностью, ум приличиями... В большом свете, где все кажутся так равны, так равно веселы, так равно богаты, тма степеней разделяет людей, и нигде нет так низко и так высоко расставленных в глазах своих товарищей... Вы не знаете, что за иную из великолепных карет, которые подъезжают к подъезду бальной залы, заплачено так дорого, как не платят люди за высшее блаженство в мире; вы не знаете, что иного человека, так щегольски одетого, по приезде с вечера дома ждет бессонная подушка должника, что с бала могут отвориться для него двери в тюрьму, что после великолепного ужина грозит ему голодное завтра... Ужасна бедность, ужасно

унижение, везде ужасны они, но нигде они так не ужасны, как в большом свете. Не думайте, чтобы свет указывал на них — нет! — но если он не говорит, не думайте, чтобы он и не понимал, не знал их и, молча, неподвижный, бесстрастный, не давал чувствовать каждому своему страдальцу, что он все видит и знает... Боже! Когда все так равно, так весело становятся в кадрили,— бездна разделяет двух рядом стоящих партнеров одной кадрили и отчаяние сердца, позор бедности прикрыты у одного из них только модным фракком...

Но я был увлечен, я не мог возвратиться и все приносил в жертву кумиру светской жизни — страдал, терпел, забывал свои обязанности, вошел в неоплатные долги... Грозное письмо дяди напомнило мне, что скоро лишен я буду, может быть, насущного хлеба, — он сведал о моей рассеянной жизни... А куда мне было после того броситься!.. В Неву?..

Только немногими днями подарило меня провидение, немного дало мне дней радостных в ужасные три года: отец Паулины был проездом в Петербурге; он ехал с семьею за границу, и я увидел ее, и она изумилась, увидя меня. Мой внешний вид, мои приемы, мое обхождение показали ей во мне не прежнего неловкого чиновника департаментского... Она не стыдилась теперь любви моей — не стыдилась, видя меня подле себя... Три дня — и, к счастью, мы провели их не на балах, не в собраниях,— три дня мы были вместе, были счастливы...

Но взгляд Паулины снова раскрыл мне гибель сердца моего и страшное расстояние, разделяющее меня, бедняка, от нее — богатой, светской девушки. Неужели мне повторить историю отца моего? Никогда!

Окаменяющий взор отчаяния, когда я расстался опять с Паулиною, мог я отогнать только безумным рассеянием...

На другой день после того, когда тюрьма угрожала мне за долги, когда мне велено уже было подать в отставку, когда отвратительный эгоизм раскрылся мне во всех меня окружавших,— я сделался наследником всех богатств моего дяди... Меня уведомили о внезапной смерти его. Я даже не обрадовался тому сначала. Быстрый переход из отчаяния ко всему возможному на земле блаженству оглушил меня... Старик, старик! ты, томивший меня столько лет,— если бы еще несколько дней... кто знает? На все дары счастья, которые бросил ты мне из могилы, служил бы ответом полицейский рапорт: «Реченный Антонин N. N. прекратил жизнь свою самопроизвольно»... А какой рапорт подали бы мы с тобою там — в вечности?..

Слава богу! это *прошедшее*.

Но у меня волосы становятся дыбом при одной мысли... Спрашиваю сам себя: точно ли все прошло? Точно ли я близ Москвы? Точно ли я близко к Паулине?

Заря загорается на небе... Прочь все, что миновалось, — настоящее мое! Лошадей, скорее лошадей! В Москву, в Москву!

Как они изумятся, как *она* изумится! Она ничего не знает — на что мне было писать? На что было медлить лишним часом пребывания в Петербурге? Они подумают, что к ним явился прежний, бедный Антонин, а я — я вдруг предложу ей богатства мои — сердце ее принадлежит мне давно — тому шесть лет, как она сказала мне о том. После того ни однажды не смел я говорить ей, напомнить ей, но она меня понимала; ее взор сказывал мне все, чего не хотели мы говорить.

Колокольчик звенит! Какой виртуоз играл для меня когда-нибудь усладительнее этого колокольчика... Бегу, бегу!.. Мчись скорее, Антонин...

II

Вот чего я не ожидал — такой *веселой* встречи с Паулиной!.. Однако ж — мне досадно.

Чуть не загнал я чудную тройку моего ямщика на двадцати верстах; едва успел я кое-как одеться и чрезвычайно изумился, когда, подъехавши к дому отца Паулины, увидел ворота и окна запертыми — так еще было рано, что все спали в доме! Только старый дворник мел улицу. Он узнал меня и обрадовался мне.

— В Москве ли барин? — был первый мой вопрос.

Не нелепость ли: до тех пор не подумал я, что они могли уехать в деревню; но, слава богу, они в Москве.

— Неужели у вас еще спят? Барин всегда прежде вставал так рано.

— Со времени последней болезни он очень ослабел, — говорил мне старый Михайло, и подробно начал он рассказывать о болезни старика барина и о том, что он встает ныне очень поздно. Я готов бы был проговорить с Михайлом, пока все встанут в доме, если бы не спросил: «Здорова ли барышня?» — «Здорова, слава богу, но ее нет теперь дома — она гостит, — я побледнел, — у тетушки своей Пракскови Ивановны, которая теперь живет на даче, в Остань-

кове». Чуть не закричал я от досады. Прасковьи Ивановны Свистуновой я никогда терпеть не мог...

Что мне было теперь делать? Я пошел поспешно, без плана, без цели и сам не помню, как дошел до Кремля. Здесь я опомнился.

Странное дело. Теперь, когда оборвалась так неожиданно надежда, которою жил и дышал я в последнее время, мне было теперь все равно, раньше ли, позднее ли увидеться с семьею Паулины. И я принялся осматривать Кремль, как добрый провинциал, приехавший в первый раз в Москву, глядел на царь-пушку, на царь-колокол, полез на Ивана Великого... И когда я без всякого чувства смотрел на чудную панораму Москвы с башни Годуновской, внезапная мысль: «А может быть, она приедет сегодня утром в Москву, и теперь она уже дома? — так поразила меня, что я опрометью бросился с колокольни, чуть не свалился с лестницы и через полчаса был уже в доме отца Паулины.

Я нашел большие перемены в его столь знакомом мне доме: старая мебель была заменена наполовину новою, готическою; комнаты отделаны на новый лад; я не узнавал ни комнат, ни мебели. Старик также совсем переменялся. Полуразбитый параличом, он неподвижно сидел в своих креслах. Но он встретил меня по-прежнему.

— Верно, по командировке? — сказал он. — Надеюсь, что ты не тратишь времени по-пустому и не поневоле оставил Петербург? — Голос его выражал полуупрек.

Я понял, улыбнулся, засмеялся, уверил, что послан по делам в ...скую губернию. Совесть старика успокоилась. Он обнял меня.

— Что дядя?

— Вы знаете, что я получаю от него одно письмо в год.

— А я и того не получаю.

Начались разговоры о Петербурге, и скоро узнал я, что Паулина приедет сегодня вечером к балу, который дают в Дворянском собрании. Скоро простился я, отказался от обеда и вечером явился на бал. Кадрили уже начались. Тотчас отыскал я Паулину, и как не отыскать Паулины — спросите, посмотрите сами, кто первая в собрании? Это, верно, будет она.

Паулина танцевала с каким-то гусаром и так весело, так мило разговаривала.

Кадриль кончилась. Я бросился к ней.

— Боже мой! я вас не узнала бы, Антонин! Радуюсь, что вы здоровы и, кажется, веселы?

Я не смел отвечать. Новая кадриль. Опять гусар и опять разговоры с ним.

Бедная девушка! Как ее мучили приличия! Скрывая чувства, она почти не замечала меня. Гусар, казалось, увлекал все ее внимание. Что это за гусар? Он молод, хорош, богат, знатен — бальный человек.

Паулина вздумала рекомендовать нас друг другу, как будто ей хотелось оправдаться в глазах гусара, сказать, что я за человек и почему так просто мы разговариваем с нею; ей как будто хотелось сказать ему... Бог знает, что хотелось ей сказать...

Мы весело смеялись, но мне было досадно. Боже мой! так ли думал я встретиться?

И опять гусар и уже не на бале, а в доме, и как добрый, любезный гость, и я ни слова не мог сказать ей! Он в самом деле такой милый, такой ловкий... Да зачем он здесь?

Опять бал где-то завтра, и она осталась для того дома. А зачем же не осталась она вчера с полубольным отцом?.. Паулина! это мне не нравится...

С бала она уехала прямо в Останьково к тетке.

— Поедем туда; подышим свежим воздухом тамошних болот.

Прасковья Ивановна облапила меня, как добрый коршун, вопросами о Петербурге, о делах, о своем деле, о моей службе, и мне забавно было, что она говорит со мной, как с бедным сиротой Антонином, бедным чиновником. Она вынесла бумаги, заставила меня читать. Паулина возвратилась с прогулки с большим обществом, и — гусар опять был с нею...

Я готов был спросить: по какому праву безотвязная любезность его вечно с Паулиною?

Но, слава богу! я подглядел несколько взглядов, украдкою брошенных на меня. Ты думаешь, Паулина, я не заметил их? В них сказывалось мне твое чувство. С гусаром ты смеешься только, шутишь. Если бы я мог поговорить с тобою полчаса...

Я говорил с нею, я осмелился напомнить ей об нашем детстве, о нашей любви... Она слушала и молчала...

— Паулина! — сказал я. — Если бы я теперь осме-

лился потребовать от вас исполнения той клятвы, какую вы тогда мне дали...

Она посмотрела на меня с удивлением.

— Я не изменился, Паулина, семь лет я только и жил вами, только и помнил об вас; я люблю вас, Паулина, люблю страстно...

Она была в страшном замешательстве и ничего не умела отвечать. Но отчего она улыбнулась?

Разговор наш прервался приходом Прасковьи Ивановны.

— Что ж ты, Антонин, медлишь здесь, и что ты живешь в Москве? — спросил меня утром отец Паулины, когда я пришел к нему. — Вообще, в последнее время я слышал о тебе много такого... Ты, брат, и теперь что-то не по-состоянию одет... Это мне не нравится, Антонин! Мы с тобой поссоримся — я привык любить тебя, как сына, а ты чуть ли не зашалился... И ты еще посмеиваешься при моих словах!

Наш разговор прервала Прасковья Ивановна. Она сказала мне, что ей надобно поговорить со мною. Да что она за хозяйка такая сделалась в семье Паулины?

О чем хочет она «поговорить со мною»?

— Я уверена, что говорю с благородным молодым человеком, который помнит, чем обязан он здешнему дому, и потому охотно взяла я на себя обязанность объяснить вам неприличие ваших поступков. *Мы*, конечно, не обязаны требовать у вас отчета в вашей жизни и в том, как вы располагаете вашим *карьером*, хотя искренно желаем вам добра, но вы позволяете себе слишком короткое обращение с моею племянницею Паулиною, и *мы* просим вас вспомнить, что таким обращением вы можете повредить нашим семейным распоряжениям. Вы должны были заметить, что она почти невеста (Прасковья Ивановна наименовала гусара), и *мы* просим вас оставить мою племянницу в покое...

— Разве Паулина говорила вам что-нибудь?

— А разве ей было что-нибудь вами сказано?

— А разве она согласна отдать руку свою этому жениху?

— А разве вы имеете право спрашивать о том?

— Почему ж нет, Прасковья Ивановна? Я люблю Паулину; мы воспитывались вместе, и почему не могу я также быть ее женихом?

Прасковья Ивановна поглядела на меня с изумленным видом, помолчала, и потом сказала:

— Мы надеемся, что вы скоро оставите Москву?

— Нет! я жду здесь приказаний моего начальства и проживу здесь еще месяц.

— В таком случае *мы* просим уволить нас от чести вашего посещения.

Я поклонился, не сказал ни слова и ушел.

III

Несчастлив ли я? Не знаю — кажется, несчастлив? Но отчего же горесть не терзает меня и сердце мое не разрывается грустью? Презрение и негодование заменили во мне любовь и печаль.

Они уехали в свою подмосковную деревню. Я не мог видеться с нею. Она не старалась, не хотела, стало быть, видеть меня — она не любила меня, или тут есть какая-нибудь тайна. Боже мой! или я ошибался в ее чувстве? Это было легкое впечатление, привычка детских лет...

Я вовсе не грущу, но, однако ж, боюсь за себя. Такая пустота в душе, такая пустота вокруг меня. Она ужасна! Уеду в деревню свою, не выгляну на людей, не пущу их никого к себе. Я стар уже теперь добиваться почестей и служить. И то семь лет погибли у меня в Петербурге. А в Москве что мне делать?

Странное впечатление!

Мне надобно было повидаться и переговорить с одним из знакомых моего дяди. Я нашел доброго старика, не сказал ему ничего о смерти дяди, назвал себя, и старик припомнил, что он знал когда-то отца моего и мать. Мы разговорились как старые приятели. Беседу нашу прекратил какой-то незнакомец. Его синий старый сюртук, палка, зеленый картуз, лицо, походка, разговор — все бросилось в глаза мне, отвыкшему от таких оригиналов в Петербурге.

Мой оригинал подошел к хозяину, взял его за руку, посмотрел на него с минуту и сказал:

— В двадцать первый раз поздравляю тебя, поздравляю ли в двадцать второй — бог знает! — Слезы навернулись у него на глазах; он отворотился.

— Экая дрянь! — сказал он, утирая глаза.— Прощай до вечера! Я ведь к тебе со всеми?

— Разумеется; если бы Рудольф не приехал к старику Смыслинскому, у Смыслинского и именины были бы не в именины. Да куда ж ты спешишь? Постой!

— Некогда. До вечера!

И незнакомец ушел поспешно.

— Вы удивляетесь моему знакомому? — сказал мне Смыслинский.

— Совсем нет, но я желал бы знать...

— А вот видите — это добрейшее создание, какое только есть в мире, господин Рудольф; не дивитесь, что он так чисто говорит по-русски: Рудольф мой немец только по имени; отец его был лекарем, а сын родился и вырос между русскими. Он сам рассказывает, как он учился медицине, и славно было выучился, но совесть не допустила его сделаться медиком. Он пошел в статскую службу, не умел выслуживаться, и вот двадцать пять лет, как он в отставке, поселился в Москве, завел перчаточную фабрику, шьет и кроит перчатки и был бы счастливейшим в мире человеком, если бы не многочисленное семейство, не честность, не юношеская пылкость, которой не потушили в нем годы. Его обманывают, обкрадывают; он смеется и не заботится о том, говоря, что, слава богу, сыт. Пару морщин провели у него только в последние годы кой-какие семейные обстоятельства...

Словоохотный старик готов был рассказать мне всю историю своего старого приятеля, если бы я не перебил его вопросом, что значили слова: «Поздравляю в двадцать первый раз?»

— Значит то, что двадцать лет сряду он поздравляет меня с именинами и проводит вечер именин у меня. Надеюсь видеть вас также в числе добрых моих гостей? В восемь часов, даже и в семь, мы рады вам будем.

— Я боюсь быть в тягость...

— А почему бы так? Вы, молодые люди, попляшете, а мы посмотрим... А там и о деле поговорим...

Не знаю, что-то привлекало меня к старику и его приятелю. Мне в первый раз случилось увидеть такое отсутствие всех *форм*, что-то такое грубое, но честное и доброе, старинное дедовское — мне казалось, что я читаю Лафонтенов роман. Я пришел к Смыслинскому на вечер.

В добром был я расположении, и ничто не казалось мне смешным, может быть оттого, что мне так уж надоели великолепные *будуары* и салоны. Чистый, светленький мещанский домик, простота обхождения, простые лица,

громкий хохот, шутки, для меня непонятные, но не знаю чем смешившие все собрание, две скрипки и бас, затеснившиеся маленькую прихожую, гости, поочередно целовавшие всех и каждого, свой мир разговоров, молодежь в коричневых фраках с фигурными светлыми пуговицами, в жилетах с бархатными отворотами, девушки такие плотные, краснощекие, матери, сидевшие рядом, отцы, засевшие играть по грошу в бостон, пунш, поданный в стаканах,— ничто не казалось мне смешно. Весь собравшийся народ совершенно знал друг друга. Каждый из гостей отводил кого-нибудь в сторону и спрашивал обо мне, просто указывая на меня пальцем. Скрипки наконец запищали: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» — все, что могло плясать, стало в ряды, и, при топоте мужчин, началась кадрили. Соло было выделяваемо со всею танцорскою тщательностью. Обо мне забыли, и я мог наблюдать из уголка. К счастью, я был в сюртуке, отказался от танцев, и много мыслей пролетело в моей голове. Беспечное веселье, бог знает где, в Таганке, смесь образования, мод, лиц без страстей и выражений — и главное: чему они тут радуются, чем они тут веселятся? Вот что занимало меня.

«И неужели в этой толкотне ни одной души, ни одного сердца? — подумал я.— Мне знакомы блестящие гостинные и великолепные салоны петербургские, где сердце вытравлено, а душа изгнана, знакомы московские собрания, где то и другое заплыло жиром, а здесь, в таком собрании честных мещан и мелких чиновников московских, куда их девали?»

Против меня стала в кадрили какая-то пара. Кавалер был превосходный: молодой человек, завитый в цирюльне, в вицмундире, в пестром жилете, в манишке с фигурными складками, в замаранных желтых лайковых перчатках. Девушка, с ним танцевавшая, поразила меня чем-то особенным.

Лицо его не было красиво, но, рассматривая его, невозможно было осудить ни одной черты. Большие голубые глаза, с прекрасным выражением, когда она поднимала их кверху; свежее белое лицо; русые волосы. Одежда также отличала ее от других: на ней было белое кисейное платьице, так просто, так мило сшитое, без всякой пестроты, не гроденаплевое, не пестрое кисейное, не красное, как на других. Оно обрисовывало прехорошенькую талию; маленькая ножка в черном башмачке видна была без всяких претензий выказать ее. Девушка танцевала так легко, так просто. Но странность какая-то являлась у нее

беспрестанно и во всем. Едва начинал говорить с нею кавалер, она как будто пугалась, вспыхивала, потупляла глаза; кроме того, беспрестанно мешалась она в кадрили и краснела еще больше; казалось, она робеет чего-то, боится, рука ее дрожит. И только тогда, как ее оставляли в покое, никто не подходил к ней, никто не говорил с нею, лицо ее делалось милым, задумчивым, привлекательным.

Я обратился к моему соседу с вопросом, кто эта девушка.

— Это дочь Ивана Ивановича Рудольфа, перчаточного фабриканта, Людмила Ивановна.

— Она, кажется, премилая.

— Недурна бы, да жаль...

— Что такое?

— Она *дурочка*.

— Как дурочка?

— Видите — предобрая, преумная, много училась, но дурочка. Давно бы ей быть замужем, да она дурочка.

— Что вы разумеете под таким названием?

— Как вы изволите говорить, что такое, то есть что разумею? Я не понимаю вас. Спросите у всех, и все вам скажут, что она дурочка.

Девушка кончила кадрили и ушла в другую комнату. В сердце моем зашевелилось чувство, похожее на жалость. «Бедное создание! — думал я, — неужели в самом деле ты лишена ума, и твое милое личико прикрывает пустой череп?»

Она не выходила танцевать, хотя бал разгорался более и более; кавалеры стучали немилосердно, и пыль поднималась облаком, а от духоты оплывали сильные свечки по стенам. Я поспешил в другую комнату, где оставалось немного народа — несколько старух и несколько престарелых дев, которых не приглашают на танцы. Дурочка была тут. Она сидела в углу, задумчивая и, право, премилая. Голова ее склонилась на грудь; глаза были потуплены; два локона небрежно раскинулись по плечам; в руках держала она розу и общипывала с нее листочки. Мне пришла на мысль Стернова *бедная Мария*: так он видел ее, тихую, кроткую, безумную, с цветком в руке. Но Мария любила, страдала и потеряла рассудок, а ты, бедное, милое, хорошенькое создание, — неужели ты лишена природою того, чем отличается человек от животного? Ты дура — не сумасшедшая!.. Она тяжело вздохнула, подняла глаза к небу — они были прекрасны... Нет! не может быть, чтобы она была дура...

Мои размышления прервал приход Ивана Ивановича, отца Людмилы.

— Что ты здесь делаешь, Дурочка? — сказал он, потрепавши по щеке дочь свою.

Она смешалась, покраснела; мне показалось, будто на глазах ее навернулись слезы. Однако ж это бесчеловечно, отец, и вы, добрые люди! Если она в самом деле дурочка, зачем же выставлять ее безумие перед всеми? Зачем беспрестанно напоминать ей об нем? А если в душе ее сохранилось или пробудилось от ваших слов чувство потери такого отличия человеческого от животных... Страшно подумать!

Голова моя закружилась, и я ушел тихонько; мне несносно стало в собрании *умных* людей...

Что за вздор такой! Лицо Дурочки беспрестанно мерещится у меня перед глазами. Мне, право, становится так жаль ее...

Умный и *дурак*! Мы беспрестанно слышим эти два слова, но многие ли из нас думали над их значением? Не удивительно ли? Я замечаю, что я сам только в первый раз разбираю их порядком. Сколько раз дураками называли при мне таких людей, которые не имели только известных форм общественных. Разве Руссо не казался дураком в ряду бархатных маркизов и пустоголовых французских щеголей своего времени? Сколько раз встречал я ужасающую глупость в людях, прикрытых щеголеватыми фраками, и их никто не называл дураками. И они умники. А педантические парики, морщиноватые лбы стариков, пошлые приличия светскости, изученная важность столько раз заслоняли от людей пустоту — пустоту черепа совершенную! И кто не покажется дураком, если сильная страсть увлекает его? Какой поэт не дурак в минуты восторга? Какой любовник не дурак перед своей красавицей? И где различие между умом и безумием, по которому едва на цыпочках пройдет мысль человеческая? И что такое наш ум? Неужели все было освещено умом, что прыгало вчера вокруг бедной девушки? Ум, ум!.. Один толчок вышибает тебя из головы человеческой, и потом человеку дают микстуры, и он опять получает тебя, таинственный дар, и луч неба опять светится в нем... Я шупаю себя за голову и ничего не могу сообразить — а все она, эта *Дурочка*! Да не может быть! Она не дура. Люди не понимают ее; может быть, она страстно любит — несчастная страсть

сводит ее с ума — она не смеет сказать — препятствия, бедность разлучают ее...

Прекрасная мысль! Почему не быть страстям и в них, страстям сильным, пламенным, решающим на жизнь и смерть? Если только неравенство состояния, если только деньги разлучают ее с тем, кого она любит, — я дам им денег — пусть будет она *умна* и счастлива. В самом деле, у меня такое множество денег, и мне не надобны они. Я радовался было им, как божьему благословенью, я погибал, когда их у меня не было, а теперь — на что они мне... О Паулина, Паулина! как счастлив я был, и что ты со мной сделала!.. Лучше отдать их Дурочке — пусть они хоть одного человека на свете осчастливят...

Надобно узнать. Лицо ее так много мне говорило вчера — ее кроткая задумчивость, беспрестанное сознание своего сиротства, своего одиночества, своей... Нет! не смею сказать... И мне что-то намекал старик Смыслинский о *семейных обязательствах* Рудольфа...

Узнаю все. Мне даже досадно, если точно несчастная любовь дала ей название Дурочки...

Что, если бы она была просто дурочка? Она такая хорошенькая, такая тихая — я женился бы на ней. Теперь мне все равно. Паулина для меня умерла и другие не живут. Почему не быть мне счастливым с красивой дурой? Ведь берут же кукол вдобавок к приданому? А я сказал бы ей: «Целый свет отвергал тебя — один я не отверг тебя, Дурочка! Да, ты потому-то и мила мне, что ты дурочка, что в тебе нет ненужного людям, ненужного женщинам, хотел я сказать, чего-то такого, что называют люди *умом* и чего по сих пор они еще не определили». — И она любила бы меня, была бы подругой моего уединения, я был бы счастлив, уверил ее в нашем счастье...

Какие нелепости пришли мне в голову Паулина! прости меня! Но я хочу узнать ее, узнать, как нечто любопытное. Это, право, очень любопытно. И превосходный план! Хорошо, что я не сказал Смыслинскому о моем наследстве и не познакомился с Рудольфом; я притворюсь теперь дураком и бедным и посмотрю на тебя, Дурочка...

Чудо! Я не мог не засмеяться, смотря на себя в зеркало в моем новом наряде! Судите после того о людях по нарядности...

Решась познакомиться с Рудольфом и получше узнать мою интересную дуру, я вздумал одеться по-дурацки и отправился в Зарядье. Там, на большой доске, видел я золотую надпись: «Иностранец военной и протипулярной Партии Рахманов изъ Санпитебурха». Этот *Пар-тиои* одевает всех заезжих провинциялов, которые останавливаются в Зарядье и заказывают себе платья, какими щеголяют потом в своих городах. Иностранец из *Санпитебурха* оказался чистый русак.

— Зачем ты подписал на вывеске, будто ты иностранец? — спрашивал я его.

— Нельзя, сударь, — отвечал он. — Это как-то *поделикатнее*. Ну, кто бы из приезжих стал мне заказывать, подпиши только я «вечно цеховой»?

Мы составили совет, и мой русский иностранец решил, показывая мне картинку, которую выдрал из старого московского журнала, купленного им на толкучем рынке, что если мне одеться по-щегольски, так надобно цветной коричнево-табачного цвета фрак с бархатным воротником и желтыми пуговицами с бычачьими головами, желтый жилет с белыми отворотами и полосатые брюки. Прекрасно. Потом в Панском ряду накупил я себе манишек с манжетами, пуговиц на манишки с цветными стеклами, атласных деланных ошейников с большими бархатными бантами, купил толстую цепочку на часы, навесил множество печаток, надел зеленые перчатки. И когда цирюльник завил меня большими хохлами на две стороны, я не отличил бы себя от лучшего франта Александровского сада — так глупа сделалась моя рожа и так смешна стала моя фигура. Лучшим доказательством послужило мне то, что, когда явился я к старику Смыслинскому с ухватками провинцияла, он с улыбкой сказал мне:

— Э, мой почтеннейший! да, как вы *расфрантились!* А я ведь почел было вас *философом*, когда вы в прошедший раз виделись со мной!

Тут выдумал я, будто мой знакомый, большой экономайстер, заводит фабрику для выделки лайки, что ему надобен мастер, и прочее, и прочее.

— Да чего лучше, — сказал Смыслинский, — я познакомлю вас с Рудольфом; поедemте к нему. Что вы давно мне не сказали? Это по его части, и уж он тут все так хорошо знает и отрекомендует вам, и расскажет...

Через полчаса мы тряслись по неровной мостовой на *калибере* с маленькими рессорами московского изобретения. Нас завезли бог знает куда — к Спасу в Спасскую,

к Троице в Троицкую Калибер остановился у ворот деревянного домика.

«Зачем я здесь? — думал я.— Что за вздорные затеи? Чего я ищу?» — Плыви, моя лодка! Будь что будет!..

IV

Мы застали семейную картину, каких никогда я не видывал. Старик Иван Иванович Рудольф, в колпаке и в жилете, сидел подле круглого стола с большою трубою; подле него по обе стороны сидело человек семь или восемь мальчиков и девочек, а против него Дурочка; несколько книг лежало подле нее на столе. В Москве не знают колокольчиков и не запирают дверей — никто не докладывал об нас; мы вошли прямо. Дурочка поднялась было с места, но, увидя Смыслинского, ласково приветствовала его и села по-прежнему. Я скромно следовал за ним и почти не был замечен ею. Рудольф протянул руку не вставая, и, тогда как Смыслинский начал рекомендовать ему меня, Дурочка тревожно поглядела на меня, но я кланялся так неловко, глядел так смиренно, одет был так глупо, что она спокойно обратилась к своей книге и не занималась мной. Того-то я и хотел.

— Вот, брат, рекомендую, сын старого приятеля, Антонин Петрович, прошу полюбить — малый славный и добрый.

— Рад сердечно, полноте кланяться, садитесь-ка, будьте как дома.

— Ну, что ты делаешь?

— Да вот слушаю, как ребятишки учатся; ведь моя Дурочка на что другое не то, а на это молодец.

Она так мило усмехнулась.

— А вы, дети, учитесь? — сказал Смыслинский.— Ну, что вы? здоровы ли? Маман где? — продолжал он, обращаясь к Дурочке.

Она отвечала без замешательства, смотрела на него ясно, прямо и кротко унимала детей, которые то и дело шалили.

— Учитесь? — продолжал Смыслинский.— Ну, ты карапузик, говори: в Испании какой главный город?

— Мадрит! — закричало несколько голосов.

— Врете! Кострома!

Все дети захохотали.

— А кто построил стены Вавилонские?

— Семирамида! — закричали дети.

— Отвечай один кто-нибудь,— заметила им кротко Дурочка.

— Да чего им отвечать? Какая тебе Семирамида! Вавилонские стены строил Илья Муромец! Они все врут — вот чему вы учите их, Людмила Ивановна? а?

Все захохотали пошлым шуткам Смыслинского.

— Ты все прежний балагур,— сказал Рудольф.— А знаешь ли: я сам бываю всегда при уроке их в среду после обеда. У меня положено по средам, чтобы Дурочка читала им Библию и изъясняла значение того, что читает.

— Мы, стало, перервали вас,— продолжайте,— сказал Смыслинский.

— В самом деле! Продолжай-ка, Дурочка, а тут пришло так хорошо.

Дурочка оглянулась кругом, посмотрела на меня; я потупил глаза, сидел на кончике стула, вертел часовой ключик, и она начала читать трогательное место Евангелия, где Спаситель говорит о блаженстве за гробом, о том, что плачущие здесь утешатся там, что кроткие сердцем узрят бога, что блажен будет тот, кого поносят, изженут, и на кого рекут всяк зол глагол бога ради, ибо многая будет мзда его на небесах.

Нежным, немного дрожащим голосом прочитала она текст, стала переводить по-русски и объяснять детям значение слов и мыслей. Ах! как она показалась мне хороша, очень хороша! Мы все молчали; отец оставил трубку; дети смотрели на нее почтительно. Она говорила так просто, так понятно. Душа сказывалась в словах ее, и вдруг оробела она, как будто испугалась внимания нашего, испугалась, что так смело высказывает свою чистоту, прекрасную душу.

— На сей раз довольно! — сказала она и в замешательстве начала прибирать книги.

— Еще, сестрица миленькая! — сказала девочка с голубыми глазами и русыми волосами, бросаясь на шею к Дурочке.

Шум послышался в передней. Там раздался чей-то громкий, грубый голос:

— Самовара еще не поставили, а я гостей привела? Где же Дурочка?

— Э-э! гости! — вскричал Рудольф,— и моя благоверная супруга! Пойдемте скорее в кабинет!

Бедная Дурочка! Как она испугалась, побледнела, спешила убирать книги и стол. Рудольф убежал поспешно. Мы остались. Ввалилась толстая фигура, в пестром платье,

в оранжевой шляпке, и за ней вползли еще три женские фигуры.

— Что это значит? Что ты до сих пор делала? Где Палашка? аль Филька? опять пьян? Вы что тут толпитесь, огарыши?

Все это сыпалось скоро и быстро из уст первой фигуры, в которой я имел удовольствие узнать супругу Рудольфа.

Смыслинский начал раскланиваться, рекомендовал меня. Дурочка ушла в безмолвии. Дети в испуге убежали. Диван за столиком заняли гости. Мы ушли в ту комнату, которую хозяин называл кабинетом. То была каморка в стороне, с одним окном, где на столе лежало несколько бумаг, разбросаны были обрезки лайки, перчатки, а вокруг на стенах, на полках лежали перчатки дюжинами, и в углу на одной полке стояло десятка два истасканных книг. Хозяин надевал сюртук.

— Гости! — говорил он. — Дамы! Нельзя, братец, в халате! Извините! Прошу садиться!

Я обратился к книгам; то были старые издания Гете, Шиллера, Лессинга.

— Это еще остатки старые — все растерялось — возьмут почитать, да и разрознят, потеряют — теперь уже я Дурочке препоручил — все у нее... А вы знаете по-немецки?

— Нет! — отвечал я.

— А по-французски?

— Нет! — отвечал я.

— А знать языки не худо и по делам полезно, а иногда и от скуки считаешь, знаете, что-нибудь. Вот я Дурочке моей так уж запрещаю.

— А ведь она как хорошо толковала, — сказал Смыслинский, — ей-ей! так трогательно!

— Ведь пасторская внучка. То-то и беда, братец, что ума-то только в ней нет, а вот читать либо на фортепианах — так чудо, да и только!

— Ну, а мы ведь к тебе за делом. Садись-ка попросту. Видишь, вот этому молодому человеку препоручили...

Тут начались разговоры о перчатках, об лайке, о мастерах. Рудольф разговорился, постарался выказать все свое искусство и перчаточное знание. Тоненький, робкий голосок раздался за дверью:

— Папенька, пожалуйста чай кушать; маменька ждет вас... — Это была Дурочка. Рудольф продолжал еще толковать...

— Что это значит, сударь? Вас надобно дожидаться —

чай простыл! — раздался громкий голос из гостиной. Мы побежали на призыв.— Кланяйтесь, сударь! Мишель! не шали! Ты что там в углу забился, Гришка?

Такими словами встретила нас супруга Ивана Ивановича, сидя на диване и воеводства над чаем, который страшно тянули гости.

Хозяйка была неугомыма: говорила, ела, пила, мазала масло на хлеб, наливала, потчевала.

Мой Рудольф присмирел; грозно сыпались между делом брань, слова, сплетни, крики на детей, которые не знали куда деваться. Только один Смыслинский был неизменяем; он шутил, говорил, смешил всех...

А бедная Дурочка? Мне жалко ее стало, я не узнавал ее; она сидела в углу, бледнела, дрожала, закуталась в какой-то полосатый платок, и я сам испугался, когда от грозного возгласа мачехи она уронила и разбила чашку... Глаза супруги Ивана Ивановича страшно сверкнули. Умоляющий взор мужа обратился к ней.

— *Пошла вон!* — вскричала мачеха... Дурочка повиновалась.

Мне горько стало смотреть на тиранку доброго семейства. Я взял шляпу, просил позволения прийти еще раз и ушел...

Две недели живу я в Москве, и не странно ли? Меня развлекло, заняло семейство Рудольфа, перчаточного фабриканта. Смыслинский рассказал мне семейные обстоятельства своего знакомого.

Он женился уже в немолодых годах, на немке, дочери пастора, также немолодой девушке. У них родилась дочь; то была Людмила. Мать ее умерла вскоре потом. Иван Иванович поплакал, увидел необходимость хозяйки в доме и пленился дородною дочерью соседа, секретаря уездного суда, Федорой Савишной. Брак их был благословен полу-дюжиной или больше деток, и Федора Савишна вскоре умела сделаться хозяйкою вполне. Все затрепетало перед ней, и муж стал первым рабом ее. Удивительное дело: он даже так привык к своему рабству, что умел уверить себя, будто он счастлив в семействе, и добрый нрав и простой ум свой умел примирить с вздорливым нравом, охотой к гульбе и неопрятности по хозяйству своей супруги. Федора Савишна первая открыла, что маленькая Людмила — *дурочка*, и вскоре согласились с нею все домашние, все

соседи, все знакомые, и наконец согласился сам отец. Имя Дурочки заменило имя Людмилы. В самом деле, она всегда была молчалива, не умела ни говорить, ни стать, ни сесть и только водилась с маленькими братьями и сестрами, которые любили ее, как послушную служанку. Тетка Людмилы, содержательница пансиона, уговорила отца отдать племянницу ей. Людмила прожила у тетки несколько лет и только подтвердила в пансионе название Дурочки. Ни на одном экзамене она не отличилась, ни одной награды не получила. Все подружки любили ее, всем услуживала она, поправляла, подсказывала уроки. Тетка определила ее наконец гувернанткой в пансионе своем, а Людмила все-таки осталась дурой. Тетка умерла. Дурочку взяли домой; она сделалась управительницей кухни и хозяйства, учительницей сестер и братьев, а все-таки называлась Дурочкой.

— Да почему же так? — спрашивал я Смыслинского.

— Да потому, что она дурочка. Ни слова сказать, ни отвечать не умеет, чуть только чужой человек, и готова заплакать, если на нее поглядеть пристально. Дурочка, сударь, она, а какая хозяйка — и предобрая. И сватались за нее, да посмотрят — и в сторону! К тому же у бедного Рудольфа нечего дать в приданое, а куда ныне невесты без приданого? И Федора Савишна любит-таки помотать и одеться, а ведь Дурочке-то ничего не дают; она сама на себя выработывает.

Несколько раз являлся я после того у Рудольфа и, к счастью, ни однажды не заставал дома Федоры Савишны. Мы скоро сблизились с Иваном Ивановичем. Я нашел в нем, точно, доброго, но какого-то нелепого человека. Смесь старого образования с животной жизнью в настоящем, безрассудная добродетель без всякого взгляда на жизнь и чувство ума, заглушенное мелочами жизни. Зачем бросила сюда такого человека судьба? Он мог быть не тем, что был теперь.

Дурочки я не понимаю, и мне досадно. Как безотчетно ее лицо, так как-то безотчетна она вся. Она совсем не красавица, но мало видал я таких милых лиц. Глаза ее *бывают* иногда так хороши, но обыкновенно они бесцветны; выражение дает цвет глазам. Когда нет мачехи, нет посторонних, она ловка, мила, даже не похожа на мешчан-

ку, и — не только мещанка, но трепещущая рабыня бывает она, когда есть гости или когда является мачеха. Страшное слово «Дурочка» она переносит равнодушно, откликается на него.

Мне кажется, что обстоятельства Ивана Ивановича плохи. Я придумал средство лучше сблизиться с ним; сказал ему, что у меня есть две тысячи рублей, которые желал бы я положить в какое-нибудь заведение, располагая перейти на службу в Москву. Иван Иванович предложил мне товарищество. Я просил его принять деньжонки мои из процентов. Это хорошо сблизило нас, и я сделался домашним человеком в доме Рудольфа. Дурочка смотрит на меня, как на Смыслинского.

Нет! не так, как на Смыслинского... Иногда, думая, что я не замечаю, она задумчиво устремляет на меня взор свой и долго глядит, и какое-то чувство как будто жалости, скорби какой-то тогда на лице ее. Если бы она могла понимать... Я продолжаю разыгрывать роль простяка, притворяюсь невеждой. Отец, думая, что я не знаю по-немецки, при ней однажды сказал немцу, своему приятелю, на вопрос, кто я:

— Добряк, честный, но простой малый! — Дурочка покраснела. Так и я записан в *дурачки* ими, умниками?

В другой раз тот же немец спросил у него при мне (Дурочки на тот раз не было):

— Я у тебя часто его выдаю? Или он жених твоей дочери?

— Нет! — добродушно отвечал Иван Иванович. — Какой жених! Он очень прост, да и не богат; куда же им, и как жить, и чем жить?

Я едва удержался от смеха, когда гость-немец важно прибавил:

— О, ja! ¹ — Немец был богатый кожевник, и я видел его дочку, которая почти так же высока и квадратна, как бочонок сельдей.

Может быть, так говорится и при Людмиле; может быть, ей приходит в голову: «Он такой же, как я, — дурачок; мы с ним родные! Нас бог свел!» И чувство дружбы и ласки выражается в словах ее...

Мне непонятны, однако ж, знакомства и отношения Рудольфа. Меня он не знает, а называет приятелем. На

О, да! (нем.)

допрос Федоры Савишны, из моих и Смыслинского речей, они составили себе понятие, что я бедняк, которому дает немного богатый дядя; что я чиновник, присланный по делам каким-то в Москву и решившийся остаться в белокаменной. Я хожу к ним, и обо мне не заботятся: мне ставят в похвалу, что я не пьяница, не мот, умел скопить деньжонков немного, и как ни глуп я кажусь,— я любезный гость их. Каковы же их гости! Бедная Дурочка — и при такой мачехе — нет! Она ни в кого не влюблена, и не дура она, а только одурела... А в ней есть что-то — я все еще помню ее на вечере у Смыслинского и потом, когда она давала урок братьям и сестрам... Но что мне до того? Так, ничего! — Она занимает меня — а что бы стал я делать теперь в деревне? Тоска, грусть убили бы меня... О Паулина, Паулина!

Забавные следствия!

Вчера пришел я к Рудольфу после обеда. Он спал. Дурочка сидела одна и что-то шила. Ласково, как обыкновенно, встретила она меня и просила подождать, пока проснется отец. Мы оба молчали.

У меня не доставало как-то духу играть мою роль простяка. Дурочка, казалось, была в замешательстве, в каком-то беспокойстве; грудь ее сильно волновалась, на щеках выступал румянец — она была так мила... Как будто что-то хотелось ей скрыть или высказать. Против обыкновения, она сама начала разговор.

— Долго ли вы проживете еще в Москве?

— Сам не знаю,— отвечал я.

— Я слышала, вы хотели определиться здесь на службу?

— Полагаю. Москва мне нравится.

— А Петербург не нравился?

— Нет, и он нравился.

Дурочка улыбнулась. В самом деле, я говорил довольно глупо.

— Скажите, Антонин Петрович, чем же вы теперь занимаетесь здесь?

— Я? Почти ничем.

— И вам не бывает скучно?

Тут был случай пуститься в комплименты, которые даже и глупость позволяет себе говорить, если не от нее только они и происходят. Но, право, я несколько не думаю

волочиться за Дурочкою, и теперь особенно; выражение лица ее было так детски простодушно, речи ее были так младенчески сердечны...

— Иногда очень скучно бывает,— отвечал я.

— Не потому ли, что вам нечем заняться?

— Правда, сударыня.

— Для чего же не приищете вы себе какого-нибудь занятия?

— Какого же?

— Например, чтение. Вот самое приятное упражнение.

— Я и то, сударыня, записался в библиотеку и читаю. Я люблю читать.

— Что же вы читаете?

— Романы.

— Это значит терять время по пустякам.

— Помилуйте! Да разве вы их читывали?

— Весьма немного, по выбору папеньки. Но есть столько полезных книг, которые вам надобно бы... Может быть, вам не худо бы прочитать... Мне жаль, Антонин Петрович, что вы вообще не любите ученья!..

— Сударыня! — сказал я с замешательством, — я любил бы его, но ведь меня не учили ничему...

— Начните сами теперь учиться.

— Мне будет стыдно.

— Никогда не стыдно учиться. Поверьте, Антонин Петрович, я принимаю в вас участие, как в родном. Папенька очень любит вас. Начните учиться. Начните читать полезные книги. Вам они понравятся.

— Сударыня! если вам угодно...

— Я желаю вам добра, — сказала она так добродушно, что и тени кокетства тут не было.

— Выберите мне сами что-нибудь.

— Вы согласны? — сказала она весело.

Послышался голос Рудольфа. Он вошел с своими обыкновенными шутками.

— Папенька! — сказала Дурочка, — я удержала Антонина Петровича.

— И хорошо сделала.

— Мы разговаривали с ним.

— О чем же?

— Он просит у меня книг

— Вот? Это новость — примись, брат, за книги — худо не будет! Давай-ка чаю да трубку, Дурочка.

Она весело убежала.

— Предобрая ты! — сказал старик, глядя вслед за нею. Он был теперь в добром расположении и начал говорить мне о пользе образования, о выгодах его, даже для службы. Пришли вечные гости его, немец-кожевник и еще немец-колбасник. Я стал прощаться. Дурочка подошла ко мне.

— Вы хотели, чтобы я выбрала вам книгу?

— Ах! сударыня...

— Возьмите вот эту книгу на первый случай.

То был «Робинсон» Кампе. Я взял его с поклоном. Но у меня недостало духу ни тогда, ни потом смеяться. Она хочет приучить меня к чтению, как дитя, и ее детское желание так просто и так добродушно в ней...

Чувствую, что свет еще не погубил души моей.

Я возвратил ей «Робинсона» через три дня и благодарил ее, уверяя, что многое тут было для меня совершенною новостью.

— Нет ли у вас еще чего-нибудь? Признаюсь, мне стыдно показалось, сударыня, что до сих пор читал я только романы.

— В самом деле? — радостно вскричала Дурочка.— Папенька! Это добрый знак — он полюбит чтение и станет учиться,— сказала она по-немецки отцу своему.

— И хорошо сделает! — был ответ старика.— Опять должен был я выслушать речь его о том, как полезно образование, даже и для службы. Дурочка вручила мне, кажется, «Детскую энциклопедию» какую-то.

Через два дня я принес ей микроскоп.

— Сударыня! — сказал я,— посмотрите! Такие чудеса я начитал в вашей книге и так мне стало любопытно, что нарочно купил я — и какие тут диковинки я увидел!

Радостно изумилась Дурочка. Она поглядела на меня пристально, как опытный ученый, взяла она потом микроскоп и целые два часа изъясняла мне, отцу и братьям разные чудеса так хорошо, так подробно. Теперь был мой черед изумляться.

Передача книг продолжалась.

— Для чего не учитеесь вы языкам? — сказала мне Дурочка.— На русском языке еще так мало книг написано...

— Вы говорили мне, сударыня, что не худо учиться языкам,— сказал я ей через неделю.— Знаете ли, что я беру теперь уроки немецкого языка?

— В самом деле?

— И уже начинаю читать...

— Ах! прочитайте мне что-нибудь!

Она подала мне какую-то учебную немецкую книжечку; я начал читать, нарочно ошибался; она поправляла меня — и, в забывчивом усердии, села так близко подле меня, что локон ее, скатившись с ее головы, касался лица моего — русый, прелестный локон, и пестрая косыночка небрежно свалилась у нее с плеча. Каждое душевное движение всегда оживляет лицо ее таким живым румянцем. Теперь оно алело от радости. Дочь природы! Она не умеет скрывать своих чувств, как другие. Прошло несколько минут, она оглянулась сама на себя, поправила локон и косынку и потупила глаза...

— Ах! сударыня! — сказал я, — учите меня, сделайте милость; я как-то у вас так легко понимаю...

— Вы шутите, — сказала она смеясь.

Новость о моих познаниях в немецком языке была пересказана отцу и заставила его восклицать:

— Bravo, bravo!

Теперь я учусь у Дурочки.



Она меня обманывала — эта Дурочка! Как ученик, оставаясь иногда с нею, когда нет отца, я заслушиваюсь речей ее — так увлекательно и умно говорит она. Не думал я никогда, чтобы молоденькая девочка, мещанка могла так говорить...

Но меня очаровывает при том в ней простота, добродушие, каких я также не видывал. Преступная мысль не смеет явиться перед нею...

Боюсь, чтобы мне не влюбиться в нее. Чувствую, что в тот день, когда не побываю я у моего перчаточника, мне уже чего-то недостает.

Мое положение становится затруднительно. Я должен выйти из моей роли простяка. Какое странное сцепление случайностей завело меня к Рудольфу! Могут открыть мое притворство. Чем оправдаться? Лгать? Из чего же? Я не люблю, я не могу любить ее... Боюсь любить кого-нибудь... О Паулина, Паулина! у меня нет сердца для других, после того как ты отняла и растерзала его...



— Антонин Петрович! для чего вы всегда так пестро одеваетесь? — сказала мне Дурочка.

— Вам не нравится?

— Да, мне кажется, черный фрак был бы лучше для вас.

Через два дня явился я в черном красивом фраке; Дурочка посмотрела на меня с изумлением и сказала:

— Как вам идет этот фрак — вы выглядите другим человеком!



Мечтательность, мне кажется, шестое чувство у немок, и Дурочка моя не изменила своему немецкому происхождению. Ее маленькая головка также кипит идеалами и мечтами.

Мы разговорились с ней об ее матери, которую она едва помнит, и я также едва помню мою бедную мать... Память об ней меня всегда трогает; наше сиротство сблизило нас; мы казались друг другу братом и сестрой. Я забылся и говорил так, что у бедной Дурочки навернулись слезы.

— Не может быть, чтобы из-за гроба не было нам ответа от тех, кого мы любили, кого мы здесь любим, и чтобы они в лучшей жизни забыли об нас...— сказала она.

— Но какой бывает ответ?

Мы заговорили о предчувствиях, сочувствиях, явлениях покойников, перешли к ворожбе. Дурочка всему верит, убеждена в своей вере и чуть меня не обратила в *духоверцы*. Она утверждала, что умом нашим мы тут ничего не разгадаем, и пересказала мне несколько повестей о том, чего человек никак изъяснить не может. Я спорил; она досадовала и ссылалась, между прочим, на общее поверье всех народов к чудесному. Мне хотелось доказать ей, что у русских нет таких поверьев. Вот случай, который пересказала она мне после того, когда я утверждал, что святочная ворожба наша — просто игрушка для русских девушек.

— Давно когда-то, в Новгороде, помнится, была у боярина или богача какого-то дочь-красавица. Она никого еще не любила, хоть все женихи на нее заглядывались. «Что ты, моя матушка, не погадаешь о своем суженом?» — говорила ей няня-старуха. «Я не верю гаданью», — отвечала красавица. «Как не верить ему, ма-

тушка: испытай; авось и тебе скажется твой суженый». Красавица согласилась. Около полуночи няня и красавица ушли в отдаленную комнату, постлали скатерть на стол, поставили два прибора, зажгли две свечи; красавица села на одном стуле, другой, против нее, остался для незнаемого гостя. Ударило полночь. Повеял легкий ветерок, и на стуле сел какой-то гость, мужчина, молодец собой, только такой печальный, что красавице грустно стало. Ей казалось, будто она где-то видела своего гостя, подумала она даже, что гость нарочно призван няней, и почти уверилась в том, когда гость подошел к ней, протянул руку и молча указал ей на дверь, как будто звал ее уехать с собою. Тихонько отрезала она лоскут от его богатого зеленого кафтана, встала, хотела подать ему руку, как вдруг запел петух, и гость пропал, будто его и не бывало. Красавица проснулась, видит в окно, что уже светает; свечи догорели; няня спит в стороне. Красавица подумала, что все то был пустой сон, но в руках ее остался лоскут, который она отрезала от зеленого кафтана суженого. Тут она задумалась и долго после того искала и не находила того, кого видела она во сне или наяву, сама она не могла сказать. Вот к отцу ее опять приехали свататься за красавицу. Она слышать не хотела. Отец говорил ей, что жених ее молодец, красавец, богач. «Пусть он приедет, — отвечала красавица, — я посмотрю». — Приехал жених, с большим поездом; красавица взглянула на него, затрепетала и сказала, что идет за него. Он был тот самый, кого видела она во сне. Свадьба была великолепная, долго шел пир. На другой день молодые стали собираться к отцу и к матери на красный стол. Муж красавицы задумался. «Какой кафтан надеть мне?» — говорил он. «Нет ли у тебя зеленого кафтана? Надень зеленый кафтан», — сказала ему красавица. Тут взгляд его сделался угрюм. «Я не надену зеленого кафтана», — сказал он. «Почему же?» — «Так. У меня сроду был один такой кафтан, да с ним какое-то чудо сделалось». — «Какое чудо?» — «Бог весть: только что сшили мне его; о святках я хотел его надеть, посмотрел: на кафтане прореха, точно как будто кто-нибудь ножом вырезал — мыши не могли так проесть». — «Что же ты сделал?» — «Не к добру показалось мне — я посоветовал с знахарями, и они сказали мне, чтобы я сжег кафтан, а не то быть худу». — «И ты сжег его?» — «Нет! он и теперь у меня цел». — «Покажи мне его, авось я наворожу тебе на него счастье». Муж и красавица пошли в кладовую, где хранились у него платье, конская сбруя и оружие. «Вот кафтан», — сказал

он, снимая его с гвоздика и показывая молодой жене. Красавица вынула лоскуток из кармана, приложила, и он как раз пришелся к кафтану. «Ты колдунья проклятая! — вскричал муж. — Ты заколдовала меня, недаром я любил тебя так сильно, что отбился от хлеба и соли!» Он выхватил острую саблю и с одного маха отрубил голову красавице.

— Что же? Из вашего рассказа я одно понимаю, что любовь может быть в самом деле колдовством и что прекрасные глаза точно нас приколдовывают.

Говоря, я смотрел на Дурочку. Слово «любовь» как будто испугало ее; она замолчала и задумалась.

В самом деле, мне кажется, что Дурочка меня приколдовывает каким-то чувством странным, непонятным. — Нет! оно очень понятно... Паулина, неверная Паулина! простишь ли ты меня? — Я люблю Дурочку! И почему мне не любить ее? Нет! я не хочу ни любить, ни влюбляться. Мое знакомство зашло слишком далеко; завтра же уеду... В чем пропало у меня несколько месяцев? Вступлю опять в службу, поеду в Петербург. Нет! Мне пора ехать в деревню... А мне хотелось бы еще раз встретиться с Паулиной... Где она теперь? Счастлива ли она?

Я простился с Рудольфом; сказал старику, что еду в Петербург и ворочусь скоро в Москву. Он обнял меня дружески. Дурочки на сей раз не было дома; не знаю почему, я порадовался...

V

Какая тоска, какая грусть в такой глуши, в степной деревне дяди моего! Хозяйством заниматься я не умею, и что за занятия в овинах и стогах сена? И на что мне деньги? И без того мне девать их некуда...

У дяди нашел я огромный запас хлеба и наливок и ни одной книги — я стал бы хоть читать, помня совет Дурочки... Что-то она теперь делает, милая Дурочка?

Невольно приходит мне в голову, что едва ли то время, которое провел я в знакомстве моем с Рудольфом, не было самым веселым временем жизни моей. Я забылся тогда в каком-то детском чувстве...

А ведь она мила! Любить она не может, но может сделать счастливым своего мужа. Не знаю, как люди женятся без любви и бывают счастливы, но счастливит ли нас любовь? А если она меня любит, с ее мечтательной головкой... Вот что пришло мне в первый раз на мысль!

Женщины — загадка непостижимая; любовь их еще более запутывает... Как любил я тебя, Паулина, и что ты любила меня, в том я не смею сомневаться... Но как мгновенно, как безотчетно, безмолвно разошлись мы с тобой, когда мне надобно было броситься в объятия друг друга...

Нет! ты не любила меня, Паулина! Зачем же так мучила ты меня?

Мысли мои бессвязны. Чувствую, что нынешнее житье мое, уединение, пустота души сведут меня с ума. Наступит зима, поеду в Москву, опять увижу Рудольфа и Дурочку, скажу ей, что я люблю ее; в самом деле, я ее люблю... как любят детские проказы и шалости. Но что же такое и любовь, и жизнь? Шалость...

Как? Быть накануне своего счастья, своего блаженства, а не знать о том? Для чего же, судьба, даришь ты нас и бедами, и радостями, не давая приготовиться ни к тому, ни к другому? Разве от счастья нельзя так же задохнуться, как и от бедствия умереть?

С чего мне начать? Как все случилось? И как весело, однако ж, отдавать себе отчет в нашем счастье, припоминать себе все его подробности...

Мне надобно было съездить в наш губернский город. Там познакомился я с нашим предводителем. Он звал меня к себе. Приезжаю, и — первый предмет, который встретил я у него, была Прасковья Ивановна. Вид этой женщины заставил меня испугаться! Как же изумился я, когда она встретила меня радостными восклицаниями:

— Что это, батюшка, Антонин Петрович? Вас ли я вижу? Сколько времени мы не видались с вами?

— Мне показалось, сударыня, — отвечал я, — что времени вы не могли заметить...

— Вот уж это грешно — помнить старое! Может быть, и точно, господь наказал меня, что я хотела перехитрить все умом своим и не видела руки его всемогущей, которая против воли ведет нас к добру...

Она утерла глаза платком. Тут только заметил я, что она в трауре.

— Сударыня! — сказал я, — вы кого-нибудь лишились?

— Да, господь не помиловал!

— Неужели Паулина... — Я не мог договорить.

— Нет! Мы лишились отца ее; наш добрый старичок отправился в царство небесное...

— По крайней мере, — сказал я отдыхая, — вы можете порадоваться на счастье вашей племянницы...

— Какое счастье? Видеть, как она крушится и умирает, что цветочек, скошенный на поле...

— Паулина? Что это значит? Разве ее супружество...

— Какое супружество? Вы меня удивляете. Неужели вы не слышали...

Тут помешали нам говорить. Я был как на иголках, смотрел на Прасковью Ивановну и не узнавал ее. Вместо гордой, нахальной женщины я видел смиренную, печальную старушку. Незнание о судьбе Паулины терзало меня... Тут только узнал я, что я все еще люблю ее... Едва мог я дождаться, пока можно было опять заговорить мне с Прасковьею Ивановною.

— Вы помните, что я, грешная, вздумала тогда располагать судьбою моей племянницы. Мои все были затеи. Гусарский ротмистр граф *** казался мне достойною партией; он был первый жених по Москве...

— Мне казалось, он был влюблен в Паулину...

— О! да как еще влюблен!

— И что она любила его...

— То-то и беда, что нет!

— Она его не любила?

— Каюсь — я располагала так, что всякая любовь то же для девушки, что куклы, которыми она играет в детстве; что Паулина подумает о том, какой блестящий *карьер* ей откроется, какую *прекраснейшую партию* она сделает... И что же, сударь, вышло? Думая, что все дело уже слажено, я приняла предложение графа, сказала Паулине, а она отказала мне начисто! Я рассердилась на нее, а она наговорила мне бог весть чего: «Хочу любить того человека, которому отдам руку, — хочу быть им любима...»

— Она говорила вам?

— Да, и так притом плакала, что я подумала: не влюблена ли уж она в кого-нибудь... Простите, я ведь с вами, как с родным говорю; привыкла считать вас семейнином...

— Сударыня... но Паулина...

— Она ничего мне не сказала, как я ни спрашивала се,— она только плакала, сделалась больна...

Я не смел спросить...

— Вот, графу мы отказали, хоть вся Москва дивилась такому отказу. Тут батюшка Паулины скончался — царство ему небесное! Немного осталось после старика. Любил пожить, да и семья большая — чего стоило одно воспитание... Я напомнила Паулине о графе, о том, как бы она была теперь богата и счастлива... Да подите переуверьте упрямые головы. «Богата была бы я, тетенька, — сказала она мне, — но не была бы счастлива — мое счастье не с ним!» — «С кем же?» — Вместо ответа она заплакала только и замолчала. «Но ведь теперь у тебя нет приданого... Ты бедная невеста...» Видите, я не сказала ей, что все мое именишко я уж укрепила ей — на всякий случай — час воли божьей неизвестен. У меня детей нет, а я люблю Паулину, как дочь, и пятьсот душ все-таки имение, так что если бы точно выбрала она по сердцу человека и у него ничего не было, имение не должно ее останавливать...

— Прасковья Ивановна! вас ли я слышу?

— Не так прежде я думала. Ах! горе, батюшка, и обстоятельства изменяют многое. И добрая Паулина, с тех пор как живет со мною, так переменяла она меня — какая ангельская душа...

— Вы живете в Москве еще?

— Нет! я рассталась с Москвою, а теперь еду туда окончить только разные делишки и навсегда потом поселиться в деревне моей...

— Но как же я имею удовольствие видеть вас здесь?

— Вы забыли разве, что деревня моя в сорока верстах отсюда; завтра я еду в Москву; зайдите ко мне, Антонин Петрович; Паулина рада будет вас видеть...

— Разве она здесь? — спросил я, едва удерживая трепетное движение сердца.

— Здесь, и мы не расстаемся с нею, и сколько раз она у меня спрашивала об вас... Она вас помнит... Ведь я не говорила ей о том, что так грубо и дерзко отказала вам от нашего дома. Паулина надивиться не могла, куда вы девались и почему перестали вы ходить к нам?

О! в каком ясном свете предстала тогда мне и как оправдалась передо мною Паулина, и как жаль стало мне бедной старухи Прасковьи Ивановны, которая так истинно сознавалась в вине своей передо мною...

Но я не смел еще верить, не смел даже думать... хотя из

слов старухи понимал... Видеть, видеть еще Паулину хотел я и увериться...

Ждать ли утра? В провинциях люди обходятся проще и сближаются легче, а может быть, завтра они уедут...

— Дома ли Прасковья Ивановна? — спросил я в передней.

— Их нет у себя, — отвечал мне слуга и вдруг закричал радостно: — Вы ли, Антонин Петрович? — Я узнал старого камердинера отца Паулины. — Откуда, сударь, вы взялись, неожиданный гость! Пожалуйте, пожалуйста. Барышня дома — она гуляет в саду — позвольте, я позову ее...

— Нет! — сказал я, — я сам пойду туда. И с волнением сердца пошел я в небольшой садик. Как встретимся мы с ней? Что она скажет? Неужели...

Я увидел ее; в черном платье, в простой шляпке, тихо, задумчиво шла она по аллее. — Она, все та же, чудная, очаровательная Паулина, но еще лучше, еще очаровательнее прежнего, в простом платье, с задумчивостью на лице. Она оборотилась и казалась изумленной.

— Вы не узнали меня, Паулина?

Она покраснелась, потупила глаза, тяжело вздохнула:

— Вас не узнать?

Как пролетели потом часа два, я не помню. Уже темно становилось, когда мы услышали голос Прасковьи Ивановны. Паулина ахнула, заговорившись со мною; она не заметила, что я держал руку ее и целовал ее прекрасную руку. Мы говорили о прошедшем, о летах нашего детства. Мы свиделись, как брат с сестрой. Паулина рассказывала мне о том, как надоела ей шумная жизнь московская, как рада она укрыться в деревню!..

— Вам ли могла надоест Москва? Вы царствовали там! — сказал я.

— Будто вы не знаете, что так угодно было моему папеньке; он не мог жить нигде, кроме Москвы.

Я хотел говорить, хотел броситься к ногам ее, сказать ей все, и не смел...

Мы пошли с теткой в комнату. Старушка была так говорлива, так добродушна; десять раз принимался я за шляпу и десять раз бросал ее.

— Вы едете завтра? — спросил я наконец.

— Рано утром. Мы теперь простимся с вами.

— Нет! — вскричал я вне себя, — я не прощусь с вами; мы не расстанемся более!

— Я вас не понимаю, — сказала с изумлением Прасковья Ивановна.

— Паулина! И вы не понимаете?

Она потупила глаза и закрыла их платком.

— Что это значит, Паулина? Вы плачете!

— Я начинаю понимать,— сказала с улыбкою Праксovia Ивановна.— Так не с ним ли ты надеялась быть счастлива?

Вместо ответа Паулина бросилась к ней на шею. Я упал на колени перед старушкою.

— Полноте, полноте, дети! — сказала она,— сядьте, Антонин Петрович; садись, Паулина! Избави меня бог противиться вашему счастью; теперь я понимаю, о ком вздыхала ты, Паулина, но подумали ль вы о будущем? — Жизнь, друзья мои, требует многого! — Паулина! ведь ты знаешь, что у тебя ничего нет.

— Мой Антонин ничего не потребует,— отвечала она.— Он беден, я также; он может служить, я могу работать. Он получит место...

— Ты — работать? — вскричал я.— Нет, нет! чудная Паулина! Тебе не надобно будет работать — я богат!

С изумлением взглянули на меня обе. Я должен был рассказать о полученном наследстве. Через несколько минут поцелуй жениха был залогом вечного счастья моей жизни...

VI

*Отрывок из письма графа *** к его приятелю,
в Одессу*

«...а в самом деле, милый Géorge, Москва охотница женить. Женитьба в Москве, что чума в Царьграде. Твой ветреный друг чуть было не попался в когти свах. Невеста моя была, в самом деле, хороша как, как... приищи сам сравнение. Клянусь тебе, что она была первая в московских собраниях, так хороша, что я завздыхался по ней, хоть сама она вовсе не охотница вздыхать, хохотала и кокетничала со мной и до того вскружила мне голову, что чуть было я не предложил красивому ее личику руки и сердца, и пустого портфеля, где у меня куча старинных грамот и страшный недород ассигнаций. К счастью, я скоро одумался, провальсировал с ней любовь мою; остатки моей страсти выдохлись на дороге до Петербурга; следы пропали в лагере под Красным Селом. Впрочем, как подле каждого яда природа ставит и лекарство, так и подле

невест всегда находится лекарство самое верное — *тетки*, должность которых состоит в изыскании средств показывать товар лицом. Не понимаю, как находятся еще дураки, которые попадают в грубые сети, какие расстилают им *тетки невест*. С усиленным просвещением такой способ сбывать невест непременно изменится. Лучшею забавою моею в Москве было заставляя работать умы теток, сбивать их с толку, путать и ссорить их между собою. У моей красавицы чудная тетка, какая-то *madame Свистунова*, *Драгунова* или что-то на то похожее. Тетушка работала на славу, и умею только я писать комедии, мой первый сюжет был бы: «Тетка, или Искусство сбывать племянниц». Воображаю себе, *mon cher* ¹ *Géorge*, как легко может попасть неопытный молодой человек и как легко женит его такая тетка на спазмах и мигренях в виде красивой невесты, с придачею душ, заложенных в ломбарде, даже — страшно подумать — вовсе без приданого, хоть невеста в таком случае похожа на выпитую бутылку шампанского...»

*Отрывок из письма Прасковьи Ивановны Свистуновой
к ее приятельнице, в Кострому*

...По крайней мере я недаром ездила, и, слава богу, *mon soeur* ², дело порешили и Полиньку пристроили. Худые времена приходят; на хлеб все недород, а на невест такое обилье; молодежи много, а женихов со свечкою ищешь — кто промотался, кто пошел в философы, кто сам ловит, как бы жениться повыгоднее, а не то чтобы по любви, как, бывало, ищут только сердца да души, а не приданого да душ. Уж этот мне граф ^{***}, примером сказать: чуть было не провел меня! Хороша бы я была, взявшись устроить участь Полиньки, да отдала ее за его гусарскую щегольскую одежду, когда у молодца-то есть ли, полно, что-нибудь, кроме сиятельного титула! Ведь только и ждала, что *предложение* сделает, а как после разузнала, так сама ахнула и руками схлопнула. За кого было приняться? Оставался *Фитюлькин* — малой бы и туда и сюда — ну, да ведь уж так глуп, *mon soeur*, из рук вон, а Курочкин проигрался начистую разбойнику Утюжникову. Правда и то сказать, что Полинька была сама чересчур бойка и ловка

¹ мой милый (фр.).

² моя душа (фр.).

и по три зимы являлась первою невестой; все разбирала да выбирала и *рисковала* было явиться на четвертую зиму в собрании. Боже сохрани! если бы из-за нее, да появилась какая-нибудь впервые — долго ли в засиделые попасть! А на расчеты была она плоха — все ветреничала и не помогала ни мне, ни отцу к устройству счастья и судьбы. Да и от старика отца, когда еще и паралич-то его не разбивал, толку было мало. Настоящий увалень, прости господи! О деле не подумает — только клуб да вист. Уж, кажется, во все глаза глядишь — и тут, право, ладу не приладишь, а эти люди сидят сложа руки да хотят, чтобы дочери их замуж выходили! Ну, как-таки им и об Антонине не знать, что малый наследство получил? Ныне уж и с сотнями появится, так с руками оторвешь, а тут ведь тысяча, да какой народ крестьяне, посмотрела я! После, как узнали, так на меня же вскинулись: «Ты прогнала его, ты отказала ему!» — Господи боже мой! как же не отказать было? С одной стороны граф, с другой голый молодец вздыхает, ездит, ухаживает и вздумал уж и поговаривать... Полинька стала жаловаться, что любовь этого подьячего ее *компрометирует*. Я ему и отшибла разом крылья — он пропал куда-то. Но если и была я невинной причиной, так успела потом и устроить все и в совести моей теперь чиста! Разведавши, что он живет в деревне, я очень испугалась. Долго ли до беды! От скуки женится на какой-нибудь деревенской пирожнице. Ждать было нечего; я вспомнила, что у меня там кстати деревнишка, не обленилась, взяла Полиньку, села в карету и поехала сама. Слава богу! все так устроилось, как я желала. Предводитель мне дальняя родня; я у него успела свидеться и, знаешь, подноровилась под характер нашего женишка, что он, как угорелый, тотчас и прибежал. Уж я тебе лично потом расскажу, как трогательно было, топ соеиг; как увидевши его, что он бежит, я не сказала дома, Полиньку послала в сад, будто гуляет, и его велела туда же провести. Полинька так уж умно тут себя вела, что он без ума стал. И как сказали ему, что будто едем на другой день, он и в ноги мне. Право, уж и я наплакалась, как было трогательно, топ соеиг! Поскорее просил сыграть свадьбу; вместо Москвы отправились мы в его деревню, да там и свадьбу сыграли. Жених на радостях просил меня уничтожить запись на имя Полины моего имени, а записи-то, правду сказать, вовсе и не было; я уж ему так сказала, чтобы не выставить ее вовсе без приданого. Полинька очень плакала, расставаясь со мною; ей хотелось в Москву, но я подтвердила, чтобы они

год либо два не выезжали из деревни. Пусть наглядятся друг на друга, и тем веселее будет им приехать потом, пожить и погулять. Ну, бог с ними! пусть себе живут да проживают — ох! бишь: наживают — ошиблась, тороплюсь отправить письмо... Обнимаю тебя, mon coeur!..»

VII

По Тверской или по Никитской, не знаю, катилась карета и остановилась у подъезда богатого дома. Лакей в галунах отворил дверцы. Из кареты выпорхнула прелестная, богато одетая дама, за нею вышел мужчина. Можно было биться об заклад, что то были муж и жена. Сидя в карете, он угрюмо прижался в угол с левой стороны; она глядела рассеянно в правое окно кареты; он спокойно смотрел потом, как лакей помогал даме выходить, тихо вылез, что-то проворчал на лакея и медленно поплелся по широкой лестнице, не думая догонять дамы, которая летела вперед перелетным ветерком. Звонok из швейцарской дал знать о приезде гостей. Хозяйка сидела в своей гостиной; подле нее стояла кормилица с маленькой дочерью на руках.

— Ах! какая малютка! какой амурчик! — сказала гостья, весело лаская ребенка, после первых приветствий. — У вас много детей, княгиня?

— Как же, есть с полдюжины!

— Покажите мне их! Хочу всех их видеть и расцеловать!

Княгиня дернула за звонок.

— Вели мамзель Рудольф привести сюда детей! — сказала она вошедшему слуге.

При сих словах, казалось, ожило лицо гостя, мужа красавицы. Он сидел безмолвно в креслах до тех пор, полусловами прибавляя кое-что к речам жены, которая смеялась и разговаривала с княгиней.

— А у вас, Паулина, нет детей? — спросила княгиня гостью, усмехаясь.

— Нет! — отвечала гостья, мило улыбнувшись.

Тут вошли дети княгини. С ними вошла молодая гувернантка. Она была девушка хорошенькая, стройная, одетая просто и мило.

Пока гостья ласкала и целовала маленьких княжон и княжат, муж гостьи с изумлением смотрел на гувернантку, как будто узнавал в ней что-то знакомое. Внимание,

движение его, видно, были чем-то необыкновенным. Жена его занималась малютками, а между тем взор ее успел скользнуть мимоходом по лицу мужа, обратился незаметно на молоденькую гувернантку, заметил бледность на ее лице и потом жар, вспыхнувший на щеках ее. Если без любви может быть ревность, если на прекрасном лице может выражаться злость, мы сказали бы, что взор гостыи-красавицы выражал то и другое. Улыбка не слетела с уст ее, но к княгине повернулась улыбка ее ласкою, а к мужу каким-то презрением.

Какая длинная история заключалась в мимолетных взглядах, которые незаметно бросили друг на друга три человека!

Муж казался в замешательстве и, как будто не зная что делать, неожиданно обратился к гувернантке:

— Mademoiselle Roudoiff... charmé... de vous rencontrer...¹

Она низко присела.

— Ваш папенька...

— Я лишилась его уже давно,— сказала она дрожащим голосом.

— Он скончался?

— Да, он умер уже больше года.

Княгиня с любопытством поглядела на гостя и на свою гувернантку.

— Вы знакомы с мамзель Рудольф?

— Я имел честь знать ее папеньку — почтенный человек;— сказал гость, стараясь показаться невнимательным...

Визит продолжался недолго. Муж с женой молчали потом, сидя в карете.

— Мне очень было приятно увидеться с одной из прежних ваших знакомых,— сказала жена.

Муж молчал.

— Вкус ваш был очень недурен...

Он все еще молчал.

— Она дочь какого-то сапожника, сказала мне княгиня...

Карета поравнялась с Английским клубом.

— Стой! — закричал муж, — высади меня здесь! — Он вылез из кареты.

— К княгине Сплетниной! — сказала жена, поправляя свое дорогое боа, когда лакей захлопнул дверцы кареты.

¹ — Мадемуазель Рудольф... я очень рад... что вас встретил... (фр.)

Карета помчалась по улице. Многие заглядывались на прекрасный экипаж и на прелестную женщину, которая сидела в такой щегольской карете...

Месяца через два тот самый муж сидел в своем кабинете; наступала осень; камин топился; он был один, сидел в больших креслах и безмолвно смотрел на огонек в камине. Ловкий камердинер его вошел и с таинственным видом подал ему какое-то письмо. Тот схватил письмо, дал знак камердинеру выйти, с жадностью прочел письмо и опять сел неподвижно, как будто вся жизнь его уничтожилась на то время...

«Вы требуете ответа, Антонин! Вам мало того, что свидание с вами заставило меня изменить несчастной, роковой тайне моей; вы хотите ответа, вы говорите, что вы несчастливы, что слово мое вас осчастливит; вам мало видеть: вы хотите слышать, что я вас *люблю*; вы услышите теперь мое признание — в *первый* и в *последний* раз, но вы не *увидите* меня более — никогда, никогда... Мы можем оба погибнуть, я и без того давно погибла для самой себя... Теперь, при начале вечной разлуки, Антонин! слушайте: я вас люблю, люблю больше жизни моей! Можете скрыть мое письмо, можете показывать его всем, жене вашей, целому миру... Хотя один раз в жизни я скажу смело людям, что ни их воля, ни воля судеб, ничто не властно запретить мне любить вас...

Но слово «люблю» будет последним прощальным словом, после него вы не услышите от меня ни одного слова — никогда не увидите меня...

Антонин! За что вы погубили меня! Что я вам сделала такое, за что вы стали для меня карою небесною? Искала ли я вас? Звала ли я вас... Не вы ли сами нашли меня, не вы ли увлекли меня в бездну страсти, в которой уничтожилось для меня все бытие мое? — Будущее для меня не существует — прошедшее отравлено — настоящее... ужасно!.. Но нет, Антонин! благодарю вас: вы были моим ангелом-оживителем, вы показали мне цену бытия, вы показали мне, как *может, мог бы быть* счастлив человек на земле... С высокой горы видела я обетованную землю — страшная бездна разделяет меня от той земли — что нужды! Я виде-

ла роскошные сады ее, на меня навевало райским благоуханием заповедных ее рощей...

Неужели я не права перед богом, перед людьми, перед моими родными, перед вами, перед собою? Оправдываться мне трудно, мирской суд тяжел, но есть суд другой... там оправдают меня... В последний час бытия моего буду я молиться только о том, чтобы перед *тем* судом никто не был обвинен за меня — пусть лучше я страдаю за всех...

Иногда, даже теперь, думаю: за что была суждена мне такая страшная судьба? Чем я виновата, что с колыбели моей легло на меня знамение Каинова проклятия? Всем были радости на свете, всем было счастье... но я казалась сиротой среди родных, и с насмешкой люди заклеили меня названием *дуры* — да, я точно была дура... Но и у меня сыскалось свое счастье. Разве не счастье было то, что я утешала отца моего, когда, растерзанный горестями по делам, страданиями в семействе, он видел мое сострадание, мою любовь к нему? И как часто слеза еще катилась по его щеке, а моя ласка уже возвращала на уста его улыбку, и он, смеясь, говорил мне: «*дурочка*»? — Не счастье ли было и то, когда я просиживала ночи за учеьем, думая, что потом могу образовать братьев, сестер своих, когда потом учила их, передавала им понятия о боге, о человеческом достоинстве... Они не забудут меня... Они вспомнят дурочку, сестру свою... Не счастье ли было и то, когда я могла потом трудами своими помогать бедному отцу, разоренному, лишенному всего, на старости, под конец тяжелой жизни... Так, и для меня было счастье, но для чего вылетела я из-за той очарованной черты, которую обвела вокруг меня судьба, — для чего потребовала любви сердцу моему, ответа душе моей... Быть дурой было мое назначение...

Да я ли была в том виновата? Вы, Антонин, явились передо мною. И теперь не понимаю, для чего было вам так зло шутить, так обманывать мое легкоеверие? Для чего? Из бесчеловечного желания посмеяться надо мною? Чем могла я обольстить вас? Обольщала ли я вас, бесчеловечный? Изменил ли мне хоть один взгляд... и мог ли он изменить? Сама я не знала, не заметила, как вы овладели моею душою и отняли ее у меня...

Я отличила в вас человека между нечеловеками, которых видала; на прекрасном, благородном лице вашем, казалось мне, я читала так много, и радостно думала я, что душа ваша должна сказаться самой себе; я кликнула ее, и мне показалось, что она отозвалась на голос мой... По-

мните ли тот день, когда я в первый раз уговаривала вас учиться, читать? И вы так лукаво притворились передо мною — я думала быть Пигмалионом для статуи... Мечты мои, адский подарок человеку... но...

Для чего вспоминать мне бывшее? Для чего говорить, что ваше удаление, непонятное бегство ваше раскрыло мне, что вы заколдовали меня, что я люблю вас... Я рассорилась после того и с жизнью моею, и с собою.

И какой ужас обнял меня, когда я узнала, что вы были не то, чем казались, что вы человек богатый, светский, образованный...

А!.. проклятые мечты! зачем предалась я вам тогда... вы меня погубили! Безумная мысль зажгла мне голову; я думала, что вы любили меня, что вы скрывались нарочно, чтобы только узнать меня... Я ждала вас, я жила вашим ожиданием, слухом об вас... О боже! если бы вы тогда явились передо мной, если бы я увидела вас, как беспрестанно видала в мечте моей, во сне, наяву — с любовью в глазах, с обручальным кольцом жениха, — я не пережила бы, я умерла бы, но как умерла — духи неба позавидовали бы мне тогда, пожалели, что они бессмертны... Я перестала существовать для всего другого, перешла только в одну мысль, и кто увидел бы меня тогда, тот назвал бы меня не душой, но сумасшедшей...

А люди, которые обрекли меня душой, не дремали — их языки сняли с меня имя *дуручки*, чтобы назвать меня *преступницей*; говорили, что вы были... что я была... У меня нет сил выговорить, написать их слова. Только отец мой не поверил ничему. Он долго смотрел на меня, заплакал и сказал: «Ты невинна; не знаю, что значит поступок этого человека, зачем он ходил к нам, а ты невинна... однако ж тебе нельзя более жить с нами...»

Я перешла в большой свет, как в пустыню; я скрылась между детьми, которые еще не светские люди, но дети — все равно и в чертогах вельможи, и в хижине поселянина...

Но и здесь теперь мне нет места. Вы явились — мне уже некуда убежать... Но зачем же вы не скрыли, что знаете меня?.. Ах, Антонин! я верю, что ты не мог скрыть, верю, что ты любил меня, что ты любишь меня, — письмо твое — слова твои — зачем ты старался видеть меня... Не виню, не виню тебя: ты несчастлив; верю, что неизбежная судьба заковала тебя в неразрывные цепи, и если признание мое может тебя хоть на мгновение осчастливить (неужели и тому мне не верить?)... Антонин! я люблю тебя...

Но ты более меня не увидишь. Завтра расстаюсь я с княгиней — мне нельзя здесь более оставаться — любовь твоя будет твоим и моим преступлением, твоею и моею погибелью, а без нее — на что мне жить? И где мне жить? Мне нет места в мире... в *Москве*, хотела я сказать, здесь — жена твоя, там — мачеха моя... Да, у меня нет уже семейства, нет крова, где отец мог прижать меня к груди своей и, если бы целый свет говорил о моем позоре, сказать мне: «ты невинна!»

Молюсь за тебя, молюсь за всех... И тяжело мне, Антонин, тяжело — только один раз испытала я такое страдание, когда умирал отец мой, всеми оставленный, когда бесчеловечные выгнали его из дома и все, все забыли его, кроме меня...

Не старайся узнать обо мне. Ты ничего и никогда не узнаешь — есть на земле убежище, куда люди не смеют входить... где не услышим мы речей их...

Антонин! неужели ты не жалеешь обо мне, или любовь твоя опять притворство?..»

— А где же ваша мамзель Рудольф? — спросила через несколько дней у княгини одна гостья.— Вы, кажется, были довольны ею?

— Очень, но она сама не захотела у меня жить, и не знаю где девалась. Она была такая странная: добрая, тихая, но, право, иногда можно было подумать, что она... как бы вам сказать... *дурочка!* — отвечала княгиня, улыбаясь и стараясь смягчить выражением название, какого удостоила свою бедную гувернантку.

Хвалят московские окрестности. Я не согласен, чтобы все они были равно хороши. Ничего не знаю скучнее многих из них — Марьиной роши, Кускова, Останькова, Преображенского, Перова. Искусство может везде делать чудеса: из миллиона, который посеяли на кирпичных ямах подле Петровского замка, выросли чудесный парк, рошцы, театр, воксал, аллеи, дачи, но там одно искусство! Есть, однако ж, и такие местечки подле самой Москвы, где прехотливая природа не спрашивалась искусства и является красавицей в светлых водах, зеленых рощах, волнистом местоположении. Не говорю о Симонове, о Поклонной Горе — там все внимание увлекает, всю красу составляет Москва, вид на ее золотые головы. Но пойдите в Царицы-

но, в Коломенское — еще ближе: в Лужники, туда, где с одной стороны луг с Новодевичьим монастырем, с другой Нескучное и Васильевское, с третьей Воробьевы горы, и совершенным полукругом обвилась около них Москва-река; в стороне тихо извиается Сетунь и вливается в Москву-реку, неправильными изломами сдвигаются к ней Воробьевы горы. Мельница, кирпичные заводы, Троицкое с патриаршескою церковью, извив Сетуни с бесконечным лугом; вдали селения, домики, поля; кругом все дико, задумчиво. Но то не печаль Сибири, не ужас пустынь Финляндских — то слеза на глазах милой девушки, задумчивость первой грусти, которая даже нравится своим неожиданным посещением... Там некогда любил я гулять, мечтать, смотреть на заходящее солнце, смотреть, как при закате его отражались в Сетуни колокольни Новодевичьего монастыря, и когда потом вечерние тени налегали на окрестности — ходить там, смотреть, как луна плавала и дробилась в струях Сетуни и в ближней роще свистал и шелкал соловей... О мое милое, грустное — *невозвратимое* прошедшее...

Там, в один летний вечер, ходил человек, еще не старый, но печальный, как будто утомленный жизнью. Он любопытно глядел кругом. Видно было, что он неожиданно зашел сюда и радовался новому впечатлению. Такой подарок душе казался ему редкостью. Трудно было разгадать, что состарило этого человека: лицо его не было покрыто морщинами труда и думы, не было опустошено и глубокими страстями: какое-то бесчувствие, онемение чувства выражало лицо его. Можно было подумать, что жизнь душила его, как душит кикимора, когда между тем во сне представляется спящему, будто он гуляет в роскошных, великолепных чертогах...

Он долго сидел на крутом пригорке к Сетуни, там, где густые ивы склонились на воду и закрыли ее... Вечер наступал; все кругом было тихо и пустынно. Желтые листья падали и хрустели, взвешиваемые легким ветерком. Внимание его обратилось на старушку, которая стояла на коленях у самого берега Сетуни, молилась и плакала. Он подошел к ней.

- Что ты плачешь, милая? Что с тобой случилось?
- Ничего, сударь.
- Но ты плачешь?
- Нельзя не плакать, да не об себе только.
- О ком же? Разве у тебя нет *своего* горя? — сказал незнакомец, горестно улыбаясь.

— Какое же мое горе? Слава богу! сыта, обута, одета — радуюсь на детей. Но здесь видела я горе такое, которое, видно, велико было: не перенесла его, голу-бушка...

— Кто такая?

— Не знаю, сударь, и никто не знает.

И старуха рассказала, как два года прежде, в этот самый день, пришла к ней молодая девушка, хорошенькая, но бледная как смерть, и попросила позволения отдохнуть в ее хижине; как гостя ласкала ее детей и плакала и потом долго читала какую-то книжку и опять плакала.

— Видно было, что она барышня — она была одета так хорошо и дала мне двадцать пять рублей, когда я рассказала ей про мои недостатки, и потом пошла она гулять и долго сидела там, где вы сидели, сударь, и сошла вот сюда к берегу и долго смотрела на воду — перекрестилась...

Старуха перекрестилась сама, заплакала и сказала:

— Упокой, господи, ее душу!

Незнакомец молчал.

— И ты не могла узнать, кто она была? — спросил он мрачно.

— Бог весть — никто не явился к бедняжке — ее зарыли там в лесу, как грешницу, а я уверена, что она была предобрая; видно, злой человек погубил ее. Я отдала на помин души деньги ее и только оставила у себя книжечку, которую она читала, да батистовый платочек, которым утирала она слезы...

— Покажи их мне, — сказал незнакомец.

— Вот они.

Он взял в руки книжечку — то был немецкий молитвенник. На белом листочке у него было написано по-немецки: *«Дурочке моей (meinem Näggchen) от любящего ее отца, да молится она, когда господь посетит ее печальми».*

— Платок! — вскричал незнакомец. Он схватил его, взглянул на уголок и прочитал на нем буквы: L. R.

Светло отражалась луна в водах зеркальной Сетуни. Незнакомец сидел на берегу и не плакал. Поздно было, когда он побрел через луг к Смоленской заставе. Старушка стояла в стороне и не смела ничего сказать.

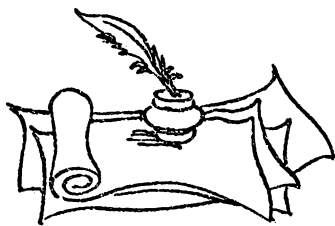
— Молись за нее, — сказал незнакомец и положил ей в руку сторублевую ассигнацию. — Книжечку и платок возьми я себе! — Старушка молча поклонилась.

Вероятно, он утешился потом. И как было ему не утешиться? Ведь он был богат, женат на молодой, пре-

красной женщине, уважен в свете, и притом, «как нам,
добрый читатель, сказать:

К сожаленью иль к счастью, что наше
Горе земное ненадолго? Здесь разумею я горе
Сердца глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе, которое с милым потерянным благом сливает
Нас воедино, которым утрата для нас не утрата,
Смерть вдвоем бытие, а жизнь порыв непрерывный
К той черте, за которую милое наше из мира
Прежде нас перешло! Есть, правда, много избранных
Душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред иконой,
Ярко горит, пока догорит; но она и для них уж
Все не то под конец, какую была при начале,
Полная, чистая... Много, много иного, чужого
Между утратой нашей и нами уже протеснилось...
Вот наконец и всю изменяемость здешнего в самой
Нашей печали мы видим... Итак, скажу, к сожаленью,—
Наше горе земное ненадолго...»

ПИСЬМА



1. П. П. СВИНЬИНУ

29 октября 1824 г. Москва

Милостивый государь Павел Петрович!

Вчерашний день из 87 № «Московских ведомостей» вся Москва узнала о рождении или, лучше сказать, зачатии «Телеграфа». Спешу препроводить к вам билет и покорно прошу напечатать прилагаемое объявление в «Отечественных записках». Моего же будущего сына — полюбить, ибо он, право, будет малый не дурной и смиренный. Будет гнать только невежество и глупость и постарается жить миролюбиво со всеми добрыми людьми.

Очень хотелось бы мне знать, каково вы доехали и всех ли здоровых нашли ваших домашних.

Здесь по отъезде вашем не произошло ничего любопытного и нового: москвичи собираются толпами смотреть Колосову, которая в комедии, в самом деле, прелестна, а вчерашний день бывший доньне трагический актер Мочалов запел и пропел «Черную шаль».

Погода здесь настоящая осенняя — и дороги вовсе нет.

Не оставьте уведомлением о себе, почтеннейший Павел Петрович. Как только я управлюсь с «Телеграфом», то не премину препроводить к вам те статьи, которые обещали вы довести до сведения Александра Семеновича. Теперь же некогда.

С почтением есть и буду ваш покорнейший слуга

Н. Полевой.

29 окт⟨ября⟩ 1824 г Москва.

2. А. А. ПИСАРЕВУ

11 июня 1825 г Москва

Ваше превосходительство милостивый государь Александр Александрович ⟨!⟩

Не только не забыл, но всегда с живейшим чувством

помню об вас: житейские и литературные заботы отвлекли меня доныне от участия в Обществе, куда, с благословения вашего, готовлю огромную тетрадь и, пользуясь вашим позволением, приеду в ваше Люблино скучать вам чтением оной.

Присланные стихи г Свечина охотно готов напечатать. боюсь цензуры, ибо письмо кн. Вяземского не пропустили, а в этих стихах не нашли бы того, что поэт оскорбляет жалобой провидение. Представить не можете, сколько я терплю: я думаю, вам известна уже история о запрещенных книгах? Очень забавно, что теперь обязали всех французск⟨их⟩ и немецк⟨их⟩ книгопродавцев не продавать мне *запрещенных* книг!

Простите ли, ваше превосходительство, что я без дела, мне порученного, не смел уже явиться в Общество; а что невозможно сделать было его так скоро и некогда притом, уверяю вас честным словом. Из двух, остающихся от других моих необходимых занятий, часов я посвящу: один час ему, другой Обществу непременно.

С истинным высокопочитанием и совершенною преданностью имею честь быть вашего превосходительства, милостивого государя, покорнейший слуга

Н. Полевой.

11 июня, 1825 года. Москва.

З. Д. М. ПЕРЕВОЩИКОВУ

22 октября 1825 г. Москва

Милостивый государь Дмитрий Матвеевич ⟨!⟩

Обращаясь к вам с покорнейшею просьбою, спешу известить, что поэма Пушкина «Цыгане», а с нею вместе и цыганская песня, в Петербурге пропущены и уже печатаются. Я прибавил примечание. Если в «Войнаровском», в «Братьях-разбойниках» и проч. пропускались многие и не такие вещи, с оговоркою только, то слова цыганки, от которых в примечании мы отрекаемся, неужели подвергнутся осуждению? Не введите меня, почтеннейший Дмитрий Матвеевич, в убыток: я уже отгравировал ноты.

Ваш покорнейший слуга

Н. Полевой.

22 окт⟨ября⟩ 1825.

4. П. П. СВИНЬИНУ

22 января 1826 г. Москва

22-го января 1826 г. Москва.

После разлуки нашей в Москве, где, к сердечному моему прискорбию, не успел я даже и проститься с вами, столь долго не получая обо мне известий, вы могли подумать, что я или переселился уже ко отцам нашим, или — но я не думаю, что почтете вы, почтеннейший Павел Петрович, молчание мое знаком забывчивости или охлаждения того почтения и дружбы, которые привык я питать к вам в сердце моем. Нет! совсем не то, но бесконечные хлопоты, досады, огорчения и горести, преследовавшие меня с половины прошедшего года, — вот что единственно не допускало меня до приятности побеседовать с вами. Когда грустно, не хочется ни за что приняться — по крайней мере, проклятый сплин мой, мешая многому в жизни, всегда препятствует и дружеским сношениям. Вот уже несколько месяцев, как я ни строчки не написал никуда, хотя уверен, что вы снисходите слабостям ближнего, особливо когда знаете, что этот ближний без перемены вас любит и уважает.

Со сколькими вещами мне надобно бы вас поздравить! С благополучным приездом, с положением страннического посоха у подножия домашнего пената, с возвращением в ваш прелестный, незабвенный для меня кабинет да, наконец, с Новым годом.

Не исчисляя подробно, оптом поздравляю вас, желая здоровья и счастья в новом годе и прося вас продолжить ваше дружеское ко мне расположение.

Как знак моего почтения спешу препроводить к вам билет на «Телеграф» вместе с 1-ою книжкою. Запоздал я наряду со всеми, но нечего делать, зато поспешу следующими книжками и, *аще бог поможет*, к марту надеюсь управиться, выдавать книжки постоянно в начале и половине каждого месяца. Прошу вас уведомить, любезнейший Павел Петрович, понравится ли вам новое расположение и характер «Телеграфа». Я решился разделить ученую часть от чисто литературной. Желал бы освободить себя от последней, ибо много вздору принужден помещать поневоле, но нечего делать: публика хочет легкого. Спасибо ей, она славно награждает меня за старание услужить ей, и я никак не думал заслужить от читателей моих такого почтения или чтения.

Представьте, что по сие время у меня уже 700 подписчи-

ков и, кажется, до 1000 доберется. По крайней мере, книгопродавцы уверяют, что примеров этому не видали. Вы знаете, что я не употребляю никаких посторонних средств — просто объявил подписку, и кому угодно — бери. Как-то у вас в Петербурге, а здесь с упадком торговли вообще упала и книжная торговля, а журналы особенно. Каченовский бесится, что у него нет и половины *даже против прошлого года*; других журналов и 300 экз. не печатается каждого. Так уж «Телеграфу» счастье выпало. Уведомьте о ваших «Отечественных (или, как говорят французы, *отеческих*) записках», которым искренно желаю тысячей пренумерантов, надеясь, что теперь, будучи на месте, вы увеличите их достоинство более и более. Число предметов у вас так увеличилось, что теперь, я думаю, вы должны будете умножить и число листов. Я уж чем другим не отличаюсь, как толщиной книжек: хочу пустить по 10 листов книжку, 36 картинок мод и с дюжину картинок сверх того. Дело в том, что есть из чего, ибо, хотя издержки и составят почти 20 000 в год, но все за труды останется. Я думаю, что главное — *хорошо делать*, а потом уже *думать о барышах*.

Что сказать вам о Москве? Все по-старому — литература здешняя есть существо относительное к вашему Петербургу и страх как идет тихо. Мы все ждем от вас новостей, и вот уже здесь появились разные петербургские гостинцы. Я не начитаюсь Пушкина! Что за прелесть! Какой талант огромный! Альманахи нынешний год что-то оплошали. Если «Северные цветы» не вывезут, признаться, не много выиграем мы от многого числа их. Не говоря о «Невском альманахе», как не совестно Ал. Еф. Измайлову выдавать под своим шифром такой вздор? «Урания» наша, разумеется, лучше покойницы «Калужской Урании», но плоха. Завтра явится сборник пресловутого Писарева, который режет водевилями журналистов, а сам ничего до сих пор не сделал, даже порядочного — посмотрим! Но странно мне, что у ваших петербургских откупщиков достало духу хвалить мерзость, изданную Глинкою под названием *Московской*, и сравнивать «Календарь муз» и «Уранию» с двумя солнцами. Кажется, что с нового года «Пчелка» забыла весь стыд и врет без стыда и без совести, льстит, ползает перед каждым могущим снабдить статейкой. И это литераторы!.. И это критика!.. Впрочем, все это решило меня решительно не вступать с ними ни в какие споры — буду иногда шелкать их мимоходом, а впрочем пусть говорят, что им угодно и как угодно. Я жалею, что

прошлого года связывался с ними. В прилагаемом письме, которое покорно прошу передать Б. М. Ф<едорову>, благодарю его за предложение участвовать в литературной битве и отказываюсь от всяких полемических статей, т. е. *битвенных битв*, по переводу кн. П. И. Шаликова. А ргорос, видели ли вы его в новом желтом мундире? Мил да и только.

Боюсь, не обременил ли я вас моим болтаньем; но простите говорливости и верьте, почтеннейший Павел Петрович, что я с неизменным чувством почтения есмь ваш усердный и преданный вам

Н. Полевой.

5. Ф. Н. ГЛИНКЕ

25 января 1826 г. Москва

Милостивый государь Федор Николаевич!

С неизъяснимым удовольствием получил я ваше письмо от 24 с<его> декабря и приложенный при нем подарок — *подарок*, милостивый государь, потому что сочинения ваши, бесспорно, могут почестся изящнейшим украшением всякой книги и журнала.

Покорно вас благодаря за снисхождение к несовершенному моему созданию, за лестное одобрение слабых трудов моих, я спешу препроводить к вам, через А. Ф. Смирдина, экземпляры «Телеграфа» на 1826 год. *Первая* книжка украшена *двумя* вашими пьесами — остальные, как скупец свое золото, буду беречь и помещать повременно: таких подарков, как ваш, я получаю очень немного и должен дорожить ими.

Виноват без всякого оправдания, что доньше ничем еще не отплатил за честь избрания меня в почтенное Общество, состоящее под председательством вашим. Если бог поможет, надеюсь в нынешнем году иметь более времени и досуга заниматься чем-нибудь порядочным, ибо не смею препроводить к вам какой-нибудь безделки. Журнал, заботы по части существования и, сверх всего, огорчения поглощали у меня все время в прошлом году. Жизнь человеческая сплетена из терний; есть, правда, в ней и цветочки, но их, по крайней мере, в плетушке моей жизни, страх как мало. Душа летит кверху — но жизнь земная тянет к земле! Что делать...

Экземпляры «Телеграфа» для библиотеки Общества препровождены мною к А. Ф. Смирдину. Прикажите взять.

С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть ваш, милостивого государя, покорный слуга

Н. Полевой.

25 янв(аря) 1826 г Москва.

6. С. Д. ПОЛТОРАЦКОМУ

Конец 1826 — начало 1827 г. Москва

С благодарением и поклонением гражданин Филадельфии честь имеет возратить президенту Нью-Йоркской палаты «Journal des Débats» — ровно в назначенный день (воскресенье) — исправен? А все вы, президент, бранитесь за мою неисправность!

Верно, вы знаете об улучшении «Телеграфа»? Князь Вяземский (или Вязменский, как кричат при выходе из театра *жандармы*) деятельно работает и не пошел ни на какие советы Пушкина, чтобы меня совершенно оставить! Порадуйтесь! Он пишет некрологию Тальмы, обозрение русской словесности, дал много статей — хорошо ли? а? Пришлите мне с подателем «Encyclopédie portative» — она мне очень нужна — ваш...

7 С. Д. ПОЛТОРАЦКОМУ

Январь — февраль 1827 г. Москва

Боливар, великий человек!

Что с вами сделалось, гражданин? Болен? Да поможет вам тень великого Франклина: он умел отнять *молнию у неба, а скипетр у тиранов*.

Рады бы приехать к вам, но все дело в сборах.хлопот много, но, однако ж, явиться нам можно будет; как мы желаем вам здоровья, свидетель бог, нет — Вашингтон!

Геро изъявил желание Толстому, который говорил ему об этом от Вязменского, и обещал еще сотрудников; ведь это первый пример для русских журналов. Геро скоро пришлет первую статью и письмо свое, а теперь от него получено только «Revue poétique», кажется, и прилагаемая у сего статья: обе выпечатаны из «Notre Revue».

Слышали ль вы, что меня недавно чуть было не взорвало в пороховом магазине? Небо сохранило дни мои для счастья гаитян.

Поклон и почтение
Бойе.

8. <А. Я. БУЛГАКОВУ>

23 февраля 1828 г. Москва

Ваше превосходительство милостивый государь <!>
Имев честь получить письмо ваше от 14 ч<исла> сего февраля и прилагаемую при нем статью об Итальянск<ом> петербургском театре, долгом моим поставлю покорно благодарить ваше превосходительство за лестный отзыв ваш об издаваемом мною журнале. Похвала ваша есть одна из приятнейших наград на все труды и хлопоты, каких стоит мне журнал.

К крайнему прискорбию моему, я не могу напечатать присланной вами статьи. Мы все, журналисты московские, давно просили у цензуры позволения писать о театре, но после указа 1824 г. это строго было нам запрещено. Не находя, однако ж, в новом уставе ничего запретительного и видя, что в «Пчеле» печатают статьи о театре, и здесь в последнее время цензура самовольно позволила писать их. Вследствие этого была статейка в «Московском вестнике» и невинные аханья в «Дамском журнале»; словом, о новых театральнх пьесах писать позволялось с тем только, чтобы «не говорить об игре актеров, не говорить о том, каково пьеса была поставлена, каково публика ее приняла, какова пьеса по существу своему, и отнюдь не намекать, что говорится о пьесе, игранной на театре».

Несмотря на все сии маленькие ограничения, партия театральнх писачек, которой, признаюсь, не щажу я в моем журнале, будучи дружна с цензором (он сам драматист), так обрезала еще сверх того мою первую статью, что если бы я мог доставить ее к вашему превосходительству, то, верно, вы посмеялись бы, какие искусные портные наши московские цензоры. Я решился лучше совсем ничего не писать. А к испугу цензуры, от 15 февраля сего года попечитель сообщил повеление министра народного просвещения, чтобы отнюдь *ничего о театре не печатать* без особенного дозволения генерал-адъют<анта> Бенкендорфа, ибо все статьи в «Сев<ерной> пчеле», как говорит министр, идут чрез его, а не чрез обыкновенную цензуру.

Если можно будет вашему превосходительству прежде отдать прилагаемую статью в сию особенную цензуру, то возвратною присылкою ее чрезвычайно одолжите издателя «Телеграфа» и публику нашу; статья будет немедленно напечатана.

Я получил от кн. Вяземского только выписки из записок Боке (?) и с особенною благодарностию их напечатаю, почитая все, что имею честь получать от вашего превосходительства, истинным украшением журнала моего. Ожидая приезда вашего в Москву, донныне хранил я отпечатанные особо листы превосходной статьи вашей о начале русских газет, которые при сем препровождаю.

С истинным почтением и совершенною преданностию честь имею быть, вашего превосходительства, милостивого государя, покорнейший слуга

Николай Полевой.

Февр(аля) 23 дня 1828 года. Москва.

9. С. Д. ПОЛТОРАЦКОМУ

24 ноября 1828 г. Москва

Шутка шуткою, а дело делом, милостивый государь Сергей Дмитриевич (простите холодным этим словам, но после вашей цыдулки — не смею поставить «любезный друг» и тем еще менее что-нибудь другое).

Если в шутку написана эта цыдулка ваша, то, признаюсь, дурная эта шутка опечалила меня; если ж в самом деле, то я не знаю, что подумать!

Если бы мое здоровье и время позволили мне, то сейчас отправился бы я к вам и просил вас разрешить недоумения. Но ни то, ни другое не позволяет мне сделать этого, и я принужден писать.

Если дело до этикета, то почему затворенная дверь есть оскорбление? Только в Москве вечно гости и вечно в гостях; более нигде этого не бывает, и звонок на дверях говорит, когда кто дома или нет.

Если дружба наша могла поколебаться от такого пустого дела, то — знаете ли? Она после этого не стоит доброго слова. Если вы, *как друг*, станете рассматривать себя, то не знаю, кто виноват будет.

Кроме головной боли, мне дыхнуть сегодня не было времени. Приезжаете вы — я был дома, но подумал, что

ему нет дела важного, и никак не полагал, чтобы это разрушило *четырёхлетнее* знакомство и дружбу, при чем никто из нас не заметил друг за другом ничего сколько-нибудь предосудительного.

Неужели проклятый *аристократизм* и тут вмешался? Неужели за то вам гнев, что *плебей* осмелился не сказать: «Я дома»? Если бы я знал, что это точно — клянусь *прахом того человека*, которого ставлю выше всех героев — мы более никогда бы не видались.

Но — нет! Это минутная вспыльчивость. — Не правда ли? Это не следствие аристократизма? Это не следствие расчетов? Скажите «да», и я готов *на коленях* просить прощения в действии моего сплина, моей дурной головы, *на коленях*, ибо перед другом не стыдно сгибать их.

Да или — нет?

Если мы не расстанемся навсегда, то идите к нам сейчас или в этот вечер, обнимемся и — во имя... докажем, что добрые люди могут ошибаться, поступать не так, но сознаются в ошибках и умеют ценить друг друга выше вздорных пустяков и капризов.

Как назвать себя? — *Ваш...* на всякий случай, если вы не шутите — покорный слуга и *ответчик*

Полевой.

10. В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

16 февраля 1829 г. Москва

16 февр<аля> 1829 г. Москва.

«Бесчисленное» письмо ваше, любезный князь, меня сердечно порадовало, хотя недосуги и не давали мне досуга до сих пор отвечать вам. Что за дело? Так же дружески и с совершенною уверенностью на неизменяемость свою и вашу пожал бы я руку моего доброго князя, и пять лет не писавши к нему, и десять не выдавши его; так же сказал бы ему по-прежнему: «Милый князь! Лови любовь!» Помните ли? Помните ли и мерзкую карикатуру Соболевского, которую огадил он эту, право, не дурную песенку? Как благодарил я вас за послание ваше, милый князь; оно пришло очень кстати и оживило меня, перенесло в прошедшее, разогрело сердце и душу. Нам надобно бы писать друг к другу, надобно бы иногда беседовать, спрашивать, *что ты делаешь*<?>

Я делаю *вот что*. Вы не поверите, что за жизнь веду я теперь совершенно уединенную, в кругу семейства, в отношении общества: я со всеми расстался! Вяземские, Боратынские, поэты, поэтики, светские люди встречают у меня запертую дверь. Между тем гражданская и кабинетная моя деятельность доходят до высшей степени: я с утра до вечера занят, мало сплю, корплю за конторкою, езжу к моим должностям и каждый день засыпаю с чистою совестью, хотя иногда грустно от дел, от людей. Так, с тех пор как мы говорили с вами в маленьком кабинетце вашем в Газетном переулке, когда мы дали друг другу слово: быть деятельными, сколько можно, ибо это назначение человека, я поглощен этим решением. Слава богу! На малом поприще, где судьба велела мне действовать, есть дело: я *литератор и купец* (соединение бесконечного с конечным) и могу работать двойкою. Уже граждане мои уважили меня, понимают, заменяют во мне богатство предполагаемым умишком (важный шаг!) и слушают. Теперь я здесь: директор коммерческой академии и действую на воспитание 70 юношей купеческих, член Мануфактурного совета и действую на промышленность, и три дня только кончилось мое дело по избранию в члены Комитета, рассматривавшего проект нового вексельного устава. (Тут были Оболянины, Дегай и Д. Н. Бегичев (который здоров, любезный, *добрый* человек и живет здесь в Москве) и кроме их еще купец да я.) Вероятно, вы слышали об этом проекте? Хотите ли, чтобы я прислал вам список с замечаний наших? Целая книга, и — много правды: сам царь велел нам говорить ее. Теперь судите о занятиях моих и целях оных, присовокупив к тому «Телеграф». Этот «Телеграф» я стараюсь поддерживать, но он тяжелит меня. Душа просит лучшего, более важного занятия. Если бы не вещественные выгоды (ибо чем же мне жить?) и не горестная уверенность, что с «Телеграфом» умолкнет деятельность журнальная (а публика читает и любит читать журналы, ergo¹, действовать на нее журналом всего лучше), я бросил бы издание журнала, соединенное с бездной хлопот мелких, забот пустых и неудовольствий всяческих. Между тем, скажу вам, милый князь, на ушко, что журнал меня не довольствует, и я принялся деятельно за литературный труд, огромный и важный. Я написал было том романа, несколько глав книги о политической экономии — все оставил и — скоро явлюсь с «Историю русского народа»!

¹ следовательно (лат.).

Каково предприятие? После Карамзина? Но *десять* или *одиннадцать* лет приготовлений и решительность дают мне силы. Вы увидите новое, много нового, еще не сказанного в России. Хотите, я пришлю к вам понятие о главной идее, о плане? Вся «История» будет в *четырёх* больших томах, но они будут простираться до 1830 года по Р(ожество) Х(ристово). — Что, похвалите или побраните вы меня?

Листочек мой исписывается, времени остается уже немного до отправления письма, а я только что разговорился, и у меня есть к вам и много известий, и *просьба*. Да, *просьба*. Сперва известия. Верстовский здоров и живет с своею Репиною, смеется над Кокошкиным и пишет новую оперу. Театр здесь совсем упал. Если бы не (...)

11. А. С. ПУШКИНУ

27 марта 1830 г. Москва

27 марта 1830. Москва.

Ничего, совершенно ничего, милостивый государь Александр Сергеевич. Мы все, старые члены, ничего не делаем, по крайней мере, а из этого и выводится закон, так как по *старым решениям* иностранные юристы составляют законы. Избрание ваше сопровождалось рукоплесканиями и показало, что желание Общества украсить список своих членов вашим именем было согласно с чувствами публики, весьма обширной. За диплом вносят члены (т. е. за пергамент) 25 рублей. Если в самом деле решатся поднять Общество, как было хотели, вы, я уверен в этом, не отказались бы участвовать. Но, теперь... бог знает, что сделается с Обществом, и не будет ли оно иметь участи Общества Соревнователей — никто не ручается.

С почтением есмь всегда ваш покорный слуга

Н. Полевой.

12. А. А. БЕСТУЖЕВУ

20 декабря 1830. Москва

Милостивый государь Александр Александрович (!) Ваше письмо было для меня неожиданною радостью, посланием с того света. Благодарю, сердечно благодарю

вас за него, за содержание его. Сколько лет, сколько событий! Во все это время я любил вас и тотчас узнал вас, воскресшего Лазаря, в «Сыне отечества». Что мне в имени! Бестужева я угадаю в тысяче. Душевное удовольствие принесло мне известие ваше, что и я не был забыт вами, что вы признаете даже бесполезность моего литературного существования во все это время. Такое сознание есть моя награда, чистая и единственная. Вы не узнали бы меня теперь: я постарел телом, и если бы с этим не соединялось какой-нибудь старости умственной — признаюсь: игра не стоила бы свеч. Мысль, что недаром пропадают годы, проводимые в трудах, и что есть люди, умеющие ценить жертву добру среди пошлого нашего времени и толпы, не достойной любви и уважения, — только это меня укрепляет. Не думайте, чтобы я трусил осуждений, желал похвальной молвы — нет! у меня достаёт силы души на презрение и есть столько ума, чтобы взвешивать понятия моих любезных соотчичей. Но надобно вам хорошо знать литературу нашу за последние пять лет... Что это сделалось? Хаос, нестройство, старое упало, нового нет. Я живу теперь совершенным пустынною, и печатно, и общественно. Утешаюсь тем, что даю теперь последнюю битву — глупому и ничтожному аристократизму литературному. С падением его останется, по крайней мере, чистое поле. Люди явятся. В началах разрушения лежат семена возрождений. Нам, нынешним литераторам, не быть долговечными. Таково наше время. Счастлив, кто возьмет у будущего вексель хоть на одну строчку в истории. Надеюсь, что буду еще иметь случай писать к вам обо всем этом после. Теперь спешу с моею благодарностию и согласиём на ваше предложение. Присылайте, сколько хотите: вам всегда почетное место.

Как скоро почтамт станет принимать посылки, отправлю к вам мою «Историю», которой 3-го тома за холерою не мог я ныне достать: всё болело, бежало, не работало. В будущем году надеюсь выдать пять или шесть томов, ибо остальные, думаю, затруднятся разными обстоятельствами. Мы живем в исторические годы, и цензора наши страх как не любят таких годов. Чем ближе к новому, тем труднее писать. Но — испытаем. Помню, что вы разгадывали и прежде Карамзина! *Его* время прошло без возврата. *Слов* становится недостаточно, надобны *мысли*. Вы не поверите, как Карамзин и все карамзинское ныне упало. Может быть, мы вытягиваемся на цыпочки — все, однако ж, лучше, нежели сгибаться, чтобы уравнять себя с пигмеями.

Простите, что я сел на своего конька. Назовите меня мечтателем, но лучше сидеть на деревянном коньке и думать, что едешь, нежели сидеть в мягких креслах и не хотеть двинуться.

Прошу вас препоручить мне все по литературной части; охотно буду вашим комиссионером и все постараюсь исполнить.

Угодно ли вам литературных сплетней? Я буду вашим исправным летописцем. Но *первого* письма не хочу марать ими. Буду ждать вашего ответа и, начав сердечным удовольствием о получении от вас вести, закончу надеждою, что эта весть не будет последнею.

Имею честь быть вашим, милостивый государь, покорным слугою.

Николай Полевой.

Дек⟨абря⟩ 20 д⟨ня⟩ 1830 г. Москва.

13. А. С. ПУШКИНУ

1 января 1831 г. Москва

Милостивый государь Александр Сергеевич ⟨!⟩

Верьте, верьте, что глубокое почтение мое к вам никогда не изменялось и не изменится. В самой литературной неприязни, ваше имя, вы, всегда были для меня предметом искреннего уважения, потому что вы у нас *один и единственный*. Сердечно поздравляю вас с Новым годом и желаю вам всего хорошего.

С совершенною преданностию есмь и буду ваш, милостивого государя, покорнейший слуга

Николай Полевой.

1 янв⟨аря⟩ ⟨1⟩831 г Москва.

14. А. А. БЕСТУЖЕВУ

13 марта 1831 г. Москва

Мне казалось, почтеннейший мой Александр Александрович, что Кавказ растолстел и загородил дорогу почты. Так думал я, ожидая более двух месяцев ответа на мое письмо от 26 декабря. Он получен; заставил погрустить,

заставил и порадоваться. Приложения при нем достойны вас: от одного я хохотал так весело, как давно со мною не случалось, другое — прелестно. Брат мой, обожатель немцев, говорит, что вы заключили в вашу повесть философическую мысль. Пишите, пишите и давайте сюда, чем больше, тем лучше. В этом отношении положение ваше самое поэтическое. Не грусти и не жалея, человек, *отличенный Зевеса любовью!* Мир изящного, мир души тогда развивается вполне, когда душа, как старая руина, стоит уединенно, обросшая лесом, загромажденная дикими скалами. Жить в такой руине трудно, но там — поэзия! Наша пошло спокойная жизнь походит на дом, светлый, большой, стоящий в Тверской части, на Тверской улице, в котором жить можно с довольною удобностью, но где ни одна великая мысль не придет в голову, а счастье зевает. Буря, расторгшая вас со всем миром, да не прогремит даром. Ради бога, забудьте вы мир и людей, как они забыли вас, творите свои фантазмагорические миры и верьте, что жизнь дана нам создать что-нибудь, прибавить что-нибудь в сумку нищего человечества, а не для того, чтобы проскучать и продосадовать ее с себе подобными, которые, общезятые, достойны всяких жертв, но частью, поодиночке, — большею частью не стоят доброго слова. Есть *избранные* — много ли их? И где сыщешь их в ветошном ряду страстей и глупостей!

Теперь не успеваю писать к вам. Поспешаю только отправить несколько *хозяйственных* строк. Вот они:

Сегодня, с тяжелою почтою, послал я к вам требуемого *Нибура* (свой экземпляр, ибо его здесь всего раскупили, а из Петербурга ждать было бы долго) К этому присовокупил 6 книжек «Revue Française» (это лучший журнал в Европе, его издает Гизо), прибавил *Гофмана*, от которого Европа с ума сходит и которого, вероятно, вы не вполне еще знаете, и — *Мицкевича*.

Видите, какой набор. Я не знал, что послать; хотелось бы, чтобы вы *отвели душу*. Но далее *что и как* посылать надобно переговорить с вами. Чтение — бездна неизмеримая. Уведомьте меня, есть ли у вас словари и книги, нужные для справок? Также *Омир, Шекспир, Гете, Шиллер, Байрон, Данте?* Эту шестерню веков не посылаю потому только, что, может быть, они у вас уже есть.

Посылки мои все могут быть на таком положении или основании, что ненужное и громоздкое и дорогое можете посылать мне обратно, выписывая только для прочтения. Удобно ли вам это? Есть ли у вас также место и удобство

иметь при себе сотни две книг, которые должны составить вашу собственную библиотеку? Я отобрал бы вам две сотни жемчужин (о деньгах, ради бога, ни слова. Черт с ними!).

Разрешите мне предварительно все эти вопросы. С будущей почтою пришлю к вам тетрадку, а не письмо. Простите!

Ваш Полевой.

Марта 13 д⟨ня⟩ 1831 г. Москва.

Доброму и милому Ивану Ивановичу, товарищу вашему, пожмите за меня руку. Полевой любит его, ибо он вас любит.

15. А. А. БЕСТУЖЕВУ

25 сентября 1831 г. Москва

Не вините ни почту, ни черкесов, ни чуму, ни холеру, незабвенный мой Александр Александрович,— вините одного меня, *меня*, в моем молчании, бессовестном, непрости-тельном! С марта молчу я, не писал к вам ни одной строчки; когда и без того целые месяца идет от вас или к вам письмо — я полгода промедляю, не отвечаю даже на ваши письма, истинную утеху души моей, высокое наслаждение моего сердца! Да, я говорю это вам, как на исповеди, и бо-жусь всем, что еще есть для меня в мире драгоценного,— это святая правда! Причина молчания во мне самом и более ни в ком и ни в чем. Не знаю, известна ли кому наша переписка, не знаю, что могут из нее заключить. Но, чистый совестью, не боюсь я никого и ничего. Дайте мне хоть в воображении поцеловать и крепко обнять вас! Испытанный жизнью, Бестужев сам не может видеть и ценить себя, но я вижу, чувствую, понимаю его — и бог знает чем бы ни заплатил, если бы мог его теперь укрыть в мои объ-ятия, мог сам укрыться на грудь *человека от людей*. Да, мой незабвенный А⟨лександр⟩ А⟨лександрович⟩, они истерзали, измучили меня. Это звери, это какие-то центав-ры с человеческими рожами и с звериными остальными членами. Не выключая и себя. Хаос души моей мне самому часто непонятен. Грущу, терзаюсь, не видя в себе самом определенного, чистого стремления к небесам. Чувствую, как земля просит своего. Казалось бы, пора решить задачу бытия для самого себя, пора определить цель земной жиз-

ни. Расчет короткий, дело ясно. Судьба предоставила мне редкий удел какого-то *экономического* счастья. Рожденный бедным купцом, с заботами о существовании своем и многочисленного семейства, я успел физически укрепить их и свое бытие. Этого мало: она дала мне средства сделаться почетным в ряду моих сограждан, драгоценное *доброе имя* заменяет в глазах их недостаток денег, и имя Полевого они считают честью. Этого мало: семейство у меня премилое. Если бы вы знали моего брата (*Ксенофонта*, а не Петра — он соименник товарищу младшего Кира, ученику Сократа, а не апостолу Петру), — такой души редко (й): это волкан под ледяною корою. Он меня любит, как любовницу, а я его еще более, ибо чувствую, что он *мое* создание. Шестеро малюток моих прелестны, младший сын — настоящий ангел! Остальное семейство мое — добрейшие, благороднейшие души.

Вот физический мир мой. А метафизический? Не буду скрываться перед вами, сказав, что чувствую свое прекрасное назначение содействовать благу отчизны таким делом, которого никакая сила запретить мне не может, — разумею *литературу*. Литературное поприще в России необозримо, и в десять лет литературного бытия я уже успел во многом быть полезным — это я слышу, чувствую, понимаю. Работа для меня ничего не стоит, работаю больной и здоровый, веселый и печальный, с целью и без цели, с совершенною уверенностью, что вся награда в *труде*, не ожидая ничего, даже думая, что в наш век всеобщих переломов — политических, моральных, ученых — нельзя работать на века.

Этот метафизический мир для меня тем дороже, что я сам его создал для себя, сам образовал себя для этого мира, беру с бою, без покровительства, без выслуги, смело объявляя войну пошлой знаменитости и сильному невежеству. Двадцати лет начал я учиться, сам, без руководства, в глуши, только с братом, на книжонки, купленные из бедного остатка денег, которых у меня было тогда меньше, нежели ничего. Мысль, что теперь в *России* могу причислять себя к людям, знакомым со всеми европейскими идеями, — мысль усладительная! Вот вам светлая сторона моего бытия, милый мой Александр Александрович!

Теперь загляните в темную. С чего начать? Может быть, с того, что каждый, дерзнувший выступить дальше битой дороги, платит за это тяжело и ужасно, и в себе, и в людях! Человек — кусок мяса — требует *счастья*, которого никогда и никто не сыскал. По крайней мере, нет

счастья для тех, которые прыгают чрез людские головы. Чувство вечной деятельности духа, вечной борьбы не есть счастье: это труд, а счастье есть отдых. Мне мало того дыханья, которым дышат все, я не могу плясать под тот оркестр, под который все танцуют, — и прощай мир души! Бури страстей, таимые в душе с малолетства, никогда не разыгрывались у меня в вихрях порока и низких страстишек; никогда и не разыграются. Но каково же это? Мелкое честолюбие, мирская любовь, светская дружба... не были моими идолами. Той, которую любил бы я, прежде всего сказал бы: «Умрем вместе!» и посмотрел бы, как она стала вывертывать у меня свою ручку (и) шептать: «Он сумасшедший!» и с ловким книксеном спряталась бы за какую-нибудь пустоголовую фигуру. *Буттер-бродовые* души! Так во всем, и чем далее, тем более! И какое же следствие? Недовольство другими? Это еще не беда, но — ужасное *неудовольство самим собою* — это Жан-Полев демон, который одним ногтем сколупнул солнце с неба, — он начнет терзать, мучить, и силу этого демона я испытываю вполне! Он отравляет мне все; он ясно показывает мне мое бессилие, мою бессмысленность, мое ничтожество как человека, как гражданина, как писателя. Не называйте этого честолюбием, тщеславием — нет, это какое-то странное волнение души, от которого часто кровь кипит во мне, как в котле, и бросается вся к сердцу и в голову. Меряю честолюбие других — как ничтожно; прикидываю счастье иных — какая гадкая проза... Но я не могу изъяснить вам ничего более, и если из моих разбросанных слов вы ничего не поняли, — не поймете никогда и ничего. Страннее всего, что я не впадаю от этого ни в сплин, ни в хандру; наружность моя спокойна, ни одной душе не сказывается душа моя; люди дивятся моей деятельности, не чувствуя, что эта деятельность у меня лекарство и похожа на прогулки, которые велят делать больному. Одно, что осталось, — действовать к добру, сколько могу, и мысль, что, если это действие должно убить меня, то смерть, при совершенном обессилении на поприще деятельности, конечно, есть все то, что *должно* человеку сделать. Иногда сам удивляюсь своей *живучести*, иногда это мне досадно даже... Скорее бы, скорее!.. Но, видимо, еще не время! Воображаю себе солдата, который шел в битву. Если бы он дошел, то отличился бы, как герой, но — длинный переход в бесплодной, безводной степи уморил его, и, не дошедши до неприятельских батарей, он упал и умирает от голода и усталости... Это я! Может быть, никто не подозревает в хладно-

кровном издателе «Телеграфа» такое странное создание. Это мне часто бывает забавно! И как немного людям приятно? Трогай их краешком сердца, кусочком души — этого товара так мало у них, что они изумляются обилию его у вас. *Говорят*, что я добрый семьянин, почтенный человек в обществе, что я делаю добро, но — ради бога! Если бы я этим не был, я был бы чудовище; об этом и говорить нечего, мне кажется, так как нечего хвалить человека, если он не бездельничает. Моя идея добра и счастья — душит меня — она неисполнима...

Но я забылся, пишу, пишу — не имею сил прочесть написанного, но чувствую, что я до сих пор говорил *только о себе*. Неужели я так самолюбив? Неужели мое «я» так любопытно? Но я хотел раскрыть себя перед Бестужевым — пусть он любит или ненавидит меня, зная хорошо. Но — еще несколько слов: не написал ли я, что я не люблю людей? Это клевета на себя! Не сказал ли, что они никуда не годятся, что я их ненавижу, презираю? Это клевета на них! Они — глина и бог; но бог в каждом из них есть; в руде каждого человека хоть крупинка чистого золота всегда сохраняется. Не слишком ли много мы от них требуем? Зачем спрашиваем у каждого, чего должно спрашивать только у избранных? Чувствую, что на меня находит мой добрый стих...

Мысль о вас отравляет его в эту минуту Милый Бестужев! Послушайте, — чувствуете ли вы свое *перерождение*, чувствуете ли, что ветхий Адам свалился с вас, как чешуя с глаз Савла, при громе бедствий и буре страданий, вами испытанных? Разгадайте, узнайте эту светлую идею и дорожите жизнью, дорожите собою! Уже десять лет я вас знаю. Какое сравнение между тем вихренным Бестужевым, которого видел я некогда в шуме Петербурга, и Бестужевым, который писал «Письмо к Эрдману» с Лены и с Кавказа. Но вот где он, этот Бестужев, — в письмах ко мне! В этой драгоценности, которую будут читать и плакать через несколько веков. Только тем, которые прошли, узнали тяжкую школу бедствий, так чувствовать и мыслить. Сличаю себя с вами — какая разница, какое расстояние! Не знаю, что такое беспорядочное, нестройное вижу в себе, и какая гармония, какая светлость, какая ровная сила в Бестужеве (!) Ваша поэзия не имеет нужды в стихах, даже в *словах* — сказал бы, если бы другие без слов могли понимать ее. Вам тяжело, милый мой А<лександр> А<лександрович>, тяжело физически, но — иногда приходит мне в голову: не все ли прекрасное есть молитва от демона

земли или вопль страдающих в когтях этого демона? Гете говорил, что он сошел бы с ума, если бы не написал «Фауста». Какая задача для решения! Мне думается, мне мечтается, что Бестужеву не суждено погибнуть за Кавказом, что ударит час соединения его со мною, что минута мира возвратит его нам.— Ах! Я готов бы молиться не только богу, но, как Гальба, искать алтарей новых богов и их утруждать моею мольбою! До тех пор, ради всего великого и прекрасного, храните себя — вы сами храните, а бог не погубит безвременно ни такой души, ни такой головы. Знаете ли, что все узнают каждую вашу строчку? Западает ли она в болото «Тифлисских ведомостей», садят ее в помещичий огород Греча или является она в «Телеграфе» — все равно: она узнана и оценена! Вот тут-то и является в каждом нечто божественное. Ведь есть же нечто, сказывающее другим: «Это гений Бестужева!» Ваш «Белозор» — прелесть неоценимая. Никогда Ирвинг не казался мне так спел и сочен. «Ужасное гаданье» — создание глубокое и высокопоэтическое. Еще не принимался я за «Аммалата-Бея» — для чего? Берегу, когда мне будет или слишком тяжело, или очень хорошо. Тогда или украшу им час скорби, или увеличу им минуту радости. Так читаю я Шекспира и Байрона. И вы упоминаете о пересылке «Аммалат-Бея» к Гречу? Послушайте, — это было в последний раз и в первый — и более никогда уже я от вас я этого не услышу? Не правда ли? Если бы можно было, я не позволил бы в страницах Греча являться ни одной букве Марлинского.

Но на сей раз довольно. Читайте, судите меня, браните или хвалите.— Кто сам себе не отдает в себе отчета, перед кем загадка бытия запутывается тем более, чем более идет он по пути жизни,— чем тому оправдываться, что сказать...

Это письмо писал я к вам в три приема и так буду отныне делать. Моя исповедь, биография, все, что пробегает в голове, решаюсь я отныне ежедневно записывать на листочки бумаги и эти записывания по прошествии каждой недели или двух посылать к вам — это будут мои *письма* к вам; иначе не могу, и вы будете по полугоду не получать ни одного слова. Сесть с тем, чтобы *писать письмо* к вам — я не в силах, я задохнусь на другой страничке...

Несколько хозяйственных слов. Все, что вы заказывали, было посылаемо и посылается к вам. Только патронцов или дудочек нельзя было заказать, потому что здесь все обязаны подпискою не делать ничего подобного без спроса

правительства — следственно: игра не стоила свеч. И еще помню, что не послана донныне материя на какое-то черкесское одеяние. Вы забыли написать, сколько аршин ее надобно, а по названию никто не мог здесь растолковать, что это: куртка или огромный халат.

Пишите, заказывайте — все исполнено будет. Между тем я еще у вас в долгу и давно бы послал к вам мой долг, но — как это сделать? *Можно* ли по обыкновенному вашему адресу? Боюсь повредить вам даже и неумышленным поступком. Уведомьте.

Посылаем вам при сем «Notre Dame de Paris»¹ В. Гюго — произведение, изумившее Францию. В два месяца вышло этой книги шесть или семь изданий. Не предупреждаю суда вашего и потом скажу мое мнение.

Кланяйтесь Ивану Петровичу. Ему собственно отдельная книга.

Ваш всегда Н. Полевой.

По 25-е сент(ября) 1831 г. Москва.

16. Е. А. БЕСТУЖЕВОЙ

23 января 1833 г. Москва

Милостивая государыня Елена Александровна!

Спешу отвечать на письмо, которым почтили вы меня от 14-го января, и благодарить вас за присылку экземпляра сочинений братца вашего. Напрасно только вы говорили мне как литератору и журналисту: когда речь о *Марлинском*, все сии отношения в сторону и прошу вас относиться к душе моей и к моему сердцу: тут его место как литератора и человека. После сего, если я и не имею чести быть вам лично известным, вы можете поверить, что я готов сделать все, что только будет полезным для вашего братца и что состоит в моих силах и возможности.

Совсем не знал я, что печатание и издание производится вами. Я полагал, что распоряжение всем этим принял на себя Н. И. Греч. Если бы мне прежде было это известно, то я осмелился бы предложить вам мои советы, которые послужили бы к совершенству книги. Так, например, можно бы поместить в ней еще несколько статей: письмо о Кавказской стене, о битвах с Казы-Муллою,

¹ «Собор Парижской богородицы» (фр.).

статью, бывшую в «Живописце», и перепечатать «Поездку в Ревель». Впрочем, и в настоящем виде книга составляет истинную драгоценность, равной которой не скоро дождется русская публика. Посему думаю я, что, несмотря на притеснения г(оспо)д книгопродавцев, издание у вас не залежится. Несмотря на сие, позвольте мне вам посоветовать, что, если книгопродавцы соглашаются взять у вас все издание оптом, с некоторою уступкою, примерно 30.%, то вам лучше отдать им. В таком случае они не только вредить не будут, но употребят со своей стороны все средства сбыть скорее и чрез то доставить способы печатать вновь. Если сочинения Булгарина печатались два-три раза — я откажусь писать и готов поломать чернильницу и разбить ее, если Марлинский не выдержит трех изданий. Злонамеренность и благонамеренность журналиста, мне кажется, бессильны перед дарованием, столь сильным, прекрасным и поставленным при том судьбою в особенные обстоятельства. Поверьте, что глупого и пристрастного суждения, какое изъявил г-н Воейков в своем «Инвалиде», никто не может читать без смеха и негодования. В «Телеграфе» будет посвящена Марлинскому большая отдельная статья. Между тем, мне желательно б было сделаться немного хотя полезным в самой продаже. Не угодно ли будет вам выслать экземпляров сто или двести для сбыта по комиссии при конторе «Телеграфа» в Москве (?) За продажу их никакой — комиссионной — платы взять я не согласен, а деньги будут доставляться из конторы по мере выручки, куда вы укажете их высылать. Если вам будет угодно на сие согласиться, то благоволите немедленно отправить экземпляры через контору дилижансовых транспортов на имя мое, в Москве, в контору «Телеграфа».

Заняв почти все письмо деловыми расчетами и предположениями, позвольте мне хотя окончить его уверением снова в постоянстве чувства моего к братцу вашему. Предоставляю времени оправдать слова свои в глазах ваших. Братец ваш, я уверен в этом, во мне не сомневается и хорошо меня знает.

С истинным, глубоким почтением и совершенною преданностию честь имею пребыть вам, милостивая государыня, покорнейший слуга

Николай Полевой.

Января 23 дня, 1833 года. Москва.

10 марта 1833 г. Москва

Марта 10 дня 1833 г. Москва.

Милостивый государь Вильгельм Карлович (!)

Если бы вы приехали теперь в Москву и пришли ко мне, то застали бы все точно так, как было прежде. Блажен народ, которого историю читать скучно. Оборотя эту фразу, можно применить ее к семейственной жизни, и однообразие в жизни семьянина есть порука, что ему хорошо.

Я печатаю теперь IV-й том «Истории»; готовил с братом остальные номера «Телеграфа» за прошедший и 4-ю и 3-ю (книжку) за нынешний год. Скоро начну печатать новый роман свой (опять под благочестивым названием: «Суд божий»). Последняя часть «Клятвы на гробе господнем» отпечатана. Еще думаю выдать собрание старых и новых повестей своих, под титулом «Мечта и жизнь» (одну из новых, может быть, вы прочитали) в 1-м и 2-м номере «Телеграфа» за сей год: «Блаженство безумия». Другую помещу в 6-м и 7-м под названием «Художник». Если только не умру, то издам в нынешнем году «Истории» IV, V и VI-й томы. Шестой оканчивается восшествием на престол Годунова. Из всего этого можете судить, как я занят. Чего другого, а в недостатке трудоспособности меня упрекнуть нельзя.

Что-то вы подделываете? «Новоселье» (нрзб) Петербург, прекрасно для одного, двух издателей; но, признаюсь, от целого собрания русского Парнаса я ожидал более. С чего Жуковский лезет в русскую кожу? Для чего Пушкин так фигурирует, чтобы сказать вздор? Брамбеус уморителен, но он забыл, что лежачего не бьют и что ему не годится тыкать черта а posteriori¹ — это гадко! Одоевский слишком перехитрил. Всего лучше понравился мне Греч своими «Воспоминаниями». Из воспоминаний Шишкова я узнал, что Екатерина писала дурные стихи. Жаль! — Кстати, кто-то обещал мне стихи (к Алексееву, помнится) и отдал их другому...

Простите болтливость: ведь я журналист и притом самый старший после Греча. Но я всегда буду нов в чувстве совершенной преданности, с какою есть и буду ваш усердный

Н. Полевой.

¹ на основании опыта (лат.).

17 мая 1833 г Москва

Москва. 1833. Мая 17 дня.

Вы меня порадовали известием о Кукольнике. Верю вам, восхищаюсь наперед, если он оказывает такой необыкновенный талант; но совсем не помню, что он печатал до сих пор и где? Если он удерживался еще и печатать, это один из признаков дарования сильного, надежного на себя, недовольного собою, а недовольство собою есть ручательство хорошего. Прошу вас поручить меня знакомству истинного поэта. В обмен за известие о Кукольнике скажу вам нечто смешное. Здесь также проявился было гений, некто Бахтурин. Дамы, а многие и кроме, были от него в восторге. Мой любезный увлекающийся всем прекрасным Вельтман жестоко спорил со мною. Наконец — тиснул одну поэму Бахтурина, и я похотел над Вельтманом, когда он с изумлением говорил: «Да он и грамоты русской не знает!»

На днях получил я Языкова и прочитал его в три присеста от доски до доски, нарочно, чтобы дать себе полный отчет (статью об нем в «Телеграфе» писал мой брат). Знаете ли, что Языков навел на меня грусть? Да, грусть именно! Можно ли с таким языком, с такими формами стиха соединять такую бессмыслицу, такую пошлость содержания! Стих у него чудный — содержание, душа стиха — мышья, точно мышинным огнем согретая!

Еще более досады принес мне Одоевский. Этого я хорошо знаю, знаю, что он человек с залогом прекрасным; но — боже! что это такое «Пестрые сказки»? Камер-юнкер хочет подражать Гофману, и подражает ему еще не прямо, а на жаненовский манер, и не забывает притом, что он аристократ и камер-юнкер. Это сбор мельчайших претензий на остроумие, философию, оригинальность. Чудаки! Не смеют не сделать в условный день визита и пишут à la Hoffmann! Надобно быть поэтом, сойти с ума и быть гением, трепетать самому того, что пишешь, растерзать свою душу и напиваться допьяна вином, в которое каплет кровь из души, — тогда будешь Гофманом! Ради бога, если Кукольник ваш таков, как вы пишете, оживите нам душу его созданиями. Я истомился на пустоцветах русской литературы, в духе этого концерта аматёров, которые разыгрывают чужие пьесы в пользу бедных. Сколько раз бывал я обманут ожиданием! Подолинский, Козлов, Шевырев, Языков,

Алексеев, Шишков, Погодин, etc, etc, такой обещал быть тем, другой другим, и ни один из них не сдержал своего обещания. У одних литература есть средство интриги (Погодин), у других — мимоходом занятие от скуки (таких сотни), иные слишком перемудрили (Шевырев, Одоевский), иные выпарились в звуках (Подолинский etc.). Я сам, однако ж, испугался теперь сердитого тона моего, впрочем, с вами неискренность почел бы я грехом, любя и уважая вас как человека еще более, нежели как литератора. Кстати о литераторах: в № 8-м, который печатается, я написал статью о ваших «Повестях», хвалю и браню, положила руку на сердце, а на это вы можете положиться, как и быть уверенным в неизменности к вам бранчливого, но любящего вас

Полевого.

P S. Хотите ли знать идею рецензии моей на ваши «Повести»? Вот она: человек с неподдельным поэтическим дарованием, которому недосуг писать и уединяться в свою душу. Так ли? Скажем откровенно.

19. Н. Ф. ПОЛЕВОЙ

29 марта 1834 г. Петербург

Едва приехал я, как и спешу успокоить тебя, милый друг Наташа, что я добрался до Петербурга, хоть с отколотыми ребрами от почтовых тележек и от прегадкой дороги, но здоров совершенно и спокоен, как будто эти строки пишу в своем кабинете и хочу для шутки переслать их тебе с Сергеем. Прошу тебя, милый друг, заплатить мне таким же спокойствием души за исполнение просьбы твоей: беречь себя. Не воображай себе ни дороги моей каким-нибудь волоченьем негодая под стражею, ни теперешнего моего пребывания чем-нибудь вроде романической тюрьмы: мой голубой проводник был добрый хохол и усердно служивал мне. Сидели мы, правда, рядом, зато рабочие инвалиды по московскому шоссе снимали перед нашею тележкой шапки, что меня забавляло чрезвычайно. Теперь я пока живу в светлой, не очень красивой, но комнате, и мне дали бумаги и перьев — буду оканчивать «Аббадонну» или напишу, может быть, препоучительную книгу нравственных размышлений о суете мира etc. etc.

Брату отдельно не пишу; покажи ему это письмо, почему я и прибавил в нем, что, где бы я ни был и что бы

я ни был,— в душе моей вечно будет он, мой единственный друг.

О деле я ничего еще не могу сказать, ибо граф А〈лексаандр〉 Х〈ристофорович〉 только сказал мне, чтобы я отдыхал с дороги.— Крепкий верою, крепкий своею правотою и совестью, я не боюсь ничего и даже в эту минуту не променяюсь с многими, которые сегодня спокойно встали с постелей и поскачут по Петербургу в богатых экипажах.

Мое благословение всем детишкам: Вольдемару, Наполеону, Лизе, Наташе, Анете, Сергею и — мерзавцу нашему Алексею. 〈нрзб.〉 поцеловать ручку, а Немочке нашей, если можно, розовую ее щечку. Но одно из главных, милый друг: мерзавца Алексея зацеловать так, чтобы он заплакал. Всем, кого не испугало и не отогнало от тебя и брата нечаянное мое путешествие,— поклон.

Твой всегда Николай.

29 марта 1834 года. С.-Петербург.

20. В. Г БЕЛИНСКОМУ

26 апреля 1835 г. Москва

Милостивый государь Виссарион Григорьевич 〈!〉

Поверьте, что от искреннего сердца благодарил я вас, читая ваше письмо, благодарил и за то, что ваша *благосклонная рука потрепала лавры старика*. Чувствую, как сильно устарел я, но все еще кипит сердце на дело правды, и если я могу только чем быть полезным — готов служить вам. Дайте только мне еще немного отдохнуть от болезней душевных и телесных. Повторяю благодарность мою за ваш приятный подарок, и верьте, что я есмь и буду с совершенным почтением ваш, милостивого государя, покорнейший слуга

Н. Полевой.

Апр〈еля〉 26 д〈ня〉 1835 г. Москва.

21. В. Г БЕЛИНСКОМУ

19 сентября 1835 г. Москва

Милостивый государь Виссарион Григорьевич!

Беда не велика, только бы годилось вам. Касательно

двух других предметов, приятель мой оба начал их, но — повремените немного. Столько хлопот и занятий. Как нарочно, все болен, и ко всему прочему другому прибавилась неожиданная деятельность Мануфактурного Отделения, где теперь новый начальник, граф С. Г. Строганов. Он хочет соединить просвещение с промышленностью. Как отказаться от ласкового привета? Посмотрим и между тем не забудем и того, что обещано, только повремените маленько.

С истинным почтением и совершенною преданностью емь и пребуду ваш, милостивого государя, покорнейший слуга

Н. Полевой.

19 сент<ября> 835 г.

22. А. И. ГЕРЦЕНУ

25 февраля 1836 г. Москва

Милостивый государь Александр Иванович!

Зная, как всегда любил и уважал я вас, вы поверите искренности слов моих, когда я скажу, что сердечно обрадовался, получив письмо ваше. Добрая весть эта была подарком для меня. Слава богу, что вы уцелели, что вы не упали духом, что вы продолжаете занятия ваши, что можно иногда перекликнуться с вами. Бодрствуйте, любезнейший Александр Иванович! Время драгоценнейшее лекарство на все. Будем опять вместе, будем опять философствовать, с тою же бескорыстною любовью к человечеству, с какою философствовали некогда. Наперед всего, вы простите меня и не причтите мне в вину долговременное медление мое отвечать на уведомление ваше. Причиной была полуожиданная-полунечаянная поездка моя в Петербург, отнявшая у меня почти месяц, а потом тма мелких забот и нездоровье мое по возвращении; не поверите, сколько различных досад и неприятностей перенес я с тех пор, как мы не виделись, моральных и физических. Москва так надоела мне, что, может быть, я решусь совершенно оставить ее; по крайней мере, нынешнее лето, с июля месяца, я проживу в Петербурге. Если уж надобно, неволя велит продолжать мне мою деятельность, то надобно продолжить ее в Петербурге, который, как молодой красавец, растет и *величится* на счет Москвы, стареющей и дряхлеющей во всех отношениях.— Но что в будущем — ведомо

только богу, а пока я в Москве, прошу вас писать ко мне, когда вздумаете и что вздумаете. Мне приятно сделаться и посредником вашим с журналами и публикою, если вы захотите входить в какие-нибудь с ними сношения. Статью вашу о *Гофмане* я получил. Мне кажется, вы судите об нем хорошо и верно, но если вы хотите дать публичность этой статье, то примите мой дружеский совет: ее надобно подправить в слог, весьма небрежном, и необходимо, прежде цензуры, исключить некоторые выражения. Кроме того, что без этих поправок статья может навлечь на вас неприятности, положим, хоть *журнальные*, спрашиваю: к чему эти выражения? Дело в деле, а не в них. Если вы доверите мне, я охотно приму на себя обязанность продержат над статью вашу политическо-литературную корректуру и потом отдать ее в какой угодно журнал. Без вашего позволения приступить ни к чему не смею и, право, не советую без поправок посылать другому. Верьте, что я желаю вам всякого добра, как родному, уверенный притом, что настоящее положение ваше продолжаться долго не может, если вы будете сколько возможно осторожнее во всех отношениях. Верю, что вы можете быть в состоянии оскорбленного и раздраженного человека, но кто из нас переходил путь жизни без горя и без страданий? Слава богу, если они постигают нас тяжелым опытом в юности. А как изменяются потом в глазах наших взгляды и отношения на все нас окружающее. — Великий боже! я сам испытывал и испытываю все это, а мне только еще *сорок лет*. Расстояние между мнениями и понятиями 20-ти и 40-летнего человека делит бездна.

Братец ваш рассказывал мне, что вы принялись за географию, за статистику — дело доброе! Жаль, что по исторической части сторона ваша совершенно бесплодная. Об ней можно сказать одно: жили, а кто жил и зачем жил, бог весть. Впрочем, если бы что открылось любопытное, пожалуйста, сообщите мне. Русская история сделалась моею страстью. Я охотно готов сообщить вам исторической пыли сколько хотите. История теперь и кстати. Кажется, что вся литература наша сбивается на задние числа.

Адрес мой теперь: *в Москве, под Новинским, в Кудрине, в приходе Девяти Мучеников, в доме Сафронова*. Буду ждать писем ваших, и в ожидании всегда сохраняю к вам чувства совершенного почтения и преданности, с коими был и есмь ваш усердный и преданный

Н. Полевой

25 февр⟨аля⟩ 1836 г. Москва.

23. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

Конец января 1837 г. Москва

Прилагаю все желаемое при сем, любезнейший Виссарион Григорьевич, только *Вронченки* нет — черт знает, куда задевалась — у меня был экземпляр, я точно помню, но, верно, кому-нибудь отдал и забыл, что со мной беспрерывно случается. Думаю, впрочем, что у Н. Н. Глазунова или где-нибудь достать можно. Пошлите к *почтеннейшему* нашему (Ратькову). Он достанет тотчас. Скажите, что я прошу его с моей стороны и что это очень нужно. А лучше напишите записочку к брату Ксенофонту об этом, чтобы достать.

Сегодня был у меня *англичанин* Бенкс. Он в восторге от Мочалова и говорит, что удивительно игра его походит на Кинову, которого он видал в Лондоне. Есть же сочувствие между душами? Мочалов как угадал игру Кина? Это любопытно.

Ваш Н. П

24. О. И. СЕНКОВСКОМУ

8 февраля 1837 г. Москва.

8 февраля 1837. Москва.

В *субботу* вечером, третьего дня, получил я письмо ваше, от 1-го февраля. Вчера *воскресенье*, и отвечать я не мог. Спешу теперь уведомить вас, любезнейший Осип Иванович, об этом и о том, что если бы я ненавидел вас, то помирился бы с вами и полюбил от последнего письма. Оно делает честь человечеству, оно прекрасно, оно излилось из сердца, и вы приобрели на меня великие права этим письмом. Из души, чуждой добродетели и прекрасному, такие слова не вылетают. Вы возлагаете на меня тяжелую обязанность — написать о *Пушкине*. Мы пишем хорошо, когда искренние чувства уже укладутся в глубине души, тяготят ее там и требуют исхода. Но пока они безотчетно тревожат нас, — работе еще не время, и человек тогда молчит. Таково мое положение теперь в отношении к покойному поэту. Смерть его поразила меня. Давно не плакал я так горько, как услышавши об его смерти. Ваше письмо умножило грусть мою. Но — я хочу писать и исполню ваше требование, как смогу; точно — писать надобно, как умеем, как сможем, но — писать надобно. Немедленно принимаюсь я и тотчас пошлю к вам, что напишется. Рассмотрите при-

сланное и, если оно будет годиться, напечатайте, а не то, ради бога! в печь и только. Будьте здоровы и веселы и верьте истинному уважению и преданности, с какими есмь и пребуду ваш усердный

Н. Полевой.

25. К. А. ПОЛЕВОМУ

20 декабря 1837 г. Петербург

С.-Петербург, 1-го января 1838 г. (20-го декабря 1837 г.).

Опять *месяц* безмолвствовал я и пропустил все назначенные между нами сроки, мой добрый брат и друг Ксенофонт, — безмолвствовал, получивши даже и твое милое письмо от 6-го (11-го) декабря. Мне стыдно было бы *извиняться* перед тобою, — это значило бы унижать тебя и себя и дружбу нашу, переходящую пошлые пределы *приличий*. Но я могу показаться неизвинимым перед сердцем твоим при мысли, что я могу существовать и жить раздельно от тебя, не делясь с тобою душою и сердцем — этого ты не подумаешь, я уверен, а если бы подумал — мне это было бы горько! Ты умнее меня, но сердце твое я знаю лучше тебя самого — спроси в таком случае у него, а не у холодного ума-обвинителя, часто клеветующего на жизнь и душу человека.

Надобно было давно писать к тебе, отполнить немного от моего сердца — ему тогда становится легче, но... из следующих за сим описаний ты увидишь, что я не мог передать тебе ничего, кроме грусти моей, и если бы, высказавши тебе, я и почувствовал себя легче — зачем разделять с тобой темные стороны жизни? У тебя и своих довольно...

Не знаю с чего, но мне кажется, что с «сегодня» — новый год (с которым усердно тебя поздравляю), и в моей судьбе сделался какой-то перелом к лучшему. Ничего и нисколько особенного — но мне так сдается что-то. *Первый* еще день проснулся я с какой-то безотчетной отрадой в душе, и *первая* мысль была: «Писать к Ксенофонту!» — Решено, и вот тебе послание, которое, думаю, будет длинновато. Есть у сердец свое тайное сочувствие. Декабря 6-го я принялся писать к тебе, не мог *не писать* и — изорвал целый исписанный мною лист... на него капнуло несколько слез!.. Зачем было посылать их в Москву к тебе? Пусть они высохнут здесь!..

«Неужели же, брат, — скажешь ты, — тебе не было радостного дня во все это время, пока ты не писал ко мне?» — Да, клянусь богом, да — ни *одного* дня, который отметить бы в календаре! — «Зачем же скакал ты в Петербург? чего искал ты? Не раскаиваешься ли, что уехал туда?» — Нет, не раскаиваюсь! Переселение в Петербург было следствием продолжительного обдумывания и решительности на все! Я знал, что будет тяжело, тяжело, но, смотри сам, что было *первоначальной* причиной мысли о *побеге* из Москвы — ты *знаешь* и согласишься, что меня *ничто* не могло спасти от моего несчастья, от этого проклятия, наложенного *судьбою* на жизнь мою, от огня, сжигавшего меня медленно и страшно, — ничто, кроме *побега*? Бежать, задушить себя работою, трудом, уединением... Разумеется, что от этого лекарства умереть можно (да, кажется, этим дело и кончится, и — слава богу!), но, по крайней мере, я умру в бою с жизнью, не теряя достоинства человека, стараясь еще быть, сколько могу, полезным моему семейству, моему отечеству, людям, может быть... Воздух Москвы был тлетворен для меня, губил меня, жег меня... Итак... *бежать*! С этим соединялась другая мысль: здесь мог я употребить последние средства спасти себя от *стариков* — другого убийства жизни моей, а там, в Москве, я не видел к этому средств. Работать и видеть, как бесплодно гибнет труд и время, менять векселя на векселя... Труд мой, который я принимаю на себя здесь, едва выносим, но я вижу, по крайней мере, цель его, вижу, что, поработавши два-три года, я буду *чист со стариками* и детям оставлю кусок насущного хлеба... Ну, мой суровый Ксенофонт, — суди и говори: *Надобно ли* мне было ехать в Петербург? — Да? не правда ли?

Ты видишь, что я разбираю себя, как анатомист разбирает труп человеческий; а я точно *труп* — жить перестал я давно, отрицательное бытие мое, польза и счастье детей — это уже не принадлежит к *моей* жизни. Ведь жизнь-то значит счастье и наслаждение, а я откупорил стклянку с этим небесным газом — он вылетел, и теперь, как ни запирай эту драгоценную сткляночку, — она пуста! Остается улыбнуться и ждать, когда судьбе будет угодно разбить ее... Все это ты понимал и знаешь, хоть я не имел сил говорить с тобою об этом так обстоятельно; но *написать*, теперь, собрал силы... хорошо.

Итак, если переезд в Петербург был решением в жизни, *необходимостью*, отчего же грустить и хныкать? Я не грущу и не хныкаю перед другими. Мое семейство видит меня

всегда веселым, люди — задумчивым иногда, но никому я не жалею, работаю, как только могу и умею, а иное дело с тобою говорить — ты *один*, которому могу, должен сказать все, что сказал я тебе здесь. И тебе, раз сказавши, я уже не *повторю* этого более никогда. От тебя не скрою и того, что до *сегодня* жизнь моя в Петербурге была непрерывным страданием и гораздо тяжелее московской жизни... Причины? Прежде всего — *разлука с тобой*, мысль, что эта разлука уже *навсегда*, что даже могилы наши станут розно, и в мой последний час я не протяну к тебе руки, не обращу на тебя взора, когда ты у меня *один* в мире... Тяжело!! А потом решимость на разлуку *такую же с тем*, кто принудил меня бежать, и разлука с ним... Если люди умирают два раза, то я уже испытал один раз томления смерти... От этих *двух ран* язвы останутся навсегда неисцельны, но до сих пор из них точилась горячая, свежая кровь. Далее, не ожидал я, признаться, чтобы переезд мой сопровождался такими *случайными* неприятностями. Как нарочно, тут все скопилось: болезнь и смерть бедной немочки, болезнь старухи, расстройство и горе в семействе. Вообрази, что мы еще отпевали мертвеца: *Матрена*, эта толстая добрая женщина, правая рука по хозяйству в семействе нашем, к которой все мы так привыкли, умерла на днях. Неправда ли, что, как нарочно, одно за другим? Но, после моего письма к тебе, главнейшую неприятность составили мне мои *политические*, так сказать, обстоятельства — этот холодный, суровый ответ от графа Алекс(андра) Христ(офоровича). Признаюсь, что сначала это меня как громом поразило! К чему же было ласкать меня, лелеять посулами? И неужели не уверились еще во мне, не видели моей искренности, не поняли меня и хотят терзать даже после такого письма, какое посылал я к графу в Москву? Ехать в Москву самому, просить, объясняться — это было невозможно, невозможно всячески, даже потому, что бесплодная издержка 500 рублей, при теперешней моей нужде, была бы мне чувствительна. И между тем затягивать Смирдина и обширное его предприятие, когда все оно основывалось на *мне* и на *моем имени*, и мысль, что отказ может действовать на отношения ко мне Греча и Булгарина, может положить в их глазах темную на меня тень и действительно вредить им... Я боялся эгоизма Греча, поляцизма Булгарина, трусости Смирдина... И обо всем этом столько говорили, а главное: с разрушением этого разрушалась вся моя надежда в будущем, мечта о спасении от *стариков*, мечта о том, что можно еще сделать много

хорошего, и я становился оплеван перед всеми, выехав на берега Невы, опять писать на заказ романы и переводить Дюмон-Дюрвилей, биться из куска хлеба... Согласись, что мое положение было, если не ужасно, то неприятно и прискорбно в высшей степени! Надобно было решиться — я отправился к Гречу, Булгарину, Смирдину, сказал им все — вероятно, говорил, как Цицерон, говорил сильно и искренно. Нет! все могут быть людьми: Булгарин расплакался, Греч обнял меня, Смирдин сказал, что меня с ним ничто не разлучит. Все мы подали друг другу руки и, благословясь, подписали наши условия. Но уже тем более мне надобно было после этого налечь на работу, ибо умолчание имени моего значило 20% долой, а бедный мой Смирдин шутил в плохую шутку, рискуя на предприятие в сотни тысяч: бюджет «Пчелы» составляет 150 000, а «Сына отечества» 50 000 рублей, когда теперь «Пчелы» расходуется только 2500 экземпляров, а «Сына отечества» — смешно сказать — 279 экземпляров! Но *to be or not to be*¹. По крайней мере, теперь мое положение обозначилось и определилось. Я понял так, что мне надобно как можно не выказываться, не лезть в глаза, стараться, чтобы увидели и удостоверились в моей правоте, чистоте моих намерений. Жить, дышать и работать мне не мешают — чего ж более? Надежда на бога, на чистую совесть и на труд. И вот теперь, во-первых, засел я в мою конуру, сам никуда не бросаюсь, рад, кто придет, но никого к себе *гостить* не зову, никого у себя *не собираю*, являюсь в литературные общества тихо, скромно, вежливо. Во-вторых — *работаю*. Сплю я теперь не более *пяти* часов в сутки. Что есть что поделать — ты сам понимаешь. Что только надобно прочитать, что обдумать и что написать — голова идет кругом, когда вообразишь... Чтобы закончить тебе описание вещественного моего положения, скажу так: житье у меня хорошо, дом прекрасный, кабинет прелестный, по моему вкусу; семейные грусти утишаются — жена моя теперь спокойнее; есть еще нужда в деньгах, ибо ты сам видел, что прежде всего надобно было бросить в пасть *старикам* 15 000 рублей, а переезд, обзаведение, etc., etc. пожирают до сих пор кучу денег — но все-таки у меня житье, как было в Москве... Это все улаживается. Дети переносят переселение, слава богу, хорошо. Ужасная погода во все это время не оказала и надо мною большого действия. Надежды на вещественное улучшение моего быта, кажется, несомни-

¹ быть или не быть (англ.)

тельны — подписка здесь идет хорошо, публика *ждет и говорит*, хоть моего имени нет... Увидим, увидим, что будет, а между тем ты, конечно, пожелаешь знать, что же мы и как готовим? Извольте, любезнейший судия, слушайте и судите:

Уваров и еще кое-кто (к чести человечества *немногие!*) торжествовали, когда получен был отказ из Москвы. Если верить Булгарину (порядочному лжецу), Уваров сказал ему: «Вы не знаете Полевого: если он напишет «Отче наш», то и это будет возмутительно!» Почему и отчего дает он мне une célébrité si cruelle¹ — особый вопрос, но, кроме строжайшего приказа смотреть за каждой моей строчкой, он сам читал, марал, держал нашу программу, так что мы умоляли его только отпустить душу на покаяние, и вот почему программа вышла нелепа. Но ведь говорить дело Уваров запретить не может, когда мои намерения чисты? Дать всему жизнь неужели нельзя? Материалов бездна. Мы выписываем около 40 журналов и газет. И вот «Пчела» будет вполовину более форматом, на хорошей бумаге. Третий лист отделяется на фельетон, сверху три первые колонны — внутренние известия, три потом — политика, один столбец далее — русская библиография, один — иностранная библиография, и четыре — на *статьи*. Фельетон внизу — театр и потом всякая всячина, а треть трех столбцов сзади — объявления, как в «Journal des Débats». Форма европейская — поколику то можно. О содержании что говорить? Что бог даст — для газеты нет запаса. Что *только позволяют*, то все будет передано, и надобно только, чтобы все кипело новостью. Надзор мой полный — ни одна статья не пройдет без меня, кроме вранья Булгарина, но постараюсь, чтобы ему чаще садился на язык типун. Вот человек! Греч и я умоляем: «Пиши меньше», но он хорохорится и безжалостно пишет. Библиография будет моя, скромная, но дельная. *Статьям* надо придать колорит *шалеvский* и *жаненоvский*. «Сын отечества» будет в формате «Библиотеки» и толще ее. Тут всего важнее критика: Хочу принять благородный, скромный тон, говорить только о деле. В науках и искусствах больше *исторического и практического*. Русской словесности — что бог даст — стану покупать, хоть и не знаю *у кого?* Иностранной словесности — богатство, и я тону в нем. Первая книжка «Сын отечества» явится 1-го января, почти в 30 листов. После стихов я бухнул в нее мое начало «Истории Петра Велико-

¹ столь жестокою славу (фр.).

го», затем статьи Греча, Булгарина, Одоевского, две повести — Ж. Занд и Жакоба (библиофила) — премилые. Статьи сухие: о Минине, журнал Сапеги, посольство Батория; статья Ротчева — очень дельная, о Ситхе; критика Сент-Бева (Делиль и его сочинения) — прелесть! Критика моя будет на книгу Менцеля; обзор литературы за 1837 год — тут я объявляю свою отдельность от Брамбеуса и независимость мнений моих, говорю истины всем! В заключение — политика или современная история — довольно плохо, однако ж любопытно.

Ну, что скажешь? Рассуди сам: *когда* успел я все это сделать и, главное, — кем? Ведь взяться не за кого — строки дать перевести некому. Что ни дашь сделать, все должен переработать сам. Корректуру держит последнюю Греч, и он истинно великий мастер, и даже ты перед ним ничто. Говорить с ним о грамматике — для меня наслаждение! Теперь тут же шлепнутся о смирдинский прилавок *в один день* и «Сын отечества», и «Библиотека для чтения». Неужели не увидят разницы в языке, тоне, системе, критике? Там — бесстыдство и кабак, здесь — человеческий язык и ум, скромный, но верный всему доброму и прекрасному. Жду решения, боюсь и надеюсь. Ради бога, я поспешу тебе послать I-ю книжку, а ты мне немедленно и как можно скорее напиши потом беспристрастно свое мнение. Говори, как посторонний, и говори правду, как она жестка ни будет; даже скажи о самом наружном виде, в котором стараюсь я быть опрятным. О «Пчеле» тоже говори истину. Твоего приговора буду ждать, как голодный кусок хлеба.

Теперь надобно бы потолковать о том, что можешь ты сделать для меня, как брат и друг и как человек, которому надобно дать речь в божьем мире (а кстати, можно и заработать: ведь ты работаешь же?). Об этом я много думал и все еще не решил, а главное — рука моя устала писать, и так много еще надобно бы говорить тебе, что на сей раз я не соберу мыслей. До января надеюсь еще писать тебе и *о делах* будет надобно поговорить — об этой мерзости! И описать тебе характеристику людей, с которыми живу и которых вижу. Это все *отдельно*. Но вот еще теперь необходимое. I-е: к Мочалову я писал и послал на твое имя рукопись «Уголино». Из цензуры он на днях выйдет. Ольдекоп не находит затруднения и только уверяет, что это перевод и что он даже читал его по-немецки! Следственно, нет никакого сомнения Мочалову списывать роли, ставить и учить «Уголино». Здесь все это деятельно делают, ибо

Каратыгин ухватился за «Уголино» руками и ногами и в конце января даст его в свой бенефис. Если Мочалов решится (процензурованный список перешлетя к нему немедленно), то, сделай милость, прими на себя труд собрать к себе Мочалова, Щепкина и Орлова и прочитай с ними вполне «Уголино». Это необходимо, чтобы им растолковать содержание пьесы; а по моему списку ты ведь можешь читать свободно. Если мой почерк затруднит в списывании ролей, то отдай переписать его «мошенникам» и сам после того пересмотри список. От всего этого «Уголино» может тебе надоесть, но будь снисходителен и добр. Уверь Мочалова (что и сущая правда), что я не мог скорее сделать и что если я не писал к нему, то не переставал и не перестаю его любить и на Каратыгина его не променяю (хотя, между нами, Каратыгин мне весьма нравится — художник с дарованием и умный, образованный плут). Мочалову грешно винить меня, если он знает все, что встретило меня в Петербурге.

2-е: скажи А. Н. Верстовскому, что каждый час отдыха моего посвящаю я теперь опере и что к нему буду скоро писать подробно и обо многом любопытном.

3-е, важное обстоятельство: поговори с Белинским, к которому, если успею, напишу теперь письмо. Я получил его письма, но, ей-богу, ничего не могу теперь сделать! Первое — мое положение теперь и самого меня еще самое сомнительное. Надобно дать время всему укласться, и затягивать человека сюда, когда он притом такой неукладчивый (и довольно дорого себя ценит), было бы неосторожно всячески и даже по политическим отношениям. Второе — что он может *делать*, и уживемся ли мы с ним при большой разнице во многих мнениях и когда *начисто* ему поручить работы нельзя, при его плохом знании языка и языков и недостатке знаний и образованности? Все это нельзя ли искусно *объяснить*, уверив притом (что, клянусь богом, правда), что как человека я люблю его и рад делать для него, что только возможно. Но при объяснениях щади чувствительность и самолюбие Белинского. Он достоин любви и уважения, и беда его одна — нелепость. Об исполнении всех этих поручений не замедли меня уведомить, ибо все это меня беспокоит.

Наконец, еще поручение: вероятно, ты пойдешь к Стефану Алексеевичу 27 декабря, хоть ради моего напоминания, — отнеси ему мое письмо, а не то отошли его в этот именно день, поутру. Я поздравляю его с днем ангела, который проводили мы столько лет вместе. Пожалуйста,

поди сам, ты его обрадуешь бог знает как; да ведь и собрание бывает драгоценное.

С душевным чувством читал я, как ты проводил день моих именин, этот печальный день, который всегда и *столько лет* бывали мы вместе с тобой... Нет! Я провел его здесь грустно, всем отказывал, кто приходил; обедал у нас только дядя Карл Иванович, но, сидя подле него, я читал тихонько: «Я пью один...» и грустно переносился то к тебе, то к могиле матери и сына, почивших вместе, далеко от меня... У Греча, с смертью сына, пиры на именинах его прекратились, и он провел день именин своих, в первый раз в жизни, один, запершись и со слезами, накануне просивши не посещать его и не поздравлять. Потеря сына чуть было не убила его совсем и оставила в нем неизгладимое грустное впечатление.

Говорить ли тебе о несчастном событии пожара? Зрелище было ужасное, и когда на другой день пришел я туда и вся эта громада предстала мне объятая пламенем — я невольно содрогнулся и прослезился! Весь главный корпус выгорел! Впрочем, почти все движимое успели спасти — драгоценности, бумаги, — но убыток и за тем миллионами считать надобно. Никакие усилия человеческие не могли затушить пожара.

Но довольно — давай руку и прощай. Не сердись за то, что я молчал? Тот ли же я в этой куче слов, которую посылаю тебе, каков был?.. В заключение становлюсь на колени перед твоею женою и целую ее ручки, целую Бетси, Колю и мою незабвенную, милую *Минну* — *Минну!* Благословляю вас на здоровье и веселье. Твой всегда и везде Николай.

26. В. Г БЕЛИНСКОМУ

22 декабря 1837 г. Петербург

С.-Петербург, дек(абря) 22, 1837 г.

На немых не жалуются, что они не говорят, а я, собираясь, может быть, много говорить печатно, совсем *онемел письменно*, мой любезнейший друг Виссарион Григорьевич. Брат вам скажет, что только сегодня «устне мои разверзошася», и вот спешу отвечать и вам на ваши дружеские послания. Брат может рассказать вам, что встретило меня в Петербурге. Словно напущенье: смерти, болезни,

скорби, мерзкая погода, неприятности и затруднения по делам! Говорить не хотелось, писать не хотелось. Только усиленная работа спасает меня, но зато отнимает всю возможность думать о чем-нибудь другом и обрезывает время так, что свободной минуты не остается. Потому и теперь приступлю прямо к ответу на ваше дружеское предложение. Как бы рад я был сотруднику такому, как вы, но я просил брата откровенно рассказать вам мое *нынешнее* положение, и вы сами увидите, что оно так скользко, безотчетно, связано отношениями, что завлекать вас надеждами, заставить переселиться сюда — значило бы взять на совесть, может быть, и невольный обман. Необходимо следует несколько погодить. Дайте мне немного поустроиться, оглядеться, утвердиться, и тогда будет все отчетно и видно. Мысль моя теперь такая: если бы вы могли после Святой, весною, сюда приехать, поглядеть все сами, видеть здешний люд — это было бы всего лучше. Переезд можно вознаградить тремя днями работы. Хата у меня есть, и я приму вас с распростертыми объятиями, а не — иудинским лобзанием. К тому времени и мои обстоятельства будут уже утверждены. Да и надобно вам посмотреть на пресловутый Петербург, особенно, если вы имеете уже тайную мысль сюда переселиться. Верьте, что все, что только в силах я буду сделать — сделаю, и к сердцу готов прижать вас. Между тем надобно подумать, что можете вы делать *пока* в Москве? Спросите сами себя, посоветуйтесь с моим добрым Ксенофонтом и напишите, *что и за что*, напишите просто и прямо. Главная трудность — писать в Москве, не зная здешних отношений. По крайней мере, пусть все это докажет вам, что я истинно вас люблю и уважаю. Я и сам еще теперь не знаю, какой принять тон, какое выражение, и думаю только одно положить в основу: *не подличать*, елико можно, а все остальное предоставить решить времени. Смотрю, наблюдаю, кланяюсь скромно — что делать, если хотеть трудом принести какую-нибудь пользу ближним и не думать только о своем кармане! Петербург ужасный город в этом отношении! Мне, право, думается, что здесь вместо сердец бог вложил в тело каждого карман. В Москве есть еще какой-то бескорыстный идиотизм, но здесь ум звенит расчетом и расчет заменяет ум.

Вот что хотелось и должно было вам сказать. Дайте руку и верьте моему сердцу, даже более моей головы.

Статьи вашей я не видал и не получал. Где она?

«Уголино» мой, вероятно, уже приехал в Москву, и не

знаю, успеет ли он по времени и возьмет ли его на бенефис наш урод, достойный того, чтобы обнимать и бить его в одно время. Брат писал мне, что он уже отчаялся, но я не мог сделать скорее, и здесь не боятся запоздать, а ставят его с большою ревностью.

Мой поклон Василию Боткину.

Вчера долго думал я и наконец решил, что Шевырев решительный идиот. Об этом уж не спорьте, а лучше верьте, что всегда неизменно любит вас преданный вам

Н. Полевой.

27. К. А. ПОЛЕВОМУ

21 января 1838 г. Петербург

Есть в нашей бедной жизни, в жизни страдальца, отрада, мой милый друг и брат Ксенофонт, если мы страданием платим за то, что выдвигаемся немного из толпы, что отдаем здешние блага, удовлетворяющие стольких, за *что-то*, бог знает, такое, чего и изъяснить сами не можем! Есть такая отрада и есть часы такой отрады, когда толпа отдает нам справедливость за наше самопожертвование, когда она делается нашею рабою, чувствует свое ничтожество и невольно сознается, что в ней хранятся еще и всегда будут храниться искры божественного, которые выбиваются из нее, как искры из кремня огнивом. В эти мгновения забывает она все расчеты, все отношения, плачет, хохочет и награждает художника-страдальца. Такие минуты редки, такие награды драгоценны, и я испытал теперь такую минуту, получил такую награду. Ты понимаешь, что я хочу говорить тебе о представлении «Уголино». Для чего *тебя* не было здесь? Для чего не было здесь... ты знаешь кого — я плакал бы с вами, разделился с вами сердцем и хоть на мгновение узнал минуту радости, среди бездны зол, скорбей, тяжкого труда! Теперь именно еще *не полно* мое наслаждение тем, что мне не с кем *делить* его. Если удовлетворен *художник*, то *человек* уныл, и тем грустнее ему. Но — ты и заочно со мною — спешу набросать тебе несколько несвязных слов. Читай и воображай, что это я лично говорю с тобою.

Успех «Уголино» моего был *здесь* неслыханный и неожиданный. Только 5-го января могли мы получить рукопись из цензуры, и тогда начались репетиции. Оставалось 12 дней, ибо положено было непременно дать его

17-го. В воскресенье был я на предпоследней пробе — шло несвязно, неудовлетворительно, и я *не струсил* потому только, что, ты знаешь, с каким горьким равнодушием смотрю я на все, мною созданное, особенно теперь. Как нарочно, в понедельник был я окружен неприятностями, досадами — ну, *жизнью* — понимаешь! Вечером покати́лся наш *рыдван* к театру, и я заполз в ложу над бельэтажем (от которого нарочно отказался, потому что явился в ложе точно так, как описывал Вильгельма в «Аббадонне». С нами были дети, тетка, другая, Лиза, дядя, Далайка (?) с мужем etc. etc., потому что мне подарили *две* ложи). Театр был полон — добрый знак, ибо тогда было 25° мороза, и Талиони плясала на Большом театре, а при таких случаях все другие театры обыкновенно пусты. Я знал притом, что есть люди, пришедшие шикать, смеяться и много другого. И вот начинается, расшевеливается, пошло дело — гремят! После 1-го акта Каратыгин вызван; второй шумнее — вызывают в середине акта; с третьим актом плачут, а с окончанием его — гром и шум! Четвертый кончается, и отовсюду крики: «Автора!» После пятого — новый вызов. Каратыгина вызывали раз восемь. Успех был полный; по городу заговорили, но все еще были толки и споры. *Бенефисная* публика — не публика: в бельэтаже торчали *бородки*, в креслах — студенческая кровь. Назначили поскорее играть «Уголино», именно вчера, ибо его *требовал* голос публики. За билеты была драка, и я отправился уже в кресла и один (с Петровым, который приехал жив и здоров), в сюртуке, запросто — хотел быть зрителем. Театр был набит битком — в креслах знатоки, в бельэтаже *бомонд*, в 1-м ярусе вдруг почти ни одной *бородки*. Каратыгин был утомлен еще прежнею игрою за два дня; но он ожил — началось. Никогда (не я говорю это) не был он так хорош! Хлопанье было сначала умеренное, но не могу изобразить, что сделалось потом! Каждый стих был оценен, узан, принят — и это в холодном *Петербурге*, от бомонда! Рукоплескания сыпались, но это ничего; Каратыгина вызывали после каждого акта — но и это еще ничего. Третий акт — всюду слезы: плакали дамы, мужчины, гвардейцы; иные вскакивали с мест с трепетом, и в конце третьего акта, как страшный вулкан лопнул: «Аврора!» — загремело с ревом, с криком, с дрожанием стен! Я принужден был выйти при оглушительном вопле. В четвертом акте, в пятом акте — то мертвое молчание, то бешеный гром хлопанья, то «браво», то слезы, и все будто забыли, что на сцене перед ними пустая выдумка. Говорили громко,

что «Уголино» выше всего, и бог знает что; меня обнимали, целовали, бежали за мной по коридорам; Каратыгину били, били; меня еще раз опять вызвали; молодежь пила за мое здоровье, и «Уголино» опять дают, кажется, в понедельник. Вот тебе описание этого любопытного вечера, а я, в заключение, признаюсь тебе, вовсе не понимаю причин этого неслыханного успеха? Вижу, чувствую все недостатки пьесы, и *когда*, и *как* она писана! Боже мой! если бы знали!. Или сцены высокой любви, суеты человеческой, чувства отца так доступны даже и этим людям, светским, избалованным, прихотливым, взыскательным? Не понимаю, ибо говорю тебе, что в театре был и так увлекся *Петербург*, и *высший Петербург*! Неужели, в самом деле, эта *Вероника*, эта *любовь*, это презрение к жизни, эта жизнь за гробом — куда давно уже перешел я душою, могут быть доступны всем? Всего же более удивляет меня, что *драма*, в *наше время*, может увлекать, как действительная жизнь, и то, что *религиозное* в «Уголино» все было принято с восторгом. Скажи, суди, реши и даже скажи еще: *продолжать* ли мне? Ты знаешь, что это не стоит мне никаких усилий; но должно ли еще писать или *остановиться*, сознавая свое жалкое бессилие против великих образцов и не льстясь на успех, каким, право, и божусь богом, не знаю, за что меня теперь оглушили? Этого *решения* твоего на будущее буду ждать нетерпеливо, и вот тебе клятва: скажи ты «нет», и брошу мое драматическое перо! Ты — моя совесть, а я — что-то среднее между мертвецом и человеком живым. Ах! для чего тебя не было *вчера*...

Не присовокупляю ни одного слова о *делах*, и *прочее*. На этот раз — прочь *землю* — только *на этот раз*! Люди могут чувствовать все то, что моя Вероника, что Нино им высказывали, — порадуемся этому в эту минуту! Мое письмо должно прийти ко дню твоего ангела. Я думал, что бы послать тебе в подарок — посылаю вот это письмо, с поздравлением тебя с днем именин, с поклоном Лиллиньке — миленькой и маман, с поцелуями бабушке, Ичке(?) и Минне, Минне!

Я не писал к тебе о первом представлении «Уголино», потому что все еще, хотя успех был, да оставалось сомнение, и потому, что как гора лежала у меня на сердце: что *если Мочалову не позволят*? Вчера возвращаюсь домой и нахожу письмо от тебя и Загоскина. Я вспрыгнул от радости и отдохнул. Благодарю тебя, и разумеется, что теперь обязанность моя прислать список поскорее, в чем будь уверен. Благодарю тебя вторично за хлопоты, милый

Ксенофонт, и в день твоих именин жду уведомления, что «Уголино» сделает в Москве. Напиши, напиши и верь, что каждую минуту наслаждения с тобой только делю я вполне.

Твой Николай.

28. В. П. БОТКИНУ

20 марта 1838 г. Петербург

С.-П(етер)б(ург) Марта 20, 1838.

И первое, сердитое, и второе, мирное, письма ваши, мой милый Василий Петрович, были двумя капельками бальзама на мою душу, грустную и растерзанную. Одно показало мне степень дружбы вашей, другое чистую душу вашу, и много, много все это прибавило у меня к имени *Базиля*. Таких людей дайте мне, дайте мне их ближе к сердцу, и пусть они верят в меня, как в то, что и самый злой человек все-таки выше несколькими градусами дьявола. Как многое надобно б было мне говорить вам, писать вам! Да где взять времени? Как все *высказать*? Пишу ли я, не пишу ли я вам, верьте неизменяемости моей, как ни обвиняла бы меня внешность, так же, как верьте и дружбе моей к вам, всегдашней и неизменной. Жизнь моя здесь тяжела. Многого сделать не надеюсь, обвиняя и других, и себя.

Чувствую, что изнашиваюсь, что тело не переносит духа, что половина меня не принадлежит уже здешнему миру, а что сделаю я одною половинкою, когда и та связана цепями, убита тягостью обстоятельств, лишена надежд, истерзана бешеными страстями и стынет в нестерпимом холоде! Вся моя цель теперь — судьба детей, кусок хлеба им — не более! Но и при всем том, хочу еще оправдания от людей, вам подобных. Неужели не видите вы еще искр во мраке, благородства в том, что делаю, желания пользы? Статья на Менцеля, на Давыдова, благородный тон критики, желание уничтожить эту мерзкую «Библиотеку» — всем этим я еще могу похвалиться. Желание успокоить, примирить, свести обе стороны — лучшая мечта моя. «Уголино» мой вам не понравился, но неужели в нем нет отзвонков души, когда я сам *целое* ставлю весьма низко; чувствую все его ничтожество? Белинский пишет, что моя схема поэзии и изящного ошибочная. Он не понимает, что говорит, и я уверен в ее точности. Желал бы видеть его

возражения; желал бы и критики его на «Уголино», самой жесткой, только справедливой. Ради бога, скажите ему, чтобы он был только осторожнее, как можно осторожнее. Нельзя ли еще ему не ругать Греча и Булгарина? В таком случае мы останемся журналами, в почтительном положении, а без того — я не в силах буду остановить ругательств сумасшедшего Фаддея и злости Греча. Но клянусь, что моя рука против него никогда не двинется. Белинский чудак — болен добром, но любить его никогда я не перестану, потому что мало находил столь невинно-добрых душ и такого смелого ума при всяческом недостатке ученья. Вот почему хотел было я перезвать его в Петербург — боюсь, что он пропадет в Москве. Идеал недостаточен. Надобно мирить его с реализмом. Я сам никогда (не) был в этом мастер, но все не в такой степени, как Белинский.

За что вы все рассердились на статью Селивановского? Опять я утверждаю, что истинно он не *мерзавец*, но только *человек* — просто, а статья его что же содержала? *Его* мнение, и довольно справедливое, и неужели журнал должен быть монополиею мнений? Это-то и губит нас, что мы монопольны и односторонны. Белинский, например, уничтожает классицизм и Державина — несправедливо и ложно! Он не терпит Каратыгина, а я теперь узнал его как артиста, как человека и беру прежнее об нем мнение обратно. Он едет к вам — нарочно дам ему к вам письмо. Посмотрите его в Гамлете, Нино, Лире, Людовике XI. Этого прежде он не игрывал, и он изумит вас. Мочалов думает, что я разлюбил его. Не нелепость ли? Какие причины этому? Неужели кто любит Каратыгина, тот враг Мочалову? — Надеюсь в будущем доказать ему ошибку его. Письмо это покажите Белинскому, потому что не успеваю написать ему ничего отдельно. Предубеждение его против Петербурга — сущее ребячество! Города и люди везде одни. Мы создаем себе из них собственную атмосферу. Мне тяжело жить в Петербурге потому, что мне везде будет тяжело, кроме могилы, даже если бы ее не освещал и свет веры и она оказалась мне пантеистическим переходом частного в целое, в нелепости чего уверяет меня разум, ум и то, что еще выше ума. Простите — и верьте, верьте, не уму, но сердцу моему, и сами чаще спрашивайтесь его, а не этого негодяя, ума нашего, который гроша железного не стоит без сердца.

Ваш Н. Полевой.

29. К. А. ПОЛЕВОМУ

30 марта 1838 г. Петербург

Вручитель этих строк Кольцов. Добрый мой Ксенофонт! Позволь мне сказать тебе о нем, что это чистая, добрая душа, которую не надобно смешивать с Слепушкиными. О даровании его ни слова, но я полюбил в нем человека. Пожалуйста, приласкай его; поговори с ним просто, и ты увидишь прекрасные проблески души и сердца и полюбишь его. Может быть, от того, что мне здесь холодно, как под полюсом, с Кольцовым грелся я, как будто у камина. Сейчас получил твое письмо... Прощай! Христос воскрес — в запас, потому что по получении этих строк тобою будет уже светлая неделя. Да светлеет она тебе и твоим!

Твой Н<иколай>.

30. Ф. В. БУЛГАРИНУ

2 апреля 1838 г. Петербург

Вы спрашивали меня, любезнейший Фаддей Венедиктович, говорил ли я кому-нибудь и когда-нибудь, как пересказывал *кто-то* О. И. Сенковскому, будто вы с Н. И. Гречем наняли меня *ругать* его.

Отвечаю: *никогда* и *никому* я этого не говорил, и кто станет утверждать противное, тот *солжет*.

Верно, слова мои не так передали О. И.: я говорил и говорю, не скрывая ни перед кем, что по собственному убеждению почитаю О. И. С<енковского> вредным для русской литературы человеком и, дорожа честью русской литературы, постараюсь остановить пагубное его влияние, которое сказывается в следующем:

1. он ввел у нас отвратительную литературную *симию* и сделал из литературы куплю;

2. он портит русский язык своими нововведениями, вовсе не умея писать по-русски;

3. он ввел в моду грубую насмешку в критике и обратил ее без пощады на всех, даже на самые святые для человека предметы, развращая при том нравы скарроновскими повестями и ругательскими статьями;

4. он вводит в науки грубый эмпиризм и скептицизм, отвергает философию и всякое достоинство ума человеческого;

5. он берет на себя всезнание, ошибается, отпирается, утверждает небылицы и все это прикрывает гордым самоуверением;

6. он до того забылся, что считает себя вправе указывать всем другим, ученым и литераторам, берется за все и, не имея ни достаточных познаний, ни времени, ни способов, заменяет все это — дерзостью, самохвальством и тем портит наше юное поколение, приводя в замешательство даже умных и почтенных людей.

И все это я постараюсь ему доказать, вред (?) предупредить, литературу русскую от О. И. С(енковского) спасти и всячески уничтожить его *как литератора*, ибо как человека я его не знаю и знать не хочу. Может быть, он почтеннейший семьянин, усердный сын отечества, добрый друг, благотворитель близких — это до меня не касается, я говорю об С(енковском)-литераторе.

Если он во всем вышеупомянутом искренне покается и переменит свои поступки, я готов с ним помириться и мои преследования прекращу.

Письмо это можете показывать кому угодно и самому О. И. С(енковскому), ибо я уверен в истине слов моих, дорожу честью русской литературы и, переступив на пятый десяток жизни, после двадцатилетних занятий литературных, смею не бояться пера его, а против языка его и *нелитературных орудий* противопологаю чистую совесть и правоту дела и некоторую самостоятельность в литературе, которой не отвергает и сам О. И., сознаваясь в этом бесильною яростью, когда противу всех других он противопоставляет хладнокровное презрение.

С истинным и проч.

Н. Полевой.

Апреля 2 дня. 1838. СПб.

31. В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

21 декабря 1838 г. Петербург

Вы позволили, милый князь, прислать к вам за статейкой во вторник в 6 часов — посылаю в *среду*, в 8-м; надеюсь, что вы простите мою доuku.

В XII книжке «С(ына) о(течества)» я помещу в «Литер(атурных) извест(иях)» самое *дружеское*, но — извините!.. — осторожное извещение об издании «Отеч(ествен-

ных) записок». *Осторожное* потому, милый князь, что, заговори я безусловно панегириком, и Смирдин взбесится, да и кто еще знает будущую участь «От(ечественных) записок»? Может быть (от чего да сохранит их бог), они перейдут бог знает куда... Словом, я изъявлю дружбу и почтение, только с оговоркой. Говорю откровенно.

Касательно *конторы* ничего сделать не могу, ибо это выходит уже из пределов власти моей над «С(ыном) о(течества)». — Я в нем *даири*, а мой *кубо* действует самобытно по всему, не касающемуся *внутреннего* содержания. Весь ваш Н. Полевой.

21-го XII. 1838 г. СПб.

32. В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

15(?) января 1839 г. Петербург

(...) Первой книжкой «От(ечественных) зап(исок)» я не доволен, особливо томом критики и статей о художествах. Повесть «Зизи» не в вашем роде, а как хорош (з)ато «Город без имени!» Он (вс)танет с «Концертом Бетговена» (и) с «Пиранези». Вот *ваш* род! (П)релесть решительная! Но я еще (у)вижусь с вами.

Здравия и счастья! Н. П.

(1)5.1.1839 г.

33. А. В. НИКИТЕНКО

5 января 1840 г. Петербург

Милостивый государь Александр Васильевич(!)

По журнальному нашему товариществу встречается неожиданное обстоятельство, и, полагая, что лучше прекратить все недоразумения и быть искренним с самого начала, я принужден об нем объяснить. Вот оно: в полученных мною подписанных вами корректурах нахожу я *перемены* и *поправки*, которые не относятся уже к ответственности вашей перед цензурою. Мне казалось излишним и упоминать, что *только цензурные поправки* предоставил я воле вашей. Литератору, 20-ть лет пишущему, позволено иметь некоторое самолюбие, и подвергать его другого рода корректуре довольно странно. Откровенно

признаюсь, что ни с одною из виденных мною поправок ваших я *не согласен* и как *мыслей, мнений*, так и *слога моего* переменить позволить я не могу. Продолжение исправлений с вашей стороны заставит меня просить Александра Филипповича уволить меня от всякого участия в издании «Сына отечества» и предоставить его вам одним.

Простите мое объяснение, но, повторяю, *искренность* считаю я обязанностью, и верьте глубокому почтению и неизменной преданности, с коими честь имею пребыть ваш, милостивый государь, покорнейший слуга

Н. Полевой.

5 января 1840 года. СПб.

34. К. А. ПОЛЕВОМУ

19 февраля 1843 г. Петербург

После письма моего с Ратьковым я не писал к тебе, мой добрый, мой единственный брат и друг. Прошли целые месяца. Несколько писем твоих получил я и не отвечал. Что ты обо мне думаешь? Что я жив, это тебе неизвестно быть не может — что же кроме того? Знаю и верю, что в сердце моем ты не сомневался, сужу по себе, ибо скорее усомнюсь в бытии бога, нежели в вере моей в тебя. Но воображаю, что ты должен был думать о состоянии моем и как терзала тебя неизвестность обо мне? Ты и не ошибался — не знаю, как пережил я последние месяца прошлого года и начало нынешнего! Оскорблений, потерь, разочарований, крайности, до которой я был доведен, когда между тем видел все разрушенным, все погибшим впереди, вместе с моим здоровьем. Наконец, я сам не знаю, как все сделалось, я как будто ожил, поздоровел — по крайней мере, не умираю голодною смертью, могу думать, могу располагать, мыслить и *первое*, что делаю, — пишу к тебе! О, мой брат и друг! И первую вестью, что напишу к тебе, — отрадная мысль, что мы скоро увидимся. Да, мой друг — *Святую неделю*, если только судьба опять не начнет губельного кризиса, надеюсь я провести с тобою в Москве, а до тех пор весь Великий пост, не знаю, как успею я переработать все, что переработать предполагаю... Но бог даст мне силы, а мысль свидания с тобою уверяет меня, что нынешний год будет *последним* годом страданий наших: либо умру под тяжестью труда, либо начну эпоху общего нашего спасения. Как о насмешке

судьбы я должен известить тебя об успехе новой драмы моей — «Ломоносов». Ты, верно, читал ее в «Библиотеке для чтения». Она была написана в *неделю*, поставлена в *две недели*. Судить об ее достоинстве не могу, но успех ее был какой-то нелепый. В первое представление меня вызывали *три* раза, во второе — *четыре*. Потом я уж не был, но вызовы продолжались еще, три или четыре спектакля, и в 15-е представление не доставало билетов. Люди всех званий бывали по два, по три раза и уверяли, что ничего лучше не видывали. Если в этом странном успехе принадлежит что-нибудь мне, то столько же принадлежит и тебе — я переложил в разговоры «твоего Ломоносова» и в этом воровстве каюсь перед тобою! Но скажи мне, ради бога, мой друг и брат, что же это: в самом деле хорошо или что же это такое значит? Отдавая «Ломоносова» на сцену, я просто ждал падения, ибо писал окончание его, посылая начало в типографию. Так чего же надобно? Неужели должно с ума сойти, чтобы угодить людям? В третьем действии плачут, когда у Ломоносова нет гроша на обед и Фриц приносит ему талер — а не знают, что это за несколько дней с самим мною было и что сцена не выдумана...

Вольдемар и Никтопольон вышли из Петровской школы с превосходными аттестатами и теперь приготавливаются к университету. В июле должны они держать экзамен для вступления в университет. Сергей поступил в Peters-Schule на место их — растет новое поколение! Будет ли оно умнее и счастливее нас(?)!

Мое благословенье твоим ребятишкам. Лилле целую орлиную ручку и, прижимая тебя к сердцу моему, емь и буду твой брат и друг.

Николай.

35. А. А. КРАЕВСКОМУ

9 декабря 1844 г. Петербург

Посылаю вам, милостивый государь Андрей Александрович, редкость: оду И. А. Крылова. Она была издана в СПб., в 1790 году (в 4^о, 10 стр., без означения типографии). Теперь ее не сыщете нигде. Напечатайте ее в «Отеч(ественных) зап(исках)», ибо она составляет любопытную черту к характеристике века и жизни *дедушки Крылова*, а для журнала драгоценность. Тут можете прибавить и от себя несколько строк о Крылове, etc. У меня

есть много таких вещей, и я охотно передам их вам, ибо без того могут они потеряться.

Посылка моя, надеюсь, не удивит вас. Можно быть различных мнений в том и другом и взаимно уважать друг друга и желать друг другу добра, предоставляя мелкую личную злость людям ниже названия человека. Осмеливаюсь думать, что мы находимся в таком положении. Об этом надобно бы когда-нибудь поговорить откровенно, и переговоры привел бы ко взаимной пользе и к пользе общего дела. Верьте почтению и преданности того, кто есть и будет ваш, милостивого государя, покорнейший слуга

Н. Полевой.

Дек(абря) 9, 1844 г. СПб.

36. А. В. НИКИТЕНКО

18 октября 1845 г. Петербург

Будьте милостивы и милосерды, драгоценнейший Александр Васильевич: пробегите, подпишите и возвратите мне с сим подателем прилагаемое при сем объявление о «Литературной газете», написанное в духе самодержавия, православия и народности, то есть совершенно согласно предписаниям и воле его высокопревосходительства, желающего, да будет statu(s) quo¹ вечным законом русской литературы! Повинуемся, хотя ничто не заставит нас забыть, что, переживши Аракчеевых и Магницких, неужели бедная Россия не переживет других врагов доброго царя русского? Если бы он знал, что делают люди, злоупотребляющие его доверенность... Но я забыл, что политика не входит в план «Литературной газеты»! Виноват: кого любишь и уважаешь, с тем неволью делаешься искренним. Верьте глубокому чувству почтения, с коим всегда я есть и пребуду ваш преданный

Н. Полевой.

18 октября 1845. СПб.

существующее положение (лат.).

8 февраля 1846 г. Петербург

После моего последнего письма, мой любезный друг и брат, дела мои вообще не могли измениться, но лично мои дела сделались страшно хуже. С 3-го февраля я упал, как будто пораженный каким-то громовым ударом, на диван; лишился сна, пищи и впал в какое-то небытие нравственное и телесное. Жизнь моя, можно сказать, сделалась чем-то между жизнью и смертью. Всего более с трехдневной бессонницей я боялся сойти с ума. Заниматься я не только не могу, но не могу даже читать, и у меня голову обносит, когда я только о чем-нибудь подумаю. Долго ли это продолжится, не знаю; лечусь и предаю себя воле божией во всем. Одно только сохраняется в моей голове, что если бы ты только мог приехать сюда на месяц, на три недели, мне кажется, я и дела мои были бы спасены. Ни о чем больше рассуждать не могу и не умею. Посылаю тебе несколько отрывков из Монтолона. Ради бога, постарайся их перевести поскорее и переслать сюда в виде посылки на мое имя, у Аларчина моста, а не к Ольхину.

Благословляю твоих, мой поклон Лилле и брату Евсею.

Твой брат и друг Николай.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание сочинений Н. А. Полевого вошли наиболее характерные и известные повести писателя, а также его письма. Некоторые из ныне публикуемых художественных произведений Полевого уже знакомы современному читателю (см.: Рассказы русского солдата.— В сб.: Русские повести XIX века 20—30-х годов.— М.; Л., 1950.— Т. 2.— С. 3—58; Блаженство безумия.— В сб.: Русская романтическая повесть: Первая треть XIX века.— М., 1983.— С. 301—336), другие впервые перепечатываются после долгого перерыва. Тексты повестей и писем расположены в хронологическом порядке. Сборник «Мечты и жизнь» включается полностью с сохранением авторской композиции.

Для настоящего издания тексты проверены по всем имеющимся рукописным (письма) или печатным источникам. Повести печатаются в последних редакциях. Орфография и пунктуация приведены в соответствии с современными нормами, за исключением случаев, когда отклонения имеют экспрессивно-смысловой характер либо передают колорит эпохи, особенности произношения самого Полевого (например, «азиатское», «воксал», «вороты», «вынял», «скрыпка», «тма»). Сохранены также особенности пунктуации, имеющие интонационное значение.

Знаком отсылки к примечаниям самого Н. А. Полевого служат переводы иноязычных слов и выражений, приводимые составителем под строкой, отмечаются арабскими цифрами.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ СОКРАЩЕНИЙ

БдЧ — «Библиотека для чтения»

ВЕ — «Вестник Европы»

Записки — Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого.— СПб., 1888.

Известия — Известия по русскому языку и словесности. 1929.— Т. 2, кн. I.— Л., 1929.

МТ — «Московский телеграф»

ОЗ — «Отечественные записки»

- РА — «Русский архив»
РВ — «Русский вестник»
РС — «Русская старина»
СО — «Сын отечества»
СПч — «Северная пчела»

ПОВЕСТИ

Повесть о Симеоне, Суздальском князе. Впервые: МТ.—1828.— Ч. 19.— С. 53—81, 196—227, 330—375 под заглавием «Симеон Кирдяпа (Русская быль XIV века)»; подписано «Н. П.». В 1832 г в предисловии к роману «Клятва при гробе господнем» Полевой упоминал о «Симеоне Кирдяпе» как об *«отрывке»*, который он надеется окончить (М., 1832.— Ч. 1.— С. XLII), однако это намерение осталось неосуществленным. С многочисленными мелкими (преимущественно стилистического характера) изменениями, с новым заключительным абзацем и под новым заглавием, «Симеон Кирдяпа» был перепечатан в сб.: Повести Ивана Гудошника. Собранные Николаем Полевым.—СПб., 1843.— Ч. 1.— С. 1—195. Печатается по этому изданию.

С. 28. *...жители Нижнего Новгорода...*— В 1350—1392 гг. Нижний Новгород являлся столицей Суздальско-Нижегородского княжества. В 1392 г. был захвачен московскими великими князьями и с тех пор удерживался ими, хотя периодически суздальские князья добивались его возвращения.

С. 29. *...невзгода Москве нашей...*— Речь идет о пожаре 1390 г.

...уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки басурманские...— В 1377 г. объединенные отряды русских княжеств, находившиеся под командованием сыновей суздальско-нижегородского князя Симеона и Ивана, потерпели тяжелое поражение на реке Пьяне (приток впадающей в Волгу р. Суры) от неожиданно напавших на них ордынских полков. Вслед за тем монголо-татары захватили Нижний Новгород и сожгли его.

...после вражьего меча десятый год проходит...— В 1382 г. золотордынский хан Тохтамыш захватил и разграбил Москву.

Когда царю Давиду предложили...— Пересказ одного из библейских сюжетов.

С. 30. *...как немецкой рыбе аселедцам...*— Центром промысла сельди было в прошлом Северное (Немецкое) море.

...Волок Ламский — старое название Волоколамска, города, первоначально построенного на реке Ламе.

С. 32. *...я говорю о происхождении сынов Агариных...*— Согласно библии, рабыня-египтянка Агарь была родоначальницей некоторых арабских племен. В древнерусской письменности агарянами стали называть мусульман и вообще неверных.

...и читал во «Временнике»... — то есть в одном из летописных сборников.

Мефодий Патарский пишет... — Данное рассуждение основано на тексте «Откровения Мефодия Патарского» — анонимного произведения, приписанного епископу города Патар в Малой Азии Мефодию (ум. 312).

Полунощный — северный.

Лукоморье — старинное название морского залива.

Сунклит — смола.

С. 33. *Когда (...)* *Димитрий Иванович* попросил стать за святу Русь... — Речь идет о Куликовской битве (1380), в которой русские полки во главе с великим князем московским Дмитрием Донским (1350—1389) разгромили ордынские войска Мамая.

...кто правил тогда на свягом евангелии, что татары не сделают зла Москве? Ваши княжичи — Василий да Симеон! — Во время нашествия Тохтамыша пришедшие с ханом к стенам Москвы сыновья Дмитрия Суздальского подтвердили обманчивые уверения ордынцев в миролюбии, в результате чего были открыты городские ворота и татары проникли в Москву.

Борис Константинович (ранее 1340—1393 или 1394) — последний нижегородский князь; ярлык (жалованную грамоту) на Нижегородское княжение получил от ордынского хана в 1383 г., после смерти брата Дмитрия; в 1387 г. был изгнан племянниками, которым помогали московские войска, и вернулся в свой удел Городец, но в 1389 г. вновь получил ярлык и занял Нижний Новгород.

Димитрий Константинович (ок. 1324—1383) — сын Константина Суздальского, после смерти великого князя Ивана Ивановича (1359) получил ярлык на великое княжение и некоторое время боролся за великокняжеский стол с Дмитрием Ивановичем (Донским), но в итоге был вынужден уступить.

...потерял любимого сына... — В сражении на Пьяне погиб сын Дмитрия Суздальского Иван. Поход нижегородцев на Пьяну был вызван известием о выступлении татарского царевича Арапши.

...юного князя Московского... — Имеется в виду Василий I Дмитриевич (1371—1425), сын Дмитрия Донского.

С. 37. *Рагозиться* — ссориться.

С. 46. *Волоковое окошко* — задвигавшееся доской в избе старой постройки.

Полукафтанье — кафтан короче и уже обыкновенного, надеваемый под другое верхнее платье.

Полоротый — с открытым ртом.

...следует Мономахову наставлению... — Имеется в виду «Поучение» князя Владимира Всеволодовича Мономаха (1053—1125).

С. 51. ...как второй Святополк, хочешь ты зарезать нового Бориса? — Имеется в виду Святополк I Окаянный (ок. 980—1019), убив-

ший трех своих братьев (Бориса, Глеба, Святослава) и захвативший их уделы.

С. 60. *Тимур* (1336—1405) — знаменитый завоеватель, создавший государство с центром в Самарканде; покорил Хорезм, Персию, Закавказье. Победив Тохтамыша, пришел на Русь, впоследствии предпринял походы на Индию и Китай (умер во время последнего). Полевым была написана краткая биография Тимура (Живопис. обозрение.— 1836.— Т. 2.— С. 242—244).

С. 61. *Когда Андрей, князь Нижегородский, скончался...*— После смерти Андрея Нижегородского (1365) Нижний Новгород должен был достаться следующему по старшинству брату — Дмитрию, однако Борис захватил город и ушел лишь после появления московского войска.

...смиранный пустынножитель Сергей...— Освещение этого эпизода дано в Никоновской летописи под 1365 г. (Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1788.— Ч. 4). Сергей Радонежский (ок. 1321—1391) — основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря в окрестностях Москвы, сподвижник Дмитрия Донского.

С. 62. *Пицаль* — древнерусское тяжелое ружье.

С. 63. *Киприан* (ок. 1336—1406) — русский митрополит в 1381—1382 гг. и с 1390 г.; по происхождению болгарин (согласно Никоновской летописи, «сербин»), в сер. XIV в. эмигрировал в Византию, жил на Афоне.

...место «безмятежно, безмолвно и спокойно от всякого смущения».— Здесь Полевой также основывается на Никоновской летописи (под 1407 г.).

Ветшанный — ветхий.

С. 64. *Георгий Писидийский* (Писида) — византийский писатель VII в., его поэма, известная под названием «Шестоднев», в 1385 г. переведена с греческого Дмитрием Зографом.

...послушай, что написал я...— Далее следует переложение отрывка, сопровождающего в Никоновской летописи (под 1407 г.) рассказ о смерти Киприана.

С. 65. *Терлик* — долгополый кафтан с перехватом и короткими рукавами.

Охобень (охабень) — старинная русская широкая одежда в виде кафтана с отложным воротником и длинными рукавами.

Владимир Андреевич Храбрый (1353—1410) — внук Ивана Калиты, князь Серпуховский, герой Куликовской битвы.

С. 66. *Витовт* (1350—1430) — великий князь Литвы с 1392 г.

Сарай — Сарай-Берке, город на Волге, столица Золотой Орды; разрушен Тимуром в 1395 г.

Страна есть некая, между царством Попа Ивана и Скифиею Великою...— О легендарной державе царя-священника Ивана рассказывается в древнерусском «Сказании об индийском царстве». Сводка известий о царстве Ивана дана в анонимной статье «Предания в России о царь-свя-

щеннике Иоанне» (МТ.—1825.— Ч. 3). *Скифия* — область к северу от Черного и Каспийского морей.

...от Синия Орды...— Возможно, имеется в виду Ногайская Орда, кочевавшая вокруг Синего (Аральского) моря.

Шамахия (Шемаха) — город на территории нынешнего Азербайджана, в IX—XVI вв. столица Ширвана.

С. 67 ...*Амазоны и Макарийские блаженные острова*...— Легендарные области, о которых рассказывается в ряде древнерусских памятников, в частности в «Александрии». См. также: Полевой Н. О географических сведениях древних россиян//МТ.— 1831.— Ч. 42.— С. 475.

Севастия — город в Малой Азии.

...и се имена их...— Далее перечисляются покоренные Тимуром области Средней Азии, Ирана, Закавказья, Малой Азии.

Мануил Великий (ум. 1425) — византийский император.

...источил воду из камня жезлом Моисея...— Одна из библейских легенд о пророке Моисее: следуя божественному велению, Моисей ударом жезла извлек из скалы воду и напоил изнемогавший от жажды народ.

...рукою отрока Иессея поразил Голиафа...— В библии рассказывается о том, как сын Иессея Давид убил великана Голиафа.

С. 68. ...*предали в руки твои деда твоего и дядей твоих*...— Борис Константинович — дядя матери Василия, Евдокии; Симеон и Василий Дмитриевичи — ее братья.

...уступил мне право первородства? — Владимир Храбрый отказался от притязаний на великокняжеское достоинство, признав старшинство своего двоюродного племянника Василия I. Таким образом была нарушена традиция, согласно которой наследником являлся старший в роде.

Ферезь — старинная одежда с завязками спереди.

С. 69. *Аред* — возможно, имеется в виду библейский патриарх Иаред.

С. 71. *Ахтуба* — левый рукав нижней Волги.

Но так и за полтора столетия, когда при Калке погибла надежда на спасение России...— В 1223 г. военачальник Чингис-хана Сабудай дал на Калке бой русским и половецким князьям, что явилось разведкой перед нашествием монголо-татар на Русь.

Малвазия (мальвазия) — греческий ликер.

С. 74. «*Князь Роман жену терял*...» — фольклорная песня-баллада.

С. 79. «*О! стонать тебе, Русская земля*...» — Далее следует контаминация различных фрагментов «Слова о полку Игореве».

...*были там древле грады красны*...— Выделенная часть текста воспроизводит отрывок из «Хождения Пиминова в Царьград» (Никоновская летопись под 1388 г.).

С. 80. ...*за пепелищем Ельца*.— В августе 1395 г. Тимур захватил и разграбил Елец. Простояв около Дона две недели, он по неясным причинам повернул в Крым, что было воспринято как чудо.

С. 83. *Локман* — по арабскому преданию, мудрец, живший до пророка Мухаммеда.

Саиб керем — «владыка света», один из титулов Тимура.

С. 84. *Баязет* (Баязид) I Молниеносный (1354 или 1360—1403) — турецкий султан, разбит и пленен Тимуром в 1402 г.

Эрзерум — город на северо-востоке Турции.

С. 85. *Али* (ум. 661) — халиф, двоюродный брат и зять Мухаммеда

Кипчак — здесь: киргизские, уральские и приволжские степи.

Туран — географическая область, включающая часть Арало-Каспийской низменности, горные области Бухары, Памира, Ферганы.

Железные врата — Дербент.

Яик — старое название р. Урал.

С. 87. *Разогните древние летописи и читайте...* — Далее цитируется рассказ Никоновской летописи.

МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ

Блаженство безумия. Впервые: МТ.— 1833.— Т. 49.— С. 52—96, 228—272 с подписью «Н. П.» и посвящением***. Позднее с незначительными изменениями перепечатано в сборнике «Мечты и жизнь» (М., 1833.— Ч. 1.— С. 5—153). Текст публикуется по этому изданию.

С. 89. *«Meister Floh»* — повесть Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822), написанная в 1822 г. В русском переводе впервые появилась в 1840 г. (ОЗ. — Т. 13, отд. 3). Наряду с этим произведением ближайший литературный контекст повести Полевого, важный для ее восприятия, составляют также «Песочный человек» Гофмана и «Пагубные последствия необузданного воображения» Антония Погорельского.

С. 91. *Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам!* — Из трагедии Шекспира «Гамлет» (I д., 5 сц.); Полевой цитирует ее в переводе М. Вронченко (Гамлет: Трагедия в пяти действиях/Соч. В. Шекспира.— СПб., 1828.— С. 42).

С. 92. *...об осаде Антверпена.* — Речь идет об осаде антверпенской цитадели французскими войсками в ходе военных действий Англии и Франции против Нидерландов в конце 1832 г.

С. 94. *Велланский* Данило Михайлович (1774—1847) — профессор Петербургской медико-хирургической академии, философ-идеалист, последователь немецкого философа Ф. В. Шеллинга.

С. 95. *Оранienbaum* — дачная местность под Петербургом (ныне Ломоносов).

С. 100. *...великан, которому мечами вырубili народы могилу в утесах острова св. Елены...* — Наполеон Бонапарт (1769—1821), проведший последние годы и умерший на острове святой Елены.

С. 101. *...смотря на небесную Мадонну, слушая «Requiem» и читая «Résignation»?* — Имеются в виду одна из картин Рафаэля Санти

(1483—1520), «Реквием» (1791) Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791) и стихотворение Иоганна Фридриха Шиллера (1759—1805) «Отречение» (1784).

Его пример будь нам наукой...— измененная цитата из «Евгения Онегина» (I гл., I строфа).

...не слишком высоко залетать на наших восковых крыльях.— Имеется в виду древнегреческий миф об Икаре, поднявшемся в небо на сделанных ему отцом восковых крыльях. От лучей солнца они расплавились, и Икар упал в море.

С. 102. *Исследования магнетизма...*— Речь идет о так называемом «животном магнетизме», вызывавшем огромный интерес в конце XVIII—начале XIX в. Согласно этому учению, систематизированному австрийским врачом Фридрихом Антоном Месмером (1733—1815), в природе существует особая эфирная жидкость, посредством которой существа оказывают влияние друг на друга. Истекая из пальцев, глаз, дыхания магнетизера, она вызывает различные нервные явления у магнетизируемого. Считалось также, что носителями магнетизма могут быть предметы. По существовавшим представлениям, между магнетизером и магнетизируемым возникает особое «сродство», причем первый порабощающе влияет на физическую и психическую жизнь подвергаемого эксперименту. В описываемую эпоху «месмеризм» был моден как средство лечения, но одновременно вызывал и скептическое отношение. Ложная с точки зрения сегодняшней науки, теория «магнетизма» была связана с явлениями гипнозизма, впервые открытыми Месмером.

Феософия (теософия) — религиозно-мистическое учение о постижении божества через откровение и о возможности непосредственного общения с потусторонним миром.

Каббалистика — средневековое религиозно-мистическое учение, основанное на вере в тайные знания, магию.

Хиромантия — изучение ладони человека, якобы позволяющее определить его характер и судьбу.

Физиогномика — см. примеч. к с. 388.

Эккартсгаузен Карл (1752—1803) — немецкий писатель, автор натурфилософских и мистических сочинений. *Шведенборг* (Сведенборг) Эмануэль (1688—1772) — шведский физик, астроном, философ-мистик, создавший учение о «потусторонней» жизни и поведении бесплотных духов; оказал влияние на романтиков. *Шубарт* (Шуберт) Готфрид Генрих Готгильф (1780—1860) — немецкий психолог и философ-мистик, автор книги «Символика сна» (1814), оказавшей, в частности, воздействие на Гофмана. *Бем* (Беме) Якоб (1575—1624) — немецкий философ-пантеист, мистические и натурфилософские идеи которого оказали большое влияние на немецких романтиков.

...одна душа, созданная вместе с моею душою...— Здесь имеется в виду миф о первобытном существовании людей одновременно в виде мужчин и женщин, известный по «Пиру» Платона (речь Аристофана);

рассеченные на две половинки Зевсом, они вечно ищут друг друга для восстановления прежней полноты и могущества. В романтическом истолковании этого мифа как мифа о соединении душ смысл его существенно преобразился.

...*Пифагор не ошибался*...— Речь идет о метемпсихозе — религиозно-мистическом учении о переселении душ, разработанном греческим мыслителем Пифагором Самосским (VI в. до н. э.) и его последователями.

С. 103. ...*называл себя Людовиком фон Шреккенфельдом*...— Фамилия этого персонажа имеет искусственный характер и, вероятно, является значащей: Schreckensfeld — долина ужасов (нем.).

Фантазмагория — представление фантастических сцен с помощью оптических приспособлений, главным образом зеркал. При этом зритель видит только отражения, появляющиеся на стене.

Кинезотография — видимо, представление движущихся изображений.

Китайские тени — игрушечный картонный театр с движущимися на раме-экране силуэтами фигур.

Валкирии (валькирии) — в скандинавской мифологии прекрасные девы, направляющие ход битвы и распределяющие жизнь и смерть между сражающимися.

Дюрер Альбрехт (1471—1528) — немецкий художник эпохи Возрождения.

Текла — идеальная героиня драматической поэмы Шиллера «Валленштейн» (1796—1799).

С. 104. *Миньона* — героиня романа Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832) «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796).

Бюргер Готфрид Август (1747—1794) — немецкий поэт, зачинатель жанра литературной баллады.

Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт.

...*звуки невидимой гармоник*...— Здесь речь идет о музыкальном инструменте, состоявшем из стеклянных вращающихся полусфер, заполненных водой, — стеклянной гармонике, популярной во второй половине XVIII в. (для нее писал, в частности, Моцарт). Позднее вводилась в партитуры опер для придания музыке таинственного, сказочного колорита. Бытовало мнение, что игра на гармонике сильно возбуждает нервы.

С. 105. *Каталани* Анджелика (1780—1849) — знаменитая итальянская певица, в начале 1820-х гг. гастролировала в России.

Малибран Мария Фелисита (1808—1836) — французская певица.

Паста Джудита (1797 или 1798—1865 или 1867) — итальянская певица.

С. 106. *Опять ты здесь, мой благодатный гений*...— Сделанный В. А. Жуковским перевод посвящения первой части «Фауста». Впервые появился в 1817 г. под названием «Мечта. Подражание Гете» и в том

же году без указания источника перепечатан в качестве вступления к балладе Жуковского «Двенадцать спящих дев».

С. 108. *Лаго Маджиоре* — озеро у южного подножия Альп.

«Голос с того света» — стихотворение Жуковского (1815), представляющее собой вольный перевод стихотворения Шиллера «Текла. Голос духа» (1802). Но если у Шиллера умершая героиня «Валленштейна» обращается к матери, то у Жуковского — к возлюбленному.

С. 109. *Адельгейда декламировала песню Миньоны...* — Цитированная ниже строфа перевода Жуковского («Мина»; 1817) приводится Полевым с изменениями.

S, amor non é, che dunque é quel ch'io sento? — из 88 сонета цикла «Сонеты и канцоны» Франческо Петрарки (1303—1374).

С. 113. «*Фрейшиц*» — опера немецкого композитора Карла Марии Вебера (1786—1826) «Вольный стрелок» («Freischütz», 1821).

С. 114. *Помните ли вы слова Байрона...* — Далее цитируется стихотворение Байрона «Сон» («The dream», 1821).

С. 115. *...там был человек...* — Речь идет о Рафаэле как авторе картины «Преображение».

...там есть храм... — Вероятнее всего, имеется в виду римский Пантеон (ок. 125 н. э.), впоследствии превращенный в христианскую церковь.

С. 116. *Там родился Наполеон <...> оттуда <...> пошел он еще испытывать игру судеб...* — Наполеон родился на Корсике, после отречения от французского престола в 1814 г. был сослан на остров Эльба в Средиземном море; бежав отсюда в 1815 г., на короткое время вновь захватил власть («Сто дней»).

...немного описаний его найдешь ты у Шекспира... — Вероятно, имеются в виду «Зимняя сказка» (1611) и «Буря» (1612).

...еще у Мильтона... — Речь идет о Джоне Мильтоне (1608—1674) как авторе поэмы «Потерянный рай» (1667).

...еще у Тасса... — Имеется в виду «Освобожденный Иерусалим» (1580) итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).

...еще у Фирдуси... — Подразумевается поэма «Шахнаме» персидского и таджикского поэта Абулькасима Фирдоуси (ок. 940—1020 или 1030), начало которой имеет мифологический характер.

С. 117. *Изида* (Исида) — в древнеегипетской мифологии супруга и сестра Осириса, богиня плодородия, волшебства. «Покрывало Исиды» — олицетворение тайны.

С. 118. *Зефирот* (сефирот) — одно из понятий каббалистики.

Соломонов храм. — Высшей заслугой древнееврейского царя Соломона (965—928 до н. э.) считалось возведение храма на горе Сион. Согласно легенде, на его колоннах была запечатлена древняя мудрость.

С. 119. *...нет презренной клеветы...* — Далее неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 4, строфа XIX).

С. 121. *...дышала тяжело, тяжко, бурно, как говорит Пушкин...* — Имеется в виду следующий фрагмент «Евгения Онегина»: «Она тем-

неющих очей не подымает: пышет бурно в ней страстный жар; ей душно, дурно...» (гл. 5, строфа ХХХ).

С. 128. ...*страшно зреть, как силится преодолеть смерть человека*... — цитата из поэмы Байрона «Шильонский узник» в переводе Жуковского.

Тугенбунд (Союз добродетели) — тайное политическое общество в Пруссии в 1808—1810 гг., имело антинаполеоновский характер, распространилось во множестве городов.

С. 129. *Минутна скорбь — блаженство бесконечно!* — заключительная строка трагедии Шиллера «Орлеанская дева» (1801) в переводе Жуковского (цитирована неточно).

С. 131. *Десть* — 24 листа писчей бумаги.

Рассказы русского солдата. Часть I. Крестьянин. Впервые: Мечты и жизнь, были и повести, сочиненные Николаем Полевым. — М., 1833. — Ч. 1. — С. 155—258. Печатается по этому изданию.

Общий эпиграф к «Рассказам» — из «Словесного поучения солдатам о знании, для них необходимом» Александра Васильевича Суворова (1729 или 1730—1800). Цитируется с небольшими неточностями.

С. 135. *Марпергер* Пауль Якоб (1656—1730) — немецкий экономист.

Полсть — толстый тканый лоскут, иногда ковер или половина звериного меха на подстилку или занавешивание чего-либо.

Суля — плоская бутылка.

С. 136. ...*к Макарью*... — Речь идет о нижегородской ярмарке, проходившей под стенами Макарьевского монастыря; перенесенная впоследствии в сам город, ярмарка сохранила старое название.

С. 138. ...*не меньше ложных тайн какой-нибудь Шотландской Звезды*. — Имеется в виду сложная система условных знаков и обрядов, присущая деятельности масонских лож.

С. 139. ...*с появлением <...> гильдейского честолюбия*. — Гильдии (особые разряды лиц торгового сословия, объединенные сходными торговыми оборотами) имели свои права и преимущества.

С. 140. *Таша* — холщовая палатка.

С. 141. *Данциг* — немецкое название города Гданьска в Польше.

Штольпе (Штольп) — город между Данцигом и Штеттином в бывшей прусской Померании (ныне на территории Польши).

С. 142. ...*Торова рога скандинавской «Эдды»*. — Тор (сканд. мифол.) — бог грома, бури, плодородия. «Старшая Эдда» — древнеисландский сборник мифологических и героических песен, бытовавших в устной традиции германских народов.

...*о Париши*... — то есть о Париже.

...*французы называют хлеб «пень», масло «быр», воду «ох»*... — Ср. «раіп», «беугге», «еаи» (фр.).

С. 144. *Монгольё* Паулина Изабелла (1751—1832) — французская писательница.

Лафонтен Август (1759—1831) — немецкий писатель, автор

популярных на рубеже XVIII—XIX вв. сентиментальных «семейных» романов.

«*Мальвина*» (1801) — имевший большой успех роман французской писательницы Мари Софи Ристо Коттен (1770—1807).

Демиль Жак (1738—1813) — французский поэт, автор широко известных в России в начале XIX в. описательных поэм.

Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595—1657) — гетман Украины, руководитель освободительной войны украинского народа против польско-шляхетского гнета, в 1654 г. провозгласил воссоединение Украины с Россией.

Голиков Иван Иванович (1735—1801) — историк, археограф, автор многотомных «Деяний Петра Великого», курский купец.

Рубан Василий Григорьевич (1742—1795) — поэт, журналист, переводчик, издал ряд исторических и географических сочинений (в том числе и об Украине).

«*Энеида*» (опубл. в 1798) — ирои-комическая поэма украинского писателя Ивана Петровича Котляревского (1769—1838), в которой, используя фабулу произведения Вергилия, автор рисует картину украинской жизни второй половины XVIII в.

«*Мои безделки*» (первое издание 1794, третье — 1801 г.) — сборник произведений Николая Михайловича Карамзина (1766—1826); его первая часть объединила прозаические, а вторая — стихотворные сочинения писателя. «Мои безделки» были чрезвычайно популярны в эпоху сентиментализма.

С. 145. ...из *однодворцев*... — то есть из особой категории государственных крестьян — потомков служилых людей русского юга. Однодворцы занимали промежуточное положение между дворянами и крестьянами.

...*потерял ногу в Финляндии*... — Речь идет о русско-шведской войне 1808—1809 гг., в результате которой Финляндия, ранее входившая в состав Швеции, была присоединена к России.

С. 149. *Поскогина* — изгородь.

С. 150. *Целовальник* — продавец вина в питейном заведении.

Понява — юбка из трех лоскутьев разных цветов.

С. 151. ...*самому соседке под печкой!* — то есть домовому.

С. 152. *Катехизис* — религиозная книга, изложение основ христианского вероучения.

Светец — шандал для горящей лучины.

С. 153. *Короча* — уездный город тогдашней Курской губернии.

С. 158. ...*масло и молоко прибывало, как у сарептской вдовицы*... — В Библии рассказывается о бедной жительнице города Сарепты, в доме которой появился достаток с тех пор, как она накормила пророка Илью.

С. 161. ...*тогда еще царствовала <...> Екатерина Алексеевна*. — Императрица Екатерина II правила с 1762 по 1796 г.

Ж и в о п и с е ц. Впервые: МТ. — 1833. — Т. 51. — С. 74—131, 239—

294, 396—448, 534—593. В конце текста инициалы автора «Н. П.» и дата окончания — 10 июня 1833 г. С отдельными мелкими изменениями и добавлением эпитафов перепечатана в сборнике «Мечты и жизнь» (М., 1834.— Ч. 2.— С. 5—384). Публикуется по этому изданию. Общий эпитаф к повести — из драмы Гете «Торквато Тассо» (1789), (д. 3, явл. 5), посвященной итальянскому поэту, трагическая судьба которого привлекала писателей (особенно романтиков). По словам самого Гете, в центре его произведения — «диспропорция между талантом и жизнью».

С. 165. *Я жизни сей не раб презренный...*— Источник цитаты не обнаружен. *Вельтман* Александр Фомич (1800—1870) — поэт, прозаик, сотрудник МТ.

Безбородко Александр Андреевич (1747—1799) — русский государственный деятель, с 1775 г.— секретарь Екатерины II, с 1783 г.— фактический руководитель русской внешней политики, с 1797 г.— канцлер.

С. 166. *Коллежский секретарь* — гражданский чин девятого класса.

С. 169. *...определил его в Главное училище живописи.*— При публикации в МТ это место сопровождалось следующим примечанием автора: «Надобно ли сказывать здесь читателям, что, поелику вся сия повесть есть сказка, выдумка, то и все, что говорит в ней сочинитель, г-н Мамаев, об учении и училищах, есть выдумка или сущий вздор. Следовательно, его слов ни к какому петербургскому училищу относить не должно. *Примечание для людей, любящих примечания*» (МТ.— 1833.— Т. 51.— С. 82).

С. 172. *Ингерманландия* — одно из названий территории по берегам Невы и юго-западному Приладожью.

Пальмира — древний город на северо-востоке Сирии, славился своим великолепием. *Северная Пальмира* — образное название Петербурга.

С. 174. *Каналетти* (Каналетто) Джованни Антонио (1697—1768) — итальянский живописец, писал преимущественно венецианские виды.

Пантеон иностранной словесности — журнал Н. М. Карамзина, издан в 1798 г., переиздание 1818 г.

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель.

С. 175. *Лосенко* Антон Павлович (1737—1773) — русский живописец и рисовальщик, представитель классицизма.

С. 176. *Гранет* (Гране) Франсуа Мариус (1775—1849) — французский художник, в 1821 г. преподнес в дар императору Александру I свою картину «Внутренность монастыря капуцинов в Риме».

С. 179. *Мюллер* Фридрих (1749—1825) — немецкий поэт, художник и гравёр.

..жоаннотовских уродов...— Вероятно, имеются в виду работы французского художника романтического направления Тони Жоанно (1803—1852).

...гогартовских карикатур.— Речь идет о сатирических произведениях английского живописца и графика Уильяма Хогарта (1697—1764).

...иной бывает героем романа *Поль-де-Кокова*...— Для популярных в свое время романов французского писателя Поля Шарля де Кока (1793—1871) характерны запутанная интрига, комические похождения героев-повес, пикантные подробности быта.

...иной лафонтеновского...— см. примеч. к с. 144.

...иной дюканжевского...— Французский драматург и романист Виктор Дюканж (1783—1833) был наиболее известен своей мелодрамой «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827).

...иной жаненовского...— Речь идет о французском писателе и критике Жюле Габриеле Жанене (1804—1874), представителе так называемой «неистойвой словесности»; его первые романы горячо обсуждались в русской печати начала 1830-х гг.

...начал читать *Гофманова «Кота Мура»*.— Центральным героем романа Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» (1820—1822) является музыкант Иоганнес Крейслер.

С. 180. *Норд-Кап* (Нордкап) — гористый мыс на норвежском острове Магерё; порой рассматривался как самый северный пункт Европы.

...не походил на *Мальвин и Миньон*...— См. примеч. к с. 144 и к с. 104.

С. 182. ...*философы не ходят уже в изодранных лоскутках какого-нибудь цинического плаща*.— Речь идет о представителях древнегреческой философской школы киников (циников). Выдвинув идеал духовной свободы, они с пренебрежением относились к жизненным удобствам.

С. 184. ...*а вторую еще дописывает Виктор Гюго*.— В Викторе Гюго (1802—1885) Полевой видел «полное и совершенное изображение французского романтизма».

Прокрустово ложе — в греч. мифологии ложе, на которое великан Прокруст насильно укладывал путников, обрубая ноги тем, кому оно было коротко, и вытягивая тех, кому оно было велико.

С. 191. *Капитолий* — один из семи римских холмов, где в древности находились крепость и храм; место торжественных церемоний.

Грёз Жан Батист (1725—1805) — французский живописец-сентименталист.

Гольбейн (Хольбейн) Ханс Младший (1497 или 1498—1543) — немецкий художник.

С. 193. *Кранах* Лукас Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.

Да он поэт? — Из драмы Нестора Васильевича Кукольника (1809—1868) «Торквато Тассо» (СПб., 1833.— С. 96—97).

Галль Франц Иозеф (1758—1828) — австрийский врач, создатель френологии — антинаучного учения о соотношении между психическими особенностями человека и формой его черепа.

Шпурцгейм Каспар (1776—1832) — один из первых сторонников френологии.

С. 195. ...*Корреджио, идущего с мешком медных денег на плече.* — Согласно некоторым биографическим сведениям, итальянский живописец Антонио Корреджио (Корреджо, ок. 1489—1534) был крайне беден.

...*жадное корыстолюбие Паганини...* — Итальянский скрипач и композитор Николо Паганини (1782—1840) концертами составил значительное состояние.

...*крал орехи у судьи Шаллова...* — Согласно некоторым биографическим сведениям, Шекспир занимался в молодости браконьерством в лесу сэра Люси, выведенного им позднее в комедии «Виндзорские насмешницы» под именем судьи Шеллоу.

...*когда стоял с ружьем на карауле...* — Гаврила Романович Державин (1743—1816), начав в 1762 г. службу солдатом Преображенского полка, получил офицерский чин лишь через десять лет.

С. 197. «*Начальное руководство.*» — Речь идет о кн.: Штой И. З. Начальное руководство к наставлению юношества, или Первые понятия о вещах всякого роду... — М., 1793. — Ч. 1 — 4.

С. 201. *Алиппий* (Алипий, ум. 1114) — русский живописец, создатель мозаики Успенского собора в Киево-Печерской лавре.

Рублев Андрей (ок. 1360—70 — ок. 1430) — крупнейший мастер московской школы живописи.

С. 202. *Мы застали нашего Альбрехта Дюрера...* — Чрезвычайно высокая оценка творчества Дюрера была характерна для немецких романтиков. Впервые она прозвучала в книге В. Г. Вакенродера «Сердечные излияния отшельника — любителя искусств», изданной в 1797 г. Л. Тиком. Влияние этой работы отчетливо прослеживается в «Живописце». Своего рода эквивалентом высокого одухотворенного искусства старонемецких мастеров и становится у Полевого русское иконописание.

...*Петра, митрополита всероссийского!* — Речь идет о митрополите «всёя Руси» Петре (ум. 1326), занимавшемся иконописанием.

В «Стоглавном уложении» сказано... — Имеется в виду сборник решений Стоглавого собора 1551 г., регулирующий внутреннюю жизнь русского духовенства и его отношения с обществом.

С. 203. ...*это нижняя ступень лестницы, виденной святым Иаковом...* — Имеется в виду один из фрагментов библии.

С. 208. *Доменикино* (1581—1641) — итальянский живописец.

...«*Оссиан*» *Жироде...* — Подразумевается картина французского художника Анн Луи Жироде-Триазон (1767—1824) «Тени французских генералов, встречаемые в Елисейских полях Оссианом».

Фридрих Каспар Давид (1774—1840) — немецкий живописец, представитель раннего романтизма.

С. 212. «*Левана*» — написанный в духе просветительства и гуманизма трактат «Левана, или Учение о воспитании» (1806) немецкого писателя Жан Поля (Иоганна Пауля Фридриха Рихтера, 1763—1825).

Баттё Шарль (1713—1780) — французский эстетик-классицист.
Катремер (Катрмер) *де Кенси* Антуан Хризостом (1755—1849) — французский археолог и теоретик искусства.

С. 213. *Шевалетная живопись* — станковая живопись (от фр. *chevâlet* — станок, мольберт).

С. 214. *Рафаэль долго думал, как изобразить ему Пресвятую...* — Легенда о видении Рафаэля, раскрывающая представления о творчестве как о совершающемся по божественному наитию процессе, была распространена среди романтиков. Можно предположить, что Полевой основывается в данном случае на книге В. Г. Вакенродера «Сердечные излияния отшельника — любителя искусств».

Оно низошло к нему, как древний Зевес к Семеле... — Согласно античному мифу, возлюбленная Зевса царица Семела упросила его предстать перед ней в божественном облике; Зевс явился к ней, сопровождаемый громом и молнией, и Семела была убита пламенем.

С. 216. *Косморама* — картина, написанная и поставленная так, что при взгляде через стекло кажется живой.

С. 217. *Аматёр* — любитель.

Мурилло (Мурильо) Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский живописец.

Ангелика Кауфман (1741—1807) — немецкая художница.

Гвидо Рени (1575—1642) — итальянский живописец.

Караваджио (Караваджо) Микеланджело да (1573—1610) — итальянский живописец, основоположник реалистического направления.

Тинторетто Якопо (1518—1594) — итальянский живописец.

С. 218. *Ланкастерская метода* — получившая распространение в 1810—20-х гг. система взаимного обучения.

...акrostихи, дистихи, мельестихи, шарады... — разновидности стихотворений, подчиненные различным правилам, выполнение которых представляет значительные технические трудности.

Буриме — стихотворение на заданные рифмы.

Снейдерс Франс (1579—1657) — фламандский живописец; в числе его работ имеются анималистические картины.

Поттер Паулюс (1625—1654) — голландский живописец; на его полотнах часто изображались фермы, пастбища.

С. 220. *...четыре стиха любимого своего поэта...* — Далее цитируется драма Гете «Торквато Тассо» (д. 3, явл. 4).

С. 221. Эпиграф к третьей части повести — из романа Жана Жака Руссо (1712—1778) «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) (часть 2, письмо XVI, от Сен-Пре к Юлии).

С. 224. *Как хорошо знал подобное состояние души Байрон!* — Далее цитируется поэма «Шильонский узник» (1816). (Прозанческий перевод подстрочника по изд.: Полн. собр. соч. лорда Байрона. — СПб., 1894. — Т. 2. — С. 143.)

С. 225. *Франклин* Бенджамин (1706—1790) — американский просветитель, ученый, государственный деятель.

Плerezы — траурные нашивки на платье.

С. 228. *Под мягким дерном гробовым...* — из стихотворения Жуковского «Подробный отчет о луне» (1820).

С. 229. *...наш милый поэт...* — вероятно, А. С. Пушкин.

Мирмидоны — племя, возникшее после того, как Зевс превратил муравьев в людей.

Омфала — в греч. мифологии лидийская царица, у которой Гераклес (Геракл) провел в услужении три года.

...трепещущие их львиной кожи! — Первым из подвигов Геракла стал бой с немейским львом, шкура которого была неуязвима.

С. 231. *Как быть! а всем одно! всех на пути...* — из идиллии Иоганна Петера Хеббеля (Гебеля) (1760—1826), переведенной Жуковским под названием «Деревенский сторож в полночь» (1816).

С. 233. *Синель* — шнурок с бархатистым ворсом.

С. 237. *Рафаил* — в послебиблейской мифологии ангел-целитель, посланный на землю, чтобы исцелить Товита и невесту его сына Товии.

Кикимора — по русским поверьям, род домового.

...из грязи Понтийской? — Имеются в виду Понтийские (Понтинские) болота близ Рима.

С. 239. *Гораций* — Квинт Гораций Флакк (65 до н. э.—8 до н. э.), римский поэт; в его произведениях часто встречаются философские рассуждения и наставления.

Епанча — старинная верхняя одежда, широкий плащ.

С. 243. *To die, to sleep!* — «Гамлет» (д. 3, явл. I).

С. 244. *17-е сентября!* — день именин Веры.

С. 246. *Сталь* Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница; ниже речь идет о ее романе «Коринна, или Италия» (1807).

Каталани — см. примеч. к с. 105.

С. 247. *Ты любишь тяжело и трудно...* — неточно цитированные строки из поэмы Пушкина «Цыганы» (1824, издана 1827), при публикации «Живописца» в МТ являлась эпиграфом ко всей повести.

С. 251. «*Письмовник*» — многократно издававшаяся книга Н. Г. Курганова (1725—1796), содержащая в себе сведения по грамматике, переводы и переделки анекдотов, раздел стихотворений и пр.

С. 256. *Кронеберг* Иван Яковлевич (1788—1838) — русский эстетик и переводчик, сторонник романтизма.

С. 258. *Эхил* {...} *в своей чудной трагедии...* — Подразумевается «Прометей прикованный».

...так хорошо выразил Байрон... — в стихотворении «Прометей» (1816).

С. 259. *Океан* — в греч. мифологии бог, сын Урана — неба и Геи — земли,

Эфест (Гефест) — бог огня, покровитель кузнечного дела; из его кузницы похитил огонь титан Прометей, за что был прикован к скале. Греки представляли Гефеста могучим, но некрасивым.

...оживотворителя людей... — По одному из вариантов мифа, Прометей вылепил из земли первого человека и дал ему жизнь.

Вернер Цахариас (1768—1823) — немецкий драматург, зачинатель жанра романтической «трагедии рока» в немецкой литературе.

С. 262. *«Вот наши строгие ценители и судьбы!»* — «Горе от ума» (д. 2, явл. 4).

Смешон, участия кто требует у света! — из стихотворения Пушкина «Ответ анониму» (1830).

С. 263. *Пандан* — вещь под пару, под масть.

Давид Жак Луи (1748—1825) — французский живописец.

С. 274. *...на картине, изображен был Спаситель, благословляющий детей.* — Описание картины навеяно, очевидно, фрагментом Вакенродера «О детских фигурах на картинах Рафаэля».

С. 275. *Под миртами Италии прекрасной...* — из стихотворения Пушкина «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор... 1825).

С. 276. *«Прелестная женщина! и с каким вкусом одета!»* — Заключительные строки «Живописца» представляют собой реминисценцию из «Золотого горшка» Гофмана (вигилия одиннадцатая).

Э м м а. Впервые: МТ.— 1834.— Ч. 55.— С. 72—127, 241—286, 407—453, 575—612. Печатается по изд.: Мечты и жизнь.— М., 1834.— Ч. 3.— С. 5—305.

Эпиграф — из поэмы Байрона «Жалоба Тассо» (1817).

С. 278. *...во времена императрицы Елисаветы...* — Годы правления императрицы Елисаветы Петровны — 1741—1761.

С. 279. *Нострадам* (Нострадамус) Мишель (1503—1566) — французский астролог.

С. 282. *Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glückel!* — из стихотворения Шиллера «Отречение» (1784).

Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель.

С. 284. *Шемизетка* — вставка на груди женских блузок и платьев, манишка.

Эзоп (Эзоп) — древнегреческий баснописец (VI в. до н. э.).

Лаокоон — в греч. мифологии жрец Аполлона в Трое, задушенный вместе с сыновьями змеями, посланными помогавшей грекам Афиной.

С. 286. *Гортензия* (1783—1837) — супруга Людвига Бонапарта, короля Голландии, мать Наполеона III, была автором стихов и музыки нескольких популярных в свое время песен.

«Фрейшиц» — см. примеч. к с. 113.

Делиль — см. примеч. к с. 144.

Сен-Ламбер Жан Франсуа (1716—1803) — французский философ и поэт, член Академии; его «Catéchisme universel» рекомендовались как учебник морали.

If that high world, which lies beyond... — стихотворение Байрона «If that high world» («О, если там за небесами...») из цикла «Еврейские мелодии» (1815).

С. 294. *Пери* — в иранской мифологии волшебное существо в образе крылатой прекрасной женщины, отвернувшееся от мрака и стремящееся к свету.

Просперо — волшебник, персонаж пьесы Шекспира «Буря».

С. 298. *Клопшток* Фридрих Готлиб (1724—1803) — автор религиозно-эпической поэмы «Мессиада» (1751—1773).

С. 300. *Месмер* — см. примеч. к с. 102.

Ипекакуана — распространенное в тропических странах травянистое растение; его корень применяется в медицине.

Вертер — герой романа Гете «Страдания юного Вертера» (1774); покончил с собой из-за любви.

С. 304. *Раковые жерновки* — известковые образования, находящиеся в желудке рака; применялись в медицине.

С. 306. *Гельвеций* Клод Адриан (1715—1771) — французский философ-материалист.

Гуффланд (Гуфеланд) Кристоф Вильгельм (1762—1836) — немецкий врач, один из основателей геронтологии.

Франк Иоганн Петер (1745—1821) — австрийский клиницист, гигиенист, в 1804—1808 гг. работал в России.

Аберкромби — возможно, английский генерал Ральф Аберкромби (1734—1801) либо его сын Джемс (1776—1858) — известный политический деятель.

С. 308. *Аруэт* (Аруэ) — настоящая фамилия Вольтера.

Жюсьё (Жюсье) Антуан Лоран (1748—1836) — французский ученый-ботаник.

Бекман Иоганн (1739—1811) — ученый-технолог, физик, философ.

С. 311. ...*микрокозм макрокозма*. — Учение о микрокосме — человеке как подобии и отражении Вселенной (макрокосма) — было распространено в древнегреческой философии, философии Возрождения, а затем — эпохи романтизма.

С. 314. ...*ростом с Ивана Великого?* — Речь идет о колокольне в Кремле.

С. 317. *Гмелин* Иоганн Георг (1709—1755) — профессор химии и естественной истории, работал в России.

С. 319. *Роллень* (Роллен) Шарль (1661—1741) — французский историк.

...*in quarto* (лат.) — формат книги в четверть листа.

Шрекк (Шрёкк) Иоганн Маттиас (1733—1808) — немецкий историк; его «Краткая всеобщая история для употребления учащегося юношества» была переведена на русский язык.

С. 321. *Гуммель* Иоганн Непомук (1778—1837) — австрийский композитор.

С. 323. ...*групп Авеля*... — см. примеч. к с. 484.

С. 326. *Копфбреннер* — фамилия; вероятно, имеет значащий характер (переводится с нем. как «горячеголовый»).

С. 337. *Ты помнишь эту великую повесть?* — Далее пересказывается евангельская легенда.

Бриошки — сдобные булочки из белой муки.

С. 338. *Лауренс* (Лоренс) Томас (1769—1830) — популярный английский живописец.

Серсо — игра с тонким обручем, который подбрасывают и ловят палочкой.

С. 343. *Текла* — см. примеч. к с. 103.

С. 346. «*Олимпиада*» (1784) — опера итальянского композитора Доменико Чимарозы (1749—1801).

С. 351. *Памела* — героиня одноименного романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761). *Нанина* — героиня комедии Вольтера «Нанина, или Победенный предрассудок».

С. 352. *Огиньский* (Огинский) Михаил Клеофас (1765—1833) — польский политический деятель и композитор, автор полонезов.

С. 360. *Tu proverai si come sà di sale...* — «Божественная комедия» Данте («Рай», песнь 17).

Мешок с золотом. Впервые: МТ.—1829.— Т. 27.— С. 182—219, 306—351 с подзаголовком «Русская быль» и подписью «Н. П.». С добавлением эпитафии и незначительными изменениями в тексте перепечатано в сб. «Мечты и жизнь» (М., 1834.— Ч. 4.— С. 5—154). Публикуется по этому изданию с исправлением типографских погрешностей по первой публикации.

С. 368. ...*обедают у воевод*... — Имеются в виду градоправители (звание воеводы как начальника города было упразднено в 1775 г.).

С. 369. *Колдун-мельник*. — Согласно народным поверьям, ремесло мельника предполагало общение со сверхъестественными силами.

...*подле бахусова храма*... — то есть около питейного дома.

...*к мирской избе*... — Для так называемых «государственных крестьян» (лично свободных, живущих на казенных землях) были установлены особые формы самоуправления — мирской сход и мирские выборные. К этой категории крестьян относятся и герои повести Полевого.

С. 370. ...*пастушки аркадские*... — Аркадия — область в Греции. В литературе эпохи античности, а затем и XVI—XVIII веков изображалась счастливой страной с патриархальной простотой нравов.

Ирвинг Вашингтон (1783—1859) — американский писатель-романтик, один из популярнейших иностранных авторов в России 1820—30-х гг.; его произведения высоко ценились Полевым.

Цшокке Генрих (1771—1848) — широко известный в России пушкинской поры швейцарский писатель. Как и Ирвинг, печатался на страницах МТ.

С. 372. *Сотские* — выборные (обычно от ста дворов) должностные лица.

С. 373. *...полгаленка чаю...* — то есть полпорции.

...писать мыслете... — то есть идти шатаясь, зигзагами, заплетающей походкой («мыслете» — старинное название буквы «м»).

Выжига — плут, опытный мошенник.

Подторговщик — подставное лицо, набивающее цену на торгах.

Кулак базарный — безденежный перекупщик, живущий обманом.

С. 374. *Поярковая шляпа* — сделанная из поярка, шерсти от первой стрижки молодой овцы.

Александрийская рубашка — из красной бумажной ткани, включающей и нитки другого цвета.

С. 378. *Верей* — столбы, на которые навешиваются ворота.

С. 381. *Мудрый Сократ имел у себя услужливого демона...* — Речь идет о так называемом «демонии» — божественном внутреннем голосе, удерживающем человека от дурных поступков; согласно Платону, Сократ часто ссылался на него как на руководящую им силу.

С. 383. *Пестредка* — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая.

С. 384. *...Федосей явился на мирскую сходку по-прежнему...* — Согласно закону 1805 г., участниками мирского схода могли быть только домохозяева.

С. 386. *Иванов червяк* — светляк.

С. 388. *Галль* — см. примеч. к с. 193.

Животный магнетизм — см. примеч. к с. 102.

Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель и философ, автор трактата «Физиогномические фрагменты для поощрения познания человека и любви к людям» (1775—1778), в котором пытался установить связь между духовным обликом человека и строением его лица и черепа.

С. 389. *...к лицу без образа...* — Полевой использует выражение Жуковского («Славянка», 1815).

...приложить физиогномический циркуль... — В теории Лафатера важное место занимало измерение частей лица и установление их соотношения между собой.

С. 390. *Киарини* Феликс (ум. 1830 или 1831) — знаменитый акробат.

С. 392. *Пенник* — крепкое хлебное вино.

Калибер — принятое в старой Москве название простых рессорных дрожек.

С. 393. *Хожалый* — здесь: служитель полиции, рассыльный.

Частный дом — здание, в котором размещалась полиция административного района (части) города.

Пошевни — широкие сани, обшитые внутри лубом.

Волочок — крытая зимняя или летняя повозка, кибитка.

Ванюшка (Ванька) — зимний легковой извозчик на плохой крестьянской лошади и с бедной упряжью.

С. 394. *Будочник* — низший чин городской полиции.

...не уважали синих и красных бумажек и гордились только белыми.— Речь идет об отличавшихся цветом пяти-, десяти- и сторублевых ассигнациях.

С. 395. ...если стать в Китае...— Речь идет об историческом районе Москвы, Китай-городе, включавшем Красную площадь и кварталы, примыкавшие к Кремлю.

С. 399. ...страшный перстень Соломона...— Согласно легенде, древнееврейский царь Соломон обладал перстнем, при помощи которого мог заклинать демонов. Когда демон Асмодей, завладев перстнем, кинул его в море, Соломон лишился магической силы и вновь обрел ее, лишь найдя перстень внутри пойманной рыбы.

С. 403. ...в своей китайчатой троеклинке...— в полукафтани из простой бумажной материи.

Съезжая — помещение при полиции, где содержались арестованные и производились телесные наказания.

С. 407. ...к диким братским...— Речь идет о бурятах, населявших окрестности Братского острога в Иркутской губернии.

С. 408. ...в фризовой старой шинели...— шинели из толстой ворсистой ткани типа байки.

Обер-полицейместер — начальник полиции в Петербурге и Москве.

С. 409. *Управа благочиния* — полицейский орган, выполнявший административные и судебные функции.

Рассказы русского солдата. Часть II. Солдат. Впервые: Мечты и жизнь.— М., 1834.— Ч. 4.— С. 155—261. Печатается по этому изданию.

Эпиграф — из «Словесного поучения солдатам о знании, для них необходимом» А. В. Суворова. *Экзерциция* — упражнение, обучение. *Ордер воинский* — воинский порядок.

С. 414. *Фухтель* — то же, что и шомпол; служил для телесного наказания.

С. 421. *Румянцев-Задунайский* Петр Александрович (1725—1796) — русский полководец, генерал-фельдмаршал; в ходе русско-турецкой войны 1768—1774 гг. одержал победу над главными силами турецкой армии на реке Кагул (1770).

Измаил — турецкая крепость, взятая штурмом русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 г.

С. 422. *Ведь у тебя и Царьград-то твой чужой...*— Столица Османской империи Стамбул (Константинополь, Царьград) был захвачен турками в 1453 г.

Потемкин Григорий Александрович (1739—1791) — государственный и военный деятель, главнокомандующий русской армией в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 гг.

Панин Петр Иванович (1721—1789) — генерал-аншеф, участник русско-турецкой войны 1768—1774 гг.

Иверни — осколки, черепки.

Александр Васильевич Рымникский.— За победу над турецкими войсками при Рымнике (1789) Суворов получил графский титул и прозвание «Рымникский».

С. 423. *Под Кинбурхом*...— Речь идет о сражении под крепостью Кинбурн (1787).

Очаков — турецкая крепость; взята штурмом русскими войсками 6 декабря 1788 г.

...король шведский разъярился...— Имеется в виду русско-шведская война 1788—1790 гг., вызванная попыткой Швеции вернуть свои владения в Прибалтике.

Чичагов Василий Яковлевич (1726 — 1809) — адмирал; во время войны со Швецией одержал победы над неприятельским флотом близ острова Эланда, Ревеля и Выборга.

С. 424. *...загнал их в какую-то гавань*...— В 1770 г. (в ходе русско-турецкой войны 1768—1774 гг.) русская эскадра (под фактическим командованием адмиралов Г. А. Спиридонова и С. К. Грейга) блокировала и уничтожила турецкий флот в бухте Чесма на побережье Малой Азии. Решающее значение имело при этом использование брандеров — судов, предназначенных для сожжения неприятельских кораблей. Осуществлявший общее командование Средиземноморской эскадрой А. Г. Орлов получил за это сражение титул «Чесменского».

...аглицкого немца...— Речь идет о Самуиле Карловиче Грейге (1736—1788), русском адмирале (англичанине по национальности), отличившемся при сожжении турецкого флота в Чесменском сражении.

Булдыхан (богдыхан) — титул, которым в старых русских грамотах именовали императоров Китая.

Синее море — старинное название Азовского моря.

Хвалынское море — древнерусское название Каспийского моря.

Железные ворота — Дербент.

Зубов Валериан Александрович (1771—1804) — генерал; в 1795—1796 гг. главнокомандующий в войне с Персией.

...русский мясник...— Кузьма Миныч Минин (ум. 1616), нижегородский купец; организатор национально-освободительной борьбы русского народа против польской интервенции, один из руководителей 2-го Земского ополчения.

...король Федор Федорович...— Фридрих II (1712—1786), с 1740 г. король Пруссии; крупный полководец. В период его правления Пруссия (в союзе с Великобританией и Португалией) вела Семилетнюю войну (1756—1763) с рядом европейских государств. Победы русских войск поставили Пруссию, успешно начавшую войну, на грань катастрофы.

С. 425. *Прага*.— Речь идет о предместье Варшавы.

И Польши не стало...— Речь идет о так называемом «третьем разделе» Польши (1795) между Австрией, Пруссией и Россией.

...цесарскому императору...— то есть австрийскому императору.

...последняя греческая царица вышла за нашего царя Ивана...—

Племянница последнего византийского императора Константина XI Зоя (Софья) Палеолог (ум. 1503) была с 1472 г. замужем за московским великим князем Иваном III.

...на гробе царя Константина <...> написано мудрыми людьми...—

Имеется в виду широко известное по народной литературе начиная с XVII в. так называемое «Пророчество царя Константина» (Константин I Великий (ок. 285—337) — римский император; основал новую столицу Константинополь на месте города Византий).

С. 426. *...Бонапартé уехал за море бить эфиопов...*— Речь идет об экспедиции Наполеона в Египет (1798—1799).

...идти на французов за цесарскую страну в итальянскую землю.—

Далее имеется в виду Итальянский поход (1799 г.) русских войск.

С. 427 *Тринкать* — искаженное немецкое «trinken» (пить).

Адá, Едá...— Имеется в виду река Адда на севере Италии, где в апреле 1799 г. русско-австрийские войска под командованием Суворова разбили французскую армию генерала Моро.

С. 428. *Было это в мае месяце...*— Ниже речь идет о трехдневном сражении при реке Треббии в Северной Италии, в котором армия союзников под командованием Суворова разбила французского генерала Макдональда.

...без кавалерий...— то есть без орденских знаков.

С. 430. *Фурлейты* — солдаты, находящиеся при военных фурах или обозах.

...под Липским...— Речь идет о «битве народов» под Лейпцигом в октябре 1813 г., где французские войска потерпели сокрушительное поражение от армий государств антинаполеоновской коалиции.

Стефан Яворский (1658—1722) — русский писатель, церковный деятель.

С. 431. *Сохатый* — здесь: созвездие Большой Медведицы.

Кычиги — созвездие Орион.

...и в цесарскую, и в прусскую войну: до самого замирения под Тильзитовым? — Речь идет о войнах, которые Россия вела с Францией в 1805 г. (в составе третьей коалиции на территории Австрии) и 1806—1807 гг. (в составе четвертой коалиции на территории Пруссии); последняя из этих войн завершилась в 1807 г. подписанием Тильзитского мира, заключенного в результате личных переговоров Александра I и Наполеона.

Бениксонов — Беннигсен Леонтий Леонтиевич (1745—1826), русский генерал; в сражении при Прейсиш-Эйлау (1807) русские войска под командованием Беннигсена отразили атаки французов.

С. 433. *Лампърёр* — искаженное французское «l'empereur» — император.

Кульнев Яков Петрович (1763—1812) — один из популярнейших генералов русской армии, участник войны со Швецией и Отечественной войны 1812 года.

С. 434. *Ведет* — ближайший к неприятелю часовой в передовой цепи.

С. 439. «*Аще не господь созиждет дом...*» — псалом 126.

С. 441. *Апостол* — богослужебная книга православной церкви.

Кутья — кушанье из крупы с медом и изюмом, которое едят на похоронах и поминках.

С. 442. *Розембергов* — Розенберг Андрей Григорьевич (1740—1815), русский генерал, видный участник итальянского похода Суворова.

Дурочка. Впервые в сб.: Сто русских литераторов.— СПб., 1839.— Т. 1.— С. 451—526. Печатается по этому изданию.

С. 443. *Кола* — городок на Кольском полуострове.

Нерчинск — город в Забайкалье.

Олонец — город в Карелии.

Черная Грязь — последняя станция перед Москвой.

С. 445. *Лапландия* — природная область на севере Скандинавии и Кольского полуострова.

С. 456. *Лафонтён* Август — см. примеч. к с. 144.

С. 457. *Гроденапль* — род шелковой ткани.

С. 458. ...*Стернова бедная Мария*... — персонаж произведений английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767) и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768); облик героини Полевого напоминает описания Марии Стерном.

С. 461. *Зарядье* — исторический район в центре Москвы; в XIX веке был заселен ремесленниками и торговцами.

Калибер — см. примеч. к с. 392.

С. 462. *Семирамида* — царица Ассирии (870—772 до н. э.).

С. 463. ...*изженут* — изгонят.

С. 470. «*Робинзон*». — Речь идет о русском переводе наиболее известного сочинения немецкого педагога и писателя Иоахима Генриха Кампе (1746—1818) — «Новый Робинзон, служащий к увеселению и наставлению детей, сочиненный г. Кампе / Переведен с немецкого на российский Ф. Печериным» (ч. 1—2.— М., 1792).

С. 479. *Красное Село* — пригород Петербурга, место летнего расположения войск гвардейского корпуса.

С. 485. ...*знамение Каинова проклятия*... — Согласно библейской легенде, сын Адама и Евы Каин убил своего брата Авеля, за что был проклят богом и отмечен особым знаком — «Каиновой печатью».

С. 486. ...*я думала быть Пигмалионом для статуи*... — Имеется

в виду греческий миф о Пигмалионе, полюбившем изваянную им статую; по просьбе Пигмалиона богиня Афродита оживила ее.

С. 490. *...как нам, добрый читатель, сказать...*— Далее цитируется XVI глава «старинной повести» В. А. Жуковского «Унди́на». Вышедшая отдельной книгой в 1837 г. «Унди́на» пользовалась большим успехом. Первая строка цитаты слегка изменена Полевым.

ПИСЬМА

Эпистолярное наследие Н. А. Полевого издавна привлекало к себе внимание исследователей. Крупнейшими из существующих публикаций писем писателя являются следующие: П о л е в о й К. А. Записки.— СПб., 1888.— С. 385 и далее; Из переписки Н. А. Полевого/Публикация Н. К. Козмина (РС.— 1901.— Т. 106.— С. 397—413); Из переписки Н. А. Полевого // К о з м и н Н. К. Очерки из истории русского романтизма: Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи.— СПб., 1903.— С. 512—533; Из переписки Н. А. Полевого с А. А. Бестужевым//Известия по русскому языку и словесности. 1929.— Л., 1929.— Т. 2, кн. I.— С. 203—213; Белинский и его корреспонденты.— М., 1948.— С. 254—257; Письма Н. А. Полевого к С. Д. Полторацкому/Публикация В. Салинки//Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. Литература. IX. — Вильнюс, 1966. — С. 301—324.

В настоящее издание вошли избранные письма Полевого разных лет, освещающие наиболее значительные факты его биографии, раскрывающие отношение писателя к его постоянным корреспондентам, характеризующие его мировоззрение. За исключением особо оговоренных случаев, тексты писем публикуются по автографам, хранящимся: в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом) (А. А. Бестужеву, Е. А. Бестужевой, Ф. В. Булгарину (копия), А. В. Никитенко, Н. Ф. Полевой, К. А. Полевому (от 21. I. 1838), П. П. Сви́нину), ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (А. А. Краевскому, В. Ф. Одоевскому, С. Д. Полторацкому), Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (В. Г. Белинскому, А. Я. Булгакову, В. М. Перевощикову, А. А. Писареву), Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (А. И. Герцену, Ф. Н. Глинке).

В примечаниях к разделу писем использованы материалы перечисленных выше публикаций, а также комментарии Вл. Н. Орлова к «Запискам» К. Полевого (в кн.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. [Л., 1934]).

1. П. П. Сви́н и н у. Факсимильное воспроизведение письма в кн.: П о л е в о й П. Н. История русской словесности.— СПб., 1900.— Т. 3.— С. 196—197.

Свиньин Павел Петрович (1787—1839) — писатель, историк, издатель ОЗ (1818—1830), в которых Полевой выступал в начале 1820-х гг.

Колосова Александра Михайловна (1802—1880) — петербургская драматическая актриса; в октябре—декабре 1824 г. с большим успехом выступала в Москве.

Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — крупнейший русский актер романтического направления; с 1817 г. на московской сцене (с 1824 г. в Малом театре), прославился в трагических ролях.

«*Черная шаль*» — написанное в 1820 г. стихотворение Пушкина; в 1823 г. положено на музыку композитором А. Н. Верстовским.

Александр Семенович — адмирал А. С. Шишков (1754—1841), писатель, государственный деятель, президент Российской академии, в 1824—1828 гг. министр народного просвещения и глава цензурного ведомства.

2. А. А. Писареву. Публикуется впервые.

Писарев Александр Александрович (1780—1848) — генерал, писатель, попечитель Московского университета, председатель Общества истории и древностей российских при Московском университете, членом которого Полевой был избран в январе 1825 г. (вступительную речь читал 23 февраля 1825 г.).

...*стихи г. Свечина*... — Возможно, имеется в виду поэт Валериан Петрович Свечин либо, что более вероятно, активный участник изданного А. А. Писаревым альманаха «Калужские вечера, или Отрывки сочинений и переводов в стихах и в прозе военных литераторов» (Ч. 1—2.— М., 1825) Павел Свечин.

3. Д. М. Перевощикову. Впервые (в сокращении) в сб.: Русская литература. Учен. зап. Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина.— Т. ХСIV, Вып. 8. М., 1959.— С. 137. Полностью публикуется впервые.

Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788—1880) — математик и астроном, профессор Московского университета, член Московского цензурного комитета.

...*цыганская песня*... — Речь идет о песне Земфиры «Старый муж, грозный муж...» из поэмы Пушкина «Цыганы». Несмотря на негативное отношение к ней Перевощикова, была, вместе с нотами записанного Пушкиным цыганского напева, напечатана в МТ (1825, № 21). Поэма «Цыганы» вышла отдельной книжкой в мае 1827 г.

«*Войнаровский*» — поэма К. Ф. Рыльева (1795—1826).

4. П. П. Свиньину. Впервые: РС, 1901.— Т. 106.— С. 399—401.

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, критик, профессор Московского университета, в 1805—1807, 1811—1813 и 1815—1830 гг. — издатель журнала «Вестник Европы», в котором резко выступал против МТ.

Я не читаю Пушкина! — Вероятно, речь идет о сборнике «Стихотворения А. Пушкина», вышедшем в 1826 г.

«Северные цветы» — альманах А. А. Дельвига (1798—1831), выходил в 1825—1831 гг.

«Невский альманах» на 1826 год — издан Е. В. Аладыным.

Измайлов Александр Ефимович (1779—1831) — поэт, издатель враждебного в отношении к МТ журнала «Благонамеренный» (1818—1826); в данном случае речь идет о его альманахе «Календарь муз» на 1826 г.

«Уrania» — альманах М. П. Погодина «Уrania. Карманная книжка на 1826 год для любителей и любителей русской словесности».

«Калужская Уrania» — возможно, альманах «Калужские вечера».

...сборник пресловутого Писарева... — Речь идет о «Драматическом альбоме для любителей театра и музыки на 1826 год», изданном литературным противником Полевого Александром Ивановичем Писаревым (1803—1828) совместно с композитором Верстовским.

...у ваших петербургских откупщиков... — Имеются в виду издатели нескольких выходивших в Петербурге периодических изданий — Ф. В. Булгарин (1789—1859) и Н. И. Греч (1787—1867).

...мерзость, изданная Глинкою под названием Московской... — Речь идет о «Московском альманахе» С. Н. Глинки.

...«Пчелка» забыла весь стыд... — Имеются в виду рецензии на альманахи «Календарь муз» (СПч.— 1826.— № 6) и «Уrania» (СПч.— 1826.— № 7).

...прошлого года связывался с ними. — После публикации в первом номере МТ критического разбора альманаха Булгарина «Русская Талия» первоначально добрые отношения между Полевым, с одной стороны, Булгариным и Гречем — с другой, испортились и началась длившаяся несколько лет журнальная война.

Федоров Борис Михайлович (1798—1875) — второстепенный писатель, журналист.

Шаликов Петр Иванович (1767—1852) — писатель-сентименталист, издатель «Дамского журнала», во второй половине 1820-х гг. ожесточенный литературный противник Полевого.

...в новом желтом мундире? — Вероятно, имеется в виду какое-то неудачное выступление Шаликова в печати.

5. Ф. Н. Г л и н к е. Впервые: Литературный вестник. — 1902. — Т. IV, кн. 8. — С. 351.

Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — один из руководителей декабристского Союза благоденствия, участник Отечественной войны 1812 г., поэт, председатель Вольного общества любителей российской словесности, в члены-корреспонденты которого Полевой был избран в декабре 1823 г.

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — издатель и книгопродавец.

...двумя вашими пьесами... — В первом номере МТ за 1826 г. были опубликованы стихотворения Глинки «Из пророка Исайи» и «Мечта».

6. С. Д. Полторацкому. Впервые: Литература.— С. 307. Датируется по содержанию.

Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803—1884) — библиофил и библиограф, сотрудник МТ, один из близких Полевого людей. Их знакомство произошло в 1825 г. Письма Полевого к Полторацкому «написаны в иносказательной форме игры в республику и республиканское правительство» (Литература.— С. 303) и отражают характерное для редакционного кружка МТ увлечение буржуазно-демократическим строем Соединенных Штатов, национально-освободительным движением в латиноамериканских странах.

«*Journal des Débats*» — французская общественно-политическая газета, в 1820-е гг. имела буржуазно-либеральный характер.

...не пошел ни на какие советы Пушкина... — Намереваясь объединить близких ему литераторов вокруг возникшего в 1827 г. журнала «Московский вестник», Пушкин убеждал П. А. Вяземского, игравшего в первые годы существования МТ значительную роль в его редакции, отказаться от участия в журнале (письмо Пушкина к Вяземскому от 9 ноября 1826 г.).

Он пишет некрологию Тальмы... — «Известие о Тальме» (МТ.— 1827.— Ч. 13.— С. 48—82), посвященное знаменитому французскому актеру.

«*Encyclopédie portative*» — «Универсальная карманная энциклопедия по науке, литературе и искусству».

ваш... — Подпись в этом письме заменяет рисунок Полевого, сопровождаемый неточно цитированными строками элегии Пушкина «Погасло дневное светило...» (1820): «Неси меня, корабль, неси к пределам дальным по грозной прихоти обманчивых морей...»

7. С. Д. Полторацкому. Впервые: Литература.— С. 309—310. Датируется по содержанию.

Боливар Симон (1783—1830) — руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке.

Франклин — см. примеч. к с. 225.

Геро Эдмунд Иоахим (1791—1836) — французский поэт и литературный критик, влиятельный сотрудник журнала «*Revue encyclopédique*». Переговоры о его постоянном сотрудничестве в МТ успехом не увенчались.

Толстой Яков Никитич (1791—1867) — поэт-дилетант, театральный критик, председатель общества «Зеленая лампа»; выступал посредником в отношении Полевого с французскими журналистами.

«*Revue poétique*» — работа Геро «*Revue sommaire de quelques ouvrages poetiques*» (1826).

«*Нотр Ревию*» — то есть «Наше обозрение». Полевой называет так французский журнал «*Revue encyclopédique*» (1819—1833), сотрудником которого был Полторацкий. По своему типу МТ был в значительной мере ориентирован на это издание.

Бойс (Буайе) Жан Пьер (1776—1850) — генерал, в 1818—1843 гг. президент республики Гаити.

8. (А. Я. Булгакову). Публикуется впервые. Адресат установлен на основании упоминания о статье Булгакова «Ответ на библиографический вопрос» (МТ.— 1827.— Ч. 16.— С. 5—35).

Булгаков Александр Яковлевич (1781—1863) — в 1809—1831 гг. чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе, впоследствии московский почт-директор.

...в новом уставе...— Имеется в виду исключительно жесткий цензурный устав 1826 г., утвержденный взамен действовавшего с 1804 г.; в апреле 1828 г. он уступил место новому положению.

...статейка в «Московском вестнике»...— Речь идет о статье С. П. Шевырева «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (...) соч. Виктора Дюканжа, переведенная с французского Ф. Ф. Кокошкиным» (1828.— № 2).

...невинные аханья в «Дамском журнале».— Имеется в виду анонимная заметка «Суд о „Жизни игрока“» (1828.— № 4).

...будучи дружна с цензором (он сам драматист)...— Речь идет о писателе, переводчике, театральном критике Сергее Тимофеевиче Аксакове (1791—1859), в 1827—1832 гг. известном своей взыскательностью московском цензоре. «Не раз задетый издателем МТ», «друг театральной партии Писарева», Аксаков, по словам К. Полевого, был «непримиримым врагом» Николая Алексеевича (Записки, с. 220).

попечитель — А. А. Писарев.

министр народного просвещения — А. С. Шишков.

Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — шеф жандармов, начальник III отделения собственной его императорского величества канцелярии.

9. С. Д. Полторацкому. Впервые: Литература.— С. 317—318.

...клянусь прахом того человека...— Вероятно, речь идет о Вашингтоне.

10. В. Ф. Одоевскому. Впервые: Звезда.— 1946.— № 2—3.— С. 186—187 Окончание письма не сохранилось.

Одоевский Владимир Федорович (1803 или 1804—1869) — писатель, музыкальный критик, участник МТ. Его знакомство с Полевым состоялось, видимо, в 1823 г.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1879) — библиофил, поэт-эпиграмматист, близкий приятель Пушкина.

Вяземские, Боратынские (...) *встречают у меня запертую дверь.*— Разрыв отношений Полевого с Вяземским произошел в 1829 г. в первую очередь в связи с резкими отзывами издателя МТ об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. В то же время прекращаются отношения Полевого с Евгением Абрамовичем Баратынским (1800—1844), в 1825—1828 гг. близким знакомым Полевого, сотрудником его журнала.

...директор коммерческой академии...— В январе 1829 г. Полевой был избран членом совета Московской Практической академии коммерческих наук.

...член Мануфактурного совета...— Членом Московского отделения Мануфактурного совета Полевой был избран в 1828 г.

Обольянинов Петр Хрисанфович (1752—1841) — в 1817—1832 гг. московский губернский предводитель дворянства.

Дегай Павел Иванович (1792—1849) — известный юрист.

Бегичев Дмитрий Никитич (1786—1855) — крупный чиновник, автор известного романа «Семейство Холмских» (1832—1841).

...том романа...— Видимо, речь идет о «Клятве при гробе господнем» (издан в 1832 г.).

...несколько глав книги о политической экономии...— не сохранилась.

...с «Историею русского народа!» — Этот труд остался незавершенным, в 1829—1833 гг. вышли шесть томов, повествование было доведено до середины царствования Ивана IV.

После Карамзина? — Подразумевается «История государства Российского» (Т. I — XI.— 1818—1824).

Верстовский Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор и музыкант, чиновник, приятель Одоевского и Полевого.

Репина Надежда Васильевна (1809—1867) — московская певица, гражданская жена Верстовского.

Кокошкин Федор Федорович (1773—1838) — драматург, переводчик, в 1823—1831 гг. управляющий московскими театрами.

11. А. С. Пушкин у. Впервые: РА.— 1880.— Кн. 3.— С. 448. Печатается по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.— Л.: Изд-во АН СССР, 1941.— Т. XIV.— С. 73—74. Является ответом на письмо Пушкина от 27 марта 1830 г., в котором поэт, только что избранный действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете, обращался к Полевому с вопросами.

Мы все, старые члены...— Полевой был избран членом — сотрудником Общества в 1822 г., а действительным членом — 30 марта 1829 г.; избрание Пушкина состоялось 23 декабря 1829 г.

Общество Соревнователей — Вольное общество любителей российской словесности (1816—1825), прекратившее свою деятельность после событий декабря 1825 г.

12. А. А. Бестужев у. Впервые: Известия.— С. 203—213. Служит ответом на письмо Бестужева из Дербента, содержащее высокую оценку МТ и «Истории русского народа», а также предложение о сотрудничестве. (Письмо Бестужева утрачено, пересказ его содержания: РВ.— 1861.— Т. 32.— С. 286.)

Бестужев Александр Александрович (псевд. Марлинский) (1797—1837) — писатель, журналист, критик; декабрист, после поражения восстания находился в ссылке в Якутске, в 1829 г. переведен рядовым

на Кавказ. Близкое знакомство Полевого с Бестужевым относится к 1823—1824 гг.

...узнал вас, <...> в «Сыне отечества».— Имеется в виду повесть «Испытание» (СО.— 1830.— Т. 13), напечатанная за подписью «А. М.» с пометкой «1830, Дагестан». Ее появление стало своего рода повторным литературным дебютом писателя.

Лазарь — герой евангельской легенды о воскрешении Лазаря.

...за холерою...— Речь идет о поразившей Москву в 1830 г. эпидемии холеры.

...разгадывали и прежде Карамзина! — Возможно, имеется в виду следующее суждение Бестужева: «Время рассудит Карамзина как историка... (Полярная звезда на 1823 год.— С. 15).

13. А. С. Пушкин у. Впервые: РА.— 1880.— Кн. 3.— С. 448. Печатается по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.— Л.: Изд-во АН СССР, 1941.— Т. XIV.— С. 138. Является ответом на письмо Пушкина от 1 января 1831 г., в котором поэт благодарил Полевого за присылку МТ.

В самой литературной неприязни...— Письмо Полевого Пушкину написано в период резких столкновений издателя МТ с писателями пушкинского круга.

14. А. А. Бестужев у. Впервые: Известия.— С. 206—207. Служит ответом на письма Бестужева от 29 января и 12 февраля.

...мое письмо от 26 декабря...— Ошибка, речь идет о письме от 20 декабря (получено в Дербенте 28 января).

Приложения при нем достойны вас...— Видимо, речь идет о повести «Страшное гадание» (МТ.— 1831.— Ч. 38) и «Письме доктору Эрману» (МТ.— 1831.— Ч. 41).

Нибу Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк, основоположник научно-критического метода. Высоко ценился Полевым, посвятившим ему «Историю русского народа». В письме речь идет об основном труде Нибура — «Римской истории».

Гизо Франсуа (1787—1874) — французский историк, политический деятель, журналист; его идеи оказали существенное влияние на Полевого-историка.

Мицкевич Адам (1798—1855) — польский поэт-романтик, в первые годы издания МТ, находясь в ссылке в России, входил в кружок журнала.

Омир — Гомер.

Иван Иванович.— Описка; речь идет о штаб-капитане Иване Петровиче Жукове, сосланном на Кавказ по делу декабристов.

15. А. А. Бестужев у. Впервые (с неточностями): Известия.— С. 208—213.

...соименник товарищу младшего Кира, ученику Сократа, а не апостолу Петру...— В письме от 12 февраля 1831 г. К. А. Полевой по ошибке назван Петром (РВ.— С. 295).

Ксенофонт (ок. 430—355 или 354 до н. э.) — древнегреческий историк и писатель, ученик Сократа; участвовал в походе иранского принца Кира Младшего против его брата Артаксеркса.

...*Жан-Полев демон*...— Речь идет о каком-то произведении немецкого писателя Жан Поля (см. примеч. к с. 212).

...*как чешуя с глаз Савла*...— Имеется в виду евангельская легенда о прозрении апостола Павла (Савла).

«*Письмо к Эрдману*» — опубликовано в МТ.— 1831.— Ч. 41.— С. 37—73.

Гальба Сервий Сулипиций (5 до н. э.— 69 н. э.) — римский император.

...*помещичий огород Греча*...— Имеется в виду СО.

Ирвинг — см. примеч. к с. 370.

Ваш «Белозор»...— Речь идет о повести «Лейтенант Белозор» (СО.— 1831.— № 34—42).

«*Ужасное гаданье*».— Речь идет о повести «Страшное гаданье» (МТ.— 1831.— Ч. 38).

«*Аммалат-Бей*».— Речь идет о повести «Аммалат-бек» (МТ.— 1832.— № 1—3), посвященной автором Н. А. Полевому. В своем письме Бестужев высказывал сомнение, подойдет ли повесть для МТ, и предлагал передать ее в СО.

Иван Петрович — Жуков.

16. Е. А. Бестужев о й. Публикуется впервые.

Бестужева Елена Александровна (1792—1874) — старшая дочь в семье Бестужевых; после событий 14 декабря фактически стала главой семьи.

...*не знал я, что печатание и издание производится вами*.— Е. А. Бестужева ведала издательскими делами брата; 5 частей анонимно изданных «Русских повестей и рассказов» А. А. Бестужева печатались в 1832 г. в типографии Греча, в 1833 г. право на издание было передано Бестужевым братьям Полевым.

...*письмо о Кавказской стене, о битвах с Казы-Муллою*...— имеются в виду «Письма из Дагестана» (СПч.— 1832.— № 142—148 и 169—178).

Воейков Александр Федорович (1779—1839) — поэт, переводчик, журналист, редактор газеты «Русский инвалид» (1822—1838) и «Литературных прибавлений» к «Русскому инвалиду» (1831—1839).

В «Телеграфе» будет посвящена Марлинскому большая отдельная статья.— В журнале Полевого появилась лишь рецензия на «Русские повести и рассказы» (1833.— № 2.— С. 328—336).

17. В. К. Карлгоф у. Впервые: РА.— 1912.— № 3.— С. 419—420. Печатается по этому изданию.

Карлгоф Вильгельм Иванович (1796—1841) — писатель и переводчик, генерал-майор; особенно сблизился с Полевым в 1831 г., резкий разрыв в их отношениях произошел в 1838 г.

«Суд божий». — Как видно из послесловия к роману «Клятва при гробе господнем» (Ч. IV. — М., 1832), Полевой предполагал писать его продолжение под названием «Суд божий».

...под названием «Художник». — Речь идет о «Живописце».

«Новоселье» — первая часть знаменитого альманаха «Новоселье», выпущенного в 1833 г. в честь А. Ф. Смирдина. Здесь были напечатаны «Сказка о царе Берендее» В. А. Жуковского, «Домик в Коломне» Пушкина, «Большой выход у сатаны» Барона Брамбеуса (О. И. Сенковского), повести В. Одоевского «Бал» и «Бригадир», «Анекдоты императрицы Екатерины II» А. С. Шишкова и др.

18. В. К. Карлгофу. Впервые: РА. — 1912. — № 3. — С. 420—421. Печатается по этому изданию.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — писатель, журналист; в 1833 г. опубликовал драматическую фантазию «Торквато Тассо», имевшую шумный успех.

Бахтурин Константин Александрович (1809—1841) — второстепенный поэт и драматург.

Вельтман — см. примеч. к с. 165.

...получил я Языкова... — Речь идет о «Стихотворениях» Николая Михайловича Языкова (1803—1846). На страницах МТ этот сборник получил негативную оценку (МТ. — 1833. — № 6. — С. 228—237).

«Пестрые сказки» — сборник В. Ф. Одоевского «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным» (СПб., 1833). Критический отзыв Полевого об этом сборнике в МТ (1833. — № 8. — С. 572—582) вызвал его ссору с Одоевским.

...жаненовский манер... — Вероятно, имеется в виду «Contes fantastiques» (1833) Ж. Жанена (см. примеч. к с. 179).

Подолинский Андрей Иванович (1806—1886), Козлов Иван Иванович (1779—1840), Шевырев Степан Петрович (1806—1864), Алексеев Федор, Шишков Александр Ардалионович (1799—1832), Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — поэты и прозаики.

...о ваших «Повестях»... — Имеются в виду «Повести и рассказы Вильгельма Карлгофа» (СПб., 1832. — Ч. 1—2).

19. Н. Ф. Полевой. Впервые (с небольшими сокращениями): РС. — 1870. — № 6. — С. 552—553. Написано из III отделения, куда Полевой был доставлен с жандармом по распоряжению Николая I для дачи показаний о своей рецензии, посвященной драме Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» (МТ. — 1834. — Ч. 55).

Полевая (урожд. Терренберг) Наталья Францевна (1806—1896) — жена писателя.

Сергей — в то время трехлетний сын Полевого.

...мой голубой проводник... — форма офицеров корпуса жандармов. граф А(лександр) Х(ристофорович) — Бенкендорф.

...*Немочке нашей*...— Так Полевой называл младшую сестру своей жены.

20. В. Г. Белинскому. Впервые (не полностью): Пыпин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка.— СПб., 1876.— Т. I.— С. 145. Написано в ответ на письмо Белинского от 26 апреля 1835 г., в котором сообщалось о переходе под редакцию Белинского журнала «Телескоп» и содержалась характеристика Полевого как «человека, который с (...) благородным и беспримерным самоотвержением старался водрузить на родной земле хоругвь века, который воспитал своим журналом несколько юных поколений и сделался вечным образцом журналиста... К письму был приложен билет на бесплатное получение «Телескопа». Знакомство Полевого с В. Г. Белинским (1811—1848) состоялось в 1835 г. Как свидетельствует К. Полевой, «Белинский признавал себя учеником „Московского телеграфа“» (СПч. — 1859.— № 229).

...*благосклонная рука потрепала лавры старика*.— Измененная цитата из романа «Евгений Онегин» (гл. 2, строфа XL).

21. В. Г. Белинскому. Впервые (с незначительными сокращениями): Белинский. Письма.— СПб., 1914.— Т. I.— С. 391. Ответ на письмо Белинского от того же числа.

Беда не велика...— Речь идет, вероятно, о сборнике «Plutarque Français» (Paris, 1834), задержанном Белинским.

...*приятель мой оба начал их*...— Имеется в виду статья Полевого о драме Виньи «Чаттертон» (Телескоп.— 1835.— № 7), а также намеченная рецензия на первые тома «Энциклопедического лексикона». В связи с тем, что после закрытия МТ имя Полевого было под запретом, в письме говорится об этих работах намеком.

Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) — попечитель Московского учебного округа, председатель московского цензурного комитета.

22. А. И. Герцену. Впервые: Полярная звезда на 1859 год, изданная Искандером и Н. Огаревым.— Кн. 5.— Лондон, 1859.— С. 196—198. Написано в ответ на несохранившееся письмо Герцена, находившегося в то время в вятской ссылке.

Будем опять вместе...— Герцен познакомился с братьями Полевыми в 1832—нач. 1833 г.; к этому времени относятся их споры о сенсимолизме (Былое и думы.— Ч. I.— Гл. 7).

Статью вашу о Гофмане...— Статья Герцена «Гофман» была впоследствии опубликована в «Телескопе» (1836.— № 10), что послужило основанием для ссоры Полевого с Герценом.

Братец ваш...— Егор Иванович Герцен (1803—1882).

...*вы принялись за географию, за статистику*...— В 1835 г. Герцен был привлечен к работе губернского статистического комитета в Вятке.

23. В. Г. Белинскому. Впервые: Белинский. Письма.— Т. I.— С. 393. Написано на обороте письма Белинского от 25 января 1837 г. Датируется на основании этого факта, а также по содержанию.

Вронченко Михаил Петрович (1801 или 1802—1855) — географ, переводчик, сотрудник МТ; речь идет о его переводе «Гамлета».

Глазунов (Улитин) Николай Николаевич — книгопродавец, владелец библиотеки для чтения.

Ратьков Петр Алексеевич — секретарь редакции и управляющий конторой МТ; «почтеннейший» — прозвище Ратькова.

Кин Эдмунд (1787—1833) — крупнейший английский актер.

24. *О. И. Сенковскому*. Впервые: Старина и новизна. Кн. 9.— СПб., 1905.— С. 326—327. Печатается по этому изданию.

Сенковский Осип Иванович (1800—1858) — ученый, писатель, критик, журналист, редактор журнала «Библиотека для чтения» (1834—1856), в котором в 1836—38 и 1843 гг. сотрудничал Полевой.

...*написать о Пушкине*. — Написанный Полевым некролог «Пушкин» см.: БдЧ.—1837.— Т. 21, отд. I.— С. 181—198.

25. *К. А. Полевому*. Впервые: Записки.— С. 395—406 с двойной датировкой — по старому и новому стилю. Печатается по этому изданию.

Переселение в Петербург... — Отъезд состоялся 12 октября 1837 г.

Итак... бежать! — К. Полевой сопровождает эти строки следующим примечанием: «Это место его письма, темное для читателя, не может быть прояснено мною. Скажу только, что он говорит о тайне *сердца*, унесенной им в могилу» (Записки.— С. 397).

...*спасти себя от стариков...* — «Стариками» Н. А. Полевой называл ростовщиков.

Труд мой, который и принимаю на себя здесь... — Согласно договору с книгоиздателем А. Ф. Смирдиным, Полевой принимал на себя с 1838 г. редакцию СО и СПч., арендованных Смирдиным у Булгарина и Греча, но оставшихся под их фактическим контролем. Вследствие интриг Булгарина Полевой был вскоре вытеснен из редакции СПч.

...*смерть бедной немочки...* — см. примеч. к письму № 19.

...*болезнь старухи...* — Речь идет о теще писателя.

...*Алекс(андр) Христ(офорович)* — Бенкендöрф, находившийся в то время в Москве. Полевой обращался к нему с просьбой разрешить выставлять свое имя под журнальными статьями и открыто объявить себя редактором СПч и СО, но получил неблагоприятный ответ.

...*писать на заказ романы...* — Возможно, имеется в виду роман «Синие и зеленые» (вышел в 1841 г. под названием «Византийские легенды. Иоанн Цимиский. Быль X в.»).

Дюмон-Дюрвиль Жюль Себастьян Сезар (1790—1842) — французский мореплаватель, описавший свои экспедиции; в 1835—1837 гг. Полевой перевел 10 томов его «Всеобщего путешествия вокруг света».

...*говорил, как Цицерон...* — здесь: известная в семье Полевых шутливая формула.

Уваров Сергей Семенович (1786—1856) — литератор, реакционный государственный деятель, министр народного просвещения (1833—

1849), автор формулы «самодержавие, православие, народность», непримиримый враг Полевого.

Шаль Виктор Эвремон Филарет (1798—1873) — французский писатель и критик.

Жанен — см. примеч. к с. 179.

...начало «Истории Петра Великого»... — «Опыт исторического рассказа о Петре Великом» (СО.— 1838.— Т. I, отд. 1.— С. 27—69).

Жакоб-библиофил — псевдоним французского писателя Поля Лакруа (1806—1884).

...о Минине... — статья Полевого «Материалы для истории Козьмы Минина» (СО.— 1838.— Т. I, отд. 3.— С. 10—28).

Ротчев Александр Гаврилович (1806—1873) — поэт, переводчик.

Сент-Бев Шарль Огюстен (1804 — 1869) — французский критик, поэт.

Делиль — см. примеч. к с. 144.

Менцель Вольфганг (1798—1873) — немецкий писатель и критик; в данном случае имеется в виду подробный отзыв о русском переводе его «Немецкой словесности» (СПб., 1837.— Ч. 1).

...шлепнутся о смирдинский прилавок в один день... — Смирдин был также издателем «Библиотеки для чтения».

«Уголино» — драма Полевого.

Ольдекоп Евстафий Иванович (1786—1845) — писатель, перевод-журналист, цензор драматических произведений.

Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853) — знаменитый петербургский актер.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — выдающийся русский актер (с 1824 г. в Малом театре).

Орлов Павел Никитич (род. 1811) — актер.

...отдай... «мошенникам»... — Речь идет об известных в Москве переписчиках.

...посвящаю я теперь опере... — Начатая Полевым еще в Москве работа над либретто оперы «Железное перо» не была завершена.

Стефан Алексеевич — С. А. Маслов (1793—1879), известный деятель в области сельского хозяйства.

«Я пью один...» — Из стихотворения Пушкина «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»): «Я пью один, и на берегах Невы меня друзья сегодня именуют... Но многие ль и там из вас пируют? Еще кого не досчитались вы?»

Говорить ли тебе о несчастном событии пожара? — Речь идет о пожаре Зимнего дворца в декабре 1837 г.

26. В. Г. Белинскому. Впервые полностью: Белинский и его корреспонденты. — С. 255—256.

...на ваши дружеские послания. — Эти письма не сохранились.

Статьи вашей... — Видимо, имеется в виду статья о «Гамлете», отправленная Белинским к Полевому с Кольцовым. Опубликован в начале

1838 г. в СПч (1838.— № 4) начало статьи, Полевой отказался печатать ее продолжение, объясняя это большим объемом работы Белинского. Полностью статья была напечатана позднее в журнале «Московский наблюдатель».

...наш урод...— Имеется в виду Мочалов, игре которого была присуща неровность. «Уголино» шел с успехом в бенефис Мочалова в Малом театре 21 января 1838 г.

Василий Боткин — см. примеч. к письму № 28.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы, один из основных оппонентов Белинского в области литературной критики.

27. К. А. П о л е в о м у. Впервые (с незначительными неточностями): Записки.— С. 408—412.

...как описывал Вильгельма в «Аббаддонне».— Подразумевается роман Полевого «Аббаддонна» (ч. 2, гл. 4), герой которого Вильгельм Рейхенбах является на представление своей трагедии в многочисленном обществе мещан.

Талиони (Тальони) Мария (1804—1884) — итальянская артистка балета; в 1837—1842 гг. выступала в Петербурге.

...торчали бородки...— «Бородки!.. черта времени. Тогда борода была принадлежностью купцов и простолюдинов» (Примеч. К. Полевого.— Записки.— С. 410).

...студенческая кровь.— Из эпиграммы А. С. Грибоедова «И сочиняют врут, и переводят — врут!»

Вероника — героиня «Уголино».

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — писатель, драматург; в 1831—1842 гг. директор московских театров.

28. В. П. Б о т к и н у. Впервые: Звенья. III—IV.— М.; Л., 1934.— С. 881—882. Печатается по этому изданию.

Боткин Василий Петрович (1811—1869) — писатель, критик, друг Белинского и Герцена.

Статья на Менцеля...— см. примеч. к письму № 25.

...на Давыдова...— Имеется в виду рецензия на «Чтения о словесности» филолога и философа профессора Ивана Ивановича Давыдова (1794—1863) (СО.— 1838.— Т. 1, отд. 4.— С. 106—138).

Желал бы видеть его возражения...— Рецензия Белинского на «Уголино», содержащая резко отрицательную оценку этого сочинения, появилась в майской книжке журнала «Московский наблюдатель».

За что вы все рассердились на статью Селивановского? — Имеется в виду подписанное инициалами «А. М.» «Письмо москвича» (СО.— 1838.— Т. 2, раздел «Смесь и нечто». — С. 17—23), содержавшее резкие выпады против Белинского-критика. Его автором был общий знакомый Полевого и Белинского Николай Семенович Селивановский (1805—1852).

Белинский, например, уничтожает классицизм и Державина...—

Вероятно, речь идет о начале статьи Белинского «„Гамлет“, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета».

Он не терпит Каратыгина...— См., например, статью «И мое мнение об игре г. Каратыгина» (1835).

Посмотрите его в <...> Людовике XI.— Имеется в виду драма П. Г. Ободовского «Заколдованный дом».

29. К. А. По л е в о м у. Впервые: Записки.— С. 422. Печатается по этому изданию.

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — поэт; о его общении с Полевым в 1838 г. см. письма Кольцова к Белинскому.

Слепушкин Федор Никифорович (1783—1848) — поэт-самоучка, выходец из крестьянской среды.

30. Ф. В. Бу л г а р и н у. Впервые: РС.— 1896.— № 6.— С. 568.

Симония — приобретение духовных должностей за деньги.

Скаррон Поль (1610—1660) — французский писатель, автор пародийных произведений в различных жанрах.

Письмо это можете показывать кому угодно и самому О. И. Сенковскому...— Как показывает последующая полемика, письмо Полевого действительно стало известно Сенковскому (см.: Ка в е р и н В. Барон Брамбеус.— Л., 1929.— С. 122).

31. В. Ф. О д о е в с к о м у. Впервые: РС.— 1904.— Т. 119.— С. 159—160.

...прислать к вам за статейкой...— Одоевский выступал в СО как музыкальный критик под псевдонимом «Отставной капельмейстер Карл Биттерман».

...извещение об издании «Отеч(ественных) записок».— Журнал А. А. Краевского ОЗ, деятельным сотрудником которого был Одоевский, начал выходить с 1839 г. В 12-й книжке СО за 1838 г. Полевым было опубликовано лишь краткое известие об ОЗ.

Даири — духовный император в старой Японии.

Кубо — светский император в старой Японии.

32. В. Ф. О д о е в с к о м у. Сохранился лишь отрывок письма, причем в рукописи имеются дефекты. Цитировано П. Н. Сакулиным в кн.: Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель.— Писатель.— М., 1913.— Т. I.— Ч. 2.— С. 295. Полностью публикуется впервые.

«Зизи» — повесть Одоевского «Княжна Зизи» (ОЗ.— 1839.— Т. I.— С. 3—70).

«Город без имени» — повесть Одоевского в жанре антиутопии; впервые опубликована в «Современнике» (1839.— Кн. 1.— С. 97—120).

Он <вс>танет с «Концертом Бетговена» <и> с «Пиранези».— Речь идет о повестях «Последний квартет Бетховена» (1830) и «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi» (1831). Как и «Город без имени», вошли позднее в состав романа «Русские ночи».

33. А. В. Ни к и т е н к о. Публикуется впервые.

Никитенко Александр Васильевич (1804—1877) — критик, литературовед, профессор Петербургского университета, цензор. С 1840 г. стал соредактором Полевого по СО и «ответственным редактором перед правительством за все издание» (Н и к и т е н к о А. В. Дневник.— Т. 1.— С. 275). О столкновении с Полевым и последующем примирении см.: Дневник.— Т. 1.— С. 218.

Александр Филиппович — Смирдин.

34. К. А. По л е в о м у. Впервые: Записки.— С. 551—553. Печатается по этому изданию.

Ратьков — см. примеч. к письму № 23.

«*Ломоносов*» — «Ломоносов, или Жизнь и поэзия. Драматическая повесть Н. Полевого» (БдЧ.— 1843.— Т. 56.— С. 60—312). Представлена в Петербурге 2 февраля 1843 г.

...я переложил в разговоры «твоего Ломоносова»...— См.: По л е в о й К с е н о ф о н т. Михаил Васильевич Ломоносов.— М., 1836.— Ч. 1—2.

Вольдемар и Никтопольон — сыновья Н. Полевого.

35. А. А. Кра е в с к о м у. Впервые: Литературное наследство.— Т. 56.— Ч. 2.— М., 1950.— С. 174. Этим письмом Полевой сделал попытку примирения с ОЗ, позиция которых по отношению к нему была до того резко враждебна.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — журналист, издатель ОЗ.

Напечатайте ее в «Отеч(ественных) записках»... — Ода И. А. Крылова «На заключение мира России со Швециею» вошла в состав статьи Белинского «Иван Андреевич Крылов» (ОЗ.— 1845.— Т. 38).

...переговор привел бы ко взаимной пользе...— Начатые этим письмом взаимоотношения привели к тому, что в конце 1845 г. Полевой получил в свои руки по договору с Краевским «Литературную газету».

36. А. В. Н и к и т е н к о. Отрывок в кн.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов.— [Л., 1934].— С. 74. Полностью публикуется впервые.

Его высокопревосходительство — С. С. Уваров (см. примеч. к письму № 25).

Аракчеев Александр Андреевич (1769—1834) — реакционный государственный деятель, насаждал политику полицейского деспотизма.

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1844) — попечитель Казанского учебного округа в 1819—1826 гг., известный реакционер.

37. К. А. По л е в о м у. Последнее письмо Полевого к брату. Впервые: Записки.— С. 579—580. Печатается по этому изданию.

Монтолон Шарль Тристан (1783—1853) — французский генерал, бонапартист, автор мемуаров.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. А. Карпов. Николай Полевой и его повести .</i>	3
--	---

ПОВЕСТИ

Повесть о Симеоне, Суздальском князе .	28
Мечты и жизнь	
Блаженство безумия	89
Рассказы русского солдата. Часть I. Крестьянин	134
Живописец	164
Эмма	277
Мешок с золотом	368
Рассказы русского солдата. Часть II. Солдат	412
Дурочка .	443

ПИСЬМА

1. П. П. Свиныну. 29 октября 1824 г.	492
2. А. А. Писареву. 11 июня 1825 г.	492
3. Д. М. Перевошикову. 22 октября 1825 г.	493
4. П. П. Свиныну. 22 января 1826 г. .	494
5. Ф. Н. Глинке. 25 января 1826 г.	496
6. С. Д. Полторацкому. Конец 1826 — начало 1827 г. .	497
7. С. Д. Полторацкому. Январь — февраль 1827 г.	497
8. <А. Я. Булгакову>. 23 февраля 1828 г. .	498
9. С. Д. Полторацкому. 24 ноября 1828 г. .	499
10. В. Ф. Одоевскому. 16 февраля 1829 г.	500
11. А. С. Пушкину. 27 марта 1830 г.	502
12. А. А. Бестужеву. 20 декабря 1830 г. .	502
13. А. С. Пушкину. 1 января 1831 г.	504
14. А. А. Бестужеву. 13 марта 1831 г. .	504
15. А. А. Бестужеву. 25 сентября 1831 г. .	506

16. Е. А. Бестужевой. 23 января 1833 г. .	511
17. В. К. Карлгофу. 10 марта 1833 г. .	513
18. В. К. Карлгофу. 17 мая 1833 г. .	514
19. Н. Ф. Полевой. 29 марта 1834 г.	515
20. В. Г. Белинскому. 26 апреля 1835 г.	516
21. В. Г. Белинскому. 19 сентября 1835 г.	516
22. А. И. Герцену. 25 февраля 1836 г. .	517
23. В. Г. Белинскому. Конец января 1837 г.	519
24. О. И. Сенковскому. 8 февраля 1837 г.	519
25. К. А. Полевому. 20 декабря 1837 г.	520
26. В. Г. Белинскому. 22 декабря 1837 г. .	527
27. К. А. Полевому. 21 января 1838 г. .	529
28. В. П. Боткину. 20 марта 1838 г.	532
29. К. А. Полевому. 30 марта 1838 г.	534
30. Ф. В. Булгарину. 2 апреля 1838 г. .	534
31. В. Ф. Одоевскому. 21 декабря 1838 г.	535
32. В. Ф. Одоевскому. 15(?) января 1839 г.	536
33. А. В. Никитенко. 5 января 1840 г. .	536
34. К. А. Полевому. 19 февраля 1843 г.	537
35. А. А. Краевскому. 9 декабря 1844 г. .	538
36. А. В. Никитенко. 18 октября 1845 г. .	539
37. К. А. Полевому. 8 февраля 1846 г.	540
<i>Примечания</i>	541

Полевой Н. А.

П 49 Избранные произведения и письма/Сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. А. А. Карпова; Ил. Э. Х. Нашибулина.— Л.: Худож. лит., 1986.—584 с., 1 л. портр. 8 л. ил.

Настоящее издание включает в себя наиболее значительные и известные художественные произведения русского журналиста, писателя и историка Н. А. Полевого (1796—1846): «Повесть о Симеоне, Суздальском князе», цикл романтических повестей, объединенных автором под названием «Мечты и жизнь», и повесть «Дурочка». Раздел писем знакомит читателя с литературным и дружеским окружением Полевого. Большинство произведений и писем публикуется в советское время впервые.

П $\frac{4702010100-075}{028(01)-86}$ КБ-26-26-86

ББК 84. Р1

Николай Алексеевич Полевой
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
и
ПИСЬМА

Редактор А. Ш е л а е в а
Художественный редактор Р. Ч у м а к о в
Технический редактор Н. Л и т в и н а
Корректоры А. Б о р и с е н к о в а, Л. Н и к у л ь ш и н а

ИБ № 4246

Сдано в набор 13.02.86. Подписано в печать 30.07.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,66+0,05 вкл.=30,71. Усл. кр.-отт. 31,18. Уч.-изд. л. 33,97+1 вкл.=34,02. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛП-118. Заказ № 256. Цена 2 р. 90 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

В 1986 году
в издательстве «Художественная литература»
вышла книга
А. А. Дельви́г. Сочинения

Издание включает в себя впервые собранные все известные стихотворения Антона Антоновича Дельвига (1798—1831), ближайшего друга Пушкина и одного из самых значительных поэтов пушкинского окружения, а также избранные литературно-критические статьи и письма — превосходные образцы эпистолярной прозы своего времени. Письма ярко раскрывают дружеские связи и литературно-эстетические взгляды самого поэта и современников его круга.

**В 1987 году
в издательстве «Художественная литература»
выйдет книга**

К. Ф. Рылеев. Сочинения

В издание «Сочинения» Кондратия Федоровича Рылеева (1795—1826), поэта-декабриста, войдут избранные стихотворения, думы, поэмы («Войнаровский», в отрывках «Мазепа» и «Наливайко»), агитационные песни, написанные совместно с А. А. Бестужевым, подблюдные песни, избранная проза («Письма из Парижа», «Рейнский водопад», «Провинциал в Петербурге» и др.), а также все дошедшие до нас письма.